


Забытый
Французский
детектив


3







ЗАБЫТЫЙ ДЕТЕКТИВ

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ 3



ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕТЕКТИВ НАЧАЛА XX ВЕКА

Клод Фаррер

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ

Морис Леблан

ВОСЕМЬ УДАРОВ СТЕННЫХ ЧАСОВ

Морис Леблан

КАНАТНАЯ ПЛЯСУНЬЯ

Фредерик Буте

ДВОЙНИК КЛОДА МЕРКЕРА

А/О"КНИГА И БИЗНЕС" А/О"КРОМ"
совместное предприятие LEXICA®
Москва 1993

ББК 84.4 (Фр.)
З-12

Печатается по изданиям:

Фаррер К. Человек, который убил. Л., 1925.
Леблан М. Восемь ударов стенных часов. Харьков, 1926.
Леблан М. Канатная плясунья. М.; Л., 1924.
Буте Ф. Двойник Клода Меркера. Л., 1928.

Оформление *Ю.А.Боярского*

З $\frac{4703010100-035}{002\ (01)-93}$ Без объявл.

ISBN 5-212-00763-1 (т.3)
ISBN 5-212-00760-7

Клод Фаррер

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ

Роман

«Я слышал, как он катился по камням со зловещим грохотом и стоном».

Пьер Лоти

I

13 августа 19.....

Вчера, в пятницу, в девятый день моей новой, турецкой, эры, я был представлен после селямлика его величеству султану. Ничего особенного. Во время моей — увы! — скорее дипломатической, чем военной карьеры немало величеств принимали меня с точно такой же улыбкой на лице, в точно так же обставленных кабинетах. Повелитель оттоманов мало чем отличается от своих собратьев. Пожалуй, только у него более умное и менее заурядное лицо, чем у большинства из них. В остальном все то же, тот же церемониал, тот же протокольный разговор, соответствующий международному ритуалу. Я одинаково мог себя вообразить в Риме или Петербурге.

Зато перед аудиенцией случился довольно любопытный инцидент: в приемной, кроме меня с посланником, было человек двенадцать из дипломатического корпуса; перед окнами происходил пышный парад, предшествующий молитве султана в собственной его величества мечети.

В эту минуту в приемную вошел красавец турок великого черкесского племени, в ослепительно расшитом золотом мундире. Он подошел прямо к посланнику твердой солдатской походкой и, пожав его руку, спросил, указывая на меня:

— Ваше превосходительство, не окажете ли вы мне честь?

Я был сейчас же представлен:

— Мой новый полковник, маркиз Рено де Севинье Монморон.

(Нарцисс Буше, посол республики, никогда не упустит случая блеснуть титулом и звучным именем, которых, к его глубокому сожалению, лишен сам.)

Это, впрочем, пришло мне в голову потом. В тот момент я видел только турка, который пронизывал меня своими темносиними глазами.

— Вы меня не узнаете, полковник? Мехмед-паша!

«Мехмед-паша» здесь почти то же, что во Франции «граф Жан» или «маркиз Пьер». Посланник почтительно дополнил:

— Его превосходительство маршал Мехмед Джаледдин-паша, начальник политического кабинета его величества.

Начальник политического кабинета, иначе говоря, глава всех дворцовых шпионов? Нет, это решительно ничего не вызывало в моей памяти. Турок улыбался.

— Вспомните... яхта герцога д'Эпернон, «Лепесток Розы»!

А! Я сразу вспомнил. Но здесь, в приемной султана, встреча была совершенно неожиданной.

Этой истории лет двенадцать: мое первое путешествие в Константинополь на борту «Лепестка Розы» за столько лет поблекло уже в памяти. Мы целую неделю стояли у Стамбула. И вот, накануне отъезда, д'Эпернон таинственно привел на борт какого-то странного человека, переодетого нищим. Это был впавший в немилость Мехмед-бей, считавший более благоразумным уехать из Турции. И вот, Мехмед-бей снова в милости у султана! Он — паша, он — маршал и верховный начальник тайной полиции! Забавно!

Впрочем, Мехмед-бей мало изменился, и я его, наконец, узнал. Такого солдата не часто встретишь. Он был строен, как копье, силен и гибок, как тигр, и смотрел на вас в упор своими дьявольски сверкающими глазами. При этом широкий и выпуклый, точно панцырь, черкесский лоб и пышная кудрявая шевелюра с едва пробивающейся сединой. Этому маршалу не было и пятидесяти лет. И он не только придворный. В 1877 году Мехмед-бей служил в гусарах и при Плевне под ним убили четырех лошадей! Мне как-то рассказывал все это д'Эпернон.

И вот он — глава шпионов! Удивительная страна!

Мы стояли в амбразуре окна. Мехмед-паша фамильярно опустил руку на мое плечо и заставил меня высунуться наружу. Перед окном дефилировали красные и зеленые зуавские полки.

— Сознайтесь, вам неприятно видеть меня начальником политического кабинета... Да, да! Это вполне естественно... Вы, французы, не любите шпионов. А между тем вы сами кто? Военный атташе... Тот же замаскированный шпион — не так ли? Послушайте, полковник, солдаты могут быть шпионами и все-таки оставаться честными людьми, где бы они ни были, во Франции или в Турции; их мундир издали выдает их врагу, всем врагам. Вы в своем небесно-голубом доломане не захватите нас врасплох; а Мехмед-пашу узнают за версту по его коню. Ну, я принужден с вами расстаться. Его величество сейчас выйдет из Ильдиза. Я должен находиться у дверей экипажа. До свиданья!

Он сделал два шага к двери и вернулся:

— Самое главное забыл. Двенадцать лет тому назад вы спасли мне жизнь! Вы и ваши друзья располагайте мною, как вам вздумается, господин полковник.

Он ушел.

Через четверть часа я заметил его в императорском кортеже. Султан проезжал мимо полков, выстроенных в боевой готовности, мимо склоняющихся перед ним малиновых знамен — знамен Плевны, Кавказа, Фессалии. Великолепные лошади не хотели идти шагом. Их сдерживали изо всех сил. Экипаж был окружен сотней пашей с красными и зелеными лентами через плечо, и вся эта толпа бежала рысью, стараясь не отставать. Один только Мехмед Джаледдин не бежал. Ему достаточно было удлинить свой и без того огромный шаг.

Молитва султана окончилась. Муэдзин пропел с высоты минарета, и полки возвратились в казармы.

Почти без свиты промчался быстрой рысью экипаж султана. Я, наконец, дождался аудиенции, самой заурядной в мире...

У ворот Ильдиза стояла коляска посланника. Моей не было, она куда-то пропала.

Совершенно равнодушный к этому обстоятельству, Нарцисс Бушэ спокойно протянул мне руку.

— До свиданья, полковник! Что, нет вашей коляски? Не унывайте, найдется. До скорого свиданья, не так ли?

Его кучер погнал лошадей.

Приятно думать, что мы когда-то были самой изысканно-учтивой нацией Европы... Правда, это было давненько, во времена моей прабабушки!

Единственное извинение этого господина в том, что ему со мной не по пути. Он доедет до Топ-Ханэ, где его ждет каик, чтобы подняться вверх по Босфору. Посольство помещается еще в летнем дворце в Терапии. Я живу в городе, на улице Бруссы: дипломатические традиции требуют, чтобы военный атташе оставался в Пере как летом, так и зимой. Но улица Бруссы в нескольких шагах от Топ-Ханэ, и пришлось бы сделать только небольшой крюк...

Как бы там ни было, а мне предстояло отправиться домой пешком и в полной форме проделать двухчасовой путь. Пробило полдень — пять часов по турецкому времени. Солнце жгло вовсю, и никаких признаков какого-нибудь экипажа на горизонте. Весело!

Вдруг чья-то рука легла на мое плечо.

— Как, полковник, вы пешком? А ваш посланник?

Мехмед-паша выходил в свою очередь из дворца. Его улан в каракулевой феске подвел ему коня.

— Мой посланник поехал в Терапию, маршал.

— Ага, правда.

Русский или немец не упустил бы случая съязвить по этому поводу. Но турки — азиатский народ, и их спокойная вежли-

вость стоит английской корректности. Мехмед-паша прекрасно все понял, но даже не моргнул глазом.

— Вы поедете на моей лошади, полковник.

— Вы смеетесь надо мной, ваше превосходительство.

— Вы поедете на моей лошади. У меня во дворце есть еще две...

Он обратился к улану и отдал ему приказание.

— Я поеду на той, которую сейчас приведут, маршал.

— Нет. Вы окажете мне честь и поедете на этой. В память о «Лепестке Розы». Пожалуйста, господин де Севинье!

В первый раз за эти девять дней, что я в Турции, меня назвали моим именем, не прикрашивая его титулом маркиза!

Мы помчались рядом через Нишанташ к предместью Таксим. Когда мы проезжали мимо артиллерийских казарм, Мехмед-паша сделал мне два кратких и быстрых, как удары клинка, комплимента, которые мне чрезвычайно польстили.

Один:

— Неужели все французские полковники ездят так хорошо, как вы?

Другой:

— Вам больше тридцати пяти лет или меньше?

Бесспорно, я хорошо держусь в седле и мне по виду дают на десять лет меньше, чем в действительности. Но услышать это из уст такого кентавра с острым, как бурав, взглядом было очень приятно.

В конце Таксима расположена Пера; Пера — город посольства, клубов, гостиниц и кафешантанов, единственный район Константинополя, который мне определенно антипатичен. Но — увы! — именно здесь мне приходится жить! К счастью, моя улица — улица Бруссы — едва ли не самая приличная в этой части города.

— Доедемте со мной до моста,— сказал Мехмед-паша, не замедляя шага.

Мы промчались татарским галопом по извилистому откосу, который огибает эту удивительную лестницу с провалившимися ступенями, так называемую улицу Юксек-Калдирим. Внизу каракейская площадь, точно корсо карнавала, вечно кишит разноцветной толпой. Солдаты гауптвахты отдали нам честь «Салаам дур»! И перед нами развернулся деревянный мост, пестрящий торопливыми прохожими — сказочный мост, переукинутый через Золотой Рог.

На середине моста Мехмед круто остановил лошадь; следовавший за ним с опущенной головой и рассеянным видом улан в каракулевой феске повторил его движение с такой точностью, что даже не уменьшил бывшего между ними расстояния.

Мехмед-паша протянул руку к турецкой столице, залитой сиянием полуденного солнца:

— Вот, полковник, смотрите. Я полагаю, что вы приехали сюда для того, чтобы что-нибудь увидеть... Вы не похожи на тех, которые гоняются здесь за гречанками или армянками. Да, так вот все, что стоит видеть в Константинополе, находится по ту сторону моста, в Стамбуле. Позади вас Галата, Пера, Татаявла, Таксим... Все это — помойная яма! Но впереди Стамбул.

Я поклонился:

— Византия?

— Нет, полковник, не Византия. Пять веков оттоманского владычества похоронили Византию. Не жалейте о ней: она была достаточно отвратительна. Посмотрите, что от нее осталось: эта громада Св. Софии, как неуклюжая крестьянка, неумело раскрашенная в красный и желтый цвета. Византия была богата, тяжеловесна и безвкусна. Это был дряхлый город дряхлой, прогнившей, нелепой империи. А наш Стамбул мы строили с энтузиазмом, потому что мы были молодым, здоровым народом. Посморите на его грациозный и строгий силуэт, подобный силуэту турчанки, закутанной в свой якмак! Посмотрите, полковник; пятьсот лет тому назад мы вошли оттуда — через Топ-Канэ, Пушечные ворота, со стороны этой высокой развалившейся мечети, которая в виде клочьев тумана виднеется над горизонтом крыш! Вот Мирима Джами, построенная во времена Сулеймана Великого царицей луны и солнца. Наши победоносные минареты высятся над Византией, точно памятники славы. Взгляните направо: там минареты султана Селима, налево — султана Ахмета. Впереди, направо, древняя мечеть султанши Валиде, над ней султана Сулеймана, друга вашего короля Франциска I; вон там — султана Баязеда, Нури-Османа; дальше, Мехмед-Фати — завоевателя, и внизу, напротив — два белых острия — мечеть Шах-Задэ, сына Хассеки, которого Рокселана приговорила к смерти. Обернитесь сюда: там мечеть ее брата Джи-ан-Джира, посреди Фундукли, над Босфором. Джи-ан-Джир тоже умер по велению Рокселаны... Все эти камни, которые высятся над Стамбулом, выросли из его почвы, воздвигнутые силою гнева, гордости, мужества и веры. Мы скрепили их своей кровью и кровью неверных. И вся эта кровь, которая лилась, как вода, заслуживает уважения и любви такого солдата, как вы, бравого франкского солдата, умеющего скакать на коне.

Он протянул мне руку.

— До свиданья, полковник. Улан последует за вами и отведет лошадь... Ах! Подождите минуту! Посмотрите вот туда, на гребень Стамбула, налево от базарной мечети. Да, да, вот те квадратные крыши, огромные и безобразные... Это Dette

Ottomane*. Теперь сделайте полуоборот: смотрите на Галату — над башней большое здание... Это банк. Видите? Золотой Рог стиснут между банком и контролем. Подумайте об этом, когда услышите, что Турция погибает. До свиданья! Инш'алла!

Он пустился галопом. Через мгновение я уже не видел ничего, кроме спины, перетянутой красно-зеленой лентой, рыжего крупа лошади и четырех сверкающих на солнце копыт.

Я возвращался медленно, нарочно задерживаясь в кишащей, точной муравейник, толпе. Я не переставал любоваться этим мостом. Это, несомненно,— самый чудесный мост на земле. Что за странные люди, что за своеобразные народности, какая смесь религий сталкивается здесь беспрестанно, стремясь из Стамбула в Перу и из Перы в Стамбул! Фески, тюрбаны, кепи, колпаки, шляпы с перьями — те же ярлыки, отличающие происхождение всех этих мужчин и женщин, явившихся из самых неожиданных стран. На протяжении одного только пролета я встречаю верховых и пеших солдат, носильщиков, согнувшихся под своей ношей, евнухов в красивой одежде; растерявшуюся толпу бухарских паломников, вытаращивших свои монгольские косые глаза; закрытую, точно гроб, гаремную повозку; четырех персов в каракулевых шапках; два несущихся галопом пожарных насоса; десяток турецких женщин, закутанных до смешного в вуали; шесть полицейских, пять имамов, трех дервишей, болгарского епископа, двух сестер милосердия и сотни обывателей, социальное положение которых от меня ускользает. Я забыл еще про неистовый шум, поднимаемый уличными торговцами, загромождающими все тротуары, во все горло выкрикивающими свои невообразимые товары: розовый лукум, анисовый симит, ангорский мед, дворцовую пастилу, клетчатые носовые платки, английские булавки, дамасские абрикосы, открытые письма, фотографии «для мужчин» и настоящую вишневую воду. Все это за один су, за один только су, за полсу: «Он пара, бех пара, бех парайа»...

II

Август.

Сегодня день моего рождения. Мне сорок шесть лет.

Только что я перед большим зеркалом делал себе строжайший смотр. Мне казалось, что этот лишний год должен очень заметно на мне отразиться. Оказывается, нет, не очень.

Мои волосы, правда, седеют, но меньше, чем у других. Главное, они еще настолько пышны, что могут вызвать зависть любого капитана. В обхвате моей талии без корсета 64 санти-

---

* Европейский финансовый контроль.

метра, и хоть я невелик ростом, я кажусь высоким, потому что держусь чрезвычайно прямо. Кроме того, из многих кокетливых привычек я придерживаюсь особенно одной: дочиста брею усы и бороду и среди своих современников похож на портрет времен моей прабабушки. Черт возьми! Ведь я — де Севинье! Не могу же я походить на обыкновенного смертного! Короче, эти бритые щеки еще достаточно свежи, и, даю слово, меня скорее примут за безусого блондина, чем за бритого бородача.

Но тем не менее мне сорок четыре года! Сорокачетырехлетний блондин. Я цепляюсь за свою уходящую молодость, а это всегда ставит в смешное положение. Те, кто прочтет когда-нибудь мои мемуары, которые я листок за листком складываю в ящик письменного стола, хранившего письма покойной мадам де Гриньян, вволю посмеются над старым красавцем. Все же мне кажется, что моя грусть о наступающей старости несколько благороднее пошлого отчаяния мещан, сожалеющих о ножках разных Марго. Я лично жалею только о том, что напрасно, без величия и красоты растратил силы того породистого животного, которым я был и буду едва ли еще несколько лет! Растратил свой гордый дух, не оставив о нем никакого следа в истории...

В этом виноват двадцатый век. Я был создан для века, более богатого приключениями. Не стоило, когда я был мальчиком, набивать мне голову героическим вздором, как это имели несчастие сделать мои родители. В двенадцать лет мои досуги разделяли герои Плутарха и Бюсси д'Амбуаз Дюма-отца. Потом что? Потом я был гусаром, и теперь я — полковник. Но я никогда не видывал сражений, мои двадцать пять лет службы прошли между казармой и посольскими гостиными. Моими полями сражений были кутежи, а командовал я только котильонами. К сожалению, это не одно и то же! И когда, как сегодня, я вдруг замечаю, что мои волосы побелели от этих кутежей и котильонов, вместо того, чтобы поседеть от битв,— у меня становится нехорошо на душе.

III

Я живу на улице Бруссы, в первом этаже обитого железом старинного дома.

Улица Бруссы, идущая ступенями, точно лестница, удивительно похожа на генуэзские улочки, отвесно спускающиеся на via Бальби. Это — узкий, крутой и темный коридор. Солнце никогда не гостит в ней. Прохожие ее обходят. Дождь превращает ее в бурный поток.

Мои апартаменты — апартаменты военного атташе республики — состоят из двух огромных, как церкви, зал и из нескольких неудобных и маленьких комнат. Оба зала соединяются

аркой с турецкими лепными украшениями. В моих глазах это — единственное достоинство здания. К несчастью, дипломатический декорум требует, чтобы мои гостиные оставались гостиными, ввиду предстоящих приемов, и я не могу поставить мою кровать или письменный стол под этим маленьким сводом из черного дерева и фаянса. Я положительно начинаю ненавидеть улицу Бруссы.

Кроме того, эта улица находится в центре Перы. У меня в ушах еще звенят слова Мехмед-паши на каракейском мосту: «Пера, Галата, Татаявла, Таксим — помойная яма».

Пера, Галата, Татаявла, Таксим. Нет, это некрасиво!.. Я еще хорошенько не разобрался, потому что Константинополь — огромный мир. Этот мир разделен Золотым Рогом на два континента, более различных между собою, чем Европа и Америка. С одной стороны — турецкий город Стамбул, воспетый Лоти; с другой — предместья левантинских паразитов: Пера, Галата, Татаявла и другие. Все эти предместья противны. Греческие, армянские или космополитические, христианские,— во всяком случае, они слишком верно отражают жалкое христианство Востока. Улицы Перы, по которым мне волей-неволей приходится шагать каждый день, кишат самой противной толпой, какую только себе можно представить, и нисколько не походят на ослепительный круговорот на мосту через Золотой Рог. Главная улица Перы — карикатурная претензия на наименее парижский из наших парижских бульваров — обладает способностью выводить меня из себя. Все здесь по-обезьяньи подражает Западу: пятиэтажные дома, улицы с трамваями, лавки с английскими вывесками, мужчины в котелках, дамы в провинциальных платьях. Их левантинская внешность мало привлекательна. И я боюсь, что она скрывает за собой нечто еще менее привлекательное — смесь из других, более отвратительных подражаний Западу: мелкой хандры, мелких сплетен, мелкой подлости, мелкого мошенничества и мелкой корысти.

Мой турок-маршал говорил правду: в Константинополе нет ничего, кроме Стамбула. Каждый вечер я с порога этого огромного моста любуюсь Турцией, так отчетливо вырисовывающейся своими минаретами на вишневом фоне заката. Мне еще не удалось туда сходить, потому что все шесть посольств еще на два месяца останутся в Терапии или Буюк-Дере на Верхнем Босфоре, в пяти милях отсюда. И я в качестве приезжего отбываю каждый день наказание, отправляясь с визитами по всем посольствам, переходя от секретаря к секретарю, оставляя свои визитные карточки у так называемых «людей света» — константинопольского света, для которых загадочное происхождение является почти непременной отличительной чертой.

IV

К счастью, дорога от улицы Бруссы в Терапию не совсем неприятна.

В ней два этапа. Первый – сухопутный, второй – по воде. Нужно сначала спуститься с улицы Бруссы в самый низ, потом повернуть налево, по забавной, очень извилистой уличке, названия которой я не знаю. Приходится пройти мимо военного поста и кладбища. По ту сторону квартал совершенно турецкий: одни только деревянные двухэтажные домики с рядом окон, задернутых плотными белыми занавесками. Уголок Стамбула, попавший на улицу Перы. Это нисколько не походит на тот карикатурный европейский город, который расположен кругом. Здесь нет ни мужчин, одетых по лондонской моде, ни дам, одетых по-парижски – по прошлогодним журналам. Одни только рослые, строгие турки и торопливые, закутанные мусульманки. И тишина кругом.

Моя турецкая улочка то извивается, как змея, то раздваивается, то разнообразится тупиками. На некоторых перекрестках, отмеченных фонтаном, я непременно теряюсь, как пройти дальше. Но через какие-нибудь полмили улица отвесно обрывается вниз и вливается в главную улицу Галаты. Галата – это морское предместье Константинополя,– порт, арсенал, набережная,– шумное, грязное, пользующееся дурной славой предместье, но, на мой взгляд, насколько оно симпатичнее пропитанной претенциозным снобизмом Перы! А в конце Галаты я попадаю на Каракейскую площадь и на большой деревянный мост, от которого отчаливают лодки.

Мне было бы втрое ближе и бесконечно проще подняться по улице Бруссы, вместо того, чтобы спускаться по ней и потом пройти по главной улице Перы до фуникулера, который в одну минуту доставит меня куда надо. Но идти по главной улице Перы – нет, благодарю покорно!

На мосту начинается второй этап. Я сажусь на большой колесный пароход, распустивший пышный султан черного дыма. Что за гнусный уголь в этой стране!..

Шесть часов по турецкому времени – пятьдесят минут первого. Отчаливаем с точностью отходящего поезда: свистки, каскады воды, поднимаемые колесами парохода, разноязычный гул голосов и смятение среди лодок и барок перед всколыхнувшим воду судном. Золотой Рог вечно кишит такой массой суденышек, что удивляешься, как эти скорлупки не раздавят друг друга. Колесный пароход – «Ширкет-хаирие», носящий имя своей компании,– не задевает, однако, ни одного из них и меньше, чем в пять минут, точно по мановению волшебного жезла, рассеивает толпу лодок. Вот развернулась панорама: налево – Пера, очень выигрывающая на дальнем расстоя-

нии, направо — великолепный Стамбул: впереди — азиатский Скутари — настоящая роща платанов, фиговых пальм и акаций, в листве которых прячутся маленькие фиолетовые домики. «Ширкет-хаирие» огибает Перу — и перед нами Босфор.

Босфор? Все представляют его себе сразу, не правда ли? Лазурные волны, мраморные дворцы, синее небо, и султанши, жемчужины востока, склоненные над бездной, куда рано или поздно их бросят. Да? Так вот, как раз ничего подобного.

Вода не лазурна и небо не синее. На всем лежит серо-золотистый колорит, и нечто вроде дымки окутывает все очертания, смягчая оттенки. Попадаются мраморные дворцы, но их очень мало: какой-нибудь десяток дворцов разбросан по обоим бергам, тянущимся на верные двадцать километров. Босфор гораздо длиннее, чем его себе представляют. Это — красивая извилистая река, обрамленная лесистыми холмами, близко подступающими к воде. У подножия этих холмов, вдоль реки, расположились селенья с вытянутыми в линию турецкими домиками, с висящими над водой террасами на сваях. Там и сям на набережной остатки древних мостовых с отбитыми плитами; огромная фиолетовая вилла, ияли*, из розового камня или старого дерева; белая мечеть с прекрасным куполом и минаретами, подобными свечам, и местами турецкое кладбище, ступенями спускающееся к воде — кладбище в тени высоких кипарисов и прозрачных ив, под которыми мелькают маленькие мусульманские плиты с золотыми надгробными надписями. Над всем этим какое-то мягкое и неодолимое очарование, очарование гармонии, меры и покоя. Невысокие округлые холмы, широкие, низенькие дома, мягкая европейская зелень листвы, прозрачная дымка, присущая этой природе, как налет — сливе, и солнце, которое золотит и не ослепляет,— все это создает восхитительное и нежное целое, не врывающееся, а мягко проникающее в самую глубину души.

К несчастью, сюда впутались европейцы и застроили берега Босфора. Получилось то же, что и в Стамбуле: на Босфоре имеется своя Пера — десятка три ужасных фасадов, заслоняющих расположенные за ними холмы и похожих то на детские постройки, то на шоколадные домики: это — особняки и так называемые дворцы. Ох, если б мне попасть сюда с моими гусарами накануне сражения! Мы сразу поправили бы дело с помощью керосина и нескольких охапок хвороста!

Половина восьмого по-турецки — четверть третьего. Налево — большое селение Иеникей; направо — маленький городок Беикос. Сзади, на азиатском мысе — Канлиджа, самая очаровательная деревушка на всем Босфоре; впереди — европейский берег: Терапия и Буюк-Дере, избранные места, летняя резиден-

* Вилла на берегу моря

ция всех шести посольств. Там недурно: есть великолепные деревья. «Ширкет-хаирие» причаливает к восхитительному и я л и, цвета запекшейся крови, прислонившемуся к парку, уступы которого покрыты липой, каштаном, буком и кедром, таким красивым кедром, какого я не видел нигде. Это — дворец французского посольства. Туда-то я прежде всего и направляюсь.

Набережная загромождена экипажами. Ворота. Лакеи и кавасы. (Кавасы, это — приведенные к присяге слуги, имеющие право носить оружие и порой злоупотребляющие им.) Вся эта челядь бросается ко мне:

— Господин маркиз...

Ну, теперь примем серьезный вид.

V

Вечером перемена декораций.

Отделавшись от тяжелой дипломатической и светской повинности, я возвращаюсь на «Ширкет-хаирие» к Стамбулу, зубчатый профиль которого выделяется на зареве заката бахромой своих синеватых копий — минаретов пятисот мечетей.

На европейском берегу и на азиатском в деревянных домишках освещается окно за окном.

Мы движемся между двумя полосами света; но это — не современное грубое электрическое и ацетиленовое освещение: это — милые старинные свечи былых времен, это освещение Ватто, подобное рядам звезд...

Колеса парохода громко ударяют по спокойной воде. И Стамбул там, на горизонте, все ближе и ближе: маленькие голубоватые копья растут и становятся отчетливее.

Когда мы подъезжаем к мосту Старого Сераля, стоит уже темная ночь. На Золотом Роге не остается почти ни одной лодки. И Большой мост, недавно кишевший толпой, кажется почти безлюдным: его неправильная и смутная громада непомерно разрастается во тьме. Причаливаем. Сходим на берег. И я каждый раз остаюсь здесь и, склонившись над перилами моста, долго любуюсь чудесным видом ночного Стамбула.

Он развертывается подо мною, спускаясь низко к морю. Трудно сказать, где кончается город и где начинается море, потому что местами дома стоят на сваях в самой воде и бесчисленные лодки теснятся у стен этих домов. Темная груда террас и лодок, переплетенных сваями и мачтами, почти без огней бесконечно тянется с запада на восток. Город спускается в море и поднимается в самое небо.

Передо мной как будто утес, покрытый теснящимися друг на дружку домами. На вершине утеса круглые мечети и остроконечные минареты там и сям выступают из тьмы, сливаясь с звездами. Однообразно синий колорит скрадывает все конту-

ры: молочно-синий колорит, совершенно подобный синеве звездного неба.

Мне грезятся средневековые офорты: старинный замок, зубчатый редут, башни, башенки, подъемные мосты, часовые с алебардами и, притаившись под стенами замка, осаждающий его, вооруженный с ног до головы враг... Но офорт, который передо мною, неизмеримо прекраснее.

Босфор — пастель, Стамбул — офорт. Что за благородный фон для трогательной и кровавой трагедии в старинном вкусе, с нежными дуэтами и резней! Увы, время и дуэтов, и резни миновало.

VI

24 августа.

Сегодня я завтракал в Терапии, во французском посольстве наедине с посланником, его превосходительством Нарциссом Буше.

Вот уже две недели, как я совершаю селям и пью чай в различных дипломатических салонах Перы и Босфора и по необходимости встречаюсь с огромным количеством разношерстных людей, среди которых попадаются и довольно своеобразные. И все-таки я отдаю пальму первенства этому чудаковатому, потрепанному, полинявшему субъекту, несмотря на его неприятную наружность и возраст, который исключает его из нынешнего века.

Нарцисс Буше... Какие чисто гофманские контрасты в этом старике с наружностью мало обтесанного крестьянина! Кто сказал бы, что это всем известный французский миллиардер, соперник Вандерблитов и Рокфеллеров? Сын фермера из Франшконте, с десяти лет круглый сирота без гроша за душой, он вступил в жизнь простым крестьянским батраком. Каким образом оторвался он от земли, в которой, казалось, уже повязли и его ноги? Никто этого не знает. Но в двадцать лет Нарцисс Буше уже в Париже, в качестве воспитанника консерватории, и на первом же конкурсе получает первый приз за игру на скрипке. И вот он — великий артист: может быть, он и был им на самом деле. Во всяком случае, его карьера уже намечена, его успех обеспечен... Но нет. Публичные концерты, светские выступления — это не его сфера. Он слишком груб, от него слишком отдает его родной землей. Он проваливается. Отказывается от искусства. Он исчезает. Долгое отсутствие. Новое появление в новом воплощении, еще более таинственное, чем первое: Нарцисс Буше — миллионер. Ему сорок лет. Он — промышленник, коммерсант, финансист — все вместе. Он задает пышные пиры в своем отеле, и иногда, перед тремястами гостей, насмешливо берется за скрипку, и богач наслаждается

признаньем того самого Парижа, который освистал его, когда он был нищим. Его призывает политика. Партии стараются завлечь его к себе. Но он ловко уклоняется, дожидаясь своего часа. Держа в руках ренту, он сбрасывает министерства, если они ему не нравятся. Все это до того дня, когда заговорили об африканском конфликте и угрозах Германии, когда внезапно была объявлена мобилизация и внезапно же была приостановлена, ибо Нарцисс Буше бросил на чашу французских весов свое денежное всемогущество, и над головой Германии повисла угроза банкротства и голода. Мир продиктован. И Нарцисс Буше — непобедимый дипломат — честно заработал себе титул посланника, пышный титул, так льстивший его самолюбию.

Здесь он живет, как царь, в сказочном дворце, посреди сказочного парка. Вот он у себя в большом зале, заставленном чудесными вещами старинного персидского искусства — подарками визирей и султанов. Вот он передо мной такой же, каким он был всегда и везде: длинный, худой, дряблый, с крючковатым носом, свисающим на сухой подбородок, в черном лоснящемся сюртуке и галстуке, похожем на шнурок от башмака; жалкая фигура отставного классного наставника. Вдобавок спина его от старости согнута. Путь от двери к креслу он совершает брюжжа, хромая и задыхаясь. Но как только он уселся, он устремляет на вас взгляд — и ни один художник всех веков не изобразит этого жестокого, хитрого, недоверчивого, властного и проницательного взгляда... Он заговорил — новая неожиданность: провинциальный акцент, тягучий говор, почти крестьянский жаргон, тяжелые, простодушные фразы, в которых хитрость шита белыми нитками. А ведь именно этот мужицкий голос продиктовал отступление германским войскам, уже выстроенным к бою...

Странное, странное существо, тревожащее, сбивающее с толку, загадочное.

Сколько в нем мелочного, посредственного, порою карикатурного! Манеры мелкого рантье, подобострастное уважение к титулам и знатным фамилиям, странно настойчивое подчеркиванье своего низкого происхождения. Ни на грош интеллигентности или тонкости; а между тем как отчетлива его мысль, как она свободна от всего того мусора, который так затемняет человеческое сознание. Свободна и от излишней щепетильности в вопросах морали. Но тут замешана польза государства,— «дело короля». Во времена моей прабабки в это тоже не всматривались слишком пристально.

А вот и скрипка, чтобы окутать неожиданной гармонией и дипломатию, и финансы — вот что парадоксальнее всего остального: Нарцисс Буше — прежде всего дилетант!..

Мы завтракали наедине. У Нарцисса Буше никогда не было ни жены, ни детей, ничего такого, что обременило бы лишним

грузом его корабль и могло бы открыть уязвимое место ударам врага. У него даже нет племянников,— редкое явление среди королей нашей республики, у которых в большом почете родственные чувства.

Меня предупредили, что его превосходительство, раз лед уже сломан, говорит о себе и редко касается чего-либо другого. Ясно, что только моя роль приезжего заставила его отступить от своих привычек. С самой закуски до десерта Нарцисс Буше ни словом не обмолвился о себе самом, безостановочно и довольно живо рассказывая о турецкой стране и ее обитателях.

Его вступление было довольно оригинальным. Мы только что сели за стол, и через широко открытое окно я любовался Босфором и азиатскими холмами. Он повязывал салфетку вокруг шеи.

— Полковник,— сказал он мне внезапно,— я вижу по вашим глазам, что вы уже влюблены в эту Турцию. Да, да, она недурна. Ну, так если вы ее любите, полюбуйтесь на нее хорошенько и используйте время, потому что вы недолго ее будете видеть: это — обреченная страна.

Не знаю, почему мне внезапно пришли в голову слова Мехмед Джаледдина: «Золотой Рог стиснут между Банком и контролем. Подумайте об этом, когда услышите, что Турция погибает». Мне захотелось высказать эту мысль Буше. Но он уже продолжал своим тягучим и дребезжащим голосом:

— Обреченная. Я вам говорю. Вы еще этого не могли заметить. Может быть, вам трудно будет это заметить, это не военное дело. Но вы не глупы. И если я вам объясню, вы поймете.

Слушайте меня хорошенько! Турки — очень отсталые люди. Они живут так, как мы жили до 89 года: у них есть армия, есть монарх, папа, Бог, и они верят, что это прочно, как железо. В довершение всего, Пророк запретил им давать взаймы под проценты. Этим самым им запрещено всякое коммерческое и промышленное дело. Они обрабатывают землю и занимаются мелким ремеслом. И точка. Впрочем, это — честные, прямые и добрые люди. Вы в этом убедитесь сами: гуляя по Стамбулу, вы заметите, что турок никогда не ударит ни женщину, ни ребенка, ни прислугу, ни собаку. И я думаю, что это можно встретить только здесь.

— Вы понимаете, конечно, что не с такого рода качеством современная нация может пробиться в жизнь. В наши дни народы, не желающие погибнуть, должны идти вровень с веком. Последние сто лет принесли много перемен. Я не скажу, что мы лучше наших прадедов или счастливее их; скорее — напротив. В настоящее время отчаянно много мотов и масса дохнущих с голоду. Но зато уж мы наверное сильнее и хитрее прежних людей. Когда-то существовало одно только средство обобрать богача — грабеж; и богачи защищали свои карманы

оружием. Это было время войн и завоеваний, царства солдатчины. Мы ушли вперед. Теперь уже больше не грабят, теперь играют на бирже и создают акционерные компании. Теперь век премий и дивидендов, царство дельцов. Против дельцов, полковник, солдаты бессильны. Вот почему Турция — обреченная страна.

Я слушаю его, не спуская с него глаз. То, что он говорит — общее место. Но он подкрепляет это своей упрямой убежденностью и своим тяжеловесным умом. Нет никакого сомнения в том, что ему доставляет удовольствие нанести сокрушительный удар всему моему сословию. Бедняк! Если бы он знал, до какой степени мне это все равно...

Он продолжает говорить:

— Турки обречены. Приговорены к смерти. Уже издыхают. И на запах мертвечины уже давно слетелись вороны. Первыми были греки, потом пришли сирийцы, потом армяне, персы, евреи! Все накинулись на падаль и вонзили в нее свои когти и клювы. Тело Турции растерзано в клочья, в мелкие клочья: у воронов хороший аппетит; у них не хватает только размаха. Они пустили в ход мелкое ростовщичество, мелкий захват. На крупные действия они не решались. А между тем стая воронов расшумелась. Ее услышали издалека. В один прекрасный день Европа забеспокоилась. Европа, полковник, сделалась страшно прожорливой; куда прожорливей ворона, и больше его, и сильнее. Это нечто вроде коршуна или американского кондора. И этот кондор, паривший над Турцией целых сто лет, вдруг на нее набросился. Тут уж дело пошло быстрее. Займы. гарантии, конверсии, концессии, откуп, контроль, банк, акциз и фюиты... Нет больше Турции. Остался один скелет. О, будьте спокойны: все сделано по правилам, корректно, честно. Более того — начали умерять аппетиты воронья... Я вам говорю!.. Постойте, в 76 году, группа банкиров Галаты дала взаймы султану не знаю сколько миллионов фунтов, не помню под какие, но довольно высокие проценты. И вот, в 81 году Европа вмешалась: заем был консолидирован, но сокращен. Мы в делах люди твердые! Мы взыскиваем до последней копейки и берем только пять за сто. Только, не правда ли? Надо поощрять промышленность и торговлю... и вот мы требуем железных дорог, мы продаем броненосцы и насаждаем культуру в Македонии. Чтобы заплатить по счетам, султан принужден сделать новый заем. Новые займы, новые проценты. Новый круговорот. Нынешняя Турция — почти не Турция. Это вас удивляет? Но это так: почтовые марки, соль, шелк, рыба, алкоголь — все это у контроля. Ему же принадлежат подати с Болгарии и контрибуция Кипра и Румелии. Акцизному управлению — табак. Специальным обществам — пристани Константинополя и Смирны. Анонимным обществом — все железные дороги, обогатившиеся кило-

метрической гарантией. Что еще? Ах, да! Выплата военной контрибуции России — подарочек 1879 года. Само собой понятно, что греческое, армянское, персидское, сирийское и еврейское воронье налицо: они поедают остатки и им нельзя помешать. Персы платят подать своему послу. Греки торгуют чем угодно. Евреи дают взаймы сто за сто. Они разбогатели бы, если бы не армяне. Армяне разоряют даже евреев! Дальше идти некуда. Что касается болгар, они занимаются контрабандой, вооруженным грабежом и анархией!

— Ах! полковник! Вот что значит не поспевать за веком. Эти несчастные турки умеют только скакать верхом и размахивать шашкой. И когда у них занимаешь два су, у них даже не хватает ума спросить за них четыре!

VII

Пожалуй, мне здесь будет нескучно.

Вчера вечером я мечтал об античной трагедии, которая от пролога до катастрофы протекла бы в бесподобных декорациях Стамбула и Босфора. Не знаю, найду ли я когда-нибудь ее главных исполнителей. Второстепенные роли и статисты — налицо. Сцена необычайно живописна. Это — привилегированная страна...

Вчера я впервые вступил в местный мелкобуржуазный свет, само собой разумеется, христианский. Я попал в греческий дом в Иеникейе, куда меня привел военный атташе Австрии, мой старый лондонский товарищ. И я нашел там массу комичного.

Было время визитов. Мы встретились в Терапии и вместе пошли вдоль Босфора по набережной, огибающей залив Календер и тянущейся вокруг старого императорского здания, где когда-то был подписан не помню какой русско-турецкий договор. Дальше, за тяжелыми решетками выстроились греческие или армянские дворцы. Гм! Нарцисс Буше говорил о воронах, разжиревших от турецкой падали... Эти дворцы подтверждают его слова. Да, они богаты, нагло и подозрительно богаты, эти восточные христиане, о которых вот уже целый век так чистосердечно жалеет добрая Европа.

Через сто шагов начинается Иеникейя: большое, населенное предместье, пересеченное садами из огромных деревьев. Дорога уходит в сторону от берега и тянется между двумя рядами домов.

Когда мы подошли к фасаду, разукрашенному в греческом вкусе горизонтальными полосами цвета ванили и лимона, мой австриец фамильярно кивнул головой.

— Гостеприимное жилище Колури, знаете?..

— Нет, не знаю.

— Да ну? Пожалуйста, не втирайте мне очки.

— Уверяю вас, я не знаю этих людей.

— Вы не знаете мадам Колури? Вы не знаете девиц Колури? Красавицу Калиопу? Красавицу Христину? Действительно не знаете? Но, дорогой мой, что вы тут делаете целый месяц?

И он тянет меня в мгновенно раскрывшуюся дверь.

Внутри все похоже на любой дом в Смирне или Салониках. Это – не пышное убранство банкира или судохозяина, имеющего собственные пароходы на Босфоре. Тут полуроскошь, лишенная комфорта; передняя, голая, как церковь; деревянная, дрожащая и пыльная лестница и гостиная. Гостиная насколько возможно заставлена безделушками: три маленьких столика, пять чайных столов, четырнадцать консолей или этажерок; все это загромождено претенциозными, будто бы художественными редкостями. Но это не самое оригинальное: безделушки – ничто в сравнении с ширмами.

Ширмы в салоне Колури – это альфа и омега всей обстановки. Они неожиданным образом размножаются. От одной стены до другой я насчитал восемь штук. Восемь ширм, турецких, персидских, китайских, японских, французских, восемь довольно высоких ширм, создающих своими зигзагообразными стенками восемь добавочных уголков, а вместе с четырьмя основными углами комнаты – двенадцать восхитительных, остроумно скомбинированных тайников. Настолько остроумно, что, когда я вошел в эту комнату, полную гостей, я подумал, что она пуста! Но это – минутное впечатление. Во всех двенадцати уголках болтали, что есть мочи.

Стереотипное представление. При слове «маркиз» хозяйка дома, сначала совершенно бесстрастно сидевшая в своем кресле, вскакивает, как автомат. Я так и знал. Ведь мы в Константинополе.

— Калиопа! Христина!

Третьи и седьмые ширмы задвигались. Появились Калиопа с Христиной.

— Мои дочери, господин маркиз...

Сюрприз: Калиопа так походит на Христину, что я ни за что на свете их не распознал бы. Те же правильные, твердые черты, чуть-чуть тяжеловатые; те же красивые, бесконечные, длинные глаза, тот же матовый теплый цвет кожи, те же чувственные губы. И, конечно, одинаковый туалет. Возраст: между двадцатью и тридцатью. Более точно сказать абсолютно невозможно. Вероятно, двойни. Но как их не путают ухаживатели?

Между тем мною завладевает мадам Колури. Кресло отставлено, и мы оба на диване шахнишира. Шахнишир – это закрытый стеклянный балкон, какие имеются во всех домах на Востоке. В гостиной Колури шахнишир образует тринадцатый

загроможденный уголок, которому зеленые растения в кадках придают такой же укромный вид, как и у других двенадцати.

Нет больше ни Калиопы, ни Христины. Они скрылись снова за своими верными ширмами. Их, конечно, там ждали с нетерпением. Теперь гостиная снова кажется пустынной, несмотря на глухое журчанье в двенадцати клетках. И за зелеными растениями мы с мадам Колури совершенно одни.

Мадам Колури улыбается мне чрезвычайно томно. Она повернулась ко мне так, что ее правая нога касается моей левой от щиколотки до колена, и во время разговора ее рука чаще притрагивается к моим брюкам, чем к ее платью. Я не уклоняюсь: нужно приноровляться к обычаям страны. Мадам Колури вовсе не дурна: она сохранила больше, чем остатки красоты, и в полумраке ей можно дать самое большое тридцать девять весен.

Она говорит. Но ее слова менее выразительны, чем жесты. Голос подлинной гречанки – хриплый до последней степени.

— Значит, вы из Франции, маркиз? Хорошо ли проехались?

Я наугад отвечаю «да», полагая, что она хочет спросить про мое путешествие.

— Я знала по газетам, что вы приедете. Мне очень хотелось с вами познакомиться. Но я была уверена, что кто-нибудь из моих знакомых вас приведет, и я делала терпение.

«Делать терпение»? Здесь говорят на специальном языке. Я убедился в этом еще раз: седьмая ширма шумно отодвинулась. Мадемуазель Калиопа... или мадемуазель Христина? которая из них? – с громким смехом высунулась вперед:

— Представьте, maman, мадам Филомен разошлась со своим старым зеленым платьем.

— Ее муж сгорит,– ответила, поднимаясь, мадам Колури.

Она направляется к седьмой ширме. Происходит мгновенный обмен: мадемуазель Калиопа замещает ее в шахнишире. Калиопа, а не Христина: я, не смущаясь, поставил этот вопрос, и мне улыбнулись.

— Да, мы с сестрой очень похожи. Иногда выходит очень забавно. Значит, вы из Франции? Вы хорошо проехались?

И все повторяется сначала до конца, чтобы не рассмеяться. Я наблюдаю за рукой, которая, несомненно по наследственности, ложится на мое колено. Это красивая, холеная, несколько крупная рука; крупнее моей; правда, не одна женщина пожелала бы иметь такую руку, как моя.

Мадемуазель Калиопа заметила мой взгляд.

— Ах! Не смотрите! У меня ужасная лапа. Но зато ваша рука хороша, не правда ли?

Она сует мне руку в самый нос для оценки. Я не могу уклониться от скромного поцелуя. Она подняла широкий рукав до самого плеча.

Короткий поцелуй. Позади одной из ширм шорох. Мадемуазель Калиопа разглядела сквозь листву, в чем дело.

— О, пардон! Эмир Шекиб уходит, я должна с ним попрощаться...

Она бросается туда. Я не знаком с эмиром и обращаю лицо к стеклу. В щель между занавесками я вижу конец улицы, какую-то стену, сад...

Но вот вернулась девица с красивыми руками. Она снова садится, снова кладет свою руку на мое колено. Я продолжаю нашу беседу с того места, на котором мы остановились, несколько выше локтя. Она не сопротивляется и вздыхает.

— Мадемуазель Калиопа...

— Нет, не Калиопа... Христина. Калиопа была здесь прежде.

Черт возьми! Это забавнее, чем я думал!

VIII

30 августа.

Мне, как приезжему, начинают возвращать визиты. Каждый день с пяти до семи под маленьким лепным сводом, соединяющим мои два салона,— международный парад. Я принимаю в менее огромном из моих двух зал, в который попадают, проходя через большой.

И вот атташе, секретари, советники и министры, члены контроля, члены банка, члены акциза, финансисты, богачи всех племен — вороны, нет, коршуны всевозможного размаха приходят ко мне совершать селям. Мой слуга,— кроат, расшитый золотом, как того требует мода,— подает им очень дорогой турецкий кофе, который, однако, много хуже кофе за десять пара — один су — в деревенских кофейнях на Босфоре.

И каждый прием приносит мне новое разочарование... Да, я разочарован, и разочарован до смешного.

Дело вот в чем. Я здесь — в столице страны, ощипанной до нитки, обманутой, сжатой в тисках и растерзанной на куски. Я живу в самом стане эксплуататоров,— и сам эксплуататор, ибо я — европейский чиновник. На каком основании я наивно надеялся, что эти люди, вооруженные когтями и клювами, будут чем-нибудь отличаться от моих парижских знакомых?.. Конечно, я не думал здесь встретить костюмированных корсаров. В настоящее время от Норд-Капа до мыса Горн мужчины, кто бы они ни были,— патагонцы, романцы или скандинавы,— если только это позволяет им кошелек, по вечерам надевают одинаковые фраки и одинаково целуют руки женщин. Но под фраком и галстуком с жемчужной булавкой я надеялся разглядеть клеймо странной профессии этих людей, посланных Евро-

пой сосать турецкую кровь... Черт возьми, должны же где-нибудь да высунуться концы щупальцев!

Увы! — ничего подобного. Напротив. Мои посетители — финансисты, палачи Турции; посланники, сторожевые собаки финансистов — все одинаково милы и воспитаны. Некоторые из них остроумны, другие просто умны, все культурны. Их жены любезны и иногда порядочны. Словом, мои коршуны симпатичны с ног до головы и имеют вид почтенных людей, даже деликатных для нашего грубого века.

Вот оно, мое общество! Вместо пиратов передо мной светские люди, живописные, как асфальтовый тротуар. Очень хорошо! И в Константинополе, где Стамбул — офорт, а Босфор — пастель, посреди пестрой толпы, кишащей на большом мосту, среди хаоса из пятнадцати племен и двадцати фанатических религий это кажется бледным, бесцветным пятном.

Exceptis exceptionibus,— как говорили во времена моей прабабки...

IX

Воскресенье, 4 сентября.

Черт возьми, да! За исключением исключений. Я отдаю почетную дань дипломатам и финансистам. Выходящая от меня пара, пожалуй, является ярким пятном даже на фоне восточной декорации. Это двое мужчин. По справкам в словаре, слово «пара» применяется и к мужчинам, когда оно дополняет количественное представление «два» идеей «взаимной любви» или «общности интересов». Мне думается, здесь именно последний случай.

Эта пара позвонила ко мне в то время, когда я был погружен в чтение «Баязета», турецкой трагедии Расина. Я дошел до своего любимого двустишия:

«Страшись безумия отчаянной влюбленной:
Лишь слово мне сказать — и ты погиб».

Когда мой раззолоченный кроат просунул поднос с карточками между мной и Расином, я прочитал:

Сэр Арчибальд В. Фалклэнд,
английский директор Dette Ottomane.
Князь Станислав Чернович,
второй секретарь русского посольства.

Обе карточки были отпечатаны на пергаменте одинаковым шрифтом. (Здесь пергамент в большой моде для визитных карточек.)

Я несколько удивился: Англия вовсе не так уж дружна с Россией, особенно в турецких делах, чтобы чиновники этих стран выступали сообща. Но, впрочем, это меня не касается.

Я приказал принять.

Англичанин вошел первым. Из глубины огромной гостиной мне показалось, что он вошел один. Под лепным сводом ему пришлось нагнуться: это — великан; но он так пропорционально сложен, что сначала даже не замечаешь его роста: он бросается в глаза только рядом с дверью или под низким потолком.

Он остановился за несколько шагов, церемонно отвесил поклон и назвал свое имя. Потом, отодвинувшись в сторону, открыл мне своего спутника, до сих пор невидимого за его спиной. И я был так поражен этим фантастическим явлением, что князь Чернович тоже успел мне поклониться и назвать себя раньше, чем я овладел собой.

Но я в ту же минуту отметил существенную характерную черту этой особы, так ловко умеющей стушевываться. Я уловил его физическую гибкость — гибкость резинового плясуна. Он сумел скрыться за спиной этого колосса, как предатель из какой-нибудь мелодрамы: я увидел его только тогда, когда он сам этого захотел. И потом, без всякого перехода, он сделал точно такой же поклон и произнес такое же приветствие, как англичанин — тот же короткий кивок головой, тот же британский акцент. Для этого славянина, похожего на кошку, было настоящим подвигом подражать этому отлитому из железа саксонцу.

Я указал им кресла. Они уселись и извинились за свой небрежный вид, вернее говоря, Чернович принес общие извинения, а Фалклэнд только поддержал его кивком головы. Они были в пиджаках и коротких брюках и отправлялись в Буюк-Дере играть в поло. Им не хотелось дольше откладывать возможность со мной познакомиться.

— Мы так жалели о том, что вас не видали позавчера в Контроле и в посольстве!.. Мы уезжали на охоту в Азию.

Затем наступает молчание. Долг вежливости исполнен. Оба безмолвно и с большим вниманием смотрят на меня. Их глаза стоит отметить: у Фалклэнда они удивительно неподвижные и бесцветные. У Черновича очень живые и зеленые, как у филина: ночью они, должно быть, светятся...

Забавные субъекты; они особенно заметны на элегантно-сером фоне всех здешних карьеристов! Одного только их спортивного одеяния достаточно, чтобы их отметить. И тот и другой, как видно, не очень церемонятся с этикетом и формуляром. Но на этом кончается их аналогия: я редко встречал таких различных людей. Фалклэнду можно дать сорок лет, и все в нем словно стремится подчеркнуть впечатление мощи и твер-

дости, которым веет от его гигантской фигуры. Его лицо, широкое, как морда, заканчивается четырехугольным подбородком, сильным, как челюсть собаки. Кресло, в котором я его усадил, слишком узко для его тела, и крепко сжимающие одна другую руки похожи на тиски. Чернович, напротив, тонок, как шпага, и подобрался на стуле, точно готовый прыгнуть ловкий и хрупкий зверек. Его молодое, обрамленное шелковистыми усами лицо вызывает в памяти лица пажей на флорентинских картинах. Он грациозен, хитер и циничен. И если б я был женщиной, я боялся бы его, как огня...

Молчание не нарушается. Я вовсе не из робкого десятка, но этот дог рядом с этой кошкой-тигром создают такую странную комбинацию, что я теряюсь. Я поднимаюсь, звоню, чтобы подали кофе, и сажусь снова. За эти три секунды,– я не успел даже оглянуться,– флорентинский паж овладел моим Расином и принялся его перелистывать.

– А, «Баязет»... я отгадал, что вы – знаток литературы...

Очарование пропало, и я едва удерживаюсь от припадка смеха. Но он продолжает и, право, говорит не так уж глупо:

– Для того, чтобы любить Расина, надо быть знатоком литературы и человеком Запада, человеком старой расы. Мы, поляки, представляем Запад на востоке.

Ага! Он – поляк. Теперь я понимаю, откуда эта змеиная гибкость и почему все его черты дышат такой предательской лаской...

– Расин – первоклассный поэт. Самый вкрадчивый, самый волнующий, самый...

Он дополняет свою мысль спиральным движением руки. Я слушаю. Я ожидал всего, только не реферата о Расине!

– Он очаровательно безнравственен, он снисходителен ко всем жизненным порокам, адюльтеру, кровосмесительству, убийствам, предательству, западням, не так ли? В самом деле, этот милый, симпатичный Баязет, в сущности... (он произнес слово, которое я не решаюсь написать). Черт возьми! Ведь этот субъект живет за счет женщин. Без Роксаны он был бы ничтожеством. Добавьте к этому, что он нечистоплотен: в нем нет даже профессиональной честности, он отказывается платить... Хуже, он не отказывается прямо, он лицемерно прячется за лживыми доводами и расточает сладкие слова, вроде:

«Со временем решусь на большее, быть может.
К чему спешить? Сначала дайте мне
Почувствовать в душе к вам благодарность...»

– Короче: плати, а там поговорим. Каков негодяй! Апаш с Монпарнаса и тот не поступил бы так!

Черт возьми! Он декламирует на память, закрыв книгу! И хорошо декламирует, с верными интонациями... но вот он приходит в настоящий экстаз:

— Расин, развращенный и утонченный человек, такой же, как мы с вами. У него голубая кровь. Вы — аристократ, мосье де Севинье, и это доставляет нам, мне и сэру Фалклэнду, большое удовольствие, потому что люди нашей касты редки в этой стране. Впрочем, страна хорошая, любопытная: масса искателей приключений, масса негодяев. Но не с кем вести знакомства. Мое имя Чернович. В нашем роду было пять королей.

Великолепное заключение, достойное начала. Расин первый позеленел бы от него. Но я совершенно забыл сэра Арчибальда В. Фалклэнда. Слова «аристократ, каста, король» развязали и его немые уста.

— Да, мы очень рады вашему приезду. Я лично непохож на князя: я равнодушен к поэзии. Я больше люблю геральдику. В Трансваале я все вечера, проведенные на бивуаках, читал вашего Николая Берея. Любопытно! Ваш герб — серебряный четырехпольной щит — я знаю. Мой тоже серебряный: два зеленых тигра с открытой пастью. Я из шотландских Фалклэндов из графства Файф. Фалклэнды из Оксфордшира — нам не родня. Тринадцать воинов нашей крови пали под Гамильдоном в 1402 году, и при Роберте Брюсе один из Фалклэндов нес его знамя в день Баннокбурна. Кроме того, в нашем замке умер король Карл V. Несмотря на все это, мы — не лорды, а только баронеты.

Он изъясняется на хорошем французском языке, но говорит страшно медленно. Ясно, что из них двоих не он главный оратор. Но когда дело идет о геральдике, его язык развязывается. Он оживляется, краснеет тем нахально-надменным английским румянцем, который легко выводит из себя нас, латинян. Красные пятна, испестрившие все его лицо, придают ему кирпичный оттенок.

...Значит, это могучее животное с руками преступника заполняет свои досуги перелистыванием геральдики господина Николая Берея...

— Вы жили в Трансваале, сэр Арчибальд?

— Не жил, нет. Я участвовал в экспедиции Джемсона.

Ага, вот оно что! В довершение всего, разбойник с большой дороги. Он совершенно просто продолжает:

— Я люблю охоту. Мы с князем охотимся на кабана и медведя на земле Абраама-паши и в лесу Алемдага.

Похоже на то, что эта охота не стоит той, Джемсоновой охоты — охоты на буров. Я подозреваю, что его настоящее призвание — быть пиратом. Не спросить ли его об этом? Но некогда: они поднимаются. Поляк снова берет слово.

— Время играть в поло. Извините нас. До свидания, мы еще как-нибудь поговорим о Расине.

Два пожатия, одно резкое, другое вкрадчивое, хотя тоже сильное. Этот гибкий славянин с шелковистыми усами обладает крепкими нервами и мускулами.

Они уходят. Сэр Арчибальд, как и раньше, наклоняет голову под сводом, Чернович скользит за ним неслышными шагами.

Ушли. Я гляжу на них из окна. Улица Бруссы кажется мне менее мрачной. Мне хочется выйти, слиться с толпой, потолкаться среди армян с клювообразными носами, полюбоваться на высоких и серьезных турок, случайно заблудившихся в Пере.

X

Пятница, 9 сентября.

Сегодня утром мне захотелось еще раз взглянуть на селямлик. Этот военный парад в самом деле прекрасен. Турки — великолепные солдаты, я это знал. Но слишком часто – в Фессалии, в Македонии – я видел их оборванными, нищими и настолько лишенными всего, что на них больно было смотреть; от внешности солдата у них сохранились только гордый взгляд и начищенное оружие. Императорская гвардия, которую я вижу здесь, одета лучше; на сапогах подметки и мундиры без дыр. Все это выглядит так же блестяще, как у нас, и даже еще прочнее.

Мне хотелось снова взглянуть на этих солдат. И хотелось увидеть лучшего из них, моего великана-черкеса в шитом мундире, маршала Мехмед Джаледдина. И я его увидел. Мехмед-паша, узнав о моем присутствии, пришел, как и месяц тому назад, в приемную пожать мне руку.

Солнце струило свет в открытые окна. Мечеть Гамидие, вся из белого мрамора, сверкала точно снежный дворец. Вдали голубой и золотистый Босфор расстилался между Скутари и Стамбулом.

— Прекрасный день, господин полковник, не правда ли? Это прощальные дни лета, которое у нас, в Турции, кончается внезапно. Может быть, сегодня будет последняя пятница на Сладких Водах. Вы там были? Нет? Тогда не откажитесь сегодня вечером разделить со мной мой «каик».

Я с восторгом принимаю приглашение.

Я знаю, что Сладкие Воды – это речка, на которой летом по пятницам встречаются все изысканные каики Босфора. Мне еще не привелось видеть это зрелище. Я буду вдвойне рад участвовать в нем в компании с этим турком, который куда

симпатичнее всех моих здешних знакомых. Он, по крайней мере, не из стаи коршунов и воронов.

Каик Мехмед-паши — великолепный трехвесельный каик метров в двенадцать длины, широкий как раз настолько, чтобы в нем можно было усесться вдвоем. Это — нечто вроде большой, вытянутой в длину пироги из лакированного дерева с чудесными лепными и золотыми украшениями. На веслах три албанца в легких белых костюмах. Сиденье устлано мягкими подушками и персидскими коврами, так что на него ложишься, точно в постель, и спокойно скользишь по воде с невообразимой быстротой.

Мы отчалили от Дольма-Бахчэ, ближайшей к Ильдизу пристани, в десять часов по турецкому времени (за два часа до заката солнца). Солнце еще высоко, а мы уже почти въезжаем в Сладкие Воды. За три четверти часа мы сделали три мили против течения.

Мехмед-паша сидит справа: в каике почетное место — левое. Он не проронил и трех слов со времени нашего отъезда и молча смотрит на мелькающие мимо нас европейский и азиатский берега. Он назвал мне несколько красивых дворцов: Черахан, где умер султан Мурад V; Бейлербей, где жила императрица Евгения, которую любил султан Абдул-Азис. Турки — народ, расположенный к созерцанию. А этот турок, такой разговорчивый в дипломатической гостиной Ильдиза, положительно немеет перед видом зеленых холмов, покрытых огромными деревьями и маленькими домиками. Но вот и мыс, за которым начинаются Сладкие Воды: река, скользящая в камышах. Мы въезжаем.

Направо — мраморный киоск среди луга; налево — несколько деревянных домиков прислонились к четырем старым-старым, обвитым плющом, башням.

— Анатоли-Гиссар, азиатский замок: Мехмед-Фатих...

Ага! Понял. Это — крепость, построенная завоевателем на азиатском берегу перед тем, как он перешагнул через Босфор, идя на штурм в 1453 году. Обожаю краткие объяснения.

Нам попадается навстречу первый каик с тремя европейскими дамами под зонтиками. Третья сидит на корточках, по-заячьи, весьма не изящно. Мы обгоняем несколько лодок, и я замечаю много красивых турчанок, грациозно завернутых в свой чарчаф из черного тюля. Я говорю, что они красивы, и сужу об этом не только по их тонким талиям и восхитительным рукам (таких тонких и прозрачных ручек нет ни у француженок, ни у испанок); чарчаф похож на вуалетки наших дам и так прозрачен, что сквозь него я свободно могу любоваться прелестными умными личиками, на которых блестят большие черные или мягкие синие глаза. Эта нежная турецкая красота щедро вознаграждает меня за Венер из Перы в стиле Колури,

всегда тяжеловатых и грубых. Я не могу удержаться, чтобы не высказать своей мысли Мехмед-паше, думая, что это польстит его патриотическому чувству. Но я попадаю неудачно. Мехмед-паша — верующий.

— Да,— отвечает он кратко,— наши женщины красивы, но я предпочел бы их видеть более скромными и не так бесстыдно обнаженными.

Я, конечно, принимаю это к сведению и не говорю больше ни слова: Мехмед-паша безупречно вежлив, но тем не менее он — маршал, и, несмотря на нашу все растущую близость, военная иерархия сохраняет между нами свою силу.

Минута молчания. Мехмед-паша продолжает, уже не так сурово:

— Впрочем, я напрасно сержусь на этих бедняжек, которые виновны только в том, что заразились западной болезнью. Да, полковник, это ваши христианские женщины подорвали добродетель наших женщин. Как можно требовать от мусульманки, чтобы она вернулась к своему густому покрывалу, когда она ежедневно сталкивается с голыми от волос до плеч дамами из Перы и видит, что мы относимся к ним с уважением.

Я скептически возражаю:

— Господин маршал, неужели вы думаете, что добродетель женщин измеряется плотностью их вуалей?

Он не улыбнулся. Его глаза смотрят печально.

— Женская добродетель, господин полковник, подобна тем большим подносам, уставленным стеклянной посудой, которые фокусник удерживает в равновесии на острие шпаги. Не важно, каков поднос и какова шпага; но если поднос поднят, не дотрагивайтесь до него, иначе все разобьется. Наши женщины живут с закрытыми лицами; ваши не знают покрывал. Зато ваши девочки вырастают, не зная того, что наши знают уже с четырех лет. Какое это имеет значение? Никакого. Но я уверен, что было бы очень опасно для ваших детей одновременно с азбукой узнать, как они впоследствии будут рожать сыновей, так же как опасно для наших женщин выйти на улицу без чарчафа. Женщины и дети неразумны, и, чтобы руководить ими в жизни, необходимо их беспрестанно забавлять какой-нибудь игрушкой.

Он умолк, бросив вокруг быстрый и проницательный взгляд. Извилистая река протекает теперь по узкой и тенистой долине. На ней кишат лодки. Гораздо чаще, чем каики, встречаются обыкновенные, «экономные» лодки — в них может усесться целых шесть человек, вместо двух. Здесь и там попадаются английские «иоли», очень красивые, но чуждые на этом азиатском фоне. Английские мисс с голыми руками гребут под завистливыми взглядами осужденных на праздность турчанок.

Мехмед-паша внезапно кладет свою руку на мою.

— Посмотрите! Эти Сладкие Воды символизируют весь наш город. Здесь встречаются азиатские женщины с европейскими, оглядывают друг друга, сравнивают и завидуют. И трудно придумать что-нибудь более нездоровое для тех и других. Они подробно изучают здесь, как себя вести. Настолько, что в Стамбуле на улицах такой же позор, как и в Пере. Наши мусульманки, живущие в Бруссе или в Конии, совсем иначе чтут заветы пророка! И я нисколько не сомневаюсь, что ваши христианские женщины так же добродетельны в своем краю. Но здесь... Господин полковник, я — глава политического кабинета его величества, и вы понимаете, что нет такого турецкого или франкского дома, куда мои обязанности не заставили бы меня заглянуть. И вот, как я ни стараюсь не видеть того, что не интересует ни империю, ни ислам, я слишком часто невольно являюсь свидетелем таких вещей, от которых я, старик, невольно краснею.

Мехмед-паша понижает голос:

— Да, я видел это невольно. Посреди Стамбула есть большой квартал, называемый Абул Вефа. Когда-то этот квартал походил на все остальные. А теперь я предпочитаю не рассказывать вам о том, что в нем происходит теперь. Вот до чего довело Турцию подражание Западу. И все-таки, господин полковник, хоть наш Стамбул портится от соприкосновения с вашей Европой, но поверьте моему слову: ваши европейцы, переселившиеся к нам, хуже чем портятся: ваша Пера, может быть, еще гнуснее, чем квартал Абул Вефа.

Мы — в самом красивом месте Сладких Вод. Оба берега превратились в холмистые луга, поросшие чудесными платанами, кедрами, дубами, ивами, кипарисами, тонкими, как стрелы. И под этой листвой, которая богаче зеленью всевозможных тонов и оттенков, чем полотна Коро, я вижу группы турчанок, сидящих на земле. Их шелковые платья, цвета розы, жасмина, сирени, мальвы, василька, пиона, лютика, фиалки, незабудки или иван-да-марьи, похожи на огромные яркие цветы, разбросанные по лугу. И эти платья-цветы, рассеянные под деревьями, необыкновенно красивы. Сельские жительницы одеваются здесь одним куском шелковой ткани, закутывающим их от затылка до пяток; даже волосы их скрыты под капюшоном из того же шелка; они напоминают богоматерь на старинных иконах. Я вижу много таких фигур на берегу, как будто немых и недвижных. Они задумчиво и сосредоточенно глядят на блестящую воду, на лакированные каики, на светлые платья и зонтики и бархатную даль лесов.

Между тем наш каик причалил к берегу. Мехмед-паша соскакивает на землю и предлагает мне последовать за ним.

— Хотите погулять немного? Мне надо по делу, это в двух шагах отсюда.

Нет, мне не хочется. Мне так хорошо в этой большой удобной лодке, так приятно чувствовать свежесть реки и легкий аромат зелени. О, до чего невыразима прелесть летнего вечера на Босфоре...

Нужно немедленно завести свой каик. Никакой экипаж, никакое катанье с ним не сравнится.

Иоли, лодки всякого рода, продолжают бесшумно, мягко, сладострастно скользить взад и вперед. Сквозь прозрачные чарчафы, из-под навеса зонтиков глядят на меня прелестные лица, восхитительные глаза.

Там, внизу, у подножья платана, в ста шагах от берега, видна синяя туника Мехмед-паши. Перед маршалом стоят, вытянувшись, два солдата. Мехмед-паша держит в левой руке бумажку и набрасывает на ней какой-то приказ.

А! Необыкновенно изящный двухвесельный каик поднимается вверх по течению и сейчас проскользнет мимо меня. Это каик какого-нибудь посла или финансиста. На корме сидит на корточках кавас, в красной с золотом ливрее, в остроконечной шапке; сбоку у него палаш; если не ошибаюсь, это — английская ливрея. Каик приближается. В нем — дама, лица которой я не вижу за зонтиком. Но вот солнце спустилось за деревья и зонтик закрыт.

Какое восхитительное видение! Она так молода и хороша, эта дама в каике, хороша, несмотря на покрывающий ее личико налет какой-то таинственной грусти. Она прижимает к груди прелестного мальчика с большими темными кудрями. Больше я ничего не успеваю разглядеть. Все же я поймал налету взгляд гордых и вдумчивых темных глаз. Каик промелькнул мимо.

Внезапный толчок: Мехмед-паша вернулся и, прыгнув прямо на подушки, уселся рядом со мной.

— Господин маршал, заметили вы этот английский каик? Кто эта женщина?

— Неужели вы не знаете? Ведь это дама вашего общества, господин полковник! Это леди Фалклэнд. Жена английского директора контроля.

Я раскрываю рот от изумления... Как, мой шотландский дог, охотник на медведей и буров, женат? И женат на вандейковской или тициановской принцессе? Не может быть!

Мехмед-паша смотрит на меня с любопытством. Но турок никогда не задает вопросов. Я изо всех сил стараюсь снова увидеть этот двухвесельный каик, который далеко впереди. Но вот он сделал полуоборот. Настал час, когда все покидают Сладкие Воды. Еще мгновенье — и солнце скроется за Европейскими холмами. И в ту же минуту солдаты и полицейские,

блюстители мусульманской добродетели, заставят сидящие на земле цветки-платья вернуться в свои экипажи, лодки и гаремы.

Наши гребцы не торопятся, каик с красной ливреей обгоняет нас, он направляется к берегу, причаливает. На берегу стоит торговец сладостями, собирающийся уже закрыть свой большой стеклянный ящик. Леди Фалклэнд подзывает его красивым звонким голосом:

— Хельваджи!

Торговец бросается к ней. Я вижу, как красавец мальчик восхищенно тянет к нему свои ручонки. Мать с веселой улыбкой наполняет эти ручки медовыми лепешками, похожими на блины, которые складывают вчетверо, прежде чем отправить в рот. Но этого еще мало. Слуга развернул большую бумагу, и в нее накладывают лукум из фисташек, дамасское абрикосовое тесто и огромный кусок халвы; турецкая халва — это нечто вроде твердого крема из миндаля и меда.

Все эти вкусные вещи складываются в лодку на колени каваса в остроконечной шапке. Должно быть, леди Фалклэнд — очень любящая мать.

Наконец, деньги за покупки отданы и каик отталкивается от берега. Наш каик продолжает медленно идти вперед. Еще раз, задержавшись в толчее лодок, леди Фалклэнд проезжает мимо нас. Она улыбается Мехмед-паше, который поклонился ей по-турецки, приложив руку ко лбу.

Какая странная, детская и вместе горькая улыбка! Она улыбается полуоткрытым ртом, как девочка. Но ее лицо не освещается улыбкой... Да, могу себе представить: не очень-то весело иметь мужем Арчибальда Фалклэнда.

Река становится шире. Гребцы замедляют ход. Слева луга, окружающие императорский дворец-киоск; справа — разрушенные башни Анатоли Гиссар и деревянные домики, приткнувшиеся к их подножью. И вот перед нами развертывается Босфор.

Мы с невероятной быстротой мчимся к Стамбулу. Солнце зашло, и горизонт, только что весь покрытый охрой и пурпуром, начинает принимать свой подлинно турецкий карминный колорит, на котором Стамбул фантастически вырисовывает свой длинный синеватый хребет, ощетинившийся минаретами.

— Господин маршал, что за женщина леди Фалклэнд?

— Леди Фалклэнд, господин полковник,— жена очень неприятного мужа. Сэр Арчибальд Фалклэнд, директор финансового контроля,— большой чудак: ему мало под супружеским кровом держать любовницу, он задается целью жениться на этой любовнице и путем развода избавиться от жены, украв у нее единственного, обожаемого ею сына. В ожидании этой близкой и неизбежной развязки, леди Фалклэнд живет, как чужая, в своем собственном доме, а любовница ее мужа, при-

нятая в дом из милости, хозяйничает там и осыпает ее оскорблениями. Я, турецкий маршал и черкесский князь, редко кланяюсь женщинам без вуали. Но я всегда низко кланяюсь леди Фалклэнд.

XI

Воскресенье, 11 сентября.

Вчера вечером состоялся бал в Summer-Palace. Мой первый бал в Константинополе. Важное событие: я был представлен леди Фалклэнд.

Summer-Palace — это лучшая гостиница на Верхнем Босфоре: огромное пятиэтажное здание, безвкусное, но несколько замаскированное букетом великолепных зонтичных сосен. Другое смягчающее обстоятельство: там есть широкая терраса, с которой открывается прекрасный вид на Босфор.

Летом каждую субботу Summer-Palace устраивает для своих клиентов, так же как и для избранных окрестных жителей, закрытые вечера, доступные, но тем не менее в достаточной мере элегантные ввиду социального положения живущих здесь иностранцев. Конечно, больше всего здесь дипломатов, способствующих блеску или, по крайней мере, корректности здешнего общества. Короче — субботы в Summer-Palace вполне приемлемы.

Я там был вчера. Я охотно хожу на балы — для меня это — грустное паломничество к дням моей молодости. Конечно, я не танцую: мне сорок шесть лет. Но я люблю смотреть на обнаженные плечи дам, на их тонкие талии, изгибающиеся в вальсе. Впрочем, иногда удостаивают пофлиртовать и со мной в укромном уголке балкона. Я знаю, я смешон. Но надо быть снисходительным к старикам!

Представьте, вчера флирт даже сам шел мне навстречу. Правда, он появился в образе Христины Колури или, может быть, Калиопы? На этот раз я не решился задать вопрос. Да, меня взяли за руки и увели будто бы силой в самый темный угол огромной террасы. За неимением ширмы, должно быть... В скобках: не решаюсь сознаться, но после зрелого размышления я понял, что девицы Колури скорее полудобродетельны: вчерашняя, в ответ на мое шутливое предложение похитить ее и увезти в первом попавшемся каике, не нашла другого ответа, как: «Не соблазняйте меня!» Честное слово, я почувствовал ледяной ужас!

Но на балу Summer-Palace были женщины более интересные, чем девицы Колури.

Посреди террасы я заметил дипломатическую группу, образовавшую кружок соломенных кресел и «rockings»*. В числе других особ там находился Нарцисс Буше; было также несколько дам, закутанных в шарфы и бурнусы, так как ночь была довольно свежа. Чинно передав матери так легко соблазняющуюся дочь, я вернулся на террасу, чтобы отдать дань почтения посланнику.

— Здравствуйте, полковник! Садитесь. Нет, сюда, вот кресло.

Нарцисс Буше был чрезвычайно любезен. В частной беседе, я в его глазах немногого стою: обыкновенный солдат, не больше. На людях — другое дело. Я — маркиз де Севинье, и можно, представляя меня кому-нибудь, назвать вслух мое громкое имя.

К сожалению, я был уже почти всем представлен. Здесь были одни только карьеристы и две-три важных персоны из акцизного управления или банка. Я сел рядом с князем Виллавичиоза, итальянским посланником, и сразу забыл окружающее в беседе с этим остроумным и, пожалуй, самым учтивым из европейских вельмож.

Нам пришлось расширить круг для вновь пришедших. Это были сэр Арчибальд Фалклэнд и князь Станислав Чернович. Я их не видел со времени их визита на улице Бруссы. Встретились мы очень сердечно. Тем не менее у меня из головы не выходило то, что рассказал о нем Мехмед-паша, и невольно рука моя осталась неподвижной в руке баронета.

Князь уселся между мной и Виллавичиоза и с места в карьер стал говорить о Расине.

Я не знаю ничего смешнее литературного диспута в салоне, в присутствии щебечущих дам. Я круто оборвал. Старый герцог пришел мне на помощь, принявшись расспрашивать князя об его последней азиатской охоте. Но общий разговор уже завязался. Госпожа Керлова, русская дама, читающая Бурже и напивающаяся три раза в неделю, пронзительным голосом требовала от каждого присутствующего «определения любви».

— Позвольте, господин посланник, вы мне не ответили. Что такое любовь?

Нарцисс Буше насмешливо пожал плечами:

— Если кто-нибудь здесь это знает, так это только вы, мадам!

Бум! Не в бровь, а в глаз. Приключения Керловой достаточно пикантны, и в Константинополе все о них знают. К счастью, русские плохо понимают иронию. Госпожа Керлова сочла это за комплимент и пропищала:

— Герцог, ваша очередь. Определите!

---

* Плетеные кресла — будочки.

Виллавичиоза улыбнулся.

— Madame, я уже стар. Любовь? Может быть, я знал это тридцать лет тому назад, но забыл!..

Она не отчаивалась.

— Князь?

Чернович, саркастически улыбаясь, поднял на нее свои кошачьи глаза:

— Любовь, мадам? Это — недоразумение между мужчиной и женщиной, и недоразумение длительное.

— Вот как?

— Да. Как только недоразумение рассеивается, как только женщина видит, чего можно ждать от мужчины, и мужчина знает, чего можно ждать от женщины — фьють!

Он еще не кончил, как стулья снова задвигались. На этот раз сам Нарцисс Буше поднялся для приветствия и предложил свое кресло.

Это была супруга английского посланника под руку с леди Фалклэнд, которую я узнал с первого взгляда. Посланница уселась в кресло, потом своим разбитым голосом произнесла:

— Мы прервали князя Черновича. Пожалуйста, князь.

Чернович, не колеблясь ни секунды, продолжал:

— Madame,— произнес он, сменив язвительную улыбку на самую сладкую,— баронесса Керлова спрашивала о любви. Я высказал свое скромное мнение о том, что любовь даже для низменных душ служит наградой за все скорби и мерзости жизни.

Вот как: новые уши — новые песни? Пять минут тому назад я бы расхохотался, но сейчас мне было не до того. Мне в голову пришла внезапная мысль.

Я поднялся и, пройдя через круг к Арчибальду Фалклэнду, сказал:

— Не окажете ли вы мне честь представить меня леди Фалклэнд?

Я был страшно сладок. Он поглядел на меня, и, право, я почувствовал себя нехорошо под этими ледяными, неподвижными глазами, смотревшими на меня без всякой приязни. В этом взгляде была не ревность, в нем было нечто другое: изумление, подозрение, недоверие, за которыми скрывались жестокость и ненависть...

Однако он представил меня, сказав слово в слово так

— Мэри! Мой друг маркиз де Севинье

Его друг? С чего он взял?

Впрочем, это неважно Я занялся леди Фалклэнд В пятницу на Сладких Водах я видел ее слишком бегло Она достойна не такого краткого осмотра. Это — подлинная красавица и так непохожа на англичанку! Матовая кожа с золотистым пушком;

волосы цвета ночи; маленькие ручки и великолепные черные глаза, уже ослепившие меня тогда, живые, полные мысли глаза, а не греческие и сирийские цветные стекла, умеющие только блестеть.

Одно только меня смущало. Когда я видел ее на Сладких Водах, меня поразил, прежде всего, налет грусти на ее лице. Вчера я не видел ничего подобного. Леди Фалклэнд смеялась и болтала, как любая из присутствующих дам. Она мило и тонко высмеивала сентиментальную Керлову, опьяневшую уже от четырех коктейлей и упрямо продолжавшую свою анкету о любви; она изо всех сил старалась развеселить старую посланницу, древнюю старушку, уставшую от жизни, и добродушно принимала тяжеловесные шутки Нарцисса Буше. На мои комплименты, искренность которых она сейчас же оценила и которые я ловко распределял между нею и ее милым мальчуганом, она отвечала с такой очаровательной грацией, что я был восхищен. Но ни разу я не видел ее рассеянной, задумчивой или опечаленной. Я начинал уже думать, не ошибся ли я...

Но вдруг... было уже за полночь,— а балы в Summer-Palace дольше не затягиваются,— из танцевальной залы пришла одна чета с тем, чтобы откланяться: это был маленький мичман Жан Терайль и его жена, восхитительная французская куколка. Им вместе сорок лет, они всего шесть месяцев женаты и обожают друг друга до потери сознания.

— Как! — воскликнул Нарцисс Буше.— Значит, там уже перестали кружиться, если лошадки вернулись из лесу?

Жан Терайль улыбнулся и сжал руку раскрасневшейся и томной жены.

— Танцы кончились, господин посланник.

Я заметила, что леди Фалклэнд вдруг умолкла и с какой-то странной неподвижностью глядела на молодых людей, тесно прижавшихся друг к другу.

— Господин Терайль,— пошутил старый Виллавичиоза,— если бы у меня была такая красивая жена, то я не позволил бы ей танцевать целые вечера с кем попало...

— Как с кем попало? — возмутилась крошка.— Господин посланник, сегодня я танцевала исключительно с мужем!

В это мгновение я услышал легкий шум отодвинутого кресла: леди Фалклэнд поднялась и скрылась в конце террасы, там она остановилась, опершись на балюстраду и обратив лицо к морю.

Меня толкнуло какое-то любопытство. Вдали была лестница, по которой можно было спуститься в сад. Я быстро откланялся и прошел через сад к террасе. Неподвижный силуэт леди Фалклэнд виднелся вдали, как легкий призрак, облитый голубым светом луны.

Опасаясь застигнуть ее врасплох, я нарочно постарался обратить на себя внимание, ступая по плитам как можно громче. Но она, казалось, ничего не слышала.

— Сударыня,— сказал я,— честь имею кланяться...

Она вздрогнула и обернулась ко мне. Я отчетливо видел слезы, блестевшие на ее щеках. Она не ответила, но я видел, что она старается подавить рыдание, сжимающее ей горло.

Перед плачущей женщиной мужчине, если он — любовник ее и не друг, остается только притвориться слепым.

— Сударыня, осмелюсь ли я просить вашего разрешения засвидетельствовать вам свое почтение в вашем доме? У вас есть приемный день?

Она подавила рыдание. Но голос был слегка хриплым:

— Нет, у меня нет приемного дня. Но я почти всегда дома и принимаю. Добрый вечер и, если вам угодно, до свиданья.

Я поцеловал нежную, как атлас, ручку. Уходя, я видел подходившего к ней,— несомненно, по приказанию мужа — Черновича.

Значит, вся эта беззаботность, остроумие, веселость и даже легкое кокетство — оболочка вокруг обнаженной души, оболочка, скрывающая ее от людских взоров?

Мне это нравится. Одеяние красиво. Леди Фалклэнд мужественна и умеет хорошо одеваться.

XII

Я непременно пойду к леди Фалклэнд засвидетельствовать ей свое почтение. Я не стану этого откладывать. Мне слишком любопытно увидеть дом, в котором две женщины, два неумолимых врага, супруга и любовница, живут под одним кровом, как две царицы в пчелином улье, и принуждены поддерживать друг с другом близкие отношения, неизбежные при таком соседстве.

Я навел справки об этой кузине, которая заранее меня интригует. Говорят, это — довольно красивая девушка, лет двадцати пяти, круглая сирота и младшая сестра одного шотландского графа, отдаленного родственника Фалклэндов. Этот старший брат, настолько же богатый, насколько бедна его сестра, сначала о ней заботился и даже предполагал снабдить ее приличным приданым. Но уж не знаю, вследствие какой гнусности, которой она заранее отплатила этому достойному человеку, он ее буквально выбросил на улицу и не хотел больше о ней слышать. В это время леди Фалклэнд уговорила мужа принять к себе изгнанницу. Вот уж действительно злополучное милосердие, если эта изобретательная особа на самом деле

взялась выжить из дому свою благодетельницу, отобрав у нее мужа, ребенка, состояние!

Между прочим, новость: со вчерашнего дня у меня собственный каик, а с сегодняшнего утра – и собственный дом. Все это произошло точно по волшебству. Магом является Мехмед-паша.

Вчера вечером, когда я без всякой задней мысли поблагодарил его за восхитительную прогулку по Сладким Водам, он сказал мне с довольным видом:

– Так, значит, вам понравились наши турецкие каики?

– До такой степени, что я решил купить себе собственный каик и сделать как можно скорее.

– Это можно. Позвольте мне заняться этим.

Я протестовал, что было силы, но он стоял на своем.

– Господин полковник, вспомните «Лепесток Розы»!

Я пожал плечами. Он поднял свои еще выше.

– Подумайте только: многое, представляющее для иностранца очень большие трудности, для меня – простая игрушка, не стоящая мне ни времени, ни труда. Впрочем, дело не в этом. Вы – в Турции, вы – мой гость, и я предупреждаю вас, что сочту за личное оскорбление, если вы в каком бы то ни было затруднении прибегнете не к моей помощи.

Он принял маршальский вид. У меня, действительно, было к нему дело: на прошлой неделе мне пришлось четыре раза обедать в верхнем Босфоре и из-за этого необходимо было ночевать в гостинице, так как ширкет-хаирие не ходят по ночам. Ночлег в чужой постели мне чрезвычайно неприятен, и я осведомился, нельзя ли нанять маленький особняк недалеко от посольства.

Мехмед-паша выслушал меня очень внимательно.

– Вы наметили что-нибудь подходящее?

– Нет, я ничего не нашел; на всем протяжении от Иеникея до Буюк-Дере нет ни одной подходящей виллы. Большая часть из них до того отвратительны, что я не снял бы их ни за что: я боюсь заразиться там каким-нибудь хроническим кошмаром. Здесь, на европейском берегу, слишком уж свирепствует современный стиль.

– Да. А на азиатском берегу?

– На азиатском?

Я изумился: там живут, кажется, одни лишь турки, и нет ни одного дома, в котором мог бы поселиться европеец. По крайней мере, так думают во всех посольствах.

– Ба! – рассмеялся Мехмед.– Не волнуйтесь из-за такого пустяка. По душе ли вам маленькая мусульманская хижина, висящая над Босфором? Дом, в каком жил ваш Пьер Лоти во времена Азиадэ?

– Еще бы не по душе!

— Хорошо. До свиданья. Я вам на днях напишу.

И вот вчера увешанный револьверами и ятаганами кавас (надо ведь следовать моде) с церемонной важностью подал мне письмо:

«Господин полковник!

У вас теперь свой каик. Он ждет вас у пристани Топ-Ханэ, ближайшей к улице Бруссы. Вам нужно только накануне вечером отдать гребцам ваши распоряжения на утро. Это — двухвесельный каик. Я выбрал такой нарочно, потому что двухвесельный каик может везде проскользнуть незамеченным. А трехвесельные редки и бросаются в глаза.

Ваши каикджи — албанцы, как и мои; одного из них зовут Османом, другого — Арифом. При всех обстоятельствах можете считать, что они глухи и немы. Они скорее позволят себя казнить, чем выдадут ваши тайны кому-либо, даже полиции, даже мне. Можете им вполне доверять. Албанцы — народ верный.

У вас также имеется собственный дом. Завтра же ваш каик может вас туда отвезти. Он находится в Азии, в Беикосе, на Босфоре, в нижней части деревни, и, следовательно, как раз против вашего посольства. Я позволил себе разложить там несколько старых ковров, которые загромождали мой конак в Иени махалли.

Каикджи будут у вас на жалованье. Дом я снял от вашего имени за двадцать турецких ливров в год. Что касается каика, это — подарок, который прошу благосклонно принять от меня на память о Сладких Водах Азии.

Мехмед Джаледдин-паша».

У меня чудесный каик, весь из лакированного дерева, с широкой черной каймой — точь-в-точь, как у леди Фалклэнд. Мой домик стоит в живописном ряду маленьких лачуг, тесно прижавшихся друг к другу. В него можно попасть через площадку с лестницей, три ступеньки которой спускаются в Босфор, и через ворота, ведущие в садик. В нижнем этаже две небольшие комнаты, а наверху — три совсем маленькие Ковры Мехмед-паши великолепно их украшают. Под сваями в каикханэ можно поместить одну-две лодки. Окна до половины заделаны ясеневыми ставнями, как того требует мусульманская стыдливость. Мои соседи справа и слева — два славных старых длиннобородых турка, из которых один — имам в мечети. Все это вместе создает прекрасное целое, и я от души жалею тех, кто живет в европейских харчевнях там, на том берегу, или в ужасных виллах в «современном стиле».

XIII

Четверг, 15 сентября.

Вчера вечером я обедал в Буюк-Дере у русского военного атташе и, конечно, ночевал в своем домике в Беикосе. Сегодня я из окна любовался утренним Босфором, свежим и чистым, точно акварель, и вдруг убедился в том, что большой дом, замеченный мною «там», позади небольшого парка, окаймляющего берег, не что другое, как жилище сэра Арчибальда Фалклэнда.

«Там» Канлиджа. От Канлиджи до Беикоса азиатский берег огибает широкий залив, заканчивающийся двумя мысами. Мой дом – на мысе Беикос, дом баронета – на мысе Канлиджа.

Из моего окна фасад этого дома кажется очень далеким и фиолетовым; он наполовину скрыт за группой кедров. Решетка сада купается в воде. В конце ограды маленький одинокий павильон, точно шахнишир, стоит над Босфором...

– Осман! caik dokouz saat!

Это единственное, что я умею сказать по-турецки: Осман, каик к девяти часам (разумеется, по здешнему времени). Мои каикджи ночуют под моим кровом в те ночи, когда я в Беикосе.

Я сегодня же поеду в Канлиджу.

Девять часов по турецкому времени – по-нашему это половина четвертого. Несколько рано для визита. Но ведь мы на даче!

Ограда Фалклэндов посредине прорезана широко раскрытой калиткой. В воду спускаются мостки для причала. Справа я вижу павильон, выступающий точно шахнишир. У него довольно заброшенный вид.

Я прохожу через сад. Ага, вот кедры, которые видны из Беикоса. Дом приличный. Это нечто вроде старинного турецкого дворца из дерева, несколько источенного червями. Но у этих старых, простых и просторных жилищ, право, величественный вид. Входишь туда, точно в сарай. Ни постучать, ни позвонить не во что. Я толкаю дверь, она подается.

Но в этом сарае живут. А вот и ливрея: красный кавас Сладких Вод, если не ошибаюсь.

– Леди Фалклэнд дома?

Он молча склоняет голову. На языке левантинской мимики это значит: «да». Он проходит вперед и ведет меня. Я – в гостиной, еще более просторной, чем моя на улице Бруссы; и более красивой также. Вся стена увешена иоргесскими коврами, на которые так же приятно смотреть, как на старинные пастели...

Гостиная пуста. Я жду. Эти иоргесы – настоящее чудо. Особенно один. У него какой-то нежный и живой оттенок, о кото-

ром нельзя сказать: зеленый он или желтый; таков именно цвет песка на дне пруда, под водой; а отдельные пятна на нем подобны плавучим ирисам.

— Здравствуйте!

Я вздрогнул и обернулся. Но... это была не леди Фалклэнд!

— Я очень рада с вами познакомиться. Мой кузен мне много о вас говорил. Я — леди Эдит.

Ага, кузина! Да, я представлял ее себе именно такой: длинная, тонкая, худая, белая, как перламутр; только на скулах пробивается немного розовой английской крови. Лицо любопытное: черты резкие, почти жесткие, создают контраст с нежным цветом кожи. Глаза хороши, хотя не в моем вкусе — слишком серые; рот великолепно очерчен, но края сухих и бледных губ опущены. Где я видел этот резкий подбородок, холодный взгляд и светлые волосы, гладко обтягивающие голову? Ах, это — портрет Сельватико в Милане...

— Как любезно с вашей стороны зайти меня навестить. Ведь Пера очень далеко отсюда...

«Ее» навестить? Что это — с умыслом? И, как будто нарочно, ни слова не говорит о кузине... Но ведь я спросил леди Фалклэнд. Что же там выдумал этот кавас?

Я принуждаю себя подавать вежливые и сдержанные реплики. Быть вполне любезным, нет! Прежде всего, мне не нравится эта узурпация, а потом и сама узурпаторша... Я нахожу слишком современной для себя эту невесту до развода...

Ну, конечно, в ней нет ни капли девичьего очарования. Как отражается на женщине ее первое падение! Если б я даже не знал, что у этой есть любовник, я отгадал бы это по одному ее виду.

— Вам нравится Константинополь? Пера не очень скучна? Босфор несколько однообразен, но мы, англичане, знаете, любим деревню. Мы круглый год живем в Канлидже, в нашем коттедже.

О, она меня бесит. «Мы, англичане»... «в нашем коттедже»... Мне хочется ее порасспросить об ее брате-шотландце и том коттедже, откуда он ее когда-то выгнал...

К счастью, дверь отворяется, и на этот раз входит, наконец, леди Фалклэнд.

— О, господин Севинье! Какой сюрприз!

Она быстро и прямо подходит ко мне. Радостная улыбка освещает ее скорбные уста. Я целую ее нежную руку и складываю мысленно две посылки и одно заключение:

А: Она действительно рада меня видеть.

В: Она не знала о том, что я здесь. С: Ее слуги с нею не считаются и не докладывают ей о посетителях. Очаровательно!

Вот они обе сидят передо мной — жена и любовница. Я, конечно, сейчас же делаю свой выбор. Я — против последней и на стороне первой.

И вперед! Я не люблю платонических союзов.

— Сударыня, правда ли, что вы здесь проводите зиму и лето? Вы должны себя здесь чувствовать ужасно одинокой.

Ее темные глаза останавливаются на мне одно мгновенье и сразу чувствуют во мне союзника.

— Да, очень одинокой. Тем более, что зимою Босфор довольно мрачен. Трудно вообразить, что он может быть мрачным, когда он такой синий и светлый, как сейчас. Но когда ветер дует с Черного моря, здесь поднимаются настоящие снежные бури, и вы себе представить не можете, до какой степени эти старые турецкие домики стонут и дрожат от порывов ветра. Да. Но меня это не трогает. Я даже люблю эти зимние ночи, изрезанные молниями, черные от нависших туч, белые от хлопьев снега...

Другая пожимает своими покатыми плечами:

— Не преувеличивайте, Мэри. Дом вовсе не до такой степени дрожит. И если б вы отказались от этой странной мании ночевать в павильоне над водой...

Я гляжу на улыбающуюся леди Фалклэнд.

— Да, да, полковник, у меня есть такая мания. Я устроила свою комнату там, в павильоне, потому что люблю по ночам прислушиваться к Босфору, к плеску воды под окном, к шипению выдр, к отдаленным ударам весел, иногда слышных, даже совсем близко, у ограды, к звону цепей, на которых идут на буксире вдоль берега большие базарные каики...

Значит, она живет отдельно... Это характерно. Но не в этом дело; мне кажется, я тоже способен наслаждаться этими ночами над водой...

Мне приходит в голову мысль, занимающая меня уже давно:

— Вы не англичанка, сударыня?

— Я? Ничего подобного! Я... все, что хотите, испанка, француженка, креолка: я родилась в Гаване.

— Я был уверен, что такие глаза и такие волосы... Но вас зовут Мэри...

— Мари! Мариа... Мариа де Грандморн. Видите, совершенно не английское имя!.. Но сэр Арчибальд не умеет произносить Мариа по-испански, или Мари, как мне нравится...

Шотландка, чувствуя, что на нее не обращают внимания, делает попытку напомнить о себе:

— Вы выпьете чаю, полковник, не правда ли?

— Нет... мисс Эдит.

(Я сказал «мисс» намеренно. Это безумная дерзость: она дочь графа, earl, следовательно, леди. Это мне небезызвестно,

я прожил полтора года в Лондоне. Но она вовсе не должна знать моей биографии. Ну, а если знает, тем лучше!..)

И я обращаюсь к леди Фалклэнд:

— Я очень люблю чай, но только китайский или персидский: три глотка ароматной жидкости, которую пьют без сахара, без сливок, без кекса... А этот англо-саксонский полуобед — «five-o-clock» мне как-то не по душе. Я слишком стар, чтобы подкрепляться между завтраком и обедом.

Леди Эдит сжимает свои тонкие губы. Леди Фалклэнд смеется.

— О, вы найдете персидский чай во всех кафе Стамбула. Он превосходен. Но пока что я вас угощу настоящей турецкой дондурмой. Не бойтесь, это не слишком сытно.

— Мэри, вы больны! Неужели вы заставите полковника съесть эту отвратительную смесь, которую продают уличные разносчики?

Я вступаюсь:

— Хельваджи?.. Чудесная мысль, мадам! Представьте себе, что я обожаю все эти сладости, которые с таким удовольствием грызут дети.

Она звонит. Входит горничная-гречанка, выслушивает приказание своей хозяйки и уходит, бросив вопросительный взгляд на леди Эдит. Ах, так? Нужно, чтобы леди Эдит подтвердила приказание?

Дондурма долго не появляется, и хельваджи наводит меня на мысль о Сладких Водах.

— Сударыня, что если я вас очень попрошу привести того хорошенького мальчика, которым я любовался на днях в вашем каике?

Она расцветает радостной улыбкой.

— Вам это действительно доставит удовольствие? Ну, конечно, позову... Подождите.

Она быстро выпорхнула из комнаты. Странная женщина! Моментами ей нельзя дать и двадцати лет: когда она смеется, когда она в движении, молодость сквозит тогда во всех ее жестах, и она совершенно преображается. Но через секунду на нее ложится тяжелая грусть и давит ее; она вдруг делается мрачной, усталой, старой... Тридцать лет? Больше? Трудно сказать.

Но вот она ведет ребенка. Торжественно — уже как джентльмен — протягивает он мне свою ручонку. Он красив. Темные локоны и матовый цвет кожи, чувственный рот — от матери. Но серые глаза, уже холодные и неподвижные — отражают Шотландию с ее озерами и туманами. Этот беби Фалклэнд! И я боюсь, как бы и он тоже не заставил впоследствии плакать эти глаза, которые смотрят на него сейчас с такой нежностью, с таким обожанием...

Дондурма — нечто вроде твердой слоистой пастилы, хрустящей под зубами. Это очень вкусно, и, видно, не я один такого мнения: мальчуган бесцеремонно овладевает половиной моей порции... Леди Фалклэнд смеется, а леди Эдит опять недовольно сжимает губы. Очевидно, по ее мнению, нельзя так портить ребенка.

...Я уже давно здесь, и день склоняется к вечеру.

— Вы уже уходите? Ведь на даче приняты продолжительные визиты.

— Сэр Арчибальд часто возвращается довольно рано. Он будет очень огорчен, если вас не застанет.

Это говорит шотландка. Тем хуже для нее, я не удерживаюсь от такого ответа:

— Прошу вас лично передать ему, мадемуазель, что мне самому это крайне досадно.

Если ты, друг мой, не понимаешь, ты глупа. Потом говорю другой:

— Сударыня, я бесконечно тронут вашим сердечным приемом и уверяю вас, что ухожу с сожалением. Но до Стамбула далеко, а на моем каике только двое гребцов.

— Вы возвращаетесь в Стамбул?

— Нет, увы, только в Перу. Этикет предписывает мне жить именно там. Я говорю Стамбул, чтобы смягчить выражение. Ведь Пера просто карикатурна.

— О, я такого же мнения! Вы, конечно, любите Стамбул?

— Я уверен, что полюблю его. Я еще не знаю. Подумайте, сколько у меня было дела по приезде в Константинополь!

— Да, конечно. Но теперь, когда вы уже акклиматизировались, побывайте скорее на другом берегу. Стамбул так хорош!

На этот раз я ухожу. Леди Эдит, сохраняя свое достоинство, остается в гостиной. Леди Фалклэнд провожает меня в сад. Мой каик, стоявший в ста шагах от мостков, быстро приближается под ударами весел.

Я гляжу на леди Фалклэнд и говорю:

— Сударыня, меня часто упрекают за прямоту. Вам это не слишком не нравится? Тогда я рискну. У вас очень бдительный... телохранитель. Можно ли поболтать с вами когда-нибудь наедине?

Она несколько изумлена, но не недовольна. Ее темные глаза смотрят нерешительно, но доверчиво. Я настаиваю:

— Хотя бы часок, с глазу на глаз. Мне хотелось бы порасспросить вас о Турции, которую мы оба любим, но только без стесняющего свидетеля.

Она, наконец, мужественно решается.

— Это не очень удобно, но все-таки... Когда вы в первый раз отправитесь осматривать Стамбул?

— Не знаю... Ну, хотя бы в понедельник.

— Понедельник? Да, это можно. Хотите, я буду вашим гидом?

— Хочу ли я!

— Значит, до понедельника... Где? Да ведь вы не знаете турецкой части города... Слушайте... Вы пройдете через мост и повернете на первую улицу вправо. Вы будете ждать меня там. Я буду около... около двух часов.

— Мерси...

Я запечатлеваю эту благодарность поцелуем руки. И с грустью думаю, что лет двадцать тому назад молодая женщина не доверилась бы мне так легко, без всякой задней мысли.

XIX

Суббота, 17 сентября.

Я только что гулял вдоль Босфора по набережной Терапии... Эта набережная – самое аристократическое место из всех окрестностей Константинополя, но мне она нравится не поэтому. Прибой, который набегает сюда свободной, шумной и кипящей волной, прекрасен. Больше нигде не видно волн на Босфоре.

Впрочем, если бродить так, как я, чуть ли не по самой воде, можно не замечать ни вилл, окаймляющих берег, ни челяди на порогах дверей, ни пышных экипажей; достаточно не смотреть в ту сторону.

Итак, я любовался прибоем, когда вдруг услышал за спиной отвратительную фразу.

— Здравствуйте, господин маркиз.

«Господин маркиз» – что за лакейская манера у жителей Перы!

В данный момент это были девицы Колури, Калиопа с Христиной; очевидно, они вышли показать свои костюмы tailleur, смешные, хотя и не слишком.

Тотчас же они меня забросали словами:

— Как вы редко показываетесь!

— Почему вы никогда не приезжаете в Иеникей?

— Как видно, в других местах вам приятнее бывать!

— Правда, вы наняли дом в Беикосе у турок?

— Вас на днях видели в Канлидже.

— У мадам Фалклэнд?

— Есть люди, которые воображают, что вы за ней ходите (sic!).

— Да нет, Калиопа. Маркиз ездил к сэру Арчибальду.

— Вы настоящие друзья, правда?

— Я, мне кажется, способна влюбиться в сэра Арчибальда! Какой умный человек! Я чувствую себя перед ним совсем маленькой...(sic).

— Умный или неумный, мне он не нравится. По-моему, его друг, князь Чернович, куда интереснее.

— О, этому всюду нужен пельмель (sic, sic, sic!). Зачем он болтается в этом доме?

— Христина, маркиза это не интересует. Скажите, господин маркиз, вы сегодня вечером будете в Summer-Palace? Возможно, что это — последний бал в сезоне.

— Приходите, мы с вами пофлиртуем...

И так далее. И так далее. Я постарался от них поскорее избавиться.

Я у себя, в моем деревянном домике. Обедал один; мой каикджи Осман приготовил мне пилав с турецким горохом и кебаб с рисом. Темная ночь. Я сижу у окна и стараюсь в дальней полосе огней различить огонек Фалклэндов в Канлидже.

Справа и слева ближайшие ко мне турецкие домики, такие тихие, почти безлюдные до захода солнца, теперь ожили; оттуда слышны говор и движенье. С шахниширов сняты деревянные ставни. И при свете звезд я смутно вижу высунувшиеся из окон белые фигуры, слышу щебетанье женских голосов и смех.

Я заказал каик к десяти часам, десяти по французскому времени. Мне ужасно не хочется переезжать на тот берег и ехать в крикливо освещенный дворец. Да, это грубое освещение в ночной тиши Босфора, где мелькают одни только бледные, как звезды, лампы и фонарики, режет и глаз и ухо.

Но на бал идти необходимо. Там будет леди Фалклэнд, и я должен у нее спросить, совершим ли мы в понедельник прогулку по Стамбулу.

Десять часов... Подождем еще немножко.

Два часа ночи.

Я вернулся оттуда. Голова тяжела, в висках стучит... На бал я приехал поздно, танцы уже кончились. Терраса была пуста. Влажная свежесть ночи разогнала декольтированных дам.

Многие уже успели уехать, как, например, Колури и другие... Но в halle'е я нашел сэра Арчибальда с Черновичем. Они сидели вдвоем за столиком и что-то пили. Чернович увидел меня еще издали.

— А, маркиз!.. Чудесно!.. Маркиз, садитесь, выпейте с нами!

Я подошел с намерением извиниться. Но оба они были пьяны и с такой шумной настойчивостью приставали ко мне, что я сел. На столе четыре пустые бутылки. Фалклэнд подозвал метрдотеля и приказал:

— Heidsieck monopole, rouge!

Чернович запротестовал.

— Арчибальд, прошу вас! Ваш Heidsieck — гадость. Маркиз — француз, Арчибальд. Позвольте мне!.. Человек Pommery Greno, brut!

Желая, очевидно, угодить обоим, человек принес обе марки вина. Я принужден был выпить по стакану того и другого. Они допили остальное.

Я спросил, как поживают леди Фалклэнд и леди Эдит. Меньше владеющий собой в пьяном виде, баронет молчал, нахмурив брови. Напротив, князь, еще более болтливый, чем всегда, объяснил мне, что обе дамы остались дома, ad Home, из-за ужасной мигрени. Трудно было разобрать, которая из них была больна и кто остался в сиделках. По этому пункту старший друг отказывался от объяснений, потому что вообще не верил в женские мигрени и считал их простой комедией.

— Он не чуток и не умеет обходиться с женщинами. Вот где правда. Old Арчи, вы ничего не понимаете в женщинах...

— Стани!

Серые глаза сверкнули, как молнии. Поляк, гибкий, как перчатка, заливается смехом и говорит о другом.

Он ударился в скандальную хронику. Через пять минут я знал тайны всех альковов за неделю. С истинно славянским тактом, он не обошел ни моего посольства, ни своего. Если б он был трезв, я бы его оборвал. Но что сделать с пьяным? По крайней мере, его можно было слушать без угрызений совести. Временами он становился просто смешон.

— Арчи, вы заметили новое колье у мадам Нижней? Нет?.. А вы, маркиз, видали? Нитка мелких, мелких жемчужин... красиво, правда? Она говорила вам, кто ей его подарил? Нет? Ну, так вы один этого не слыхали. Она всем рассказывает, что колье подарил ей маленький Ванеску, румын. И это правда. Потому что... как бы это сказать, Ванеску был ею впервые посвящен... И вот, мальчик, которому едва исполнилось семнадцать лет, дал ей этот жемчуг, как вы дали бы его кокотке. А между тем ей это очень понравилось, и она всем хвастает этим колье, объясняя, что Ванеску заплатил ей этим пари a discretion!

Он громко захохотал и, почти не переводя дыхания, продолжал:

— Слушайте, еще пресмешная история! Три дня тому назад один русский, Донец, сидел со своей женой на их вилле в Буюк-Дере. Они, знаете, молодожены и очень любят друг друга. Полночь, они сидят в ночных туалетах, пьют водку, напиваются допьяна. Вдруг жена Донца заявляет, что водка — не водка, а виски, ирландское виски. Конечно, это была водка. Донец начинает хохотать. Она настаивает на своем. Он сердит-

ся и хватается за плеть. Она сопротивляется, царапает ему лицо, ударяет его бутылкой по голове; у него до сих пор виден след на лбу. Но плеть у него; он берет верх и стегает ее что есть сил. Она выскакивает в окно. Он бежит за ней по парку, настоящая травля!.. Она визжит, на сорочке у нее кровь. Наконец, она у калитки, выбегает на дорогу и забивается в маленькое кафе, где около десятка бородатых турок курят свой наргиле за последней чашкой кофе. Донец бросается туда, хватает жену за волосы, швыряет ее на землю и начинает бить. Ну, знаете, турки не любят, когда истязают женщин. Они наваливаются на Донца, вырывают у него несчастную жертву, и теперь уж удары сыплются на него. До того они его отколотили, что, когда явилась полиция, Донец был почти так же избит, как и его жена. Чету перенесли домой. Самое забавное из всей этой истории то, что наутро супруги решительно ни черта не помнили!

Фалклэнд роняет короткий смешок и сейчас же приказывает:

— Человек! Heidsieck monopole, rouge!

— Арчибальд, что за безумное упрямство! Человек, Pommery Greno, brut!

Они заставляют меня пить. Их глаза горят, движения становятся лихорадочными. Чернович смотрит на меня вдруг с яростью:

— Но знаете, полковник, Донец — мужчина. Правда, он — не поляк, он не умеет ездить верхом: это уж от природы, тут ничего не поделаешь, но на ногах он просто страшен. Мы скоро назначим его консулом в Македонию, в Митровицу.

Черт возьми! Если таковы все тамошние русские консулы, я не удивляюсь, что албанцы, менее терпеливые, чем турки, иногда сносят им головы. Я улыбнулся? Не думаю. Это было бы неосторожно. Взбешенный и пьяный Чернович схватил бы меня за горло... Нет, опасность миновала. Припадок прошел. Этот человек без всяких переходов начинает смеяться до слез. Он ударяет по столу кулаком и вдребезги сокрушает всю посуду.

— О, маркиз! Я вас видел, не отпирайтесь! Вы живете с девицами Колури. Не отпирайтесь!

Я резко протестую и готовлюсь к самому худшему. Напрасно. Он торжественно встает и протягивает руку над осколками посуды:

— Вы — джентльмен. Сознаваться никогда не надо. Конечно, девицы Колури не в счет; они простые badanas*. Но по отношению к другим... Здесь слишком много мерзавцев-муж-

---

* Непереводимо — скверное слово. Его нет во французском языке. Да и понятия, которое оно выражает, тоже нет

чин. Позвольте, Карипуло... вы знаете Карипуло? Он получает в контроле 900 турецких фунтов. И вот, я вчера встречаю его в Пере на главной улице и говорю ему: «Карипуло, с кем спите вы на этой неделе?» Он улыбается, вертится, делает вызывающий жест, чтобы обратить внимание прохожих, и тогда только отвечает громко, во все горло: «Князь, от вас ничего не скроешь: на прошлой неделе это была мадам Баритри; но я воспользовался только остатками с солдатского стола. На этой неделе я избрал мадам Папазиан. Я их всех имел!» Вот, что он сказал. Но знаете? Он не имел ни одной. Он – хвастун. Он – грек. Человек! Pommery Greno, brut!

Тут происходит инцидент: метрдотель, указывая рукой на стену, где вывешены печатные правила, докладывает, что после часа ночи погреб отеля закрыт.

— Что ты сказал?

— Ваше превосходительство, погреб...

— Собака! Свинья!

Он бешено бранится на пяти или шести языках. И вдруг со всего размаха бросает в метрдотеля бутылкой. Впрочем, бутылка летит мимо и разбивает в люстре две лампы. Потеряв равновесие, Чернович падает на стул, выкрикивая последние ругательства.

— Жид! Армянин!

Потом, несколько успокоившись, обращается ко мне:

— Я знаю его... Это – брат моего портье. Я должен этому портье тысячу фунтов. Он берет четыреста на сто.

Фалклэнд, слушавший все предыдущее совершенно бесстрастно, вдруг оживляется:

— Стани! Вы джентльмен, вы занимаете у лакея?

— А что же делать, Арчи? Все деньги в их руках. Я не армянин, я не умею занимать у турок. И я не грек, я не умею выпрашивать у женщин!..*

— You are a Pole! (Вы поляк!)

Они завязывают какой-то быстрый диалог на английском языке. Чернович волнуется и кричит. Там и сям проскальзывают русские и польские слова. Наконец, спор прекращается. Я пользуюсь этим обстоятельством, чтобы подняться.

— До свиданья, господа.

Сэр Арчибальд трясет мою руку. Чернович в избытке сердечности импровизирует прощальную речь:

— Маркиз, мы сегодня выпили.

Да, этого нельзя отрицать.

Между тем сэр Арчибальд тоже собирается уйти. Он проверяет счет. У него огромный бумажник, настоящий англий-

---

* Князь Чернович пьян, и автор не отвечает за его суждения, которые он почерпнул на дне своих четырех бутылок Extra dry.

ский бумажник, необыкновенно кричащий, из кожи кроваво-красного цвета.

Каик Фалклэнда стоит у отеля рядом с моим. Мы садимся. Князь живет в Буюк-Дере: он остается на берегу и как-то непроизвольно машет руками. Сейчас его кучер силой, по-казацки посадит его в экипаж.

Мы отчаливаем. Мои каикджи берут вверх по течению. Другой каик, наоборот, направляется вниз: Канлиджа далеко – в низине.

Позади голос Черновича, который из темноты ночи призывает на помощь всех писателей:

– «В последний раз прощайте, господа!»

Как сыро ночью на Босфоре! Как, должно быть, неуютно и холодно одной в павильоне над водой...

XV

Я прошел через мост. Я повернул в первую улицу направо, как мы условились... И жду...

Вот он, Стамбул. Разочарование. Я думал, что, как только перейду мост, Стамбул очарует меня с первого же взгляда. Ничего подобного. Площадь Эмин Евну, точь-в-точь такая же, как Каракейская площадь. А первая улица направо – не знаю, как она называется: на ней ни дощечек, ни номеров – просто уродлива. Своеобразно, правда: нечто вроде грязного извилистого коридора, в котором копошится пестрая толпа. Но таковы же улочки Галаты, если смотреть на них из Перы.

Два часа? Нет еще. Я пришел несколько рано. Военная аккуратность в свиданиях часто проделывает с нами плохие штуки. Я вспомнил комичную историю, случившуюся лет двадцать тому назад: один молодой лейтенант заручился обещанием одной блондиночки в том, что она ровно в два часа будет на углу улицы, ведущей с вокзала Сен-Лазар к гостинице Терминус. Бедный мальчик оказался жертвой целого ряда катастроф. Лошадь понесла, раздавила пешехода, толпа возмутилась, вызвала полицию; потом комиссариат,– одним словом, все как следует! – и вот, лейтенант на условленном месте только в двадцать минут третьего. Никого. Он в отчаянии. Уходит. А вечером получает ядовитую записку, в которой ему сообщают, что дама была на месте в три часа без десяти минут и ушла в половине пятого. После восьмидесяти пяти минут кошмарного ожидания она считает его негодяем и дураком в придачу и просит не показываться ей больше на глаза.

...На этой первой улице направо, как видно, по утрам бывает овощной базар. Я попадаю в груду салата и ощущаю запах капусты. Меня толкают. Жители этого квартала движутся

очень быстро. Они куда-то несутся, задевают друг друга, спотыкаются, кричат во всю глотку. Гамалы (носильщики) вертятся повсюду. Конечно, это — не настоящий Стамбул: здесь слишком близко к порту, к мосту, к Галате, к Пере, к Европе...

Ага! Вон, в конце улицы над фесками и тюрбанами мелькает белый зонтик... Не может быть! Ведь еще рано; не хватает десяти минут. И все-таки,— да это она!

— Здравствуйте! Не очень заждались?

Совсем не женское рукопожатие. У леди Фалклэнд мешочек из желтой бумаги, которым я сейчас же завладеваю.

— Да, возьмите. Это мои и ваши любимые сладости. Мой ширкет отходил очень рано, и я успела зайти к Хаджи-Бекиру.

— Хаджи-Бекир?

— Это самый модный турецкий кондитер. Приличные дамы квартала Шах Задэ не покупают в других местах. Нет, мы пойдем не так. Повернем налево. Я терпеть не могу греческих улиц. Я вас поведу по самым красивым местам.

Она движется быстро и ловко выпутывается из толпы. Я иду за ней. Она приподнимает юбку. На ней простое кисейное платье и прочные серые башмачки, для которых не страшна усеянная острым щебнем мостовая.

Что это? Как только мы выходим из первой улицы направо, наступает мир и тишина. Мы идем между двух высоких стен, над которыми склоняются старые фиговые деревья. Почва вся изрыта. Курицы роются в песке. Три пыльных деревянных лачуги разместились под деревьями; их стеклянные шахниширы, заделанные решетками и затянутые чистенькими белыми занавесками, кажутся не очень прочными: поддерживающие их жалкие, источенные червями подпорки расшатаны. К нам доверчиво подходит кошка. Молодые щенки греются на солнце, по-волчьи растянувшись на боку. Ни одного прохожего. Как будто вы в деревне. И это Стамбул, столица повелителя всех верующих? Не может быть! Простое село, скорее деревушка!

Леди Фалклэнд видит мое изумление и разражается смехом:

— Вы удивлены, да? Да, да, это Стамбул. Держу пари, что, по-вашему, это деревня. Да, но только большая деревня. Нужно пройти две мили, чтобы добраться до ее конца. И всю дорогу будет то же самое, что здесь.

Она останавливается. Поджидавшая нас кошка милостиво дает себя погладить. Леди Фалклэнд объясняет:

— Здесь хорошо обращаются с животными, и они не боятся людей

Потом, увлекаясь, говорит:

— Ну, разве не хороша эта большая деревня? Здесь столько воздуха, солнца, покоя, свободы, везде, куда ни обернешься: все это растет, как хочет и где хочет. Нет фасадов, нет строгих линий, ничего правильного, ничего скучного, наводящего сплин. Здесь вы свободны, свободны!..

Она уже не смеется, и я вижу на ее лице обычный налет грусти. На минутку она умолкает и ниже склоняется над кошкой, лаская мурлыкающее животное.

— А сколько чудес в этой моей деревне!.. Пойдемте, вы увидите!

Но все-таки не весь Стамбул из таких проулков. Вот настоящая улица, окаймленная с обеих сторон домами. Конечно, это — не пышная столичная улица: она широка, как ладонь, и вьется так, что в ней никогда не дует ветер. Дома, конечно, деревянные, из чудесного старого фиолетового дерева. Вот открывается калитка, выпускает женщину, закутанную в вуаль, и захлопывается снова. Женщина, перебежав улицу, стучит в противоположную дверь и исчезает за ней — все это не более шумно, чем кошка, шагающая на кончиках лапок.

Мы поворачиваем то направо, то налево. Подходим к маленькой арке из серого античного камня; она переграждена цепью, через которую надо перекинуть ногу: очевидно, здесь конец города...

— О!

Мне кажется, я вскрикнул от изумления, остановившись под аркой, точно вкопанный. Передо мной большая площадь, подобная равнине. Посреди нее гора мрамора и камня, резная и чеканная, точно огромная драгоценность. Гигантские стены подпираются готическими кружевными уступами с ажурной каймой; галереи, переходы, коллоннады, лепные украшения, балюстрады, бесчисленные площадки со всех сторон цепляются за эту громаду. А наверху головокружительный хаос куполов и сводов возносится к небу подобно дюнам, которые самум согнал в песчаные гроздья.

И четыре белых стройных, как свечи, минарета высятся над этим колоссом, вырастая из его четырех углов.

Леди Фалклэнд, как и я, остановилась и смотрит с немым набожным восхищением. Внезапно, схватив мою руку, она говорит:

— Мой Стамбул иногда бывает похож и на столицу, не правда ли? На столицу из «Тысячи и одной ночи», да?

Мы спускаемся на площадь и огибаем огромное здание. У его подножия четырехугольный сад, обведенный низкой стеной с прорезанными в ней окнами. В этом саду тысячи турецких могил, простых и красивых.

— Если б я была благоразумным и патентованным гидом, я вас повела бы не сюда. Я устроила бы классическую прогулку для иностранцев: Святая София, Большой Базар. Все это было бы полно англичанок под зеленой вуалью и бородатых немцев. Вы купили бы подлинное седло Тамерлана (сфабрикованное в прошлом году в Трапезунде) и протолкались бы целый день на улицах, переполненных трамваями и еще более отвратительных, чем улицы Перы. Ну, а я предпочитаю это.

«Это» — Сулеймание Джамы, мечеть Сулеймана Великолепного: турки называют его «алмазом и жемчужиной»...

Мы проходим в резную остроконечную дверь, гармоничную, как обломок Парфенона.

Внутренность храма превосходит великолепием все, что я когда-либо видел. Исполинские колонны поддерживают своды из черного и белого мрамора, вмещающие невообразимые пространства. Сквозь молочного цвета стекла окон льется торжественный свет. Ни часовен, ни ниш для святых, ни исповедален, ничего такого, что скрадывает простор. Алтарь-портик из серого мрамора, на фронтоне которого золотыми буквами горят слова пророка.

Леди Фалклэнд обращает мое внимание на четыре громадные гранитные колонны.

— Они взяты из исчезнувшего византийского храма. До того они поддерживали храм Дианы в Эфесе. Еще раньше стояли в другом храме, неизвестно где. Они уже служили четырем богам. А сколько еще будет новых?

...Там и сям бесшумно молятся распростертые мусульмане. Две маленькие девочки катаются, резвясь, по огромному ковру. Имам с белоснежной бородой смотрит на них с улыбкой.

Посреди сада, где теснятся могилы, леди Фалклэнд показывает мне большой мавзолей, в форме киоска: он окружен восьмиугольной галереей, с виду совершенно итальянской. Это турбех* Сулеймана. В него можно войти. И я думаю про себя о том, что в нашей будто бы толерантной Европе в мавзолеи пап и императоров могут получить доступ только избранные...

В круглом зале, украшенном персидским фаянсом, стоят рядом три величественных катафалка, обшитых парчой и шелком и увенчанных высокими тюрбанами; подле них — огромные восковые свечи. Здесь покоится Сулейман в обществе других двух султанов, а у их ног нашли вечный покой несколько султанш, под такой же парчой и такими же шелками. Нет ничего более волнующего, чем турецкие гробницы; присутствие мертвых становится здесь ощутимым, почти видимым.

* Гробница.

Меня охватывает любопытство:

— А знаменитая фаворитка, Рокселана, тоже в этом мавзолее?

Леди Фалклэнд колеблется. Мне кажется, мой вопрос ей не понравился. Но она все-таки отвечает:

— Нет. Пойдемте.

Мы выходим. В саду она указывает рукой на другой мавзолей, почти такой же, только меньших размеров.

— Рокселана там.

— Посмотрим?

— Если хотите. Только я не пойду туда.

— Вот как?

Она молча глядит на кончики своих ботинок; я не настаиваю, и гробница Рокселаны остается неосмотренной.

Опять турецкие улички. Теперь уж у них менее деревенский вид; скорее похоже на маленькое монастырское поселение. Где-то в северной Италии я видел эти широкие мостовые, поросшие по сторонам травой, эти стены из серого камня, с прорезанными в них окнами в решетках, без ставней и без стекол. Кругом, как и там, голые стены монастырей или заглохшие сады. Но здесь сады — это кладбища, в которых тысячи надгробных камней прячутся в кустах и под плющем, в тени ив и кипарисов.

— Нравятся вам эти улицы?

— Невыразимо нравятся... Куда они ведут?

— Далеко. Вы отдали в мое распоряжение весь день, не правда ли? Так вот, я хочу вас повести в одну любимую мою мечеть; и потом дальше, до византийской стены, окружающей Стамбул. Потом вернемся, но другой дорогой.

Один перекресток, второй, третий. Улочки то и дело разветвляются, нисколько не заботясь о направлении. Как можно угадывать дорогу в подобном лабиринте? И ни одной плоскости: все подъемы и спуски. Византия, как и Рим,— город семи холмов.

Леди Фалклэнд останавливается. Женщина в лохмотьях с прикрытым лицом прислонилась к дверям какого-то домика и держит на руках тщедушного ребенка. Она не просит подаяния, а молча смотрит на нас сквозь покрывало из грубой кисеи.

Леди Фалклэнд вынимает из кошелька монету и хочет дать ее женщине. Нищая отказывается и прячет руку. Здесь не принимают милостыни из рук неверных! Леди Фалклэнд наклоняется и кладет монету в ручку ребенка. Мать в нерешительности. Я кладу в другую ручку другую монету. На этот раз она не противится. И отвечает учтивой улыбкой, сопровождая

ее несколькими короткими и ласковыми словами. Когда мы отошли немного, я спрашиваю:

— Что она сказала?

— Это почти непереводимо. Турецкое выражение благодарности, приблизительный смысл таков: «идите с радостью».

Сколько улиц! Мы ходим уже больше часа. Леди Фалклэнд безостановочно идет своим быстрым мелким шагом. Про Стамбул можно сказать все, что угодно, но только не то, что он однообразен. Кварталы сменяются кварталами; одни совершенно пустынные, как будто вымершие, между бесконечными стенами в густой тени акаций и смоковниц; другие — густо населенные, вмещающие массу маленьких деревянных домишек, из которых бесшумно выходят закутанные таинственные фигуры женщин или стариков, медленно бредущих по улицам. От времени до времени над стенами или домами выплывает неизвестно каким образом проросший кипарис, возвышается вдруг минарет или обрисовывается круглый купол мечети или медресе*. Через каждые сто шагов — заключенное между двумя домами крохотное кладбище, где теснятся десятка три старых могил. Здесь живые и мертвые уживаются рядом.

— Тут есть немало больших площадей, пышных мечетей и торжественных широких улиц. Я уже показала вам Сулеймание Джами и покажу еще кое-что.

Наша улица заканчивается огромным квадратным садом, не похожим на элегантный и подстриженный европейский сквер; это — огород-сад; в нем в чудесном порядке расположено несколько сотен тысяч голов капусты вперемежку с морковью, луком и спаржей; все это защищено кустами, посаженными по диагонали,— кустами персиковыми, вишневыми, абрикосовыми. Сад этот в углублении, прочно обнесенном оградой, доходящей до уровня улицы.

— Старинное византийское водохранилище... Интересно, не правда ли? Но пойдемте сюда.

Мы проходим мимо десятка хорошеньких, почти новеньких домиков, из свежей сосны, пахнущей смолой. Перед нами открывается маленькая площадка с тремя платанами, обнесенными очень высокой стеной. Позади нее возвышается купол; и еще выше купола, выше гигантских кипарисов, возносятся вверх два минарета.

— Это большая мечеть?

— Да. Это Селимье Джами. Войдемте во двор.

Старая полукруглая дверь, квадратный двор с аркадами и колоннами очень похожи на монастырские. Колонны из древ-

* Школа.

него мрамора, пожелтевшего от столетий и прозрачного, как оникс; под аркадами персидская майолика расцвечивает все четыре стены своими неувядаемо-яркими красками.

Посредине — фонтан и кругом кипарисы. Мечеть покрывает своею тенью весь двор. Здесь бесконечно тихо и прохладно.

Леди Фалклэнд садится на ступеньку у подножия колонны и берет у меня мешочек из желтой бумаги.

— Здесь финики, пастила из фисташков и что-то еще. Вы устали? Мы много прошли, а мостовая здесь очень плохая.

Я не устал. Мы грызем сладости и молчим. Вокруг тишина. Мне кажется, я способен был бы целые часы и дни просиживать во влажной тени этого мусульманского монастыря без замков и решеток. Леди Фалклэнд положила голову на руку, которой опирается о свое колено, и о чем-то задумалась. Я не могу уловить ее мыслей...

Вдруг она спохватывается и смотрит на свои часики.

— Боже мой! Четыре часа. Пойдемте скорее!..

Я задаю тревожный вопрос:

— В котором часу отходит последний пароход? Ведь вам надо вернуться в Канлиджу?

— Конечно, надо. Последний ширкет отходит в четверть десятого... приблизительно в шесть с четвертью, сегодня. Но он не останавливается в Канлидже. Он идет вдоль европейского берега.

— Ну, так как же?

— Я поеду в Иеникей и там сяду в лодку. Я вернусь очень поздно, и у меня останется всего четверть часа на то, чтобы переодеться. Вы знаете, ведь за обедом мы непременно в открытых туалетах... В четверть часа я не успею одеться, сядут за стол без меня, и, когда я войду, меня встретят всякими неприятными словами. Но я все это предвидела в моей сегодняшней программе дня, и поэтому не огорчайтесь.

Мы идем быстро, и Селимье Джами уже далеко. Перед нами тянутся маленькие улочки, еще более сельские по виду, чем раньше. Здесь дома расставлены редко и разделены обширными садами.

— Я надеюсь,— шепчет леди Фалклэнд,— что мы найдем экипаж в Эдирнэ-Капу...

Эдирнэ-Капу — Адрианопольские Ворота — перед нами: большой разрушенный свод, прикрывающий огромное каменное сооружение, совершенно замаскированное кучей лавчонок. Мы проходим под сводом. Солдаты сидят на пороге гауптвахты и любуются подсолнухами и вьюнком в своем саду.

За аркой — круговая дорога, ров, откос, настолько древние, что от них остались одни только следы. Дальше — холмистая равнина, усеянная кипарисами, широкая, бесконечная

Великая стена Стамбула уже позади. Огромные руины зубчатых амбразур и башен тянутся к северу и к югу до горизонта.

— Пойдемте, пойдемте... Поздно.

Мы идем к равнине кипарисов. Проходим мост, перекинутый через ров, и спускаемся по откосу в пыльную траву. Вот и равнина...

Это — кладбище. У подножья едва колеблемых ветром вековых деревьев — тысячи и миллионы гробниц, новых, свежевыкрашенных и позолоченных, старых, побелевших или почерневших от солнца и дождей, гробниц древних, разрушенных, источенных, опрокинутых; все они жмутся друг к другу и сливаются в недвижную массу. Надгробные столбики, прямые, косые, лежачие напоминают бесчисленное войско, внезапно окаменевшее в пылу битвы.

Мы идем под кипарисами, шагаем через плиты и камни. Все это прикрыто высокой травой, и я часто спотыкаюсь о невидимые препятствия.

Древний столбик, покосившийся настолько, что тюрбаном касается самой земли, прислонился к стволу фисташкового дерева. Леди Фалклэнд садится на него и дает мне место рядом.

— Вот... Я хотела вам показать турецкие кладбища. Видите, Турция со своим абсолютным монархом-султаном, своим деспотическим кораном — единственная свободная страна на земле. Даже мертвецов здесь не запирают; их не окружают высокой оградой и толстыми решетками, как это делают с христианскими покойниками. Они спят там, где им хотелось; на их усталые кости не наваливают тяжелых камней.

Я не проронил ни слова с тех пор, как мы покинули двор Селимие-Джами. Но здесь, мне кажется, можно высказать то, что уже давно у меня на душе:

— Сударыня... Мне хочется вас отблагодарить...

— За что?

— Во дворе мечети вы сказали мне то, чего, конечно, не доверили бы первому встречному... Когда вы намекнули на тот тягостный прием, который ждет вас сегодня дома. Я глубоко тронут этим доверием, и вы правильно угадали во мне друга.

Она не краснеет и без всякого жеманства прямо смотрит на меня задумчивыми глазами.

— Да, правда: не знаю почему, но я вам доверяю.

Она улыбается невеселой улыбкой.

— О, не думайте, что я вам оказываю большую милость, свободно говоря с вами о моих домашних неприятностях. Все это до мельчайших подробностей знает весь Константинополь, комментирует, осуждает и радуется, что нашел тему для сплетен. Признайтесь, вы сами приезжий, разве вы этого не знаете?

Я признаюсь молчаливым кивком. Через мгновение она говорит мне, кладя свою руку на мою:

— Только вы не комментируете, не осуждаете и не насмехаетесь; значит, наоборот, я должна благодарить вас.

Она поднимается. Мы делаем еще несколько шагов по мрачной равнине. Вдруг она останавливается и показывает мне одну могилу.

Могила женщины: на ней нет лепного тюрбана; памятнику, по крайней мере, двадцать лет; на мраморе краски и позолота надписи давно стерлись.

— Видите... Вы умеете читать турецкие надписи? Нет? Я тоже не умею. Я знаю одни только цифры. Но этого достаточно, чтобы уловить самое главное в этой эпитафии... Женщина, покоящаяся здесь, умерла в 1297 году геджры; ей было двадцать два года... Это год смерти Азиадэ, и мне кажется, ей было столько же лет...

— Конечно, это не могила Азиадэ. Никто не знает, где она погребена — к счастью!.. Представьте себе, что агентство Кука ведет к ней караваны туристов? Но может быть, здесь покоится другая турчанка, которую знала и любила Азиадэ? И вот я, так часто проливавшая слезы над грустной судьбой женщины, которой смерть не дала увидеть друга, я приношу цветы этим двум теням; и думаю, что в том мире, где они теперь, они любовно делят между собой эти цветы...

У меня нет никакого желания улыбнуться. Леди Фалклэнд отколола с корсажа несколько фиалок и кладет их у подножия надгробного камня.

— Женщины гораздо лучше понимают друг друга, чем это обыкновенно думают... За исключением...

Она колеблется, смотрит на меня, низко опустив глаза, с полуоткрытыми губами, из-под которых видны зубы.

— За исключением одного случая, когда одна из них очень зла и хочет из алчности и гордости отнять сына у другой...

Уже давно пробило пять часов, а мы только подходим к Адрианопольским Воротам. Там стоят три арбы, три грязных телеги, держащиеся бог весть на чем. Леди Фалклэнд вступает с арабаджи в сложную дискуссию, в которой, как мне кажется, разбираются вопросы времени и расстояния. Наконец, соглашение достигнуто, и через минуту мы бешеной рысью несемся по отчаянной мостовой маленьких улиц. Железный обод колеса стучит по ней, как молот по наковальне. Оглушенная леди Фалклэнд закрывает уши руками. Я вижу сквозь кисею рукавов чистый рисунок хрупких детских ручек.

Стамбул огромен, ему нет конца! Вот новые кварталы, новые улицы. Мы проезжаем мимо рынков, базаров; арба то мчится по длинным безлюдным и тихим улицам, то замедляет

ход на площадях или перекрестках, кишащих людьми в чалмах...

Я вижу мельком гигантскую мечеть с бесчисленными минаретами...

Экипаж, наконец, останавливается. Но здесь, мне кажется, ничего замечательного. Ни мечети, ни какой-нибудь особенной могилы, ни маленькой необыкновенной улицы. Какая-то ветхая лачуга, полудеревянная полукаменная... Неужели это?..

Да. Леди Фалклэнд увлекает меня к самой развалине, не представляющей ничего ни величественного, ни красивого. Ее рука крепко сжимает мою:

— Вы знаете турецкую историю? Сулейман до Рокселаны был женат на черкешенке Хассеки. У нее было от него два сына, Магомет и Джи-ан-Джир, два прекрасных принца. Но Рокселана из ненависти к Хассеки велела убить и того и другого, а мать умерла от отчаяния. Вот почему сейчас я вам не дала войти в склеп Рокселаны. И вот почему теперь я привела вас сюда, в мавзолей Хассеки. Совершите молитву... Ну, а теперь скорее, уже поздно!.. Арабаджи, Эмин-Эвну! Ширкет-хаирие... Чабук, чабук! (Скорее, скорее!)

XVI

25 сентября.

Странное приключение: я ночевал в Беикосе; и сегодня утром на перилах моего шахнишира нашел букет тубероз.

Откуда он взялся? Шахнишир висит над Босфором... Кто-нибудь проезжавший в лодке? Не может быть: открыто было только одно боковое окно. Единственное возможное объяснение: цветы брошены из соседнего шахнишира. Но там живет старый имам с белой бородой. Право, странно!

Вчера вечером Нарцисс Буше, укушенный, должно быть, тарантулом, внезапно решил закрыть летний сезон и вернуться во дворец в Перу. Сегодня уже начался переезд. Завтра все посольство покинет Верхний Босфор. Следовательно, я провел последнюю ночь в Беикосе. Мне жаль расстаться с моим турецким домиком. Зато там будет Стамбул — Стамбул!.. С тех пор, как леди Фалклэнд мне его показала, я тоскую по его маленьким безлюдным улицам, где столько солнца на домах и могилах, где растет трава среди желтого мрамора горделивых мечетей...

Нет, я не расстанусь с моим домиком. Все здесь останется на месте и никто не может мне помешать время от времени возвращаться сюда и наблюдать за ним хозяйским оком... На будущее лето я все найду в порядке и вернусь к своим привычкам — к милому журчанью Босфора, к белой бороде моего

соседа, имама, а может быть, и к букету тубероз на перилах моего шахнишира.

Да. Но мне уже будет не сорок шесть, а сорок семь лет.

Я целый день брожу по дому. Я хочу вернуться в Перу только на закате солнца, чтобы прокатиться по Босфору в сумерки – это гораздо приятнее. Там, на улице Бруссы, ждет меня на моем письменном столе неоконченный доклад. Кажется, этот доклад должен просветить некоторых министров о том, что значат болгарские операции на всей оттоманской границе. Аллах да покарает неверных! Завтра я готов работать вдвойне. Но сегодня я хочу знать одну только мирную Турцию.

Час отдыха солдат. Они выходят из казарм и выстраиваются в два ряда лицом к морю, горнисты играют что-то тихое и грустное, рожки точно плачут. Труба подхватывает и затихает в минорном тоне. Все руки одновременно подымаются и отдают честь: раздается громкий крик:

– Падишах'м чок ияха! (Да здравствует император!)

...Я уже слышал этот крик на селямлике и где-то еще. Мне передался на мгновенье энтузиазм, потрясающий правоверных, славящих своего халифа... У этих людей есть вера. Я им завидую. Если им понадобится убить или умереть, они будут знать, для чего они это делают, или, по крайней мере, будут верить в то, что знают.

Солнце садится. Каик вышел из Каик-Хане и Осман причаливает к мостику, зацепляя медным наконечником багра за сваи...

Ба! Мягкий стук, точно что-то упало в шахнишир... Что это? Второй букет, подобный первому... Вот он у моих ног, издает сладострастный аромат тубероз.

Ясно, меня обстреливает соседний шахнишир. Его боковое окно открыто настежь. Но там, однако, никого не видно. Несомненно, дело требует осторожности... Я поднимаю букет, стараясь быть как можно меньше на виду.

Я так и знал. В цветах записка. Забавная записка, нацарапанная на бумаге с кружевным обрезом, на какой дети пишут свои новогодние поздравления.

«Четыре раза я поднимала свою вуаль, выглядывая из окна, и вы ни разу на меня не взглянули. А между тем я заплачу, когда уедет ваш каик...»

Вот как! Это написано по-французски, без одной ошибки. Судя по этой записке, у моего имама есть дочь, и притом с дипломом. Эти маленькие турчанки, в общем, гораздо грамотнее наших француженок.

Однако что делать? Учтивость требует, чтобы я ответил.

Листок из записной книжки? Это не особенно изящно. Тем хуже! На войне, как на войне:

«Я скоро вернусь. Покажитесь в окне, когда я буду садиться в каик».

Вот. Теперь булавку. Первый букет, импровизированный почтальон еще здесь... Раз, два, три! Взмах руки — и букет поглощен открытым окном. С Богом!

Отлично. Каик причалил. Еще достаточно светло. Я спускаюсь. Шумно захлопываю дверь. Сажусь в лодку.

На шахнишире старого имама появляется закутанная фигурка. Чарчаф поднят. Виднеется шаловливая мордочка: глазки нежно улыбаются; детские уста складываются для поцелуя. И быстрое течение уносит меня вдаль...

...Значит, маленькие турчанки флиртуют иногда с неверными. О, Мехмед-паша, как зорки ваши глаза!

Что касается флирта, то мне больше по душе эта мусульманская манера, чем манера Калиоп и Христин в их салонах с ширмами.

Спускается ночь. Вот Канлиджа. Вот ограда. Вот павильон над водой. Каик, невидимый, скользит по темной воде совсем близко.

В окнах свет. За освещенными стеклами я вижу легкую, грациозную тень...

XVII

Перс Каразов держит в Стамбуле, на первом этаже выкрашенного в красный цвет домика, лавочку, заваленную всевозможным товаром; там можно найти тысячу разнообразных вещей, главным образом, бирюзу и ковры. Сегодня я посетил Каразова, имея намерение украсить свои комнаты на улице Бруссы какими-нибудь изящными редкостями.

Каразов — необыкновенно учтивый купец, одетый в черное, с каракулевой шапочкой на голове, как подобает настоящему персу. Вежливость господина Каразова утонченна и благородна. Евреи подобострастны, греки фамильярны, что не мешает ни тем, ни другим быть ловкими и быстро обогащающимися торговцами. Но персы, еще более ловкие и еще быстрее обогащающиеся, умеют быть не подобострастными и не фамильярными, а именно такими, какими надо. Их тактичность в делах превосходит все, что можно себе представить на Западе.

Каразов доказывает мне все это с самого моего появления в магазине. За короткий промежуток времени, нужный для того, чтобы мне поклониться, предложить кресло и, хлопнув в ладоши, приказать служащему принести чай, он оценивает меня и сразу понимает, какого рода клиент перед ним. Француз, француз из посольства, достаточно богат. И господин Каразов не собирается показывать мне ни вещей, недостойных

моего состояния, ни очень дорогой безвкусицы, рассчитанной на «американцев». В одно мгновение из задних складов лавки появляются с высоты полок ковры и развертывают перед моими глазами свои великолепные рисунки.

— Это — синайский: прекрасен, как вышивка. Это — бухарский: мягок, точно бархат. Чаучаганский: миниатюра, настоящая миниатюра. Это — мирский: хоть в музей. Это — сумакский, двойной, тонкий, как платок, как носовой платок!

Каразов, подняв правую руку, сложив пальцы, говорит шепотом, точно в храме. Двое служащих, отступив на почтительное расстояние, развертывают волшебные ткани, встряхивают их, заставляя лучи света играть в их складках. Кажется, само солнце заткано в эту шерсть...

— Здравствуйте, господин Каразов.

Входит старая седая дама. Каразов кланяется до земли, приложив руку к сердцу.

— Вы заняты, я вижу. Продолжайте, прошу вас. Я посижу здесь в кресле, а ваш племянник пусть принесет мне вашего чудесного персидского чаю, который я пью без сахару.

Она говорит по-французски без малейшего акцента. Я поднимаюсь.

— Мадам, разрешите человеку, который никуда не спешит, уступить вам свою очередь? Я покупаю ковры, в которых ничего не понимаю, и буду выбирать очень медленно...

Она кланяется с чисто французской грацией.

— Охотно разрешаю. Кого я должна благодарить?

— Полковник де Севинье.

— Я так и думала. Я — госпожа Эризиан, мне говорила о вас много хорошего... леди Фалклэнд...

Госпожа Эризиан? Я слышал это имя. Вдова, армянка, бездетная, живет очень уединенно, хотя и бывает иногда в дипломатических кругах.

Между тем Каразов приносит чашку с горсточкой персидской бирюзы, мелкой, но чистого голубого цвета.

— Нет, господин Каразов. Сегодня мне нужен жемчуг. У вас найдется красивая, круглая жемчужина, белая или чуть-чуть розовая?

Она обращается ко мне:

— Мы, армянки, обожаем драгоценности... В этом виноваты наши отцы и мужья, которые очень любят деньги... пожалуй, слишком их любят... Эта любовь перешла к нам. Но мы, женщины, более утонченны: и вместо грубой страсти к деньгам, мы пристрастились к их квинтэссенции — драгоценным камням.

Каразов набожно подносит другую чашку, еще меньше, в которой играют жемчуга и опалы. Госпожа Эризиан умолкает, вооружается лупой и тщательно их рассматривает. Разочарованная гримаса.

— Здесь ничего хорошего, господин Каразов. Поищите-ка получше. Это никуда не годный жемчуг. Держу пари, что на дне ваших ящичков...

Третья чашка. В ней всего четыре жемчужины, бережно укутанные в шелковистую бумагу.

— Ага, вот мы где... Вот эта... Нет, у нее есть дефект. Ну, конечно, дефект. Не сердитесь, у меня хорошее зрение, господин Каразов... Вот эта желтая. А вот та — мне нравится, хотя не особенно... Но... цена, господин Каразов?

— Мадам, весь дом к вашим услугам. Эта жемчужина... пустяк. Мелочь. Подарок.

— Господин Каразов, вы самый учтивый из персов... Но уже пять часов, и мы не успеем обменяться всеми подобающими случаю любезностями. Потому скажите прямо: сколько?

— Нисколько! Умоляю вас. Это исключительная жемчужина, бесценная. Блестит и кругла, как луна. Она неоценима. Все мои товары, ковры, посуда, китайский лак...— ничто в сравнении с этой жемчужиной. Я ее вам дарю!

— Вы очень любезны, господин Каразов! Но будем говорить серьезно. Довольно за нее шесть турецких фунтов?

— Шесть фунтов!.. Вы шутите, мадам. Ваше хорошее настроение радует меня, старика. Мы ведь с вами — давнишние друзья; мне приятно видеть, что веселье не покидает вас. Я расскажу об этом моей дочери, она часто справляется о вашем здоровье.

— Я очень признательна, господин Каразов, но я не шучу. Шесть фунтов, по-моему, цена подходящая...

— Подходящая!.. Не будем больше говорить об этом, мадам. Не надо внушать господину полковнику неверное представление о стоимости вещей. Эта жемчужина стоит мне самому двадцать два фунта. Я вам сейчас покажу счета...

— Не нужно, господин Каразов. Они написаны по-персидки, а я не умею читать на этом поэтическом языке. Ну, я вижу, мы сегодня дела не сделаем. У меня в кошельке всего-навсего семь фунтов...

— Счет написан на двадцать фунтов. Я рассчитывал заработать за свои труды хотя бы десять процентов. Приходится, видно, от этого отказаться. Тяжело жить теперь торговцу. Но все равно. Еще мой дед вел дела с вашей бабушкой, и я чувствую, что, если буду наживать на вас, это мне принесет несчастье. Вот жемчужина. Берите. Подарок. Вы заплатите мне всего только эти двадцать турецких фунтов.

— О, нет! Это невозможно. У меня восемь фунтов. А ведь вам известно, что армянки не уступают ни одного пиастра...

— Послушайте, мадам. Не будем больше говорить о двадцати фунтах. Установим твердую цену. Все это была пустая болтовня. Пошутили, теперь будем говорить серьезно. Даю вам

честное слово! С пятнадцати турецких фунтов я не зарабатываю и того, что стоит шелковый носовой платок.

— Господин Каразов, с десяти фунтов вы зарабатываете столько, что могли бы с ног до головы закутать в шелк вашу красавицу-дочку. А я не достаточно богата, чтобы...

— Боже мой! Десять фунтов! Конндже-гуль, поди сюда!

Из-за портьеры высовывается миловидное личико девочки-подростка.

— Мадам, этот ребенок — моя плоть и кровь.— Каразов кладет руку на шелковистую головку девочки.— Ее головой клянусь вам, что, продавая за десять футов, я терплю убыток.

— Господин Каразов, я верю вашей клятве. Подойди, милая, я тебя поцелую. Увы!.. скажи своему отцу, что он должен мне уступить жемчужину за девять турецких фунтов, потому что я — старая, упрямая покупательница и потому, что в другой раз он заработает на мне больше... Ну, господин Каразов?

— Одиннадцать фунтов, мадам, умоляю вас!

— Идет, девять с половиной.

— Ах, мадам... Весь дом к вашим услугам. Что такое жемчужина? Пустяк. Подарок. Девять с половиной, пусть будет по-вашему.

XVIII

— Господин де Севинье, послушайте местную легенду. Вначале Аллах создал все народы. Потом, пожелав, чтобы они были справедливы и честны, он положил честность в котелок и начал ее варить. Через семь лет она сварилась и была готова. Аллах размешал ее как следует золотой ложкой. Потом сказал архангелу: «Поди и приведи мне тех, кого я создал». Архангел отправился по всему свету собирать людей. Первыми пришли правоверные, потому что они живут ближе к Богу. «Вот вам, правоверные»,— сказал Аллах и налил им без меры полную ложку драгоценной влаги. Они разошлись, сделавшись честными навеки. Потом пришли франки. «Вот вам»,— сказал Аллах. И налил вторую порцию так же щедро, как и первую. Наконец, пришли язычники. «Вот для вас, несчастные!» Аллах налил третью ложку. В котелке оставалось немного. «Господь, господь! — воскликнул вдруг архангел,— ты забыл про евреев и персов!» Аллах наклонил котелок, но, собрав все остатки, едва наполнил одну только ложку. «Тем хуже,— сказал он.— Они поделят между собой вот это». Евреи и персы ушли вдвое более вороватые и лукавые, чем правоверные, франки и язычники. В котелке честности не осталось ни одной капли. Увы! Тогда только пришли за своей долей армяне.

Госпожа Эризиан не без комичной гордости поддерживает таким образом сомнительную репутацию своего племени. Я

лично ей очень благодарен: только что вмешательство моей новой знакомой и ее такт оказали мне большую услугу в лавке господина Каразова. Я заплатил за ковры только вдвое больше их настоящей цены.

За это я предложил госпоже Эризиан разделить со мной мой экипаж. Она приняла приглашение без церемоний.

Мы едем через Золотой Рог по огромному деревянному мосту.

У мадам Эризиан красивые армянские глаза, продолговатые, живые, которые она устремляет на вас со спокойной уверенностью пожилой женщины.

— Вы знаете, я очень рада, что имела сегодня случай с вами познакомиться, после всего того, что мне сказала Мариа.

— Леди Фалклэнд?

— Да... я ее называю Мариа потому, что знала еще вот такой... Она только что вышла замуж, когда приехала в Константинополь. В декабре будет восемь лет... Она была тогда еще совсем молоденькой. Там, в Антиллах, их выдают замуж еще детьми. Бедняжка!

У меня такое впечатление, точно со мной говорит вдова с берегов Луары или Сены. Я не могу удержаться, чтобы не спросить:

— Вы долго жили во Франции, сударыня?

— Я? Я там никогда не была... Вас удивляет мой французский язык? Но в Константинополе все говорят по-французски...

— Но не так, как вы.

— А! Вы бываете у греков. Да, в их языке есть своеобразные идиотизмы. Их женщины редко берут в руки книгу. А мы, армянки, много читаем.

— Вам это приносит большую пользу.

— Ну, конечно!.. Предупреждаю вас, я не стану корчить из себя скромницу. Наши мужья — самые ловкие дельцы в мире. А мы, скажу без хвастовства, мы — самые интеллигентные из женщин.

Я задаю ей коварный вопрос:

— Значит, турки устраивают вам время от времени резню из одной только зависти?

Она отвечает без смущения:

— Нет... Они прибегают к этому из инстинкта самосохранения. Теория Дарвина, и только. Если бы они нас не убивали время от времени, мы уморили бы их голодом. Мы слишком современны, они отсталы. В этом не наша, но и не их вина. И это вовсе не весело, что приходится убивать друг друга...

Она на минуту задумалась. Наша арба движется шагом по дороге, идущей по косогору, который огибает Юксек-Кальдирим.

— Но мы уклонились от темы. Я уж давно хочу вам задать вопрос. Вы немножко влюблены в Марию, не правда ли?

Я изумляюсь совершенно искренне.

— Я, сударыня? Ради Бога, взгляните на цвет моих волос. Мне сорок... больше сорока лет...

— О, вы можете назвать точную цифру! Мне это безразлично: мне самой уже шестьдесят четыре! Впрочем, это неважно. Вы кажетесь еще совсем молодым. Здесь возраст ни при чем. Значит, вы влюблены в Марию?..

— Ничего подобного! Я чувствую глубокую симпатию к леди Фалклэнд, чисто дружескую симпатию. Леди Фалклэнд очаровательна, добра, проста и, если не ошибаюсь, очень несчастна...

— Нет, вы не ошибаетесь, к сожалению. Ну, хорошо, пусть вы не влюблены в нее, это хорошо. Так постарайтесь же и не влюбиться!

— Не бойтесь. Однако... я спрашиваю из простого любопытства, отчего эта возможность кажется вам такой нежелательной?

— Оттого, что, как вы это заметили, Мария уже достаточно несчастлива и ей не нужно новых поводов для страданий. Если б вы ее полюбили, вы доставили бы ей неприятности и мучения... Не говорите «нет»: я слишком стара для того, чтобы не знать, что такое любовь. Да, вы ей сделали бы зло. Ну, а этим достаточно занимаются ее негодяй-муж, ее змея-кузина, ее беби, неблагодарный уже с пеленок, Чернович и все другие... Можно вполне обойтись без вас!

Госпожа Эризиан выпаливает все это с необычайным пылом. Мне это нравится: я люблю людей, умеющих любить своих друзей.

— Будьте покойны, сударыня: я не причиню страданий леди Фалклэнд ни тем способом, которого вы опасаетесь, ни каким-либо другим. Но по поводу леди Фалклэнд разрешите мне загадку, которая меня сильно занимает. Я вполне понимаю, что не очень-то весело быть женою сэра Арчибальда; но я никак не могу постичь, как могло случиться, что, будучи его женою, можно бояться перестать ею быть... Да, судя по слухам, муж намерен дать леди Фалклэнд развод, по которому у нее отнимут сына. Я очень плохо знаю английские законы. Но я не могу допустить, что этот закон может отнять ребенка у матери без всяких причин. И в данном случае...

— И в данном случае сэр Арчибальд, надменный, как павлин, и баронет до конца ногтей, не потерпит, чтобы его разлучили с сыном, наследником его имени. Он всеми силами постарается добиться развода, и так, чтобы он был разводом по вине жены. Развода он добьется, потому что сэр Арчибальд всемогущ и очень хитер, хотя этого не скажешь по его наруж-

ности. Мариа, конечно, могла бы защищаться, но при условии нападения с ее стороны: она должна была бы шпионить, проследить его, установить измену при свидетелях и самой потребовать развода. Это вовсе не так уж трудно, и клянусь вам, что на ее месте я бы!.. Но у этой бедняжки нет нужной для этого энергии, или, вернее, ее удерживает особая щепетильность: выслеживать... фуй! Это чистокровная латинянка: она обременена целой кучей элегантных и пустых предрассудков... и даже для защиты от убийцы она не подняла бы ножа.

— Что делать, сударыня? Мы все таковы. Я тоже латинянин и тоже поступил бы, как она.

— Потому что вы никогда не знали восточных сражений, где все удары — предательские. Вот послушайте: на днях эта безумная Мариа назначила вам свидание в Стамбуле и совершила с вами прогулку вдвоем. И вот достаточно, чтобы один из шпионов ее мужа застал вас обоих у кладбищенской стены — и повод для развода готов.

— Что вы говорите!

— Вы не знаете этой страны! Но я вас предупредила. Вы видите, что вовсе не так трудно сделать зло леди Фалклэнд. Арабаджи, дур!

Кучер останавливается. Мы в Пере, у входа в один из тех крытых пассажей, которые соединяют улицу Кабристан с Главной улицей. Здесь живет мадам Эризиан.

— Приходите когда-нибудь днем, поболтаем. Я всегда дома, у меня очень хороший чай. Вам, цивилизованному, будет интересно взглянуть, как дикарка из Армении справляется с чаем, сливками и сахаром!

— Дикарка довольно утонченная. Сколько веков прошло с тех пор, как ваше племя покинуло свой родной шатер?

— Сколько веков? Моя мать в нем жила, между Эрзерумом и Эрзинджаном, а я в нем родилась и первая из моего племени поселилась в Константинополе, где научилась французскому языку. Эта метаморфоза совершилась в одно мгновенье. Ведь я говорила вам, что армянки — самые интеллигентные из женщин!

XIX

Октябрь.

Я уже привык к своей полусельской, полугородской жизни, какую я вел в сентябре. Привык к долгим переездам по Босфору, к беспечным часам на ширкет-хаирие или в каике. Теперь, когда покончено с Терапией и Беикосом, у меня есть Стамбул, в котором я могу все это забыть. И право, я забываю.

Стамбул чудесный город забвения. На его маленьких, бесконечных и перепутанных улицах, которые покорили меня с первого же дня, можно проникаться на солнце, среди тишины

и уединения каким-то ясным философским настроением, усыпляющим все тревоги и все горести. Если бы судьба вместо того, чтобы обречь меня на однообразие современной жизни, предназначила мне бурную долю героя романа или трагедии, мне кажется, что старый, усталый, изможденный, пресыщенный тревогами и приключениями, я вернулся бы в Стамбул, чтобы отдохнуть и уснуть мирным сном.

Для моих ежедневных занятий достаточно утра: у военного атташе Франции не слишком много работы в Турции, находящейся в полной зависимости от Германии. У меня один только друг в официальном мире — Мехмед-паша, но мы принуждены скрывать эту дружбу. Так или иначе, мы — два шпиона: и шпионим в разных лагерях.

Мои вечера еще более, чем в Терапии, заняты всякими светскими церемониями: обеды или рауты обязательные и неизбежные, и я не принадлежу себе почти никогда.

Но все время от завтрака до five oclock'а — мое. И я нарочно завтракаю очень рано и назначаю все необходимые визиты после шести часов, когда становится уже темно. И тогда могу подолгу медленно бродить по Стамбулу, где вздумается, пересекая его от Сераля до Стены и от Золотого Рога до Мраморного моря.

У меня есть любимые места. Прежде всего, эспланада Сулемание-Джами и двор мечети Селяма, куда меня привела в первый раз леди Фалклэнд. Потом, один за другим, я нашел новые уголки: всю обвитую плющом арку акведука, в двух шагах от знаменитого квартала Абул-Вефа; старую мощеную площадь, на которой высится полуразрушенная мечеть, называемая мечетью Тюльпанов, и самая очаровательная из турецких кофеен, кофейня Махмуд-паша-Джами, совершенно скрытая под огромными платанами.

Два раза в течение двух недель я посетил Канлиджу, и леди Фалклэнд принимала меня в гостиной, убранной иоргесскими коврами. Оба раза леди Эдит, стараясь досадить своей кузине, не оставляла нас ни на секунду одних. Но мы вознаградили себя, совершив четыре прогулки по нашему Стамбулу: четыре длительных têtе-а'-têtе на наших улочках, на кладбищах или на ступенях наших мечетей. Я не забыл того, что сказала мне госпожа Эризиан, и честно указал леди Фалклэнд на опасность подобных похождений...

— Да, я знаю,— был ответ.— Никто лучше меня не сознает опасности, которая меня постоянно подстерегает. Но, дорогой друг, я люблю играть этой опасностью. И я сознаю свое достоинство так называемой «свободной женщины», только благо-

даря этому бесполезному мужеству и этому добровольному безрассудству. Так что не требуйте от меня осторожности.

И я не требовал. Бесполезное мужество мне нравится. Женщинам смелость не вменяется в долг, как нам. Зато, когда они смелы, да еще без необходимости, их мужество красиво вдвойне.

XX

16 октября.

Вчера состоялся дипломатический бал в Пере у его высокого превосходительства Пиали-бея, министра иностранных дел.

Пиали-бей — не мусульманин. Он — райя, христианин, вассал. Но в несчастной современной Турции Европа и христиане распоряжаются, точно хозяева. И сам падишах, халиф и наместник Пророка, передает гяурам заботу об управлении его народами. Это и смешно, и грустно. В самом пышном из салонов Пиали-бея, турецкого министра, на почетном месте, в рамке, красуется папская грамота:

«Пиали-бей Сокили и госпожа Сокили, его супруга, смиренно простираясь у ног его святейшества, с горячей верой умоляют его о духовной поддержке и апостольском благословении...»

Где вы, визири былых времен!

Пиали-бей принимает во фраке, украшенном широкой зеленой лентой. Если бы не обязательная феска, можно было бы принять его за какое-нибудь европейское превосходительство. А госпожа Сокили, с открытым лицом, руками и шеей, играет роль хозяйки и окружена мужчинами, как женщина неверных. Это наводит на мысль о близком конце ислама.

Все же вчера героем вечера был правоверный. Я не пробыл там и получаса, исправно ухаживая за посланницей почтенного возраста, когда вдруг произошло какое-то замешательство. Пиали-бей первый вскочил и, раздвигая толпу своих гостей, бросился к вновь пришедшему. А мадам Сокили, оставив целую группу важных дам, почти бегом промчалась через зал. Я в изумлении глядел на дверь, ожидая увидеть какого-нибудь монарха. Это был Мехмед-Джаледдин-паша. Пиали-бей ввел его, отвешивая поклон за поклоном. К нему заторопились со всех сторон. Два посланника подбежали к маршалу и низко ему поклонились. Старый герцог Виллавичиоза, возраст которого позволяет ему беспокоить себя только для владык мира сего, и тот поспешил из глубины салона, чтобы пожать руку Мехмед-Джаледдину.

Мехмед-паша чуть-чуть презрительно улыбался. Я заметил на его груди редкий орден, которым султан обыкновенно награждает только принцев крови. Это был Имтиац с бриллиантами. В это мгновение к нему подошел Нарцисс Буше. Я при-

соединился к моему шефу и вслед за ним отвесил поклон Мехмеду, пробормотав наобум:

— Поздравляю, ваше превосходительство!

Увидев меня, маршал возразил:

— О нет, господин полковник! Между солдатами это лишнее. Вы сделали бы то же самое.

Заинтригованный, я спросил Нарцисса Буше, в чем дело.

— Как, вы не знаете? Эта вчерашняя история на селямлике. Мятеж зуавской гвардии.

— Мятеж?

Султан три раза брал для эскортов на селямлик сержантов албанского полка. Арабский полк возмутился, вздумал осадить казармы фаворитов. Албанцы ответили ружейным залпом из окон, и их противники отступили в ожидании подкрепления; они воспользовались этим и выступили на улицу. Сейчас же завязалась настоящая битва, с убитыми и ранеными. Арабский полковник, возбужденный больше всех, подзадоривал солдат, вместо того, чтобы их удержать. Казармы, как вам известно — в пятистах метрах от Ильдиза. Султан, заслышав шум, испугался. Он спешно отдает приказ военному министру: усмирить сражающихся. Но министр встречен весьма плохо. В него даже стреляют, и ему приходится повернуть оглобли. Мехмед-Джаледдин в это время во дворце. «Хотите, я пойду туда?» — говорит он султану. Султан с радостью соглашается. Мехмед отправляется совершенно один, верхом на коне, вот в этом самом мундире и шагом проезжает по полю сражения под градом пуль; его все видят и узнают. По левому флангу он направляется прямо к арабскому полковнику и убивает его на месте, на глазах всего полка. Это подействовало, как холодный душ. В одно мгновенье наступила гробовая тишина. Они знают Мехмед-пашу, они видали его на полях битв в Фессалии. Солдаты сейчас же вернулись в казармы. Султан нашел, что это заслуживает Имтиаца.

И я нахожу то же самое. Я возвращаюсь к маршалу.

— Ваше превосходительство, простите мне глупость, которую я только что сделал: я стал таким верным турком, что живу больше в Стамбуле, чем в Пере, и пять минут тому назад я еще не знал, каким образом этот орден появился на вашей груди. Но теперь, когда я это знаю, позвольте мне повторить более сознательно мое поздравление. Я полагаю, что именно солдат имеет право вас поздравить...

— С тем, что я подвергался пустяшному обстрелу? Но ведь в этом наша прямая солдатская обязанность.

— Нет, вы подверглись обстрелу со стороны ваших же собственных солдат и могли при этом нелепом возмущении быть убитым нечаянно, без всякой славы...

Он засмеялся, и его глаза заблистали.

— Полноте, господин полковник! Истинные солдаты, как я и вы, умеют умереть или убить, где угодно и как угодно. Для этого нет надобности ни в знаменах, ни в музыке!

Пиали-бей вернулся и завладел гостем. Я прошелся по гостиной. На мой взгляд, не было ни одной женщины, с которой стоило бы заговорить. Леди Фалклэнд не явилась. Из француженок была одна только маленькая Тераиль, которая, как всегда, танцевала со своим мужем.

Туалеты достаточно изящны и их умеют носить. Дипломатический корпус, который копирует «вся Пера», поддерживает общий вкус на приемлемом уровне. Кроме того, Пиали-бей не принимает у себя мелкой буржуазии. Но если от этого бал и выигрывал в пышности, он зато проигрывал в оригинальности. Я не имел удовольствия заметить здесь девиц Колури, ни слышать тот своеобразный французский язык, на котором говорят в греческих салонах. Я только налету поймал фразу, сорвавшуюся с уст одной красивой дамы, вышедшей из той же среды, но акклиматизировавшейся в официальных сферах с тех пор, как ее муж, банкир, заработал несколько миллионов на какой-то смелой спекуляции. «Мадемуазель такая-то? Кто ее знает, есть ли у нее приданое: не забудьте, что у ее матери есть еще трое других детей и пятый — dans la rue (на улице)». Очевидно, она хотела сказать en route (в пути). Эта метафорическая «улица» порядком меня позабавила.

Гостиные не представляли ничего привлекательного. Зато в курительной было интересно. Как только я вошел, Нарцисс Буше, сидевший в центре группы, сделал мне знак подойти и послушать.

Толстый человек, по виду немецкий еврей, весь в крестах и кольцах, призывал целый мир в свидетели того, что он стал жертвой ужасной несправедливости.

— Клянусь Богом и всеми святыми, что я сделал все возможное и невозможное. Четыре битых часа я говорил с первым секретарем его величества, держал его за пуговицу, как держу вас. Но что толковать с тумбой! Улыбок, любезностей сколько угодно. Денег — ни гроша. И на все доводы один ответ: «Я с вами согласен, но его величество не может дать ни фунта больше». А дело идет о восстановлении трех четвертей Аравии, всего ее былого благосостояния!

Он вытирал лоб. Нарцисс Буше добродушно посочувствовал.

— Я согласен, километрическая гарантия не велика. Но ведь у вас есть концессия, а это самое главное?

— Это главное... для Аравии, да! Железная дорога будет построена. Но наши акционеры не разживутся на таких дивидендах!

— Ну, они уже достаточно разжились...

Нарцисс Буше поднялся, и я прошел за ним к амбразуре окна.

— Вы слышали? — прошептал он насмешливо.— Это Фредерлов, пруссак, известный железнодорожный делец. Вы в курсе его дела? Он хочет проложить железную дорогу между Меккой и Маскатой через пустыню — пятьсот миль песка и камня. Ясно, что это не принесет ни одного сантима: на всем протяжении нет ни одного жилья, а проезд морем стоит втрое дешевле. Но султан заплатит километрическую гарантию, и доход будет достаточно кругленьким.

— Но Фредерлов недоволен?

— Как вы еще молоды, полковник! Послушайте еще, вы посмеетесь.

И Нарцисс Буше вернулся к немцу.

— Кстати, ваши исследования, я полагаю, окончены? Какова длина всей линии?

Толстяк поднял руки к небу:

— Господи! Вот здесь-то и кроется самое главное: мы рассчитывали на две тысячи девятьсот километров, но эта пустыня Дахна изрезана пропастями, а слабая поддержка правительства не позволяет нам предпринимать большие работы...

— Но все-таки сколько?

— Три тысячи шестьсот, семьсот...

Нарцисс Буше незаметно усмехнулся.

— Понимаете, полковник? Полюбуйтесь, какой трюк: принимается цифра, назначенная султаном для километрической гарантии, но пропорционально увеличивается число километров. В конечном счете все-таки барыш. Не говоря уже об экономии на виадуках, которые будут построены самым примитивным способом, постройка Маскатской железной дороги им обойдется недорого! Эти славные турки позволяют себя стричь, как бараны.

Я чистосердечно возмутился:

— Но как султан может на это согласиться?

— Султан? Бедный мой полковник! За Фредерловым стоит германский посол, а за послом — сама Германия! Приходится проглотить эту пилюлю, хочешь не хочешь!

В дверях появилась стройная фигура Мехмед-Джаледдина. Фредерлов, увидев его, вдруг замолчал.

Мехмед подошел ко мне.

— Господин полковник, мне нужно вам передать приглашение.

— К вашим услугам, господин маршал...

Он отвел меня в сторону.

— Я не дипломат, вы знаете. Вот в чем дело: я не хочу, чтобы вы судили о нашей стране по таким приемам, как сегодняшний... Боже упаси, я не осуждаю наших хозяев! Но они — христиане; а турецкие христиане — не настоящие турки. Итак,

не согласитесь ли вы прийти позавтракать к одному из моих мусульманских друзей в следующий вторник? Я не могу вас принять у себя, вы знаете почему?..

— Знаю...

— Но мой старый товарищ, генерал Атик-Али-паша, который не имеет опасной чести являться ежедневно в Ильдиз, будет очень рад видеть за своим столом моего гостя. Согласны?

— Ну, конечно!

— Хорошо. У Атик-Али-паши, я вам ручаюсь,— короткий взгляд в сторону инженера,— вы не встретите немцев. Вам, французу, это должно быть приятно.

XXI

Атик-Али-паша живет в самом сердце Стамбула, в двух шагах от Серак-Киерата, в суровом конаке, выходящем на спокойную, молчаливую улицу.

В самом конаке тоже тишина и спокойствие. Атик-Али-паша, как и большинство турок,— серьезный и кроткий человек. Родственники, живущие под его кровом — турецкое гостеприимство не знает границ,— так же стары, как их хозяин, так же стары, как слуги в этом доме, все бывшие солдаты или крестьяне. Только сын Атика, Али-Хамди-бей, вносит иногда в этот тихий дом оживление со своими товарищами по полку: Хамди-бей — гусарский капитан. Атик-Али гордится своим красавцем сыном и радушно принимает молодых людей, носящих такой же зеленый доломан и такой же каракулевый тарбуш. Впрочем, чаще всего конак, даже переполненный военной молодежью, не меняет своего мирного уклада: в Турции с незапамятных времен сохранилось почтение к старости. И перед Атик-Али-пашой все сдерживают свои молодые голоса.

Мы завтракаем в обширном зале, с ярко-расписанным по-турецки потолком. Я любуюсь контрастом между Атик-Али-пашой и Мехмед-Джаледдином: Атик-Али старше Мехмеда на двадцать лет; он — только генерал ферик; по его задумчивым глазам и белоснежной бороде сразу видно, что он всегда стоял в стороне от придворных интриг. Мехмед-Джаледдин-паша, маршал и всемогущий фаворит его величества, начал свою военную карьеру под начальством Атик-Али, бывшего тогда командиром эскадрона. Но Мехмед, отпрыск княжеского рода, паж императорского гарема, еще до того, как надеть шпагу, был уже предназначен судьбою для быстрой и блестящей карьеры.

Я уверен, что всюду в другой стране между двумя столь различными по своему положению офицерами существовала бы пропасть, которую не могла бы заполнить даже дружба. Но Турция — единственная в мире страна, где не существует зависти, потому что турки — истинные демократы. Вчера у дверей Серас-

Киерата я видел, как военный министр остановил свой экипаж и подозвал чистильщика сапог. Чистильщик и министр называли друг друга эффенди и кланялись один другому с одинаково безупречной учтивостью. Так и Атик-Али нисколько не завидует Мехмед-Джаледдину в том, что он — маршал, несмотря на то, что ему нет еще пятидесяти лет. А Мехмед низко склоняется перед своим бывшим начальником и называет его «отцом», потому что на земле Аллаха выше всего привыкли чтить старость.

Стол, разумеется, турецкий. Впрочем, ничего экзотического. Турецкая кухня очень родственна французской. Шиш-кебаб — баранина с рисом, орман-кебаб — баранина под соусом; европейские овощи; рис, безукоризненный пилав; фаршированные виноградные листья; молочные продукты: кислый югурт и знаменитый каймак из молока буйволиц, которых выдерживают в темных стойлах. Наконец,— фрукты: восхитительный анатолийский виноград, более крупный, чем провансальский «панс» и более сочный, чем «шасла» из Фонтенбло.

За столом, конечно, ни одной женщины. Атик-Али-паша женат, так же, как Хамди-бей и Мехмед-Джаледдин-паша. Но мусульманские женщины не появляются на мужской половине, в селямлике. Для них отведен гаремлик, отгороженный стенами и решетками. Впрочем, они выходят из него, когда им заблагорассудится, на прогулку, за покупками, отправляются в гости к своим подругам или болтают на дворах мечетей. Если все это взвесить, то, пожалуй, турецкие обычаи дают женщинам больше истинной свободы, чем наши европейские нравы*.

Супруг-француз, конечно, не допустил бы некоторых преимуществ, предоставленных жительницам гарема, против которых, однако, не возражают османские мужья. Но зато супру-

---

* Когда была написана эта страница — 28 июня 1906 г.,— блестящий роман Пьера Лоти «Разочарованные» еще не появился в свет. Автор не считал нужным особенно подчеркивать эту истинную свободу, которую турецкие нравы предоставляют женщине. В настоящее время, пожалуй, найдутся читатели, которые станут обвинять автора в легкомыслии.

Но прочтите внимательно роман «Разочарованные». Турецкие дамы, героини этого романа, принадлежат не только к высшей аристократии, но и ко двору, и располагают рентой не меньше, чем в сто тысяч фунтов. Для этих женщин, да, закон ислама суров. В Турции больше, чем в любой другой стране, богатство — синоним рабства. Богатство — значит: евнухи, служанки, запертые конаки, закрытые кареты, столько же тюремщиков, сколько тюрем. Но огромное большинство турецких женщин не имеют слуг-негров и ходят пешком. И эти мусульманки, которых еще не слишком испортило соприкосновение с Европой, действительно живут более свободно, чем наши женщины, и являются более полноправными хозяйками дома, чем наши жены.

Кто из европейских мужей, например, полностью доверит жене воспитание дочерей до замужества и сыновей до наступления юности?

жеский дом здесь разделен на две половины, и только муж имеет право переступить порог обители женщин.

Нас всего десять человек за столом. Все — военные. Завтрак дается в честь Мехмед-Джаледдина-паши, награжденного имтиацом. Но ни одного нескромного или тяжеловесного поздравления не слышно в его адрес. В Турции храбрость — вещь обыкновенная. И только входя, каждый офицер кланяется Мехмед-паше чуть-чуть ниже, чем всегда.

Разговаривают по-дружески, не соблюдая этикета. Один капитан главного штаба, только что вернувшийся из Германии, где он в артиллерийском полку проходил установленный стаж, в нескольких словах передает свои впечатления о прусской армии:

— Превосходные офицеры. Отвратительные солдаты.

Мехмед-паша смотрит на меня:

— Господин полковник, это вас, может быть, удивляет? Ваши французские военные корреспонденты прожужжали вам уши рассказами о достоинствах германского солдата. Мы, османы, изучающие в Германии военное дело теоретически и проходящие там свой стаж,— мы совершенно иного мнения.

Старый Атик-Али качает головой: в его время турки изучали военное искусство не в Берлине, а в Париже.

— Изет-бей, вы слышали, что сказал паша; объясните полковнику, отчего вы так строго судите тамошних солдат.

Изет-бей соглашается с готовностью. Все офицеры турецкого главного штаба говорят по-французски, как если бы они только что вышли из Сен-Сира.

— Видите ли, полковник, немцы — это машины. Они великолепно повинуются, особенно тем приказам, которые подкрепляются пинками ногой. Но зато они только повиноваться и умеют. Никакой инициативы, никакой сообразительности; почти нет храбрости. Наши анатолийские крестьяне, которых Наср-Эддин-Хаджа находил похожими на буйволов, в сравнении с ними поражают находчивостью и ловкостью.

Я же переспрашиваю:

— Наср-Эддин-Хаджа?

Все смеются. Атик-Али мне объясняет:

— Наср-Эддин-Хаджа — первый, после Карагеза, национальный турецкий философ.

— Полу-Эзоп, полу-Сократ,— прибавляет Мехмед-паша.— Иногда немножко напоминает Санчо. Его тысяча и одно приключение — настоящее сокровище турецкого остроумия. Хамди-бей, вы — хороший рассказчик; позабавьте полковника.

— Однажды на рассвете,— начинает Хамди-бей,— Наср-Эддин-Хаджа будит жену: «Жена, я пойду сегодня в лес запасти дров на зиму». Пойдешь,— говорит жена,— инш'алла (если будет угодно Богу).— Инш'алла? — возражает Наср-Эддин.— По-

чему инш'алла? Я пойду, потому что это угодно мне, а не кому-нибудь другому. Пусть так,— говорит благочестивая жена,— ты пойдешь, потому что угодно тебе, но еще и потому, что так угодно Богу: инш'алла!». «Нет никакого инш'алла»,— говорит Наср-Эддин Хаджа. И чтобы лучше убедить свою жену, он ее бьет палкой. Потом отправляется в лес. По дороге он встречает вали, идущего на охоту. «Эй, Наср-Эддин, ступай загонять дичь!» Ваше превосходительство, я... «Ты возражаешь? Всыпьте ему инш'алла и потом тащите его!» Весь день, с рассвета до первой звезды, Наср-Эддин-Хаджа бегает по лесу, загоняет живую дичь и подбирает мертвую. И к ночи его отпускают без всякой награды. Он стучится у собственной двери с пустыми руками, с пустым желудком, весь избитый. «Да хранит нас Аллах! — кричит испуганная женщина.— Кто стучит в такой час?» И посрамленный Наср-Эддин-Хаджа отвечает: «Это я... Открой... инш'алла!».

Мы пьем чудесный кофе в чашках старинного серебра. Приносят не обыкновенные наргиле, но старинные чубуки из жасминного дерева, длиною в два локтя.

Курительная Атик-Али представляет собою ателье. Старый воин заполняет свои досуги тем, что с кропотливостью молодой девушки пишет акварели, «natur-morte» и пейзажи. На этажерках недурная коллекция турецкого и венецианского стекла оживляет своими радужными цветами несколько монотонные произведения Атик-Али.

Гости молча курят чубуки. Под кровом этого дома не говорят ни о политике, ни о женщинах, и никто не осуждает ближнего.

Готовый последовать примеру Мехмед-паши, который уже прощается с хозяином, я бросаю взгляд на одну акварель: три гигантских дуба, которые вызывают во мне смутное воспоминание...

— Узнаете? — говорит Атик-Али, улыбаясь.— Это французские деревни. Я написал их очень давно, в лесу Фонтенбло. Когда-то мы обучались в вашей армии...

Он вынимает из-под стекла маленький хрустальный турецкий стакан в матовых полосках.

— Полковник, примите это на память от старика, которому вы оказали сегодня большую честь. Это стакан для истмийского вина... Истмийское вино — единственное, которое нам разрешил пить пророк. А когда вы вернетесь в вашу Францию, поклонитесь от меня этим красавцам дубам в Фонтенбло.

XXII

— Итак, господин се Севинье, довольно было поесть пилав и кебаб у старого ферика с седой бородой, рисующего акварели

и собирающего коллекции потрескавшегося стекла, чтобы влюбиться в турок и Турцию?

Госпожа Эризиан угощает меня не английским чаем, которого я терпеть не могу, а старым кипрским вином.

Она превосходная хозяйка. Вряд ли найдется француженка, которая с большей грацией протянула бы мне этот стакан; особенно француженка шестидесяти четырех лет, как госпожа Эризиан.

— Но согласитесь, господин де Севинье, ведь эти турки — дикари! Как вы, цивилизованный европеец, можете находить с ними что-нибудь общее?

Госпожа Эризиан — армянка, иногда в претензии на меня за предпочтение, оказываемое мною исламу, и за то, что я уделяю меньше симпатии ее племени, слишком влюбленному в деньги или драгоценности — смотря по полу. Но, увы, искусство скрывать свои антипатии мне чуждо!

— Сударыня, что касается турок, вы правы: они — дикари. Я даже пойду дальше: я не думаю, чтобы они когда-нибудь сделались цивилизованными. Но вы ошибаетесь относительно меня: я такой же дикарь, как и они. Подумайте: мое имя Севинье. Севинье — это бретонский род, насчитывающий девять веков, и мои прадеды из родовой гордости почти не заключали неравных браков — может быть, всего раза три за девятьсот лет, не больше. Значит, во мне мозг кельта десятого века. И это ведь не то что мозг современного турка.

— Та, та, та! Вы совершенно не знаете ваших современных турок. Мне хотелось бы, чтобы в день резни вы побыли в армянской шкуре. Вы допускаете резню? Допускаете?

— Я допускаю, что разоренные, ограбленные, раздетые донага, лишенные законной защиты против ростовщиков и хищников турки устраивают самосуд.

— Путем убийства?

— Зачем так резко! Скажем, путем насилия.

Дверь отворяется. Я слышу быстрые, знакомые шаги... Входит леди Фалклэнд и целует свою старую приятельницу.

Я не выражаю дипломатического изумления, которое соответствовало бы обстоятельствам. Говоря по правде, это свидание было условлено. Третьего дня мы с леди Фалклэнд бродили час по Стамбулу и сговорились встретиться в этот день у госпожи Эризиан. Правда, она не из тех людей, которых нужно опасаться.

Впрочем, что касается дипломатии, то леди Фалклэнд в этом отношении не уступит мольеровскому Альцесту. Она подходит ко мне, протягивает для поцелуя руку — руку, а не пальцы — и, улыбаясь, говорит:

— Здравствуйте! Знаете ли вы, что на этой неделе мы встречаемся в третий раз?

Госпожа Эризиан смотрит на нас обоих.

— Опять эти проклятые прогулки наедине! Они меня заставляют дрожать за вас, детка!

Леди Фалклэнд смеется:

— Дрожать! Вы вечно дрожите. Ах, турки правы: Аллах создал зайца и армянина...

— Гм! Вы плохо знаете поговорку или не договариваете из деликатности... Турки говорят: «Аллах создал зайца, змею и армянина»... Змею!.. Может быть, я труслива... Но армянки всегда были гораздо смелее, чем их мужья. Я, прежде всего, осторожна. А вы, вы — безумцы! Господин де Севинье, будьте благоразумны хоть вы! Куда они приведут, я вас спрашиваю, эти прогулки по Стамбулу рука об руку, как двое влюбленных, когда вы вовсе не влюблены? Ведь вы рискуете навлечь на себя множество бед!

— Мой дорогой старый друг, не браните нас. Нам так приятно чувствовать себя школьниками. Мы развлекаемся, как умеем, и развлекаемся очень невинно. Видите ли, господин де Севинье и я, мы очень похожи друг на друга: мы оба точно звери в клетке; я в супружеской клетке, более узкой, а он в дипломатической и светской, которая тоже не слишком широка. Теперь вы понимаете, как мы жаждем воздуха! Мы носимся по прекрасному, пустынному, бесконечному Стамбулу, как выпущенные на волю жеребята; и в этот короткий час мы полны иллюзий свободы, нам кажется, что мы оборвали уздечки и сломали запоры. Послушайте, ведь ради этих иллюзий стоит чем-нибудь рисковать... И потом, чем? У вас армянские глаза — огромные. Вы видите все в преувеличенном виде. «Беды»! Какие беды?

— А вот такие, что один из шпионов вашего мужа когда-нибудь подстережет вас об руку с этим вот господином полковником, и тогда вы не убережетесь от скандала и вам придется покориться, чтобы избежать худшего. Вы знаете, в какой стране мы живем, знаете, что английский консульский суд, созванный сэром Арчибальдом, удовольствуется самыми скромными доказательствами...

Леди Фалклэнд склоняет голову. Она все это знает и я тоже. Да, конечно, на мне лежит очень большая ответственность, если когда-нибудь...

Но леди Фалклэнд беспечным жестом прогоняет докучную мысль. И я вижу на ее лице обычную улыбку, которая мне так нравится — детскую улыбку, все-таки не разглаживающую грустной складки в углах рта.

— Представьте себе, господин де Севинье: мой сын, не видя вас целую неделю, уверял меня вчера, что ваш друг маршал Мехмед-Джаледдин зашил вас в мешок и бросил на дно Босфора...

XXIII

26 октября.

День женских манифестаций... Сегодня утром две женщины оказали мне честь, удостоив меня своим вниманием.

Я, конечно, не имею ни малейшего намерения заносить в эти записки все, что со мной случается, и предпочитаю совершенно опустить некоторые вульгарные приключения, от которых мало мужчин имеют мужество уклониться и в которых могут признаваться только молодые люди. Сорокашестилетний влюбленный рискует показаться смешным, а любовник того же возраста даже отвратительным.

Тем не менее мне не хотелось бы обойти молчанием сегодняшние анекдотические приключения, потому что одно из них очень мило, а другое — забавно.

Я был занят изучением новейших карт Македонии, которые, неведомо каким волшебством, составил австрийский генеральный штаб, когда вошел мой кавас Ахмет и несколько таинственно доложил мне, что со мной лично хочет говорить одна старая дама.

Заранее заинтригованный, я попросил войти и увидел чисто, но бедно одетую армянку достойного и скромного вида. Она поклонилась мне монашеским поклоном, потом, развернув свой огромный платок, вынула сноп тубероз и поднесла их мне. После этого она ушла, отвесив второй поклон, но ни разу не раскрыв рта.

Я был так изумлен, что остался стоять посреди комнаты с цветами в руке. Внезапно я заметил между стеблями запечатанное письмо. Вскрыв его, я с первого же взгляда узнал бумагу с кружевным обрезом моей маленькой соседки из Беикоса. Боже! Ведь прошло больше месяца. Я совершенно забыл об этой истории.

Премилое письмо. Молодая особа весьма невинна или совсем наоборот:

«Вы не вернулись, несмотря на обещание. Мы скоро тоже уедем из Беикоса. Мы уже готовимся к отъезду. Моя мать целые дни проводит в городе и даже иногда остается там ночевать. В такие ночи я сижу на шахнишире под звездами и жду, чтоб ваш каик привез вас ко мне».

Я поставил туберозы в старинную вазу из меди с чернью, купленную на днях у Каразова: «Дамасская работа, господин маркиз, хороша, как лампа для мечети!»... А из записки я сделал бесконечное множество мотыльков, которые сегодня полетят с вышины большого моста в Золотой Рог.

Я вернулся к своим австрийским картам. Но вдруг кавас Ахмет постучался во второй раз и доложил мне, что со мною лично желает поговорить молодая дама.

Первый сюрприз меня уже подготовил. Я не нашел ничего необыкновенного в появлении под моими сводами Калиопы Колури, собственной персоной (Калиопы, а не Христины; она, входя, назвала себя), совершенно одной, без провожатых.

Несмотря на присущий ей апломб, которому ее визит ко мне представлял лишнее, но убедительное доказательство, она была несколько смущена моей спокойной улыбкой и непринужденным жестом, с каким я указал ей на кресло. Она уселась и, обратив на меня неуверенный взгляд, поколебались одно мгновенье, прежде чем забросать меня различными извинениями, которые она, очевидно, приготовила дорогой.

— Представьте себе... Я случайно проходила мимо вас. Я подумала: вы живете в этом большом доме... Мне так любопытно было посмотреть, как вы живете. Я не могла устоять...

Я предоставил ей выпутываться самой. Она кончила смущенной улыбкой; потом, благоговейно осмотрев одну за другой все четыре стены, воскликнула:

— Как здесь красиво! Как чувствуется во всем французский вкус!

Она изображала чрезвычайное, но мало правдоподобное восхищение: мои залы, простые, убранные одними только персидскими коврами темного пурпурного цвета, вряд ли могли нравиться молодой гречанке из Перы, обожающей безделушки. Но среди ее восклицаний я тщетно искал истинной причины ее визита...

Я и до сих пор не нашел ее. Мне пришла, правда, в голову мысль, но такая нелепая!..

Вот факты. Тщательно осмотрев залы, мадемуазель Колури заявила, правда, густо покраснев, что хочет посмотреть остальные комнаты. В столовой она задержалась только одну минуту. И когда у следующей двери я честно ее предупредил, что это моя спальня, она влетела туда, быстро пробормотав:

— Не знаю, право, можно ли мне...

Очевидно, ей было можно. Даже настолько можно, что, постояв немного между стулом и креслом, она вдруг решилась сесть на постель.

Я смотрел на нее с некоторым смущеньем. Но, очевидно, постель не внушает ей никаких опасений.

— О,— сказала она, улыбаясь,— у вас очень хороший матрац.

Я ничего не ответил. Она бойко продолжала:

— Вы меня, должно быть, страшно осуждаете... Войти в комнату мужчины... Но я знаю, что французы уважают молодых девушек...

Она с самым серьезным вниманием рассматривала кончики своих ботинок.

— Я бы никогда не осмелилась войти таким образом к здешнему молодому человеку... (Молодой человек. Черт возьми! Я польщен!) Потому что... Вы знаете, как следует определять любовь? (Ай! Где несравненная мадам Керлова!) Это обмен двух фантазий и контакт. Как молодая девушка, я, конечно, могу признавать только обмен... а здешние молодые люди требуют контакта... Молодой девушке очень трудно флиртовать в Пере...

Я невольно возражаю:

— Но, в таком случае, раз это так трудно... то молодые девушки, которые флиртуют, должны быть очень ловки?

Она смеется пронзительным нервным смешком:

— О! Не так уж ловки, как вы думаете... но все-таки... они кое-что знают...

Ее ресницы нерешительно опускаются, потом снова вскидываются на меня, с решимостью и вызовом.

А! Неужели? Но, это правда, французы инстинктивно уважают молодых девушек. Я отступаю до кресла и сажусь.

Мадемуазель Калиопа Колури вышла от меня десять минут спустя, совершенно нетронутая. И, конечно, я ни на одну минуту не допускаю, чтобы эта молодая девушка, находясь под моим кровом, питала какие-нибудь тайные замыслы.

XXIV

27 октября.

Вчера был странный вечер. Четыре часа, оставивших по себе туманное и отвратительное воспоминание прикосновения к чему-то грязному.

Я обедал в кабаре Токатлиан, в Пере. Утренний визит Калиопы придал моим мыслям легкомысленное направление, и я решил не заканчивать дня в одиночестве. В низеньком зале Токатлиана было, на мой взгляд, слишком светло и шумно. Я поднялся на первый этаж ресторана, более укромный и приятный, потому что там часто обедают одинокие любезные дамы в пышных шляпах. Одна из них, по имени Карлина, уже несколько раз соглашалась разделить со мною мой столик.

Карлины на этот раз не было, но я увидел там двух людей, встреча с которыми мне была очень неприятна: то были сэр Арчибальд Фалклэнд с неразлучным Черновичем.

Поляк сейчас же заметил и окликнул меня. Не думаю, чтобы я был более симпатичен сэру Арчибальду, чем он мне. Между нами стала его жена, а он достаточно проницателен, чтобы понять, что мы можем быть только врагами. Но Чернович, которого я тоже не люблю и по отношению к которому

моя антипатия усиливается еще каким-то боязливым отвращением, проявляет при каждой встрече со мной безграничную любезность, которая меня удручает.

Вчера, например, он не успокоился до тех пор, пока я не согласился пообедать за их столом. У меня не нашлось ни одного более или менее вежливого мотива для отказа. Фалклэнд, всегда корректный, принял меня очень учтиво.

Итак, я обедал с ними. Чернович занимал своей болтовней так усердно, что я почти мог не проронить ни слова. Я мечтал в это время о том, чтобы как-нибудь поскорее развязаться с этой компанией, совершенно непохожей на ту, которую я искал. Сейчас же после десерта я поднялся.

— Маркиз! — воскликнул Чернович.— Не оставляйте нас так поспешно! Держу пари, что вы спешите к девочкам. А? Не отпирайтесь! Мы тоже пойдем. Оставайтесь с нами.

Я придумывал извинения.

— Полноте! Вы, француз, отказываетесь от маленького кутежа? Бросьте! Время от времени надо встряхнуться. Опять нет? Мы подумаем, что вас удерживает рыцарская верность в любви... Ха, ха! Маркиз, вы хотите нас пристыдить, особенно Фалклэнда, который женат. Вы бережете себя для дамы вашего сердца... Кто она? Подождите, мы отгадаем!

Эта болтовня страшно действовала мне на нервы. Но, взвесив хорошенько, я понял, что самое простое остаться с ними. Какой-то инстинкт подсказывал мне, что надо быть осторожным... Шутки поляка вызывали во мне смутное беспокойство; кроме того, мне было бы очень неприятно укрепить его подозрения и заставить его, совместно с мужем леди Фалклэнд обсуждать, какая из здешних дам могла послужить причиной моего бегства...

Я остался.

Да, странный вечер... Фалклэнд и, я одинаково молчаливые, и Чернович, утрированно-веселый...

Мы пили, как полагается: классический extra-brut прежде, чем встать из стола; потом в буфете цирка (была среда, дипломатический спектакль — gala, цирк был обязателен) другой extra-brut, который походил на посредственное виски с содой; и в заключение разные другие напитки.

Пера — провинциальный городок; инкогнито там сохранить нельзя. Молодые кутилы, сверкающие брелками и кольцами, чрезвычайно изысканные в своих высоких воротничках, смотрели на нас с почтительным любопытством: ведь мы были «посольские!» Но, впрочем, узнали нас или нет, корректный кутеж в смокинге или фраке при черном галстуке — это ничуть не может повредить карьере.

Сначала цирк. Потом Конкордия, наименее нечистоплотный притон Главной улицы...

Мы сидели одни за круглым столом и пили. Вокруг нас кружились женщины. Но приличия не позволяли нам пригласить их в таком людном месте...

Во Франции умеют кутить. Французский кутеж остроумен, весел, изящен; он не бывает ни вульгарным, ни распутным; он напоминает ужины XVIII века, маркиз в мушках и уютные домики; непристойность в нем превращается в легкомыслие и украшается эпиграммами и мадригалами. Мне случалось видеть ночи в Париже и Ницце, где четыре вивера и четыре куртизанки расточали друг перед другом больше остроумия и грации, чем вся остальная Европа за целый год. Везде в других местах, в Берлине, даже Вене, кутилы имеют вид разгульных пьяниц, а их дамы походят на уличных женщин.

И вчера все было по-скотски противно.

Мы довольно поздно оставили места, где можно быть на виду, для других, которые требуют тайны. Чернович повел на улицу Линарди, в гнусный притон, где какие-то создания, будто бы «артистки» танцевали перед нами совершенно голые. Я испытывал отвращение при виде их безобразных и похотливых телодвижений. Но лицо сэра Арчибальда краснело, и вены на висках надувались и наливались кровью.

После этого дома — другой, потом третий. В промежутке мы шли по Главной улице, казавшейся ночью менее безобразной и даже романтической, благодаря своим неправильным, высоким домам.

Наконец, как полагалось по уставам оргий в Пере, мы постучались у дверей мадам Артемизы. Мадам Артемиза — старая гречанка, допускающая под своим гостеприимным кровом знакомства светских людей с несветскими, но красивыми девицами. Гречанки, армянки, а также славянки и румынки усердно посещают этот дом. От них требуется немногое: красивое телосложение и возраст не менее двенадцати лет...

Здесь произошел любопытный инцидент.

Мы сидели в гостиной мадам Артемизы, и я пробовал с помощью тяжелых, как удары дубины, любезностей — здешние дамы не оценили бы других — развеселить девиц, сидевших с нами исключительно из профессиональной обязанности. Далеко не весело видеть проститутку, покорно несущую бремя своего ремесла.

Сэр Арчибальд, глубоко усевшись в кресло, слушал меня и глядел на Черновича, завязавшего флирт с подростком в короткой юбочке. Время от времени открывалась дверь, впуская новых девиц, которых нам представляли с неизменной торжественностью.

Вдруг сэр Арчибальд поднялся.

Мадам Артемиза вела за руку запоздавшую девицу — довольно красивую, высокую и стройную блондинку, с белым

лицом и гладкой прической — тип неожиданный среди малорослых, матово-смуглых левантинок. Мне вспомнился итальянский портрет: полотно Сельватико, которое я видел в Милане... И я подумал, что эта женщина всем своим обликом напомнила леди Эдит, кузину и любовницу сэра Арчибальда Фалклэнда.

Он, как видно, думал то же самое. Он стоял бледный, как полотно, не спуская глаз с этого живого портрета. И я видел, как дрожали его могучие кулаки.

Внезапно он двинулся с места, схватил женщину за руку и, ни слова не говоря, увел ее. Они исчезли...

Раздался смех. Пьяный Чернович, протянув руку по направлению к двери, декламировал из Расина:

«Далекого врага я снова увидал,
И свежая моя открылась снова рана...»

Потом, спохватившись, сказал с тем свирепым видом, который был ему свойствен во время опьянения:

— Но знаете, полковник, я на эту тему шутить не люблю! Мой уважаемый друг сэр Арчибальд Фалклэнд — человек свободный...

Так как я не отвечал, он смягчился:

— И сентиментальный тоже. Вот почему этот великан влюбляется в самых чистых и хрупких! И если бы вы знали, какой это нежный любовник!

Действительно, эти боксеры цвета сырого мяса влюбляются всегда в модели Ромнея и Гоппнера. И, должно быть, именно поэтому.

XXV

Эпилог вчерашнего вечера: кавас Фалклэндов принес мне только что следующую записку:

«Милостивый государь!

Обращаюсь к вам по поручению.

Мой муж, который, по его словам, очарован вечером, проведенным с вами в клубе — неужели там так хорошо? — просит меня пригласить вас в воскресенье позавтракать с нами запросто. Вы поймете, с какой готовностью я спешу исполнить это поручение, прошу вас верить моей самой искренней к вам симпатии...

Вы придете, не правда ли? Хоть раз в жизни эта семейная трапеза,— мой ежедневный кошмар, будет для меня не так ужасна. До воскресенья! Я рассчитываю на вас.

Ваш друг
Грандморн-Фалклэнд».

Конечно, я пойду; хотя бы для того, чтобы освежить воспоминание и сравнить вчерашнюю молодую особу с леди Эдит, увидеть, что перед этой тоже дрожат мощные кулаки побледневшего сэра Арчибальда.

XXVI

...Ужасный, леденящий завтрак; хуже всего, что я мог себе представить. Нас шестеро за огромным столом: леди Фалклэнд с мужем, леди Эдит и Чернович, ребенок — немой, как рыба, и прямой, как струна — и я...

Очень красивая английская, но скромная сервировка: белая скатерть и никаких цветов, кроме однотонных хризантем цвета ржавчины. Латинский вкус исправил обычную пестроту убранства английского стола: да, именно латинский, и я сомневаюсь, что, когда сэр Арчибальд переменит жену, новая леди Фалклэнд так же, как прежняя, сумеет создать в доме это строгое изящество, эту чарующую глаз гармонию...

Но какая отвратительная, зловещая комедия разыгрывается на этом безукоризненном фоне! Подавленная леди Фалклэнд не поднимает глаз. Ребенок не ест вволю и держится с такой неподвижной корректностью, что больно на него смотреть. Сам Чернович, несмотря на свою славянскую изворотливость, теряется в этой натянутой атмосфере и умеряет обычную болтливость. Может быть, его смягчает сострадание, я несколько раз ловил его взгляд, обращенный на леди Фалклэнд, мягкий, почти нежный взгляд...

Говорят только сэр Фалклэнд и его любовница, и их слова так противоречат общей натянутости, что мое смущение и тревога все возрастают. Сэр Арчибальд как хозяин выказывает должную корректность, а леди Эдит — уверенность женщины, чувствующей себя дома; удивительным кажется, что она не занимает хозяйского места, а леди Фалклэнд сидит с таким видом, точно именно она незаконно втерлась в этот дом.

Английское, хотя и немного умеренное меню. Дамы встают после десерта. Мы остаемся и пьем... Потом сходимся снова в гостиной, убранной иоргесскими коврами.

Кофе по-европейски, папиросы — турецкие и английские. Леди Фалклэнд раздает чашки, леди Эдит предлагает ликеры: «Bird's eye и Corps diplomatique»...

Обе улыбаются одной и той же обязательной светской улыбкой. Их руки, соприкасаясь, протягиваются к гостям. Сразу даже не заметишь, что это враги, что они беспощадно борются из-за домашнего очага, ребенка, достоинства матери и супруги. Только чувствуется, что они различны, противоположны, чужды друг другу...

И потому, что я питаю такую дружбу к одной, и ненавижу другую, ненавижу от всей души... Должно быть, дружба моя очень сильна...

Инцидент. Мальчик прижался к матери и что-то шепчет ей на ухо.

— Эдвард! — зовет сухо отец.— Идите сюда!

Ребенок тотчас же робко подходит.

— Говорить шепотом неприлично. Вы будете наказаны. Ступайте!

Ребенок молча повинуется. Леди Фалклэнд не произносит ни звука. Но я замечаю, что брови ее нахмурились и верхняя губа, чуть-чуть приподнявшись, открывает зубы; мне уже знакомо это выражение зверя, которому больно.

Леди Эдит смеется:

— Арчи! Не браните так беби в присутствии Мэри. Мэри не сторонница сурового воспитания, вы ведь знаете...

Мать не отвечает ни слова. Сэр Арчибальд пожимает плечами:

— Я думаю, Эдит, вы не посоветуете мне относиться безучастно к тому, что мой сын, Фалклэнд, выказывает манеры, не подобающие джентльмену.

Эдит продолжает издеваться:

— Ну, конечно. Но ведь «мама» существо мягкое, сострадающее. Ее нужно щадить, Арчи...

Молчание. Прекрасные глаза, которые я так люблю, поднимаются на меня, и их взгляд молит о помощи. Я вступаю в разговор:

— Сэр Арчибальд, неужели вы находите, что шестилетний мальчуган выказывает не подобающие джентльмену манеры, если он непритворно выражает свою любовь к матери? Вы однажды оказали мне честь, похвалив мой род. Вы правы, в нем течет старая кровь, кровь суровых и даже грубых бретонцев. И все-таки самый мой знаменитый предок — маркиза де Севинье, жившая двести лет тому назад, прославилась именно своей слепой и трогательной любовью к дочери. Даже в старой Франции, менее мягкой, чем современная, не считалось грехом баловать детей. И мне кажется, что мягкость делает их только более гордыми и смелыми. Я не люблю, когда у ребенка вид побитой собаки...

Молчание. Жесткий взгляд серых глаз останавливается на мне в течение секунды, потом отворачивается. Леди Эдит нападает с фланга:

— Франция всегда была страной нежностей и слабости. И это ей очень к лицу! Зато другим народам это не идет вовсе. Наша шотландская кровь более гордая.

— Более гордая?!

— Конечно, сударь. Сравните хотя бы ваше сложение и силу со сложением и силой моего кузена. Вы совершенно похожи на женщину, господин де Севинье, я гораздо выше вас! Вы вполне можете надеть мое платье, придется только чуть-чуть его поднять. Не удивительно, что вы сторонник баловства и нежностей!..

О! Да она меня начинает бесить. Терпение... я ей покажу! Но что это? Вступается и Чернович и довольно язвительно возражает этой бесстыдной девице.

— Гм! Леди Эдит, наружность обманчива. Каким бы слабым маркиз ни был с виду, он, пожалуй, оказался бы серьезным противником даже моему почтенному другу, сэру Арчибальду Фалклэнду.

Что это? Неужели поляк перешел в наш лагерь? Любопытно! Но мне некогда удивляться: сэр Арчибальд решительным тоном прекращает прения:

— Надеюсь, вы не обиделись, полковник? Молодые девушки любят шутить... Что касается ребенка, то мы с вами несколько разных взглядов на воспитание. Но это не важно: видите ли, мы с женой тоже в этом расходимся... Хотя скоро мы придем к соглашению.

И с холодной решимостью в глазах, отражающих туманы и озера Шотландии, он вызывающе смотрит на несчастную мать.

С меня довольно. Я спешу проститься под предлогом занятий в посольстве.

Леди Фалклэнд, не сказавшая за все время и четырех слов, устало улыбается в то время, как я целую ее руку. Бедная, бедная женщина! Она так подавлена и убита, так грустна, что мне больно, я отворачиваюсь, чтоб не видеть ее. О, я понимаю ее безумную жажду свободы, понимаю ее стремление набрать как можно больше вольного воздуха в грудь, дышать глубже, когда мы с ней вдвоем на улицах Стамбула и когда кругом нет свирепых подстерегающих взглядов, полных угрозы...

Сэр Арчибальд провожает меня через сад до каика. Леди Эдит вышла тоже. Мне кажется, я уловил быстрый взгляд кузена, приглашающий ее за ним. Леди Фалклэнд осталась в гостиной с Черновичем, который еще не уезжал...

Мой каик у мостков. Я вижу слева у ограды висящий над водами Босфора старый павильон, убежище женщины, которая не хочет быть свидетельницей окружающей ее мерзости.

Каик отчаливает от берега. Арчибальд и Эдит, стоя рядом и держась за руки, кивают мне головой... Потом поворачивают к дому: я вижу их спины... вот рука баронета быстро обнимает послушную талию любовницы.

XXVII

4 ноября.

— Леди Фалклэнд принимает?

Кавас, по левантинскому обычаю, молча склоняет голову Я снова в гостиной с иоргесскими коврами. Я пришел «переварить» мой воскресный завтрак.

...У меня есть и еще причина, по которой именно сегодня я отправился на Верхний Босфор. Может быть, я даже не вернусь сегодня ночью в Перу...

Я уже знаю правила и обычаи здешних приемов и потому нисколько не удивлен тем, что появляется леди Эдит. Я вспоминаю мой первый визит, когда леди Эдит вошла ко мне; точно так же и я, несмотря на мое удивление, был все-таки с нею вежлив. Сегодня у меня нет охоты быть вежливым.

Начнем ex abrupto. Мы, гусары, любим начинать атаку сами.

— Мадемуазель!.. (Пусть не ждет, чтобы я назвал ее леди!) Как мило с вашей стороны, что вы спешите развлечь меня каждый раз, когда я прихожу с визитом к леди Фалклэнд!..

Она взглядывает на меня искоса. Хоть она и не француженка, все же ирония ей достаточно понятна. Она не сразу парирует удар, но, наконец, решается:

— Напротив, это вы страшно любезны, что так часто приходите навещать леди Фалклэнд, ведь вы живете так далеко... Должно быть, она представляет для вас неотразимое очарование!..

— О, прогулка по Босфору в такое время — одно удовольствие... Ноябрь нынче совершенно похож на июнь. Я перестаю удивляться тому, что ваш кузен так упорно остается жить за городом, в этом уединенном доме, который как будто создан для влюбленных...

Тонкие губы сжимаются. Если бы мы фехтовали, я, наверное, услышал бы возглас: «Удар!» Но это не фехтование, а дуэль. И я, кажется, беру верх, несмотря на мой женственный облик, о котором она говорила... Посмотрим!.. Враг рвется в бой. Он даже нападает, вместо того чтоб защищаться:

— Для двух влюбленных?.. Этот дом?.. Вы, наверное, шутите, полковник! Он слишком огромен, слишком холоден и мрачен!.. Вот если б вы говорили о павильоне на берегу пролива... Да, там все мило, изящно, романтично... и ночью каики пристают, когда им вздумается...

Серьезно? Это слишком похоже на гнусность. Ты хочешь быть битой, милая? Тем хуже для тебя!

— И дом и павильон одинаковы: в них можно замерзнуть. Но вы, англичане, кажется, не боитесь зимы в деревне. Ведь

вы, мадемуазель, воспитаны, кажется, в Шотландии, в суровом замке, у вашего брата, как мне говорили?

Серые глаза мечут молнии. На этот раз я коснулся открытой раны. У леди Эдит захватывает дыхание, она жадно глотает воздух, прежде чем ответить. Старая обида не утихла в этом полном ненависти сердце. И я жестоко напомнил ей об ужасном дне ее бегства из Шотландии, когда ее брат, неумолимый и гневный судья, прогнал ее, как прогоняют проворовавшуюся прислугу... Ну, теперь мне достанется: пусть только она придет в себя! Но наступает примирение: входит леди Фалклэнд.

— Каждый раз, когда вы приходите, господин де Севинье, меня точно нарочно забывают известить!

В отсутствии мужа она еще бывает если не весела, то оживлена. Конечно, это все еще не тот живой, почти веселый товарищ, каким она бывает во время наших прогулок по Стамбулу; не та мужественная женщина, которая борется со своей тоской, призывая на помощь всю свою беспечность и силу воли — нет. Но это и не то подавленное существо, которым она была в воскресенье, когда, глубоко уйдя в кресло и склонив голову, она так упорно молчала.

— Сударыня, ожидая вас, я очень приятно провел время в обществе мисс Эдит, только что начавшей рассказывать о своем пребывании в Шотландии. Уже много лет прошло с тех пор, как вы покинули этот замок, мадемуазель? И вы не намерены туда вернуться?

Бей, коли, режь! Я начинаю увлекаться этой игрой. Леди Фалклэнд, не ожидавшая ничего подобного, садится со слабой улыбкой на губах, не очень уверенная в исходе моей воинственной затеи.

Леди Эдит, бледная, делает невероятное усилие, чтобы овладеть собой. Ее бледно-розовые английские щеки позеленели. Она почти потеряла голос от бешенства.

— Да... несколько лет... два года...

Никакой пощады! Я нападаю с удвоенной силой.

— Два года, не больше?.. Вы быстро приспособляетесь к новым странам и новым домам... Англичане обладают способностью чувствовать себя везде, как у себя дома, и в одно мгновение создавать себе очаг, безразлично, при каких обстоятельствах!

Берегись! Теперь она готова дать мне отпор. Боже, какая ненависть в этих глазах, сверкающих, как рапиры, в этих искривленных устах, кажется, готовых укусить!..

— Да, у нас есть такая способность, мы люди постоянные в привычках, хоть и любим путешествовать. А вы, французы, как раз наоборот. Вы довольствуетесь первой попавшейся харчевней и спите иногда на сомнительном белье, совершенно этого не замечая.

Что она этим хочет сказать? Ба! Зачем над этим задумываться! Дальше!

— Возможно... Но лишь пока не заметили... Впрочем, харчевня хороша тем, что там честно платишь за постой; что бы ни случилось, хозяин не имеет права обвинять путешественника в неблагодарности.

Ее руки дрожат от бешенства: она ухитрилась еще больше побледнеть. Куда сбежала с лица вся ее кровь? Что она, упадет в обморок или с ней сделается припадок? Нет, англичанки — хладнокровные твари.

Однако леди Фалклэнд находит, что пора вмешаться:

— Господин де Севинье, вы сегодня романтично настроены: путешественники вступают в споры с хозяевами гостиниц только в приключениях Дон-Кихота.

Становиться между двумя противниками неосторожно.

— Дорогая моя,— шипит леди Эдит,— вы говорите очень умно. Но ведь вы кстати и некстати толкуете о том, что вы — француженка и поэтому вы должны быть снисходительны к маркизу: Дон-Кихот ведь очень популярен во Франции и, должно быть, из подражания ему французы так охотно борются с мельницами и вмешиваются в то, что их не касается.

Жалкий ответ! Я ожидал лучшего.

— Что нас не касается? Да, я с этим согласен. Что делать, у французов есть такая мания — вступаться за обиженных. Лично я никогда не мог видеть плачущей женщины или плачущего ребенка без того, чтобы не вмешаться, хотя бы это меня и не касалось.

— Дон-Кихот, освобождающий каторжников!

— Среди них могли быть и невинные.

— «В сомнении воздержись!» Кажется, есть такая французская пословица?

— «В сомнении разберись!» И, разобравшись, помогай правым и бей виноватых!

— Да, разобравшись. Но это обыкновенно делают плохо. Некоторые люди легко ослепляются и принимают черное за белое.

— Зато другие видят хорошо.

— Даже этим я бы советовала иногда надевать очки... Это все та же история с бельем в харчевне. Люди щепетильные раньше, чем лечь, осматривают его хорошенько. Не так ли, Мэри? На днях князь Чернович декламировал нам чудесные стихи на этот сюжет...

Снова намек? Я ничего не понимаю... При чем тут Чернович? Я смотрю на леди Фалклэнд... Теперь она бледнеет в свою очередь. Какая новая низость скрывается здесь? Постой-ка! На всякий случай дадим последний залп!

— Будьте спокойны, мисс Эдит. В данном случае я не довольствуюсь очками. У меня на это есть подзорная труба: из Перы я отчетливо вижу с ее помощью Канлиджу и все, что там происходит. Еще того лучше: по моей должности военного атташе я имею при себе телескоп, и мне иногда приходит в голову фантазия заглянуть подальше... в Шотландию например. Но я заболтался и забыл, что уже очень поздно.

На этот раз то был решительный удар. Он положил ее на месте, вывел из строя.

А леди Фалклэнд провожает меня до мостков одна.

Я целую ее руку.

— Ну что? Надеюсь, я умею за вас вступаться?

Но леди Фалклэнд, по-видимому, вовсе не так довольна моей защитой. Она качает головой:

— Друг мой! Заклинаю вас, будьте осторожны...

— Осторожен? Вы произносите это слово? Вы, такая бесстрашная?

Она снова качает головой, задумывается на минутку, колеблется. Из глубины сада долетает смех ребенка.

— Бесстрашная, да! Если б дело шло только обо мне... Но мой мальчик... Ведь я должна оберегать вот этот смех. Он больше не будет звучать, когда я уйду отсюда, вы это знаете...

Я невольно возражаю:

— Да, знаю... И сказал вам об этом когда-то у госпожи Эризиан, которая умоляла нас отказаться от наших прогулок. Тогда вы запретили мне говорить об осторожности. Что изменилось с тех пор?

Она тревожно смотрит на окно, откуда несомненно за нами шпионят серые глаза.

— Ничего не изменилось... Но я чувствую, что надо мною носится какая-то опасность и что с каждым днем она ближе. Пощадите меня, друг мой!

Меня охватывает внезапное волнение. Я ничего не отвечаю. Поцеловав еще раз протянутую мне руку, я пускаюсь с лесенки. Каик стоит у нижней ступени.

— До свиданья... Когда?

— Подождите! Есть одна вещь... которую я вам должна сказать...

— Дур!

Это я кричу каикджисам, которые покорно останавливаются. Но леди Фалклэнд переменила намерение и делает жест рукой.

— Нет!.. Невозможно. Здесь не могу... Я сошла с ума. Но я вам скажу потом... Я обещаю, что скажу... Мы увидимся в Стамбуле. Я вам напишу, ждите моего письма. До свидания!

XXVIII

— Стамбул, «иок», Осман: Бейкос!

Нет, я не хочу возвращаться в Стамбул. Схватка с шотландкой разгорячила мне кровь, и я как раз в таком настроении, какого желал. Сегодняшнюю ночь хочу я провести в моем турецком домике в Бейкосе. Каприз...

Но каприз сентиментальный. Сегодня утром старая и благообразная армянка снова принесла мне письмо на бумаге с золотым обрезом. И я знаю, что сегодня моя маленькая турчаночка одна в доме — совершенно одна: мать в Стамбуле, а отец Бог знает где...

Короче, ничто не помешает обмену двух фантазий.

...Меня будут ждать весь вечер на шахнишире, и, если только мой каик придет засветло и его можно будет узнать, все пойдет отлично, все будет легко. Я сначала пройду в свой дом и подожду, чтобы стало совершенно темно. Потом бесшумно выйду через заднюю дверь, останется только перескочить через низенькую стену сада. Больше ничего. В саду кто-то будет ждать...

Кто-то. Маленькая, закутанная в вуаль девочка, с сильно бьющимся сердцем... Чего ждет от меня этот ребенок, прельщенный, быть может, всего лишь моим голубым доломаном и тем таинственным ореолом, которым всегда окружен иностранец в женском уме и сердце. Это свидание будет целомудренным до последней степени, и я нисколько не буду удивлен, если...

Двенадцать часов по турецкому времени. Солнце только что село. Мы подъезжаем и еще засветло пройдем под шахниширом... Небо багряно-золотое, холмы аметистовые, море окутано прозрачной дымкой, смягчающей все контуры и краски; чистый, теплый, почти летний воздух опьяняет... Каикджи гребут медленно, мягко ударяя веслами по воде...

Увы! Может быть, там, в плену, леди Фалклэнд под ненавистным взглядом соперницы вздыхает о моем каике, свободном среди широких вод Босфора... как хотелось бы мне в это мгновенье держать в своей руке ее маленькую ручку...

Над водой слышится легкий шорох: стая ласточек проносится мимо так быстро, что я не успеваю их разглядеть сквозь туман.

Бейкос. Мы подъезжаем. Стекла шахнишира затянуты густыми занавесками. Поджидают меня или нет? Может быть, не заметят, отвлекшись чем-нибудь на секунду? По моей просьбе Осман затягивает одну из моих любимых турецких песен, которые и плачут и смеются в одно время. Это будет служить сигналом...

Мой дом. В нем ничего не изменилось. Как быстро пролетели пять недель!.. Я сажусь. Мне кажется, я вернулся после недолгой прогулки. Я у себя, дома. Дома! На улице Бруссы у меня нет этого ощущения. В Перу я — чужестранец. Надо на зиму нанять в Стамбуле такой же домик, как этот...

Ковры Мехмед-паши, которые я, конечно, оставил здесь — что делать там, в Пере, на улице Бруссы, этим коврам правоверного и паши? — Ковры Мехмед-Джаледдина неизмеримо лучше тех, которые мне продал господин Каразов. Когда я найму турецкий домик в Стамбуле, я уберу его коврами Мехмед-паши. Там они будут на месте, потому что дом будет турецкий...

Окна на европейском берегу освещаются одно за другим. Ночь все темнее и темнее.

...Гарем. Сейчас я буду в гареме, и приключение будет гораздо менее опасным, чем я предполагал всегда. Тем хуже, впрочем!..

Любовь турецкой женщины — нечто немыслимое, если верить всем константинопольским дипломатам и финансистам! «Что такое? Европеец — любовник турчанки? Друг мой, что вы вообразили? Это безумие... История с Азиадэ? Басни, хвастовство!.. Ну, подумайте: у нас, европейцев, живущих в Константинополе постоянно, а не появляющихся проездом, как вы, разве у нас бывают любовницы турчанки?» Еще бы! Все эти господа избегают жить в Стамбуле и Азии; они замыкаются в Пере и живут в ней безвыездно, и подлинная Турция им гораздо менее известна, чем она была известна мне до моего отъезда из Франции... Первый драгоман посольства, живущий в Константинополе более двадцати пять лет, совершенно искренно уверял меня в том, что после захода солнца ни один дом в Стамбуле не имеет права освещать окон, выходящих на улицу! Он уверял в этом меня, который четыре раза в неделю ходит после полуночи пить душистый кофе в кофейню возле мечети Махмуд-паши, в самом сердце Стамбула. На огромных платанах там висят фонари, более чем достаточно яркие; и сотни две старых турок курят там свое наргиле, нисколько не заботясь о позднем часе.

Вы, обыватели Перы! Слушайте своими длинными ушами: сейчас я, случайный прохожий в вашей стране, я буду в гаремлике с глазу на глаз с турецкой женщиной или, что еще лучше или хуже,— с молодой девушкой, дочерью имама!

Над европейскими холмами почти совсем стемнело...

Бедное дитя! Нехорошо она поступает. Впустить в гаремлик неверного, неверующего гяура! Но разве она виновата? Она столь-

ко видела этих гяуров на улицах, в каиках, в экипажах,— повсюду. Она видела также повсюду их женщин — женщин без вуалей, без стыда, без гаремлика — и все-таки уважаемых, пользующихся почетом... Она больше ничего не понимает. Она перепутала все законы морали. Где добро, где зло? Неизвестно...

О, Мехмед-паша! Вы хорошо объяснили мне все это...

Темная ночь. Пора. Не нужно заставлять девочку слишком долго ждать в ночному саду, где несомненно бродят привидения...

Вперед!.. В конце концов, предприятие сопряжено все-таки с некоторым риском как для франка, так и для турчаночки. Мгновенный удар ножа какого-нибудь слуги, слишком верного законам Корана,— и готово! Опасность облагораживает все.

Мои каикджи спят. Я неслышно выхожу из дома. Мой садик, моя калитка, потом деревенская улица, вымощенная огромным булыжником. Ни души. Это хорошо. Кладбищенская тишина. Нигде ни одного подозрительного огонька, не считая трех освещенных окон вдали, в незнакомом деревянном домике, ни одной пугающей тени за прозрачной тканью занавесок. Никого. Полная безопасность. Вот низенькая стена...

Нужно только перешагнуть... Нет, нет еще. Эта немая и таинственная мусульманская улица, этот уединенный домик, высокие вершины кипарисов вокруг и закутанная в вуаль принцесса, поджидающая в темном саду, среди роз, странствующего рыцаря в голубом доломане... Я переживаю страницу из «Тысячи и одной ночи», и мне хочется удержать мгновенье, чтобы дольше насладиться этой страницей...

Чу! В конце улицы раздается топот кавалькады. Не халиф ли это Гарун и его визирь Диафур с евнухом-негром, несущим серебряный щит, совершают ночной дозор, оберегая покой и порядок в империи? Я отступаю к стене моего дома и жду. Шум приближается. Копыта стучат по мостовой...

Увы! Это не халиф и не визирь, а только табун деревенских ослов, которых оставляют на ночь бродить на воле по улицам, без вьюнков и уздечек. Все равно! Это процессия маленьких серых животных, бегущих гуськом, тоже красива...

Они пронеслись мимо, точно джины турецкой песни. На улице снова тишина. И вот я у стены; она не выше моего роста...

Странно! Никакого волнения, ни нетерпения, ни желания. А между тем еще минута, и маленькая ручка схватит мою руку, и я последую за принцессой в вуали, и она снимет эту вуаль... Но здесь, у подножья этой стены, так хорошо и покойно, что

я не решаюсь перескочить... Я думаю, это потому, что я еще недостаточно знаю эту принцессу: я видел ее всего один раз, одну секунду на ее шахнишире. И в моей душе другие глаза и другие черты, которые мешают мне думать об этой, мешают мечтать об ее поцелуе.

Я вижу на глубоком дне моих дум волосы цвета ночи, гордый, задумчивый взгляд, грустные уста... Они улыбаются, мужественно улыбаются, несмотря на сковывающую их печаль. В этом видении нет шахнишира, и есть ветхий павильон, в конце ограды, над Босфором...

Зачем же, зачем я здесь? Я должен, я хочу быть в другом месте... И если я перескочу через стену, я буду негодяем, лгуном, потому что...

Да, я знаю, она будет плакать, та, которая ждет. Но не придется ли ей плакать еще более горько, если я проникну за стену?

Моя калитка; мой сад; мой дом.

Я кричу:

— Осман, Ариф! Чабук каик! Каик скорее!.. Мы уезжаем!

Мы несемся быстро по течению Босфора к Стамбулу, к Пере.

Налево Канлиджа еще светится последними огнями. Пробьет полночь, погаснут и они. Окна павильона освещены. Вот когда мой пульс забился, как в лихорадке. Но я не остановлюсь, нет!

— Ариф, Осман! Чабук!..

XXIX

18 ноября.

Мечеть Мехмед-Соколи — очень маленькая мечеть в квартале, который прилепился к склону холма Ат-Мейдан-Византийского ипподрома — на берегу Мраморного моря. Я часто проходил мимо и ни разу не замечал ничего, кроме окружающего ее маленького кладбища — это восхитительный старый mezzar*, подобный густой роще, в которой древние могилы прячутся под волнами плюща и дикого винограда. Но мечеть Мехмед-Соколи, пожалуй, еще красивее своего кладбища. Представьте себе здание из белого мрамора, покрытое резьбой и позолотой, точно драгоценность. Мрамор очень древний, местами янтарно-прозрачный. Потемневшая позолота мягко сливается с этими янтарными тонами. Мирхаб (алтарь) сверху донизу покрыт древним персидским фаянсом, ярким, как цве-

* Кладбище.

ты на солнце. И цветные или матовые стекла льют мягкий, задушевный свет.

Я открыл эту мечеть совершенно случайно. Вчера, проходя мимо, я заметил, что калитка не заперта. Во дворе раздавался крик. Я вошел.

Две маленьких девочки в желтом и зеленом платьицах играли в борьбу — самая распространенная игра турецких детей,— сопровождая ее пронзительным визгом и смехом. Глухой мощеный дворик представлял великолепное поле битвы. Они гонялись друг за дружкой, скрывались за колоннами, настигали друг друга, боролись и резвились, как молодые козочки, и кончили тем, что покатились на землю, скрываясь в высокой траве, проросшей среди мраморных плит.

Мой приход мгновенно водворил мир. Обе вскочили и, сделавшись сразу серьезными, не спускали с меня глаз. Желтое платьице после минутного размышления что-то пролепетало зеленому. Зеленое побежало к калитке и исчезло. Желтое подошло ко мне и сделало знак подождать. Я ждал.

Прошло минуты четыре. Снова появилось зеленое платьице, а за ним я увидел имама мечети: это был старый, чистокровный осман, с самой длинной белой бородой, какую мне приходилось видеть здесь, в Турции, где так много седых бород. Меня приняли за посетителя, и имам захватил с собой ключи от святилища.

Я из вежливости вошел внутрь, ожидая увидеть одну из тех банальных мечетей, каких много в Константинополе. Но я остановился на пороге вне себя от восторга. Имам улыбался, довольный моим удивлением.

Я выразил ему свой восторг на довольно странном турецком языке, и он из учтивости сделал вид, что понял. Он показал мне решительно все, каждый зубец мрамора, каждый цветок и фаянса. Обе девочки, серьезные, точно монахини, следовали за нами, внимательно слушая. Я продолжал восхищаться. Имам, все еще улыбаясь, извинился за ветхий ковер, по которому мы ступали: ковер превратился в лохмотья. Но ковры для мечети стоят дорого, а приход Мехмед-Соколи не богат.

— Когда Мехмед-Соколи, бывший великим визирем султана Сулеймана Великолепного, построил нашу мечеть, он ничего не пожалел и расточил на нее все свои богатства. Но с тех пор прошло уже четыреста лет. Приход небогатый... дырявый ковер так и остается дырявым...

Я наивно подумал, что это намек, и потихоньку вынул свой бумажник. Но имам чуть ли не рассердился. Простые каими (ключари) больших мечетей, развращенные постоянными посещениями туристов и их проводников, принимают и, при случае, даже требуют бакшиш, дорогой сердцу левантинцев

всех сословий. Но имамы хранят свое достоинство: этот старый турок отказал мне наотрез.

Очевидно, однако, в книге судьбы написано было, чтоб вышло по-моему и чтоб я мог внести свою лепту на будущий ковер для мечети. Когда мы с имамом и девочками обменялись прощальными приветствиями, на дворе появилась совершенно неожиданно фигура Мехмед-паши, который, вероятно, прогуливался здесь между двумя заседаниями в Высокой Порте, находящейся рядом...

— Ба! Господин полковник, вы здесь? Неужели вы сделались таким правоверным турком, что вас можно встретить только в Стамбуле, совершающим молитвы в наших мечетях? Вот уже две недели, как я вас не видал!

Мехмед-паша был в своем маршальском мундире, не знать которого нельзя. Но так как имам был старше, то первым поклонился Мехмед-паша. Впрочем, они были давнишние друзья. Мехмед, обменявшись с имамом обычными любезностями, одной рукой поймал зеленое платье, другою желтое и поднял девочек в воздух. Это были внучки имама. Они пронзительно визжали от удовольствия.

— Ну, а теперь,— сказал он, опуская на землю девочек,— господин полковник, я весь к вашим услугам, и, если хотите, мы пойдем вместе. Ведь вы уходите, не правда ли?

— Я собирался уходить, после того, как тщетно попытался совершить богоугодное дело.

— Богоугодное?

— Ковер в мечети требует обновления, и я хотел принять участие, но, должно быть, я недостоин...

Мехмед-паша рассмеялся и дружески-шутливо повел атаку на имама. Сопротивление оказалось менее упорным. Мое пожертвование было принято.

— Это старый, старый правоверный,— сказал мне Мехмед-паша в то время, как мы шагали по острым камням мостовой, подымающейся на Ат-Мейдан,— он иногда впадает в крайности, но это превосходный человек и учтив он так, как были учтивы только во время оно. Вот вам пример: несколько месяцев тому назад сюда приехала в яхте одна из ваших соотечественниц, madame де Рец. Д'Эпернон, наш общий друг д'Эпернон, мне ее очень рекомендовал. Я старался, как мог, показать ей Стамбул. И вот, у дверей этой мечети, madame де Рец остановилась в нерешительности: нужно было сунуть ножки в те огромные туфли, которые вы только что надевали на ваши башмаки. Что делать? В мечеть нельзя входить без этих туфель. Madame де Рец беспомощно смотрела на свои ноги и бормотала: «Как я буду шлепать в этих туфлях, ведь я упаду». Тут наш имам наклонился к ее белым шевровым башмачкам, отечески вытер их своею

собственной полой и сказал: «Войдите без туфель. Zarar yok (ничего не значит): ножки такие маленькие...»

Мы пришли на Ат-Мейдан, прекрасные минареты Ахмедие-Джами высятся над ближайшими платанами.

— Я хотел вам сказать, господин полковник: ведь вы, я знаю, очень дружны с леди Фалклэнд, которую я вам как-то показал на Сладких Водах, если мне не изменяет память... Да... Вы ее давно не видали?

— Недели две, господин маршал.

— Так. Вы ее не скоро увидите?

— Не знаю. Сказать вам по правде, я стараюсь не слишком часто ее навещать: ее муж способен истолковать в дурную сторону даже самую простую любезность.

— Да...

Мехмед-паша на минуту задумался. Потом вдруг заговорил:

— Мне не очень-то хочется вмешиваться в то, что не касается ни меня, ни вас. Все же сегодня я это сделаю, потому что Фалклэнд, действительно, странный субъект. Вот в чем дело. Их дом один из тех, куда я по долгу службы принужден почаще заглядывать... Это, конечно, между нами. Но надо вам указать, а если ваше сердце уж вам это подсказало, то еще раз напомнить, что там готовится отвратительное предательство против вашего друга. Я, впрочем, не знаю подробностей. До свидания, господин полковник. Мне нужно сюда, в художественно-ремесленную школу.

XXX

Я не солгал Мехмед-паше, сказав ему, что видел леди Фалклэнд недели две тому назад: со дня моего последнего визита в Канлиджу действительно прошло столько времени. Больше того, я не получил от нее обещанного в тот вечер письма, которое должно было установить день нашей ближайшей встречи в Стамбуле. Слова Мехмед-паши меня очень встревожили. В самом деле, зная, в какой обстановке живет леди Фалклэнд, я должен был бы почувствовать тревогу и раньше.

Но, но... дело вот в чем: в эти две недели я старался думать о леди Фалклэнд как можно меньше. Из личных соображений: в маленькой уличке Беикоса, у подножья той знаменитой стены, через которую я не перескочил, я вдруг заметил, что леди Фалклэнд занимает в моих мыслях много места, слишком много. Леди Фалклэнд, по-видимому, едва ли двадцать шесть лет; ну, а мне на двадцать лет больше. Целый ряд чувств, говорить о которых мне было бы тяжело, между нами невозможен и исключается. А я в таких случаях опасаюсь самого себя, и у

меня слишком развитого естественное чувство страха перед опасностью показаться смешным.

Все равно. В долге дружбы нет ничего смешного. Если я через два дня не получу обещанного письма, я отправляюсь к Канлиджу для того, чтобы передать там слова Мехмеда.

Эти две недели я провел в одиноких прогулках по Стамбулу. К тем, кто ищет покоя и забвения, Стамбул милосерд. В нем столько солнца, столько тишины и столько могил рядом с домами...

У меня теперь свой дом в Стамбуле. Турецкий домик, такой же как в Беикосе, недостает только Босфора. Он находится в отдаленном квартале Стамбула, называемом Кара-Гумрук. Из окон я вижу мечеть и минареты Селимие-Джами, куда меня водила леди Фалклэнд в день нашей первой прогулки, чтобы показать мне ее чудесный тихий двор со старыми колоннами, аркадами из фаянса и огромными кипарисами.

Да, я помню: в тот день мы прошли мимо моего теперешнего дома; он как раз против большего византийского водохранилища, превращенного в сад: это один из тех новеньких домов из свежей, пахнущей смолой сосны, которые я заметил еще тогда...

Вчера я в нем ночевал. Моя одинокая прогулка очень затянулась. На закате мне оставалось еще пройти две мили до Перы. Я обогнул всю Великую Стену Стамбула и посидел в конце ее, возле знаменитой мраморной башни, купающей изъеденное водорослями подножье в водах Мраморного моря. Мимо проходит железная дорога в Сан-Стефано; временами я слышал свистки паровозов. Здесь недалеко станция Иеди-Кулэ...

Когда спустилась ночь и огненное золото волн сменилось синей сталью, я отправился в свой домик в Кара-Гумрук, бродя вдоль кладбищ, рассеянных за стеной, огромных кладбищ, на одном из которых таится могила Азиадэ.

XXXI

20 ноября.

Вот, наконец, и письмо! Но я хотел бы, чтобы оно было другим...

> «Простите меня за это долгое молчание и за тревогу, которую вы, должно быть, испытываете. Я очень сержусь на себя за то, что так долго не решалась вам написать... Но ведь женщины всегда трусливы. На этот раз я не была тем мужественным исключением, которое вам так нравится в вашем друге. А теперь, после того, как я столько времени откладывала это письмо, я даже не знаю, как за него приняться...

Друг мой, вы знаете мою грустную историю: она очень банальна, и я не рисуюсь ею. Нечего кичиться несчастьем, которое является уделом трех женщин из четырех. Я страдаю несколько больше других потому, что Бог создал меня до смешного чувствительной и нервной. Короче, дело вот в чем: я несчастна в браке, ни больше ни меньше. Это вовсе не трагично. Заметьте, что я не удостаиваю моего мужа никаким упреком, хоть он и ненавидит меня, как и я в свою очередь ненавижу его. Если вам что-нибудь подсказывает ваше сердце, вы можете быть между нами судьею и, возможно, оправдаете меня. Но я хочу, чтобы вы знали: многие считают неправой именно меня.

Впрочем, это не важно. А важно вот что: двум смертельным врагам мучительно жить вместе; но отец и мать ребенка, совершенно невиновного в их распре, не имеют права жить раздельно. В особенности мать, любящая своего ребенка, не может допустить, чтобы его отобрали у нее и отдали в жертву чужой, которая его ненавидит и будет ненавидеть всегда.

Друг мой, все дело в этом. О себе я не думаю, моя судьба безразлична для меня. Я стараюсь забыть о себе, отрешиться от себя. Я попираю ногами свою гордость, свое достоинство. И стараюсь подавить в себе жажду любить и быть любимой, которая является инстинктом жизни и самосохранения каждой женщины... Но мой ребенок, мой мальчик.

Мой мальчик... Я одна люблю его. Отец его держится за него из одного эгоизма, из своего родового тщеславия. Мой мальчик... Может быть, я к нему пристрастна, но ведь в нем моя кровь, мои нервы. Я знаю, я чувствую, что он страдает так же, как я, от жестокости, произвола, презрения, от всего, что заставляет испытывать холод и боль. Что с ним будет, если я уйду, если я оставлю его этому человеку, не знающему жалости, и этой гнусной женщине, которая будет преследовать меня в лице этого ребенка, моей плоти и крови? Нет, я не имею права уйти, так как они требуют, чтобы я ушла одна: я не имею права им уступить, потому что они хотят не только ухода моего, но и моего отречения, отказа от всего...

Никогда, никогда, никогда не отдаст он мне моего мальчика. Это его сын, сын Фалклэндов, наследник их имени и титулов, владелец шотландского замка, вождь клана. Я тоже не отдам ему его никогда, никогда, никогда! Я защищаюсь, я борюсь...

Но, друг мой, я боюсь, что меня победят. Увы, я борюсь, но жалким оружием. И в тот день, когда я увидела

ваше негодование, когда я угадала, что вы жалеете меня, мне хотелось позвать вас на помощь. Хотелось броситься пред вами на колени. Я готова была тут же довериться вам, сказать: «Я боюсь, спасите меня, помогите мне! Я боюсь, вы видите — я безоружна! Дайте мне немного вашего мужества и силы!..» Но там это было невозможно. А сегодня я не знаю, что делать, не решаюсь. Вас больше нет возле меня: я не чувствую вашей близости, вашей дружеской поддержки — я не вижу ваших глаз.

Послушайте, я должна быть осторожнее, чем до сих пор: я не могу больше встречаться с вами в Стамбуле, потому что знаю, что одна армянка-нищенка на Большом мосту служит шпионкой у моего мужа. Но я должна вас увидеть, должна вам сказать... Так вот, в будущую субботу — это будет 26-го — у меня найдется предлог для того, чтобы провести вечер в Пере. Можете ли вы ждать меня около пяти с половиной (по франкскому времени) на тротуаре, идущем мимо фасада английского посольства? Вы поняли, где? Позади маленького парка. Эта улица — не знаю, как она называется — почти безлюдна. Будет достаточно темно, и мы сумеем свободно и без помехи поговорить с вами. Я надеюсь, что вы меня будете ждать, хоть и не очень интересно дожидаться вечером «мамашу», которая будет говорить о своем ребенке. Но я, кажется, вас уже хорошо знаю.

Мария».

Да... Я встревожен более прежнего.

XXXII

22 ноября.

Единственное, чего я не люблю в Стамбуле, это именно то, чем восхищаются все европейцы и что создано специально для них: Базар (Буюк-Черши по-турецки). Я не нахожу ничего хорошего в этом лабиринте маленьких сводчатых туннелей, где теснятся десять тысяч лавчонок, из которых ни одна не отличается ни красотой, ни оригинальностью. В них чувствуется слишком много искусственного, поддельного. Здесь видно стремление походить на «Тысячу и одну ночь», а получается только оперетка.

Все же иногда по необходимости приходится бывать на Базаре, когда нужно что-нибудь купить. Тут Базар незаменим. В наших больших европейских магазинах гораздо меньше интересных вещей, и даже у господина Каразова нет такого выбора турецких редкостей, как здесь.

Вчера я провел на Базаре два часа. Мне нужно придать жилой вид моему домику в Кара-Гумруке. Я хотел купить шел-

ковые брусские портьеры, разные ширмы — мушараби, две лампы с пятью фитилями, как в мечети, и черный мангал (жаровню), чтобы разводить в нем огонь: приближается зима, вот уже два дня, как стоит туман.

За мангалом и лампами я обратился к армянину, который, несмотря на мое сопротивление, порядком обобрал меня. Ширмы мне продал еврей, и это тоже не обошлось без хлопот. Брусский шелк принадлежал старому осману, в больших голубых глазах которого не было хитрости; и наша сделка совершилась сразу, самым честным порядком.

Мои последние покупки были сделаны в Безестине, аукционном зале Базара. Как раз происходила продажа с молотка: тут была целая коллекция курдского, арабского и персидского оружия — дамасские пистолеты, ятаганы в виде полумесяца, длинные мушкеты с инкрустациями из бирюзы и кораллов.

Я подошел ближе и сейчас же соблазнился чудесным маленьким кинжалом, скорее напоминавшим игрушку, чем оружие. Я купил его, и, когда взял в руки, для меня явилось просто сюрпризом то, что эта хорошенькая вещица с нефритовой ручкой, с клинком, украшенным серебром и золотом, была настоящим острым и верным кинжалом, вполне пригодным для убийства...

Аукцион продолжался. Шла продажа всевозможного турецкого платья. Передо мной развертывались и перетряхивались разноцветные кафтаны, шали, феридже, платки, чарчафы...

Мне пришла в голову фантазия. Со мною был мой постоянный проводник. На Базаре нельзя обойтись без гида, если не хочешь потерять целые часы. Моего гида зовут Астик, он умеет экономить время.

— Астик,— сказал я,— мне хочется купить полный дамский турецкий костюм.

Он нисколько не удивился. Его обычная клиентура — туристы,— приучила его ко всему. Сейчас же он отправился на поиски.

Через четверть часа дело было сделано: я получил костюм за четыре фунта, две меджидие и пятнадцать пиастров: — «Хорошая цена, эффенди».— Недурной костюм и совершенно полный: до зонтика и даже туфель включительно.

Невозмутимый Астик окинул меня взглядом портного и заявил, что костюм как раз на мой рост.

Еще лучше он подойдет для ивового манекена; одетый таким образом и закутанный в вуаль, точно «ханум» (дама), он составит мне прекрасную компанию в моем кара-гумрукском доме.

XXXIII

Четверг, 24 ноября.

Конец этой недели ползет, точно улитка...

В Пере сегодня большое волнение: статс-секретарь, монсеньор Фарнезе, убит в Ватикане. Событие хоть и не местное, но Константинополь — метрополия всех восточных сект, поэтому здесь вызывает самый глубокий интерес все, что касается религии. Убийство кардинала произвело много шума.

Здешняя пресса очень своеобразна: турецкая цензура не дает ей распространяться о политических убийствах, и газеты Перы ни словом не обмолвились о преступлении. Пожалуй, турецкая цензура права. Вряд ли можно назвать здоровым тот интерес ко всяким происшествиям, которые «Petite Journal» развивает в наших парижских консьержах.

Как бы то ни было, жители Перы забывают на время свои сплетни. Пера вовсе не такой уж развратный город,* несмотря на множество сталкивающихся здесь племен; он только делает все возможное, чтобы казаться таким с помощью сплетен, лжи и клеветы... Но сегодня публичный траур предъявляет свои права. Смерть этого римского кардинала, которого никто здесь, в Пере, не видел, вызывает проявления самой глубокой печали: неприлично было бы отнестись иначе. Левантинские снобы стараются здесь, на глазах у турок, высоко держать знамя христианства.

Я имел удовольствие слышать, как различные господа банкиры, финансисты, дельцы — все те, одним словом, кого Христос, наверно, изгнал бы из храма,— и множество дам, из-за которых часто происходили скандалы,— все они проливали горькие слезы о смерти кардинала Фарнезе и готовы были подвергнуть убийцу пыткам, колесованию и сожжению на костре.

У германской посланницы — у нас в этот день был прием — самый высокий тон взяла сентиментальная госпожа Керлова. (Преступник, оказывается, анархист, из породы убийц государей и премьер-министров.)

— Преступление, преступление, преступление! — кричала мадам Керлова своим русским голосом, похожим на звуки трубы,— и подлость, подлость! Никогда еще не было более подлого преступления...

Только что вошедший Нарцисс Буше ядовито улыбнулся лукавой крестьянской улыбкой.

---

* Здешние дамы, подобно мадемуазель Колури, охотно садятся на постель, но не обязательно ложатся на нее.

— О, госпожа Керлова, мы с вами поспорим. Я нахожу, что этот негодяй, наоборот, отчаянно смелый парень.

— Господин посланник!

— Да, смелый, конечно. Да, да, я знаю: он убил беззащитного старика: Фарнезе был один, без прислуги, преступник выстрелил в спину. Я все это знаю... Но послушайте: ведь это неправда, что Фарнезе был один. Рядом с ним, за ним стояла грозная стража: закон, общество, суд, гильотина. И вы думаете, что убийца ничего этого не видел? Он все видел. И суд присяжных, и красные мантии, и треугольный нож. И все-таки он пошел и убил. Хе, хе, я знаю многих храбрых дуэлянтов и бравых солдат, которым нипочем сабли и пули, но которые отступили бы перед эшафотом.

Кто-то выразил протест.

— Преступники не думают о наказании. То есть они всегда надеются его избежать.

— Когда дерутся, всегда надеются победить. Тем не менее нужна храбрость, чтобы драться,— насмешливо возразил Нарцисс Буше.— Я лично сужу о мужестве дерущегося по сложению его противника. А палач мне всегда кажется чертовски широким в плечах.

XXXIV

И голос соловья в вершинах кипарисов...
А. де Р.

Суббота, 26 ноября: пять часов по франкскому времени.

Улица позади английского посольства, прямая и угрюмая греческая улица. Каменные некрасивые дома идут в ряд, обращенные фасадом к стене парка. Прохожих мало. Сумерки сгущаются. Идет дождь.

Я поднял капюшон моего плаща и хожу вдоль стены. Я жду.

В конце улицы Пера вдруг обрывается: дальше мостовой нет. Там начинается глубокий, как пропасть, овраг. Крутой склон, поросший кипарисами, спускается к Золотому Рогу, который на противоположном берегу лижет своими волнами подножие Стамбула,— ночного Стамбула, в кружеве куполов и минаретов.

Этот овраг — настоящий лес посреди города и кладбище вместе с тем: здесь под четырежды столетними деревьями спят самые древние могилы Константинополя.

Я оперся на парапет и долго гляжу на темный лес, на залив за ним и турецкий город по ту сторону залива. Бесчисленная стая ворон кружится над верхушками кипарисов, ища пристанище на ночь. Непрерывное карканье стоит над лесом. Мелкий дождь окутывает все туманом.

А! Вот в конце улицы появляется серое платье, зонтик... Знакомая легкая походка. Я спешу навстречу... прекрасно! Как будто нарочно, на улице появляется фигура в кафтане и следует шагах в двадцати за серым платьем. Но леди Фалклэнд это заметила. Она проходит мимо меня, не останавливаясь, и быстрым шепотом произносит:

— Идите за мною поодаль.

Я даю ей удалиться. Она идет вдоль парапета и вдруг точно проваливается вниз. Фигура в кафтане, как видно, совершенно нами не интересуется и продолжает идти прямо. На улице больше нет никого. Я в свою очередь подхожу к тому месту парапета, где неожиданно открывается щель. От нее идет, извиваясь вниз, тропинка. Леди Фалклэнд, почти невидимая среди деревьев, ждет меня. Я подхожу к ней, склоняюсь над ее рукой, холодной от дождя, и касаюсь губами того места, где отверстие перчатки выше запястья.

Мы не разговариваем. Леди Фалклэнд взяла меня под руку, и мы спускаемся по тропинке на дно оврага, в таинственную густую темноту ночи. Стволы кипарисов сменяются кустами: зонтик, задевая за ветви, мешает идти. Леди Фалклэнд резко его закрывает.

— Вы промокнете!

— Мне все равно.

— А ваши ноги? Вы обуты не для такой грязи, как здесь...

— Мне все равно.

Она говорит отрывисто. Я чувствую, как ее рука нервно сжимает мою.

— Мария...

В первый раз я осмелился назвать ее этим именем. Но ведь она прижалась ко мне так тоже в первый раз, и вокруг такая тьма... Взволнованный голос, дрожащие руки, опущенные глаза, которые я не могу разглядеть... мне ее слишком жаль! Мне хотелось бы обнять ее, унести, убаюкать, усыпить, заставить забыть все-все, успокоить на моей груди это бедное измученное сердце.

— Мария...

Она произносит, почти задыхаясь:

— Послушайте...

Она освобождает свою руку и прислоняется к кипарису. Потом поднимает голову и смотрит на меня. Вороны уже не так громко каркают над нами.

— Друг мой... Ах! сегодня у меня не хватает мужества. Ведь это же падение — все эти предлоги, ложь, это трусливое бегство сейчас, все, что было нужно проделать, чтобы увидеть вас здесь... Но вы были слишком добры ко мне, вы относились ко мне с такой нежной дружбой... И что бы со мной ни случилось потом, я не хочу быть сегодня неблагодарной по отношению к

вам... я хочу расквитаться, хочу вам дать хотя бы то, что для меня драгоценнее всего — мое доверие... и все мои тайны.

Она умолкает, прислушиваясь к шуму дождя в листве. Вороны мало-помалу затихли.

— Друг мой... Во-первых, все идет хуже и хуже. Оба они не выносят меня больше, ненавидят еще сильней, оскорбляют еще ужаснее. О, я вижу их игру. Они хотят обессилить меня, вызвать взрыв, заставить меня бежать... Знаете, на этой неделе им это почти удалось: ужасная сцена... конечно, из-за ребенка. Эта презренная женщина стала жестока к нему... с тех пор, как вы так сильно оскорбили ее гордость... помните? Она как будто хочет выместить все на нем... Словом, четыре дня тому назад она осмелилась его ударить... Я была тут, и я на нее набросилась. Мы подрались, как самые простые бабы. К счастью, я оказалась сильнее. Мой друг, вы понимаете, что если бы она одержала верх, я бы махнула рукой, я бы убежала из этого ада, отступила бы... Для чего оставаться, если я не способна даже защитить своего сына?

Она остановилась. Потом улыбнулась... О, какая грустная, раздирающая сердце улыбка...

— Видите, друг мой, я не лгу, я дралась. Посмотрите, вот следы.

Она завернула рукав. Следы ногтей бороздят молочно-янтарную кожу. Я гляжу на царапины. Капля дождя падает на обнаженную руку; она вздрагивает и прячется в рукав.

Я... Я не знаю, что со мной, где я. Да! Слова Мехмед-паши. Нужно передать ей эти слова.

Я говорю. Она задумчиво слушает, все еще прислоняясь к стволу кипариса.

— Он так сказал? Странно... Я не понимаю. Все же я доверяю Мехмед-паше. Он честен, честен, как вся его раса...

Она умолкает надолго. Наконец, произносит:

— Друг мой... мне еще нужно вам сказать...

Но вдруг ее голос резко обрывается. Внезапный ужас отражается в глазах. Я тревожно оборачиваюсь.

Темная и гибкая тень бесшумно взбирается по тропинке, идя прямо на нас. Я инстинктивно нащупываю на груди кинжал с нефритовой ручкой, купленный на днях на Базаре... Но нет, это турчанка, с ног до головы закутанная в свое фериджe...

Она проходит мимо нас и скрывается. Леди Фалклэнд прикладывает к губам платок и испускает вздох.

— Чего вы испугались? Ведь это женщина.

— Да, женщина... А вы никогда не подумали, как легко кому угодно спрятаться под фериджe? Я чувствую, что за мною постоянно шпионят...

Она вздрагивает и поводит плечами.

— Но на этот раз это всего только женщина с кладбища...

— С кладбища?

— Вы не знаете? Здесь проститутки ютятся на кладбищах. Самые жалкие из них поджидают под кипарисами проходящих солдат...

Она читает в моих глазах изумление:

— Откуда я все это знаю? Увы! Неужели вы думаете, что мой муж щадил мою гордость и скрывал от меня свои скандальные похождения? Сэр Арчибальд Фалклэнд не гнушается примером турецких и курдских солдат, он посещает здешние кладбища: он преследует закутанных женщин и редко, очень редко может устоять против их соблазна...

Отвращение отражается на ее лице. Она опускает ресницы, как будто желая отогнать мерзкий призрак.

Опять долгое молчание. Ночь уже совершенно темна.

— Друг мой... пора... Я хочу быть вполне искренна. Я не хочу красть вашу дружбу, ваше уважение. Я хочу, чтобы вы знали обо мне все, и злое и доброе, мои несчастья, слабости, мой позор... Но, прежде всего, пожалейте меня. В моей жизни было столько горя, столько горя! Одно лишь горе, ничего больше. Представьте себе мое детство в старом креольском доме, где я родилась, по ту сторону океана... там я не знала, что такое страдание... Представьте себе пылкую, полную энтузиазма девушку, свободно расцветшую под знойным южным солнцем... Я помню, у нас была большая рыжая собака... она любила класть свои лапы ко мне на плечи и лизать мое лицо... Однажды — мне было шестнадцать лет — пришли, взяли меня замуж и увезли. Я даже не знала, что такое муж. Это был деспот и тюремщик: замужество оказалось тюрьмой. Мне подрезали крылья, сделали из меня какое-то жалкое, бессильное существо... Да, да бессильное, бессильное! Ах! и все-таки во мне было благородство, гордость, огонь... клянусь вам! И любовь, которая била ключом через край, текла и разливалась повсюду потоком расплавленного золота.

Она внезапно закрывает лицо руками и рыдает. Я слышу, как из ее груди вырываются судорожные стоны, вижу, как текут слезы сквозь сжатые пальцы...

Я беру ее на руки, несу ее и баюкаю. Мои губы ищут ее лоб, глаза, виски... она почти без чувств. Мои объятия слишком неожиданно сменили приступ слез. Она все еще плачет и, покорная, подавленная горем, прижимается ко мне, точно ребенок, которому больно.

Вдруг она вырывается от меня и вскрикивает:

— Что вы делаете!

Мой поцелуй коснулся ее губ.

— Что вы делаете? Боже мой! Боже мой!

Я на коленях перед ней, в грязи, в воде; я целую ее руки, мокрые от дождя.

— Что я делаю? Я вас люблю. Не думайте, что я воспользовался этой минутой, что я злоупотребляю местом, ночью, вашей слабостью. Я не знал, клянусь вам, не знал! Я воображал, что меня толкает к вам сострадание, но я друг понял, что это любовь. О, простите меня! Я почти старик, я ничем не могу привлечь ваше горячее молодое сердце. Я скептик, я разочарован, я холоден, стар, стар! Но я люблю вас, и я весь ваш. Ваш!.. Располагайте мной, приказывайте. Мое состояние, мое имя, моя сила мужчины и солдата, все, что у меня есть, весь я...

Она слушает и не слышит. Только ласка этих нежных слов наполняет ее новым, неиспытанным очарованием... Она закрыла глаза. Ею овладевает неведомая могучая сила. Она вся отдается ей. Я слышу, наконец, ее медленный, мягкий, безвольный голос:

— Говорите... говорите еще.

Глубокий, подавленный вздох:

— Говорите еще... Дайте мне вспоминать...

Дождь мочит ее шею, течет по корсажу, леденит плечи. Она вдруг вздрагивает, выпрямляется испуганно, ударившись головой о ствол кипариса:

— Боже, Боже, это я? Вы? Боже! Какой стыд... А я пришла для того, чтобы вам сказать...

Она обрывает. Она точно пригвождена к стволу, с руками за спиной. Несказанный ужас сводит ее члены и гонит всю кровь с лица.

— Мария!..

Я хочу взять ее руку. Но она вырывает ее резким движением.

— Что с вами? Отчего?..

Но она не отвечает. Она только твердит вне себя:

— Какой позор! Какой позор!

У нее вид затравленного зверя. Не смея поднять глаз, она бросает по сторонам боязливые взгляды, словно готовая бежать.

И вдруг она бежит. Она бежит. Поднимается вверх по тропинке, попадая в лужи. Бежит... Я остаюсь, точно прикованный, не решаясь следовать за ней.

Она исчезла за кипарисами...

XXXV

28 ноября

— Ариф, Осман, явах (тише!).

Они гребут слишком быстро. А я хочу вдоволь наглядеться на Босфор, истекающий кровью под вечерним солнцем.

...Вчера еще шел дождь. Я долго бродил по Стамбулу, стараясь забыться на его улицах, более пустынных, чем когда-ли-

бо. Ливень хлестал по минаретам, и они как будто стремились прорезать тучи своими вершинами, чтобы достигнуть голубого неба.

Сегодня тучи рассеялись. Остался только легкий туман, вечно висящий над Стамбулом, как желтый шелковый покров. Я сел в каик, чтобы насладиться последним днем лета, на пороге зимы. Может быть, и на меня снизойдет этот мир и покой Босфора...

Почему, почему, почему она тогда убежала?

Мои каикджи увезли меня очень далеко. Мы плывем вдоль европейского берега. Деревни со старыми фиолетовыми домами мелькают одна за другой: Ортакей со стройной белоснежной мечетью; Куру-Чесме, где купаются в воде; лодки; Арнауткей, расположенная на мысе; Бебек — в глубине бухты; Румели Гиссар, где Завоеватель заложил свои первые крепостные башни, незыблемые еще и теперь, спустя пять веков: и Бяояжикей, и Стетия, и Иеникей, где я узнал гостеприимный кров Колури...

Дальше была Терапия. Мы проехали мимо пустынного теперь дворца французского посольства. Зимний ветер уже гуляет по парку. Но старые деревья еще борются с ним, стараясь отстоять как можно дольше свою пышную, багряную ноябрьскую листву.

...У женщин бывают странные припадки стыдливости. Одна только мысль о физической измене может их испугать... Да. Но она, она? Так давно покинутая, отвергнутая, почти вдова? В мире нет существа более свободного и душою, и телом...

Солнце опустилось за холмы. Внезапное, почти пугающее волшебство: весь запад в одно мгновение залит темным пурпуром, словно кровью, заката, в то время, как восток, точно по контрасту, покрывается бледными красками ночи — лунной синевой и зеленью нефрита. В зените, как арка моста, протянулась изумрудная грань.

Я буду обедать здесь, в Иенимахале или Каваке, все равно. Пусть отдохнут каикджи. Я найду здесь албанскую харчевню, где мне подадут югурт, каймак и, может быть, и дон-дурму... и уж наверно не обойдется без наргиле под огромными платанами, среди раскинутых сетей, сохнущих под ветром.

Наргиле шипит... Его почти бесцветный дым чуть опьяняет и увлажняет виски легким холодным потом...

Ах... который час? Мне кажется, я уснул после наргиле. Луна превратилась в красноватый серп и вот-вот исчезнет...

Ого! Пять часов по турецкому времени. Я не попаду к полночи на улицу Брусы... В дорогу, скорей...

Каик стрелою мчится по темной воде. Мы выходим на середину пролива, где быстрее теченье. И берега бегут мимо нас...

Пять часов по-турецки. Я никогда не плыл по Босфору в такой поздний час. Все деревушки затихли, все огни погасли. Даже морские ласточки спят, и я не слышу шелеста их крыльев, задевающих воду.

Канлиджа... Давеча, поднимаясь вверх по Босфору, мы шли далеко, у другого берега. И потом тогда было слишком светло, а теперь, в этой густой тьме, я не могу устоять против своего желания... Я задену концом весла ограду сада, и если спящая там, в павильоне, услышит этот звук, она подумает, что запоздавший рыбак подгоняет свою лодку...

Что такое, окна павильона освещены? И открыты... так поздно? А ведь в этом доме, где друг друга так ненавидят, не засиживаются долго по вечерам... Все равно, я проеду совсем близко. Мой каик невидим, бесшумен и невидим; мои глаза, привыкшие к темноте, едва различают силуэт Османа, сидящего впереди меня.

Тише... тише... Я хочу постоять под освещенными окнами... может быть, кто-нибудь облокотился на подоконник...

А... а!..

Двое!.. В комнате двое... Она и мужчина. Да, мужчина. Чернович...

Чернович... Леди Фалклэнд и князь Станислав Чернович... Я их вижу ясно. Они стоят, обнявшись... На ней открытый расстегнутый пеньюар. Я вижу обнаженную грудь...

...Я... я... я сломал ноготь о борт каика...

...Это... Да... черт возьми, это недурно! Рено де Севинье Монморон рогат. Да, рогат, даже не получив анонимного письма... Это еще забавнее!

Глупец... сорок шесть лет... сорок шесть лет. Это урок... А ему сколько, Черновичу? Двадцать пять, да... Урок, жестокий урок...

Да, жестокий... моя гордость истекает кровью... и еще что-то, не только гордость...

О, я совладею с этим. Нет, я не уйду отсюда так скоро. Меня не заметят: ночь слишком темна, а их альков слишком освещен, даже иллюминирован... три лампы... Я хочу изжить эту боль до конца.

Они разомкнули объятия. Она беспечно подходит к открытому окну и смотрит в ночь, смотрит на меня. Он неподвижен и глядит на нее. Я слышу его слова:

— О чем вы думаете, красавица моя?

Она отвечает. Тем чистым, мечтательным голосом, которым говорила мне вчера: «Дайте мне вспоминать»,— она отвечает:

— Я думаю о том, что вы не очень меня любите. Я думаю, что вам почти все равно, что я ваша... не правда ли, Ста?.. Меня так легко было взять. Я ведь была так слаба, так жаждала ласки... И это было не интересно для вас, и скоро вам надоело. Давно уже... Мне даже кажется, что вы не слишком радуетесь, добившись этого свидания, которого домогались так страстно,— свидания здесь, в моей спальне.

Он возражает. Кажется, он говорит какие-то нежности. Но я не слушаю его слов: я вслушиваюсь только в ее голос, звуки которого я так люблю...

Она продолжает:

— Я думаю, что на вашем месте могли бы оказаться и другие, которых я позвала бы так же, как позвала вас, если б случайно они встретились на моем одиноком пути... другие, может быть, отдали бы жизнь за такой час...

О, Боже... нет! Только не это!

Что это? Огни в темном саду... Огни появляются из большого дома, скользят под деревьями и предательски подкрадываются к павильону, окружают его...

...Слова Мехмед-паши... слова Мехмед-паши...

Да, так и есть. Дверь павильона отворяется под напором, по-видимому, сломавшим задвижку. Входят сер Арчибальд с кузиной леди Эдит. Так и есть. Не раздалось ни крика, ни падения опрокинутого стула, ничего. Я услышал только глухой стон — стон леди Фалклэнд и потом сухой смешок, дребезжащий, как связки скелета, торжествующий, злобный смех победившей, наконец, соперницы.

И больше ничего.

Но нет: спустя мгновенье, бесконечно долгое, слышится щелканье курка револьвера, который взводят. Но сейчас же звучит холодный голос баронета:

— Не трудитесь, Стани, оставьте это. Оставьте. Сад полон прислуги...

Я больше не вижу Черновича, он отошел от окна. Должно быть, он повиновался, потому что выстрела не слышно. Черт возьми! Сад полон прислуги! — Чего вы хотите? Можно иметь в своем роду пять королей и зваться Черновичем — но не Бюсси д'Амбуазом...

Снова голос баронета:

— Мэри, не угодно ли вам подписать вот это? Вы понимаете, что теперь вы в моих руках. Упрямиться бесполезно. Если

вы подпишете, я не позову людей — ни кавасов, ни лакеев. Все останется между нами. Если не подпишете — позову... Простите, останьтесь на месте. Оставьте, пожалуйста, шею открытой.

Опять этот сухой дребезжащий смех.

О, она жестоко мстит — та, другая!

Леди Фалклэнд стоит в амбразуре окна, спиной ко мне. Статуя не могла бы быть неподвижнее. Сэр Арчибальд делает шаг вперед. Чернович становится между ними:

— Арчи, вы не решитесь...

— Стани, я прошу вас замолчать. Гораздо корректнее, чтобы вы молчали.

Он молчит... Мне кажется, другие не молчали бы!..

— Мэри, угодно вам это подписать?

Ни слова, ни звука. Она превратилась в камень. Смешок леди Эдит обрывается. Змея выпускает жало:

— Мэри, подпишите и пусть все будет кончено. Я вижу, вы слишком легко одеты. Вы простудитесь... А если вы заболеете, кто будет заботиться о вашем дорогом беби?

На этот раз статуя вздрагивает. Но ответа все еще нет.

— Эдит, оставьте ее. Нужно покончить. Мэри, подпишите. Прочитайте раньше, я хочу, чтобы вы прочитали. Это только для того, чтобы получить развод: ваше согласие, признание в... во всем этом. Не будет никакого скандала. Эту бумагу увидят только чиновник и консул. Все будет улажено, потому что вы не можете больше сопротивляться. Если вы не подпишете, я позову прислугу и заставлю констатировать факт. Получится скандал.

Он протягивает бумагу. Рука, опирающаяся на подоконник, сжимается, и застывшая у косяка голова делает знак отрицания.

— Нет? Как вам угодно. Значит, скандал. Тем хуже для ребенка: он узнает, что за женщина его мать.

Молчание. Рука отрывается от окна, тело гнется, голова склоняется. Леди Фалклэнд на коленях:

— Арчибальд! Умоляю вас! Не отнимайте у меня ребенка...

Он пожимает плечами:

— Об этом нечего и говорить. Вы могли еще просить об этом вчера. Но я уж вам сказал: теперь вы в моих руках. Если вы подпишете, ребенок не будет знать. Если не подпишете, он узнает. Выбирайте, и не нужно больше бесполезных слов.

— Арчибальд... Умоляю вас... Ребенок...

Голос ниже на целую октаву. Я едва слышу его, так он слаб и так придавлен гнетом страдания.

Вмешивается Эдит:

— Арчи, позовите же слуг. Вы видите, она ничего не понимает. Эти француженки очень чувствительны, но совсем не умны.

Резкое движение. Леди Фалклэнд поднимается, полная гнева.

— Арчибальд! — слова точно брызжут, голос звучен и страшен.— Прежде всего заставьте ее замолчать. Я еще у себя дома! Арчибальд, вы — гнусный, гнусный человек. Под этим кровом мы были чужие, но были свободны и вы, и я. Сколько раз вы мне говорили, что я свободна, желая, очевидно, пользоваться свободой сами. Сколько раз я могла сама вас поймать в ловушку, как вы поймали сегодня меня. Я не хотела. Я действовала честно. А вы, вы предатель, предатель... Предатель...

Он бледнеет от оскорбления. Минуту он колеблется, стоя перед ней. И вдруг, когда она еще раз повторяет: «предатель», поднимает кулак и наносит удар по хрупкому плечу. Леди Фалклэнд падает. Чернович не трогается с места...

Неумолимый муж отворяет дверь:

— Я зову?.. Раз... Два...

Я не вижу страдалицы, она на полу, побежденная, раздавленная. Но палач останавливается и прикрывает дверь. Потом сгибается, с бумагой в одной руке, с пером в другой. Так тихо, что слышно, как скрипит перо... Дело сделано.

— Эдит, Стани. Подпишите, как свидетели.

Она подписывает. Чернович подписывает тоже, не возмущаясь, без всякого протеста. Конечно.— Сэр Арчибальд Фалклэнд старательно складывает бумагу и кладет ее в бумажник ярко-красной кожи.

— Завтра я поеду в Сан-Стефано, к судье. В три часа уходит поезд... All right! Стани, хотите папиросу?

Они курят, как двое друзей.

Чья-то тень медленно, с усилием поднимается и облокачивается на подоконник. Она наклоняется к воде... О, она не бросится! У нее нет на это сил. Все кончено. Она подписала. У нее нет больше ребенка. Ей больше ничего не надо. Она ищет только немного свежего воздуха для своей пылающей головы. Она смотрит во тьму. Как только немножко привыкнут к темноте ее глаза, она увидит мой каик: надо ехать.

Я едва притрагиваюсь к плечу Османа, и он беззвучно налегает на свои огромные весла...

Последний звук долетает до меня: я уже слышал его там, под кипарисами. Так же, как тогда, он сжимает мне горло, терзает сердце: звук неудержимых рыданий. Бедная, бедная женщина! Убитая, обезоруженная, растоптанная, одинокая-одинокая, без друга, без защитника, одна, одна. Ее силы иссякли. Гордость сломлена. Ей уже все равно, что другая, соперница, воровка, видит ее слезы и наслаждается ими.

Она плачет сейчас, как плакала в моих объятиях под безмолвными, глухими кипарисами. Ей все равно.

У нее больше нет ребенка, нет ребенка...

XXXVI

Сегодня, 29 ноября, я вышел очень рано пешком на прогулку, которая может оказаться довольно длинной. Мысль о ней пришла мне в голову ночью, когда мой каик увозил меня из Канлиджи. Ровно в полдень я ушел с улицы Бруссы. Я позавтракал в молочной квартала Каракей. Потом перешел через Золотой Рог.

Вот и Стамбул. В конце моста я повернул в первую улицу направо, как тогда...

Я иду по заросшей травой мостовой, мимо безмолвных деревянных домов, в солнечном безлюдьи огромного города, похожего на мертвую деревню.

Кипарисы, смоковницы, акации: хижины рядом с конаками беев и пашей, рассеянные всюду могилы; изредка какой-нибудь прохожий пересекает путь, едва окинув меня задумчиво-строгим взглядом...

Я иду не без цели. Прежде всего я намерен шаг за шагом повторить мою первую прогулку по Стамбулу, прогулку, сохранившуюся в тайниках моей памяти. Прогулку, из которой родилось многое, мертвое теперь...

Для начала – мечеть Сулеймана. Первый короткий этап. Вот арка из старого камня, через которую выходят на квадратную площадь, обширную, точно равнина. А вот и гигантская мечеть с хаосом куполов и сводов, похожих на согнанные самумом гроздья песчаных холмов.

Вот четыре горделивых и стройных, как стрелы, минарета; с вышины своих тройных балконов они точно проповедуют четыре главных добродетели ислама: преданность, мужество, снисходительность к слабым и ненависть к злым...

Я хочу войти, хочу взглянуть на колонны Эфесского храма, пережившие четырех богов... Но я не взгляну на гробницу султанши Рокселаны, отнявшей сыновей у Хассеки.

Это не прогулка, а паломничество... У меня имеются основания думать, что я не долго останусь в этой Турции, к которой я привязался так страстно...

Я иду теперь по лабиринту маленьких улиц, ведущих от мечети Сулеймана к мечети султана Селима...

... Странно: на том же перекрестке, как и два месяца назад, сидит та же нищенка с ребенком на коленях. Да, та же самая... Несомненно. Я колеблюсь одну секунду: мне так хочется дать ей немного денег: семь, восемь монет, стоящих около пяти франков!.. Но я знаю, что она откажется. А может быть, и нет? Попробую дать малютке... Впрочем, теперь я говорю по-турецки, я не совсем неверный. Я подхожу, почтительно называю ее «мать моя» и быстро высыпаю содержимое ко-

шелька в ручки ребенка. Там порядочно денег: семь, восемь монет, стоящих около пяти франков. Сквозь грубый чарчаф на меня поднимается удивленный взгляд, и благодарность женщины выливается в неожиданную форму, заставляющую меня задрожать: «Будьте счастливы любовью той, о которой вы думаете»...

Опять улицы, много улиц, окаймленных домами или могилами. Вот мой квартал Кара-Гумрук, я начинаю уже его узнавать. Сейчас я дойду до огромного византийского водохранилища. Да. А вот и мой дом, где я ночевал всего один раз. Но я еще пока не войду.

Нет, не сейчас. Я хочу прежде снова увидеть двор Селимие-Джами, ведь теперь – это моя мечеть, с тех пор, как я здесь живу... Хочу увидеть двор и старые кипарисы, под тенью которых в день нашей первой прогулки мы долго отдыхали; «та, о которой я думаю», и я...

Я помню: мы грызли сладости, купленные ею у Хаджи Бекира, модного турецкого кондитера. Как досадно, что сегодня здесь нельзя поесть сладостей... Четыре долгих взгляда на четыре стены, оживленные яркими красками майолики, и вот я снова на пороге сводчатой двери. Но теперь я колеблюсь...

Я колеблюсь... Чтобы точно следовать по тому пути, надо было бы пройти до Адрианопольских ворот, выйти за городскую стену и посидеть на большом кладбище, где похоронена Азиадэ... Но это позднее,– немного позднее. Настанет еще время пойти на это дикое кладбище... В настоящую минуту я думаю о гробнице Хассеки. Я хотел бы пойти туда, мне необходимо пойти туда, чтобы совершить молитву... Но это далеко, больше мили. Который час? Два часа без пяти, уже? О, нет некогда! Нужно торопиться.

Скорей к водоему и домой... Улица безлюдна, как всегда. Ни одна душа не видела, как я открыл свою маленькую дверь из свежего дерева и запер ее за собой.

Ставни из крестообразно плетеного тростника, по-турецки «kefes», защищают меня от нескромных взглядов. Турецкая комната – самое неприкосновенное из всех святилищ... И оно красиво: шелковые брусские занавеси, купленные на днях, висят на окнах, медный мангал сверкает на полу...

А вот, на ивовом манекене, костюм «ханум» – турчанки, таинственно укутанной, неузнаваемой, и на столике маленький дамасский клинок с рукояткой из нефрита и острым лезвием.

Я... я думаю, что усну.

Да. Я сплю.

Сплю... Когда спишь, видишь сны, не правда ли? Я вижу странные сны... Кровавые сны...

Ночь. Темная ночь. Я... я проснулся... от сна и от грез... Я далеко от своего дома в Кара-Гумруке: вот большой мост через Золотой Рог.

На мосту газовые фонари. Я останавливаюсь под его мигающим огнем... Мне кажется, я что-то забыл... да, вот это. Бумагу... эту бумагу... Я развертываю, читаю. Перечитываю. Да, я что-то забыл. Бумага — бесполезная бумага — и надо разорвать... вот так: два, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре куска... Попутный ветер подхватит их, развеет, унесет и потопит в пучине морской.

Я поднимаюсь назад в Перу, по Топ-Ханэ.

Справа, между двумя домами, несколько могил,— слабо белеющих под звездами... Луна — тонкий, тонкий серп...

Какой покой! Разве не единственная радость в конце концов уснуть здесь, среди этих могил, после долгих, суетных, грубых и злых волнений жизни...

XXXVII

Четверг, 1 декабря.

Кажется, сэр Арчибальд Фалклэнд умер. Эту новость сообщила мне госпожа Эризиан, которую я случайно встретил сегодня утром в Пере. Сэр Арчибальд Фалклэнд умер. Третьего дня, говорят, он поехал в Сан-Стефано, где у него были дела. Но он туда не доехал... А вчера его труп нашли на большом турецком кладбище, за стенами Стамбула...

Кажется, сэр Арчибальд Фалклэнд убит, заколот кинжалом. Должно быть, одним из тех бродяг, которые в сумерках шляются у ворот города.

Госпожа Эризиан стоит на углу улицы, опираясь на закрытый зонтик, служащий ей тростью, и сообщает мне еще несколько трагических подробностей. Незаметно, чтобы ее печаль была слишком глубока. Однако пролитая кровь все же волнует ее армянские нервы.

— Это убийство подоспело вовремя: для нашей бедной Марии жизнь стала невыносимой. Этот Фалклэнд, в общем... но я не стану говорить о нем дурно теперь, когда его нет в живых. Вы его знали хорошо, и, между нами, оплакивать его не приходится. Тем не менее убийство всегда ужасно.

Она вздрагивает. И я вспоминаю турецкую поговорку: «Аллах создал зайца»...

Забавно. Вот старая женщина, много видавшая на своем веку — и много удержавшая в памяти: — старая женщина, происходящая из народа, свободного от многих предрассудков. Эта женщина хорошо знает, что за человек был сэр Арчибальд

Фалклэнд: она откровенно радуется тому, что он убит. Но она отвернулась бы от убийцы.

XXXVIII

2 декабря.

Небольшая мечеть Мехмед-Соколи сверкает, как драгоценность под полуденным солнцем, и кладбище окружает его оправой из зеленой эмали.

Я подъехал верхом и привязал коня к воротам дворика. Добрый имам сейчас же вышел мне навстречу, и мы обменялись самыми любезными приветствиями. Девочек нет. Я спрашиваю о них – это разрешается законом, так как они еще не женщины,– и меня благодарят за мою любезность.

Имам предлагает мне посетить мечеть. Я соглашаюсь. Белый храм из резного с золотом мрамора все так же прекрасен. Но мне кажется, в тот раз я не так полно наслаждался мягкостью света, проникающего сквозь стекла окон. Точно теплый дождь падает на душу, дождь покоя, забвения...

Я нарочно спотыкаюсь на дырявом ковре. Имам смущенно извиняется. Но я приехал именно за этим. Со времени последнего посещения мечети мне на голову свалилось наследство, на которое я, в сущности, не имею права, но не могу от него и отказаться. Впрочем, сумма незначительная, несколько золотых монет; по совести, я считаю своей обязанностью вернуть Аллаху то, что принадлежит Аллаху. Как раз кстати, новый ковер еще не куплен... Значит...

Значит... Имам совершенно смущен, но я ссылаюсь на авторитет Мехмед-паши. Я пускаю в ход мои лучшие турецкие обороты, самые убедительные. В конце концов, монеты приняты.

Я их вынимаю одну за другой из бумажника. Их семь больших и две маленьких. В общем, восемь турецких ливров: немножко больше девяти луи.

Дело сделано. В путь!

– Аллах исмарладык! Прощайте.

...От этих золотых монет я мог избавиться как-нибудь иначе, мог просто бросить их... Но так все-таки лучше.

XXXIX

От Мехмед-Соколи я проехал рысью до Мраморного моря. Здесь я пустил лошадь галопом. Вдоль древней стены, бывшей морским оплотом Византии, идет теперь железная дорога в Сан-Стефано и параллельной ей хорошее шоссе,– очень удобное для верховой езды. И шоссе и железнодорожное полотно тянутся до конца Стамбула, до Мраморной Башни и до великой стены, где начинается кладбище Азиадэ.

Фантазия: мне вздумалось доехать до кладбища; я хочу видеть место, где убили сэра Арчибальда Фалклэнда — убили, как видно, с целью грабежа, потому что на убитом ничего не нашли. Это происшествие наделало, конечно, в Пере много шуму. Убийство директора финансового контроля принимает размеры государственного преступления. И газеты говорят о нем с большой осторожностью.

От Мехмед-Соколи до Мраморной Башни почти две мили. Я люблю эту длинную дорогу, лежащую за городом, где в каждой долине, между каждыми двумя из семи холмов, открываешь новый квартал Стамбула, всегда непохожий на другие, всегда своеобразный, хотя он и окружен, как другие, венцом темных кипарисов и белых минаретов.

...Кум-Капу: — Иени-Капу: — Ак-Сераль: — Даут-Паша: — Псамматия.

А вот и Иеди-Кулэ и ее маленький вокзал, самый близкий к Башне. Я... Я здесь не проеду... Есть другой путь, более прямой...

Я пришпориваю лошадь, чтобы промчаться в единственные имеющиеся здесь ворота, ворота Семи Башен, чтобы перемахнуть через круговую дорогу, ров и насыпь...

Начинается большое кладбище, перерезанное там и сям полями, огородами и песчаниками. Все это удивительно безлюдно и мрачно.

Место преступления здесь неподалеку. Газеты весьма точно описали его. А я читал все газеты. Я могу разыскать это место. Я найду его.

...Вот здесь...

— Здравствуйте, господин полковник...

Я сильно вздрагиваю... Почему? Это не кто иной, как Мехмед-Джаледдин-паша, верхом, посреди кипарисов.

— Господин маршал...

— А! Любопытство? Вы приехали взглянуть на знаменитое место? Вы как раз угадали. Это именно здесь...

Он указывает пальцем на опрокинутый камень. Высокая трава здесь сильно примята.

— А вы-то сами, что вы здесь делаете? Или тоже, как я, удовлетворяете свое любопытство?

— Да, профессиональное. Его императорское величество поручил мне специально расследовать это дело. Вы понимаете, насколько это серьезно: убийство директора европейского финансового контроля, черт возьми!

— И вы производите здесь следствие?.. Один... Верхом на лошади, посреди кладбища?..

— Да... Мне пришла в голову одна мысль, господин полковник: я уверен, что убийца вернется на место убийства.

— Вот как? На каком же основании?

— Они все возвращаются.

— Неврастеники, европейские убийцы, испорченные литературой. Но обыкновенный грабитель, какой-нибудь серб, болгарин или курд...

— А, я вижу, вы читали газеты. Но это официальная версия и временная: между нами, я уверен, что обыкновенные-то грабители здесь ни при чем.

— В самом деле?

— В самом деле.

Я гляжу на него, не скрывая своего удивления.

— О, я вполне могу вас посвятить в эту тайну. Я знаю, что вы умеете молчать, господин полковник... И право, эту историю стоит выслушать, с какого конца ее ни начнешь...

Во-первых: вам известно, конечно, что в день убийства сэр Арчибальд Фалклэнд отправлялся в Сан-Стефано. Между прочим, это кладбище совсем не обязательный этап между Стамбулом и Сан-Стефано.— Но все равно.— Итак, сэр Арчибальд Фалклэнд отправлялся в Сан-Стефано. Говорят: по делу. По какому делу? Никто и не думал об этом справляться. Я начал свое следствие именно с этого. Я узнал, что сэр Арчибальд Фалклэнд отправился в Сан-Стефано, чтобы там начать процесс о разводе, который был решен накануне вечером, в результате семейной сцены, которая не представляет интереса ни для вас, ни для меня, но все подробности которой мне известны. Вы, конечно, понимаете, что армянская прислуга Фалклэндов у меня на жалованье.

— Очень любопытно. Но это как будто не относится к преступлению?

— Кто знает! Само преступление отличается очень странными особенностями.

— А именно?

— Судите сами: 29 ноября сэр Арчибальд Фалклэнд садится на пароход в Канлидже в 9 часов 17 минут по турецкому времени. Предварительно у него происходит разговор с его кузиной и в то же время любовницей, леди Эдит. Из этого разговора, который был мне передан слово в слово, и из показаний леди Эдит, которую я допрашивал вчера для большей уверенности, вытекает, что сэр Арчибальд имел при себе в своем большом бумажнике из ярко-красной кожи, все документы, необходимые для развода. Никаких копий этих документов не было. Итак, сэр Арчибальд отправился в путь и прибыл в Стамбул в 10 часов 19 минут, за двадцать минут до поезда — поезд уходит в 3 часа по франкскому времени. Он, однако, идет прямо на вокзал и садится в зале. Очевидно, он не расположен гулять. Час отхода поезда. Сэр Арчибальд берет билет до Сан-Стефано: у нас имеется показание служащих.

Поезд уходит. До сих пор все абсолютно ясно.– Но на станции Иеди-Куле сэр Арчибальд выходит из вагона. Вероятно, для того, чтобы размять ноги. Кавалеристы, как мы с вами, знают, насколько трудно долго сидеть на одном месте. Кстати, остановка в Иеди-Куле длится несколько минут. Да, очевидно, сэр Арчибальд Фалклэнд вышел размять свои члены. Или... как знать? Может быть, повиновался какому-нибудь таинственному зову... Потому что неизвестно, по какой причине сэр Арчибальд не возвращается в вагон. Напротив, он уходит с вокзала. Контролер отмечает билет в Сан-Стефано: сэр Арчибальд прячет билет в бумажник, исчезнувший после преступления, и говорит чиновнику: «Я поеду дальше следующим поездом, который идет через час». Странная фантазия: следующий поезд приходит в Сан-Стефано только поздней ночью.

— Странная фантазия, действительно.

— Внимание, господин полковник! Сэр Арчибальд выходит с вокзала Иеди-Куле не один. Впереди него идет турецкая дама, и, как видно, сэр Арчибальд следует за ней. Оба проходят в ворота Семи Башен, часовые с удивлением смотрят на элегантную даму в чарчафе – таких мало в этом районе, а также на европейца, идущего за ней. Сержант со смутным подозрением наблюдает за парочкой: но ни мужчина, ни женщина не произносят ни звука, не обмениваются жестом: стало быть, нет ничего недозволенного. Они спокойно удаляются и выходят на дорогу Эйюб, огибающую большое кладбище...

Это происходит уже в двенадцатом часу по турецкому времени. Скоро должно зайти солнце, а вам известно, что после заката ни одна турецкая женщина не имеет права ходить по улицам. Куда же денется эта дама? За стеной нет ни одного жилого дома. Она, конечно, вернется в город, и вернется скоро, пройдя через какие-нибудь ворота... И она возвращается через ворота Силиври. Часовые и здесь замечают ее. Она идет одна и исчезает среди улиц. Начиная с ворот Силиври, след ее потерян... Потерян, господин полковник!.. Я с вами согласен, это очень досадно. Тем более досадно, что эта турецкая дама многое должна знать об убийстве. Очень многое! Я вам скажу, господин полковник: эта турецкая дама... Я нисколько не уверен в том, что она турчанка, и даже в том, что она дама... Но я уверен, что она – убийца...

— О!..

— Кто же другой? Взгляните сюда, полковник...

Мы подъезжаем к краю дороги.

— Слушайте и смотрите: здесь, у этой трещины в стене, Фалклэнд сошел с дороги, чтобы пройти под кипарисы. Женщина шла впереди. Я не стану вам рассказывать, по каким признакам я это узнал, это дело полицейского, и легкое дело... они перешагнули через эту яму, вот здесь. Женщина невелика

ростом: она перескочила обеими ногами сразу. Здесь Фалклэнд ее настиг и, вероятно, схватил рукою за плечо. Она внезапно обернулась и нанесла ему такой верный удар кинжалом, что бедняга свалился, как сноп. Не произошло никакой борьбы. О, у этой женщины было довольно и силы, и ловкости. Ее кинжал — настоящая игрушка — длиною всего с палец,— но действовала она им мастерски. Из раны не вытекло и четырех капель крови, хотя клинок и проник в самое сердце...

— Значит, это была ловушка?

— Очень искусно подстроенная. Эта дама в чарчафе была, очевидно, хорошо осведомлена. Она ждала в Иеди-Куле прихода трехчасового поезда: она знала верное средство увлечь за собой человека, которого хотела убить...

— Вы подозреваете кого-нибудь, ваше превосходительство?

— Маш'алла! Возможно... Видите ли, полковник, слишком много людей было заинтересовано в том, чтобы сэр Арчибальд не доехал до Сан-Стефано... Слишком много. Его жена, его лучший друг... Вы не понимаете? Все равно... И, конечно, эти лица прекрасно знали некоторые специальные особенности этого самого сэра Арчибальда; им было очень хорошо известно, как сильно его привлекают турецкие кладбища и определенные женщины — будто бы мусульманки,— делающие ремесло из прогулок по кладбищам...

— Как, господин маршал? Насколько я понял, вы подозреваете ту самую леди Фалклэнд, которую когда-то так уважали.

— Пока нет, пока нет! Сейчас в подозрении только турецкая дама, дама в чарчафе, следы которой утеряны. Когда эти следы будут открыты вновь, мы начнем подозревать других.

XL

3 декабря.

Погребение сэра Арчибальда Фалклэнда в английской часовне на кладбище Ферикей. Я не мог уклониться от присутствия на похоронах, так как сам Нарцис Буше пожелал таким образом укрепить entente cordiale.

Самая банальная церемония. Впрочем, у меня очень плохое воображение, и во время заупокойной мессы мне с большим трудом удалось убедить себя в том, что этот ящик, обитый черным сукном, содержит то, что было сэром Арчибальдом Фалклэндом, моим хозяином в Канлидже, моим компаньоном по Summer-Palace и другим местам...

Леди Фалклэнд, рядом со своим мальчиком, молится на коленях за гробом. В первый раз за долгие годы леди Эдит указано ее место — третье. Кто знает? Еще несколько месяцев или даже недель и этот длинный вдовий креп был бы на ней,

и ей же достались бы и наследство, и воспитание ребенка. Но мы живем на земле Аллаха, где бодрствует архангел Азраил...

Все толпой направляются к леди Фалклэнд, стоящей с сыном у двери.

Приличие требует, чтобы я подошел тоже. Я иду. Но останавливаюсь в двух шагах, уступая место старикам...

Сквозь траурное покрывало я все же вижу лицо и глаза вдовы. Какой глубокий покой теперь в этих глазах, которые я видел полными тоски и тревоги... Леди Фалклэнд держит за ручку ребенка и крепко прижимает его к себе... Ну, поглядим на нее подольше, чтобы запечатлеть в душе. А потом пойдем. Я не поклонюсь леди Фалклэнд. Не вкушу сладости ее мягкого, дружеского, может быть, нежного взгляда. Этот взгляд не для меня. Направо, кругом!

Пойдем в кабачок, пригласим какую-нибудь Карлину. На большее у меня нет права. Таков мой удел.

XLI

3 декабря.

Я обедаю в кабаре Токатлиан — один. Я не нашел Карлины. Возможно, что я ее и не искал...

В дверях появляется высокая фигура Мехмед-Джаледдина. Он одним взглядом окидывает все столы, замечает меня и подходит.

— Вы позволите мне пообедать с вами, господин полковник?

— Ваше превосходительство не может сделать мне большего удовольствия.

Он садится. Я ем пилав. Он без церемонии протягивает мне свою тарелку.

— Итак, господин полковник, сэр Арчибальд погребен...

— Сегодня утром. Я был на похоронах.

— Я знаю. Я, конечно, не был. Но я ждал в Канлидже возвращения его семьи.

— А! Профессиональный визит?

— Да.

Он оглядывается кругом. Соседние столики не заняты. Можно разговаривать, почти не стесняясь, слегка только понизив голос.

— Скверное дело, господин полковник, хуже, чем мы предполагали...

— Что? Леди Фалклэнд?

— Кузина обвиняет ее формально.

— Обвиняет?.. В чем?.. В том, что она убила...

— В том, что она подослала убийц.

— Ну, вот еще... Но кого же она подослала?

— Князя Черновича.

— Я ошеломлен.

— Да,— повторяет Мехмед-паша,— князя Черновича. И вот тут-то, как бы это сказать по-французски... тут-то и зарыта собака. Чернович, несомненно, способен на все, и леди Фалклэнд могла его просто купить...

— Купить?.. Купить Черновича, чтобы он убил сэра Фалклэнда, который был его лучшим другом?..

— Возможно, что он уж больше ничего не мог извлечь из этой дружбы.

— О!.. Но вы, по крайней мере, допрашивали князя? Что он говорит.

— Он отрицает. У него даже готовое алиби, слишком готовое. Я, конечно, рассмеялся ему в лицо.

— Почему?

— Русское алиби в Константинополе! Много ли оно стоит? У этих людей столько же соучастников, сколько единоверцев, протеже и клиентов. Они у себя дома... Впрочем, я вовсе не утверждаю, что Чернович убил Фалклэнда своими собственными руками... Скорее, он подослал наемного негодяя. Пера кишит болгарскими комитаджи. Наконец, все алиби земного шара не перевесят того, что у леди Фалклэнд с Черновичем было свидание в понедельник вечером, и они могли сговориться, что Чернович был свободен весь день во вторник и что во вторник, на закате солнца, Фалклэнд был убит, как раз вовремя.

Мехмед-паша по моим глазам старается определить эффект своего красноречия.

Я задаю вопрос:

— Значит, господин маршал, вы непременно хотите установить прямую связь между предполагаемым разводом и убийством?

— Дайте мне другую гипотезу!

— Возможно, что здесь просто убийство с целью грабежа.

— Грабители не стали бы ждать Фалклэнда на станции Иеди-Куле. Откуда они могли знать, что он проедет туда? Откуда они могли знать день и час? Чернович все это знал: никто, кроме него.

— Но ведь грабеж налицо? Труп был обобран.

— Да, взят бумажник, в котором были документы для развода. Да, я знаю, в нем было еще несколько турецких фунтов. Но ведь надо было устранить подозрение... Впрочем, неужели вы думаете, что Чернович, который должен своему портье тысячу фунтов, стал бы гнушаться маленькой находкой?

— Что вы, господин маршал! Секретарь посольства, джентльмен...

— Мразь!.. Слушайте, господин полковник. Во всем этом меня удивляет вот что: неужели эта бедняжка, леди Фалклэнд,

не нашла себе лучшего защитника?.. Правда, женщины слепы от рождения...

Он на минуту умолкает и переносит все свое внимание на меня. Я возвращаюсь к обвинению.

— Итак, господин маршал, вы настаиваете на том, что убийство произошло по желанию леди Фалклэнд?

— Да.

— Могу я спросить вас, каковы в таком случае ваши намерения?

Он смотрит на меня:

— У меня никаких намерений, господин полковник. Я отдам отчет обо всем этом его величеству, и больше ничего.

— А потом?

— Потом. Мы передадим все дело английскому и русскому посольствам и умоем руки. Пусть неверные убивают друг друга, это их дело. Только бы турецкая честь не была задета.

— Но признают ли посольства ваши заключения по этому делу?

— О, подозрения и без того тяжелы. Волей-неволей, Англия затеет процесс.

— Какой скандал, однако!

— Да. Но английский суд смел. Будьте уверены, он не отступит. Впрочем, леди Эдит будет его подталкивать... Да, леди Фалклэнд погибла.

— Но раз она невиновна, ее должны будут оправдать, за неимением улик.

— Конечно, но она выйдет из этого процесса обесчещенной, а это хуже всякого приговора.

...Да...

— Господин маршал, мне кажется, не все гипотезы приняты вами во внимание. Давайте подумаем. Допустите, что убийца не Чернович, а другой: что убийца в понедельник вечером и утром во вторник не видел и не мог видеть леди Фалклэнд, и он это докажет: что тогда? Значит, леди Фалклэнд придется оправдать, потому что преступник действовал без ее ведома?

Мехмед кладет на стол ножик и вилку и забывает о груше, которую чистил.

— Допустите, господин маршал, что свидетель, простой свидетель той трагедии, которая происходила между леди Фалклэнд и ее мужем — да, свидетель, честный человек, ясно видевший, на чьей стороне право и на чьей — ложь, свидетель храбрый, не захотевший оставаться нейтральным, встал на сторону слабого против сильного. Что тогда, господин маршал?

Он долго молчит. Потом поднимается:

— Это надо взвесить.

Он берется за кошелек, чтобы заплатить по счету. Я встаю, в свою очередь:

— Господин маршал, позвольте мне.

— Но...

— Прошу вас! Ваше превосходительство, сейчас поймете, почему...

Я медленно, очень медленно вынимаю из смокинга большой ярко-красный бумажник...

— Ах, я ошибся! Этот бумажник... (я кладу его на стол, на виду, перед глазами Мехмед-паши)... Мои деньги не здесь...

И плачу турецким фунтом, вынув его из жилетного кармана. Мехмед-паша, стоя неподвижно, онемев, молча смотрит на красный бумажник. Его глаза пронизывают меня.

Я жду его решения одну, две, три минуты. Потом, молча кланяюсь. Он тоже кланяется, очень серьезный.

— Господин полковник, да будет над вами милость Аллаха!

XLII

Пятница, 16 декабря.

Вокзал Сиркеджи. Ориент-экспресс готов к отходу.

Я покидаю Стамбул и Турцию навсегда. Я взял отпуск, в ожидании назначения мне преемника в посольстве. Я возвращаюсь к прежней деятельности и буду хлопотать о скромной должности командира полка в каком-нибудь провинциальном захолустье, поближе к восточной границе, если можно.

На вокзале было множество рукопожатий. Теперь все кончено. Все ненужные люди позади. Я один в маленьком купе, в моей трехдневной тюрьме.

Эта Турция, из которой я изгоняю себя, приросла к моему сердцу, как мясо к костям. И все-таки я уезжаю. Я не могу, не правда ли, не могу остаться там, где умер сэр Арчибальд Фалклэнд... где будет жить его отныне свободная вдова...

Я подождал две недели для... для того, чтобы убедиться, что с нее сняты все подозрения. На этот счет я спокоен. Все хорошо. Очень хорошо.

А! Свисток. Как будто что-то оборвалось во мне...

Вокзал уже позади. Налево Мраморное море струится на солнце. Направо – Старый Сераль и его мраморные киоски, рассыпавшиеся по кипарисовой роще; бурые стены с искрошенными зубцами.

И бесконечный Стамбул...

— Господин полковник, я имею удовольствие быть вашим спутником.

Мехмед-Джаледдин-паша кланяется мне, стоя в коридоре вагона.

— А! Господин маршал, какой сюрприз! Вы — в ориент-экспрессе?

— Да, официальная миссия: его величество посылает меня в Берлин, вести переговоры о покупке артиллерийских орудий.

— Покупка артиллерийских орудий? — Поздравляю! Какая милость... Но вам пришлось оставить политический кабинет?

— Нет. Его величество был особенно милостив: кабинет остается за мной. Мой первый секретарь будет заменять меня это время.

— Еще раз поздравляю... И вы уезжаете после блестящей удачи. Я еще не имел чести поздравить ваше превосходительство с делом Фалклэнд. Невиновность этой бедной женщины была установлена необыкновенно быстро.

— Да, но я тут ни при чем. Все это сделано самим султаном.

— Как?

— Я просто сообщил все данные его величеству и в то же время ходатайствовал о чрезвычайной аудиенции, которая мне была разрешена.

— И тогда?

— Я изложил его величеству все, что мне было известно. Некоторые сведения, которые я приобрел во время расследования, не фигурировали в письменном докладе. Я объяснился по этому поводу и прямо назвал того, кого считал убийцей. Султан — в Европе никто не знает султана, полковник,— вы сами, хотя и были ему представлены в одну из пятниц после селямлика и ели ифтар во дворце, в вечер Рамазана — даже вы не подозреваете, какой это человек... Султан выслушал меня молча, потом помолился. И Аллах просветил его. Я стоял на коленях. «Встань,— сказал он,— и иди. Ты ошибся. Человек, который убил не тот, кого ты назвал: тот — праведник. Человек, который убил — разбойник, которого вчера поймали возле стены наши солдаты. Его имя Измаил Бен Тагир». И действительно, господин полковник, этот Измаил оказался убийцей: он сознался.

— Сознался?

— Да. В моем присутствии. Султан соизволил допросить его лично. Измаил Бен Тагир был приведен и простерся перед его величеством. Султан сказал: «Ты согрешил, и тебя ждет геена огненная. Но Аллах позволяет тебе искупить твою черную душу. Скажи, это ты в такой-то день и такой-то час убил франка, который осквернил кладбище у большой стены? Сознайся, что это ты, и я — падишах — истинно говорю тебе и обещаю именем Бога, что это признание будет зачтено тебе в

день страшного суда». Измаил Бен Тагир поклонился до земли и сознался.

— Но этот человек будет осужден на казнь?

— И казнен. Это настоящий разбойник, совершивший убийств более, чем он прожил лет. Будьте покойны, господин полковник: для того, чтобы отрубить эту голову, не было необходимости в трупе Арчибальда Фалклэнда.

Мехмед-паша умолкает и смотрит на мелькающие мимо окна деревянные домики и мраморные мечети. Я тоже наклоняюсь к окну.

— Господин полковник. Кто хоть раз пил воду Беикоса, рано или поздно вернется на Босфор. Я сам никогда не покидаю Стамбула без слез.

— Я тоже покидаю его с болью в душе, господин маршал. Но на мне поговорка не оправдается. Я пил воду Беикоса, и я не вернусь. Никогда!

Он выпрямляется и смотрит мне в глаза.

— Никогда? Между тем здесь о вас будут жалеть.

— Никогда.

— А! Хорошо.

По его лицу скользит довольная улыбка.

— Я знаю, что вы не вернетесь. Если б вы вернулись, вы были бы не вы.

...Стамбул удаляется все дальше. Кум-Капу, Иени-Капу, равнина Вланга-Бостан, все убегает назад от поезда, ускоряющего ход. Вот маленькие домики Самматии, вот вокзал Иеда-Куле...

...И стена, и кладбище за стеной. Гигантские кипарисы...

Я гляжу на кладбище... Мехмед-паша внезапно наклоняется надо мной и обращает мое внимание на грандиозные зубчатые стены, которые опоясывают убегающий город...

— Посмотрите сюда, господин полковник. И подумайте, сколько нужно было пролить крови, чтобы скрепить эти исполинские камни. В этой жизни мы не можем создать ничего великого, не обагрив наши руки кровью.

С минуту он сосредоточивает все мое внимание на кровавой стене. Потом произносит торжественно:

— Все мы — персты на деснице Аллаха. Что делать, если один из этих перстов вооружен железным ногтем? Все это написано на страницах книги судеб.

Средиземное море, 1324 год, Эгиры.

Морис Леблан

ВОСЕМЬ УДАРОВ СТЕННЫХ ЧАСОВ

Роман

I

На вершине башни

Гортензия Даниель приоткрыла свое окно и прошептала:

— Вы здесь, Росиньи?

— Я здесь,— раздался голос из кустов, растущих возле замка.

Она немного наклонилась и увидела довольно полного человека, который поднял по направлению к ней свое широкое красноватое лицо, обрамленное русой бородой.

— Ну? — проговорил он.

— Вчера у меня произошло целое сражение с дядей и с теткой, они окончательно отказываются подписать соглашение, посланное им моим нотариусом, и отдать мне приданое, растраченное моим мужем перед его заключением.

— Ваш дядя, который настаивал на этом браке, согласно брачному контракту, должен нести ответственность.

— Что же из этого? Я же вам говорю, что он отказывается.

— Что же делать?

— Вы все же намерены меня похитить? — спросила она, смеясь.

— Бесповоротно. Вы же знаете, что вы до сумасшествия вскружили мне голову.

— К несчастью, я вами ничуть не увлечена.

— Я не требую, чтобы вы с ума сходили по мне, я хочу, чтобы вы только немного меня любили.

— Немного? Вы очень требовательны.

— В таком случае, почему вы меня избрали?

— Я скучала... Моя жизнь протекала слишком однообразно... Я решила рискнуть... Вот мой багаж. Ловите!

Она спустила большие кожаные мешки, которые Росиньи принял от нее.

— Жребий брошен,— прошептала она.— Ожидайте меня с вашей машиной в предместье д'Иф, а я поеду верхом.

— Черт возьми! Я же не могу забрать вашу лошадь в автомобиль.

— Она вернется сама.

— Ладно. Кстати...

— В чем дело?

— Кто этот князь Ренин, который живет здесь три дня и которого никто не знает?

— И я не знаю. Мой дядя встретил его у своих друзей на охоте и пригласил.

— Вы ему очень нравитесь. Вчера мы совершили с ним большую прогулку. Он мне не по душе.

— Через два часа я покину замок в вашем обществе. Скандал, последующий за этим, надо полагать, охладит пыл Сергея Ренина. Довольно разговоров. Нечего терять время.

В течение нескольких минут она наблюдала за толстяком, который с ее багажом удалялся по пустынной аллее, а затем закрыла окно.

На дворе охоничьи рога трубили сбор. Собаки свирепо лаяли. В это утро открывалась охота. Каждый год в начале сентября Ла Марэз, граф д'Эглерош, большой любитель охоты, собирал для этой забавы нескольких друзей своих и соседних помещиков.

Гортензия медленно завершила свой туалет. Она облачилась в амазонку, отлично облегающую ее гибкую фигуру, надела шляпу, оттеняющую ее красивое лицо, рыжие волосы, и села за свой письменный стол. Она попыталась написать дяде прощальное письмо, которое предполагала вручить ему вечером. От этой трудной задачи ей в конце концов пришлось отказаться.

— Я ему напишу после,— сказала она сама себе,— когда его гнев пройдет.

Она прошла в столовую с высоким потолком. В камине ярко горели гигантские поленья. Разное оружие украшало стены. Со всех сторон сходились приглашенные. Они пожимали руку графу д'Эглерошу, который представлял тип деревенского жителя, созданного, казалось, специально, чтобы охотиться. Он стоял около камина с рюмкой коньяку.

Гортензия рассеянно его поцеловала.

— Как, дядюшка, вы пьете? Ведь вы такой воздержанный.

— Ну, раз в году можно себе позволить некоторое излишество.

— Тетя будет сердиться.

— У твоей тети мигрень, и она не придет. К тому же,— недовольно заметил он,— это ее не касается... Не касается и тебя, детка!

Князь Ренин приблизился к Гортензии. Это был элегантный молодой человек с бледным и тонким лицом. Глаза его казались то очень ласковыми, то очень суровыми, то ироническими, то изысканно вежливыми. Он поклонился, поцеловал руку молодой женщины и сказал ей:

— Напоминаю вам ваше обещание, сударыня.

— Мое обещание?

— Да. Мы же условились продолжать сегодня нашу вчерашнюю прогулку. Мы ведь должны были посетить этот старый заколоченный домик, который вас так заинтересовал... Кажется, его называют имением Галингра.

Она сухо ответила:

— Извините, я устала, а это заняло бы много времени. Я пройдусь по парку и вернусь.

Они помолчали, и Ренин, с улыбкой глядя на нее в упор, тихо проговорил:

— Я уверен, что вы сдержите свое обещание. Для вас это лучше.

— Для кого? Для вас, вы хотели сказать,— поправила она его.

— Уверяю, что и для вас.

Гортензия слегка покраснела и возразила:

— Я вас не понимаю.

— Я, однако, никакой загадки вам решать не предлагаю. Дорога туда дивная, имение это очень интересно. Никакая другая прогулка так не удовлетворит вас.

— Вы очень самонадеянны.

— И настойчив, сударыня.

Она сделала негодующий жест, но от ответа воздержалась; повернувшись к нему спиной, Гортензия стала здороваться с окружающими, а затем вышла из комнаты.

У крыльца грум держал ее лошадь. Она села в седло и поехала по направлению к лесу.

Погода была свежая и тихая. Между листвой деревьев мелькало бирюзовое небо. Гортензия шагом проехала по длинной аллее и через полчаса достигла холмистой местности, которую пересекала большая дорога.

Она остановилась. Ничего не слышно. Росиньи, вероятно, выключив мотор, скрыл автомобиль в кустах, окружавших предместье.

После минутного колебания она спустилась на землю, некрепко привязала лошадь к дереву, чтобы та легко могла вернуться домой, накинула на голову длинную коричневую вуаль и двинулась вперед.

Она не ошиблась. При первом же повороте она заметила Росиньи. Он подбежал к ней и увлек ее с аллеи.

— Скорей, скорей! Я так боялся, что вы опоздаете... или измените свое намерение!.. И вот вы здесь! Возможно ли это!..

Она улыбалась.

— Вы счастливы, что делаете глупость?

— Счастлив ли я! И вы будете счастливой. Клянусь!

— Может быть, но глупостей я делать не буду.

— Вы будете жить по вашему вкусу, Гортензия. Ваша жизнь превратится в волшебную сказку.

— А вы будете сказочным принцем?

— Вы будете жить в роскоши, в богатстве.

— Мне этого не надо.

— Что же вам надо?

— Счастья.

— Я уверен, что вы будете счастливы.

Она стала шутить:

— Я несколько сомневаюсь в качестве счастья, которое вы мне обещаете.

— Вы увидите... Вы увидите...

Они подошли к автомобилю. Росиньи, продолжая выражать свои восторги, пустил в ход мотор. Гортензия села в автомобиль. Машина двинулась по направлению к предместью, увеличивая скорость, как вдруг Росиньи принужден был затормозить.

Раздался выстрел с правой стороны. Авто пошел неправильным ходом.

— Прорвана передняя шина,— крикнул Росиньи, спрыгивая на землю.

— Да нет же! — воскликнула Гортензия.— Кто-то выстрелил.

— Невозможно, дорогая! Что вы говорите!

В эту минуту вновь последовали один за другим два выстрела.

Росиньи зарычал:

— Задние шины продырявлены!.. Кто этот разбойник!.. Если б я знал...

Он пробрался через кусты, окаймляющие дорогу. Никого. Впрочем, лесная чаща не давала возможности далеко видеть.

— Проклятие! — выругался он.— Вы правы... стреляли в авто! Мы теперь остановлены надолго. Три шины надо починить!.. Но что вы, дорогой друг, делаете?

Молодая женщина выскочила из автомобиля. Она проговорила, волнуясь:

— Я ухожу.

— Но почему?

— Я хочу знать. Стреляли. Кто? Я хочу знать...

— Умоляю вас не расставаться со мною...

— Думаете ли вы, что я вас часами здесь буду ожидать!

— Но наш отъезд?.. Наши планы?..

— Завтра мы опять об этом поговорим... Вернитесь в замок... Отнесите мои вещи.

— Я вас умоляю, умоляю... Ведь это не моя вина. Вы точно сердитесь на меня.

— Я на вас не сержусь, но если похищают женщину, то, милейший, этого быть не должно. До скорого!

Она быстро ушла. Ей посчастливилось найти свою лошадь на прежнем месте. Галопом она помчалась в сторону, противоположную Ла Марэз.

Она не сомневалась в том, что стрелял князь Ренин.

— Это он,— прошептала она с гневом,— это он... Только он способен так действовать.

Не предупредил ли он ее с такой уверенностью? «Вы вернетесь, я уверен... Я вас ожидаю».

Она плакала от злости и негодования из-за своего унижения. Встреть она в этот момент князя Ренина, она обязательно познакомила бы его со своим хлыстом.

Перед ней расстилалась живописная местность, которую с севера ограничивает департамент Чарты и которую называют «маленькой Швейцарией». Часто ей приходилось задерживать коня на крутых спусках. До конечной цели ее пути было около десяти километров. Хотя она несколько успокоилась, но все существо ее продолжало негодовать против князя Ренина. Она была зла на него не только за то, что он только что совершил, но и за все его поведение в отношении ее, за его ухаживания и самоуверенность.

Вот она у цели. В долине старая стена, изрезанная трещинами, покрытая мхом и сорной травой, позволяла видеть верхушку маленькой замковой колокольни и несколько окон, закрытых ставнями. Это было имение Галингра.

У входных дверей ее ожидал Сергей Ренин около лошади, на которой он приехал.

Она соскочила на землю, и когда он стал ее благодарить за прибытие, сняв шляпу, она воскликнула:

— Подождите! Одно слово! Сейчас произошло нечто необъяснимое. Три раза стреляли в автомобиль, в котором я находилась. Это вы стреляли?

— Да!

Она замялась.

— Вы, значит, сознаетесь!

— Вы, сударыня, задаете мне вопрос, на который я вам отвечаю.

— Но как вы посмели?.. По какому праву?

— Права у меня не было, сударыня, но я выполнил свою обязанность.

— В самом деле! Какую обязанность?

— Обязанность защитить вас от человека, который хочет воспользоваться несчастьем вашей жизни.

— Я запрещаю вам говорить со мной в таком тоне. Я сама отвечаю за свои поступки. Я совершенно свободно приняла свое решение.

— Сударыня, я сегодня утром случайно слышал ваш разговор с господином Росиньи, и мне показалось, что вы следуете за ним без особой радости. Вы простите меня, считайте меня невежей, но я хотел дать вам возможность в течение нескольких часов обдумать свое положение.

— Я уже все обдумала. Когда я что-либо решаю, то решения своего не меняю.

— Не всегда, сударыня! Ведь вы же сейчас здесь, а не там.

Молодая женщина смутилась. Гнев ее совершенно исчез. Она с удивлением смотрела на Ренина, понимая и сознавая, что он совершенно искренне, без задней мысли, как вполне порядочный человек, хотел спасти ее от ложного шага.

Очень тихо он сказал ей:

— Я очень мало, сударыня, знаю о вас, но достаточно для того, чтобы стремиться быть вам полезным. Вам двадцать шесть лет и вы сирота. Семь лет тому назад вы вышли замуж за родственника графа д'Эглероша, которого в конце концов пришлось поместить в дом для душевнобольных. Отсюда невозможность развода и необходимость жить на иждивении вашего дяди, так как приданое вашем мужем растрачено. Жить с графом и графиней, которые плохо ладят между собой, не так-то весело. Когда-то графа бросила первая жена. Она бежала с мужем теперешней графини. Разочарованные покинутые супруги соединили свою судьбу, но ничего утешительного в этом союзе не нашли. Вы от всей этой обстановки страдали. И вот, в один прекрасный день, вы встретили господина Росиньи. Он влюбился в вас и предложил вам с ним бежать. Вы его не любили. Но скука, молодость, жажда приключений и неизведанного заставили вас принять предложение, но в душе вы решили обмануть своего обожателя. Вы думали, что этот скандал заставит вашего дядю обеспечить вам независимое существование. В настоящее время вам надо выбрать одно из двух: или отдаться в руки господина Росиньи... или же довериться мне.

Она взглянула на него. Что он хотел сказать? Что значило это предложение, сделанное столь серьезно, точно его делал друг, желающий лишь помочь, помочь без всякой задней мысли?

После некоторого молчания он привязал обе лошади. Затем он осмотрел тяжелые входные ворота; на каждой створке их красовались две доски в виде креста. Какое-то старое объявление, которому было двадцать лет, свидетельствовало, что с того времени никто не переступал порога этих ворот.

Ренин вырвал из железной решетки, окружавшей замок, железный стержень и употребил его как лом. Гнилые доски сдали. Под одной из них оказалась замочная скважина. Он попытался открыть замок при помощи ножа с разными при-

способлениями. Скоро ворота открылись. Показалась площадка, заросшая вереском. Она шла до полуразвалившегося длинного здания, над которым возвышались четыре башенки по углам его. На самом верху было возведено нечто вроде бельведера-балкона.

Князь повернулся к Гортензии.

— Над вами не каплет. Сегодня вечером вы примете решение. Если господину Росиньи удастся второй раз убедить вас, тогда, клянусь, вы меня не встретите на своем пути. До того же времени позвольте мне быть с вами. Мы вчера решили осмотреть этот замок. Исполним это сейчас. Это способ убить время. Я надеюсь, что это будет интересно.

Он говорил так, как будто приказывал. Он точно повелевал и одновременно молил. Молодая женщина не пыталась противиться. Она последовала за ним к развалившемуся крыльцу, откуда внутрь замка вела дверь, также забитая досками крест-накрест.

Ренин применил прежний метод. Они вошли в просторный вестибюль, пол которого составляли черные и белые плитки. Везде красовалась старая мебель и церковные кресла. Герб, изображавший орла, вцепившегося в каменную груду, помещался над дверями, откуда свисала паутина.

— Это дверь в зал, вероятно,— заметил Ренин. Эту дверь открыть было труднее, причем князю пришлось пустить в ход всю свою силу.

Гортензия во время этой операции не промолвила ни слова. Она с удивлением следила за этими последовательными взломами, произведенными с редким искусством. Он угадал ее мысли и сказал ей совершенно серьезно:

— Для меня это детская игра. Я был слесарем.

Она схватила его за руку и прошептала:

— Слушайте.

— Что такое? — спросил он.

Она сжала его руки сильнее, требуя, чтобы он молчал. Тотчас же он сказал:

— В самом деле, это странно.

— Слушайте, слушайте,— повторяла удивленная Гортензия.— О! Неужели это возможно?

Они слышали невдалеке сухой шум, регулярные удары, которые, при внимательном вслушивании, воспринимались как регулярный ход, мерный тик-так стенных часов. Казалось совершенно необъяснимым, каким образом, каким чудом часы продолжали жить в этом мертвом царстве. Непонятное, таинственное явление, какая-то загадка.

— Однако,— прошептала Гортензия, не смевшая повысить голос,— ведь сюда никто не входил.

— Никто.

— Нельзя поверить, что эти часы шли в течение двадцати лет без завода.

— Нельзя, конечно.

— Тогда?!

Сергей Ренин открыл все три окна и сбил ставни. Они, действительно, находились в гостиной. Здесь царил полный порядок: стулья были на своих местах, вся мебель на местах. Жильцы этой комнаты, уезжая, очевидно, ничего с собой не захватили: ни книг, ни разных безделушек.

Ренин осмотрел старые стенные часы, заключенные в высокий деревянный футляр. Через овальное стекло можно было видеть диск маятника. Он открыл дверцы: гири часов находились в конце своего пути.

В этот момент часы зашипели и затем пробили восемь раз. Этого низкого звона часов молодая женщина потом уже никогда не могла забыть.

— Какое чудо! — прошептала она.

— Действительно, чудо,— подтвердил и он,— ведь простой механизм этих часов лишь с недельным заводом.

— И вы ничего не находите в этом странного?

— Как сказать... впрочем...

Он наклонился и вынул из футляра металлическую трубку, скрытую за гирями.

— Подзорная труба,— проговорил он задумчиво,— зачем ее спрятали?.. Странно? Что бы это значило?

Часы начали бить вторично. Раздалось восемь ударов. Ренин закрыл футляр часов и с подзорной трубой в руках продолжал осмотр. Комната, в которой они находились, сообщалась широкой аркой с другой комнатой, видимо, курительной, тоже меблированной. Там стоял пустой станок для ружей. Календарь, висевший на стене, показывал пятое сентября.

— А,— воскликнула с удивлением Гортензия,— то же число, что и сегодня... Какое странное совпадение!

— Удивительное,— проговорил он.— Это годовщина их отъезда... уже прошло двадцать лет с того дня, ровно двадцать лет.

— Согласитесь,— заметила она,— что все это необъяснимо.

— Конечно, хотя...

— У вас какая-то мысль?..

Он ответил через несколько секунд:

— Меня интригует эта подзорная труба... Каково было ее назначение? Из окон можно увидеть лишь деревья сада. Горизонта нет... Чтобы воспользоваться этим инструментом, надо было взобраться выше... Хотите подняться?

Она не колебалась. Тайна, окружавшая их, возбуждала ее любопытство. Она готова была следовать за Рениным и помогать ему в его изысканиях.

Они поднялись по главной лестнице и добрались до винтовой лестницы, которая вела на верхний бельведер-балкон.

Этот бельведер-балкон имел вид террасы, окруженной парапетом в два метра высотой.

— Когда-то, видимо, этот парапет был составлен из зубцов, которые потом уничтожили. Были тут раньше и бойницы; теперь они заделаны.

— Во всяком случае,— сказала она — здесь тоже труба не могла применяться. Нам остается только спуститься вниз.

— Я другого мнения,— возразил он,— логично рассуждая, надо прийти к выводу, что именно отсюда можно видеть окрестности и именно здесь пользовались этой подзорной трубой.

Он влез на парапет и увидел оттуда всю окрестность. На некотором расстоянии от замка,— примерно около восьмисот метров,— виднелась другая развалившаяся башня, очень низкая, вся обвитая плющом.

Ренин продолжал осмотр. Казалось, что он искал разрешения загадки в подзорной трубе, стараясь понять, каким образом и для чего она применялась. Он исследовал все бойницы. Одна из них, вернее, то место, где она раньше находилась, обратила его особенное внимание. Там, в известке, которой она была заделана, виднелось углубление, наполненное землей и появившейся из этой земли травой.

Он вырвал эту траву и очистил углубление, имевшее двадцать сантиметров в диаметре. Наклонившись вперед, он убедился в том, что описанное углубление, проникавшее всю толщу стены, давало возможность видеть всю окрестность, а также и башню, обвитую плющом.

Оказалось, что труба свободно входила в это отверстие, так плотно прилегая к нему, что ее нельзя было повернуть ни вправо, ни влево.

Ренин вытер стекла трубы и приложил к ней глаз. Несколько секунд он молчал и затем проговорил взволнованным голосом:

— Это ужасно... Право, ужасно...

— В чем дело? — забеспокоилась она.

— Смотрите...

Она наклонилась и, взглянув в трубу, проговорила с содроганием:

— Это два чучела, не так ли?.. Их там повесили... Но зачем?

— Смотрите,— повторил он,— смотрите внимательно. Под шляпами... лица.

— О! — с ужасом промолвила она,— это чудовищно!..

Через подзорную трубу была видна площадка развалившейся башни, окруженная с одной стороны стеной, заросшей мхом. На этом фоне среди мелкой поросли можно было различить мужчину и женщину, прислоненных к груде камней.

Но можно ли было назвать мужчиной и женщиной эти два манекена? Эти манекены были облечены в платья, шляпы, но они были без глаз, щек, одним словом, в действительности это были два скелета.

— Два скелета,— прошептала Гортензия,— два скелета, покрытые одеждой... Кто мог их сюда перенести?

— Никто.

— Однако?

— Эти люди, вероятно, много лет тому назад умерли там, на этой башне. Тела их разложились, а вороны полакомились ими.

— Но это же сплошной ужас,— сказала Гортензия, при этом она побледнела, и лицо ее выразило отвращение.

Через полчаса Гортензия Даниель и Сергей Ренин покинули замок Галингра. Перед этим они посетили старую башню, составляющую остатки разрушенной усадьбы. Пробраться в эту башню можно было по полуразрушенной деревянной лестнице. Башня примыкала к стене, находящейся в конце парка.

Гортензию удивило, что князь Ренин перестал как бы интересоваться всем этим делом. Он даже о нем не говорил. В деревенском трактире, куда они направились, чтобы подкрепить свои силы, она обратилась к хозяину за разъяснениями. Но тот недавно приехал в эти места и не знал даже имени владельца замка.

Они поехали в Марэз.

Несколько раз Гортензия вспоминала о кошмарном зрелище.

Но Ренин весело отшучивался и как будто избегал касаться этой темы.

— Но надо же решить этот вопрос! — наконец с нетерпением воскликнула она.

— Конечно, надо. Надо, чтобы вы в отношении Росиньи пришли к определенному решению.

Она пожала плечами.

— Речь не о нем... Во всяком случае, сегодня.

— Сегодня?

— Надо узнать, что такое эти два трупа.

— Но Росиньи?..

— Росиньи может ждать, но я ждать не могу.

— Ладно! Вероятно, он еще не починил свои шины. Но что вы ему скажете? Это главное.

— Главное то, что мы видели. Вы поставили меня лицом к лицу с загадкой, которая меня заинтересовала. Каковы ваши намерения?

— Мои намерения?

— Да, ведь мы видели два трупа. Вы, вероятно, об этом поспешите предупредить власти?

— О, боги! — ответил он смеясь.— Зачем?

— Но эту загадку надо же непременно раскрыть... произошла потрясающая драма.

— Нам для этого никого не нужно.

— Как? Что вы говорите? Вы сами можете распутать?

— Господи, все же совершенно ясно! Мне кажется, что я читаю книгу, снабженную богатыми иллюстрациями. Это же так просто!

Она взглянула на него с удивлением, думая, что он подшучивает над ней. Но вид у него был совершенно серьезный.

— Как же это так? — прошептала она вздрагивая.

День приближался к закату.

Когда они вернулись в Ла Марэз, охотники уже возвратились.

— А теперь,— заметил он,— мы пополним свои сведения, порасспросив местных аборигенов-старожилов... Знаете ли вы кого-либо, кто мог бы помочь нам?..

— Мой дядя. Он никогда не покидал этих мест.

— Отлично. Мы к нему и обратимся. Вы увидите, как все логически вытекает одно из другого. Очень любопытно распутывать подобные истории, когда знаешь их начало.

В замке они расстались. Гортензия нашла у себя свои дорожные вещи и негодующее письмо Росиньи. Он прощался с нею и сообщал, что уезжает.

— Бог с ним,— подумала Гортензия,— этот чудак нашел отличный выход.

Она позабыла и свой флирт с ним, и их планы. Ей казалось, что Росиньи более чужд ей, нежели этот Ренин, который на первых порах возбуждал в ней так мало симпатии.

Вдруг Ренин к ней постучался.

— Ваш дядя в своей библиотеке. Пойдемте к нему, я предупредил его о своем визите.

Она последовала за ним. Он добавил:

— Еще одно слово. Сегодня утром, помешав вам выполнить свое намерение, я принял в отношении вас известное обязательство. Сейчас вы увидите тому доказательства.

— Вы обязаны лишь удовлетворить мое любопытство,— возразила она со смехом.

— Ваше любопытство будет вполне удовлетворено,— ответил он серьезно,— если только господин д'Эглерош подтвердит мои предположения.

Господин д'Эглерош, действительно, находился один.

Он курил трубку и пил вино. Он предложил стакан вина Ренину, тот отказался.

— А у тебя, Гортензия, все благополучно? — проговорил он слегка заплетающимся языком.— В эти серые осенние дни так скучно. Ты совершила с мосье Рениным приятную прогулку?

— Именно по этому поводу я и хотел с вами поговорить,— прервал его князь.

— Вы меня извините, но через десять минут я должен отправиться на станцию, чтобы встретить подругу моей жены.

— О, десять минут для меня вполне достаточно. Значит, можно выкурить сигаретку?

— Конечно.

Он взял сигаретку, которую предложил ему д'Эглерош, зажег ее и сказал:

— Вообразите себе, что случай заставил нас посетить эту старую развалину, которая называется Галингра. Вы, вероятно, знаете это имение?

— Конечно. Но ведь там все уже в течение четверти столетия заколочено. Вы не могли войти.

— О нет, мы вошли.

— И интересно там?

— Очень. Мы открыли необыкновенные вещи.

— Что же именно? — спросил граф, поглядывая на часы.

Ренин рассказал:

— Мы нашли заколоченные комнаты, гостиную, оставленную ее обитателями в полном порядке, стенные часы, которые каким-то чудом принялись бить во время нашего посещения.

— Пустячные подробности,— прервал граф.

— Видели мы и другое. Мы взобрались на бельведер крыши и оттуда увидели на башне, отстоящей довольно далеко от замка... мы увидели два трупа, вернее, два скелета: мужчину и женщину. Они имели на себе ту одежду, в которой их убили.

— Уж и убили?!. Пустое предположение...

— Я в этом уверен и по этому именно поводу я хочу с вами поговорить.

— Эта трагедия, происшедшая лет двадцать тому назад, разве вам неизвестна?

— Признаться, нет. Я никогда не слыхал о каком-либо преступлении или исчезновении людей в этих местах.

— Жаль...— проговорил Ренин с некоторым разочарованием.— Я надеялся получить от вас кое-какие сведения. В таком случае, извините меня.

Он посмотрел на Гортензию и направился к дверям. Но тотчас вернулся и проговорил:

— Не могли бы вы познакомить меня с кем-либо из ваших родных?

— Моих родных? Зачем?

— Потому что имение Галингра принадлежало, вероятно, и теперь принадлежит д'Эглерошам. Это видно по гербам, на которых изображен орел на скале.

Графа, казалось, слова Ренина удивили. Он оставил вино и проговорил:

— Это для меня новость.

Ренин покачал головой и заметил с улыбкой:

— Я полагаю, что вы просто не хотите сознаться в родстве с этим неизвестным владельцем.

— Значит, это сомнительный человек?

— Это просто человек, который убил.

— Что вы говорите?

Граф встал. Взволнованная словами князя, Гортензия спросила:

— Вы твердо уверены, что совершено преступление кем-либо из обитателей замка?

— Вполне.

— Откуда эта уверенность?

— Потому что я знаю, кто стали жертвами этого преступления и причину его.

Казалось, что Ренин, судя по его тону, имел неоспоримые данные в своем распоряжении.

Граф ходил по комнате и в конце концов проговорил:

— Мне всегда казалось, что что-то такое произошло, но я не старался углубляться в эту историю...

Действительно, лет двадцать тому назад один из моих дальних родственников жил в Галингре. Я надеялся, что все это происшествие останется неизвестным, хотя подробностей его я не знаю... Я только предполагал...

— Итак, этот ваш кузен убил?..

— Да, он принужден был убить.

Ренин недоверчиво пожал плечами.

— Я с вами не согласен. Ваш кузен убил спокойно, хладнокровно, обдуманно, предательски. Это отвратительнейшее преступление.

— Откуда вы знаете?

Прошла минута, когда Ренин должен был высказаться. Гортензия понимала всю серьезность этого момента, и хотя она еще точно ничего не знала, но сердце ее сжималось от какого-то тягостного предчувствия.

— Вся история очень проста,— проговорил Ренин.— Все свидетельствует о том, что этот д'Эглерош был женат и в окрестностях Галингра жила другая супружеская чета. Обе семьи были знакомы. Что же случилось в один прекрасный день? Трудно ответить на этот вопрос. Но я предполагаю, что жена вашего кузена назначала свидания мужу другой четы в башне, обвитой плющом и имевшей выход в поле. Ваш кузен решил отомстить, так как узнал об этой любовной связи. Он хотел, однако, это так сделать, чтобы не вышло скандала и никто ничего не узнал бы об убийстве. С бельведера, при помощи подзорной трубы, он мог следить за свиданиями влюбленных. И с этого именно места, приняв все меры предосторожности,

все обдумав и взвесив, он в одно из воскресений, пятого сентября, когда в замке никого не было, двумя выстрелами из ружья убил обоих любовников.

Истина всплывала на свет божий.

Граф проговорил:

— Да... именно так, вероятно, все произошло.

— Убийца,— продолжал Ренин,— заделал землей бойницу, через которую в подзорную трубу наблюдал за убитыми, и уничтожил деревянную лестницу, которая вела на башню. А исчезновение любовников он объяснил их совместным бегством.

Гортензия вскочила. Она, как бы угадывая, воскликнула:

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что господин д'Эглерош обвинял свою жену и своего друга в том, что они вместе бежали.

— Нет, нет, я, должно быть, ничего не понимаю: вы смешиваете две истории, ведь речь идет только о кузене моего дяди.

— Я ничего не смешиваю. История ведь одна. Я излагаю события так, как они произошли.

Гортензия повернулась к своему дяде. Он молчал, скрестив руки; голова его находилась в тени абажура. Почему он не протестовал?

Ренин с уверенностью продолжал:

— Существует лишь одна версия. Пятого сентября в восемь часов господин д'Эглерош покинул свой замок, объяснив, что он отправляется в погоню за беглецами.

Он уехал, оставив все на местах и захватив только ружья. В последнее мгновение перед отъездом из понятной предосторожности он бросил подзорную трубу в ящик стенных часов. Случаю было угодно, чтобы труба остановила ход маятника. Это обстоятельство должно было выдать его через двадцать лет.

Удары мои, когда я стучался в двери, чтобы открыть их, видимо, освободили маятник. Часы пошли, пробили восемь раз...

И разгадка была в моих руках.

Гортензия прошептала:

— Но доказательства! Доказательства...

— Доказательства? — энергично продолжал Ренин.— Их много, и вы это знаете. Кто мог убить на расстоянии восьмисот метров? Только отличный стрелок, такой страстный, как вы, граф...

Доказательства?.. Почему ничего не было взято из замка, кроме ружей? Эти ружья вам дороги, граф, и мы их находим у вас в полном порядке. И разве не доказательство тот факт, что каждое пятое сентября, то есть в то число, когда совершилось убийство, граф, мучимый угрызениями совести, не нахо-

дит себе места и, невзирая на свою обычную воздержанность, напивается и старается забыться в разных развлечениях.

Сегодня пятое сентября! Какие же еще доказательства? Ведь достаточно взглянуть на графа в эту минуту.

И Ренин указал рукой на графа д'Энглероша, который в эту минуту с подавленным видом опустился на кресло, закрыв лицо руками.

Гортензия ничего не возразила. Она никогда не любила дядю своего мужа. Она мысленно согласилась, что Ренин прав. Прошла томительная минута. Граф налил себе вина и один за другим опорожнил два стакана.

Потом он встал и обратился к Ренину.

— Так ли это или не так, но нельзя назвать преступником мужа, уничтожающего свою преступную жену.

— Нет,— возразил Ренин,— но я рассказал только одну версию этой истории. Есть и другая, более серьезная и... более правдоподобная, которую распутает тщательное следствие.

— Что вы хотите сказать?

— Вот что: дело, возможно, не в оскорбленном муже. Быть может, вся суть в том, что разоренный человек хотел присвоить состояние и жену своего друга? Для этого он увлекает своего друга и свою жену, посоветовав им посетить упомянутую развалившуюся башню. И потом выстрелом из ружья убивает их.

— Нет, тысячу раз нет,— запротестовал граф,— все это ложь.

— Возможно, что я и ошибаюсь, но почему тогда эти угрызения совести? Если наказывают виновных, то угрызения совести не мучают.

— Когда убил, всегда тяжело. Убийство — тяжкое бремя.

— И почему вы, граф, женились потом на вдове вашей жертвы? Все дело ведь в этом. Тут возникает ряд вопросов: богата ли была вдова убитого, вошла ли она в предварительное соглашение с убийцей и т.д. Я этих вопросов еще не выяснил, но их легко может выяснить судебная власть.

Граф пошатнулся. Он оперся на стул и с ужасом пролепетал:

— Вы предупредите властей?

— О нет,— объявил Ренин,— ведь срок давности уже прошел. К тому же убийца уже достаточно наказан угрызениями своей совести в продолжение двадцати лет. И не следует устраивать публичного скандала, который может отразиться на племяннице господина д'Эглероша. Нет, не будем раскрывать все эти мерзости.

Граф пришел несколько в себя и прошептал:

— В таком случае, к чему все это?

— Почему я вмешался в это дело? Конечно, у меня есть известная цель. Но не бойтесь, граф, вы дешево отделаетесь.

Борьба кончилась. Граф понял, что ему приходится принести известную жертву, и он проговорил не без иронии:

— Сколько же?

Ренин расхохотался.

— Отлично, мы поймем друг друга. Но вы в некотором заблуждении: я работаю не ради денег, а ради славы.

— Говорите яснее.

— Речь пойдет о возвращении присвоенного.

— Что такое?

Ренин повернулся к письменному столу и проговорил:

— В этом столе хранится документ, который вы должны подписать. Дело касается состояния вашей племянницы Гортензии Даниель. Ее состояние было растрачено, и вы являетесь ответственным лицом. Подпишите эту бумагу.

Граф вздрогнул и сказал:

— Вы знаете цифру этого состояния?

— Мне этого знать не надо.

— А если я откажу?

— Тогда я поговорю с вашей супругой.

Без дальнейшего колебания граф вынул из стола официальный документ и подписал его.

— Вот,— заявил он,— и я надеюсь...

— Вы надеетесь, что между нами впредь не будет ничего общего. Я в этом уверен. Я уезжаю сегодня вечером, а ваша племянница, вероятно, завтра. Прощайте!

В гостиной, где никого не было, Ренин передал документ Гортензии. Она была ошеломлена. Больше всего ее поразила дальновидность и изумительная ловкость князя, восстановившего с такой неумолимой логикой все подробности ужасного преступления.

— Довольны вы мною? — спросил он ее.

Она протянула ему обе руки.

— Вы меня спасли от Росиньи. Вы мне дали свободу и независимость. Я вас благодарю от всей души.

— О, я не требую благодарности. Я просто хотел развлечь вас. Ваша жизнь так однообразна. Сегодня это однообразие было нарушено. Не так ли?

— Как вы можете об этом спрашивать! Я пережила сегодня бесконечно много.

— Вся жизнь наша такова: надо только уметь найти. Везде, если у вас есть охота, можно сделать добро: спасти жертву, восстановить справедливость.

Она с изумлением проговорила:

— Но кто вы такой?

— Я просто авантюрист, любитель приключений. В приключениях заключается весь смысл моей жизни. Сегодняшнее приключение вас особенно взволновало, так как оно касается

вас. Но и приключения других людей также интересны. Хотите испытать?

— То есть как?

— Будьте моей спутницей во время моих приключений. Если кто-либо меня призовет к себе на помощь, спасайте его вместе со мною. Если случай натолкнет меня на следы преступления, будем сообща это преступление раскрывать. Хотите?

— Да,— ответила она,— но...

Некоторое колебание охватило ее. Она не совсем понимала смысл предложения князя.

— Вы,— продолжал он с улыбкой,— сомневаетесь во мне. Вы не знаете, куда я вас поведу. Вы опасаетесь, что в конце концов я потребую от вас гонорар. Вы правы. Нам надо условиться.

— Конечно,— шутливо проговорила Гортензия,— говорите.

Он задумался и сказал:

— Сегодня, в день нашего первого приключения, часы Галингра пробили восемь раз. Хотите, чтобы в течение трех месяцев мы совместно еще семь раз участвовали в каких-либо приключениях?

.И когда кончится наше восьмое приключение, тогда...

— Что?

Он остановился.

— Заметьте, что во всякое время вы можете меня покинуть на полпути, если я вас не заинтересую. Но если вы последуете за мной до конца, если вы разрешите с вами начать и кончить восьмое приключение, тогда пятого сентября, когда старые часы пробьют восемь раз... тогда вы должны.

— Что? — с некоторым волнением спросила она.

Он замолчал. Взглянув на красивые губы молодой женщины, поцелуй которых он хотел получить в награду, Ренин сообразил, что Гортензия вполне поняла его и нет смысла высказываться яснее.

— Одно удовольствие видеть вас для меня достаточно. Ставьте сами свои условия. Что вы потребуете?

Она была благодарна ему за его чуткость и ответила с улыбкой:

— Что я потребую?

— Да.

— Могу я потребовать нечто очень трудное?

— Все легко для того, кто хочет победить.

— А если исполнить мою просьбу невозможно?

— Только невозможное меня интересует.

Тогда она сказала:

— Я требую, чтобы вы мне вернули старинную застежку из сердолика в филигранной оправе. Я получила ее от моей матери, которая получила ее от своей матери. Она приносила сча-

стье и им, и мне. Все это знали. С того времени, как она исчезла из ларца, куда я ее спрятала, я сделалась несчастной. Верните ее мне, добрый гений!

— Когда ее у вас похитили?

Она рассмеялась:

— Семь лет тому назад... или восемь... или девять... хорошо не знаю... Ничего не знаю по этому поводу...

— Я ее найду,— серьезно проговорил Ренин,— и вы будете счастливы.

II

Графин воды!

Через четыре дня после своего переезда в Париж Гортензия условилась встретиться с князем Рениным в Булонском лесу.

В одно великолепное, ясное утро они расположились за отдельным столиком, стоящим несколько в стороне на террасе ресторана «Империал».

Молодая женщина находилась в превосходном настроении.

Она имела сегодня особенно привлекательный вид. Чтобы не испугать ее, Ренин ни одним словом не напоминал ей о том условии, на котором они согласились.

Она рассказала о своем отъезде из Марэза и заявила, что с тех пор о Росиньи ничего не слыхала.

— А я,— сказал Ренин,— слышал о нем.

— В самом деле?!

— Да, он мне послал своих секундантов. Сегодня утром у нас с ним состоялась дуэль. Кончилось для Росиньи царапиной в плечо. Дело это ликвидировано. Будем говорить о другом.

О Росиньи вопрос более не поднимался.

Ренин предложил Гортензии, хотя и без особенного энтузиазма, участвовать в двух приключениях, которые он имел в виду.

— Лучше приключение,— объяснил он,— то, которого не ожидаешь. Оно является совершенно неожиданно, никто и ничто о нем предварительно не говорит, надо уметь вовремя угадать его.

Минута колебания, и уже слишком поздно. Особенное чутье, как у охотничьей собаки, подсказывает нам, где именно мы можем найти искомую дичь.

Вокруг них терраса начала наполняться публикой. За соседним столом какой-то молодой человек с бесцветным лицом и длинными усами читал газету. Откуда-то доносились звуки оркестра. В одной из зал танцевало несколько пар.

Гортензия наблюдала за всеми этими лицами, надеясь найти какой-нибудь признак, свидетельствующий о внутренней драме, или о несчастной судьбе, или преступных наклонностях.

Вдруг, в то время, когда Ренин платил по счету, молодой человек с длинными усами подавил крик изумления, подозвав лакея, с испугом спросил:

— Сколько я вам должен?.. У вас нет сдачи?.. Господи! Поторопитесь же...

Без колебания Ренин схватил газету, которую читал молодой человек. Взглянув на нее, он вполголоса прочитал:

«Господин Дурлен, защитник Жака Обрие, был принят в Елисейском Дворце. Мы можем сообщить нашим читателям, что, насколько нам известно, президент отклонил просьбу о помиловании, и казнь совершится завтра».

Когда молодой человек прошел через террасу и очутился у ворот сада, мужчина и дама преградили ему путь.

— Извините,— проговорил мужчина,— я заметил ваше волнение. Речь ведь идет о Жаке Обрие?

— Да, да... о Жаке Обрие,— проговорил молодой человек... Жак — друг моего детства... Я бегу к его жене... Она, вероятно, подавлена несчастьем.

— Могу я предложить вам свою помощь? Я князь Ренин, я и моя спутница рады были бы увидеть госпожу Обрие и предложить ей свои услуги.

Молодой человек, казалось, от волнения ничего не понимал. Он неловко представился:

— Дютрейль... Гастон Дютрейль...

Ренин сделал знак своему шоферу Клеману, который ожидал его, посадил Дютрейля в автомобиль и спросил:

— Адрес? Адрес госпожи Обрие?

— Проспект Руль, 23 bis...

Ренин помог Гортензии занять место, сказал адрес шоферу и в пути начал расспрашивать Дютрейля.

— Я плохо знаю это дело. Объясните мне все в двух словах. Жак Обрие убил своего близкого родственника? Не так ли?

— Он невиновен,— ответил молодой человек, видимо неспособный толком все объяснить.— Клянусь, что он невиновен. Я уже двадцать лет его друг... Он невиновен... и было бы чудовищно...

От него трудно было добиться чего-либо. Вскоре, впрочем, они были у цели. Дютрейль позвонил у маленького одноэтажного домика.

— Барыня в гостиной, со своей матерью,— доложила горничная.

— Я хочу их видеть,— сказал Дютрейль, пригласив своих спутников следовать за ним.

Они вошли в элегантную и довольно просторную гостиную, которая раньше, вероятно, была кабинетом.

Там сидели две женщины в слезах. Одна из них, более пожилая с седеющими волосами, поднялась навстречу Дютрейлю, который объяснил ей цель прихода Ренина.

— Муж моей дочери невиновен,— воскликнула старушка,— наш Жак прекраснейший человек, у него золотое сердце! Как он мог убить своего кузена!.. Он же горячо любил его. Клянусь вам, что он невиновен. И вот собираются совершить преступление — казнить его!

Это убьет и мою дочь!..

Ренин понял, что все эти люди в течение долгих месяцев пребывали в полной уверенности, что невиновный не может быть казнен. Известие же о предстоящей неизбежной казни приводило их в состояние, близкое к безумию.

Ренин подошел к несчастной молодой блондинке, на лице которой выражалось глубокое горе. Гортензия села около нее, стараясь ее утешить, а князь проговорил:

— Сударыня, я еще не знаю, что я могу для вас сделать. Но честью моей ручаюсь, что если кто-либо может помочь вам, так это я. Я вас умоляю ответить ясно на мои вопросы, чтобы я мог проникнуться вашей точкой зрения относительно Жака Обрие. Ведь он, по вашему мнению, невиновен?

— О, конечно! — горячо вырвалось у нее.

— Так эту уверенность, которой вы не могли заставить проникнуться судебную власть, вы должны передать мне. Я не требую от вас подробностей, но прошу лишь ответить на ряд моих вопросов. Хотите?

— Спрашивайте.

Она была побеждена. Несколькими фразами Ренин заставил ее отдаться его власти. Гортензия лишний раз убедилась в том, какой способностью убеждать, подчинять и покорять обладал Ренин.

— Чем ваш муж занимался? — спросил он, предложив остальным хранить полное молчание.

— Он был страховым агентом.

— Хорошо шли его дела?

— До прошлого года хорошо.

— В последние же месяцы возникли денежные затруднения?

— Да.

— Когда совершено преступление?

— В марте, в воскресенье.

— Жертва?

— Дальний кузен, господин Гильом, живший в Сюрэснэ.

— Какая сумма похищена?

— Шестьдесят тысяч, которые накануне этот кузен получил от старого должника.

— Ваш муж это знал?

— Да. В воскресенье об этом кузен ему сообщил по телефону, и Жак настаивал на том, чтобы эти деньги кузен не оставлял у себя, а положил на следующий день в банк.

— Это было утром?

— В час дня. Жак как раз должен был отправиться к Гильому на своем мотоцикле. Но он устал и предупредил его, что не выйдет. Весь день он оставался дома.

— Один?

— Да, один. Обе горничные ушли. Я отправилась с матерью и Дютрейлем в кино. Вечером мы узнали об убийстве Гильома, а на следующее утро Жака арестовали.

— На основании каких улик?

Несчастная заколебалась. Видимо, улики были неоспоримые. Затем, по приглашению Ренина, она сразу все сообщила:

— Убийца отправился в Сен-Клу на мотоцикле. Следы мотоцикла те же, что и следы машины моего мужа. Нашли платок с монограммой моего мужа и принадлежащий ему револьвер. Наконец, один из наших соседей уверяет, что он видел мужа в три часа едущим на своем мотоцикле, а другой заявляет, что муж мой вернулся домой в четыре с половиной часа. Преступление же совершено в четыре часа.

— А как оправдывается Жак Обрие?

— Он утверждает, что после обеда все время спал. В это время кто-либо мог воспользоваться его мотоциклом. Платок и револьвер находились в сумке. Убийца мог ими воспользоваться.

— Эти объяснения правдоподобны.

— Да, но судебная власть возражает следующее: никто не знал, что мой муж сидит дома, так как по воскресеньям он всегда после обеда уезжал на своем мотоцикле.

— Дальше?

Молодая женщина покраснела и прошептала:

— В буфете Гильома убийца опорожнил полбутылки вина. На этой бутылке нашли отпечатки пальцев моего мужа.

Казалось, что она сделала последнее усилие и продолжать больше не может. Она погрузилась в глубокую задумчивость, из которой не в состоянии были ее вывести заботы Гортензии.

Мать же проговорила:

— Ведь он же невиновен? Не правда ли? Не могут же казнить невинного? Ведь что значит посягать на жизнь моей дочери. О, Боже, Боже! Что мы сделали? Почему судьба нас так жестоко преследует? Моя бедная Мадлена!..

— Она лишит себя жизни,— с ужасом прошептал Дютрейль.— Ей не примириться никогда с мыслью, что Жака гильотинируют... В эту ночь она убьет себя...

Ренин стал ходить по комнате.

— Вы ничего не можете сделать? — спросила его Гортензия.

— Сейчас одиннадцать часов с половиной,— ответил он с озабоченным видом,— и завтра утром...

— Думаете ли вы, что он виновен?

— Я не знаю... я не знаю. Убеждение несчастной так твердо и трогательно, что с ним необходимо считаться. Два человека, годами живущие друг возле друга, не могут ошибаться до такой степени... один в отношении другого... и однако!..

Он присел на диван и закурил сигаретку и выкурил их три при полном молчании окружающих. Никто не прерывал его размышлений. Иногда он посматривал на часы: каждая минута имела значение.

Наконец, он подошел к Мадлене Обрие, взял ее за руку и тихо проговорил:

— Не надо убиваться. До последней минуты ничего не потеряно. Я вам обещаю действовать до этой последней минуты. Но мне необходимо, чтобы вы успокоились и доверились мне.

— Я буду покойна,— сказал она с убитым видом.

— И доверитесь мне?

— Я вам верю.

— Подождите моего возвращения. Я вернусь часа через два. Вы отправитесь с нами, господин Дютрейль?

Перед тем, как сесть в авто, он спросил молодого человека:

— Знаете ли вы в Париже, недалеко отсюда, малопосещаемый маленький ресторан?

— Знаю: «Лютеция». На первом этаже того дома, где я живу, площадь Тэри.

— Отлично! Это вполне подходит.

В пути они говорили мало. Ренин, однако, спросил Дютрейля:

— Насколько я помню, номера тех тысячных билетов, которые похищены, известны?

— Да, кузен Гильом записал все шестьдесят номеров в своей памятной книжке.

Через мгновение Ренин прошептал:

— Вся разгадка в этом. Где эти деньги? Найти их — все понять.

В ресторане он просил, чтобы им подали завтракать в отдельной комнате, где находился телефон. Затем Ренин взял телефонную трубку и решительно заговорил:

— Алло!.. Прошу дать полицейскую префектуру, барышня... Алло! Алло!.. Префектура? Я хочу переговорить с началь-

ником сыскной полиции. В высшей степени важное сообщение! Говорит князь Ренин. Кто у телефона?.. Господин секретарь префекта? Отлично. Я уже имел дело с вашим патроном и в разных случаях оказывал ему важные услуги. Он должен помнить князя Ренина. Сегодня же я могу указать ему место, где находятся те шестьдесят тысяч, которые похищены убийцей Обрие у его кузена. Если мое сообщение его интересует, пусть он сейчас же командирует ко мне в ресторан «Лютеция» инспектора полиции. Я там буду ждать его с дамой и господином Дютрейлем, другом Обрие. Мое почтение, господин секретарь!

Когда Ренин повесил трубку на место, он заметил изумленные лица Гортензии и Дютрейля.

Гортензия спросила:

— Вы знаете? Вы значит, открыли?

— Решительно ничего,— ответил он, смеясь.

— Тогда?!

— Тогда я поступлю так, как будто бы я уже знал. Это тоже хороший способ. Позавтракаем, хотите?

Часы показывали без четверти час.

— Через двадцать минут полиция будет здесь.

— А если никто не явится? — возразила Гортензия.

— Это меня удивило бы. Вот если бы я объявил, что Обрие невиновен, тогда другое дело. Накануне казни бесполезно убеждать этих господ, что приговоренный является жертвой судебной ошибки. А перспектива найти похищенные шестьдесят тысяч его несомненно заинтересует.

— Но вы же не знаете, где они?

— Дорогой друг,— позвольте мне так называть вас,— если мы не можем объяснить какое-либо физическое явление, то мы строим гипотезу, согласно которой необъяснимое явление и протекает. Я это и делаю.

— Значит, у вас есть определенная гипотеза?

Ренин ничего не ответил и только в конце завтрака заметил:

— Конечно, у меня есть идея. Будь у меня два-три дня, я мог бы проверить эту гипотезу, которая опирается и на мое внутреннее чутье, и на кое-какие разрозненные факты. Но у меня всего два часа в распоряжении. Я пускаюсь по неизвестному пути, который должен привести меня к правде.

— А если вы ошибаетесь?

— У меня нет выбора. К тому же поздно. Стучат. Еще два слова: что бы я ни говорил, не опровергайте меня. Вы также, господин Дютрейль.

Он открыл двери. В комнату вошел худощавый человек с рыжей бородой.

— Князь Ренин?

— Это я. Вы по поручению господина префекта, вероятно?
— Да.
Вошедший представился:
— Главный инспектор Морисо.
— Я очень вам благодарен за ту поспешность, с которой вы прибыли,— проговорил Ренин,— как я рад, что именно вас командировали. Я ведь знаю ваши удивительные способности, о них много рассказывали.
Польщенный инспектор поклонился.
— Господин префект меня командировал в полное ваше распоряжение. Внизу у меня два помощника, которые работали со мной по этому делу с самого начала.
— Это дело не затянется,— объявил Ренин,— я не прошу вас даже сесть. Все будет кончено в две минуты... Вы знаете, о чем речь?
— Дело идет о шестидесяти тысячах, похищенных у господина Гильома. Вот номера кредитных билетов.
Ренин пробежал список и подтвердил:
— Совершенно верно.
Инспектор Морисо имел очень взволнованный вид.
— Мой начальник придает вашему сообщению особенное значение. Не могли бы вы мне указать...
Ренин помолчал и затем объявил:
— Господин главный инспектор, мои розыски, с ходом которых я вас сейчас познакомлю, привели меня к выводу, что убийца, вернувшись на проспект Рул и поставив мотоцикл на место, побежал затем в Тэри и вошел в этот дом.
— В этот дом?
— Да.
— Но зачем?
— Чтобы спрятать плоды своего преступления, то есть шестьдесят тысячных билетов.
— Каким образом? Где?
— В помещении пятого этажа, от которого он имел ключ.
Гастон Дютрейль с изумлением воскликнул:
— Но на пятом этаже только одно помещение, которое я занимаю.
— Именно. А так как вы были в кино с мадам Обрие и ее матерью, то воспользовались вашим отсутствием.
— Невозможно. Только у меня имеется ключ.
— Входят и без ключа.
— Но я не нашел никаких следов.
Морисо вмешался:
— Позвольте, вы говорите, что похищенные деньги спрятаны в помещении господина Дютрейля.
— Да.

— Но так как Обрие был арестован на следующий день, то деньги должны и теперь там находиться.

— Это и мое мнение.

— Но это же чепуха,— со смехом заметил Дютрейль,— я бы их нашел.

— Разве вы их искали?

— Нет. Но я бы непременно наткнулся на них. Мое жилище ведь крошечное. Хотите посмотреть?

— Хотя оно и маленькое, но спрятать шестьдесят кредитных билетов всегда можно.

— Конечно, конечно,— проговорил Дютрейль,— все возможно. Замечу только, что, по моему убеждению, никто ко мне не входил, у меня один ключ, я сам убираю комнату, и я не понимаю...

Гортензия также не понимала. Она старалась проникнуть в ход мыслей князя. В конце концов, она предложила:

— Не проще ли всего осмотреть помещение господина Дютрейля. Вы нам покажете?

— Прошу,— сказал молодой человек,— действительно, это проще всего.

Все четверо поднялись в квартиру Дютрейля. Они очутились в маленьком помещении, состоящем из двух комнаток и двух чуланов. Все там находилось в образцовом порядке. Каждая вещь, каждый стул занимали свое определенное место. У трубок была своя этажерка, у спичек — своя. На трех гвоздях рядом висели три палки. На столике перед окном стояла картонка, наполненная тонкой оберточной бумагой. В эту картонку Дютрейль бережно уложил свою фетровую шляпу... Рядом на крышке он уложил свои перчатки. Он действовал, как человек, который любит, чтобы всякая вещь находилась на своем месте. Как только Ренин переставил кое-какие вещи, вся его фигура выразила немой протест: он надел опять шляпу, открыл окно и облокотился на подоконник, точно возмущенный происходящим кощунством.

— Вы продолжаете утверждать?..— спросил инспектор Ренина.

— Да, да, я утверждаю, что после преступления деньги были принесены сюда.

— Поищем.

Это было легко. Через полчаса каждый угол, каждый шкафчик были осмотрены.

— Ничего,— сказал инспектор,— должны ли мы продолжать?

— Нет,— ответил Ренин,— деньги исчезли.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что их унесли.

— Кто унес? Будьте точнее.

Ренин ничего не ответил. Но Гастон Дютрейль с негодованием заговорил:

— Господин инспектор, позвольте мне ответить за этого господина. Выходит, что тот человек, который убил, похитил деньги, спрятал их здесь и затем перенес в другое место,— этот человек именно я. Вы меня обвиняете в этом преступлении?

Ударив себя в грудь, он стал кричать:

— Я, я нашел деньги и запрятал их! Вы смеете это утверждать?!

Ренин все еще молчал. Дютрейль, обращаясь к инспектору, продолжал:

— Господин инспектор, я протестую против всей этой комедии. Перед вашим приездом князь Ренин сказал нам, что он по этому делу решительно ничего не знает и что он идет по избранному им пути, надеясь исключительно на случай. Не так ли?

Ренин сохранял полное молчание.

— Но говорите же, наконец! Объяснитесь. Выскажите же свои предположения! Легко сказать, что я украл, но надо же это доказать. И были ли деньги здесь? Кто их сюда принес? Зачем убийца выбрал бы именно мою квартиру? Все это лишено всякой логики и бесконечно глупо!.. Дайте доказательства!.. Хотя бы одно доказательство, одну улику...

Инспектор Морисо недоумевал. Он вопросительно взглянул на Ренина, который невозмутимо проговорил:

— Все подробности нам может сообщить госпожа Обрие. У нее имеется телефон. Спустимся вниз. Сейчас мы все узнаем.

Дютрейль пожал плечами:

— Как вам угодно, но сколько потерянного времени!

Он имел вид сильно рассерженного человека. Долгое стояние у окна под жгучими лучами солнца вызвало у него испарину. Он прошелся по комнате, взял со стола графин с водою, выпил несколько глотков воды и затем поставил графин на подоконник.

— Идем,— сказал он.

Князь Ренин усмехнулся:

— Видимо, вы спешите покинуть это помещение.

— Я спешу вас изобличить,— возразил Дютрейль, хлопая дверью.

Они спустились вниз и вошли в комнату, где находился телефон. Комната была пуста. Ренин попросил соединить его с Обрие.

К аппарату подошла горничная. Она ответила, что госпожа Обрие после припадка отчаяния упала в обморок и сейчас спит.

— Позовите ее мать. Говорит князь Ренин по крайне важному делу.

Он передал одну из слуховых трубок Морисо. Впрочем, голоса звучали так ясно, что Дютрейль и Гортензия могли все слышать совершенно отчетливо.

— Это вы, сударыня?

— Да. Князь Ренин? Что вы можете нам сообщить? Есть еще надежда?

— Расследование дает вполне удовлетворительные результаты и вы вправе надеяться. В настоящую же минуту мне надо получить от вас очень важную справку. В день преступления Гастон Дютрейль заходил к вам?

— Да, после завтрака он зашел за мною и моей дочерью.

— Знал ли он в эту минуту, что кузен Гильом только что получил 60 000 франков?

— Да, я ему об этом сообщила.

— И что Жак Обрие, которому нездоровилось, не совершит своей обычной прогулки на мотоцикле и останется дома?

— Да.

— Вы вполне в этом уверены?

— Вполне.

— И в кино вы были втроем?

— Да.

— Во время сеанса вы сидели все рядом!

— О, нет! Не было свободных мест рядом. Господин Дютрейль сел отдельно.

— С ваших мест вы могли его видеть?

— Нет.

— Во время антрактов он подходил к вам?

— Нет, мы его опять увидели только при выходе.

— По этому поводу у вас нет никаких сомнений?

— Никаких.

— Хорошо, сударыня! Через час я вам сообщу о результатах моих розысков. Не будите госпожу Обрие.

— А если она проснется?

— Успокойте ее и обнадежьте. Все идет лучше, нежели я предполагал.

Он повесил трубку и со смехом обратился к Дютрейлю:

— Однако, молодой человек, дело принимает интересный оборот. Как вы думаете?

Что означали эти слова? Что было на уме у Ренина? Молчание было тягостно и жутко.

— Господин главный инспектор, в вашем распоряжении здесь имеются люди?

— Два полицейских.

— Очень важно, чтобы они находились здесь. Попросите также хозяина, чтобы нас ни под каким предлогом не беспокоили.

Когда Морисо вернулся, Ренин закрыл двери, стал перед Дютрейлем и с насмешкой заявил:

— От трех до пяти часов, молодой человек, ваши дамы, как установлено, вас не видели. Любопытный фактец.

— Факт довольно естественный,— возразил Дютрейль,— который ничего ровно не доказывает.

— Он доказывает, что в вашем распоряжении были два добрых часа.

— Ну, да! Я их провел в кино.

— Или в другом месте?! Да, вы могли совершить изрядную прогулку, например, по направлению в Сюресы...

— О,— попытался ответить шуткой молодой человек,— это слишком далеко.

— Очень близко! Ведь в вашем распоряжении находился мотоцикл вашего друга, Жака Обрие.

Молчание последовало за этими словами. Дютрейль насупил брови, как бы силясь понять. Наконец, он прошептал:

— Вот куда он ведет!.. Что за негодяй!

Рука Ренина опустилась на его плечо.

— Довольно болтать! Вот факты: вы, Гастон Дютрейль, единственный человек, знавший в день убийства две важные вещи: что кузен Гильом имел у себя дома 60 000 франков и что Жак Обрие не должен был в этот день выйти. У вас тотчас возник план. Мотоцикл находился в вашем распоряжении. Вы удрали во время сеанса кино. Затем вы убили кузена Гильома, забрали его деньги и перенесли их к себе. А в пять часов вы вернулись к своим дамам.

Дютрейль слушал Ренина с несколько насмешливым видом, иногда поглядывая на Морисо и как бы призывая его в свидетели.

Когда Ренин кончил, он рассмеялся.

— Великолепно! Славная шутка!.. Значит, соседи видели меня едущим и возвращающимся на мотоцикле?

— Вас; вы переоделись в костюм Обрие.

— И на бутылке в буфете на месте преступления обнаружили отпечатки моих пальцев?

— Эта бутылка была открыта Жаком Обрие у себя во время завтрака; это вы перевезли ее к кузену Гильому.

— Уморительно! — воскликнул Дютрейль, как бы искренне забавляясь,— выходит, я скомбинировал это преступление и умышленно подвел под обвинение Жака Обрие?!

— Это был вернейший способ, чтобы вас самого не обвинили.

— Но ведь Жак — мой друг детства.

— Вы влюблены в его жену.

Молодой человек с негодованием воскликнул:

— Как вы смеете!.. Такая наглость!

— У меня имеются доказательства.

— Лжете. Я ее уважаю, но...

— Вы ее любите, вы ее желаете. У меня есть тому доказательства.

— Ложь! Вы меня едва знаете.

— Я давно уже слежу за вами и ждал только той минуты, когда изобличу вас.

Он схватил молодого человека за плечи и резко проговорил:

— Дютрейль, сознавайтесь! У меня все доказательства налицо. Мои свидетели вас ожидают у префекта сыскной полиции. Сознайтесь же! Ведь вас терзают угрызения совести. Вспомните ваш ужас в ресторане, когда вы прочитали в газете о предстоящей казни Обрие. Вы надеялись, что он отделается каторгой... Но гильотина не входила в ваши планы. Подумайте: завтра казнят невиновного! Сознайтесь же!

Он всячески старался вырвать у него признание, но Дютрейль с негодованием возразил:

— Вы сошли с ума. Все это вздор! Все ваши доказательства ложны. И денег у меня ведь вы не нашли?!

Возмущенный Ренин погрозил ему кулаком.

— Каналья! Я тебя все же отдам палачу.

Он отвел инспектора в сторону:

— Каков негодяй!

Инспектор покачал головой:

— Возможно... но до сих пор ни одного доказательства.

— Погодите, господин Морисо,— проговорил Ренин,— мы увидимся у господина префекта. Не так ли?

— Да, он будет у себя в три часа.

— К этому времени все будет выяснено. Увидите!

Ренин улыбался, как бы уверенный в полном своем успехе. Гортензия, находившаяся около него, сказала ему так, чтобы другие не слышали:

— Вы его изобличили?! Не правда ли?

— Я не продвинулся пока ни на шаг.

— Но это же ужасно! А ваши доказательства?

— Нет и тени улик... Я надеялся его смутить. Но он, разбойник, хорошо владеет собою.

— Но вы уверены, что это он?

— Безусловно. Я это чувствую, я в этом вполне сейчас уверен.

— И он любит госпожу Обрие?

— Если логично рассуждать, да. Но все это теоретические предположения, не больше. Доказательств нет. Вот если бы нашли деньги! Иначе префект осмеет меня.

— Тогда...— прошептала Гортензия, чувствуя, что у нее сжимается сердце.

Он не ответил и с довольным видом, потирая руки, принялся ходить по комнате. Казалось, что все шло у него превосходно, именно так, как он и предполагал.

— Не отправимся ли мы в префектуру, господин Морисо? Начальник ваш, вероятно, уже там. Все так ясно, что дело это можно и кончить.

— Господин Дютрейль отправится с нами?

— Почему бы и мне не отправиться,— ответил тот с вызывающим видом.

Но в то мгновение, когда Ренин открыл двери, в коридоре послышался шум и в комнату вбежал хозяин в сильном волнении.

— Господин Дютрейль еще здесь? Его квартира в огне. Кто-то это заметил с улицы и предупредил нас.

Глаза молодого человека злобно сверкнули. На губах его змеилась улыбка, которую Ренин подметил.

— А, разбойник,— вскричал он,— ты выдал себя. Это ты поджег свою квартиру, и теперь деньги сгорят.

Он загородил ему дорогу.

— Оставьте меня,— завопил Дютрейль,— ведь у меня ключ, никто без меня войти не может... Вот ключ... пропустите меня!

Ренин вырвал у него из рук ключ и, схватив за ворот, проговорил:

— Ни с места, негодяй! Теперь-то ты попался. Господин Морисо, прикажите полицейскому следить за ним и застрелить при попытке к бегству. Полицейский, мы на вас рассчитываем.

Он быстро поднялся по лестнице, сопровождаемый Гортензией и инспектором, который шел неохотно и ворчал:

— Ведь не мог же он зажечь свою квартиру, когда все время находился с нами.

— Он поджег заранее.

— Но как? Но как?

— Почем я знаю! Но пожар сам собою не вспыхивает в тот именно момент, когда требуется сжечь компрометирующие бумаги.

Наверху слышался шум. Лакеи ресторана пытались выломать дверь. Слышался едкий запах гари.

— Место, друзья,— воскликнул Ренин,— у меня ключ! — Он открыл дверь.

Из комнаты поползла волна дыма, но Ренин сейчас же заметил, что пожар потух сам собою за отсутствием горючего материала.

— Господин Морисо, прикажите никому не входить. Все дело иначе может быть испорчено. Закройте двери на ключ.

Они вошли в первую комнату. Все там закоптело от дыма, но пламя ничего не тронуло, кроме кучки бумаги, которая догорела посреди комнаты перед окном.

Ренин ударил себя по лбу.

— Какой я осел!

— Что такое? — спросил инспектор.

— Картонка от шляпы, черт возьми! Картонка от шляпы, которая находилась на столике. Он там спрятал деньги. Они там находились во время нашего обыска.

— Невозможно!

— Всегда забывают этот трюк. Кто мог подумать, что деньги запрятаны в картонку, куда при входе рассеянным жестом кладут свою шляпу. Там в голову не придет искать... Хорошо сыграно, господин Дютрейль.

Инспектор с недоверием возразил:

— Нет, нет, это невозможно. Он был с нами и не мог произвести пожара.

— Все было им, уверяю вас, приготовлено заблаговременно. Картонка... оберточная бумага... деньги — все это было заранее пропитано каким-либо легко воспламеняющимся составом. Когда мы уходили, он туда что-нибудь бросил... спичку, может быть! Я точно не знаю.

— Но мы бы ведь заметили, черт возьми! И как допустить, что он таким образом уничтожил 60 000 франков — добычу своего преступления. Если же этот тайничок был столь хорош,— а он был хорош, так как мы его не открыли,— то зачем это бесполезное уничтожение?..

— Он испугался, господин Морисо. Не забывайте, что он рискует своей головой. Лучше потерять деньги, нежели познакомиться с гильотиной. Эти деньги были единственным доказательством.

Морисо изумился.

— Как так? Единственным доказательством?

— Ну, конечно.

— Но ваши свидетели, ваши улики? Все то, что вы передали префекту?..

— Все это блеф...

— Ну, у вас и апломб!

— Иначе вы бы мне не помогли.

— Нет.

— В этом все дело.

Ренин наклонился над сгоревшей бумагой. Оставался только пепел, больше ничего.

— Странно! Как он умудрился совершить поджог?

Он сосредоточился и стал что-то обдумывать. Гортензия, чувствуя, что наступает минута победы или поражения, спросила с беспокойством:

— Все потеряно?

— Нет, нет,— ответил он задумчиво,— еще не все потеряно. У меня блеснул сейчас луч надежды.

— Господи! Если бы это удалось!

— Не будем спешить. Это только опыт, красивый опыт, который может удасться...

Он помолчал и потом, щелкнув языком, воскликнул:

— Молодчина же этот Дютрейль! Какой способ он изобрел, чтобы сжечь деньги! И какое хладнокровие! Животное заставило меня пошевелить мозгами. Молодчина!

Он взял половую щетку, очистил комнату от пепла, затем из соседней комнаты принес картонку для шляпы, похожую на ту, которая сгорела, поставил ее на столик и поджег бумагу, находящуюся внутри.

Вспыхнуло пламя. Ренин в скором времени потушил огонь, вынул из бумажника несколько кредитных билетов, наполовину сжег их и затем уложил в картонку вместе с остальной обгоревшей оберточной бумагой.

— Господин Морисо,— сказал он, наконец,— прошу вас в последний раз оказать мне содействие. Приведите сюда Дютрейля. Вы ему скажете следующее:

— Вы разоблачены. Деньги не загорелись. Следуйте за мною.

Инспектор, невзирая на некоторое колебание, все же исполнил властное требование Ренина. Он вышел.

Ренин повернулся к молодой женщине.

— Вы понимаете мой боевой план?

— Да, но попадется ли Дютрейль?

— Все зависит от состояния его нервов. Быстрое нападение может сбить его с толку.

— Но если он заметит, что картонка другая?

— Конечно, он имеет некоторые шансы в свою пользу. Он очень ловкий парень и может вывернуться. С другой стороны, он очень взволнован. Нет, нет, я надеюсь, что в последнюю минуту он сдастся и капитулирует...

Они замолчали. Ренин не двигался. Гортензия была бесконечно взволнована. Речь шла о жизни невинной жертвы. Ошибка, неудача... и через двенадцать часов Жак Обрие будет казнен. И к чувству ужаса у нее примешивалось чувство жгучего любопытства. Что сделает князь Ренин? Как поведет себя Гастон Дютрейль? Она переживала минуту высшего напряжения, минуту громадного душевного возбуждения.

Послышались шаги. Они приближались, Гортензия взглянула на своего спутника. Он встал, вдруг стремительно подскочил к дверям и крикнул:

— Скорей!.. Надо кончить!

Два полицейских инспектора и два лакея вошли вместе с Дютрейлем.

Ренин схватил его за руку и весело проговорил:

— Браво, старина! Ловко придумано с графином и столиком! Только, дружище, ты влопался!

— Что такое? — пробормотал со смущением молодой человек.

— Господи! Вся суть в том, что огонь не все уничтожил. Он пощадил запрятанные тобою кредитные билеты. Посмотри! Даже номера остались... Ты можешь их узнать. Теперь ты, старина, окончательно погиб!

Молодой человек содрогнулся. Глаза его забегали. Он не последовал предложению Ренина взглянуть на картонку и кредитные билеты, сразу поверил ему и с рыданьями упал на стул.

Неожиданное нападение, как надеялся Ренин, вполне удалось. Видя, что все его планы разбиты, он потерял сразу силу сопротивления и сдался.

Ренин не позволил ему вздохнуть:

— Правильно, молодчик! Полным чистосердечным признанием ты спасаешь свою голову. Вот и перо, чтобы записать твое сознание... А ловко все проделано... Особенно графин с водою... Прекрасная штука! Вы ставите на подоконник большой шарообразный графин с водой. Этот графин выполняет роль линзы и направляет лучи солнца на картонку и заранее приготовленную тонкую оберточную бумагу. Через десять минут после этого все объято пламенем. Чудесное изобретение, право! И как просто! Точно яблоко Ньютона!.. Когда-нибудь ты, вероятно, заметил, как лучи солнца, проходя через графин с водою, зажгли спичку или сухой мох. Это обстоятельство породило в твоей голове блестящую идею. Молодчина! Поздравляю тебя! Ну, а теперь вот тебе лист бумаги... пиши: «Я убил Гильома»... пиши же, черт возьми!

Ренин наклонился над Дютрейлем и, гипнотизируя его своим взглядом, заставил написать свое признание.

— Господин инспектор! Вот заявление Дютрейля. Не откажитесь отнести его господину префекту. Все присутствующие, надеюсь, подтвердят, что Дютрейль сознался в убийстве Гильома.

Затем он обратился с насмешкой к совершенно подавленному убийце:

— И дурак же ты, дружище! Ведь и картонка твоя, и деньги сгорели. А это новая картонка, а полусгоревшие кредитные билеты принадлежат мне. А ты ничего не понял. В последнюю минуту ты сам дал мне единственное доказательство своей виновности. И какое еще: признание, написанное в присутствии свидетелей! Если тебя гильотинируют, то ты этого заслуживаешь. Ну, прощай, Дютрейль.

На улице князь Ренин попросил Гортензию отправиться в автомобиле к Мадлен Обрие и сообщить ей о происшедшем.

— А вы? — спросила Гортензия.
— У меня много разных неотложных дел.
— Вы отказываете себе в удовольствии объявить Обрие эту радость?
— Ну, подобные удовольствия приедаются. Единственное, что меня интересует, это борьба. Остальное скучно.
Она схватила его за руку и минуту задержала его руку в своей. Она хотела бы много-много высказать этому удивительному человеку, который с такой гениальностью делал добро. Но она не в силах была что-либо сказать. Все эти события ее бесконечно взволновали. Она почувствовала, что в глазах ее стояли слезы.
Он поклонился и проговорил:
— Благодарю вас! Я вознагражден.

III

Тереза и Жермена

Последние дни осени отличались такой мягкостью, что второго октября утром несколько семейств, живущих в своих виллах в Этрета, спустились к берегу моря. Вдали между горами воздух был так чист, прозрачен и нежен, а небо так сине и ясно, что все решительно окутывала дымка поэзии, дымка своеобразной прелести.
— Восхитительно! — проговорила Гортензия.
Затем она добавила:
— И все же не для того мы приехали сюда, чтобы наслаждаться красотой природы или же заниматься разрешением вопроса, действительно ли эта громада камней, называемая «Иглой», была обиталищем Арсена Люпена.
— Нет,— ответил Ренин,— я согласен удовлетворить ваше законное любопытство, хотя бы частично, так как пока я узнал еще очень мало по интересующему меня вопросу.
— Я вас слушаю.
— Начну с маленького введения. Вы понимаете, дорогой друг, что, делая своим ближним добро, я должен везде иметь друзей, сообщающих мне о том, когда мне нужно действовать. Иногда мне сообщают ерунду, на которую я не обращаю внимания. Но неделю тому назад я получил от своего корреспондента известие, что он перехватил по телефону очень любопытный разговор. Из своей парижской квартиры одна дама беседовала с одним господином, временно живущим в соседнем большом городе. Название города, фамилия господина, фамилия дамы — неизвестны. Господин и дама говорили по-испан-

ски, но употребляя наречие, называемое яванским. В конце концов, из перехваченной беседы установлено следующее. Первое. Беседовавшие — брат и сестра. Они ожидают третье лицо, состоящее в браке и желающее какой бы то ни было ценой получить свою свободу. Второе. Они условились при помощи газетного объявления встретиться второго октября. Третье. Свидание это состоится в конце дня во время прогулки по скалам, причем лицо, желающее освободиться от брачных уз, приведет с собою свою предполагаемую жертву. Вот суть этого дела. Все страшно занимательно. День тому назад утром в одной газете я прочитал следующее объявление:

— «Сви-ие, 2-го окт., полдень, 3 — Матильд».

Так как речь шла о скалах, то я решил, что преступление совершится на берегу моря. Я знаю, что в Этрета есть скалы, называемые «Три Матильды». Вот почему мы здесь. Нам нужно воспрепятствовать исполнению злого замысла.

— Вы говорите о возможном преступлении. Ведь это же только ваше предположение?

— Ничуть. Разговор шел о браке одного из собеседников с тем третьим лицом, о котором я упоминал. Этому третьему лицу надо освободиться от своей пары, которая второго октября должна быть сброшена со скалы в море. Все это строго логично.

Они сидели на террасе казино против лестницы, которая спускалась к морю. Они видели перед собой на берегу кабинки купающихся. Перед этими кабинками четыре господина играли в бридж, а группа дам занималась рукоделием и болтала.

Несколько дальше стояла отдельно закрытая кабинка.

Дети с голыми ногами играли в воде.

— Вся эта благодать и осенняя идиллия меня не радуют,— сказала Гортензия,— так как я все думаю о вашем сообщении. Ужасная загадка!

— Именно ужасная, дорогой друг! И так трудно ее разгадать!

— Что-то произойдет?

И она добавила:

— Кому из собравшихся здесь угрожает опасность? Кто в числе обреченных? Эта ли смеющаяся блондинка? Или тот большой господин, который курит? И кто между ними будущий убийца? Все эти люди спокойны и веселы, и смерть бродит между ними.

— Отлично! — заметил Ренин,— мне удалось и вас заинтересовать, увлечь! Я вас предупреждал, что это случится. Вы невольно проникаетесь теми таинственными драмами, которые совершаются вблизи вас. Вам хочется раскрыть тайну, добиться разгадки. С каким, например, вниманием вы следите за этой приближающейся супружеской четой? Не они ли это? Может

быть, именно этот господин намерен уничтожить свою благоверную? Или дама хочет, наоборот, упразднить мужа?

— Д'Имбревали? Ну, это невозможно! Это такое идеальное супружество! Вчера я долго в гостинице беседовала с женой, а вы...

— А я играл в гольф с Жаком д'Имбревалем, этим атлетом, и играл в куклы с их двумя прелестными девочками.

Д'Имбревали к ним приблизились, и они обменялись с ними несколькими фразами. Госпожа д'Имбреваль сообщила, что ее две дочери вернулись утром в Париж со своей гувернанткой. Ее муж, здоровенный мужчина с русой бородой, жаловался на жару и держал свой фланелевый пиджак в руках.

— Тереза, ключ от кабинки у тебя? — спросил он свою жену, когда они отошли от Гортензии и Ренина.

— Вот он,— ответила жена,— ты будешь читать газеты?

— Да, если только ты не предпочитаешь погулять.

— Лучше позднее; мне еще надо написать десяток писем.

— Отлично! Мы взберемся на скалы.

Гортензия и Ренин переглянулись. Что это значило? Не находились ли они на пути к раскрытию тайны?

Гортензия попыталась посмеяться.

— Мое сердце усиленно бьется, но я не верю такому совпадению. Она мне как-то сказала, что с мужем она ни разу даже не поспорила. Нет, видимо, они отлично уживаются.

— Мы это увидим скоро у «Трех Матильд», если кто-либо из них туда придет.

Д'Имбреваль спустился по лестнице, а его жена оперлась на перила террасы. У нее была красивая гибкая фигура. Красивый ее профиль с несколько выдающимся подбородком ясно обрисовывался. В минуты спокойствия лицо носило отпечаток какой-то тоски и страдания.

— Жак, ты потерял что-то,— кинула она мужу, заметив, что он наклонился над гравием.

— Да, я выронил ключ.

Она помогла ему в поисках. Скоро они исчезли из виду Гортензии и Ренина. Спор, возникший между игроками в бридж, покрыл их голоса.

Затем госпожа д'Имбреваль вернулась на лестницу и остановилась, глядя на море, а муж ее направился к стоящей отдельно кабинке. По дороге игроки в бридж обратились к нему с просьбой разрешить их спор, но он уклонился высказать свое мнение, прошел те сорок шагов, которые отделяли его от кабинки, открыл ее и вошел туда.

Тереза д'Имбреваль поднялась на террасу и, посидев минут десять на скамейке, вышла из казино. Гортензия заметила, что она вошла в один из флигелей, прилегающих к гостинице, и затем увидела ее на балконе своего номера.

— Одиннадцать часов,— сказал Ренин,— я уверен, что кто-нибудь,— он, или она, или кто-либо из этих игроков,— должен сейчас отправиться на свидание.

Прошло, однако, двадцать минут, потом двадцать пять, и никто не двигался.

— Возможно, что госпожа д'Имбреваль уже пошла; ее на балконе уже нет,— сказала Гортензия, начинающая нервничать.

— Если она у «Трех Матильд», мы ее там застанем.

Он встал. В это время между играющими возник новый спор. Один из них воскликнул:

— Спросим д'Имбреваля.

— Хорошо,— согласился другой,— пусть он будет нашим посредником, хотя видели, сейчас он и был в дурном настроении духа. Откажет еще!

Стали звать:

— Д'Имбреваль, д'Имбреваль.

Тогда они заметили, что д'Имбреваль закрыл за собой двери кабинки, у которой не было окон.

— Он спит, вероятно! Надо его разбудить.

— Д'Имбреваль, д'Имбреваль!

Все четверо игроков направились к кабинке и постучались.

— Д'Имбреваль, вы спите?

На террасе Сергей Ренин вдруг вскочил с таким взволнованным видом, что Гортензия испугалась. Он пробормотал:

— Только бы не опоздать!

Не отвечая на вопросы Гортензии, он пустился бежать по направлению к кабинке. Он подбежал туда в тот момент, когда игроки пытались открыть двери.

— Стойте,— скомандовал он,— все должно быть сделано по правилам.

— В чем дело? — спросил кто-то.

Через щелочку ему удалось взглянуть внутрь кабинки.

Его стали спрашивать:

— Что там такое? Что вы видите?

Он повернулся и сказал:

— Я был уверен, что если д'Имбреваль не отвечал, то потому, что серьезное происшествие мешало ему сделать это.

— Важное происшествие?

— Да, надо полагать, что д'Имбреваль ранен или... умер.

— Как умер! — послышались крики.— Он только что нас покинул.

Ренин вынул перочинный ножик, взломал замок и открыл двери кабинки.

Послышались крики ужаса. Господин д'Имбреваль лежал на полу лицом вниз, судорожно сжимая в руках газету. Спина его была вся в крови.

— О,— сказал кто-то,— он себя убил!

— Как мог он себя убить? — возразил Ренин.— Рана ведь нанесена в спину. Да и здесь нет никакого оружия.

Игроки запротестовали:

— Преступление?.. Это же невозможно. Здесь никого не было. Мы бы видели.

Сбежались дачники со всех сторон. Ренин пустил в кабинку только доктора. Врач лишь удостоверил, что д'Имбреваль убит ударом кинжала.

В этот момент прибыли мэр и полицейский. Они выполнили нужные формальности и унесли труп. Кто-то побежал предупредить жену покойного, которая опять появилась на своем балконе.

Итак, трагедия совершилась. Невозможно было понять, как человек, запершийся в кабинке, мог быть убит почти на глазах у десятков свидетелей. Ведь дверь кабинки оказалась запертой и никто туда не входил. Кинжал, которым воспользовался убийца, не был найден. Казалось, что это какой-то фокус, а между тем речь шла об ужаснейшем преступлении.

Волнение Гортензии было неописуемо. Впервые за время ее похождений с Рениным ей пришлось так близко видеть совершенное преступление. Она шептала:

— Какой ужас!.. Несчастный... А, Ренин, этого вы были бессильны спасти!.. Самое ужасное заключается в том, что мы могли его спасти, так как знали о заговоре.

Ренин дал ей понюхать нашатырного спирту и, когда она успокоилась, сказал ей, одновременно наблюдая за молодой женщиной:

— Вы, следовательно, полагаете, что есть связь между этим убийством и тем заговором, о котором мы узнали.

— Ну, конечно,— ответила она с удивлением.

— Значит, имея в виду, что заговор задуман мужем против жены своей или женой против мужа, вы думаете, что госпожа д'Имбреваль?..

— О, нет, это невозможно,— возразила она,— во-первых, госпожа д'Имбреваль не покидала своего помещения... во-вторых, я никогда не поверю, чтобы эта прелестная женщина была способна на это... нет, нет, здесь нечто другое.

— Что же именно?

— Я не знаю... Возможно, что разговор между братом и сестрой по телефону был плохо понят... Ведь преступление совершено в других условиях, в другое время... в другом месте.

— Значит,— заметил Ренин,— обе истории не находятся ни в какой связи?

— Ах,— прошептала она,— ничего решительно нельзя понять. Все это так странно.

Ренин начал иронизировать:

— Мой ученик сегодня не делает мне чести...

— То есть как?

— Судите сами: вся эта драма развернулась, можно сказать, на ваших глазах, а вы в ней ничего не понимаете и ничего не можете разгадать. Точно дело происходит бог знает где.

Гортензия сконфузилась.

— Что вы говорите! Неужели вы что-нибудь разгадали? По каким же признакам?

Он посмотрел на свои часы.

— Я не все понял. Преступление во всей его внезапности — да! Но его психология пока еще мне не ясна. Сейчас двенадцать часов. Брат и сестра, видя, что на свидание к «Трем Матильдам» никто не является, вероятно, приедут сюда. Не думаете ли вы, что мы скоро тогда распутаем все это дело и поймем его связь с убийством д'Имбреваля?

Они пошли по набережной, вдоль которой расположились дачи. У одной дачи они заметили много любопытных. Два таможенных солдата стояли у входных дверей дачи и никого туда не пускали. Через толпу быстро пробирался мэр. Он возвращался с почты, откуда телефонировал в Гавр. Ему ответили, что прокурор и судебный следователь в скором времени прибудут в Этрета.

— Мы имеем время, чтобы позавтракать,— сказал Ренин.— Трагедия не разыграется раньше двух-трех часов. Думаю, что выйдет очень интересно.

Они поторопились позавтракать. Гортензия, возбужденная и взволнованная желанием все скорей узнать, засыпала Ренина вопросами. Он отвечал уклончиво и все поглядывал по направлению набережной, которая виднелась через окна столовой.

— Вы их ожидаете?

— Да, брата и сестру.

— Вы полагаете, что они рискнут?..

— Внимание! Вот и они!

Он быстро вышел.

По главной улице неуверенными шагами шли мужчина и женщина, точно незнакомые с топографией местности. Брат был маленький, худенький человек с автомобильной фуражкой на голове. Сестра, тоже маленькая, но довольно полная, хотя и в летах уже, все же сохранила следы своей былой красоты, как это можно было заметить через вуалетку, прикрывавшую ее лицо.

Они подошли к собравшейся группе людей. Видимо, оба волновались и беспокоились.

Сестра подошла к матросу. С первых же слов, когда, вероятно, она услыхала об убийстве д'Имбреваля, она вскрикнула и старалась протиснуться вперед. Брат также пробирался в первые ряды и обратился к таможенным солдатам:

— Я друг д'Имбреваля!.. Вот моя визитная карточка... Фредерик Астэнг... Моя сестра, Жермена Астэнг, подруга госпожи д'Имбреваль... Они нас ожидали... У нас было назначено свидание!..

Их пропустили. Ренин и Гортензия, не говоря им ни слова, последовали за ними.

Д'Имбревали занимали во втором этаже четыре комнаты и гостиную. Сестра бросилась в одну из комнат и упала на колени перед кроватью, куда положили убитого. В гостиной сидела Тереза. Она рыдала среди нескольких хранящих безмолвие людей. Брат сел около нее, схватил ее за руку и проговорил дрожащим голосом:

— Бедный мой друг... бедный мой друг!

Ренин и Гортензия внимательно взглянули на них. Гортензия прошептала:

— И ради такого господина они убили?.. Нет, это совершенно не может быть!

— Однако,— заметил Ренин,— они друг с другом знакомы. Мы также знаем, что они вели переговоры с третьим лицом, своим сообщником, значит?..

— Невозможно,— повторила Гортензия.

Несмотря на предубежденность своего спутника, Гортензия испытывала к молодой женщине необыкновенную симпатию. Когда Астэнг встал, она села около госпожи д'Имбреваль и принялась утешать ее нежным голосом. Слезы несчастной бесконечно трогали ее.

Ренин стал следить за братом и сестрой. Фредерик Астэнг ходил по квартире и все внимательно осматривал, спрашивал о подробностях совершенного преступления. Два раза сестра его подходила к нему, и они о чем-то шептались. Затем он опять вернулся к госпоже д'Имбреваль и опять сел около нее, обнаруживая живое участие в ее горе. В конце концов, переговорив с сестрою в передней и как будто о чем-то условившись с нею, Фредерик ушел. Все это продолжалось около сорока минут.

В это время подкатил автомобиль с прокурором и судебным следователем. Ренин, ожидавший их прибытия позднее, сказал Гортензии:

— Надо поспешить. Ни под каким видом не оставляйте госпожу д'Имбреваль.

Предупредили свидетелей, чтобы они собрались, а следователь приступил к делу. Допрос госпожи д'Имбреваль должен был последовать позднее. Всех посторонних удалили. Остались только две сиделки и Жермена Астэнг.

Жермена стала на колени перед телом убитого и, закрыв лицо руками, долго молилась. Когда она встала и хотела выйти из комнаты, к ней подошел Ренин.

— Мне, сударыня, надо сказать вам несколько слов.

Она удивилась и ответила:

— Говорите, я вас слушаю.

— Не здесь.

— Где же?

— Рядом, в гостиной.

— Нет,— живо возразила она.

— Почему? Хотя вы и не поздоровались с госпожей д'Имбреваль, все же, думаю, вы ее приятельница?

Он не дал ей времени подумать, увлек ее в гостиную и, подойдя к госпоже д'Имбреваль, которая собиралась уйти в свою комнату, сказал:

— Сударыня, умоляю вас выслушать меня. Присутствие госпожи Астэнг не должно вас смущать. Мы должны переговорить, не теряя ни одной минуты, о вещах, в вышей степени важных.

Обе женщины очутились лицом к лицу, причем ясно было, что одна ненавидела другую; эта ненависть читалась в их лицах. Гортензия, которая раньше думала, что они приятельницы, видя это, ужаснулась, ожидая, что произойдет роковое столкновение. Она заставила госпожу д'Имбреваль сесть. Ренин же стал на середину комнаты и проговорил твердым голосом:

— Случай, который помог мне открыть правду, даст мне также возможность вас обеих спасти. Но вы должны быть со мной вполне откровенны и дать мне необходимые дополнительные сведения. Каждая из вас понимает, что находится в опасности, так как знает свои злые намерения. Но ненависть вас сейчас ослепляет, и я хочу помочь вам. Через полчаса следователь будет здесь. До его прихода вы должны прийти к соглашению.

Обе подскочили как бы под ударами хлыста.

— Да, вы должны прийти к соглашению,— повторил он еще более повелительно.— Добровольно или нет, но это должно совершиться. Вы не одни являетесь страдающими лицами. У вас ведь две девочки,— обратился он к госпоже д'Имбреваль.— Я вмешиваюсь в это дело, чтобы защитить их и быть им полезным. Ошибка, лишнее слово и... они, эти девочки, погибли. Этого не должно быть.

При упоминании о детях госпожа д'Имбреваль упала в кресло и зарыдала. Жермена Астэнг пожала плечами и пошла по направлению к двери.

— Куда вы идете? — остановил ее Ренин.

— Меня вызвал судебный следователь.

— Нет.

— Да, как и всех, кто может что-либо показать.

— Вас там не было. О происшедшем вы ничего не знаете. Никто ничего не знает об этом преступлении.

— Я знаю, кто его совершил.

— Быть не может!

— Тереза д'Имбреваль.

Это обвинение было брошено с жестом злобы и ненависти.

— Негодяйка! – вскрикнула госпожа д'Имбреваль, бросаясь к ней.— Пошла вон! Пошла вон! Ах, какая подлая женщина!

Гортензия пробовала ее успокоить, но Ренин тихо сказал:

— Оставьте их, я именно этого хотел... заставить их сцепиться и выяснить таким образом истину.

Госпожа Астэнг, оскорбленная, деланно расхохоталась:

— Негодяйка? Почему? Потому, что я тебя обвиняю?

— За все, за все! Ты, Жермена, негодяйка, подлая женщина! Слышишь!

Тереза д'Имбреваль повторяла оскорбительные слова, точно они приносили ей облегчение. Когда она стала успокаиваться, возможно, что физические силы изменили ей. Тогда госпожа Астэнг перешла в атаку. Лицо ее сделалось неузнаваемым, оно постарело на двадцать лет.

— Ты, ты еще смеешь меня оскорблять после совершенного тобой преступления! Ты решаешься поднимать голову, когда человек, которого ты убила, лежит тут рядом. Если кто из нас негодяйка, то это, конечно, ты, Тереза! Ты убила своего мужа!.. Ты убила своего мужа!

Она подскочила к своей приятельнице и ногти ее рук почти касались ее лица.

— Посмей сказать, что не ты убила его,— вскрикнула она,— не говори этого, я тебе это запрещаю. Кинжал в твоем ридикюле. Мой брат его ощупал, когда говорил с тобою, а рука его оказалась со следами крови. Это кровь твоего мужа, Тереза. Я сразу все угадала. Когда какой-то матрос мне ответил внизу, что убили д'Имбреваля, я сразу же сообразила, что это ты его убила.

Тереза ничего не отвечала. Она даже не протестовала. Гортензии показалось, что она чувствует свою гибель. Ее лицо посерело и выражало полнейшее отчаяние. Гортензия стала умолять ее защищаться.

— Объясните же все, умоляю вас. Во время совершения преступления вы же находились у себя на балконе... Откуда появился этот кинжал!.. Как объяснить?

— Объяснения! – засмеялась Жермена Астэнг,— она их дать не может. Не в мелочах дело, а в сути. Главное же доказательство – это кинжал. И это факт, что он у нее в ридикюле... Да, да, Тереза, именно ты убийца!.. Я часто говорила своему брату, что ты убьешь своего мужа. Фредерик, питавший

к тебе слабость, пробовал защищать тебя. Но, в сущности, он предвидел это событие. Ужасное преступление совершилось! Удар кинжала в спину. Подлая, подлая!.. И я ничего не смею сказать, я должна молчать?! Но ни у меня, ни у Фредерика нет ни малейших сомнений. Я тебя непременно выдам. И ты, Тереза, теперь погибла, невозвратно погибла! Ничто не спасет тебя. Твой кинжал сейчас будет найден следователем и на нем будут найдены следы крови тобой убитого мужа. И у тебя также найдут его бумажник. Да, найдут!

Она пылала такой злобой, что не могла продолжать, и подбородок ее конвульсивно дрожал.

Ренин тихо схватил ридикюль Терезы д'Имбреваль, но она не хотела его выпустить из рук. Он стал настаивать и сказал ей:

— Предоставьте мне действовать, сударыня. Ваша приятельница Жермена права. Если следователь найдет у вас кинжал, он вас немедленно арестует. Это быть не должно. Предоставьте мне свободу действий.

Его мягкий тон победил сопротивление Терезы. Ее пальцы расжались. Он открыл мешочек-ридикюль, вынул оттуда маленький кинжал с ручкой черного дерева и бумажник из шагреневой кожи и спрятал обе вещи в боковой карман своего костюма.

Жермена Астэнг смотрела на него с изумлением.

— Вы сумасшедший! По какому праву?

— Эти вещи нельзя оставлять на виду. Теперь я спокоен. Следователь не станет искать в моем кармане.

— Но я вас выдам,— возразила она с возмущением,— судебная власть будет предупреждена.

— Нет, нет, вы будете молчать,— заметил он со смехом.— Судебной власти нечего совать сюда свой нос. Ваши взаимные недоразумения должны быть разрешены вами же. Какая глупая идея — обращаться по всякому поводу к судебной власти!

Госпожа Астэнг была совершенно поражена.

— Но вы не имеете никакого права так говорить! Кто вы такой! Друг этой женщины?

— С того момента, как вы на нее напали.

— Если я на нее нападаю, то потому, что она виновна в убийстве своего мужа...

— Я этого не отрицаю,— спокойно объявил Ренин,— в этом отношении мы сходимся. Жак д'Имбреваль, действительно, убит своей женой, но судебная власть этого знать не должна.

— Она это узнает через меня... Клянусь!.. Эта женщина должна быть наказана... Она ведь убила!

Ренин подошел к ней и тронул ее за плечо:

— Вы спрашиваете меня, почему я вмешиваюсь в это дело? А вы, сударыня, по какому праву впутываетесь в эту историю?

— Я была другом убитого.

— Только другом?

Она несколько смутилась, но сейчас же возразила:

— Я была его другом. Мой долг отомстить за него.

— Вы, однако, будете молчать, как и он.

— Он-то ведь не знал, кто его убил.

— Ошибаетесь. Он имел время перед смертью выдать свою жену, но этого не сделал.

— Почему?

— Ради детей.

Госпожа Астэнг не сдавалась, хотя нравственная сила Ренина подчиняла ее. Она поняла, что вмешательство Ренина дало опору госпоже д'Имбреваль.

— Благодарю вас,— сказала Тереза,— если вы так хорошо разгадали, то вы понимаете, что я только ради детей не отдалась в руки судебной власти. Я, право, так устала!..

Итак, сцена менялась. Получалось такое впечатление, что виноватая начинала оправляться, а обвинительницу охватило какое-то беспокойство. Она не находила слов, чтобы продолжать настаивать на своем обвинении, тогда как другая чувствовала потребность признанием облегчить свое сердце.

— Сейчас,— ласково сказал Ренин,— я полагаю, что вы можете и должны нам все объяснить.

— Да, да...— согласилась она,— я должна ответить этой женщине... Всю правду, не так ли?..

Она заплакала, лицо ее постарело от горя, и тихо, короткими фразами, без гнева, она заговорила:

— Уже четыре года она его любовница... Как я страдала!.. Она сама объявила об их связи... по злобе!.. Она меня еще больше ненавидела, нежели любила Жака... Каждый день она наносила мне новые раны... часто сообщала мне по телефону о назначенных с моим мужем свиданиях. Она думала, что таким путем она доведет меня до самоубийства... Я о нем думала... Но дети меня от него удержали. А Жак слабел, подпадая под ее влияние. Она требовала, чтобы он со мной развелся, и он, видимо, шел на это. На него и она, и ее брат, опаснейший человек, оказывали самое дурное влияние, подчинив его своей власти... Жак делался со мной с каждым днем все жестче... У него не хватало мужества покинуть меня, но я была для него препятствием к осуществлению его планов. Господи, какие муки я переживала.

— Надо ему было дать свободу,— вскричала Жермена Астэнг,— нельзя убивать человека только за то, что он хочет развестись.

Тереза покачала головой:

— Я не потому убила его, что он хотел развестись. Если бы он хотел развестись, как я могла бы удержать его. Но твои намерения, Жермена, переменились. Для тебя уже не доста-

точно было развода, ты хотела добиться другого... На эту подлость, по слабости характера, мой муж согласился...

— Что ты хочешь сказать? — пробормотала Жермена...— Чего я добивалась?..

— Моей смерти.

— Ты лжешь!— воскликнула Астэнг.

Тереза не повысила голоса и спокойно, невозмутимо повторила:

— Да, ты задумала умертвить меня. Я прочла твои последние письма, которые он забыл спрятать. Их было шесть. Там этого страшного слова нет, но оно чувствуется между строк. Я прочла это с ужасом! Мой Жак дошел до такой мерзости!.. Но все же я ни одной минуты не думала и после этого убить его. Такие женщины, как я, предумышленно не убивают... Я это сделала неожиданно, потеряв голову... по твоей вине, Жермена.

Она вопросительно посмотрела на Ренина, точно прося у него защиты.

— Говорите безбоязненно, я беру все на себя.

Она провела рукою по лбу. Страшная сцена оживала в ее воображении и мучила ее... Жермена Астэнг не двигалась, глаза ее выражали смущение. Гортензия же с нетерпением ожидала разъяснения этой загадочной тайны.

— Случилось все это позже и по твоей вине, Жермена. Я положила обратно бумажник в ящик стола и ничего о нем не сказала мужу. Я не хотела сказать ему то, что узнала. Это было так ужасно! Но надо было торопиться. Твои письма сообщали о твоем приезде сегодня же... Сначала я хотела просто уехать. Машинально я захватила этот кинжал, чтобы защищаться... но, когда Жак и я пришли на берег моря, тогда я готова была умереть... Пусть я умру, и весь этот кошмар этим и кончится. Но ради детей я хотела, чтобы моя смерть имела вид несчастного случая и чтобы Жака не обвинили. Вот почему твой план прогулки по скалам был для меня подходящим... Падение с вершины скалы вполне естественно... Жак меня покинул, чтобы идти к «Трем Матильдам». По дороге около террасы он уронил ключ от этой кабинки. Я спустилась и помогла ему искать ключ.

...И вот тут-то по твоей именно вине, Жермена, все это произошло. Из кармана у Жака выпали бумажник и фотография. Эту фотографию я тотчас же узнала: на ней была изображена я с моими двумя девочками. Я взяла фотографию и... увидела. Ты знаешь, Жермена, что я увидела?! Вместо меня на фотографии была ты. Ты меня заменила своей особой. Одной рукой ты обнимала мою старшую дочь, другая же девочка отдыхала на твоих коленях... Это была ты, Жермена, будущая мать моих детей, которая должна была после моей смерти

заняться их воспитанием... Ты! Ты!.. Тогда я потеряла голову. У меня находился кинжал. Жак наклонился... Я нанесла ему удар...

Каждое слово ее исповеди дышало правдой. И Ренин, и Гортензия слушали эту исповедь с чувством глубокого интереса.

Она села, продолжая говорить:

— Я думала, что вокруг меня начнут кричать и меня арестуют... Ничего! Никто ничего не заметил. А Жак встал и не падал! Нет, он не падал. Я вернулась на террасу и оттуда наблюдала за ним. Он набросил свою куртку на плечи, чтобы, видимо, скрыть рану, и удалился, даже не пошатываясь. Он даже обменялся несколькими словами с приятелями своими, которые играли в карты, затем направился к своей кабинке и исчез. Я тоже вернулась к себе. Мне казалось, что все это сон, что я не убила, а лишь легко ранила, что Жак скоро выйдет... Я в этом была уверена. Я все надеялась... Если б я знала, что ему нужно оказать помощь, я побежала бы к нему. У меня не было ни малейшего предчувствия, что случилось непоправимое несчастие. Я ни о чем не догадывалась... Я была даже спокойна, как после страшного кошмара, воспоминание о котором проходит... Я ничего не знала... до той минуты, когда...

Она остановилась. Рыдания не давали ей говорить.

Ренин кончил за нее:

— Вы ничего не знали до той минуты, когда пришли вас предупредить.

Тереза прошептала:

— Да... Только тогда я поняла, что именно сделала... Я почувствовала, что схожу с ума и готова кричать: «Это я! Не ищите! Вот кинжал! Я убийца!» Я готова была кричать о моей вине, как вдруг моего бедного Жака принесли домой... У него было очень спокойное и доброе лицо... Я тогда поняла свой долг, как он выполнил свой долг... Он меня не выдал, промолчал ради детей. Я тоже решила молчать. В этом убийстве мы оба были виновны, и оба мы были обязаны сделать все, чтобы оно не отразилось на наших детях. Во время своей агонии он ясно понял это... он имел необыкновенное мужество и силу воли после смертельного ранения двигаться, отвечать на вопросы и запереться, чтобы умереть. Этим поступком он искупил всю свою вину предо мною и одновременно простил меня, так как не выдал меня... Это он приказывал мне молчать и защищаться против всех и особенно против тебя, Жермена.

Последние слова она произнесла с большей твердостью. Она начинала приходить в себя и, думая о поступке мужа, в этом черпала энергию свою для дальнейшей борьбы. В присутствии интриганки, ненависть которой довела их до преступления и смерти, она готова была на борьбу, воля ее укрепилась.

Но Жермена Астэнг не признавала себя побежденной. Она прослушала свою соперницу с искаженным от злобы лицом. Казалось, что ничего не могло смягчить ее сердце и угрызения совести ее не мучили. Под конец ее тонкие губы сложились в улыбку, точно она радовалась тому, что события приняли такой оборот. Ее жертва находилась в ее власти.

Она медленно поправила шляпу, посмотрелась в зеркало, подпудрилась и направилась к дверям.

Тереза бросилась за ней.

— Куда ты идешь?

— Это мое дело.

— К следователю?

— Возможно.

— Ты не пойдешь.

— Хорошо, я его подожду здесь.

— Ты ему скажешь?

— Конечно! Все то, что ты сейчас сказала по своей наивности. Все теперь ясно! Ты дала все необходимые разъяснения.

Тереза схватила ее за плечо.

— Да, но я ему еще кое-что разъясню. Если я погибну, то погибнешь и ты.

— Ты мне ничего не можешь сделать.

— Я выдам тебя, покажу твои письма.

— Какие письма?

— Те, в которых говорится о намерении убить меня.

— Ложь! Это были просто дружеские письма.

— Это были письма любовников и соучастников.

— Докажи.

— Они здесь, в бумажнике Жака.

— Нет.

— Что ты говоришь?

— Я говорю, что эти письма принадлежат мне. Я их взяла обратно... Вернее, мой брат.

— Ты их похитила, негодяйка,— воскликнула Тереза,— и ты мне их отдашь.

— У меня их уже нет. Они у брата.

— Он мне их вернет.

— Он уехал.

— Его найдут.

— Его — да, но не письма. Подобные письма уничтожаются.

Тереза пошатнулась и с отчаянием протянула руку к Ренину

Ренин проговорил:

— Она говорит правду. Я следил за поведением брата. Он вытащил письма из бумажника и ушел с ними.

Князь сделал паузу и добавил:

— Он захватил, во всяком случае, пять писем.

Хотя эта фраза была произнесена небрежно, но все поняли ее серьезное значение. Обе женщины подошли к нему поближе. Что он хотел сказать? Если Фредерик унес всего пять писем, то где же находилось шестое?

— Я думаю,— продолжал Ренин,— что когда бумажник выпал у него на берегу моря, то выпало из него это шестое письмо, а также и фотография. Д'Имбреваль поднял и письмо, и фотографию.

— Откуда вы это знаете? — изменившимся голосом спросила Жермена Астэнг.

— Я нашел их в его фланелевой куртке, которую повесили около его кровати. Вот это письмо. Оно подписано Жерменой Астэнг. Из него видно, что она советовала своему любовнику убить жену. Я даже удивляюсь, что такая ловкая женщина написала столь неосторожное письмо.

Госпожа Астэнг позеленела и так смутилась, что даже не пыталась защищаться. Ренин продолжал, обращаясь исключительно к ней:

— По моему мнению, вы виноваты во всем том, что произошло. Вы, очевидно, разорены и, пользуясь слабостью господина д'Имбреваля, хотели заставить его на вас жениться, несмотря на все препятствия. Таким путем вы хотели получить его состояние. У меня есть доказательства всех этих ваших низменных расчетов. Несколько минут после меня вы стали рыться в карманах куртки убитого. Я вынул оттуда шестое письмо, но оставил в кармане клочок бумаги, который вы жадно искали; он тоже, видимо, выпал из бумажника. Этот клочок бумаги был чек, подписанный д'Имбревалем, в 100 000 франков на имя вашего брата... Свадебный подарок, очевидно... На булавки!..

По вашим инструкциям ваш брат, вероятно, отправился в Гавр, чтобы из банка до четырех часов получить эти деньги. Но, предупреждаю вас, я сообщил по телефону в банк, чтобы, ввиду убийства господина д'Имбреваля, этих денег не выдавали. Таким образом, если вы будете упорствовать, то обо всех махинациях ваших и вашего брата я поставлю в известность судебную власть. Я еще расскажу о перехваченном мною неделю тому назад телефонном разговоре между вами и вашим братом по-испански. Но надеюсь, что до такой крайности вы меня не доведете. Мы ведь с вами придем к соглашению? Не так ли?

Ренин говорил так свободно и так властно, как бы не допуская никаких возражений; казалось, что все его слова — сама истина, сама логика. Оставалось только подчиниться ему

Госпожа Астэнг это поняла. Подобные натуры, неукротимые во время борьбы, пока эта борьба возможна, в случае поражения, легко сдаются. Жермена были слишком умна, что-

бы не понять, что малейшая попытка к сопротивлению лишь ухудшит ее положение. Она находилась всецело в его власти. В подобных случаях подчиняются.

Она не пыталась разыграть комедию или впасть в истерику. Она подчинилась.

— Я с вами согласна,— проговорила она,— что же вы требуете?

— Уезжайте.

— Но если потребуют моего свидетельства?

— Вашего показания не потребуется.

— Однако...

— Вы ответите, что решительно ничего по этому делу не знаете.

Она направилась к выходу. У порога остановилась и сквозь зубы прошептала:

— А чек?

Ренин посмотрел на госпожу д'Имбреваль, которая объявила:

— Пусть чек останется у нее. Мне этих денег не надо.

Объяснив Терезе д'Имбреваль подробно, что именно она должна показать следователю, Ренин и Гортензия покинули дачу.

На берегу прокурор и следователь продолжали следствие, допрашивали свидетелей и совещались между собою.

— Когда я подумаю только,— заметила Гортензия,— что у вас находятся кинжал и бумажник д'Имбреваля!..

— Это вам кажется очень опасным? — ответил он со смехом.— Мне же это кажется бесконечно смешным.

— Вы не боитесь?

— Чего?

— Чтобы вас не заподозрили?

— Господи! Никто никогда ни о чем не догадается. Мы сейчас расскажем судебной власти о том, что видели. Это увеличит ее смущение, так как мы ведь ничего не видели. Из осторожности мы пробудем здесь два дня, наблюдая за событиями. Но дело кончено! Ни о чем никто не догадается.

— А вы, однако, все разгадали с первого же мгновения. Каким образом?

— Потому, что вместо того, чтобы прибегать ко всяким хитросплетениям, как это обыкновенно делают, я сразу правильно ставлю вопрос, и ответ приходит сам собою. Господин входит в кабинку и там запирается. Через полчаса его находят мертвым. Никто не входил. Что же произошло? Для меня ответ ясен. Не стоит даже голову ломать. Так как преступление совершено не в кабинке, то, следовательно, оно совершено раньше: господин перед входом в кабинку был смертельно ранен. И вот все для меня ясно! Госпожа д'Имбреваль, которая

должна была быть убита сегодня вечером, предупредила это событие. Когда муж ее наклонился, она в припадке ярости убила его. Оставалось искать лишь мотив этого преступления. Когда я познакомился с этими мотивами, я решил защитить ее. Вот и вся история!

Наступал вечер. Синева небес делалась темнее, море еще более спокойным.

— О чем вы думаете? — спросил Ренин.

— Я думаю о том,— сказала она,— что если бы я вдруг сделалась жертвой какой-нибудь интриги, то я всегда сохранила бы в вас веру, в то, что вы меня всегда спасете, невзирая на препятствия. Нет границ вашему могуществу.

Он тихо прошептал:

— Я безгранично хотел бы вам нравиться.

IV

Фильм-разоблачитель

— Обратите внимание на того, который играет дворецкого,— сказал Сергей Ренин.

— В чем же дело? — спросила Гортензия.

Они сидели в кино на бульварах. Молодая женщина увлекла туда Ренина, чтобы посмотреть одну артистку кино, которая имела к ней близкое отношение. Роза-Андрэ, значившаяся в афише жирным шрифтом, приходилась ей сводной сестрой, так как их отец был женат два раза. Несколько лет уже они находились в ссоре и даже не переписывались. Очень красивая и гибкая — Роза-Андрэ сначала без успеха пробовала свои силы на драматической сцене, но затем сделалась известной киноартисткой. В этот вечер она оживляла своим талантом и жгучей красотой довольно посредственный фильм — «Счастливая принцесса».

Не отвечая прямо, Ренин продолжал во время антракта:

— Когда я смотрю плохую картину, тогда я утешаю себя тем, что наблюдаю за второстепенными исполнителями. Как часто эти бедняги, которых заставляют двадцать раз повторять одно и то же, во время окончательной съемки думают о совершенно другом. Любопытно наблюдать их именно в подобные моменты. Например, вот этот дворецкий...

Экран представлял роскошно сервированный обеденный стол, за которым сидела «счастливая принцесса», окруженная своими вздыхателями. Полдюжины лакеев прислуживали, руководимые большим дворецким, с толстым вульгарным лицом, у которого обе брови соединились в одну линию.

— Это голова животного,— сказала Гортензия,— что вы в нем нашли?

— Посмотрите только, как он поглядывает на вашу сестру...

— Пока я ничего не замечаю,— возразила Гортензия.

— Взгляните только, какие взгляды он бросает на вашу сестру, и не слишком ли часто он смотрит на нее?

— До сих пор, право, я ничего не заметила,— возразила Гортензия.

— А я заметил,— продолжал князь,— для меня ясно, что в действительной жизни он питает к вашей сестре чувства, не имеющие ничего общего с его ролью дворецкого. На экране, когда он за собой не наблюдает или думает, что за ним не следят, его секрет прорывается наружу. Да вот, смотрите...

Дворецкий не двигался. Обед кончался. Принцесса пила из кубка шампанское, а он следил за нею жадными глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками.

Еще раза два они подметили подобные взгляды, которым Ренин придавал особое значение. Гортензия с ним не соглашалась.

— Он всегда так смотрит, этот человек,— сказала она.

Картина кончилась. В программе значилось, что после первой картины прошел год и «счастливая принцесса» живет в красивой нормандской хижине, утопающей в цветах, с избранником своего сердца — незадачливым музыкантом, которого она выбрала себе в супруги.

Она была по-прежнему счастлива и привлекательна. Около нее увивался рой ухаживателей. Среди всяких дворян, крестьян, горожан и банкиров выделялся волосатый полудикий дровосек, который часто попадался ей во время ее прогулок. Вооруженный топором, страшный и зловещий, он бродил вокруг хижины, и чувствовалось, что ужасная опасность угрожает «счастливой принцессе».

— Смотрите, смотрите,— прошептал Ренин,— знаете, кто этот дровосек?

— Нет.

— Дворецкий наш. Взяли одного и того же исполнителя для обеих ролей.

И действительно, невзирая на грим и все происшедшие перемены, под оболочкой дровосека все же можно было обнаружить прежнего дворецкого, так как сохранились и животное выражение лица его, и соединенные в одну линию брови.

Принцесса вышла из своей хижины. Дровосек спрятался за кустами и подстерегал ее. От времени до времени экран показывал в увеличенных размерах его кровожадные глаза и огромные руки убийцы.

— Я боюсь его,— сказала Гортензия,— он ужасен в своей реальности.

— Это потому,— отозвался Ренин,— что он вполне вошел в свою роль. Ведь прошло три месяца со дня съемки первой картины. За эти три месяца любовь его сильно развилась. Он ожидает не принцессу, а Розу-Андрэ.

Человек присел. Жертва приближалась, ничего не подозревая. Она прошла дальше, услыхала шум, остановилась и сначала с улыбкой, а потом со страхом начала оглядываться. Дровосек вылез из кустов и устремился к ней.

Таким образом они очутились лицом к лицу.

Он открыл объятия, чтобы схватить ее. Она пыталась закричать, позвать на помощь, но была не в силах это сделать. Он схватил свою жертву, взвалил ее на плечи и бросился бежать.

— Ну, что — убедились? — проговорил Ренин.— Разве вы думаете, что этот второстепенный исполнитель мог бы все это проделать с такой энергией, если бы дело шло о другой женщине?

Тем временем дровосек прибежал к берегу большой реки. Он положил тело безжизненной Розы-Андрэ в старую лодку и отчалил от берега.

Затем он причалил у опушки леса и унес принцессу к пещере, вход которой он принялся освобождать.

Ряд сцен изображали испуг мужа, поиски и путь, по которому шли преследователи.

Затем следовала развязка: борьба между человеком-животным и женщиной. В ту минуту, когда сопротивление ее было сломлено, врывается муж и выстрелом убивает насильника... человека-зверя.

Они вышли из кино в четыре часа. Они пошли пешком, а автомобиль Ренина следовал за ними. После долгого молчания, которое несколько обеспокоило Гортензию, Ренин спросил ее:

— Вы любите свою сестру?

— Да, очень.

— Однако вы на нее сердиты?

— Это прошло. Я ее ревновала к моему мужу. Признаться, без всякого повода. Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Я сам не знаю!.. Этот фильм меня преследует, выражение лица этого человека было такое странное!

Она взяла его за руку и живо воскликнула:

— Говорите же! Что вы подозреваете?

— Что я подозреваю? Все и ничего. Но я думаю, что ваша сестра в опасности.

— Простое предположение.

— Да, предположение, основанное на фактах. По-моему, сцена похищения изображает не нападение дровосека на «счастливую принцессу», а нападение актера на женщину, которую

он давно желает сделать своей. Конечно, все прошло по сценарию. Только Роза-Андрэ могла заметить кое-что. И я также ясно видел, с какой страстью сжимались руки этого человека, какие взгляды бросал он на свою жертву, которую он предпочел бы убить, нежели отдать другому. Я убежден, что во время этой сцены субъект этот был готов на все, даже на убийство!

— Но уже прошло столько времени,— возразила Гортензия,— теперь, следовательно, опасность миновала.

— Конечно, конечно... и все же я хотел бы получить кое-какие справки.

— Где?

— У того общества, которое «крутило» фильм. Вот контора этого учреждения. Войдите в автомобиль и подождите меня несколько минут.

Он позвал шофера и ушел.

Гортензия не была согласна с Рениным. Ей казалось, что актер просто хорошо исполнил свою роль. Она думала, что воображение увлекло Ренина.

— Ну,— сказала она, с оттенком иронии, когда он вернулся,— много узнали? Таинственное приключение?.. Трагедия?..

— Возможно,— ответил он с озабоченным видом.

Она тоже забеспокоилась:

— Что вы говорите?

Он все рассказал одним духом:

— Этого человека зовут Дальбреком. Это очень своеобразное, угрюмое, замкнутое существо, которое всегда держалось отдельно от своих товарищей. Не заметно, чтобы он ухаживал за вашей сестрой. Однако он так отличался во время съемок второго эпизода, что его пригласили для участия в новом фильме. Съемка производилась в окрестностях Парижа. Им были довольны, как вдруг случилось нечто неожиданное. В пятницу, восемнадцатого сентября, он взломал гараж автомобильного общества Мондиаль и укатил на прекрасной машине, захватив также 25 000 франков. Была подана жалоба. Автомобиль нашли в воскресенье в окрестностях Дрэ.

Гортензия с некоторым испугом заметила:

— Пока... никакой связи...

— Связь есть. Я узнал, что Роза-Андрэ, ваша сестра, этим летом путешествовала. Затем она прожила две недели в департаменте Л'Эр — своем имении «Счастливая принцесса». Ее пригласили в Америку. Она вернулась в Париж, сдала свой багаж на вокзале св. Лазаря и восемнадцатого сентября уехала, чтобы переночевать в Гавре. Пароход отходил в субботу.

— В пятницу, восемнадцатого,— прошептала Гортензия,— в тот же день, как и этот человек... Он ее похитил...

— Мы это узнаем,— сказал Ренин,— отправимся в контору Заатлантического общества.

На этот раз Гортензия сопровождала Ренина и сама наводила справки.

Скоро все справки были даны.

Роза-Андрэ заказала для себя каюту на пароходе «Ла Прованс», но пароход ушел в море без пассажирки, которая своевременно не явилась. На следующий же день в пароходной конторе за подписью Розы-Андрэ была получена телеграмма, в которой сообщалось, что она опоздала и просила сохранить ее багаж. Телеграмма была посланной из Дрэ.

Гортензия вышла на улицу глубоко взволнованная. Казалось, обстоятельства указывали на какое-то покушение. Все складывалось неблагоприятно, как это и почувствовал Ренин.

Затем они отправились в полицейскую префектуру. Они пересекли весь Париж. Он вышел, она же осталась в автомобиле.

— Прошу,— сказал он, открывая дверцы.

— Что-нибудь новое? Вас приняли? — озабоченно спросила она.

— Я не стремился быть принятым. Я хотел только встретиться с инспектором Морисо, которого мне однажды прислали, чтобы помочь в деле Дютрейля. Если в полиции что-либо известно, то мы узнаем все через него.

— Вы нашли его?

— Сейчас он в том маленьком кафе, которое виднеется там на площади.

Они вошли в кафе и сели за столик, за которым главный инспектор читал газету. Он их тотчас узнал. Ренин пожал ему руку и без вступления сказал:

— Я хочу сообщить вам об интересном дельце, в котором вы можете отличиться. Но, быть может, вы уже в курсе этого дела?..

— Какое дельце?

— Дальбрека!

Казалось, что Морисо удивился. С некоторым колебанием осторожно заговорил:

— Да, я знаю... газеты говорили об этом... кража автомобиля... 25 000 франков похищено. А завтра газеты заговорят об открытии, которое удалось сделать сыскной полиции. Дальбрек, оказывается, в прошлом году убил ювелира Бургэ.

— Речь идет о другом,— проговорил Ренин.

— О чем же?

— О похищении, совершенном им девятнадцатого сентября.

— А вы уже знаете?

— Да, я знаю.

— В таком случае,— объявил инспектор,— я вам все объясню. В субботу, девятнадцатого сентября, действительно, среди

бела дня одна дама на улице была похищена тремя бандитами и увезена в автомобиле. Газеты сообщили об этом случае, не давая имен ни жертвы, ни похитителей, так как эти имена не были им известны. Только вчера мне удалось установить личность одного из бандитов в Гавре. Это лицо похитило и 25 000 франков, и автомобиль, и молодую женщину. Фамилия его — Дальбрек. Что же касается молодой женщины, то — кто она, узнать не удалось.

Гортензия не прерывала инспектора. Когда он кончил, она вздохнула:

— Это ужасно... Несчастная погибла... и нет надежды!..

Обращаясь к Морисо, Ренин объяснил:

— Жертва является сводной сестрой этой дамы... Похищена знаменитая киноартистка Роза-Андрэ.

В нескольких словах он сообщил Морисо о своих подозрениях, когда они смотрели фильм «Счастливая принцесса», и рассказал о своих расследованиях.

Вокруг маленького столика водворилось продолжительное молчание. Главный инспектор, пораженный и в этот раз проницательностью Ренина, ожидал, что он скажет. Гортензия же умоляла его взглядом, точно прося сразу же проникнуть в эту тайну.

Он спросил Морисо:

— Три человека совершили похищение?

— Да.

— И их было трое в Дрэ?

— Нет. В Дрэ напали на след только двоих людей.

— Дальбрека?

— Не думаю. Его личность не установлена.

Ренин подумал несколько мгновений и затем разложил на столе большую дорожную карту.

Последовало новое молчание, после которого он обратился к инспектору:

— Вы оставили своих товарищей в Гавре?

— Да, двух инспекторов.

— Можете ли вы им телефонировать сегодня же вечером?

— Да.

— И попросить, чтобы в ваше распоряжение дали еще двух инспекторов.

— Да.

— Тогда приходите завтра в двенадцать часов...

— Куда?

— Сюда.

Он отметил пальцем точку на карте, которая была обозначена так — «Дуб в кадке». Это место находилось в лесной чаще Бротонского леса в департаменте Л'Эр.

— Здесь,— повторил он,— именно здесь в вечер похищения Дальбрек искал для себя убежище. До завтра, господин Морисо. Будьте аккуратны. Пять человек не слишком много, чтобы овладеть подобным человеком-зверем.

Инспектор не обнаружил признаков удивления, хотя этот всеведущий субъект его изрядно поражал. Он заплатил по счету, приложил по-военному руку к своему головному убору и проговорил:

— Мы будем на месте.

На следующий день в восемь часов утра Гортензия и Ренин покинули Париж в лимузине, которым управлял Клемон, шофер Ренина. Путешествие было молчаливое. Гортензия, невзирая на всю веру во всемогущество Ренина, провела очень тревожную ночь и с томительным беспокойством думала об исходе предприятия.

Они приближались к цели своего путешествия. Она спросила его:

— Какие у вас данные, что он увез ее в этот лес?

Он опять разложил на коленях дорожную карту и объяснил ей, что если провести прямую линию от Гавра до Дрэ, где был найден автомобиль, то эта линия дойдет до западной опушки Бротонского леса.

— Нам уже известно, что в Бротонском лесу была снята картина «Счастливая принцесса». И вот вопрос разрешается таким образом: Дальбрек, вероятно, в субботу, проезжая мимо леса, решил там скрыть свою жертву. Оба же его сообщника вернулись в Париж. Грот-пещера находится именно тут. Как не воспользоваться этим? Ведь несколько месяцев тому назад, когда снимали фильм, он отнес туда любимую женщину. Для него это приключение фатальным образом опять начиналось. Но сейчас это не игра, а реальность... Роза-Андрэ его пленница. Помощи ожидать нельзя. Лес огромный, и никого кругом нет. Этой ночью или в следующую ночь Роза-Андрэ должна ему отдаться.

Гортензия вздрогнула.

— Или она умрет. О, Ренин, мы прибудем слишком поздно.

— Почему?

— Подумайте... три недели... Не думаете ли вы, что он держит ее там в заключении!

— Не думаю. Место это находится на перекрестке дорог и не очень надежное. Но мы там, вероятно, найдем кое-какие указания.

Они позавтракали и проникли в густой Бротонский лес, полный средневековыми воспоминаниями. Ренин, хорошо знакомый с лесом, направил автомобиль к знаменитому дубу, ветки которого образовывали как бы широкую кадку. Не доез-

жая до дерева, оставив автомобиль, они пошли пешком. Там их ожидал Морисо с четырьмя внушительного вида молодцами.

— Идем,— сказал Ренин,— грот там, в чаще деревьев.

Они легко нашли его. Сваленные скалы прикрывали его вход, оставляя узкий проход между густым кустарником.

Ренин вошел в грот-пещеру и при помощи электрического фонарика осветил ее. На стенах виднелись разные надписи и рисунки.

— Ничего не видно,— сказал он Гортензии и Морисо,— но вот доказательства, которые я искал. Если Дальбрека привело сюда воспоминание о фильме, то помнила о фильме и Роза-Андрэ. В «Счастливой принцессе» героиня, когда ее похитили, по дороге ломает веточки, чтобы указать путь своим спасителям. Посмотрите, здесь с правой стороны у входа также можно заметить только что сломанные веточки.

— Пусть так,— согласилась Гортензия,— но ведь прошли три недели и с того времени...

— С того времени ваша сестра запрятана, вероятно, в более надежное место.

— Или она умерла и погребена под грудой сухих листьев.

— Нет, нет,— возразил Ренин, топая ногой,— невероятно, чтобы этот человек все это проделал ради какого-то бессмысленного убийства. Он вооружился терпением. Он, вероятно, хотел овладеть своей жертвой путем угроз, путем голода...

— Тогда?

— Будем искать.

— Но где?

— Будем руководствоваться, чтобы выйти из этого лабиринта, фильмом «Счастливая принцесса». В этой драме лесной человек спустился к реке со своей добычей. Сена отсюда в километре. Спустимся к Сене.

Они отправились дальше. Ренин следовал без колебаний, как хорошая гончая по следам. Они приближались к группе домов на берегу реки. Ренин направился к домику перевозчика и стал его расспрашивать.

Произошел быстрый диалог. Три недели тому назад перевозчик заметил исчезновение одной из принадлежащих ему лодок. Он отыскал ее через некоторое время в полмили ниже по течению.

— Вблизи хижины, где этим летом снимали кинофильм? — спросил Ренин.

— Да.

— Именно здесь высадили на берег похищенную женщину?

— Да. «Счастливую принцессу», или, вернее, госпожу Розу-Андрэ, которой принадлежит усадьба «Красотка».

— В настоящее время дом открыт?

— Нет. Владелица месяц тому назад, все заперев, уехала.

— Есть там сторож?

— Никого.

Ренин повернулся к Гортензии:

— Никакого сомнения! Это та тюрьма, которую он для нее избрал.

Охота продолжалась. Они проследовали по берегу Сены, стараясь не шуметь. Наконец, перед ними обрисовалась усадьба «Красотка», окруженная густой живой изгородью. Гортензия и Ренин узнали хижину «счастливой принцессы». Окна были забиты, дорожки заросли травою.

Они просидели там в кустах около часа. Инспектор начал проявлять признаки нетерпения. Молодая женщина начинала сомневаться, что ее сестра находится здесь в заключении. Но Ренин уверял:

— Она здесь, говорю я вам. Это математически точно. Дальбрек, безусловно, выбрал это место, чтобы сломить ее волю. Он надеется в этой хорошо знакомой обстановке сделать ее более послушной.

Вдруг послышались шаги. По дороге показалась фигура. Лица ее нельзя было разглядеть. Но тяжелая походка, весь облик был именно того человека, которого Ренин и Гортензия видели в фильме.

Так, за двадцать четыре часа на основании неясных указаний Ренин при помощи простых рассуждений дошел до разгадки целой драмы. И Ренин, и Дальбрек действовали и находились под влиянием фильма.

Дальбрек был одет бродягой в старый залатанный костюм. За плечами его был мешок, откуда высовывалось горлышко бутылки и краюшка хлеба. В руках он держал топор.

Он проник в усадьбу, прошел в сад и приблизился к дому.

Ренин задержал за руку Морисо, который хотел броситься вперед.

— Но почему? — спросила Гортензия.— Не надо позволять этому бандиту войти в дом... Иначе...

— А если у него есть соучастники? Поднимется тревога.

— Пусть! Главное — спасти мою сестру.

— А если мы прибудем слишком поздно, чтобы ее спасти? Придя в бешенство, он может ее убить на месте ударом топора.

Они стали ждать. Прошел еще целый час. Бездействие их раздражало. Гортензия временами плакала. Но Ренин настаивал на своем, и все ему подчинились.

День близился к закату. Уже первые ночные тени покрыли яблони. Вдруг открылась парадная дверь дома. Раздались крики ужаса и одновременно победы. Из дому выскочил человек. Он держал в руках, крепко прижимая к груди, женщину.

— Он!.. и Роза,— прошептала Гортензия.— О, Ренин, спасите ее!..

Дальбрек бросился бежать через лесную чащу, как сумасшедший, хохоча и воя диким голосом; невзирая на свою ношу, он совершал громадные скачки, напоминая дикое животное, опьяненное страстью и жаждой крови. Свободной рукой он взмахнул своим топором, блеснувшим в наступившей темноте... Роза страшно кричала. Он вдруг побежал к колодцу и протянул руки, как бы желая бросить в колодец молодую артистку.

Наступило страшное мгновение. Неужели он приведет в исполнение свое ужасное намерение? Но, видимо, он хотел лишь попугать молодую женщину, чтобы заставить ее быть послушной. Затем человек с ношей вернулся опять в дом. Раздались звуки задвигаемого затвора.

Удивительное дело! Ренин не двинулся с места. Он остановил агентов, готовых броситься в дом. Гортензия, схватив его за платье, стала умолять:

— Спасите же ее... Это сумасшедший... Он ее убьет... Я вас умоляю...

В эту минуту человек опять показался в одном из верхних окон дома. Он раскачивал над бездной Розу-Андрэ, как бы собираясь бросить ее вниз.

Казалось, он не мог решиться на это. Или это тоже была лишь угроза? Считал ли он, что Роза достаточно напугана и укрощена?.. Он скрылся.

На этот раз Гортензия победила. Она сжимала с отчаянием руку Ренина и умоляла его:

— Ради Бога!.. Я вас прошу!.. Чего же вы еще ожидаете?..

Он уступил.

— Хорошо,— согласился он,— пойдем, но не будем торопиться. Надо все обдумать.

— Обдумать!.. Но Роза... Он убьет Розу!.. Вы же видели топор... Это сумасшедший... Он ее убьет.

— У нас есть время,— сказал он,— я за все ручаюсь.

Гортензия оперлась на князя, так как не в силах была идти. Они подошли к дому. Ночная темнота скрывала их.

Они обошли сад и подошли к дому с задней стороны. Туда прошел Дальбрек в первый раз. Они, действительно, заметили маленькую дверь, которая, вероятно, вела на кухню.

— Взломайте дверь, когда надо будет, и войдите.

— Не пора ли уже,— пробурчал Морисо, сгоравший от нетерпения.

— Нет еще. Я сначала хочу узнать, что совершается в другой части дома. Когда я свистну, ломайте дверь и бросайтесь с револьверами на человека. Но не раньше, слышите! Мы играем большую игру...

— А если он будет отбиваться? Это же сумасшедшее животное!

— Пристрелите ему тогда ноги. И главное, захватите его живым. Вас же пятеро, черт возьми.

Он увлек Гортензию и успокоил ее.

— Скорей! Надо действовать. Верьте мне.

Она вздохнула:

— Я не понимаю... я ничего не понимаю.

— Я также,— отозвался Ренин.— В этом деле что-то меня заставляет сомневаться. Но я достаточно понимаю, чтобы опасаться непоправимого.

— Непоправимое — это убийство Розы.

— Нет,— возразил он,— это действие судебной власти. Это действие я и хочу предупредить.

Они обошли дом. Затем Ренин остановился перед окном нижнего этажа.

— Послушайте,— проговорил он,— говорят... вот в этой комнате.

Ему удалось найти в ставнях щель, через которую пробивался свет. При помощи ножа он открыл ставни. Тяжелая драпировка закрывала окно, но вверху она не соединялась.

— Поднимайтесь на подоконник,— прошептала Гортензия.

— Да! Если потребуется, я наведу свой револьвер на человека, а вы свистните, чтобы они атаковали дом с другой стороны. Вот вам свисток.

Он поднялся очень осторожно до того места, где драпировка не была затянула. В одной руке он держал револьвер, а в другой — алмаз для разрезания стекла.

— Вы ее видите? — прошептала Гортензия.

Он прильнул к стеклу и издал тотчас же звук удивления.

— А,— сказал он,— это невероятно!

— Стреляйте, стреляйте! — требовала Гортензия.

— Да нет же.

— Нет, нет, напротив!

Вся дрожа, она при помощи Ренина взобралась на подоконник.

— Смотрите!

Она приблизила свое лицо к стеклу.

— А! — отозвалась она, пораженная.

— Что вы скажете? Я подозревал нечто, но не это!

Две лампы и двадцать свечей освещали роскошную гостиную, уставленную восточными тахтами и украшенную коврами. На одной из тахт полулежала Роза-Андрэ. На ней было затканное серебром платье, которое она носила, когда участвовала в фильме «Счастливая принцесса». Ее дивные плечи были обнажены, в волосах сияли бриллианты и жемчуга.

Дальбрек стоял перед ней на коленях. Он был одет в охотничий костюм и смотрел на нее с восхищением. Роза улыбалась, счастливая, довольная, и водила своими белоснежными

руками по его волосам. Два раза она поцеловала его в лоб, а затем впилась в его рот жадным поцелуем. Глаза же ее выражали истому и страсть.

Полная сладострастия сцена! Они как бы слились взорами, губами, трепещущими руками. Их соединяло непреодолимое молодое желание, чувство исключительной и горячей взаимной любви. Ясно было, что в мирной и уединенной обстановке этой комнаты для них, помимо их страсти, их взаимного влечения, их поцелуев и ласк, ничего не существовало.

Гортензия не могла отвести своих глаз от этого неожиданного зрелища. Эти ли люди несколько минут тому назад играли со смертью? Была ли это действительно ее сестра? Она ее не узнавала. Она видела совсем другую женщину, обновленную, преображенную силой своей любви, всю глубину и жгучесть которой Гортензия ощущала всем существом своим.

— Боже,— прошептала она,— как она любит его! И такое чудовище! Возможно ли это!

— Надо ее предупредить,— сказал Ренин,— и с ней сговориться.

— Да, да,— согласилась Гортензия,— нельзя, чтобы она была замешана в скандале и аресте... Пусть она уйдет... Надо, чтобы об этом никто ничего не знал.

К несчастью, Гортензия была так возбуждена, что поторопилась. Вместо того, чтобы тихо постучать в окно, она с силой ударила по раме. Оба влюбленных с испугом вскочили, прислушиваясь. Ренин попытался вырезать стекло, чтобы объяснить им положение, но на это у него не хватило времени. Роза-Андрэ, зная, что полиция ищет ее возлюбленного и думая, что он в опасности, толкнула его к дверям.

Дальбрек подчинился. Роза, видимо, хотела, чтобы он спасся бегством через кухню. Оба они исчезли...

Ренин ясно предвидел, что должно было произойти. Беглец должен был попасть в засаду, которую Ренин же ему устроил. Могла произойти борьба, быть может, даже смерть кого-нибудь.

Он соскочил на землю и бросился бежать вокруг дома. Но путь был длинен, дорога темная и заваленная препятствиями. События быстро разыгрались. Пока он добежал, он услыхал звук выстрела и крик.

На пороге кухни при свете двух электрических карманных лампочек Ренин нашел Дальбрека с перебитой пулей ногой на земле. Он стонал, и его держали трое полицейских.

Роза-Андрэ в страшном волнении пыталась что-то объяснить.

Гортензия привлекла ее к себе и прошептала ей на ухо:

— Это я... твоя сестра... Я хотела тебя спасти... Ты узнаешь меня?

Казалось, что Роза ничего не понимала. Ее глаза блуждали, как у безумной.

Она подошла неровными шагами к полицейским и начала:

— Это отвратительно... Ведь этот человек ничего не совершил.

Ренин, не колеблясь, подхватил ее и, обращаясь с нею, как с больной, увлек ее в соседнюю гостиную, куда прошла и Гортензия.

Она яростно отбивалась и прерывающимся голосом протестовала:

— Это же преступление... По какому праву?.. Зачем его арестовывают? Да, я читала об убийстве ювелира Бургэ, но это ложь... Он может доказать свою невиновность.

Ренин уложил ее на диван и твердо сказал:

— Будьте спокойны. Не говорите ничего такого, что может вас скомпрометировать... Что же вы хотите? Этот человек все же похитил автомобиль и 25 000 франков.

— Мой предполагаемый отъезд в Америку заставил его потерять голову... Но автомобиль ведь нашли... Деньги же будут возвращены... Он их не тронул. Нет, нет, никто не имеет права с ним так поступать. Я здесь по доброй воле. Я люблю его... больше жизни... Так любят лишь раз... Я люблю, люблю его...

Несчастная не имела сил продолжать. Она говорила, как во сне. Наконец, она не выдержала, упала и потеряла сознание.

Час спустя Дальбрек лежал в отдельной комнате с крепко связанными руками. Доктор, приглашенный из соседнего города, перевязал раненую ногу и предписал своему пациенту полный покой до следующего утра. Морисо и его люди сторожили пленника.

Ренин же ходил по комнате, заложив руки за спину. Он имел веселый вид и с улыбкой временами поглядывал на обеих сестер, как бы любуясь тем зрелищем, которое они представляли.

— Что такое? — спросила Гортензия, заметив его настроение.

Он проговорил, потирая руки:

— Это смешно!

— Что именно вам кажется смешным? — с упреком спросила его Гортензия.

— О Господи! Ведь все смешно в этом деле! Роза-Андрэ занимается свободным флиртом с этим лесным человеком, обнимает его, покрывает страстными поцелуями, а мы в это время ищем ее в разных пещерах и чуть ли не в гробницах. Умора! Возможно, что в первую ночь она, действительно, была пленницей. Но утро застало ее живехонькой. Одной ночи было достаточно, чтобы Дальбрек приручил ее. Он показался ей принцем из сказки. В одну ночь!.. И они решили, что созданы

один для другого и удалились сюда, чтобы вполне отдаться своей любви. Но этого им показалось мало! Они решились завоевать себе будущее путем кино. И вот происходят репетиции тех фильмов, которые они совместными усилиями создают. Мы с ужасом присутствовали на этих репетициях, думая, что это не игра, а жуткая действительность. Признаться, я кое-что подозревал, кое о чем догадывался, но никогда не думал, что «счастливая принцесса» предпочла бесчестие смерти.

Видимо, все это приключение забавляло Ренина. Он продолжал:

— Все здесь произошло наоборот, не так, как в фильме. Я шел по следам «Счастливой принцессы», думая, что действие разовьется, как в фильме. Ничего подобного. Роза-Андрэ избирает совсем другой путь и в несколько часов превращается в самую влюбленную принцессу. Дальбрек, эта каналья, нас ловко провел. Ведь мы думали, судя по фильму, что это грубое животное, человек-зверь. А на деле оказывается, что он Дон-Жуан, сердцеед и женский обольститель.

Ренин опять стал потирать свои руки. Но он не продолжал, так как заметил, что Гортензия его не слушала. Роза очнулась. Гортензия ее обняла и нежно проговорила:

— Роза, Роза!.. Это я... Не бойся!

Она стала тихо ее успокаивать. Но Роза, хотя и стала приходить в себя, оставалась неподвижной и углубилась в свои собственные мысли. Видимо, она бесконечно страдала.

Ренин понял все ее горе, понял, что это горе надо уважать и бережно с ним обращаться. Он подошел к ней и тихо сказал:

— Я вам вполне сочувствую. Ваша обязанность, ваш нравственный долг защищать того, кого вы любите, и доказать его невиновность. Но, уверяю вас, не надо торопиться. Пусть лучше думают еще некоторое время, что вы его жертва. Завтра утром я сам дам вам совет, как действовать. А пока идите с сестрой в вашу комнату, соберитесь в дорогу, пересмотрите свои бумаги, чтобы следствие ничего не обнаружило против вас... Доверьтесь мне, право!

Ренин долго говорил еще и в конце концов ему удалось убедить молодую женщину. Она согласилась ждать.

Расположились в усадьбе на ночь. Провизии было достаточно. Один из полицейских приготовил обед.

Гортензия расположилась в одной комнате с сестрой своей. Морисо и два агента поместились в гостиной. Двое других полицейских остались при раненом.

Ночь прошла спокойно.

Рано утром жандармы, предупрежденные Клемоном, прибыли в усадьбу. Было решено, что Дальбрека отвезут в госпиталь местной тюрьмы. Ренин предложил свой автомобиль, который Клемон подал к дому.

Обе сестры спустились вниз. Роза-Андрэ выглядела как человек, готовый на все. Гортензия смотрела на нее с некоторым страхом. Ренин казался довольным.

Все было готово. Оставалось только разбудить Дальбрека и его сторожей.

Морисо сам отправился к пленнику. Он мог только удостоверить, что оба полицейских крепко спали, а Дальбрек исчез.

Ни полицейские, ни жандармы этим обстоятельством не смутились. Они были уверены, что раненого с перебитой ногой немедленно найдут. Никого не интересовали подробности этого бегства, Дальбрек, очевидно, спрятался в саду.

Начались поиски. Результаты этих поисков казались настолько очевидными, что Роза-Андрэ направилась к главному инспектору.

— Молчите! — шепнул ей Ренин, наблюдавший за нею.

Она пробормотала:

— Но его найдут... застрелят...

— Его не найдут,— проговорил Ренин.

— Откуда вы знаете?

— Я сам помог ему при помощи шофера своего бежать. Я подсыпал наркотик в кофе его сторожей; они ничего и не слыхали.

Она с удивлением возразила:

— Но он же ранен... Он умирает в каком-нибудь уголке.

— Нет.

Гортензия слушала, ничего не понимая, но успокоенная и полная веры в Ренина.

Он продолжал тихим голосом:

— Обещайте мне, что через два месяца, когда он поправится и вы все выясните в отношении его перед судебной властью, вы уедете с ним в Америку.

— Обещаю.

— И выйдете за него замуж?

— И это обещаю.

— Тогда идем, но ни одного слова удивления, ни одного жеста. Иначе вы все погубите.

Он позвал Морисо, который начинал впадать в отчаяние, и сказал ему:

— Господин главный инспектор, мы должны отвезти эту даму в Париж, где она будет окружена необходимым ей уходом. Но будьте уверены, что по поводу этого дела у вас неприятностей не возникнет. Я сегодня же вечером заеду в префектуру, где у меня хорошие связи.

Он дал руку Розе-Андрэ и подвел ее к автомобилю. Когда они шли, она вдруг пошатнулась и прошептала:

— А, боже мой, он спасен... Я его вижу!

Вместо Клемона сидел Дальбрек в костюме шофера. Большие очки и опущенный козырек делали его неузнаваемым, но Роза тотчас узнала своего возлюбленного.

— Садитесь,— сказал Ренин.

Она села рядом с Дальбреком. Ренин и Гортензия заняли свои места. Сам инспектор полиции с обнаженной головой провожал их.

Они пустились в путь. Но скоро в лесу им пришлось остановиться. Дальбрек, силой воли превозмогавший свои страдания, потерял сознание. Его уложили. На его место сел Ренин, а около последнего Гортензия. Затем новая остановка. Пришлось захватить шофера Клемона, который в костюме Дальбрека шел по дороге.

Затем в автомобиле водворилось молчание. Гортензия ничего не говорила и не расспрашивала Ренина. Ее даже не интересовал способ, примененный Рениным, чтобы увезти Дальбрека. Она все думала о своей сестре, о ее страстной любви, которая глубоко трогала ее.

Ренин сказал, когда приближались к Парижу:

— Я в эту ночь говорил с Дальбреком. Он, конечно, не виноват в убийстве ювелира. Это в общем добрый малый, нежный и преданный Розе-Андрэ. Наружность его обманчива.

И он добавил:

— Он прав: надо идти на все для того, кого любишь. Ей, его возлюбленной, надо жертвовать всем, ей надо дать радости жизни и счастья, и если она скучает, то развлечь ее разными приключениями, заставив смеяться... или даже плакать.

У Гортензии показались на глазах слезы. В первый раз он намекал на сентиментальное приключение, которое их соединило. Узы, которые их связывали и вначале были такие слабые, крепли все больше и больше. В присутствии этого удивительного человека, который подчинял события своей воле и который, казалось, играл с судьбой тех, против кого он боролся или кого защищал, она чувствовала себя слабой и неспокойной. Она его боялась и одновременно ее влекло к нему. Она думала о нем часто, как о своем повелителе, иногда же как о враге, против которого надо было защищаться. Чаще же всего в ее воображении он рисовался в виде нежного, преданного и полного очарования друга.

V

Случай Жана-Луи

Это произошло с такой быстротой, так внезапно, что Гортензия была совершенно ошеломлена. Они переходили Сену, через мост, как вдруг заметили, что какая-то женщина быстро вскочила на парапет и бросилась в воду. Со всех сторон послышались крики. Гортензия схватила Ренина за руку и воскликнула:

— Что вы делаете?.. Вы же не броситесь в воду!.. Я вам запрещаю это...

Пиджак ее спутника остался у нее в руках. Ренин перескочил через перила моста... Больше она ничего не видела. Через три минуты, увлеченная людским потоком, она очутилась на берегу реки. Ренин взбирался по лестнице. Он нес молодую женщину с черными волосами, прилипшими к мертвенно-бледному лицу.

— Она жива,— объявил Ренин,— скорей надо отнести ее в аптеку и оказать первую помощь. Никакой опасности для нее нет.

Он передал спасенную двум полицейским, пробрался через толпу зевак и репортеров, стремящихся узнать его имя, к автомобилю и усадил в него Гортензию.

— Ловко! — воскликнул он через мгновение, когда они покатили,— пришлось выкупаться. Это, дорогой друг, у меня нечто непреоборимое: если кто-либо в моем присутствии бросается в воду, то я должен непременно последовать за ним. Атавизм какой-то!

Он вернулся к себе и переоделся. Гортензия ожидала его возвращения в автомобиле. Он вернулся и приказал шоферу:

— Улица Тильзит.

— Куда мы отправляемся? — спросила Гортензия.

— Узнать, как себя чувствует молодая особа.

— У вас есть ее адрес?

— Да. Я прочитал ее адрес на браслете, а также ее имя — Женевьева Эймар. Итак, мы ее посетим. Конечно, мне ее благодарности не надо. Я просто любопытен. Мне уже удалось спасти около дюжины таких девушек. Всегда одно и то же: разочарование в любви и обычно в любви самой вульгарной. Вы увидите сами, дорогой друг.

Когда они вошли в квартиру по улице Тильзит, из комнаты спасенной выходил доктор. По словам прислуги, молодая девушка чувствовала себя хорошо и спала. Ренин сообщил, что он спас тонувшую, передал свою визитную карточку. Из ком-

наты дочери выбежал отец с протянутыми руками и слезами на глазах.

Это был почтенного вида человек, слабого сложения, который, не ожидая вопросов, начал взволнованно объяснять:

— Это уже второй раз! Неделю тому назад мое бедное дитя пыталось отравиться. Какой ужас! Я готов отдать ради нее последнюю каплю крови! «Я не хочу жить, я не хочу жить!» — вот все, что она отвечает на вопросы. Боже, как это ужасно! И почему, по какой причине!

— Да, почему? — спросил Ренин,— расстроенный брак?

— Да, верно!.. Бедная девочка так впечатлительна...

Ренин прервал его и стал предлагать ему вопросы:

— Будем методичны. Мадемуазель Женевьева была невестой?

Господин Эймар не уклонился от ответа и сказал:

— Да. С весны. В Ницце на Пасху мы познакомились с Жаном-Луи д'Ормивалем. Когда мы вернулись в Париж, этот молодой человек, живущий обычно с матерью и теткой в деревне, приехал сюда и поселился вблизи нас. Обрученные виделись ежедневно. Сознаюсь вам, Жан-Луи Вобуа мне был не очень симпатичен.

— Простите,— заметил Ренин,— вы называли его сейчас Жаном-Луи д'Ормивалем.

— Это тоже его фамилия.

— У него их, значит, две.

— Я не знаю. Тут какая-то загадка.

— Под каким именем он вам представился?

— Жан-Луи д'Ормиваль.

— А Жан-Луи Вобуа?

— Так он был представлен моей дочери одним господином, знавшим его. Впрочем, это не так важно — Вобуа или д'Ормиваль?! Моя дочь его обожала. Казалось, он также питал в отношении ее пламенную страсть. Этим летом на берегу моря они всегда были вместе. И вот вдруг месяц тому назад, когда Жан-Луи поехал к матери и тетке, моя дочь получила следующее письмо:

«Женевьева! Непреодолимые препятствия мешают нашему счастью. С полным отчаянием я от него отказываюсь. Я вас так же безумно люблю, как и прежде. Прощайте! Простите меня».

— Через несколько дней после получения этого письма моя дочь совершила первую попытку самоубийства.

— Почему этот разрыв? Новая любовь? Старая связь?

— Нет, не думаю. Но в жизни Жана-Луи какая-то тайна, вернее, целый ряд тайн и загадок, которые его преследуют. Лицо его всегда, даже в минуты любви, выражает грусть, тоску, бесконечную печаль. Точно что-то гложет его сердце.

— Ваше впечатление нашло подтверждения?.. А по поводу его двойной фамилии вы его не спрашивали?

— Да, два раза. В первый раз он мне ответил, что тетку его звали Вобуа, а мать — д'Ормиваль.

— А во второй?

— Противоположное. Он заговорил о своей матери Вобуа и тетке д'Ормиваль. Я ему это заметил. Он покраснел, а я не настаивал.

— Живет он далеко от Парижа?

— В Бретани... Замок д'Эльсевен, в восьми километрах от Кархэ.

Ренин слегка задумался и затем сказал несчастному отцу:

— Я не хочу беспокоить вашу дочь. Но скажите ей следующее: «Женевьева, тот господин, который спас тебя, ручается своей честью, что через три дня он приведет тебе твоего жениха. Напиши Жану-Луи несколько слов, которые этот господин ему передаст».

Старик был ошеломлен. Он пробормотал:

— Вы могли бы?.. Моя бедная девочка была бы спасена?.. Она была бы так счастлива?

И он добавил тихим голосом, в котором как бы чувствовался стыд:

— О! Умоляю, действуйте скорее. Поведение моей дочери заставляет меня предполагать, что она нарушила свою девичью честь...

— Молчите,— прервал его Ренин,— есть слова, которые не следует говорить.

...В тот же вечер Ренин и Гортензия по железной дороге отправились в Бретань.

В десять часов утра они прибыли в Кархэ, откуда отправились дальше автомобилем, который им одолжил один из местных жителей.

— Вы несколько бледны, дорогой друг,— сказал со смехом Ренин Гортензии, когда они остановились перед парком д'Эльсевена.

— Признаться,— проговорила она,— эта история меня сильно взволновала. Девушка, которая два раза покушается на самоубийство... Какая храбрость!.. Я боюсь...

— Чего вы боитесь?

— Я боюсь, что вам это дело не удастся. Разве вы не беспокоитесь?

— Дорогой друг,— ответил он,— я вас, вероятно, удивлю, если скажу, что мне страшно весело.

— Почему?

— Я и сам не знаю. По-моему, вся эта история, которая вас так волнует, имеет комический характер. Д'Ормиваль... Вобуа!.. Пахнет стариной! Будьте покойны.

Они прошли через главный вход. Там стояли две башенки, одна с инициалами госпожи д'Ормиваль, а другая — госпожи Вобуа. От каждой из них шли дорожки направо и налево среди кустарников и буковых деревьев.

Главная же аллея вела к низкому, некрасивому, тяжелому зданию. Это здание было снабжено двумя уродливыми флигелями, к которым вели каждая из упомянутых дорожек. Налево жила, очевидно, госпожа д'Ормиваль, а правое крыло занимала госпожа Вобуа.

Звук голосов остановил Гортензию и Ренина. Они стали прислушиваться. Из окна нижнего этажа, по стенам которого ползли дикий виноград и дикие розы, доносились резкие, неприятные крики спорящих.

— Нам идти дальше нельзя,— сказала Гортензия,— это будет неловко.

— Напротив,— прошептал Ренин,— в подобных случаях нескромность является обязанностью. Мы же ведь явились сюда, чтобы кое-что узнать. Пойдем прямо, тогда спорящие нас не заметят.

Спор разгорался. Когда они приблизились к окну, они увидели двух старых дам, которые, грозя кулаками, кричали одна на другую.

Они находились в обширной столовой, где стоял накрытый обеденный стол. За столом сидел с газетой и трубкой в зубах молодой человек, вероятно Жан-Луи, не обращавший внимания на мегер.

Одна из них, худая и высокая, была одета в зеленоватое шелковое платье. Ее белокурые локоны не соответствовали ее старому и увядшему лицу. Другая, еще более тощая, но совсем маленькая, была в пестром ситцевом халате. Ее накрашенное лицо дышало злобой.

— Поганая вы, вот что! — кричала она,— вы злюка и еще воровка!

— Я — воровка? — завопила другая.

— А история с уткой в десять франков? Это разве не воровство?

— Молчите, негодяйка! Кто у меня слямзил пятьдесят франков? Господи, и жить с такой мерзостью!

Тогда другая вскочила, как ужаленная, и бросилась к молодому человеку:

— И ты, Жан, позволяешь этой сволочи д'Ормиваль меня оскорблять?

На это высокая со злобой возразила:

— «Сволочь»! Ты слышишь, Луи? Вот тебе твоя Вобуа, с лицом и манерами старой кокотки! Да заставь же ее замолчать.

Вдруг Жан-Луи ударил кулаком по столу и закричал:

— Оставьте меня в покое, старые дуры!

Тогда они повернулись к нему и вдвоем принялись осыпать его бранью:

— Подлец... лицемер... лгун!.. Негодный сын... сын прохвоста и сам прохвост!..

Оскорбления так и сыпались на молодого человека. Он заткнул пальцами уши и стал обнаруживать признаки явного нетерпения, как человек, доведенный до белого каления.

Ренин прошептал:

— Что я вам говорил? В Париже — драма, а здесь — комедия. Войдем.

— В разгар ссоры? — запротестовала молодая женщина.

— Именно.

— Однако...

— Дорогой друг, мы здесь не для того, чтобы шпионить, но для того, чтобы действовать. Мы сбросим с них маски и лучше узнаем их.

Решительными шагами он подошел к двери, открыл ее и вошел в комнату в сопровождении Гортензии.

Их появление произвело целый переполох. Обе женщины замолчали, краснея от бешенства. Жан-Луи побледнел и встал.

Пользуясь общей суматохой, Ренин заговорил:

— Позвольте представиться: князь Ренин... Госпожа Даниель... мы друзья мадемуазель Женевьевы Эймар и прибыли сюда с поручением от нее... Вот письмо, которое вам адресовано.

Жан-Луи окончательно смутился, как только было произнесено имя Женевьевы. Не зная, что делать, и желая быть любезным по примеру Ренина, он забормотал:

— Госпожа д'Ормиваль, моя мать... Госпожа Вобуа, моя мать...

Последовало довольно продолжительное молчание. Ренин поклонился. Гортензия не знала, которой из матерей протянуть сначала руку. Но обе старухи одновременно попытались схватить письмо, которое держал князь, с возгласами:

— Мадемуазель Эймар!.. Какая наглая!.. Какая дерзкая!

Тогда Жан-Луи, к которому вернулось самообладание, схватил одну старуху и выставил ее в левую дверь, а другую — в правую. Потом он вернулся к посетителям, распечатал письмо и вполголоса прочитал:

«*Жан-Луи, я вас прошу принять подателя этого письма. Имейте к нему доверие. Я люблю вас. Женевьева*».

Это был довольно неуклюжий молодой человек с загорелым худым лицом. На этом лице, как отметил отец Женевьевы, действительно, отражалось какое-то сильное душевное страдание и отчаяние. Это страдание отражалось в каждой черточке, а особенно в глазах, полных безысходной грусти.

Он несколько раз повторил имя Женевьевы, рассеянно оглядываясь кругом. Казалось, он не знал, как держать себя. Сложилось впечатление, что он готов объясниться. Но он не находил нужных слов. Он был совершенно смущен и выбит, так сказать, из седла.

Ренин понял, что противник его легко сдастся. Он так упорно боролся в течение нескольких месяцев и так, видимо, устал, что неспособен был защищаться. Особенно теперь, когда проникли в его ужасную домашнюю обстановку.

Ренин с места повел атаку:

– Уже два раза после вашей размолвки Женевьева Эймар покушалась на самоубийство. Я приехал вас спросить, будет ли ее неизбежная смерть в ближайшем будущем развязкой вашей любви?

Жан-Луи упал на стул и закрыл лицо руками.

– О,– воскликнул он,– она хотела покончить с собой... О, возможно ли это!

Ренин не дал ему вздохнуть. Ударив его слегка по плечу, он проговорил:

– Верьте, что в ваших же интересах довериться нам. Мы друзья Женевьевы Эймар. Мы обещали ей нашу помощь. Откройте нам всю правду...

Молодой человек поднял голову.

– Вы же сами видите,– сказал он с угнетенным видом,– вы же слышали! Вы уже догадываетесь о том, как я живу. Что же мне вам еще сказать, чтобы вы мою тайну могли сообщить Женевьеве?.. Ведь жестоко и смешно объяснять ей, почему я не мог к ней вернуться, почему я не имею права это сделать.

Ренин взглянул на Гортензию. Через двадцать четыре часа после признаний отца Женевьевы он получил также признание Жана-Луи.

Жан-Луи подал стул Гортензии. Все сели, и молодой человек, точно чувствуя потребность высказаться, стал рассказывать:

– Не удивляйтесь, если свою историю я вам передам в несколько юмористическом виде. Она, право, настолько смешна, что заставит вас смеяться. Часто судьба устраивает нам в жизни совершенно невероятные шутки, точно эти шутки изобрел мозг сумасшедшего или пьяного. Судите сами.

Двадцать семь лет тому назад эта усадьба, дом которой состоял из одной центральной части, принадлежала старому врачу, который, чтобы увеличить свои скромные доходы, пускал двух-трех жильцов. Случилось так, что одно лето здесь провела госпожа д'Ормиваль, а госпожа Вобуа – следующее. Эти особы одна другую не знали. Одна из них была замужем за капитаном дальнего плавания, а другая за коммерсантом. Мужья их умерли почти одновременно, и обе женщины оказа-

лись в интересном положении, как говорят. Обе они написали доктору, что для родов приедут к нему.

Доктор согласился. Приехали они как-то осенью почти одновременно. Им отвели две комнатки, расположенные за этой гостиной. Доктор пригласил сестру милосердия, которая ночевала здесь же. Все шло отлично. Дамы шили белье и между ними царило полное согласие. Так как обе хотели иметь непременно сына, то заранее они выбрали ему имена: Жана и Луи.

Раз доктор отлучился к больному со своим лакеем, объявив, что он вернется только на следующий день.

Горничная в отсутствии хозяина улизнула к своему возлюбленному. Тут произошел ряд дьявольских случайностей.

Около двенадцати часов ночи госпожа д'Ормиваль почувствовала первые приступы родовых болей. Сестра милосердия, мадемуазель Бусиньоль, которая немножко понимала в акушерстве, не растерялась. Но через час начала страдать госпожа Вобуа. Тут-то и произошла трагикомедия. Сестра металась между двумя пациентками, которые стонали и кричали, открывала окно и звала доктора, а временами бросалась на колени и молилась.

Первой разрешилась от бремени госпожа Вобуа. Она родила мальчика, которого мадемуазель Бусиньоль поспешно перенесла в гостиную, обмыла и положила в предназначенную ему колыбельку.

Но в это время стала раздирающе кричать госпожа д'Ормиваль. Сестра милосердия поспешила к ней, а новорожденный, мать которого потеряла сознание, в это время задал свой концерт.

Примите еще во внимание общий беспорядок, единственную лампу с догорающим керосином, свечи, не желающие гореть, яростные порывы ветра... одним словом, мадемуазель Бусиньоль с ума сходила от страха. Наконец, около пяти часов она принесла сюда мальчика госпожи д'Ормиваль. Она занялась новорожденным, уложила его и поспешила к госпоже Вобуа, требовавшей ее помощи. А госпожа д'Ормиваль в свою очередь потеряла сознание.

Когда же, наконец, мадемуазель Бусиньоль, шатаясь от усталости, вернулась к новорожденным, она с ужасом заметила, что завернула их в одинаковое белье, одела им одинаковые чулочки и положила обоих рядом в одну и ту же колыбельку. Таким образом, нельзя было определить, который Луи д'Ормиваль и который Жан Вобуа.

Кроме того, оказалось, что один из них уже не дышал и начинал холодеть. Он умер. Как он назывался? Как звали того, который жил?

Через три часа вернулся доктор. Он застал обеих матерей в полном отчаянии. Сестра милосердия просила у них прощения

и протягивала им меня. Они меня целовали, а потом отталкивали. Ведь неизвестно было, кто я такой, чье имя ношу. Никаких указаний, никаких признаков.

Доктор умолял обеих женщин принести себя в жертву, тоесть одной из них отречься от меня. Ни одна из них на это не согласилась.

— Почему Жан Вобуа, если это д'Ормиваль? — протестовала одна.

— Почему Луи д'Ормиваль, если это Жан Вобуа? — возражала другая.

Объявили, в конце концов, что зовусь я Жан-Луи, а мать и отец мои неизвестны.

Князь Ренин все это слушал молча. Но Гортензия, по мере того, как рассказ приближался к развязке, с большим трудом удерживалась от припадка смеха. Молодой человек это заметил.

— Простите,— пробормотала она,— это нервное!

Он ответил тихо, без горечи:

— Не извиняйтесь. Я вас предупредил, что моя история — какой-то злой фарс. Да, все это кажется бесконечно смешным, но в действительности это не было смешно. С внешней стороны история эта смешна, а с внутренней она ужасна. Станьте в положение обеих матерей. Они полюбили мальчика, болезненно и страстно, но безумно ревновали его одна к другой. И обе женщины начали смертельно ненавидеть одна другую. Им пришлось жить вместе, так как ни одна не была в силах расстаться с мальчиком, но жили они с тех пор, как самые заклятые враги.

Я вырос среди этих человеконенавистнических чувств. Если мое сердце меня направляло к одной, другая начинала меня за это преследовать. В этом доме, который они купили у покойного доктора и к которому пристроили два флигеля, я был невольным палачом и вместе с тем жертвой. Ужасное детство, кошмарная юность! Вероятно, редко кто так страдал, как я.

— Надо было их покинуть! — воскликнула Гортензия, которая больше не смеялась.

— Свою мать не бросают,— ответил он,— а одна из этих женщин — моя мать. И мать не может покинуть своего сына. Каждая думает, что именно она моя мать. Мы живем, точно каторжники, прикованные к одной тачке. Мы оскорбляем друг друга, упрекаем, вечно спорим!..

Ад, а не жизнь! И как убежать?.. Я несколько раз пробовал... Напрасно! Оборванные связи опять восстанавливались.

Еще этим летом, когда я полюбил Женевьеву, я хотел сбросить с себя эти цепи... Я попытался убедить обеих женщин, но не тут-то было. Они возмутились, взбунтовались против посторонней женщины, которую я собирался ввести в наш семейный круг... Мне пришлось уступить. Что делала бы здесь Же-

невьева между госпожой д'Ормиваль и госпожой Вобуа? Имел ли я право принести ее в жертву?

Жан-Луи, произнеся последние слова, воодушевился. Он произнес их твердым голосом, как бы желая, чтобы поняли, что он подчиняется своей совести и долгу. В сущности же, Ренин и Гортензия поняли, что он просто слабовольный человек, неспособный бороться с создавшимся нелепым положением вещей. Он нес свой крест с самого детства, не имея силы сбросить свое бремя. И вместе с тем он стыдился все правдиво рассказать и ничего обо всем этом не сообщил Женевьеве.

Он сел перед письменным столом и набросал письмо, которое протянул Ренину.

— Пожалуйста, передайте это письмо мадемуазель Эймар и скажите ей, что я умоляю ее простить меня.

Ренин не шевельнулся. Когда же молодой человек повторил свою просьбу, он взял письмо и разорвал его.

— Что это значит? — спросил Жан-Луи.

— Это значит, что ваше поручение я на себя не беру.

— Но почему?

— Потому что вы поедете с нами.

— Я?

— Именно. Завтра же вы будете просить руки мадемуазель Эймар.

Молодой человек с некоторым презрением взглянул на Ренина. На лице его как бы отразилась мысль: «Вот человек, который ровно ничего не понял из всего того, что я ему рассказал».

Гортензия подошла к Ренину:

— Скажите ему, что Женевьева покушалась на самоубийство. Она непременно лишит себя жизни.

— Это бесполезно. Все произойдет так, как я говорю. Мы поедем все трое через час или два, а завтра же будет сделано предложение.

Молодой человек пожал плечами и засмеялся:

— Вы говорите с большой самоуверенностью!

— У меня есть основания для этого.

— Какие основания?

— Я вам сообщу одно, если вы согласитесь помочь мне разъяснить это дело.

— Какой смысл? С какой целью? — возразил Жан-Луи.

— С целью установить, что рассказанная вами история не вполне соответствует истине.

Жан-Луи возмутился:

— Верьте, что я не сказал ни одного слова неправды.

— Я плохо выразился,— очень мягко заметил Ренин,— вы, конечно, сообщили то, что считали правдой. Но видите ли, правда не там, не то, что вы предполагаете.

Молодой человек скрестил руки на груди:

— Все же больше шансов, что я правду знаю лучше вас.

— Едва ли! То, что вы знаете, вы знаете из уст третьих лиц. У вас нет никаких доказательств. Нет их ни у госпожи д'Ормиваль, ни у госпожи Вобуа.

— Доказательств чего? — воскликнул Жан с нетерпением.

— Никаких доказательств того, что младенцев перепутали.

— Как? Но это же факт. Обоих новорожденных положили в одну и ту же колыбельку. Никаких знаков отличия у них не было. Сестра милосердия не могла различить...

— Она так говорит...

— Что вы говорите? Вы, значит, обвиняете эту женщину?

— Я ее не обвиняю.

— Но вы же утверждаете, что она солгала! И с какой, позвольте вас спросить, целью? Она сама, как все подтвердили, была в полном отчаянии. А главное, какая у нее могла быть цель?

Жан-Луи был очень возбужден. В комнату неслышно вошли обе матери, которые подслушивали за дверями. Они прошептали:

— Нет... нет... это невозможно... Мы ее расспрашивали сто раз. Зачем ей было лгать?

— Говорите, говорите же,— стал требовать Жан-Луи,— объяснитесь! Изложите вашу точку зрения.

— Потому,— повысив голос, сказал Ренин,— что ваша правда неприемлема. Нет, подобные события случаются не так!.. Нет, судьба таких жестоких сюрпризов не устраивает. Уже и то необыкновенный случай, что, когда доктор, его лакей и горничная покинули дом, обе дамы вдруг одновременно почувствовали приближение родов. Не будем доверять всем этим изумительным совпадениям: этим лампам, которые не горят, этим свечам, которые тухнут. Нельзя допустить, чтобы акушерка могла прийти в такое смятение и так все перепутать. В ней, хотя бы она и была перепугана, должен был действовать профессиональный инстинкт. Я отрицаю, что она могла перепутать младенцев. Всегда остается в памяти какая-нибудь маленькая подробность, которая отличает одного от другого. Я утверждаю самым категорическим образом, что сестра милосердия Бусиньоль не могла перепутать обоих новорожденных.

Князь говорил это с такой силой, с такой убежденностью, что все присутствующие невольно проникались его точкой зрения. Ему удалось поколебать у старух доверие к тому, что они считали правдой в течение четверти века.

Все окружили Ренина и стали с волнением спрашивать его:

— Значит, по-вашему, эта женщина знает? Она могла бы открыть нам тайну?

Он продолжал:

— Я ничего не предрешаю. Я говорю только, что поведение мадемуазель Бусиньоль является совершенно загадочным и то, что она утверждает, не согласуется с истиной. Она что-то знает. Дело не в ее рассеянности, а в чем-то другом. Тайна, которая вас всех троих тяготит столько лет, находится в ее руках.

— Что вы утверждаете? — воскликнул Жан-Луи.

— Вот что было,— горячо перебил его Ренин,— я не видел всего этого события, но путем рассуждений, дедукций и логики ясно рисую себе всю картину. И я прихожу к выводу, что сестра милосердия Бусиньоль является обладательницей тайны, которая нам неизвестна...

Жан-Луи глухо проговорил:

— Она ведь жива!.. Она живет недалеко!.. Ее можно заставить приехать...

Тотчас обе матери закричали:

— Я еду. Я ее привезу.

— Нет,— возразил Ренин,— это неудобно.

Тогда Гортензия предложила:

— Хотите, чтобы я отправилась! Я беру автомобиль и вернусь с этой женщиной. Где она живет?

— В центре Кархэ,— сказал Жан-Луи,— у нее там лавчонка. Шофер вам скажет... Все знают мадемуазель Бусиньоль.

— И особенно, дорогой друг,— заметил Ренин,— ни о чем ее не предупреждайте. Если она будет беспокоиться, тем лучше. Но не надо, чтобы она знала, зачем ее вызывают сюда. Это существенно необходимо.

Тридцать минут прошли в полном молчании. Ренин ходил по комнате и осматривал прекрасную мебель, всю обстановку, картины, которые свидетельствовали о хорошем вкусе Жана-Луи, так как эта комната была именно его. Рядом же в комнатах старух царила полная безвкусица.

Ренин подошел к молодому человеку и прошептал:

— Они богаты?

— Да.

— А вы?

— Они пожелали, чтобы это имение принадлежало мне. Это меня вполне обеспечивает.

— Есть у них семьи?

— Сестры. У одной и другой.

— Куда они могли бы уехать?

— Да, они иногда об этом думали... Но... вопроса об этом не может возникнуть. Я боюсь, что ваше вмешательство испортит все дело. Я утверждаю еще раз...

В это время подкатил автомобиль. Обе старухи вскочили, собираясь заговорить.

— Предоставьте все мне...— остановил их Ренин,— и ничему не удивляйтесь. Ее надо испугать, ошеломить. Тогда она заговорит.

Из автомобиля вышла Гортензия. Она помогла выйти старой женщине, одетой в местный костюм.

Старуха вошла со страхом. У нее было птичье лицо с острыми чертами, маленькие зубки выступали вперед.

— В чем дело? Здравствуйте, мадам д'Ормиваль,— проговорила она, озираясь боязливо кругом.— Здравствуйте, мадам Вобуа!

Никто ничего ей не ответил. Ренин же вышел вперед и строго проговорил:

— Я вам сейчас сообщу, в чем дело, мадемуазель Бусиньоль. Но вслушайтесь в каждое мое слово. Дело серьезное!

У него был вид строгого судебного следователя, для которого вина обвиняемого очевидна.

Он продолжал:

— Мадемуазель Бусиньоль, я прибыл сюда из Парижа по поручению полиции, чтобы выяснить драму, происшедшую двадцать семь лет тому назад. Мне известно, что, благодаря именно вам, гражданское состояние одного из новорожденных в эту ночь установлено неправильно. Вы сделали ложные заявления. По уголовным законам, подобные ложные заявления строго караются. Я вас отвезу в Париж. Там в присутствии вашего защитника вы дадите показания.

— В Париж?.. Моего защитника? — простонала мадемуазель Бусиньоль.

— Это необходимо, так как вас, вероятно, арестуют. Вот разве,— бросил Ренин,— вы немедленно согласитесь во всем сознаться и исправить таким образом последствия вашей вины.

Старая дева задрожала. Она, очевидно, не могла противиться Ренину.

— Согласны ли вы во всем сознаться? — спросил он.

Она рискнула:

— Мне не в чем сознаваться, так как я ничего не совершила.

— В таком случае, едем,— проговорил он.

— Нет, нет,— взмолилась она,— добрый господин, не губите!

— Решайтесь!

— Хорошо! — чуть слышно прошептала она.

— Немедленно. Мне пора на поезд. Надо, чтобы это дело было немедленно ликвидировано. Если вы будете колебаться, я вас увожу. Понимаете?

— Да.

— Ну-с, тогда говорите прямо, без уверток.

— Чей это сын? — спросил он, указывая на Жана-Луи.— Госпожи д'Ормиваль?

— Нет.

— Тогда госпожи Вобуа?

— Нет.

За этим ответом последовало гробовое молчание и минута общего оцепенения.

— Объяснитесь,— приказал Ренин, глядя на часы.

Тогда мадемуазель Бусиньоль упала на колени и прерывающимся от волнения голосом рассказала:

— Вечером в тот день пришел какой-то господин с новорожденным, которого он хотел поручить заботам доктора. Так как доктора не было, он всю ночь ожидал его и потом он же все сделал.

— Что именно? — спросил Ренин.— Что произошло?

Он схватил старуху за руки и смотрел на нее пристальным взором. Жан-Луи и обе матери со страшным волнением ожидали ответа. Их жизнь зависела от тех слов, которые она скажет.

Она произнесла, наконец, эти слова, сложив молитвенно руки, как во время исповеди.

— Случилось так, что оба новорожденных умерли: и сын госпожи д'Ормиваль, и сын госпожи Вобуа. Умерли они от конвульсий. Тогда тот господин, видя это, сказал мне... Я помню каждое слово... Он сказал мне следующее:

— Обстоятельства указывают мне мой долг. Я должен воспользоваться случаем, чтобы мой мальчик попал в надежные руки. Положите его вместо одного из покойных.

Он предложил мне порядочную сумму денег, говоря, что ему теперь помесячно не надо будет платить за своего мальчика. Я согласилась. Но вместо кого его положить? Господин подумал и сказал: «Пусть он будет ни д'Ормиваль, ни Вобуа». И он сказал мне, что я должна потом всем объяснить. Затем, пока я переодевала его мальчика, господин завернул один из трупиков в одеяло и унес его.

Мадемуазель Бусиньоль опустила голову и принялась плакать. Через некоторое время Ренин добродушно сказал ей:

— Я не скрою от вас, что ваше признание совпадает с данными следствия. Это вам послужит на пользу.

— Я не поеду в Париж?

— Нет.

— Вы меня не увезете? Я могу удалиться?

— Да. Сейчас вы не нужны.

— И здесь обо всем этом не будет лишних разговоров?

— Нет. Еще одно слово. Вы знаете фамилию этого господина?

— Он мне ее не сказал.

— Вы его потом видели?

— Никогда.

— Ничего больше не имеете сказать?
— Ничего.
— Вы готовы подписать текст своего признания?
— Да.
— Хорошо! Через неделю вас вызовут к следователю. А пока никому ничего не болтайте.

Она встала, перекрестилась и при помощи Ренина, так как ноги у нее подкашивались, вышла. Он ее вывел наружу и закрыл за нею дверь.

Когда он вернулся, то застал Жана-Луи между обеими старухами; все трое держались за руки. Ненависть, взаимная антипатия между ними исчезли. Все они успокоились и получили душевное облегчение.

— Поторопимся,— сказал Ренин Гортензии,— наступает решительный момент боя. Нам надо забрать Жана-Луи.

Гортензия имела рассеянный вид. Она прошептала:

— Почему вы позволили этой женщине уехать? Вы удовлетворены ее показанием?

— Я им удовлетворен не был. Она рассказала о том, что произошло. Что же вы хотите еще?

— Ничего... Я не знаю.

— Мы потом об этом опять поговорим, дорогой друг. А сейчас, повторяю, нам надо увезти Жана-Луи. И немедленно. А то!..

И, обратившись к молодому человек, он сказал:

— Вы, вероятно, согласны с тем, что обстоятельства так сложились, что всем троим вам надо расстаться. Вы должны ехать сейчас с нами, так как самое главное — спасти вашу невесту.

Жан-Луи заколебался. Ренин повернулся к старухам:

— Вы, вероятно, того же мнения.

Они утвердительно кивнули головами

— Вы видите! — сказал он Жану-Луи.— Они согласны со мной. Когда случаются подобные кризисы, разлука очень полезна. Возможно, что эта разлука не будет долго длиться. Ведь, в крайнем случае, вы всегда можете покинуть Женевьеву Эймар и опять начать свой прежний образ жизни. А жениться на ней ведь вы обязаны, это ваш долг... Ну, едем?

И, не давая молодому человеку опомниться, он заставил его собраться в дорогу.

Через полчаса Жан-Луи покинул свою усадьбу.

— Он вернется женатым,— сказал по дороге в Париж Ренин Гортензии в то время, когда Жан-Луи сдавал свой багаж,— все устроилось к лучшему. Вы довольны?

— Да, бедная Женевьева будет счастлива,— ответила она рассеянно.

В поезде они пошли вдвоем в вагон-ресторан. После обеда, когда Гортензия односложно ответила несколько раз на вопросы своего спутника, он запротестовал:

— Что с вами, дорогой друг? Вы не отвечаете! У вас озабоченный вид!

— Да нет же.

— Нет, нет — да! Я ведь вас знаю. Говорите прямо.

Она улыбнулась.

— Ну, хорошо, если вы настаиваете. В общем, этим приключением я довольна и радуюсь от души за Женевьеву Эймар, но... но в другом отношении...

— Я вас просто не удивил, говоря прямо?

— Именно.

— Вам кажется, что я играл второстепенную роль? Что я, собственно говоря, ничего не сделал. Не так ли?

— Правда! И я спрашиваю себя, кончена ли эта история? Говоря по совести, другие приключения оставили во мне более ясное, более определенное впечатление.

— А это кажется вам темным?

— Невыясненным, незаконченным!

— В чем же эта незаконченность?

— Я не знаю сама. Возможно, что это находится в связи с признанием сестры милосердия. Это признание было таким неожиданным, таким кратким...

— Ну, конечно,— возразил Ренин со смехом,— я должен был его оборвать. Не надо было дать старухе слишком распространяться.

— То есть как?

— Ну, да! Если бы она стала распространяться, то могло явиться сомнение к ее рассказу.

— Почему?

— Дело в том, что вся эта история придумана. Ведь ряд неправдоподобностей бросается в глаза: господин, приезжающий с младенцем и уезжающий затем с трупом другого мальчика... Но что же было делать, дорогой друг: у меня в распоряжении было слишком мало времени, чтобы просуфлировать старухе ее роль.

Гортензия с изумлением посмотрела на него.

— Что вы хотите сказать?

— Эти деревенские старушки не очень-то понятливы. Мы торопились. Наш сценарий мы смастерили в мгновение ока. Впрочем, свою роль она сыграла недурно. И плакала она хорошо!.. А как ловко она заставила дрожать свой голос!..

— Возможно ли? — прошептала Гортензия,— вы ее, значит, раньше видели?

— Как же иначе!

— Но когда?

— Утром же. В то время, когда вы в гостинице занялись своим туалетом, я побежал на разведку. Ведь драма д'Ормиваль-Вобуа здесь всем отлично известна. Мне сейчас же указали на мадемуазель Бусиньоль. С ней дело уладилось очень быстро. Я ей вручил 10 000 франков за инсценирование всей этой более или менее правдоподобной сцены.

— Совершенно неправдоподобной!

— Вы, однако, ее рассказу поверили, другие также. А это только и требовалось. Нужно было одним взмахом разрушить правду, которую считали таковой двадцать семь лет, правду, согласующуюся с фактами. Я атаку свою повел быстро, не давая передохнуть, не давая опомниться. Я стал отрицать справедливость версии о перепутанных младенцах. Жан-Луи тогда предложил послать за мадемуазель Бусиньоль. Та приехала и, к общему изумлению, рассказала ту историю, о которой мы с ней условились. Смятение! Я пользуюсь этим смятением и похищаю молодого человека.

Гортензия покачала головой:

— Но они одумаются! Сообразят!

— Никогда в жизни! Если у них явятся сомнения, то эти сомнения они постараются отогнать от себя. Ведь их прежняя жизнь была сплошным адом в течение четверти столетия. Эти люди, напротив, очень рады, что, наконец, освободились от душившего их гнета, от неизвестности, превращавшей их жизнь в кошмар. К тому же, разве моя версия хуже версии настоящей? Она не более глупая. А сейчас старухи, как я слыхал, собираются уезжать и сделались вполне приветливыми: они рады, что расстаются!

— А Жан-Луи?

— Жан-Луи! Да ему обе матери до смерти надоели. Нельзя, черт возьми, иметь безнаказанно двух родительниц. Если вам дают возможность вместо двух матерей не иметь ни одной, колебания быть не может. И Жан-Луи любит Женевьеву. Счастье этой девушки обеспечено: у нее не будет свекрови! Важно достижение цели, а не средства, которые ведут к этой цели. В этой истории разрешение вопроса было чисто психологическое, не так, как в тех, где ключ к разгадке дают окурок какой-нибудь, графин воды, служащий зажигательным стеклом, и т.п.

Гортензия помолчала и затем проговорила:

— Так вы думаете, что Жан-Луи...

Ренин с удивлением воскликнул:

— Вы еще думаете об этой старой истории? Но все это кончено. Признаюсь, что меня человек с двумя матерями больше ничуть не интересует.

Он сказал это с таким неподражаемым юмором, что Гортензия от души расхохоталась.

— Ну, вот отлично, дорогой друг! Когда смеешься, все представляется яснее, нежели когда плачешь... Кроме того, есть и другая причина, в силу которой вы должны смеяться по всякому поводу.

— Какая?

— У вас такие дивные зубы.

VI

Гильотинщица

Перед началом великой войны много говорили об одном удивительном загадочном преступлении. Это дело окрестили в печати «Делом Гильотинщицы». Ключ к разгадке этого темного дела нам дал князь Ренин, или, если хотите, Арсен Люпен. Обстоятельства сложились так, что Ренину в этом деле пришлось играть видную роль и пережить бесконечно много.

Напомним кое-какие факты. В течение восемнадцати месяцев в Париже и его окрестностях исчезли пять женщин в возрасте от двадцати до тридцати лет. Все исчезнувшие принадлежали к самым различным классам общества.

Вот их имена: госпожа Ладу, жена врача; мадемуазель Ардан, дочь банкира; мадемуазель Коверо, прачка; мадемуазель Гонорина Вернисэ, швея; госпожа Гроллингер, художница. Эти пять женщин исчезли таким образом, что не удалось установить, ни зачем они вышли из дому, ни почему они не вернулись и где именно их задержали.

Каждый раз через восемь дней после их исчезновения в одном из западных предместий Парижа находили труп исчезнувшей. На голове трупа зияла огромная рана, нанесенная, видимо, топором. Жертва обыкновенно была крепко связана по рукам и ногам, лицо же ее было залито кровью. Следы колес вблизи роковой находки указывали на то, что труп был привезен в повозке.

Аналогия всех преступлений была так разительна, что все дела о них сосредоточились в руках одного следователя, которому не удалось решительно ничего раскрыть. Исчезала женщина, через восемь дней находили ее труп, вот и все...

Веревки, которыми связывали трупы, были идентичны; идентичными оказывались следы колес и идентичны были раны, нанесенные по верхней части головы в вертикальном направлении.

Мотивы? Все жертвы были ограблены, но, быть может, их ограбляли прохожие, наткнувшиеся на трупы. Возможно ли было предположить, что в этих случаях действовало чувство мести, или требовалось устранить с дороги каких-либо буду-

щих наследников? Загадка. Строили гипотезы, которые приходилось отбрасывать как неправдоподобные. Пытались идти по следу, который решительно никуда не приводил.

И вдруг нечто новое. Одна подметальщица улиц нашла на тротуаре маленькую записную книжку, которую немедленно передала в соседний полицейский участок.

Все листки книжечки не имели записей. Только на одном из них был найден список всех убитых женщин в хронологическом порядке. У каждой фамилии стояли три цифры: Ладу, 132; Вернисэ, 118 и т.д.

Этой книжечке не придали бы большого значения, так как каждый мог написать список жертв, всем хорошо известный. Но вместо пяти фамилий в списке стояло шесть! Да, под именем «Гроллингер», 128 значилось – Вильямсон, 114. Была ли это шестая жертва?

Удалось быстро установить, что недели две тому назад одна бонна-англичанка, Гербетта Вильямсон, оставила свое место, чтобы вернуться в Англию. Сестры ее, живущие в Англии, которым она написала, что едет к ним, заявили, что сестра их не приехала.

Возникло новое следствие. Труп мисс Вильямсон нашли в Медонском лесу. Голова ее была рассечена, как и у других жертв.

Излишне сообщать, какой шум вызвало это новое преступление. Вся печать только и говорила об этом страшном деле. И какой ужас: убийца спокойно отмечал в своей записной книжке: «Сегодня я убил такую-то; тогда-то — такую-то...» — и в результате — шесть трупов.

Против ожидания, эксперты и графологи единогласно признали, что записки в книжечке, видимо, сделаны рукой очень культурной, с художественным вкусом, женщины, у которой очень развито воображение и которая чрезвычайно впечатлительна. Газеты прозвали эту преступницу «Гильотинщица» и тщательно разбирали психологию, индивидуальность и личность ее, теряясь в самых неправдоподобных догадках.

Только одному молодому журналисту удалось пролить некоторый свет на эти загадочные убийства. Сопоставляя цифры в записной книжке, он поставил вопрос, не означают ли эти цифры число дней, отделяющих одно преступление от другого? Надо было проверить даты. Эта проверка тотчас же подтвердила правильность гипотезы: похищение мадемуазель Вернисэ произошло через 132 дня после исчезновения госпожи Ладу; Гермины Коверо через 118 дней после исчезновения мадемуазель Веринсэ и т.д.

Итак, в этом отношении дело было ясно: цифры вполне совпадали с фактами. Свои записи «Гильотинщица» вела аккуратно. Возникало новое предположение. Так как мисс Вильям-

сон, последняя жертва, исчезла 26 июня и рядом с ее именем стояло число 114, то не следовало ли опасаться, что через 114 дней, то есть 18 октября, совершится новое убийство? Не следовало ли логично прийти к этому страшному выводу?

По этому вопросу в газетах началась целая полемика. Как раз приближалось 18 октября. Значит, если судить по предшествующим фактам, можно было ожидать, что придется констатировать новое убийство. Этим объясняется, что утром 18 октября князь Ренин и Гортензия, договариваясь по телефону о том, где они вечером встретятся, вспомнили об ужасных убийствах.

— Будьте осторожны,— сказал, смеясь, Ренин,— если вы встретите «Гильотинщицу», переходите на другую сторону улицы.

— А если она меня похитит, что тогда делать? — спросила Гортензия.

— Вы тогда усыпайте путь белыми камешками, чтобы по ним я мог вас найти, и до последнего мгновения, когда над вашей головкой блеснет даже топор, все мысленно повторяйте: «Мне нечего бояться, он меня освободит». «Он» — это я... Целую вашу ручку! До вечера!

После обеда Ренин занимался своими делами. Между четырьмя и семью часами он купил разные газеты. Нигде о каком-либо похищении речь не шла.

В девять часов он пошел в театр, где у него была ложа. В девять с половиной часов Гортензии все не было. Он позвонил к ней, ничуть не беспокоясь. Горничная ответила ему, что Гортензия еще не вернулась.

У Ренина сжалось сердце недобрым предчувствием, и он побежал на квартиру Гортензии вблизи парка Монсо. Его встретила горничная, вполне ему преданная. Она сообщила, что хозяйка ее вышла в два часа дня с письмом в руках, говоря, что она сходит на почту и скоро вернется, чтобы переодеться. И затем она не возвращалась.

— Кому было адресовано письмо?

— Вам. Я видела на конверте — «князю Ренину».

Он ждал до двенадцати часов. Напрасно. Гортензия не пришла; не было ее и на следующий день.

— Никому об этом ни слова,— приказал Ренин горничной,— всем говорите, что ваша хозяйка уехала в деревню и вы отправитесь туда же.

Он не сомневался. Исчезновение Гортензии объяснялось наступлением 18 октября. Гортензия приходилась седьмой жертвой «Гильотинщицы».

— Похищение,— стал он мысленно рассуждать,— предшествует удару топора на восемь дней. У меня, следовательно, в распоряжении семь полных дней, чтобы действовать. Скажем,

шесть даже. Сегодня суббота. Необходимо, чтобы в следующую пятницу в двенадцать часов дня Гортензия была свободна. Я должен знать место ее пребывания не позже девяти часов в четверг.

Ренин написал на куске бумаги, который прикрепил над камином своего кабинета: «В четверг в девять часов вечера». Затем в субботу, на следующий день после исчезновения Гортензии, он заперся в своей комнате, приказав своему лакею приносить ему почту и пищу в положенные часы.

Он не выходил четыре дня и почти не двигался, углубившись в чтение всех тех газет, где сообщалось подробно о прежних шести убийствах. Перечитав все, он запер ставни, задернул занавески, потушил электричество и, растянувшись на диване, стал обдумывать все происшествие.

Во вторник вечером он ничуть не продвинулся вперед: тайна оставалась непроницаемой, никаких путеводных нитей он не нашел. Временами он переставал надеяться.

Иногда, невзирая на всю веру в свои силы, его охватывали ужас и отчаяние. Спасет ли он? Вовремя ли ему удастся прибыть? На каком основании можно надеяться, что, наконец, он увидит что-либо ясное, разъясняющее, разгадает кошмарную тайну?

Мысль о том, что молодая женщина может быть убита, бесконечно угнетала его, терзала его сердце. Он привязался к Гортензии гораздо серьезнее, нежели это можно было предполагать по внешним признакам. Короче говоря, он ее полюбил всеми силами своей души. Оба они даже не подозревали о глубине этой любви, так как их постоянно занимала мысль о каком-либо приключении, которое они вместе переживали. Но когда Гортензии стала угрожать опасность, Ренин понял, какое место она заняла в его жизни, и мысль, что он бессилен выручить ее из беды, приводила его нервы в совершенно неописуемое состояние.

Он провел ужасную ночь, перебирая в своей памяти все подробности этих ужасных убийств. Среда прошла не лучше. Он терял под собой почву. Наконец, он покинул свою комнату, выходил на бульвары и снова лихорадочно бродил по квартире. Мозг его гвоздила мысль:

— Гортензия страдает... Она на краю гибели... Она видит занесенный над нею топор... Она зовет меня, умоляет ее спасти... И я ничего не могу сделать!..

Только в пять часов дня, рассматривая список жертв «Гильотинщицы», он вдруг почувствовал, что тайна перед ним раскрывается. Луч истины блеснул. Не все еще было для него ясно, но он знал, куда ему направить свой путь.

Немедленно он обдумал план действий. Через шофера Клемона им было послано во все главные газеты объявление,

которое должно было появиться на следующий день на первой странице, на видном месте. Кроме того, Клемон должен был съездить в прачечную, где когда-то работала мадемуазель Кловеро, третья из шести жертв.

В четверг Ренин никуда из дому не выходил. После двенадцати часов дня он получил несколько писем, связанных с его объявлением. Но казалось, эти письма и телеграммы не соответствовали его ожиданиям. Наконец, в три часа он получил городскую телеграмму, которая, видимо, его удовлетворила. Он ее долго рассматривал, перелистал свои газеты и сказал, наконец:

— Кажется, надо идти по этому пути.

Он справился с адрес-календарем Парижа, записал адрес: — Г. де Луртье-Вано, бывший колониальный губернатор, проспект Клебера, 47 бис — и побежал к своему автомобилю.

— Клемон! Проспект Клебера, 47 бис.

Его ввели в обширный кабинет, украшенный рядом шкафов с ценными изданиями. Господин де Луртье-Вано был еще довольно молод. Он носил седеющую бородку и всем своим видом и обхождением внушал доверие к своей особе.

— Господин губернатор,— обратился к нему Ренин,— я приехал к вам потому, что, как сообщают газеты, вы знали одну из жертв «Гильотинщицы», а именно Гонорину Вернисэ.

— Ну, конечно, мы ее отлично знали,— воскликнул де Луртье,— она работала у моей жены в качестве швеи. Бедная девушка!

— Господин губернатор, одна дама, мой друг, исчезла, как исчезли предыдущие шесть жертв.

— Что вы говорите? — с изумлением проговорил де Луртье,— я следил по газетам; 18 октября ничего не было.

— Напротив. Была похищена госпожа Даниель, которую я люблю. Именно 18 октября.

— А сегодня у нас 24-е!..

— Да, и послезавтра совершится убийство.

— Это ужасно! Надо непременно этому помешать.

— Если вы посодействуете мне, господин губернатор.

— Вы сообщили полиции?

— Нет. Это было бы бесполезно. Тайна до сих пор не может быть разгадана обыкновенными средствами. Ведь судебная власть во всех предыдущих шести случаях ничего не могла выяснить. С подобным противником обыкновенная полиция бороться не в силах.

— Что же вы сделали?

— Прежде, нежели начать действовать, я размышлял четыре дня.

Де Луртье-Вано взглянул на своего собеседника несколько иронически.

— И каковы результаты ваших размышлений?

— Прежде всего,— спокойно продолжал Ренин,— я установил в этом деле новую общую точку зрения. Мне удалось, устранив все сомнительные гипотезы, разрешить вопрос, кто именно способен был совершить все эти убийства.

— То есть?..

— Убийца — сумасшедший, господин губернатор.

— Что за идея!

— Господин губернатор, дама, которую называют «Гильотинщицей», сумасшедшая.

— Тогда она была бы заключена в соответствующем заведении.

— Мы ничего не знаем. Ведь возможно, что она наполовину сумасшедшая и по внешнему виду безопасна. За нею, быть может, не следят, и она может беспрепятственно удовлетворять свои кровожадные наклонности. Подобные сумасшедшие удивительно опасны и легко вводят окружающих в заблуждение своим лицемерием, своей хитростью и необыкновенной ловкостью. Эта безумная, как это ясно, видимо, находится под влиянием какой-то навязчивой идеи; проводит она ее удивительно методично, последовательно и логично. Я не знаю, какова именно эта идея, но я знаю факты. Каждый раз жертва связана веревками. Каждый раз ее убивают через несколько дней после похищения. Убивают ее топором вертикальным ударом по голове. Обыкновенный убийца не проявит такого однообразия в приведении в исполнение своего преступления. Только сумасшедший или сумасшедшая способны действовать так строго последовательно, механически, так сказать, как часы, которые бьют в определенное время, или гильотина, нож которой слепо падает...

Де Луртье-Вано покачал головой.

— Конечно, конечно... Это дело можно рассматривать и с вашей точки зрения. Я даже согласен с вами. Но, допустив все это, все же остается неясным; почему эта сумасшедшая избирает предпочтительно одну жертву, а не другую?

— Ах, господин губернатор,— воскликнул Ренин,— вы ставите мне вопрос, который я все время задавал себе. Разрешение этого вопроса разъяснило бы все дело. Почему Гортензия Даниель, а не другая? Почему молодая Вернисэ? Почему мисс Вильямсон? Чем именно руководствовалась сумасшедшая при выборе своей жертвы? Кого выбирала она? Кого ей нужно было убить?

— Вы разрешили этот вопрос?

Ренин остановился и затем продолжал:

— Да, господин губернатор, я этот вопрос разрешил. Я должен был бы разрешить его с первой минуты, внимательно рассмотрев список жертв. Но эти проблески истины зарожда-

ются не сразу, а после долгих и усиленных размышлений. Двадцать раз я рассматривал список, пока одна маленькая подробность не бросилась мне в глаза.

— Я не понимаю,— проговорил де Луртье-Вано.

— Господин губернатор, заметили ли вы, что во время обнаружения каких-либо преступлений, если в деле замешано несколько лиц, их обыкновенно называют по фамилиям? В данном случае газеты всегда называли госпожу Ладу, мадемуазель Ардан и мадемуазель Коверо только по их фамилиям. Только мадемуазель Вернисэ и мадемуазель Вильямсон были названы и по именам — Гонорина и Гербетта. Если бы это было сделано в отношении всех жертв, тайны уже не существовало бы.

— Почему?

— Потому, что сразу было бы найдено соотношение между именами и жертвами преступления. Вы понимаете? Перед нами три имени...

Де Луртье вдруг смутился. Он побледнел и спросил:

— Что вы говорите?.. Что вы говорите?..

— Я хочу сказать,— отчетливо продолжал Ренин, отчеканивая каждое слово,— что имена всех решительно жертв начинаются с одной и той же буквы — Г. Я навел по этому поводу точные справки. Значит, сумасшедшая избирала своих жертв между теми женщинами, имена которых начинались буквой Г. И какое это яркое доказательство того, что мы имеем дело с сумасшедшей! И Гильотина тоже начинается буквою Г. Безумная действовала подобно гильотине, хотя и не рубила головы, но рубила по черепу. Не так ли, не согласны ли вы, что убийца — явная сумасшедшая?

Ренин подошел к де Луртье и спросил его:

— Что с вами, господин губернатор? Вам дурно?

— Нет, нет,— возразил де Луртье, хотя на лбу у него выступил пот,— нет... но вся эта история так волнует... Подумайте, я же знал хорошо одну из жертв...

Ренин взял со стола графин, наполнил стакан водою и подал его де Луртье. Тот выпил несколько глотков и, делая над собою усилие, продолжал:

— Допустим, что все это так. Что же вы сделали?

— Я поместил сегодня во всех газетах такое объявление: «*Прекрасная кухарка ищет место. Писать до пяти часов вечера Герминии, бульвар Гаусмана*»... и т.д. Проследите, господин губернатор, мою мысль: сумасшедшей требуются жертвы, имена которых начинаются буквой Г. Это не так легко найти. Ей приходится пустить в ход всю свою хитрость, свою сметливость, свою ловкость. Она ищет, расспрашивает. Читает даже газеты, которые не понимает, и где она лишь ищет нужные ей имена. Я не сомневался, что имя Герминии, напечатанное жир-

ным шрифтом на первой странице, бросится ей в глаза, и она попадется в мою ловушку.

— Она вам написала? — волнуясь, спросил де Луртье-Вано.

— Мне несколько особ написало по поводу этой воображаемой Герминии. Но вот телеграмма, представляющая особый интерес.

— От кого?

— Читайте, господин губернатор.

Де Луртье вырвал из рук Ренина листок и взглянул на подпись. Сначала у него вырвался звук удивления, как будто он ожидал другого, а потом он как бы с облегчением рассмеялся.

— Почему вы смеетесь, господин губернатор? Вы как будто довольны?

— Не то! Это письмо подписано моей женой.

— А вы опасались другого?

— О, нет, но раз это моя жена...

Он фразы не кончил и сказал Ренину:

— Простите меня, но объясните мне, почему из всех ответов на ваше объявление вы выбрали именно этот, думая, что он даст вам нужные указания?

— Потому, что он подписан вашей женой, у которой работала в качестве швеи Гонорина Вернисэ, одна из жертв.

— Кто вам это сказал?

— Это мне известно из газет.

— И только это обстоятельство решило ваш выбор?

— Да. Но сейчас, господин губернатор, у меня какое-то внутреннее убеждение, что я не ошибся.

— Откуда явилось это убеждение?

— Я и сам не знаю... Кое-какие мелочи... Могу я увидеть госпожу Луртье?

— Я хотел вам это предложить. Пойдемте.

Он ввел его в маленькую гостиную, где красивая блондинка с счастливым и добрым лицом сидела в обществе трех детей.

Она встала. Де Луртье представил своего спутника и спросил:

— Сюзанна! Ты послала это пневматическое письмо?

— Адресованное Герминии, бульвар Гаусман,— сказала она,— да, я. Наша горничная ушла и я ищу ей заместительницу.

Ренин прервал ее:

— Простите меня, но скажите, кто вам дал адрес этой женщины?

Она покраснела. Де Луртье сказал:

— Отвечай, Сюзанна. Кто тебе дал этот адрес?

— Мне его сообщили по телефону.

— Кто?

После минуты колебания она проговорила:

— Твоя старая кормилица...

— Фелисьена?

— Да.

Де Луртье оборвал сразу разговор, и, не давая возможности Ренину предложить еще какие-либо вопросы, он отвел его в свой кабинет.

— Вы видите, что это письмо имеет совершенно естественное происхождение. Моя старая кормилица, живущая в окрестностях Парижа, прочла ваше объявление и сообщила о нем моей жене. Ведь вы, надеюсь,— с деланным смехом добавил он,— не подозреваете мою жену?

— Нет.

— Тогда инцидент исчерпан... по крайней мере, с моей стороны... Я сделал все и очень сожалею, что не могу быть вам полезным...

Он, видимо, торопился выпроводить своего посетителя. Вдруг лицо его побледнело.

Ренин посмотрел на него, как смотрят на противника, готового сдаться, и, сев около него и взяв резко за руку, произнес:

— Господин губернатор, если вы не скажете, Гортензия Даниель сделается седьмой жертвой.

— Я ничего не могу сказать. Я ничего не знаю.

— Вы знаете правду. Ваш испуг, ваше лицо об этом свидетельствуют. Вы не только можете помочь мне, но у вас в руках ключ этой тайны. Не будем же терять времени.

— Но если б я знал, зачем же я молчал бы?

— Из боязни скандала. Я чувствую ясно, что в вашей жизни есть что-то такое, что вы скрываете. Для вас правда в этом деле связана с бесчестием вашей семьи, если только эта правда сделается общим достоянием, если она будет подхвачена печатью. Вот почему вы отступаете перед своим долгом, колеблетесь исполнить свою обязанность.

Де Луртье ничего не отвечал. Ренин наклонился к нему и, пронизывая его взглядом, продолжал:

— Скандала не будет. Я один в мире буду знать подробности этой истории. И я, так же как и вы, хочу сохранить тайну: я ведь люблю Гортензию Даниель и не хочу, чтобы ее имя попало на страницы газет.

Они несколько мгновений смотрели друг на друга. Лицо Ренина приняло жесткое выражение.

Де Луртье чувствовал, что этот человек не уступит, но он не в состоянии был заставить себя сказать правду.

— Вы ошибаетесь... Вы предполагаете то, чего в действительности нет.

Ренин понял, что если этот человек будет продолжать упорствовать, Гортензия погибнет. Им овладел прилив страшного бешенства. Он схватил де Луртье за горло, опрокинул его и закричал:

— Довольно лгать! Дело идет о жизни женщины!.. Говорите, говорите немедленно!.. А если нет...

Де Луртье потерял способность сопротивляться. Он не боялся Ренина, но тот покорил его и подчинил себе своей неукротимой силой воли, разбивающей на своем пути все препятствия.

— Вы правы,— пробормотал он,— мой долг все сообщить, независимо от последствий.

— Никаких последствий для вас не будет. Ручаюсь за это, если вы спасете Гортензию Даниель. Минута нерешительности может все погубить. Говорите! Без подробностей, сообщите лишь факты.

Тогда де Луртье, опершись локтями на свой письменный стол и закрыв лицо руками, стал коротко, опуская детали, рассказывать:

— Госпожа де Луртье, которую вы видели, не моя жена. Я женился очень рано в колониях. Моя молодая жена отличалась странностями характера и большой впечатлительностью. Мы имели двух детей — близнецов, которых она обожала и которые, видимо, вернули ей полное душевное равновесие. Тут случилось страшное несчастие. На ее глазах случайно проезжавшая повозка задавила обоих близнецов. Моя жена помешалась. У нее тихое помешательство в той форме, как вы упоминали. Я привез несчастную во Францию и поручил ее заботам моей старой кормилицы, которая меня воспитала. Через два года я познакомился с той, которая сейчас составляет радость моей жизни. Она является матерью моих детей, и все считают ее моей женой. Могу ли я ею пожертвовать? Ведь вся наша жизнь рушится, если наше имя будет замешано в эту кровавую драму.

Ренин подумал и спросил:

— Как зовут ее, другую?

— Геновена.

— Геновена. Та же первая буква... И восемь букв составляют имя...

— Именно это обстоятельство бросилось мне в глаза, когда вы мне передавали подробности дела. Такое странное совпадение!

— Допустим, что безумная выбирает своих жертв из числа тех, имена которых начинаются на Г., причем само имя заключает восемь букв. Но как объяснить убийства? В чем проявляется ее безумие? Она страдает?

— Сейчас она не очень страдает. Но вначале она мучилась неимоверно. Когда дети ее погибли у нее на глазах, все время перед ее мысленным взором стояла картина их гибели. Эта картина не давала ей возможности уснуть ни на одну секунду.

Это была страшная пытка! Подумайте только: днем и ночью все время перед нею стояли ее задавленные дети!

Ренин прервал его:

— Ведь не для того, чтобы отогнать от себя эту картину, она убивает?

— Возможно,— задумчиво проговорил де Луртье,— она стремится освободиться от этой картины путем сна.

— Я не понимаю.

— Вы не понимаете потому, что речь идет о сумасшедшей. Все, что происходит в этом больном мозгу, анормально и нелогично.

— Конечно. Какие-же факты подтверждают ваше предположение?

— Факты?.. Факты есть. Я сначала не придавал им значения; только сейчас начинаю в них разбираться. Несколько лет тому назад однажды утром моя старая кормилица впервые нашла Геновену мирно спящей. Ее руки сжимали шею маленькой собачки, которую она задушила. Три раза подобная сцена повторилась.

— И она после этого спала?

— Она спала, и сон ее каждый раз продолжался несколько ночей.

— Что вы из этого вывели?

— Я делаю тот вывод, что нервная энергия, которую она тратит на убийство, на некоторое время ее истощает, и она начинает тогда спать.

Ренин вздрогнул.

— Это именно так! Нельзя в этом сомневаться. Убийство, употребленное при убийстве усилие дают ей сон. От животных она перешла к женщинам. Она их убивает, чтобы завладеть их сном. В этом пункт ее помешательства. Ей нужен сон,— она его похищает у других. Уже в течение двух лет она спит?

— Да,— прошептал де Луртье.

Ренин схватил его за плечо.

— И вы не подумали, какие страшные последствия могла дать эта мания! Ведь эта безумная шла, ясное дело, на все, чтобы добыть себе сон. Нам надо спешить. Это же сплошной кошмар!

Оба направились к дверям. Вдруг раздался телефонный звонок.

— Это оттуда,— сказал де Луртье.

— Оттуда?

— Да, каждый день в этот час моя старая кормилица дает мне справку.

Он взял телефонную трубку, а другую дал Ренину, который подсказывал ему нужные вопросы.

— Это ты, Фелисьена? Как она?

— Ничего себе, сударь!
— Хорошо она спит?
— Последние несколько дней хуже. Последнюю ночь она даже совсем не смыкала глаз. Поэтому она имеет очень мрачный вид.
— Что она сейчас делает?
— Она в своей комнате.
— Иди туда, Фелисьена; не покидай ее.
— Невозможно. Она заперлась.
— Это необходимо, Фелисьена. Взломай двери. Я сейчас приеду... Алло! Алло!.. Черт возьми! Нас разъединили.
Оба, не говоря ни слова, выскочили на улицу и бросились к автомобилю.
— Адрес?
— Виль-д'Аврэ.
— Это центр ее операций. Оттуда она протянула свои нити, как паук. Проклятие!
Ренин был потрясен. Все это происшествие, наконец, представлялось ему во всей своей ужасной реальности.
— Да,— начал громко рассуждать Ренин,— она их убивает, чтобы завладеть их сном. Она действует под влиянием чудовищной, для здорового человека непонятной, навязчивой идеи. Ей, очевидно, кажется, что имена ее жертв должны непременно начинаться той же буквой, как и ее имя: только тогда она будет спокойно спать. Это логика безумной. И она ищет и находит. Захватив свою жертву, она держит ее у себя и затем ударом топора по голове приобретает тот сон, который на некоторое время дает ей забвение. Тут мы наталкиваемся на чисто сумасшедшую логику: почему одна жертва должна дать ей 120 дней сна, а другая — 125. Это расчет больного мозга. Но по истечении 120 или 125 дней, во всяком случае, новая человеческая жертва должна быть принесена. И таких жертвоприношений было уже шесть, седьмая жертва ожидает своей очереди. Какую вы взяли на себя тяжелую ответственность! За подобным чудовищем вы обязаны были все время следить.
Де Луртье-Вано не возражал. Он был подавлен, лицо его покрылось смертельной бледностью, видно было, что его мучили угрызения совести.
— Она меня обманула,— прошептал он,— по виду она была удивительно спокойна и послушна. К тому же она живет в санатории.
— Как же это могло случиться?
— Этот санаторий,— объяснил де Луртье,— состоит из отдельных домиков, рассеянных в обширном саду. Павильон, в котором живет Геновена, расположен совершенно отдельно. Там одну комнату занимает Фелисьена, другую — больная. Имеются еще две комнаты, окна одной из них выходят в поле.

Я думаю, что в этой последней комнате она запирает своих жертв.

— Откуда она берет повозку, чтобы отвозить трупы?

— Конюшни санатория находятся вблизи павильона. Там имеются повозка и лошадь. Вероятно, Геновена ночью встает, спускает труп через окно и увозит его.

— Но за ней наблюдает эта старуха?

— Фелисьена глуховата и очень дряхлая.

— Но днем она же видит, что делает ее хозяйка. Не соучастница ли она?

— Никогда! Фелисьена так же, как и мы, была введена в заблуждение лицемерием безумной.

— Однако ведь она телефонировала вашей жене по поводу моего объявления?

— Это совершенно естественно. Геновена читает газеты, следит за объявлениями и, надо думать, просила Фелисьену нам протелефонировать, так как знала, что моей жене нужна горничная.

— Да, да,— тихо проговорил Ренин,— это именно то, что я предчувствовал, о чем мне подсказывало мое внутреннее чутье. Она заранее намечает своих жертв. Но каким способом она заманивала к себе несчастных женщин? Как она заманила Гортензию Даниель?

Автомобиль мчался, но Ренину казалось, что он не двигается.

— Вперед, Клемон!.. Мы стоим на месте, мой друг.

Он мучился мыслью, что опоздает. Логика безумных ведь так неопределенна, так изменчива. Сумасшедшая могла ошибиться днем, ускорить развязку, подобно тому, как иногда испорченные часы бьют часом раньше.

С другой стороны, последние дни она плохо спала. Вдруг она решит немедленно действовать? Через какие душевные страдания должна была пройти жертва в присутствии своего палача, готовящегося нанести ей смертельный удар.

— Скорей, Клемон, или я займу твое место! Вперед, вперед, черт возьми!

Наконец, они в Виль-д'Аврэ. Автомобиль мчится, огибая высокую стену.

— Объедем заведение кругом, Клемон. Где, господин губернатор, находится павильон?

— С противоположной стороны,— объявил де Луртье.

Они вышли из автомобиля. Ренин бросился бежать. Становилось темно. Де Луртье указал:

— Здесь... Этот домик... Вот окно в нижнем этаже. Это окно отдельной комнаты... через это окно, вероятно, она выходит.

— Но окно заделано решеткой,— заметил Ренин.

— Да, но, вероятно, она проделала отверстие.

Первый этаж был построен над погребом. Ренин взобрался по выступам фундамента вверх. Действительно, в железной решетке не хватало одного прута. Он прильнул к окну.

Внутренность комнаты была темна. Все же он различил в глубине комнаты двух женщин. Одна из них лежала на тюфяке. Другая же сидела рядом на стуле и, полузакрыв голову руками, смотрела на лежащую.

— Это она,— прошептал де Луртье, очутившийся рядом с князем,— другая связана.

Ренин вынул из кармана алмаз и осторожно вырезал в окне одно из стекол. Безумная не шевельнулась. Затем он повернул шпингалет, держа в левой руке револьвер.

— Вы не будете стрелять! — стал умолять де Луртье.

— Если понадобится, да!

Окно тихо открылось. Но вдруг по пути оно задело стул, который с грохотом упал.

Ренин бросился в комнату, чтобы схватить сумасшедшую. Но она вскочила и с животным криком выбежала за двери.

Де Луртье хотел бежать за нею.

— Зачем? — остановил ее Ренин, становясь перед связанной женщиной на колени. — Спасем сначала жертву.

Он вздохнул с облегчением: Гортензия была жива. Прежде всего он развязал ее и снял повязку, которой был затянут рот. На шум в комнату прибежала старая кормилица с лампой.

Ренин ужаснулся, когда осветил лицо Гортензии: оно было мертвенно-бледно, истощено, глаза лихорадочно горели.

— Я вас ожидала,— прошептала она, пытаясь улыбнуться... Ни одной минуты я не впадала в отчаяние .. Я была уверена, что вы спасете меня...

Тут Гортензия потеряла сознание.

Через час после тщательных поисков вокруг павильона сумасшедшая была найдена на чердаке. Она там повесилась.

Гортензия торопилась уехать. К тому же надо было, чтобы павильон был пуст к тому времени, когда старая кормилица объявит о самоубийстве безумной. Ренин подробно объяснил Фелисьоне, как ей нужно отвечать на вопросы по поводу сумасшедшей, и затем при помощи де Луртье и шофера перенес молодую женщину в автомобиль и отвез ее домой.

Гортензия быстро поправилась. Уже через два дня Ренин стал осторожно расспрашивать ее о том, как она познакомилась с сумасшедшей.

— Очень просто,— ответила она,— мой муж, который тоже душевно болен, содержится в том же заведении. Я иногда тайно, сознаюсь в этом, посещаю его. Я говорила с несчастной женщиной несколько раз. В последнее мое посещение она пригласила меня зайти к ней. Как только я вошла в ее комнату, она бросилась на меня и связала. Я не успела даже крикнуть о помощи. Мне показалось, что сумасшедшая хотела подшутить надо мною. В сущности, ведь это была шутка безумной. Со мной она была очень кроткой, хотя и не кормила почти совсем.

— Вам не было страшно?

— Умереть с голоду? Нет. Впрочем, иногда она меня немного подкармливала, когда к этому ее побуждал каприз... И я была вполне убеждена, что вы меня освободите.

— Ну, а по поводу другой опасности?

— Какой? — спросила она с недоумевающим видом.

Ренин вздрогнул. Он понял, хотя это казалось на первый взгляд странным и неправдоподобным, что Гортензия до сих пор не понимала, какая страшная опасность ей угрожала. Она не подозревала, что попала в руки так называемой «Гильотинщицы».

Он решил пока ничего по этому поводу не объяснять ей.

А через несколько дней Гортензия, которой доктор предписал покой и уединение, отправилась в деревню к одной своей родственнице, живущей вблизи Базикура, в самом центре Франции.

VII

Следы шагов на снегу

«Ла Ронсьер, через Базикур,
14 ноября.

Князю Ренину, бульвар Гаусман, Париж.

Мой дорогой друг,

Вы считаете меня, вероятно, неблагодарной. Я нахожусь здесь уже три недели и не написала вам ни одной строчки, ни слова благодарности. Однако я узнала, что вы меня спасли от ужасной смерти: мне сделался известным секрет всей этой ужасной истории. Вы уж простите меня! Я была так потрясена. У меня явилась потребность уединиться и пожить в полном покое. Я не могла остаться в Париже и продолжать наши совместные похождения. Нет, довольно с меня! Приключения другого меня интересуют, но приятного мало попасть самой в переделку... Ах, дорогой друг, какой я пережила ужас! Это приключение я никогда не забуду... А здесь я наслаждаюсь полным покоем. Моя старая кузина Эрмелина меня балует, как больную. Я опять порозовела, и в этом отношении все обстоит благополучно. Сознаюсь, что мое здоровье настолько хорошо, что я совершенно перестала интересоваться чужими делами... право же, ничуточки! И вот вообразите себе (я рассказываю это лишь потому, что знаю ваше неисправимое любопытство и стремление всюду совать свой нос), что вчера я имела любопытную встречу. Эрмелина повела меня в Базикурский трактир. Мы стали пить чай в общем зале, где по случаю базарного дня было много крестьян.

Вдруг неожиданное появление трех новых лиц, двух мужчин и одной женщины, прекратило среди присутствовавших всякие разговоры.

Один из мужчин, по виду фермер, был одет в длинную блузу, у него было веселое красное лицо, обрамленное седыми бакенбардами. Другой, более молодой, одетый в бархатную куртку, производил отталкивающее впечатление своим желтым, высохшим и злобным лицом. У каждого за плечами было охотничье ружье. Женщина, которая была с ними, поражала своим изяществом. Она была маленькая, вся закутанная в длинную темную мантилью, на голове ее красовалась меховая шапочка; лицо ее, очень бледное и худое, отличалось тонкостью черт.

— Отец, сын и сноха,— прошептала мне кузина Эрмелина.

— Как? Эта прелестная женщина жена этого увальня?

— И сноха барона де Горна.

— Неужели этот тип — барон?

— Он потомок очень знатной фамилии, жившей в здешнем замке. Вел он всегда образ жизни мужика... считается страстным охотником, пьянчугой, интриганом, сутягой и почти совершенно разорился. Сын его, Матиас, более честолюбивый, менее привязанный к земле, изучал юриспруденцию и поехал в Америку, откуда вернулся из-за недостатка денег. Тут он влюбился в девушку из соседнего города. Несчастная, как это ни странно, согласилась выйти за него замуж. Вот уже пять лет она живет точно затворница, вернее, пленница в маленькой усадьбе по соседству, которая носит название Колодезь.

— Она живет с отцом и сыном? — спросила я.

— Нет, отец живет на конце деревни в уединенной ферме.

— А этот Матиас ревнивый?

— Как тигр.

— Без причины?

— Без малейших оснований. Ведь не виновата Натали де Горн, самая порядочная женщина в мире, если в течение нескольких месяцев уже вокруг их дома бродит прекрасный молодой сосед. Но оба де Горна этим приведены в бешенство.

— Как, и отец?

— Прекрасный сосед — последний потомок купивших когда-то замок де Горнов. Вот причина ненависти старика. Жером Вижнал, которого я знаю и люблю, очень красив и очень богат. По словам старого Горна, болтающего об этом в пьяном виде, молодой человек поклялся похитить Натали де Горн. Впрочем, послушайте сами...

Составляя центр группы посетителей, старый барон, которого все угощали и который был пьян, горячо разглагольствовал:

— Он, этот господинчик, только оскандалится! Все его усилия останутся бесплодными. Мы хорошо охраняем нашу «детку»! Если он подойдет к ней слишком близко,— пулю в лоб! Не так ли, Матиас?

Он схватил свою сноху за руку.

— Ты, детка, и сама умеешь защищаться,— со смехом проговорил он,— слышишь? Кавалеров тебе ведь не надо!

Молодая женщина сконфузилась и покраснела до корней волос, а муж ее проворчал:

— Вы бы, отец, лучше держали язык за зубами. Есть вещи, о которых громко не говорят.

— Когда дело идет о нашей чести, я ее защищаю публично,— возразил старик.— Для меня честь де Горнов стоит на первом месте. Я не позволю, чтобы этот парижский ветрогон...

Вдруг он оборвал свою фразу. Кто-то вошел в комнату и, видимо, услышал его слова. Вошедший, одетый в спортивный костюм, с хлыстом в руке, своим энергичным, хотя и несколь-

ко суровым лицом, с прекрасными глазами, производил наилучшее впечатление.

— Жером Вижнал,— шепнула мне кузина.

Молодой человек держался очень свободно. Заметив Натали, он глубоко поклонился ей. Когда же Матиас де Горн сделал шаг ему навстречу, он иронически презрительно посмотрел на него, как бы спрашивая:

— Что же дальше?

Он имел такой вызывающий вид, что и отец, и сын схватились за свои ружья. Матиас, видимо, страшно бесился.

Жером, сохраняя полное самообладание под этой угрозой, спокойно обратился к трактирщику:

— Я хотел повидать дядю Вассера. Но его лавочка закрыта. Отдайте ему, прошу вас, для починки чехол от моего револьвера.

Он передал чехол и затем со смехом добавил:

— Револьвер я оставляю у себя на всякий случай. Береженого Бог бережет!

Затем он вынул из портсигара сигаретку, закурил ее и вышел. Через окно видно было, как он вскочил на свою лошадь и удалился мелкой рысью.

— Проклятие! — выругался старый де Горн, осушая стаканчик коньяку.

Сын заставил его замолчать и сесть. Около них плакала Натали де Горн...

Вот, дорогой друг, и вся история. Как видите, в ней нет ничего интересного и заслуживающего вашего внимания. Никакой тайны! Здесь ваше вмешательство было бы совершенно неуместным. Конечно, я желала бы, чтобы эта несчастная молодая женщина, производящая впечатление мученицы, имела бы защиту. Но повторяю, пусть другие сами распутывают свои дела, а мы с вами останемся в стороне».

Ренин перечитал два раза письмо и сделал вывод:

— Итак, все идет отлично! У нас нет желания продолжать наши приключения, так как мы дошли уже до седьмого и боимся, что я потребую, чтобы мне заплатили, когда мы вместе переживем восьмое приключение. Не хотят, но одновременно стремятся к этому, делая вид, что не хотят...

Он с удовлетворением потер руки. Это письмо ясно и наглядно свидетельствовало о том влиянии, которое он приобрел на молодую женщину. У нее, видимо, чувство было довольно сложное: она восхищалась им, безгранично верила ему, боялась его и... любила; в последнем он был убежден. В настоящую же минуту женское кокетство и целомудренная стыдливость заставляли ее уклоняться от дальнейшего продолжения их совместных приключений.

В тот же вечер,– следующий день был воскресный,– Ренин сел в поезд.

Рано утром он уже был на месте и узнал, что в направлении усадьбы Колодезь ночью слышали три выстрела.

– Бог любви и случай мне благоприятствуют,– сказал он сам себе,– если возник конфликт между мужем и любовью, я приехал вовремя.

– Три выстрела, господин унтер-офицер! Я сам слышал,– объяснял какой-то крестьянин жандарму в общем зале трактира, куда вошел и Ренин.

– Я тоже слышал,– подтвердил один из слуг трактира,– три выстрела... Было, вероятно, двенадцать ночи. Снег, падавший с девяти часов, прекратился... Слышно было ясно...

Подтвердили это свидетельство еще пять человек. К жандармам в это время подошли рабочий и женщина. Они заявили, что находятся в услужении у Матиаса де Горна. По случаю воскресенья они ходили к себе домой, а сейчас не могли попасть в усадьбу.

– Ворота усадьбы,– заявил рабочий,– закрыты. Это случается впервые. Каждое утро хозяин ровно в шесть часов самолично открывает ворота как зимою, так и летом. Сейчас же девятый час. Я звал и не получил никакого ответа. Вот мы и пришли сообщить вам об этом.

– Отчего вы не справились у старика Горна? – спросил жандарм.– Он живет по дороге.

– Это так, но нам не пришло в голову...

– Пойдем туда,– заявил жандармский унтер-офицер. С ним пошли два жандарма, крестьяне и слесарь, которого захватили по пути. Ренин присоединился к ним.

Им пришлось проходить мимо жилища старого де Горна. Это жилище Ренин узнал по описаниям Гортензии.

Старик запрягал свою повозку. Когда ему сообщили обо всем, он расхохотался.

– Три выстрела? Паф... паф... паф?! Но, милые люди, ведь у Матиаса двустволка!

– А закрытые ворота?

– Спит, значит, сынок мой; вот и все! Вчера я с ним распил несколько бутылочек... Ну, и заспался он со своей женкой.

Он взобрался на свою повозку и щелкнул кнутом.

– Будьте здоровы! Ваши выстрелы не помешают мне отправиться на базар. У меня телята, которых надо продать. Прощайте, товарищи!

Отправились в путь.

Ренин подошел к жандармскому унтер-офицеру и представился ему.

– Я друг мадемуазель Эрмелины, живущей в Ронсьере. Еще рано, а потому позвольте мне сопровождать вас. Эрмели-

на знает де Горнов, и я хочу ее успокоить. Надеюсь, что ничего не случилось?

— Если что-нибудь произошло,— ответил унтер-офицер,— мы это прочитаем, как в книге... Нам поможет выпавший ночью снег.

Это был молодой малый симпатичной наружности, видимо, способный и понятливый. С самого начала он зарисовал следы шагов Матиаса, которые тот оставил накануне на снегу. Скоро они подошли к усадьбе, и слесарь открыл ворота.

На снежном покрове заметны были лишь следы, оставленные Матиасом. Эти следы указывали своими причудливыми узорами на то, что Матиас был, очевидно, сильно пьян.

В двухстах метрах дальше стояли постройки Колодезя. Парадная дверь дома была открыта.

— Войдем,— сказал унтер-офицер.

На пороге он проговорил:

— Ого! Напрасно старик де Горн не пошел с нами. Здесь произошло настоящее сражение.

Большая зала находилась в беспорядке. Два сломанных стула, опрокинутый стол, разбитая посуда и осколки стекла свидетельствовали о том, что борьба произошла здесь жаркая. Большие стенные часы, лежащие на земле, показывали 11 часов 12 минут.

По указанию работницы все быстро поднялись наверх. Ни Матиаса, ни его жены там не было. Двери же их общей спальни были выбиты ударами молотка, который нашли под кроватью.

Ренин и унтер-офицер спустились вниз. Из зала в кухню, расположенную сзади, откуда можно было выйти в маленький садик, вел коридорчик. В огороженном садике за кухней был расположен колодец.

От порога кухни до колодца по глубокому снегу тянулся след: казалось, что тут протащили какое-то тело. Около колодца переплетались многочисленные следы, указывая на то, что борьба здесь продолжалась. Унтер-офицер обнаружил следы обуви Матиаса и другие, более элегантные и тонкие.

Вторые следы вели прямо в сад. В тридцати метрах дальше, вблизи этих следов, нашли браунинг. Один из крестьян заявил, что он похож на револьвер, который два дня тому назад Жером Вижнал показывал в трактире.

Унтер-офицер обнаружил, что из семи пуль три были выпущены.

Таким образом, все это дело выяснялось все больше и больше. Унтер-офицер, принявший меры к сохранению всех обнаруженных следов, вернулся к колодцу, задал несколько вопросов работнице и затем обратился к Ренину:

— Думаю, что все ясно.

Ренин взял его за руку.

— Будем говорить прямо. Я уже несколько ознакомился с этим делом. Оно меня интересует, так как я знаком с мадемуазель Эрмелиной, которая в дружбе с Жеромом Вижналом и знает также госпожу де Горн. Вы предполагаете?..

— Я ничего не предполагаю. Я только констатирую, что кто-то пришел сюда вчера вечером...

— Откуда? Единственные следы, ведущие к этой усадьбе, следы де Горна.

— Другая особа, оставившая более элегантные следы, пришла, вероятно, до того, как начал падать снег, то есть до девяти часов.

— Значит, вы думаете, что эта особа спряталась в одном из углов зала, ожидая возвращения де Горна, который пришел уже после выпавшего снега?

— Именно! Как только Матиас вошел, спрятавшийся субъект бросился на него. Произошла борьба. Матиас убежал через кухню. Его преследовали до колодца и выстрелили в него три раза.

— А где труп?

— В колодце.

Ренин протестовал:

— Как у вас это все просто!

— Да ведь снег нам все рассказал: после борьбы, после трех выстрелов только один человек покинул ферму, и следы этого человека не Матиаса де Горна. Где же Матиас де Горн?

— Можно бы поискать его в этом колодце.

— Нет, этот колодец бездонный. Он известен в окрестности. По нему названа и усадьба.

— Итак, вы думаете?

— Повторяю: когда выпал снег, пришел Матиас, а потом ушел отсюда другой человек.

— А госпожа де Горн? Вы полагаете, что она убита, как и ее муж?

— Нет! Похищена.

— Похищена?

— Вспомните выбитые двери в ее спальне.

— Но вы же сами говорите, что ушел отсюда только один человек.

— Осмотрите следы. Видно, что человек нес какую-то тяжелую ношу. Снег под этой двойной тяжестью сильно вдавлен.

— Значит, есть выход через сад в этом направлении?

— Да, в ограде сада имеется калитка, ключ от которой всегда находился у Матиаса де Горна. Этот ключ у него, очевидно, взяли.

— И через эту калитку можно выйти на дорогу?

— Да, большая дорога находится в тысяче двухстах метрах... И знаете ли вы, где проселочная дорога от калитки соединяется с большой?

— Нет.

— У одного из углов замка.

— Замка Жерома Вижнала!

Ренин проговорил сквозь зубы:

— Черт возьми! Дело усложняется. Если следы идут до замка, мы получим ясную картину.

Следы шли до замка. В этом легко было убедиться. Они также могли удостоверить тот факт, что, хотя снег вблизи решетки, окружающей замок, был очищен, от замка шли следы колес по направлению, противоположному деревне.

Унтер-офицер у входных ворот замка позвонил. К нему подошел сторож с метлой в руках, который объяснил, что Жером Вижнал уехал утром, когда все еще спали, причем он сам запряг лошадь.

— В таком случае,— заметил Ренин,— проследим, куда идут колесные следы.

— Это бесполезно,— ответил унтер-офицер,— они дальше поехали по железной дороге.

— Через станцию Помпина, откуда я сейчас приехал? Они тогда должны были проехать через деревню...

— Нет, они выбрали другое направление и поехали на ту станцию, где останавливаются скорые поезда. Там пребывают и судебные власти. Я телефонирую туда. До одиннадцати часов ни один скорый поезд не пройдет, а потому легко можно установить на станции наблюдение.

— Кажется,— сказал Ренин,— вы стоите на верном пути, и я вас поздравляю с успехом.

Они расстались.

Ренин сначала хотел пойти к Гортензии, но затем раздумал и предпочел выждать более благоприятного момента. Он вернулся в трактир и послал Гортензии следующую записку:

«Мой дорогой друг!

Читая Ваше письмо, я понял, что, принимая, по обыкновению, близко к сердцу все то, что касается любви, Вы решили покровительствовать влюбленным Жерому и Натали. Но кажется, что этот милостивый государь и эта милостивая государыня, не спрашивая совета у своей покровительницы, убежали, причем предварительно Матиас де Горн был брошен в колодец.

Извините, что я не захожу к вам. Но это дело очень загадочно и в Вашем присутствии я не имел бы возможности хорошенько обдумать его»...

Было девять с половиной часов утра. Ренин пошел гулять, не обращая внимания на расстилающийся перед ним чудный

зимний пейзаж. Он вернулся к завтраку, погруженный в глубокую задумчивость и не слушая того, что вокруг него говорилось по поводу происшествия.

Затем он направился в свою комнату и проспал там некоторое время. Стук в двери вдруг разбудил его.

— Вы!.. Вы!..— прошептал он, когда, открыв двери, увидел на пороге Гортензию.

Они молча, пожимая друг другу руки, вглядывались один в другого, проникнутые оба глубокой радостью по поводу этой встречи. Наконец, он сказал:

— Хорошо я сделал, что приехал?

— Да,— ответила она мягко,— да... я вас ждала.

— Жаль, что вы не выписали меня несколько раньше. События пошли ускоренным темпом. Я сейчас не знаю, что случится с Жеромом Винжалом и Натали де Горн.

— Как, вы еще не знаете? — живо перебила она его.

— Что именно?

— Их арестовали. Они пытались уехать скорым.

— Ну, арестовать их еще не могли,— возразил Ренин,— сначала надо допросить.

— Их в настоящую минуту и допрашивают. Судебная власть производит следствие.

— Где?

— В замке. Но они невиновны... Ведь они невиновны? Не так ли?

Он ответил:

— Пока, дорогой друг, я еще точно не знаю. Но скажу вам откровенно, что все против них... Один только факт за них... Это тот, что все слишком против них. Неправдоподобно это обилие улик! А в общем,— темная и запутанная история!

— Тогда?

— Я, право, не знаю.

— Но у вас имеется план действия?

— Пока нет! Вот если б я мог повидать этого Жерома и эту Натали и послушать, что они говорят в свое оправдание! Но вы понимаете, что мне не позволят ни их допросить, ни присутствовать при их допросе. Впрочем, вероятно, допрос уже кончился.

— Он кончен в замке, но будет продолжаться в Колодезе.

— Их поведут туда? — живо просил он.

— Да... Так, по крайней мере, говорил один из шоферов, привезший судебные власти.

— В таком случае,— воскликнул Ренин,— все устраивается отлично. Мы будем на первых местах. Мы увидим и услышим решительно все. Быть может, пустое обстоятельство поможет нам распутать это дело. Мы можем надеяться! Идем, дорогой друг.

Он повел ее по кратчайшей дороге, по которой ходил уже утром, к усадьбе де Горна. Жандармы провели по снегу рядом с оставленными следами шагов тропинку. Случай помог Гортензии и Ренину незаметно пробраться в дом через боковое окно. По внутренней винтовой лестнице они взобрались в маленькое помещение, имевшее круглое окно, выходящее в большой зал дома. Еще утром Ренин заметил это окно, затянутое изнутри куском материи. Он раздвинул материю и вырезал в окне одно из стекол.

Через несколько минут около дома, вблизи колодца послышались голоса. Затем в зал вошли люди. Жандармы ввели молодого человека высокого роста.

— Жером Вижнал! — шепнула Гортензия.

— Да,— ответил Ренин,— госпожу де Горн, вероятно, допрашивают наверху, в ее комнате.

Прошло минут пятнадцать. С верхнего этажа спустились вниз товарищ прокурора, его письмоводитель, полицейский комиссар и два жандарма.

Затем была введена в зал госпожа де Горн, и товарищ прокурора предложил Жерому Вижналу подойти к столу.

Лицо Жерома выражало энергию, как это верно отметила Гортензия в своем письме. Он не обнаруживал признаков беспокойства. Лицо его, напротив, было полно решимости. Производила впечатление полного спокойствия и маленькая Натали, хотя глаза ее лихорадочно горели.

Товарищ прокурора, осмотрев мебель и следы борьбы в комнате, предложил ей сесть и сказал Жерому:

— Пока я вам предложил очень мало вопросов. Сейчас я произвожу лишь предварительное расследование, которое будет продолжать судебный следователь. Как вы могли сами заметить, у меня имелись серьезные основания для того, чтобы просить вас и госпожу де Горн прервать начатое вами путешествие. В настоящую минуту вам надлежит опровергнуть собранные против вас тяжкие улики. Я прошу вас рассказать мне всю правду.

— Господин товарищ прокурора,— ответил Жером,— эти улики меня ничуть не беспокоят. Правда будет сильнее всех тех неправд, которые выдвинул против меня ряд случайностей. Вот она!

Он задумался и затем начал искренне и ясно рассказывать:

— Я глубоко люблю госпожу де Горн. Я полюбил ее с первой минуты, когда встретился с нею, но, невзирая на всю силу моей страсти, вполне владел всегда собою и имел в виду лишь ее счастье. Я ее не только люблю, но и глубоко уважаю. Она вам, вероятно, сказала, а я повторяю: госпожа де Горн и я впервые заговорили друг с другом в эту ночь.

Он продолжал глухим голосом:

— Я ее уважал тем более, что она была так несчастна. Всем известно, что ее жизнь — сплошная пытка. Муж ее преследовал и ревновал с дикой жестокостью. Допросите прислугу. Она вам сообщит, что пришлось перенести Натали де Горн, как ее били и поминутно оскорбляли. Я хотел положить предел этим страданиям. Три раза я обращался к старику де Горну, но он, оказывается, так же ненавидел свою сноху, как все низкое ненавидит все высокое и благородное! Тогда я решил действовать непосредственно на Матиаса де Горна. Моя выходка была необычная, своеобразная, но нужно знать личность этого человека. Клянусь вам, господин товарищ прокурора, что в тот вечер у меня было единственное намерение — поговорить с Матиасом. Я знал кое-что из его жизни и этим хотел воспользоваться. Если дело повернулось несколько иначе, не моя в том вина. Итак, я пришел к нему до девяти часов вечера. Прислуга, я это знал, отсутствовала. Матиас сам открыл мне двери. Он был один.

— Я вас прерву,— остановил подозреваемого товарищ прокурора,— и вы, и госпожа де Горн утверждаете вещь, которая противоречит истине. Матиас де Горн вернулся вчера домой только в одиннадцать часов вечера. Этому два доказательства: показание его отца и следы его шагов на снегу, снег этот падал с 9 часов 15 минут до 11 часов.

— Господин товарищ прокурора,— твердо объявил Жером Вижнал, не обращая внимания на то дурное впечатление, которое его упрямство произвело на присутствующих,— я рассказываю о том, что произошло в действительности, а не то, что хотят мне приписать. Продолжаю! Эти стенные часы показывали девять часов без десяти, когда я вчера вошел сюда. Думая, что я хочу на него напасть, де Горн схватился за ружье. Я положил свой револьвер на стол и сам сел вдали от стола.

— Мне надо с вами поговорить,— сказал я,— прошу вас выслушать меня.

Он ничего мне не ответил. Я начал без всяких предисловий наше объяснение и сказал ему следующее:

— В течение нескольких месяцев я старался подробно выяснить ваше финансовое положение. Вся ваша земля заложена. Сроки платежей приближаются, а у вас нет нужных денег, чтобы уплатить свои долги. На вашего отца надежда плоха, так как он прогорел. Вы, следовательно, погибли. Но я могу спасти вас.

Он некоторое время смотрел на меня и затем сел. Я понял, что он согласен вступить со мною в переговоры. Тогда я вынул из кармана пачку денег и положил ее перед ним со словами:

— Вот шестьдесят тысяч франков. Я покупаю у вас вашу усадьбу с землей; ипотеки ваши находятся у меня. Следовательно, я вам предлагаю вдвое настоящей стоимости владения.

Его глаза заблестели, и он пробормотал:

— Какие ваши условия?

— Вы должны уехать в Америку.

Господин товарищ прокурора, мы спорили два часа. Мое предложение ничуть его не возмутило, что я предвидел заранее, но он хотел получить больше и начал упорно торговаться, не упоминая ни слова о своей жене, о которой молчал и я. Мы производили впечатление двух дельцов, стремящихся найти компромисс, тогда как дело шло о судьбе и счастье женщины. В конце концов, я пошел на уступки, и мы пришли к соглашению, которое тут же оформили. Мы обменялись двумя письмами. Согласно одному письму, он уступал мне свою усадьбу за известную сумму. Я же дал письмо, в котором обязывался послать ему в Америку дополнительную сумму в тот день, когда он разведется со своей женой.

Итак, сделка была совершена. Я уверен, что в эту минуту мой противник действовал чистосердечно. Он считал меня не своим соперником или врагом, но человеком, оказывающим ему услугу. Он дал мне даже ключ от калитки, которая вела на дорогу. К несчастию, когда я брал свою шляпу и накидку, я оставил письмо де Горна на столе. Видимо, он сразу решил, что может сохранить владение, жену и... деньги. Он быстро захватил письмо, нанес мне прикладом ружья удар по голове и обеими руками схватил меня за горло... Но он плохо рассчитал. Я гораздо сильнее его, а потому после короткой борьбы справился с ним и связал веревкой, которая валялась в углу.

Господин товарищ прокурора, если мой противник действовал быстро, то и я не остался в долгу. Я решил, что заставлю его выполнить свое обязательство. В несколько прыжков я взобрался по лестнице на верхний этаж.

Я был уверен, что госпожа де Горн там и что она слышала наш спор. В трех первых комнатах, которые я осмотрел, ее не было. Четвертая комната оказалась запертой на ключ. Стучу. Нет ответа. Но в эту минуту никакие препятствия не могли меня остановить. При помощи молотка, который валялся в коридоре, я высадил дверь.

Натали де Горн, действительно, находилась в этой комнате. Она лежала в глубоком обмороке. Я вынес ее через кухню. На дворе, видя снег, я понял, что по моим следам меня легко настигнут. Но это было не важно. Ведь Матиас де Горн получил от меня 60 000 франков и имел в своих руках письмо, в силу которого я должен был ему внести такую же сумму в день его развода с женой. Положение дел изменилось лишь в отно-

шении, что я заранее захватил драгоценный залог, к обладанию которого давно стремился. Я боялся не Матиаса. Что скажет Натали де Горн? Не будет ли она упрекать меня? На этот вопрос госпожа де Горн вам уже ответила, господин товарищ прокурора. Любовь вызывает любовь. В эту ночь она мне призналась, что любит меня. Наши судьбы сплелись воедино. Сегодня утром мы уехали в 5 часов, не думая, что судебная власть потребует нас к ответу.

Жером Вижнал кончил свой рассказ. Он изложил его залпом, одним духом, точно ничего в нем изменить нельзя.

Некоторое время царило молчание.

Гортензия и Ренин, спрятанные в своем убежище, все отлично слышали. Молодая женщина прошептала:

— Все это очень возможно и, во всяком случае, логично.

— Остаются возражения. Они основательны. Особенно одно...

Это возражение немедленно формулировал товарищ прокурора:

— А где де Горн?

— Матиас де Горн? — спросил Жером.

— Именно! Вы рассказали очень искренним тоном о ряде обстоятельств. Допустим, что все так! Но вы упускаете главное: куда девался Матиас де Горн? Вы связали его в этой комнате. Но сегодня утром его здесь не было.

— Понятно, господин товарищ прокурора, что Матиас де Горн согласился на нашу сделку и ушел.

— Каким путем?

— Вероятно, по дороге, которая ведет к его отцу.

— А где же следы его шагов? Снег, который нас окружает, является беспристрастным свидетелем. После вашей борьбы, судя по оставленным следам на снегу, видно, что вы ушли. Его же шагов не видно. Он пришел сюда, но отсюда не уходил. Следов его ухода нет. Или...

Товарищ прокурора понизил голос:

— Найдены следы около колодца... следы последней борьбы... и больше ничего... что вы скажете?

Жером пожал плечами.

— Вы, господин товарищ прокурора, видимо, обвиняете меня в убийстве. Отвечать на подобные вопросы я не стану.

— Не пожелаете ли вы мне ответить что-либо по поводу вашего револьвера, найденного в двадцати метрах от колодца.

— Нет.

— И по поводу трех выстрелов, которые слышали в эту ночь, и относительно трех выпущенных из вашего револьвера пуль?..

— Нет, господин товарищ прокурора. Никакой последней борьбы около колодца не происходило, потому что я оставил

де Горна связанным в этом помещении, где оставался и револьвер мой. Если же слышали выстрелы, то стрелял не я.

— Случайные совпадения, значит?

— Судебная власть должна в этом разобраться. Моя же единственная обязанность — сказать вам всю правду. Больше вы от меня требовать не можете.

— Но если эта ваша правда находится в противоречии с фактами?

— Тогда факты искажают истину, господин товарищ прокурора.

— Допустим! Но до того дня, пока судебная власть не установит отсутствия противоречия между вашими утверждениями и фактами, мы должны вас задержать.

— А госпожу де Горн? — с беспокойством спросил Жером.

Товарищ прокурора ничего не ответил. Он поговорил с комиссаром и приказал одному из полицейских распорядиться подать один из автомобилей. Затем он обратился к Натали:

— Сударыня! Вы слышали показание господина Вижнала. Оно вполне тождественно с вашим. Говорят, что вы находились в обмороке. Когда и где вы пришли в себя?

Молодая женщина твердо ответила:

— Я очнулась лишь в замке.

— Странно! Вы, следовательно, не слыхали выстрелов? Вся деревня их слышала.

— Я их не слыхала.

— И вы ничего не видели, что происходило вокруг колодца!

— Там ничего не происходило, раз Жером Вижнал это утверждает.

— Что же сделалось с вашим мужем?

— Не знаю.

— Помогите, сударыня, судебной власти распутать это дело. Не мог ли ваш муж, вернувшийся от своего отца под влиянием винных паров, потерять равновесие и упасть в колодец?

— Когда мой муж вернулся от своего отца, он был совершенно трезв.

— Его отец, однако, показал, что они распили вдвоем три бутылки вина.

— Его отец ошибается.

— Но снег не ошибается,— с некоторым раздражением возразил товарищ прокурора,— следы шагов вашего мужа имеют извилистый характер так хотят пьяные.

— Муж мой вернулся домой в восемь с половиною часов, когда снегу еще не было.

Товарищ прокурора ударил кулаком по столу.

— Но, сударыня, вы говорите против очевидных фактов... снежный покров, повторяю,— беспристрастный свидетель... Против подобного факта, против такой очевидности решитель-

но ничего возразить нельзя... Поймите, следы на снегу, следы шагов на снегу...

Он сдержался и замолчал.

Послышался шум автомобиля. Он вдруг принял решение и проговорил:

— Прошу вас, сударыня, оставаться в этом доме и ожидать вызова к следователю.

Затем товарищ прокурора приказал жандармам увести Жерома Вижнала.

Игра для влюбленных, очевидно, была проиграна. Судьба их соединила на короткое время: но теперь опять разлучала. Они должны были расстаться и каждый отдельно бороться с тяготеющим над ними обвинением.

Жером сделал шаг по направлению к Натали. Они обменялись печальными взглядами. Потом он глубоко ей поклонился и направился к выходу в сопровождении жандармов.

— Стой! — неожиданно раздался голос.— Назад! Погодите!

Товарищ прокурора и остальные присутствующие подняли головы. Голос раздался из круглого внутреннего окна зала. Ренин высунулся вперед и кричал:

— Я прошу меня выслушать!.. Я хочу сделать кое-какие замечания... особенно одно по поводу извилистых шагов на снегу... Ключ разгадки в этом... Матиас не был пьян...

Он просунул ноги в окно и сказал Гортензии, пытавшейся его удержать:

— Оставайтесь здесь, дорогой друг... Никто вас беспокоить не будет.

Ренин с этими словами спрыгнул в зал.

Товарищ прокурора казался ошеломленным:

— Но откуда вы явились? Кто вы?

Князь стряхнул пыль со своей одежды и ответил:

— Простите меня, господин товарищ прокурора, что я избрал этот необыкновенный путь, но я торопился. И кроме того, мои слова произведут большее впечатление, как человека, упавшего с неба.

— Кто вы такой? — свирепо закричал товарищ прокурора.

— Князь Ренин. Я присутствовал сегодня утром при дознании. Это дело меня заняло. Я хочу его выяснить. С этой целью я спрятался в том помещении, чтобы присутствовать при допросе...

— Вы были там?.. Вы имели смелость?..

— Надо иметь смелость, когда речь идет о выяснении истины. Именно мне удалось здесь получить кое-какие важные указания. Я здесь понял, что Матиас де Горн ничуть не был пьян, а в этом все дело, разрешение всей загадки. Когда это знают, то знают правду.

Товарищ прокурора находился в смешном и затруднительном положении. Он проворчал:

— Довольно! Что вы хотите?

— Я прошу несколько минут внимания.

— С какой целью?

— Чтобы установить невиновность Жерома Вижнала и госпожи де Горн.

Вид у него был спокойный и решительный, как в те минуты, когда он своим вмешательством распутывал какую-нибудь сложную драму. Гортензия вся затрепетала и подумала:

— Они спасены. Я его просила защитить эту молодую женщину, и он спасет ее от тюрьмы и от отчаяния.

Жером и Натали ощущали нечто подобное, они чувствовали, что этот свалившийся с неба незнакомец выручит их из беды.

Товарищ прокурора пожал плечами:

— Свою невиновность они могут установить во время следствия. Вас также допросят.

— Эту невиновность лучше установить немедленно. Последствия ошибки могут быть печальными.

— Я спешу...

— Две-три минуты для меня достаточно.

— Две-три минуты, чтобы разъяснить подобное дело?

— Не больше.

— Вы, значит, хорошо знакомы с ним?

— Сейчас — да. С утра я много думал о нем.

Товарищ прокурора понял, что от подобного господина ему не так-то легко отделаться. Он поэтому проговорил ироническим тоном:

— Ваши размышления привели вас к выводу, где в настоящее время находится Матиас де Горн?

Ренин посмотрел на свои часы и ответил:

— В Париже, господин товарищ прокурора.

— В Париже? Он, следовательно, жив?

— Ну, конечно! И отлично себя чувствует.

— Радуюсь этому. Но откуда эти следы шагов вокруг колодца?.. Откуда револьвер?.. Наконец, выстрелы?

— Все это лишь симуляция.

— Кто же симулянт?

— Матиас де Горн собственной персоной.

— Странно! С какой целью?

— С целью пустить слух, что он убит Жеромом Вижналом.

— Гипотеза любопытная,— иронически заметил товарищ прокурора.— Что вы об этом думаете, господин Вижнал?

Жером ответил:

— Я сам предполагал это. После моего ухода Матиас де Горн, очевидно, придумал план мести. Он любил и ненавидел свою жену. Меня же не выносил. Он отомстил.

— Дорогая месть! Сами же вы сообщили, что де Горн должен был получить от вас дополнительно 60 000 франков.

— Эту сумму он мог получить другим путем. Знакомясь с его финансовым положением, я узнал, что отец и сын застраховали свою жизнь один в пользу другого. Значит, если бы сын считался убитым, то отец получил бы страховую премию и передал бы ее сыну.

— Таким образом,— проговорил с улыбкой товарищ прокурора,— старый де Горн является соучастником?

Ренин подтвердил:

— Именно, господин товарищ прокурора. Они спелись.

— Значит, сын находится у отца?

— Он там находился еще этой ночью.

— Что же с ним сделалось?

— Он уехал в Париж.

— Все это лишь предположения!

— Уверенность.

— Это не доказательство.

С этими словами товарищ прокурора взялся за шляпу, показывая, что разговор кончен.

— Ни малейшего доказательства,— добавил он,— а главное, невозможно вашей гипотезой опровергнуть главного свидетеля, этого бесстрастного и убедительного немого свидетеля — снег. Чтобы пойти к отцу, Матис де Горн должен был отсюда выйти... Каким путем он шел?

— Господи, обыкновенной дорогой, которая ведет к старику де Горну!

— Но на снегу нет следов его шагов.

— Есть.

— Но эти следы указывают, что он пришел сюда, но не ушел отсюда.

— Это одно и то же.

— Как так?

— Конечно! Двигаться можно разно.

— Как же, по-вашему, можно еще двигаться?

— *Пятясь назад,* — господин товарищ прокурора. Эти слова, отчеканенные твердым голосом, на минуту вызвали гробовое молчание. Все почувствовали, что именно в этом открытии заключается проблеск истины, разгадка всей тайны.

Ренин продолжал, пятясь к окну:

— Я могу приблизиться к этому окну, идя прямо, лицом к нему. Но могу идти и спиной к нему... В обоих случаях цель достигнута.

А выводы,— с силой бросил он,— можно сделать такие: в 8 1/2 часов де Горн пришел от отца домой, не оставив никаких следов, так как снега еще не было. А в девять часов без десяти приходит сюда господин Вижнал, также не оставляя следов.

Следуют переговоры, заключение сделки и свалка. Матиас побежден. Прошло три часа. И вот, когда Вижнал ушел с женой де Горна, последнему приходит в голову блестящая мысль воспользоваться снегом, чтобы погубить своего ненавистного врага. Он симулирует свое собственное убийство и падение в колодец. А потом, пятясь назад, он уходит к отцу, записывая на снежном покрове свой приход, когда в действительности это был его уход. Надеюсь, господин товарищ прокурора, вы ясно поняли? *Он отметил на снегу свой приход, а в действительности это был уход.*

Товарищ прокурора перестал смеяться. Он понял, что этот оригинал стоит внимания. Он спросил:

— А как он мог уехать от своего отца?

— В повозке.

— Кто же его отвез?

— Отец.

— Откуда вы знаете?

— Сегодня утром с жандармским унтер-офицером я был у отца и говорил с ним. Он отправлялся на базар, а сын его был спрятан под парусиной с теленком. Сейчас же Матиас де Горн в Париже.

Объяснения Ренина, согласно его обещанию, длились не больше пяти минут. Своей непобедимой логикой он сразу разбил ту тайну, которая окружала это запутанное дело. Истина победоносно всплывала. Госпожа де Горн плакала от радости. Жером Вижнал горячо благодарил своего доброго гения, давшего совсем другой ход этому делу.

— Осмотрим вместе эти следы, господин товарищ прокурора,— предложил Ренин,— сегодня утром мы ошиблись, осматривая преимущественно лишь следы, оставленные мнимым убийцей. А вся суть была в следах, оставленных де Горном.

Они вышли в сад. Не трудно было убедиться, что следы шагов Матиаса носили своеобразный характер.

— Это понятно,— пояснил Ренин,— не так-то легко двигаться, пятясь назад. Отец и сын это почувствовали. Потому-то старик де Горн всем говорил, что сын его в этот вечер был пьян. Этим можно было объяснить странность его походки.

И Ренин прибавил:

— Именно это обстоятельство, эта ложь старика ослепила меня. Когда госпожа де Горн удостоверила, что муж ее был трезв, я подумал об оставленных им на снегу следах и все угадал.

Товарищ прокурора откровенно признал себя побежденным и со смехом сказал:

— Остается арестовать этого лжемертвеца.

— На каком основании? — возразил Ренин.— Никакого преступления он не совершил. То, что он три раза выстрелил,

топтался около колодца и потом, пятясь назад, отправился к отцу, никакого правонарушения не составляет. Не думаю также, чтобы господин Вижнал потребовал от него обратно 60 000 франков?

— Конечно, нет,— объяснил Жером.

— Остается страховая премия. Но она еще не потребована. А, вот и сам старик! Мы его сейчас допросим.

Действительно, сильно жестикулируя, к ним подошел старик де Горн. Его добродушное лицо выражало печаль и гнев.

— Где мой сын? Его, вероятно, убили!.. Мой бедный Матиас убит этим бандитом Вижналом!

И он погрозил Жерому кулаком.

Товарищ прокурора резко спросил его:

— Одно слово: вы потребуете страховую премию за своего сына?

— Конечно,— вырвалось у старика.

— Дело в том, что ваш сын не умер. Говорят даже, что вы отвезли его, скрыв под парусиной, на станцию под видом теленка.

Де Горн стал отплевываться и протянул руку, точно собираясь торжественно поклясться. Но затем он сразу изменил свое выражение лица и с хохотом заявил примирительным тоном:

— Ну, и разбойник же этот Матиас! Какую штуку придумал! Значит, он хотел объявить себя покойником! И думал, что я помогу ему получить страховую премию!.. Точно я способен на такую мерзость!.. Ты меня, молодчик, не знаешь еще!

И затем он быстро удалился, делая вид, что эта смешная история его очень забавляет. По пути он старался своими сапогами прикрыть следы шагов на снегу, оставленные его сыном.

Когда Ренин вернулся в дом, Гортензии там уже не было.

Он отправился к кузине Эрмелине. Ему сказали, что Гортензия извиняется, но она устала, нуждается в отдыхе, принять его не может.

— Превосходно,— подумал Ренин,— она меня избегает. Следовательно, любит. Развязка приближается.

VIII

«В честь бога Меркурия»

«Госпоже Даниель Ронсьер через Базикур,
30 ноября.

Дорогой мой друг!

Уже две недели я не получаю от Вас писем. До 5 декабря, то есть до того неприятного для Вас дня, когда истекает срок

нашего соглашения, я и не надеялся, что получу от Вас весточку. А с этого дня Вы ведь будете свободны от своего обязательства. Признаюсь Вам, что для меня эти семь победных приключений, которые мы вместе пережили, были источником большой радости и нервного подъема. Я жил эти дни вблизи Вас. Я сознавал, что новый Ваш образ жизни, полный свежих впечатлений, приносил Вам большую пользу. Счастье мое было таково, что я не смел с Вами о нем говорить и обнаружить в Вашем присутствии всю силу моих чувств. Единственной моей заботой было Вам нравиться и доказать Вам мою безмерную преданность. А теперь, дорогой друг, Вы отказываетесь от своего соратника, своего спутника. Пусть будет согласно Вашей воле!

Я подчиняюсь Вашему решению. Но позвольте мне рассказать Вам о том, как я представлял себе наше последнее совместное приключение. Я напомню Вам слова, которые Вы мне сказали и которые навсегда запечатлелись в моей памяти.

«Я требую,– заявили Вы,– чтобы Вы мне вернули старинную застежку из сердолика в филигранной оправе. Я получила ее от моей матери. Все знали, что застежка эта приносила счастье и моей матери, и мне. С тех пор, как она исчезла из моей шкатулочки, я несчастна. Верните же мне мою застежку, добрый гений!»

А когда я стал Вас спрашивать, когда именно застежка пропала, Вы ответили мне со смехом:

«Шесть... семь... или восемь лет тому назад... Хорошо не знаю... Не знаю, как она пропала... Я ничего не знаю».

Видимо, Вы бросили мне вызов, думая, что я обещания своего не выполню. Но мне все же хочется Вас порадовать. Для Вашего душевного спокойствия Вы должны иметь свой талисман. Над этими маленькими суевериями нельзя смеяться: часто подобные суеверия руководят нашими лучшими поступками.

Дорогой друг, в этом деле Вы мне не оказали никакой помощи. Я торопился, имея в виду приближающееся 5 декабря, и позорно провалился. Но все же мне удалось так повернуть это дело, что если Вы захотите одна идти к цели, то у Вас много шансов, что Вы этой цели достигнете.

И Вы будете продолжать мною начатое. Не так ли? Это вопрос чести, по нашему соглашению. В определенный срок мы должны внести в книгу наших судеб восемь интересных приключений. В этих приключениях мы проявили много энергии, логичных умозаключений, проницательности, а иногда даже немного героизма.

Теперь очередь за восьмым приключением. От Вас зависит, чтобы оно заняло подобающее место 5 декабря до того момента, когда стенные часы пробьют восемь раз.

В этот знаменательный день Вы должны действовать так, как я Вам укажу.

Не думайте, дорогой друг, что я фантазирую. Для успеха предприятия необходимо, чтобы Вы точно соблюли все то, что я Вам сообщу. Прежде всего, в саду Вашей кузины Вы срежете три тонких, гибких прута. Эти прутья Вы переплетете и завяжете по обоим концам. Получится самодельный деревенский хлыст, как иногда делают дети.

Затем в Париже Вы купите ожерелье из черного янтаря с маленькими выбоинами. Это ожерелье Вы сократите до семидесяти пяти бус, все одной величины.

Под Вашей зимней накидкой Вы наденете синее шерстяное платье. Ваша зимняя шапочка должна быть украшена осенними листьями. На шее — боа из петушьих перьев. Ни перчаток, ни колец.

После обеда отправляйтесь на левый берег Сены и войдите в церковь святого Викентия. Ровно в четыре часа перед кропильницей там будет стоять женщина, одетая во все черное и с серебряными четками в руках. Она окропит Вас святой водой. Вы дадите ей свое ожерелье. Пересчитав бусы, она отдаст Вам его обратно. Потом следуйте за нею. Она приведет Вас в пустынную улицу острова Сен-Луи. Перед одним из домов женщина остановится, но в дом Вы войдете одна.

В нижнем этаже этого дома Вы найдете довольно еще молодого человека с лицом матового цвета. Вы снимете накидку и скажете:

«Я пришла за своей сердоликовой застежкой».

Не удивляйтесь его ужасу. Оставайтесь спокойной. Если он начнет Вас расспрашивать, пытаясь узнать, кто Вас к нему направил, не давайте никаких объяснений. Все Ваши ответы должны сводиться к короткой формуле:

«Я пришла получить то, что мне принадлежит. Я вас не знаю, не знаю вашего имени, но я не могу не обратиться к вам. Я должна получить обратно свою застежку. Это необходимо!»

Я искренне думаю, что если Вы проявите твердость, то, хотя человек этот, вероятно, начнет играть комедию, все же Вы достигнете полного успеха. Но борьба должна быть очень короткой. Исход ее зависит исключительно от Вашей веры в свои силы и твердость. Это — единоборство, в котором Вы должны свалить противника первым же ударом. Если Вы заволнуетесь, потеряете хладнокровие, тогда он Вас победит. Вы или немедленно одержите верх, или сразу же будете разбиты.

Во втором случае Вам придется опять прибегнуть к сотрудничеству со мною, которое я заранее Вам предлагаю. При этом не ставлю никаких условий. Я хочу лишь быть полезным той, которая составляет счастье всей моей жизни».

Прочитав это письмо, Гортензия решительно прошептала:

— Я не пойду.

Своей застежкой она уже перестала интересоваться. Кроме того, перед ней все стояла эта цифра 8 — число совместных приключений. Начать это восьмое приключение — значило опять сблизиться с Рениным, дать ему возможность завладеть ею.

За два дня до 5 декабря она была в том же настроении. Накануне утром также. Но вдруг, совершенно неожиданно, она побежала в сад, срезала там три прута, сплела их вместе, как это делала в детстве, и затем в двенадцать часов уехала в Париж. Ее охватило страшное любопытство. Она не могла совладать с собою: слишком было заманчиво то приключение, которое ей предложил Ренин!.. Янтарное ожерелье... шапочка с осенними листьями... Она покажет Ренину, на что она способна!

— Наконец,— пронеслось в ее голове,— он меня приглашает в Париж. А восемь ударов часов страшны для меня не в Париже. Ведь те стенные часы, которые должны пробить восемь раз в час моего поражения, находятся в замке Галингра.

В тот же вечер она прибыла в Париж. Утром 5 декабря она купила янтарное ожерелье и сократила его до семидесяти пяти зерен. Затем она одела синее платье и шапочку с осенними листьями. Ровно в четыре часа она входила в церковь святого Викентия.

Сердце ее учащенно билось. Теперь она была одна. Как хорошо она сейчас почувствовала, что значит поддержка Ренина, от которой отказалась! Ей даже казалось, что он непременно появится перед нею. Но около кропильницы стояла лишь старая женщина, вся в черном.

Гортензия подошла к ней. Женщина в черном окропила ее святой водой и затем принялась считать зерна ожерелья, протянутого ей Гортензией.

Затем она прошептала:

— Семьдесят пять! Верно. Идем!

Она быстро пошла вперед, перешла мост и на острове Сен-Луи остановилась перед старинным домом с железным балконом, изъеденным ржавчиной.

— Войдите,— сказала женщина, после чего удалилась.

Гортензия увидела прекрасный магазин, помещавшийся в нижнем этаже. Через большие стекла можно было заметить разные антикварные предметы и старинную мебель. На вывеске значились слова:

«В честь бога Меркурия» и имя хозяина — «Понкарди». На карнизе, выступающем под верхним этажом, находилась маленькая ниша, в которой стоял божок Меркурий из обожженной глины. Он стоял на одной ноге с крыльями на пятках и жезлом в руке. Вся фигура имела наклон вперед, так что казалось, она легко может потерять равновесие и упасть на улицу.

— Войдем,— прошептала молодая женщина. Она открыла двери, но, невзирая на стук и звон колокольчика, никто не вышел ей навстречу. Магазин казался пустым. Но за магазином находились две комнаты, наполненные очень ценными вещами. Гортензия прошла по всему магазину и попала, наконец, в заднюю комнату.

Перед письменным столом сидел человек, углубленный в счетоводную книгу. Не поворачивая головы, он сказал:

— Я к вашим услугам... Что вам угодно, сударыня?

В этой комнате находились предметы, которые придавали ей характер лаборатории какого-то алхимика средних веков: чучела птиц, скелеты, черепа и т.п. По стенам висели всевозможные амулеты, между которыми чаще всего виднелись руки из слоновой кости и коралла с двумя сложенными как бы для заклинания пальцами.

— Вам что именно нужно, сударыня? — спросил, наконец, Понкарди, закрывая книгу и вставая.

— Это именно он,— подумала Гортензия.

У него было матово-бледное лицо, обрамленное седой бородкой. Под лысым и бесцветным лбом светились беспокойные, бегающие глазки.

Гортензия, не снимая накидки и не приподнимая вуалетки, ответила:

— Я ищу застежку для корсажа.

— Вот витрина,— сказал он ей, подводя к одному из шкафов.

Бросив беглый взгляд на витрину, она проговорила:

— Нет, нет... это не то. Я ищу застежку, которая когда-то пропала у меня из моей шкатулки. Я пришла сюда за нею.

Ее изумило то впечатление, которое произвели ее слова. Лицо Понкарди выразило ужас.

— Я думаю, что здесь вы ее не найдете. Какая это застежка?

— Из сердолика в филигранной оправе... эпохи тридцатых годов.

— Я не понимаю... Почему вы обращаетесь ко мне?

Она подняла вуалетку и сбросила накидку.

Он с искаженным от страха лицом отступил, как перед привидением, и прошептал:

— Синее платье!.. Шапочка!.. Янтарное ожерелье!.. Возможно ли это?

Больше всего его, видимо, поразил хлыст. Он протянул к ней руки, начал шататься и, наконец, взмахнув руками подобно пловцу, который тонет, упал на стул и потерял сознание.

Гортензия не шевельнулась. Помня слова Ренина, она старалась быть хладнокровной и твердой.

Через две минуты Понкарди очнулся, вытер струившийся по лицу пот и, стараясь овладеть собой, сказал дрожащим голосом:

— Почему вы обратились ко мне?

— Потому, что эта застежка находится у вас.

— Кто вам это сказал? — спросил он, не возражая против предъявленного ему обвинения.— Откуда вам это известно?

— Я это знаю. Никто мне ничего не сказал. Я пришла сюда с полной уверенностью, что моя застежка здесь, и с непреклонной волей ее унести.

— Вы меня знаете? Вам известно мое имя?

— Я вас не знаю. Имя ваше я узнала только сейчас. Вы для меня просто тот человек, который должен вернуть мне мою застежку.

Понкарди заволновался. Он ходил по комнате быстрыми шагами, ударяя кулаком по встречным предметам.

Гортензия почувствовала, что она одержала над ним верх. Она обратилась к нему повелительным тоном:

— Где находится моя вещь? Отдайте мне ее. Я это требую.

Понкарди впал в отчаяние. Он сложил руки и стал бормотать что-то. Наконец, видимо, побежденный, он проговорил:

— Вы этого требуете?

— Я хочу... Это должно быть...

— Да, да... я согласен.

— Говорите,— бросила она еще более резко.

— Говорить я не могу... Я лучше напишу... Я вам выдам мой секрет, и все для меня будет кончено.

Он вернулся к своему письменному столу и набросал лихорадочно на листе бумаги несколько строк. Затем этот лист бумаги он вложил в конверт и запечатал.

Одновременно Понкарди приложил к виску своему револьвер, который вынул из стола, и выстрелил.

Быстрым движением Гортензия толкнула его под руку. Пуля попала в зеркало, но Понкарди опустился со стоном на стул, точно он ранен.

Гортензия собрала всю силу своей воли, чтобы не потерять хладнокровия.

— Ренин меня предупредил,— подумала она,— это комедиант. Он сохранил письмо и револьвер. Он меня не проведет.

Вместе с тем она сознавала, что если внешним образом она оставалась спокойной, то все же эта попытка к самоубийству и этот выстрел вывели ее из душевного равновесия. Она вдруг почувствовала, что воля ее слабеет, и человек, ползающий у ее ног, в конце концов, сильнее ее.

В полном изнеможении Гортензия села. Как предсказал Ренин, дуэль продолжалась всего несколько минут. И в то мгновение, когда победа у нее была почти в руках, ей пришлось сдаться, так как женские нервы не выдержали.

Понкарди все это быстро заметил и, прекратив свои жалобы, вскочил на ноги с легкостью молодого козла, иронически воскликнув:

— Для нашего разговора требуется уединение. Не надо, чтобы какой-нибудь покупатель помешал нам.

С этими словами он закрыл железные ставни магазина и вприпрыжку подошел к Гортензии.

— Да, я чуть не влопался! Еще маленькое усилие с вашей стороны, и вы могли выиграть игру. И какой же я осел! Мне вдруг представилось, что вы свалились на меня из глубины прошлого, чтобы потребовать у меня отчета, и я чуть-чуть не сдался... Эх, мадемуазель Гортензия,— позвольте мне так называть вас, так как я знал вас под этим именем,— «нашла коса на камень», как говорит пословица.

Он сел около нее и грубо, со злым лицом, продолжал:

— А теперь открывайте свои карты. Кто состряпал всю эту историю? Не вы, конечно. Вы на это неспособны. Кто же? В моей жизни я всегда был честен, безукоризненно честен... исключая случая... с этой застежкой. Я думал, что это дело давно похоронено, а теперь оно вдруг всплывает. Каким образом? Я хочу знать.

Гортензия не пыталась продолжать борьбу. Он подавлял ее своим мужским превосходством, всей силой своей злобной натуры.

— Говорите же! Я хочу знать. Если у меня есть тайный враг, я должен узнать его имя, чтобы защищаться. Кто вас заставил действовать? Мой ли это конкурент, которого злят мои успехи и который хочет воспользоваться застежкой? Говорите, черт возьми!.. Или, клянусь...

Она вообразила себе, что он хочет схватить револьвер, и стала отступать, надеясь убежать.

Ее не так пугало возможное нападение, как злобное, искаженное ненавистью лицо противника. Она вскрикнула. Вдруг Понкарди остолбенел и, вытянув руки вперед, стал смотреть на что-то поверх головы Гортензии.

— Кто там? Как вы вошли? — прохрипел он сдавленным голосом.

Гортензия, не оборачиваясь, почувствовала, что Ренин явился к ней на помощь. Действительно, из-за кучи старинных вещей показался его тонкий силуэт, и Ренин спокойными шагами вышел на середину комнаты.

— Кто вы? — повторил Понкарди.— Откуда вы явились?

— Сверху,— очень учтиво ответил князь, показывая на потолок.

— Сверху?

— Да, я уже три месяца живу в верхнем этаже. Мне послышался шум, звали на помощь... Вот я и здесь.

— Но как вы сюда вошли?
— Спустился по лестнице.
— По какой лестнице?
— По железной внутренней лестнице, которая идет от моего этажа к вам. Ваш предшественник занимал оба этажа. Вы же этот вход забили, а я открыл его.
— По какому праву? Это же вторжение в чужое жилище!
— Подобное вторжение позволительно, когда надо прийти на помощь своему ближнему.
— Кто же вы?
— Князь Ренин... друг этой дамы,— ответил он, целуя Гортензии руку.
Понкарди пришел в бешенство:
— А, я понимаю!.. Это вы инициатор всей этой истории... это вы прислали сюда эту даму?!
— Именно я, господин Понкарди, именно я.
— Каковы же ваши намерения?
— Самые чистые. Никакого насилия. Просто маленький разговор, после которого вы мне отдадите то, за чем я пришел к вам.
— Что такое?
— Вы отдадите мне застежку.
— Никогда,— запальчиво воскликнул антикварий.
— Не говорите так! Ручаюсь, что отдадите.
— Нет такой силы в мире, которая заставила бы меня это сделать.
— Не пригласим ли мы сюда вашу жену? Быть может, она лучше оценит положение вещей.
Эта идея Понкарди, видимо, понравилась, и он три раза нажал кнопку электрического звонка.
— Вот и прекрасно — воскликнул Ренин.— Вы видите, дорогой друг, как господин Понкарди сделался вежлив! Как только он очутился в присутствии мужчины, он сразу же превратился в кроткую овцу. Но овцы тоже упрямы, и дело пройдет с закорючками.
В глубине магазина поднялась портьера и на пороге дверей, находившихся за нею, показалась женщина. Ей было лет тридцать. Она была очень просто одета и по виду напоминала кухарку. Лицо ее казалось добродушным и приятным.
Гортензия очень удивилась, когда в этой особе узнала горничную, которая служила ей, когда она была девушкой.
— Как, это вы Люси? Вы теперь госпожа Понкарди?
Вошедшая посмотрела на нее, узнала и, видимо, сконфузилась. Ренин обратился к ней:
— Вы нам нужны, чтобы выяснить дело, в котором вы играли важную роль...

Она с беспокойством взглянула на мужа, который не спускал с нее глаз.

— Что такое? В чем дело?

Понкарди прошептал:

— Застежка... сердоликовая застежка...

Этого было достаточно. Люси упала на стул, не пытаясь возражать, и пробормотала:

— А! Понимаю... Мадемуазель Гортензия напала на след... Мы погибли!

На некоторое время воцарилось молчание. В самом начале борьбы и муж, и жена имели вид побежденных. Люси принялась плакать, Ренин наклонился к ней и сказал:

— Объяснимся. Я уверен, что мы договоримся и все кончится благополучно. Девять лет тому назад, когда в провинции вы служили у мадемуазель Гортензии, вы познакомились с Понкарди и сделались его любовницей. Вы оба из Корсики, где особенно распространены разные суеверия, где всякие амулеты, заклинания и тому подобное играют в жизни каждого громадную роль. Вот почему, под влиянием господина Понкарди, вы похитили застежку. Это был тот талисман, который должен был принести вам счастье. Через шесть месяцев вы покинули свое место и вышли замуж за Понкарди. Вот в двух словах вся наша история. Оставаясь в общем честными людьми, вы не в силах были устоять перед искушением.

Нечего рассказывать вам, как, владея талисманом и веря в его действие, вы среди антикваров в скором времени стали в первых рядах. Вы считаете, что магазин ваш «В честь бога Меркурия» своим процветанием обязан упомянутой застежке. Вы полагаете, что с потерей застежки рушится ваше благосостояние. В ней вся ваша надежда, это ваш фетиш. Она — ваш ангел-хранитель. И эта застежка запрятана здесь. Никто ничего не подозревал бы, если б случай не заставил меня заняться вашими делами.

Ренин остановился на несколько секунд и затем продолжал:

— Я уже два месяца ищу здесь эту застежку, но ее еще не нашел. А я основательно перерыл весь ваш магазин! И ничего! Впрочем, виноват, в одной из шкатулок, Понкарди, я нашел ваш дневник, где вы рассказываете о своих угрызениях совести, о вашем беспокойстве, о страхе перед карой божьей. Какая неосторожность! Разве подобные признания записывают! Вот что вы, между прочим, пишете в этом дневнике:

«Пусть явится ко мне та, которую я обездолил... Пусть она придет сюда в таком виде, как я видел ее в ее саду, когда Люси похищала у нее застежку. Пусть явится она мне в синем платье, с шапочкой с осенними листьями, с янтарным ожерель-

ем и хлыстом из трех переплетенных прутьев, который она держала в руке в тот день. Пусть она так явится и скажет: — «Отдайте мне то, что мне принадлежит!» Если это случится, то я пойму, что Господь вдохновил ее, и она лишь исполняет волю Провидения».

Вот, Понкарди, что вы внесли в свой дневник и почему та, которую вы называете мадемуазель Гортензией, пришла к вам. Сохрани она до конца полное хладнокровие, и ее игра была бы выиграна. Вы это знаете. К несчастью, вы отличный актер. Ваша симуляция попытки к самоубийству вывела ее из душевного равновесия. Вам сделалось ясно, что она послана к вам не волей Провидения, просто ваша старая жертва таким путем хочет вернуть вами похищенное. Мне, следовательно, нужно было вмешаться в это дело. Итак, Понкарди, отдайте застежку.

— Нет,— энергично возразил антикварий.

— А вы, госпожа Понкарди?

— Я не знаю, где застежка находится.

— Прекрасно! Перейдем к действиям. У вас, госпожа Понкарди, семилетний сын, которого вы любите всеми силами своей души. Сегодня он должен один вернуться от тетки домой, как это происходит каждый четверг. Два моих приятеля, если я не отменю своего приказания, должны его похитить.

— Умоляю,— стала просить Люси,— только не это! Клянусь, что я ничего не знаю. Мой муж этой тайны мне не доверил.

Ренин продолжал:

— Во-вторых, сегодня же на имя прокурора будет принесена жалоба. Доказательством будет служить ваш дневник. Последствия: предварительное следствие, обыски, арест и т.д.

Понкарди молчал. Казалось, что все эти угрозы на него не действовали. Находясь под охраной фетиша, он, видимо, считал себя неуязвимым. Его жена бросилась к ногам Ренина и стала несвязно лепетать:

— Нет, нет... Умоляю вас... Я не хочу в тюрьму... А мой сын!.. О, я вас прошу!..

Гортензия была так растрогана, что отвела Ренина в сторону и сказала ему:

— Бедная женщина! Я прошу вас за нее.

— Успокойтесь,— ответил он с улыбкой,— ничего ровно с ее сыном не случится.

— Но ваши друзья, которые подстерегают его?..

— Я это выдумал.

— Жалоба прокурору?

— Только угроза.

— Что же вам надо?

— Мне надо их перепугать, вывести из душевного равновесия, заставить проговориться. Мы все перепробовали. Остается последнее средство. Оно, вспомните, почти всегда приводило нас к цели.

— Но если этой цели вы не достигнете?

— Она должна быть достигнута,— сказал Ренин глухим голосом.— Дело должно быть кончено. Час приближается.

Их глаза встретились, и молодая женщина покраснела до корней волос, думая о его намеке: в восемь часов ровно должна была наступить расплата.

— Вот чем вы рискуете,— обратился Ренин к чете Понкарди,— вы потеряете своего ребенка, а сами попадете в тюрьму. А вот мое предложение: отдайте мне застежку, и я вам немедленно уплачу двадцать тысяч франков. Она не стоит и ста франков.

Ответа не последовало. Госпожа Понкарди плакала.

Ренин продолжал, делая паузы между своими предложениями:

— Я удваиваю... Я утраиваю... Однако, вы требовательны, Понкарди!.. Вы хотите, значит, получить кругленькую сумму? Ладно! Сто тысяч!

Он протянул вперед руку, точно не сомневаясь в том, что получит застежку.

Госпожа Понкарди первая сдалась и с бешенством набросилась на мужа:

— Сознайся, наконец!.. Говори!.. Куда ты ее запрятал?.. Не будешь ли ты дальше упрямиться? Ведь ты разоришь нас, опозоришь!.. А наш сын!.. Говори же!

Гортензия прошептала:

— Ренин, это же безумие: застежка не имеет никакой ценности.

— Не бойтесь! На мое предложение он никогда не согласится... Взгляните на него: как он возбужден, как он волнуется! Это именно то, к чему я стремился. Этих людей надо довести до белого каления. Они должны потерять способность контролировать свои слова и свои действия... И в этот момент неосторожное слово, какой-нибудь жест выдаст их мне. Взгляните на него: он потерял голову. Подумать только — сто тысяч франков за какой-то камешек, или же тюрьма!..

Понкарди совершенно обезумел, лицо его было мертвенно бледно, в углах рта показалась пена. Видно было, что он переживал страшную внутреннюю борьбу. Его природная жадность находилась в борьбе с присущим ему суеверием. Вдруг он не выдержал и разразился рядом несвязных, порой бессознательных фраз:

— Сто тысяч! Двести тысяч! Пятьсот тысяч!.. Миллион! Наплевать мне на деньги! Миллионы исчезают, улетучиваются,

растрачиваются. Одно в жизни важно: за вас судьба или против вас! В этом вся суть. И вот судьба мне благоприятствует уже девять лет. За это время она ни разу мне не изменила, удача всегда была на моей стороне. Вы же хотите, чтобы я продал вам свое счастье. Чего ради? Вы грозите мне тюрьмой, обещаете похитить сына!.. Все это глупости! Со мной ничего не может случиться до тех пор, пока судьба будет на моей стороне. Сейчас она мой друг и мой слуга... И эта судьба, это мое вечное счастье, постоянная удача связана с застежкой. Я не знаю почему! Но есть камни, обладающие волшебным свойством. Этим свойством, очевидно, обладает сердоликовая застежка.

Ренин не спускал с него глаз и внимательно вслушивался в каждое его слово, в малейшие интонации его голоса. Теперь антикварий хохотал и наступал на князя. Он, видимо, сознавал свою силу, свое превосходство, и упрямство его росло.

— Миллионы? Но мне эти миллионы не нужны. Камешек, которым я владею, стоит больше всех миллионов в мире. Не напрасно вы так стараетесь овладеть им. Ведь вы уже месяцы ищете его, как сами сознались. Вы у меня перерыли весь магазин, а я даже не защищался и ничего не подозревал. Зачем защищаться? Вещица сама защищалась... Она не хочет, чтобы вы ее нашли, и вы ее не найдете. Ей здесь у меня хорошо. Она — мое счастье, моя добрая фея. Все знают, что мне во всем везет. Я даже избрал своим патроном бога Меркурия, бога удачи, бога торгового счастья... Он также мне покровительствует... И в магазине у меня везде понаставлены изображения Меркурия. Посмотрите на эту полку: там их целая коллекция, такие же, как и на моей вывеске. Я купил этих божков у знаменитого скульптора, который разорился. Одного из них я могу вам подарить. Этот Меркурий вам также принесет счастье. Мой подарок вознаградит вас за вашу неудачу. Идет?!

Он взобрался по лестнице вверх, схватил с полки статуэтку и отдал ее Ренину.

— Браво! Он принимает! — со смехом воскликнул Понкарди, довольный, что противник его, видимо, сдался,— если же он принимает, то, значит, все улажено.— Ваш сын, госпожа Понкарди, вернется, не мучьте себя. До свидания, мадемуазель Гортензия. Прощайте, сударь. Заходите, не забывайте! Я всегда к вашим услугам. Уносите свой подарок... пусть Меркурий поможет вам... До свидания, дорогой князь!.. Всего, всего наилучшего!

Он постепенно выпроваживал обоих посетителей из магазина, направляя их к дверям, которые вели в верхний этаж.

Самое странное было то, что Ренин не протестовал. Он ни минуты не сопротивлялся. Он ушел, как мальчик, которого наказали и выставили за дверь.

С того времени, когда он сделал свое предложение Понкарди, и до того момента, когда Понкарди выпроводил его из магазина со статуэткой в руках, не прошло и пяти минут.

Столовая Ренина выходила на улицу. Обеденный стол был накрыт на два прибора.

— Простите мне все эти приготовления,— сказал Ренин Гортензии, открывая ей двери в гостиную.— Я решил, что вы согласитесь в конце этого полного событий дня отобедать со мною. Не отказывайте мне в этой милости, которая завершит мое последнее с вами приключение.

Гортензия не возражала. Почему ей было не принять это приглашение: ведь условия заключенного ими договора выполнены не были?

Ренин на минуту вышел, чтобы сделать последние распоряжения, а затем вернулся и провел Гортензию в столовую. Часы в это время показывали несколько больше семи.

Стол был украшен редкими цветами. В центре его стояла статуэтка Меркурия, подарок Понкарди.

— Пусть бог удачи председательствует за нашим столом.

Князь находился в очень веселом настроении и шутил.

— Ах,— воскликнул он,— какая же вы упрямая! Вы перестали меня принимать!.. Вы мне не писали даже... Право, дорогой друг, вы поступили со мной прежестоко и заставили меня глубоко страдать. И мне пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию: подействовать на ваше воображение перспективой совершенно необычайного приключения, возбудить ваше женское любопытство. Согласитесь, что мое письмо было ловко составлено... Три прута... синее платье... Как тут устоять? А тут я еще добавил несколько загадок: ожерелье из янтаря... старушка в церкви... Не сердитесь! Я хотел вас непременно видеть и именно сегодня. Вы пришли. Спасибо!

Затем он рассказал, как нашел похитителей застежки.

— Вы, конечно, надеялись, ставя мне это условие, что я никогда его не выполню. И ошиблись, дорогой друг! Дело совсем не было так сложно, если принять во внимание, что застежка имела славу талисмана. Надо было узнать, кто из вашей прислуги отличался суеверием. Мне удалось быстро установить, что у вас служила горничная Люси из Корсики. Это обстоятельство явилось исходным пунктом для моих дальнейших розысков.

Гортензия смотрела на князя с удивлением. Как он легко мирился со своим поражением! Он говорил с видом победителя, когда, в действительности, был разбит наголову антикварием и поставлен им даже в смешное положение.

Она это дала ему почувствовать, а в ее голосе можно было найти нотку разочарования.

— Допустим, что вы все это распутали, но, в конце концов, вам не удалось вернуть мне украденное.

Упрек был ясен. Ренин не приучил ее к поражениям. Ее, кроме того, сердила та беспечность, с которой он встретил крушение своих заветных надежд.

Он ничего не ответил. Затем наполнил два бокала вином и один из бокалов приложил к губам, пристально глядя на статуэтку Меркурия. Затем он весело повернул божка.

— Какая дивная вещь — гармоничная линия. Меня всегда меньше чаруют цвет, краски, нежели пропорция, форма, красота линий. Я, например, дорогой друг, люблю цвет ваших васильковых глаз, золото ваших волос, но, верьте, меня еще больше восхищают овал вашего лица, линия вашего затылка и форма ваших плеч. Взгляните на эту статуэтку. Понкарди прав: ее слепил большой мастер. Как хороши ноги, мускулистые и тонкие в то же время. Вся фигура производит впечатление порыва и скорости. Все это дивно... Есть одна, впрочем, маленькая ошибка, которую, быть может, вы не заметили?

— Напротив,— отозвалась Гортензия.— Эту ошибку я заметила, когда рассматривала вывеску. Вы, вероятно, хотите сказать, что в статуэтке замечается некоторое отсутствие равновесия? Божок слишком наклонился вперед. Кажется, что он упадет.

— Браво! Совершенно верно. Эта неправильность почти незаметна, надо иметь опытный глаз, чтобы ее усмотреть. Логично рассуждая, божок должен упасть лицом вперед.

После короткой паузы он продолжал:

— Я заметил этот недостаток в первый же день. Меня, признаться, поразила эта особенность с точки зрения эстетической! Между тем я удивляюсь, что не обратил внимание на другое обстоятельство: законы тяжести нарушены быть не могут...

— Что вы хотите сказать? — с живым интересом спросила Гортензия.

— Ничего особенного. Я удивляюсь только тому, что сразу же не сообразил, почему Меркурий не падает вперед лицом вниз, согласно физическим законам.

— Причина?

— Причина?! Полагаю, что Понкарди, обрабатывая статуэтку, чтобы приспособить ее к своим целям, нарушил ее равновесие. Это равновесие, однако, опять восстановилось благодаря тому, что явилось новое обстоятельство.

— Какое?

— Дело в том, что статуэтка не была прикреплена в нише. Я видел, что Понкарди каждые два-три дня брал ее в руки и чистил. Значит, остается единственная гипотеза: противовес.

Гортензия вздрогнула. Она начала понимать.

— Противовес!.. Вы полагаете, что этот противовес находится в пьедестале?..

— Именно!

— Возможно ли это?! Но как мог в таком случае Понкарди вам отдать статуэтку?..

— Он дал мне не эту статуэтку,— объявил Ренин,— эту статуэтку я сам у него взял.

— Но где? Но когда?

— Только что, когда вы находились в гостиной. Я через свое окно добрался до ниши, где стояла статуэтка, и одного бога заменил другим.

— Но ведь тот Меркурий, который вам дал Понкарди, вперед не наклонен?

— Нет, как и все остальные статуэтки, находящиеся в магазине. Но Понкарди не артист и ничего не заметит. Он будет продолжать думать, что владеет талисманом. Если хотите, я разрушу пьедестал этой статуэтки, и мы вынем вашу застежку, которая залита оловом. Это олово и удерживает божка в состоянии равновесия.

— Нет, нет!.. Не надо!..— прошептала Гортензия.

Ловкость Ренина, его проницательность, способность разбираться в самых сложных вещах в эту минуту ее как будто не занимали. Она думала о том, что восьмое приключение их доведено до благополучного конца, что приближается час расплаты, что он победил.

— Три четверти восьмого,— заметил Ренин.

В комнате воцарилось тягостное молчание. Обоим стало неловко. Они боялись шевельнуться. Ренин попытался шутить:

— Молодчина этот Понкарди! Я был уверен, что, возбуждая его и сердя, я, в конце концов, заставлю его проговориться. Той искрой, которая осветила мне все дело, было сопоставление, которое сделал Понкарди, между сердоликовой застежкой и богом Меркурием, сказав, что и то, и другое приносит счастье. Я понял, что он соединил одно с другим — застежку с Меркурием, то есть соединил воедино два талисмана. Тогда я подумал о Меркурии в нише под вывеской...

Ренин внезапно прервал свою речь. Он заметил, что его не слушали. Молодая женщина закрыла глаза руками и, видимо, в мыслях была далеко.

Сейчас она думала о тех приключениях, которые они совместно пережили в течение последних трех месяцев, и о поведении этого удивительного человека, предложившего ей свою любовь. Она вспоминала о совершенных им, точно в волшебной сказке, подвигах, о том добре, которое он сделал, о спасенных им жизнях, о наказанных преступлениях и о восстановлении порядка везде, где проявлялась его железная воля.

Невозможного для него не существовало. То, что он начинал, он доводил до конца, всегда достигая своей цели. И все он делал спокойно, хладнокровно, чувствуя свою силу, понимая, что ничто не может противостоять ему. Перед ним она была беспомощной. Как защищаться и зачем защищаться? Он ведь всегда победит ее, всегда подчинит ее своей воле. Даже если она попыталась бы убежать куда-нибудь, разве он не отыщет ее, разве она найдет в целом свете место, где он не обнаружил бы ее?

С самого первого момента их встречи было предопределено, что Ренин завладеет ею, так как он решил это сделать, так как он поставил себе эту цель.

Все же она не сдавалась и искала предлогов, чтобы уклониться от выполнения договора. Она утешала себя тем, что хотя восемь приключений они совместно пережили и он вернул ей сердоликовую застежку, но, согласно условию, в последнюю минуту должны были пробить стенные часы замка Галингра. Ведь Ренин сказал три месяца тому назад, глядя на губы, к которым стремились его уста, следующее:

— Старый медный маятник опять придет в движение, и в тот момент, когда в назначенный срок опять пробьют восемь раз, тогда...

Она подняла голову. Он не шевелился и спокойно, с непроницаемым лицом ждал.

Гортензия приготовилась сказать ему следующее:

— Вы ведь знаете... Мы условились, что должны пробить часы Галингра. Все условия выполнены, исключая это. Значит, я свободна? Не так ли? Я...

Ход ее мыслей был внезапно прерван... Сзади послышалось шипенье стенных часов, собирающихся бить.

Раздался первый удар, затем второй... третий. У Гортензии вырвался стон. Она сразу узнала звон старинных стенных часов Галингра, которые три месяца тому назад так неожиданно вдруг пошли в заброшенном замке.

Она стала считать. Часы пробили восемь раз.

— А! — прошептала она в состоянии полного смятения, закрывая лицо руками...— Это бьют те часы... я узнала их бой...

Водворилось молчание. Она угадывала, что Ренин смотрит на нее. Этот взгляд лишал ее последних сил. Впрочем, ей больше не хотелось противиться, она чувствовала себя побежденной.

Их совместные приключения кончились. Но впереди оставалось еще главное, важнейшее приключение. Они должны были совместно пережить любовное приключение, самое сладкое, самое интересное и волнующее из всех приключений. И она подчинилась судьбе своей и была счастлива, невзирая на свое поражение, так как любила. Радость и счастье возвраща-

лись к ней в ту именно минуту, когда возлюбленный вернул ей сердоликовую застежку...

Часы стали бить вторично. Гортензия подняла глаза на Ренина. Одно мгновение она колебалась, но затем, точно зачарованная, теряя всякую силу сопротивления, когда часы пробили восьмой раз, она прильнула к нему.

Морис Леблан

КАНАТНАЯ ПЛЯСУНЬЯ

Роман

I

Замок Роборэй

Тусклая предрассветная луна. Редкие звезды...

В стороне от большой дороги стоит наглухо закрытый фургон с поднятыми кверху оглоблями, издали кажется, что это чьи-то воздетые к небу руки. В тени, у канавы, пасется лошадь, слышно, как она щиплет траву, как сопит и фыркает в отдалении.

Над далекими холмами посветлело; медленно гаснут звезды. На колокольне пробило четыре. Вот встрепенулась и вспорхнула первая птица, осторожно пробуя голос, за ней – другая, третья. Наступает утро, теплое, ясное.

Вдруг в глубине фургона раздался звучный женский голос:

– Кантэн! Кантэн!

И в окошке над козлами показалась голова с заспанным личиком.

– Удрал... Так я и знала. Вот дрянь! Вот мученье!

В фургоне раздались другие голоса. Через две-три минуты дверь фургона раскрылась и по ступенькам сбежала стройная молодая девушка, а в окошке показались всклокоченные головки двух мальчуганов.

– Доротея, куда ты?

Она обернулась и ответила:

– Искать Кантэна.

– Он вчера гулял с тобою, а потом лег спать на козлах. Право, я сам видел.

– Но теперь его там нет! Пойду поищу и за уши приволоку обратно.

Но не успела она сделать нескольких шагов, как из фургона выскочило двое мальчиков лет девяти-десяти. Оба бросились за ней вдогонку со словами:

– Нет, не ходи одна! Страшно! Темно!

– Что ты выдумываешь, Поллукс. «Страшно». Вот глупости.

Она дала каждому мальчугану по легкому подзатыльнику и толкнула обратно в фургон. Потом взбежала по лесенке следом за ними, ласково обняла их и поцеловала.

– Не надо хныкать, мои маленькие. Совсем не страшно. Через полчаса я вернусь вместе с Кантэном.

– Да где он пропадает по ночам? – хныкали мальчики.– И это уж не первый раз. Где он шатается...

– Он ловит кроликов, вот и все. Ну, довольно болтать, малыши. Ложитесь, поспите еще. И слышите, вы оба: не драться и не шуметь. Капитан еще спит, а он не любит, чтоб его будили.

Она быстро отошла, перепрыгнула через канаву, пересекла лужок, где под ногами хлюпала вода, и вышла на тропинку, убегавшую в мелкий кустарник. По этой тропинке гуляла она вчера с Кантэном и поэтому шла так быстро и уверенно.

Вскоре тропинку пересек ручей, нежно журчавший по камешкам. Она вошла в воду и двинулась по течению, как бы желая скрыть свои следы, потом вышла на противоположный берег и побежала напрямик через лес.

В своей коротенькой юбке, украшенной нашитыми пестрыми ленточками, маленькая, стройная и грациозная, она была прелестна. Бежала она по сухим прошлогодним листьям, по молодой весенней травке, средь ландышей и диких нарциссов — легко, быстро и осторожно, стараясь не поранить босых ног.

Распущенные волосы Доротеи разделились на две черные волнистые струи и развевались от ветра, как крылья. Губы слегка улыбались, веки были полуприкрыты от встречного ветра. Было видно, как приятно ей бежать и дышать свежим утренним воздухом.

Скромный наряд Доротеи завершала серая холщевая блузка и оранжевый шелковый шарф. А по лицу ей нельзя было дать больше пятнадцати-шестнадцати лет.

Лес остался позади. Впереди был овраг, узкий и глубокий, почти ущелье. Доротея остановилась.

Прямо перед ней, на высокой гранитной площадке, возвышался замок, который казался величественным. Он был выстроен на гребне высокой скалы и от этого походил на неприступное гнездо владетельного феодала. Справа и слева его огибал овраг, напоминавший искусственные рвы средневековья. За оврагом начинался пологий подъем, переходивший в почти отвесную крутизну.

— Без четверти пять,— сказала себе девушка.— Кантэн скоро вернется.

Она прислонилась к дереву, зорко вглядываясь в извилистую линию, где камни стен сливались с глыбами утеса. Там выступал неширокий карниз, прерываемый в одном месте выступом скалы. Вчера на прогулке Кантэн недаром сказал ей, показывая на это место:

— Посмотри: хозяева замка считают себя в полной безопасности. А между тем здесь очень легко вскарабкаться по стене и влезть в окошко.

Доротея понимала, что, если подобная мысль укоренилась в голове Кантэна, он непременно приведет ее в исполнение. Но что могло с ним приключиться? Неужели его поймали? Вообще-то решиться на такое дело, не зная ни плана дома, ни привычек его обитателей,— это верная гибель. Неужели он попался или просто ждет рассвета, чтобы спуститься вниз?

Время шло. Доротея заволновалась. Правда, с этой стороны не было проезжей дороги, но кто-нибудь из крестьян мог случайно пройти мимо и заметить спускающегося Кантэна. Какую глупость он затеял!

Не успела она и подумать об этом, как в овраге раздались чьи-то тяжелые шаги. Доротея нырнула в кусты. Показался человек в длинной куртке, до того закутанный в шарф, что из всего его лица можно было разглядеть одни глаза. Он был в перчатках и нес под мышкой ружье.

Доротея решила, что это охотник, вернее — браконьер, потому что он боязливо озирался по сторонам. Не доходя до того места, где Кантэну было легче всего перелезть через забор, он остановился, внимательно осмотрелся и нагнулся к камням.

Припав к земле, Доротея внимательно наблюдала за незнакомцем. Он еще раз оглянулся, ловко поднял каменную плиту, повернул ее на месте и поставил стоймя. Под плитой оказалась глубокая яма, а в яме мотыга. Он поднял мотыгу и стал долбить почву, стараясь работать без шума.

Прошло еще мгновенье. И вдруг случилось то, чего ждала и так боялась Доротея. Заинтересовавшее Кантэна окно распахнулось, и на подоконнике показалась длинная нескладная фигура в сюртуке и цилиндре. Даже издали было видно, что сюртук и цилиндр засалены, запачканы и грубо заштопаны. Доротея узнала Кантэна.

Он соскользнул с подоконника и босыми ногами нащупал карниз. Доротея стояла за кустом, позади человека, копавшего яму. Она хотела подать знак Кантэну, но было поздно: незнакомец заметил странную фигуру на стене и спрыгнул в яму.

Кантэн не мог обернуться и увидеть, что происходит внизу. Развязав веревку, добытую где-то в замке, он зацепил ее за решетку и концы спустил вниз. С такими приспособлениями спуск становился легким.

В это мгновенье Доротея выскочила из-за куста, заглянула в яму и чуть не закричала от ужаса: опираясь на камень, человек аккуратно прицеливался в Кантэна.

Что делать? Позвать Кантэна? Но этим только ускоришь развязку и выдашь себя. Броситься на незнакомца? Но голыми руками его не возьмешь. А между тем — действовать надо.

Доротея одним прыжком, с разбега толкнула поднятую незнакомцем плиту. Камень стоял некрепко и от толчка упал в яму, похоронив и ружье, и того, кто сидел в яме.

Доротея понимала, что бой не кончен, что враг вот-вот выскочит из западни. Она бросилась к Кантэну и подбежала к нему в ту минуту, когда он коснулся земли.

— Скорей! Скорей! Беги!

Ошеломленный, Кантэн тянул конец веревки, повторяя:

— В чем дело? Как ты сюда попала? Как ты узнала, где я?

— Тише! Скорей! Тебя заметили! Хотели стрелять. Сейчас будет погоня.

— Что ты городишь? Какая погоня? Кто?

— Какой-то тип, одетый мужиком. Он тут, в яме. Он подстрелил бы тебя, как куропатку, если бы я не спихнула ему камень на голову.

— Но...

— Молчи! Бери веревку! Заметаем следы!

И прежде чем сидевший в яме успел поднять камень, они сбежали в овраг и скрылись в лесу.

Минут через двадцать добрались они до ручья, пошли по воде и вышли из воды лишь там, где берег был каменистый, на котором не видно следов. Тут Доротея вдруг стала громко хохотать.

— Что с тобой? — спросил Кантэн.— Что тебя рассмешило?

Она не отвечала и все хохотала, до судорог, до слез. Щеки ее раскраснелись, белые ровные зубы сверкали, наконец, она едва выговорила:

— Цилиндр... Сюртук... А ноги — босые... Ну, и выдумал!.. Ах, ты, чучело гороховое!

Лес был тихий, торжественный. Чуть трепетали листья у вершин. И молодой раскатистый хохот звонко разливался по чаще.

Кантэну было лет шестнадцать. У него была нескладная долговязая фигура, бледное лицо, рот до ушей, бесцветные белокурые волосы. И только восхитительные черные глаза ярко оттеняли его тусклую физиономию. Кантэн стоял перед Доротеей и радовался, что смех мешает ей сердиться. Он чувствовал себя виноватым и со страхом ждал расплаты.

Вдруг, резко оборвав смех, Доротея бросилась на Кантэна и стала бить его по чем попало и осыпать градом упреков. Но в голосе ее еще искрился смех, от которого брань казалась почти лаской.

— Разбойник! Негодяй! Так ты вздумал заняться грабежами! Ему, изволите ли видеть, мало жалованья, получаемого в цирке. Ему нужны деньги на цилиндры, которые он привык носить... Что ты там украл, негодяй? Признавайся!

Излив свое негодование, Доротея пошла дальше, жестом приказывая Кантэну идти за собой. Кантэн зашагал следом и, сконфуженно запинаясь, стал рассказывать:

— Собственно говоря, ты сама обо всем догадалась... Ну, влез я вчера вечером в окно, попал в уборную. Уборная — в конце коридора, в первом этаже. Я выглянул — никого. Хозяева обедают. Я вышел в коридор и поднялся на второй этаж. Там — тоже коридор, и со всех сторон комнаты... Я обошел их. Ничего подходящего не попадалось. Все картины или тяжелые вещи... Потом я залез под диван в будуаре. Видел в открытую

дверь, как танцевали в маленькой гостиной. Разошлись гости поздно. Очень шикарная публика... Потом пришла дама, сняла драгоценности и спрятала их в шкатулку, а шкатулку заперла в несгораемый шкаф с секретным замком. Отпирая шкаф, она называла буквы, на которые ставят замок: Р. О. Б. Потом ушла, а я запомнил буквы и открыл шкаф. А потом дожидался рассвета: неприятно спускаться в темноте...

— Покажи! — отрывисто приказала Доротея.

Он протянул руку. На его ладони сверкала пара сапфировых серег. Доротея взяла их и стала рассматривать. Глаза ее засияли от восхищения, и она прошептала сдавленным, изменившимся от волнения голосом:

— Сапфиры... Какая прелесть. Совсем как небо летней ночью. Темное, глубокое. И полное света...

Они подошли к дереву на опушке, возле которого торчало огромное, нелепое чучело. На чучеле болталась куртка Кантэна. Вечером он снял с чучела сюртук и цилиндр, чтобы никто не мог его узнать. Пока Доротея любовалась сапфирами, он быстро разделся, напялил на чучело сюртук, надел куртку и догнал Доротею.

— Возьми их себе, Доротея. Ты знаешь, что я не вор. Я сделал это для тебя. Круто тебе приходится. Ты должна была бы жить в роскоши, а танцуешь на канате. Нет на свете вещи, которой я не сделал бы ради тебя.

Она быстро подняла ресницы.

— Ты говоришь, что ради меня пойдешь на все?

— Конечно.

— Хорошо. Ловлю тебя на слове и прошу одного: будь честен. Да, только честен, и больше ничего. Я взяла тебя и малышей потому, что все вы сироты, как и я. И сиротами сделала нас война. Вот уж два года, как мы таскаемся по белу свету. Зарабатываем плохо, но не голодаем. И я хочу одного, чтобы все мы всегда были чистыми, простыми и честными. А ты уж третий раз попадаешься в воровстве. И каждый раз уверяешь, что воруешь ради меня. Скажи мне по совести, будешь ли ты еще воровать или нет? Если нет — я тебя прощу. Иначе — ступай на все четыре стороны.

Она говорила нервно и решительно. Кантэн понял, что она не шутит, и, волнуясь, спросил:

— Значит, ты меня прогоняешь, хочешь, чтобы я ушел?

— Нет. Но дай слово, что это больше никогда не повторится.

— Ладно.

— Хорошо. Не будем вспоминать об этом. Ты как будто обещаешь серьезно. А теперь возьми серьги и спрячь их в фургон, в большую корзину. На будущей неделе мы пошлем их обратно по почте. Это, кажется, замок Шаньи?

— Да, я там видел фотографии с надписью: «Замок Шаньи».

Мир и дружба была восстановлена, и безо всяких приключений они дошли до фургона. Только два-три раза им пришлось сворачивать в кусты, чтоб не попасться на глаза встречным крестьянам. Подходя к фургону, Кантэн остановился и стал прислушиваться. Доротея жестом успокоила его:

— Не бойся: это дерутся Кастор и Поллукс.

Кантэн бросился к фургону.

— Кантэн, не смей их трогать! — крикнула девушка вдогонку.

— Воздам каждому по заслугам,— огрызнулся Кантэн.

— Они мои, и я могу их бить. А ты не смей!

Мальчики устроили дуэль на деревянных саблях. Заметив Кантэна, они прекратили драку и бросились на общего врага, но, не очень доверяя своим силам, стали звать Доротею:

— Доротея! Помоги! Кантэн хочет нас поколотить! Доротея!

Подоспела Доротея, и Кантэн оставил мальчиков в покое, а Доротея подняла с ними веселую возню. Помирив драчунов, она строго спросила:

— А капитан? Вы, верно, разбудили его своим криком?

— Капитан спит как мертвый. Слышишь, как храпит?

В стороне, при дороге, мальчики развели костер и сварили суп. Все четверо плотно позавтракали и выпили по чашке кофе.

Доротея никогда не хозяйничала. Кантэн, Кастор и Поллукс делали все сами, ревнуя Доротею друг к другу. Из ревности были и вечные драки между Кастором и Поллуксом. Достаточно было Доротее посмотреть на одного из них нежнее, как дружба краснощеких мальчуганов моментально превращалась в ненависть. С другой стороны, Кантэн искренне ненавидел мальчуганов, и, когда Доротея их ласкала, он готов был свернуть им шею. Ведь его-то, Кантэна, Доротея не целовала никогда. Он должен был довольствоваться веселой улыбкой, шуточкой, самое большее — ласковым шлепком по плечу. Впрочем, Кантэн и этим был доволен, и ему казалось, что о большем нельзя и мечтать. Кантэн умел любить, дорожить лаской и быть преданным, как собака.

— Теперь займемся арифметикой,— скомандовала Доротея.— А ты, Кантэн, можешь немного поспать.

Мальчуганы достали книжки, тетради. После арифметики Доротея стала им рассказывать о первых Меровингах, потом повела беседу о планетах и звездах. Мальчики слушали ее, как волшебную сказку. Кантэн растянулся на траве и тоже слушал, стараясь не заснуть. Доротея была прекрасной учительницей.

Она так увлекательно рассказывала, что все, о чем бы ни заходила у них речь, крепко западало в головы учеников.

К десяти часам Доротея приказала запрягать. До ближайшего местечка было довольно далеко, и надо было торопиться, чтобы не опоздать и захватить на ярмарочной площади местечко получше.

— А капитан еще не завтракал,— сказал Кастор.

— Тем лучше,— возразила Доротея.— Он и так слишком объедается. Пусть отдохнет от еды. А потом, если не дать ему выспаться, он будет целый день таким несносным, что... Ну, поворачивайтесь, пусть спит,— оборвала она самое себя...

Фургон скоро тронулся в путь. Одноглазая пегая кобыла по имени Кривая Ворона медленно тащила его по дороге. Фургон громыхал железом, бочками, ящиками и разным жалким домашним скарбом. Он был наново выкрашен, и на его боках красовалась надпись: «Цирк Доротеи. Карета Дирекции». Эта надпись была придумана для того, чтобы легковерная публика воображала, что это лишь один из фургонов цирка, за которым идут другие с артистами, музыкантами и дикими зверями.

Кантэн с хлыстом шагал рядом с лошадью. За ним шла Доротея с мальчуганами. Она пела песни и рвала цветы по откосам дороги.

Через полчаса, на перекрестке, Доротея внезапно крикнула:

— Стой!

— В чем дело? — спросил удивленно Кантэн.

Доротея внимательно рассматривала надпись на придорожном столбе и ответила, не оборачиваясь:

— А вот посмотри.

— Зачем смотреть: надо ехать направо. Я справлялся по карте.

— Нет, посмотри! — настойчиво повторила Доротея.— Видишь: «Шаньи — два километра...»

— Что же тут странного. Это, верно, деревушка возле вчерашнего замка.

— Лучше прочти до конца. «Шаньи — два километра. Замок Роборэй».

И с каким-то трепетом Доротея несколько раз повторила последнее слово:

— Роборэй, Роборэй...

— Значит, деревня называется Шаньи, а замок Роборэй,— догадался Кантэн.— Но все-таки, в чем дело?

— Ничего. Почти ничего...— не сразу ответила девушка.

— Нет, ты чем-то заинтригована.

— Так... Простое совпадение.

— Какое совпадение? С чем?

— С именем Роборэй. Это имя так врезалось в мою память. Я услыхала его при таких ужасных обстоятельствах...

— Каких? — Кантэн был не на шутку встревожен словами Доротеи, а она ушла в себя, задумалась, и глубокая складка залегла между ее бровями.

— Ты знаешь, Кантэн,— сказала она наконец,— что мой папа умер от раны в Шартрском госпитале, в начале войны. Меня вызвали к нему, но я не застала его в живых. Некоторые раненые, его соседи по койке, рассказывали мне о его последних минутах. Он бредил и все время повторял одно и то же слово: Роборэй, Роборэй. Даже в агонии это слово не сходило с его уст: Роборэй, Роборэй...

— Да,— припомнил Кантэн,— я помню, ты часто рассказывала мне про это.

— А потом,— продолжала Доротея задумчиво,— я долго ломала себе голову, что бы это могло означать. Я не знаю, что вспоминал перед смертью папа, а раненые уверяли, что он произносил это слово со страхом и тревогой. Теперь ты понимаешь, Кантэн, что, прочитав это слово на столбе и узнав, что так называется замок, я захотела...

Кантэн испуганно перебил Доротею:

— Неужто ты хочешь отправиться в замок?

— А почему бы не попробовать?

— О, Доротея! Ведь это — безумие.

Девушка задумалась. Кантэн понимал, что она не отказалась от своего плана, и уж собирался привести ей новые доводы, чтобы во что бы то ни стало отговорить ее, как вмешались в разговор Кастор и Поллукс. Перебивая друг друга, они сообщили неожиданное известие:

— Доротея, Доротея, туда свернуло три ярмарочных балагана!

Действительно, на дороге в Роборэй показались три пестрых фургона. Это были коллеги и конкуренты Доротеи. На одном из фургонов была надпись: «Черепашьи бега», на другом — «Тир», на третьем — «Игра в черепки».

К Доротее подошел хозяин «Тира», вежливо поклонился и спросил:

— Вы тоже туда?

— Куда? — переспросила Доротея.

— В замок. Там сегодня устраивают народное гулянье. Если хотите, я могу занять для вас место.

— Да-да, пожалуйста! Спасибо,— ответила девушка.

Когда фургоны отъехали на порядочное расстояние, Доротея обернулась к Кантэну. Он был бледен.

— Кантэн, что с тобой? Ты весь дрожишь,— воскликнула она в тревоге.

— Жандармы! Там! Смотри!

Из лесу показались два конных жандарма. Они проскакали мимо фургона и свернули на дорогу в замок, не обратив на Доротею и ее спутников никакого внимания.

— Видишь,— улыбнулась Доротея.— Они совсем не думают о нас.

— Но они едут в замок.

— Так что. Там устраивают народное гулянье и двое жандармов нужны для порядка.

— А если в замке обнаружили кражу и телефонировали в жандармерию?

— Едва ли. Пропажу заметят вечером, когда графиня начнет одеваться.

— Но все-таки, Доротея... Ради Бога, не езди туда! — умолял испуганный Кантэн.— Увидишь: мы непременно попадем в ловушку. И потом этот тип, который прыгнул в яму... Он может меня узнать.

— Глупости. Ты был неузнаваем. Самое большее, что он может придумать, это арестовать огородное чучело в сюртуке и цилиндре.

— А если вдруг начнется обыск и у нас найдут серьги?

— Подбрось их в парке в кусты. А я погадаю на картах, и дама отыщет пропажу. Мы будем иметь колоссальный успех.

— Но если случайно...

— Да замолчи ты. Если, если... Я хочу видеть замок, который зовется Роборэй, и баста! Едем.

— Но я боюсь и за себя, и за тебя.

— Оставайся.

Кантэн пожал плечами, задумался, потом щелкнул бичом и сказал решительно:

— Ладно. Будь что будет. Едем.

II

Цирк Доротеи

Замок Роборэй находился в самой живописной части департамента Ори, недалеко от Домфрона. С восемнадцатого века он назывался Роборэем, а раньше его звали так же, как и соседнюю деревушку, Шаньи. Деревенская площадь Шаньи была как бы продолжением барского двора. И, если ворота замка бывали открыты, эта площадь казалась очень большой и просторной. В круглом внутреннем дворе были устроены солнечные часы и старинный каменный фонтан со скульптурными сиренами и дельфинами.

Цирк Доротеи с музыкой проехал через деревню, это Кастор и Поллукс важно шагали перед фургоном и изо всех сил дули в медные трубы, стараясь выдуть из них как можно больше фальшивых нот. Кантэн тащил плакат с объявлением, что представление начнется в три часа, а Доротея стояла на крыше

фургона и торжественно правила Кривой Вороной с таким видом, точно это въезжала, по крайней мере, королевская колесница.

На площади уже стояло несколько фургонов и карет. Наскоро разбивали балаганы, ставили карусели, качели, столики для игры...

Зато цирк Доротеи не делал никаких приготовлений. Доротея отправилась в мэрию за разрешением, Кантэн распряг лошадь, а мальчуганы занялись стряпней. Капитан все еще спал.

К полудню на площади появилась публика – крестьяне и торговцы из Шаньи и окрестных деревень. Кантэн, Кастор и Поллукс дремали в глубине фургона. Пообедав, Доротея снова исчезла. Она прошлась по краю утеса, подошла к обрыву, по которому карабкался утром Кантэн, погуляла в парке, потолкалась среди народа.

– Ну, что? – спросил Кантэн, когда она вернулась.– Разузнала ты что-нибудь интересное?

– Да, кое-что. Оказывается, этот замок долго был необитаем. Теперешний его хозяин, граф Октав де Шаньи. Последний потомок их рода. Сейчас ему лет сорок или сорок пять, и он женат на миллионерше. Раньше они здесь не жили; только после Версальского мира отремонтировали замок и вчера справляли новоселье. Вот почему были гости, а сегодня устраивается народное гулянье.

– Ну, а насчет названия Роборэй ты ничего не разнюхала?

– Нет, ни словечка. Я даже не знаю, почему папа вспоминал о нем перед смертью...

– Значит, мы уедем отсюда сейчас же после представления. Да? – приставал Кантэн, только и думавший о том, как бы поскорее выбраться из опасного места.

– Не знаю. Посмотрим. Я все-таки заметила здесь много странного.

– Относящегося к твоему отцу?

– Нет,– ответила она нерешительно.– Нет, совсем другого... Я просто хочу объяснить себе эти странности... Видишь ли, если в деле бывает темное место, так без света никак не угадаешь, что там скрывается... И мне хотелось бы пролить побольше света... Одним словом, осветить его.

Она умолкла, задумалась, потом сказала, взглянув в глаза Кантэну:

– Ты знаешь, какая я осторожная и благоразумная. И ты знаешь, какой у меня нюх и глаза... Я вижу, я чувствую, что мне необходимо здесь остаться.

– Почему? Из-за названия Роборэй?

– Из-за названия и по другим причинам. Я боюсь, что мне придется действовать, даже решиться на довольно опасные и неожиданные вещи.

Кантэн смотрел на нее во все глаза.

— Я ничего не понимаю,— сказал он, наконец.— Объясни, пожалуйста.

— Ничего особенного. Человек, которого я прихлопнула в яме, гостит в замке.

— Что ты! Здесь? Ты его видела? Он привел жандармов?

Доротея улыбнулась.

— Покамест нет. Но все может быть. Куда ты спрятал серьги?

— Я положил их на дно большой корзины, в картонную коробочку с сургучной печатью.

— Хорошо. Как только мы кончим представление, ты отнесешь их туда, в кусты рододендронов, между решеткой сада и каретным сараем.

— Разве хватились серег?

— Нет еще. По-видимому, ты попал в будуар графини. Я перезнакомилась с горничными и долго говорила с ними. Про кражу ничего не слышно.

— Стой,— прервала себя Доротея.— Посмотри: кажется, к тиру подошли хозяева. Верно, эта красивая блондинка — графиня.

— Да, я ее сразу узнал.

— Прислуга ее очень хвалит. Говорят, что она простая, добрая и приветливая. Зато графу от всех достается: все считают его несимпатичным человеком.

Кантэн, тревожно вглядываясь в группу людей возле тира, спросил:

— Там трое мужчин. Который муж графини?

— Важный и полный, в сером костюме. Смотри, смотри, он взял ружье. А те двое, кажется, родственники. Высокий, с бородой, в роговых очках, живет здесь целый месяц, а молодой, в бархатной куртке и гетрах, приехал вчера.

— Странно: они смотрят на тебя, как на знакомую.

— Потому что я говорила с ними. Бородатый даже пробовал за мной поухаживать.

Кантэн вспыхнул и собирался что-то выпалить, но Доротея быстро его укротила.

— Тише. Побереги силы. Борьба начинается. Подойдем к ним поближе.

Вокруг тира собралась толпа. Всем хотелось посмотреть, как стреляет хозяин замка, слывший хорошим стрелком. Он выпустил двенадцать пуль, и все они попали в картонный круг мишени. Раздались аплодисменты. Из ложной скромности граф протестовал.

— Оставьте, опыт неудачен. Ни одна не попала в центр.

— Нет навыка,— сказал кто-то за его спиной.

Доротея успела пробраться к самому стрелку и сказала это с таким видом знатока, что все невольно улыбнулись. Бородатый господин в очках представил ее графу и графине.

— Мадемуазель Доротея, директриса цирка.

Доротея поклонилась. Граф, покровительственно улыбаясь, спросил ее:

— Вы критикуете меня как директриса цирка?

— Нет, как любительница.

— А... Разве вы тоже стреляете?

— Иногда.

— В крупную цель?

— Нет, в мелкую. Например, в брошенную монетку.

— И без промаха?

— Разумеется.

— Но, несомненно, пользуетесь прекрасным оружием?

— Напротив. Хороший стрелок должен справляться с каким угодно. Даже с такой допотопной штукой, как эта.

Она взяла с прилавка какой-то старый, ржавый револьвер, зарядила его и прицелилась в картонный круг, в который стрелял де Шаньи.

Первая пуля попала в центр, вторая — на полсантиметра ниже, третья — в первую.

Граф был поражен.

— Это поразительно! Она даже не прицелилась толком. Что вы на это скажете, Эстрейхер!

Эстрейхер пришел в восхищение:

— Неслыханно! Сказочно! Мадемуазель, вы можете составить себе состояние.

Доротея, не отвечая, выпустила еще три пули, потом бросила револьвер и громко объявила:

— Господа. Имею честь вам сообщить, что представление в моем цирке начинается. Кроме стрельбы в цель, вы увидите танцы, вольтижировку, акробатику, фейерверк, бой быков, гонку автомобилей, крушение поезда, пантомиму и много других номеров. Мы начинаем.

Доротея преобразилась. С этой минуты она стала воплощением подвижности, изящества и веселья. Кантэн огородил пред фургоном круг, вбил в землю несколько колышков с кольцами и продел через них веревку. Для хозяев замка Кантэн расставил стулья, остальные разместились вокруг арены — кто на скамьях, кто на бочках или ящиках, а кто и просто стоя.

Первой вышла Доротея. Между двух невысоких столбов натянули канат. Она прыгала по канату, как мячик, ложилась на него, качаясь, точно в гамаке, снова вскакивала, бегала взад и вперед, кланялась на все стороны. Потом спрыгнула на землю и стала танцевать.

В ее танцах не было ничего затверженного. Казалось, что каждая поза, каждый жест — вдохновенная импровизация. Это не был танец одного настроения или народа. Тут были все нации и все темпераменты. Вот танцует англичанка из лондонских dancing girl. Вот огнеглазая испанка с кастаньетами. Она плавно скользила в русской хороводной, вихрем кружилась в камаринской и тут же превращалась в женщину из бара, танцующую тягучее сладострастное танго.

И как просто выходило все это: легкое, чуть уловимое движение, слегка подхваченная шаль или прикосновение к прическе — и вся она преображалась. Через край разливалась кипучая здоровая молодость, страсть становилась стыдливой, восторг сменялся застенчивой нежностью. И во всем и всегда она оставалась прекрасной.

Вместо музыки — глухо рокочет барабан под палками Кастора и Поллукса. Молча смотрит зачарованная публика, восхищенная изменчивой пляской. Вот на арене мальчишка-апаш. Но отвернешься на мгновенье, глядь, а на арене — кокетливая, изнеженная дама, танцующая с веером жеманный менуэт. И кто она, эта волшебница? Ребенок? Женщина? И сколько лет ей: пятнадцать, двадцать или больше? Доротея остановилась. Раздались аплодисменты. А она мигом взобралась на фургон и повелительно крикнула публике:

— Тише! Капитан проснулся!

Позади козел была низкая, узкая корзина, похожая на будку. Доротея подняла крышку и спросила:

— Капитан Монфокон! Неужто вы до сих пор не проснулись? Да отвечайте же, капитан! Публика ожидает.

Она сняла крышку, и оказалось, что это не будка, а уютная колыбелька, в которой сладко спал краснощекий бутуз лет шести-семи. Он сладко зевал и тянулся ручонками к Доротее. Доротея наклонилась к нему и нежно его расцеловала. Потом обернулась к Кантэну:

— Барон де Сен Кантэн. Будем продолжать программу. Сейчас выход капитана Монфокона. Приготовьтесь и дайте ему поесть.

Капитан Монфокон был комиком труппы. Он был одет в форму американского солдата, сшитую на взрослого человека. Полы его френча волочились по земле, брюки были засучены до колен. Это было очень неудобно, и малыш не мог ступить ни шагу, чтобы не запутаться и не упасть, растянувшись во весь рост на земле. Комизм его выхода и таился в этих беспрерывных падениях и в бесстрастной серьезности, с какой малыш поднимался и снова падал.

Кантэн подал ему хлыст, ломоть хлеба, густо намазанный вареньем, и подвел Кривую Ворону. Капитан набил рот хле-

бом, измазав всю мордашку вареньем, взял хлыст и важно вывел коня на арену.

— Перемени ногу,— важно командовал он с набитым ртом.— Танцуй польку. Так... По всему кругу. На дыбы. Теперь падеспань. Хорошо... Прекрасно...

Пегая одноглазая кобыла, возведенная на старости лет в чин цирковой лошади, понуро семенила по арене, совершенно не слушая команды капитана. Впрочем, капитан не смущался непослушанием лошади. Беспрестанно спотыкаясь и падая, снова поднимаясь и жадно уплетая свой завтрак, он все время оставался невозмутимым, и это взаимное равнодушие старой лошади и маленького карапуза было так забавно, что даже Доротея звонко хохотала, заражая зрителей своим непритворным весельем.

— Прекрасно, мосье капитан,— подбодряла она ребенка.— Великолепно, а теперь мы исполним драму «Похищение цыганки». Барон де Сен Кантэн исполнит роль гнусного похитителя.

«Гнусный похититель» с диким ревом бросился на Доротею, схватил ее, перекинул через седло, вскочил на коня. Невозмутимая кобыла так же медленно и понуро семенила по арене. Но Кантэн изображал лицом и позой бешено скачущего всадника. Припав к седлу, он исступленно кричал:

— Галопом! Карьером! Погоня!

А капитан все так же невозмутимо вытащил из-за пояса игрушечный пистолетик и выстрелил в «гнусного похитителя». Кантэн кубарем скатился с седла, а освобожденная цыганка подбежала к своему избавителю и крепко расцеловала его в обе щеки.

Потом Кантэн показывал партерную гимнастику. Были и другие номера, в которых участвовали Кастор и Поллукс. Все было мило, весело, остроумно.

— Капитан Монфокон, возьмите шляпу, произведите в публике сбор. А вы, Кастор и Поллукс,— командовала Доротея,— бейте громче в барабан, чтобы заглушить звон золота, падающего в шляпу.

Капитан с огромной шляпой обошел публику, бросавшую ему медь и смятые кредитки. Потом Доротея вскочила на крышу фургона и произнесла прощальную речь.

— Благодарю вас, господа. С искренним сожалением покидаем мы ваше гостеприимное местечко. Но прежде чем уехать, мы считаем долгом сообщить почтеннейшей публике, что мадемуазель Доротея (она церемонно поклонилась при этом) — не только директриса цирка и первоклассная артистка. Она обладает редким даром ясновидения и чтения чужих мыслей. По линиям руки, на картах, по почерку, звездам и кофейной гуще она открывает все сокровенное. Она рассеивает тьму, она

разгадывает тайны и загадки. С помощью своей волшебной палочки она в покинутых развалинах, под камнями старинных замков, в заброшенных колодцах и подземельях отыскивает давным-давно запрятанные клады, о существовании которых не знает никто. Кто ищет их – тому она поможет.

Окончив речь, Доротея спустилась на землю. Мальчики уже укладывали вещи. Кантэн подошел к ней и зашептал испуганно:

– За нами следят. Жандармы не спускают с цирка глаз.

– Разве ты не слыхал моей речи?

– А что?

– А то, что к нам придут за советом, к Доротее Ясновидящей. А вот и клиенты: бородатый и тот, другой, в бархатной куртке.

Бородач был восхищен. Он рассыпался перед Доротеей в любезностях, потом представился ей:

– Максим Эстрейхер.

И представил своего друга:

– Рауль Дювернуа.

Затем оба молодых человека пригласили Доротею от имени графини де Шаньи пожаловать в замок на чашку чая.

– Вы просите меня одну? – лукаво спросила Доротея.

– Конечно, нет,– возразил Рауль Дювернуа с вежливым, почти изысканным поклоном.– Моя кузина будет рада видеть и ваших юных товарищей. Надеюсь, вы нам не откажете.

Доротея пообещала быть после того, как переоденется и приведет себя в порядок.

– Нет, нет, не переодевайтесь,– просил Эстрейхер.– Приходите так, в этом костюме. Он вам очень к лицу, а главное – ничего не скрывает и подчеркивает грацию и красоту вашей фигуры.

Доротея покраснела и сухо отрезала:

– Я не люблю комплиментов.

– Помилуйте! Разве это комплименты? – возразил Эстрейхер, не скрывая иронии.– Это только должная дань вашей красоте.

Когда молодые люди удалились, Доротея пальцем подманила Кантэна и сказала, смотря им вслед:

– Будь осторожен с бородатым.

– Почему?

– Он хотел подстрелить тебя сегодня утром.

Кантэн чуть не упал в обморок.

– Не может быть. Ты не ошиблась? – лепетал он со страхом.

– Нет. Та же походка и так же волочит левую ногу.

– Неужто он узнал меня?

— Может быть. Увидав твои прыжки на арене, он, верно, вспомнил того дьявола, который утром лазил по канату. А от тебя перешел ко мне и догадался, что это я хватила его камнем по черепу. Я вижу по его глазам, что он все понял. Какая гнусная у него манера лезть с пошлостями и при этом насмешливо улыбаться.

Кантэн вспылил:

— И ты еще хочешь оставаться! Ты смеешь еще оставаться!

— Смею.

— Несмотря на бородатого.

— Ведь он понял, что я его разгадала...

— Чего же ты хочешь?

— Хочу погадать им и заинтриговать их.

— Зачем?

— Чтобы заставить проболтаться.

— О чем же? — Кантэн был окончательно сбит с толку.

— О том, что меня интересует.

— А если обнаружится кража? Если нас потащат на допрос?

Терпение Доротеи лопнуло.

— Если ты такой трус, возьми у капитана деревянное ружье и стань на караул у фургона. А когда появятся жандармы,— пали в них пробками. Понял?

Доротея быстро привела себя в порядок и пошла в замок. Рядом с нею шагал долговязый Кантэн и рассказывал все подробности своего ночного приключения. Сзади шли Кастор и Поллукс, а за ними — капитан, тащивший игрушечную повозочку, нагруженную его незатейливыми игрушками.

Приняли их в главной гостиной замка. Прислуга сказала правду: графиня была славная, сердечная женщина. Она ласково угощала мальчиков сладостями и была очень мила с Доротеей.

Доротея совсем не казалась смущенной. В гостиной она держала себя скромно, но так же непринужденно, как и в фургоне. Она даже не нарядилась, только поверх своего скромного платья набросила черную шелковую шаль и перехватила ее поясом. Приличные, полные достоинства манеры, умный выразительный взгляд, литературные обороты речи, в которые только изредка вкраплялось народное словцо, веселая подвижность — все в ней восхищало графиню и ее мужа.

— Не вы одна, я тоже могу предсказывать судьбу,— заявил Эстрейхер.— По крайней мере, за ваше будущее я ручаюсь. Я уверен, мадемуазель Доротея, что вас ждет слава и богатство. И если бы вам захотелось попасть в Париж, я бы с радостью согласился руководить вами... У меня есть связи, и я гарантирую вам блестящую карьеру.

Она покачала головой.

— Мерси. Мне ничего не нужно.
— Может быть, я вам неприятен?
— Вы мне ни неприятны, ни приятны. Я просто вас не знаю — вот и все.
— Жаль. Если бы вы знали меня — вы бы мне верили.
— Сомневаюсь.
— Почему?
Она взяла его руку и стала рассматривать линии.
— Распутство. Жажда наживы. Совести нет.
— О... Я протестую. У меня? Нет совести!..
— Это показывает ваша рука.
— А что говорит моя рука о моем будущем? Ждет ли меня удача?
— Нет.
— Как... Я никогда не разбогатею?
— Боюсь, что нет.
— Черт побери! А когда я умру?
— Скоро.
— Вот как. И долго буду болеть?
— Нет. Всего несколько секунд.
— Значит, я погибну от несчастного случая?
— Да.
— Каким образом?
Доротея провела пальцем по какой-то линии ладони.
— Посмотрите,— сказала она.— Видите эту линию у основания указательного пальца?
— Вижу. А что это значит?
— Виселица.
Все расхохотались. Эстрейхер сделал вид, будто его очень забавляет хиромантия, а граф Октав захлопал в ладоши.
— Браво, браво. Уж если вы предсказали этому развратнику петлю, значит, вы настоящая ясновидящая, и я больше не стану колебаться.
Он переглянулся с женой и продолжал:
— Да, да, не стану колебаться и прямо скажу...
— Причину, из-за которой вы пригласили меня в гости,— подхватила Доротея.
— Что вы,— возразил граф, чуть-чуть смутившись.— Мы пригласили вас потому, что хотели иметь удовольствие побеседовать с вами.
— И испытать мои способности ясновидящей.
— Ну, да,— вмешалась графиня.— Ваша прощальная речь нас заинтриговала. Признаюсь, мы не верим во всякие волшебства, но мы хотим задать вам несколько вопросов, так сказать, из пустого, несерьезного любопытства.
— Хорошо. Раз вы не верите в мои способности — не будем говорить об этом. А я все-таки удовлетворю ваше любопытство.

Графиня удивленно подняла ресницы.
— Каким образом?
— Отвечая на ваши вопросы.
— Под гипнозом?
— Зачем. По крайней мере, сейчас гипноз не нужен. А что будет дальше — посмотрим.
Доротея отослала детей в сад, оставила только Кантэна и подсела к графине.
— Я к вашим услугам.
Графиня замялась.
— Я, право, не знаю...
— Говорите прямо, графиня. Не стесняйтесь.
— Ну, хорошо.
И подчеркнуто-легкомысленным тоном, стараясь показать, что все это пустяки, которым никто не придает значения, графиня продолжала:
— Вы говорили о забытых кладах, о спрятанных под камнями сокровищах. Наш замок существует несколько веков. В нем, вероятно, не раз разыгрывались разные драмы, бывали бои и разные происшествия. И вот нам хотелось бы знать, не спрятал ли кто-нибудь из наших предков один из тех сказочных кладов, на которые вы намекали.
Доротея задумалась и не сразу ответила.
— Я всегда отвечаю,— сказала она наконец,— с большей или меньшей точностью, если мне вполне доверяют. Но если говорят недомолвками и не прямо ставят вопрос...
— Какие недомолвки... Уверяю вас.
Но Доротея не сдавалась.
— Вы мне сказали, что спрашиваете меня из пустого любопытства. Но почему же никто мне не сказал о том, что в замке уже производятся раскопки?
— Может быть, раскопки и производились,— вмешался граф,— но давно, несколько десятков лет тому назад, при покойном отце или деде.
— Нет,— настаивала Доротея.— Недавно производились раскопки.
— Не может быть. Мы живем здесь не более месяца.
— Я говорю не о месяцах, а о нескольких днях, даже часах.
— Уверяю вас,— с живостью заговорила графиня,— что никто из нас не начинал раскопок.
— Значит, раскопки производятся кем-то другим и без вашего ведома.
— Кем? С какой стати? Где? — спрашивала графиня с непритворным волнением.
Доротея умолкла, задумалась и ответила не сразу:
— Извините, если я вмешиваюсь в чужие дела. Это один из моих недостатков. Недаром Кантэн вечно твердит мне, что

рано или поздно попаду в неприятную историю... Сегодня мы приехали задолго до представления, и я пошла немного побродить. Гуляя, я нечаянно обратила внимание на кое-какие мелочи, потом задумалась, сопоставила их и сделала выводы.

Хозяева и гости переглянулись. Видно было, что они не на шутку заинтригованы.

— Я рассматривала,— продолжала Доротея,— прелестный старинный фонтан посреди внутреннего двора. Долго любовалась скульптурой и вдруг заметила, что мраморные плиты бассейна недавно поднимались. Не знаю, добились ли искавшие толка, но камни и землю они аккуратно водворили на место, хотя все же не настолько аккуратно, чтобы скрыть следы своих раскопок.

Граф и гости снова переглянулись. И один из гостей спросил:

— Может быть, ремонтировали бассейн или исправляли канализацию?

— Нет,— решительно ответила графиня.— Фонтана не трогали.

И, обернувшись к Доротее, спросила:

— Вы, вероятно, заметили не только это?

— Да,— ответила Доротея.— Такие же раскопки были недавно и на площадке, где выступают камни утеса. Ломали камень и сломали лом, конец которого до сих пор торчит из щели утеса.

— Странно,— нервно заговорила графиня.— Почему они выбрали именно эти два места? Чего они ищут? Чего хотят? Вы ничего не заметили особенного?

Не задумываясь и медленно отчеканивая слова, как бы желая этим подчеркнуть, что сейчас идет речь о самой сути дела, Доротея ответила:

— Об этом написано на самом памятнике. Вы видите капитальную колонну фонтана, окруженную сиренами. Так вот, на одной из сторон этой колонны есть почти стертая надпись.

— Почему же мы никогда ее не замечали? — вскрикнула графиня.

— А все-таки она существует. Буквы стерлись и почти слились с мрамором. И все-таки одно слово, целое слово уцелело, и его легко можно прочесть.

— Какое слово?

— Слово «fortuna».

Три слога «for-tu-na» отчетливо прозвучали в тишине огромной гостиной. Граф глухо повторил эти три слога, а Доротея продолжала:

— Да, слово «fortuna». И это же слово написано на камне фундамента, опирающегося на ту скалу. Там буквы еще более стерты, и их скорее угадываешь, чем читаешь. Но все-таки все буквы налицо.

Пораженный граф сорвался с места, и когда Доротея договаривала последнюю фразу, он уже летел по двору к фонтану. Он бросил беглый взгляд на капитель, затем помчался к обрыву и скоро вернулся обратно. Все с интересом обратились к нему с одним вопросом.

— Да,— сказал он тревожно в ответ,— раскопки были и тут, и там. И слово «fortuna», которого мы до сих пор не замечали, можно легко прочесть... Значит, искали и нашли.

— Нет,— твердо возразила Доротея.

— Почему вы так думаете?

Она не сразу ответила. Пристально взглянула на Эстрейхера, поймала его взгляд на себе. Эстрейхер уже не сомневался, что она его разоблачила, и понимал, куда она клонит. Он только не знал, решится ли Доротея вступить с ним в открытую борьбу. А главное, он не знал, во имя чего она затевает всю эту историю. Он отвел глаза в сторону и повторил вопрос графини.

— Да, интересно знать, почему вы утверждаете, что ничего не нашли?

Доротея приняла вызов.

— Потому что поиски продолжаются. В овраге, под стенами замка, среди камней, оторвавшихся от утеса, есть старый обтесанный камень, оставшийся от разрушенной постройки. Слово «fortuna» вырезано и на нем. Этот камень на днях поднимали: это видно по свежеразрытой земле и по чьим-то следам вокруг камня.

III

Ясновидящая

Последние слова Доротеи поразили супругов Шаньи. Наклонившись друг к другу, они о чем-то шептались с Дювернуа и Эстрейхером. Бедный Кантэн, дрожа от страха, забился в угол дивана. Он слышал разговор об овраге, о камне и решил, что Доротея сошла с ума. Зачем она выдает человека, копавшего яму! Наводя на его след, она бросает тень на себя и готовит себе ловушку. Как это глупо, как безумно!

Между тем Доротея оставалась совершенно спокойной. Она шла к твердо намеченной цели, а все остальные были смущены и напуганы.

— Ваши наблюдения нас сильно взволновали,— заговорила наконец мадам де Шаньи.— Они показывают, как вы наблюдательны. И я прямо не знаю, как благодарить вас за ваше сообщение.

— Вы так тепло нас приняли, графиня, что я сочла своим долгом оказать вам эту маленькую услугу.

— Не маленькую, а огромную,— перебила графиня.— Я только попрошу вас закончить то, что вы начали.

Доротея казалась немного удивленной:

— Я не совсем понимаю... Что именно я могу еще сделать?

— Сказать нам все-все.

— Уверяю вас, что я больше ничего не знаю.

— Но можете узнать.

— Каким образом?

Графиня слегка улыбнулась.

— Благодаря вашему дару ясновидения, о котором вы сегодня говорили.

— И которому вы не верите.

— Которому я готова теперь поверить.

Доротея наклонила голову.

— Хорошо. Но это только опыт. А опыты не всегда удаются.

— Попробуем все же.

— Извольте. Но я заранее прошу снисхождения, если мы ничего не добьемся.

Она взяла у Кантэна носовой платок и крепко завязала себе глаза.

— Чтобы стать ясновидящей,— сказала она,— надо сперва ослепнуть, потому что, чем меньше я смотрю, тем больше вижу.

И прибавила серьезно:

— Спрашивайте, графиня. Постараюсь ответить.

— По поводу того, о чем мы только что говорили?

— Да.

Доротея облокотилась на стол и крепко сжала виски.

— Скажите прежде всего,— спросила мадам де Шаньи,— кто производил раскопки около фонтана и на краю обрыва?

Доротея молчала. Казалось, что она уходит в себя, отрывается от окружающего. Через несколько минут она заговорила. Голос ее звучал глухо, но без фальши, обычной для цирковых сомнамбул.

— На площади я ничего не вижу. Туман мешает разглядеть. Давно это было... Зато в овраге.

— В овраге? — переспросила графиня.

— В овраге. Каменная плита поднята стоймя. В яме стоит человек и копает.

— Кто это? Как он одет?

— Он в длинной блузе.

— А лицо?

— Не видно. Голова обмотана шарфом. Даже уши завязаны. Вот он кончает работу, опускает плиту на место и уносит лопату.

— Лопату? Только лопату?

— Да. Он ничего не откопал.

— Вы в этом уверены? Куда он направился?

— Прямо наверх, к воротам над обрывом.

— Не может быть: они закрыты.

— У него есть ключ. Вот он вошел. Рассвет. Все спят. Он направляется к оранжерее. Там есть маленькая комнатка...

— Где садовник складывает свои инструменты,— прошептала графиня.

— Он ставит лопату в угол, снимает блузу, вешает на гвоздь.

— Не может быть. Но это не садовник! — почти закричала графиня.— Лицо? Вы видите лицо?

— Нет. Нет. Он не снимает шарфа.

— Тогда во что он одет?

— Во что одет. Не вижу. Он уходит.

Доротея умолкла, как будто все ее внимание было сосредоточено на том, чей силуэт растаял в тумане, как призрак.

— Я ничего не вижу,— повторила она.— Ничего. Впрочем, нет: вижу. Вот главный подъезд замка. Тихо отворяется дверь. Вот лестница и длинный коридор. Совсем темно. Но все же смутно видно. На стенах — картины: охотники, всадники в красных костюмах. Человек наклоняется к дверям, ищет замок, потом входит.

— Значит, это прислуга,— глухо сказала графиня.— Второй этаж. Там коридор и картины. Ну, что же, куда он вошел?

— Темно. Занавески спущены. Он зажигает карманный фонарик, осматривается. Видит камин, над ним — календарь и большие часы ампир с золотыми колоннами.

— Мой будуар,— прошептала графиня.

— На часах без четверти шесть. Человек идет к противоположной стене. Там мебель из красного дерева и несгораемый шкаф. Он открывает шкаф.

Все слушали Доротею, затаив дыхание. Никто не перебивал ее. Как не поверить в колдовство, если эта девушка, никогда не бывшая в будуаре графини, так верно описывает, что в нем находится.

Мадам де Шаньи совершенно растерялась.

— Но шкаф был заперт,— оправдывалась она сама перед собою.— Я в этом уверена. Я спрятала драгоценности и заперла его на ключ. Я даже помню, как звякнул замок.

— Да, заперли, но ключ оставили в замке.

— Так что из того, я поменяла буквенный код.

— И все-таки ключ повернулся.

— Не может быть.

— Нет, повернулся. Я ясно вижу буквы.

— Три буквы. Вы их видите?

— Конечно. Первая — Р, вторая — О, третья — Б, то есть первые буквы слова Роборэй. Шкаф открывается. В нем — шкатулка. Человек раскрыл ее и вынул...

— Что? Что он взял?
— Серьги.
— Сапфировые? Два сапфира?
— Да, мадам, два сапфира.

Графиня порывисто вскочила и бросилась к дверям. За нею граф и Рауль Дювернуа. И Доротея расслышала, как граф сказал на ходу Раулю:

— Если только это правда, дело становится более чем странным.

— Да, более чем странным,— повторил Эстрейхер.

Он тоже бросился к дверям, но на пороге раздумал, запер дверь и вернулся обратно, видимо, желая поговорить с Доротеей.

Доротея сняла платок и щурилась от яркого света. Бородатый пристально смотрел ей в глаза. Она тоже глянула на него смело и пристально. Эстрейхер постоял мгновенье, снова направился к выходу, потом раздумал, остановился, погладил бороду. Насмешливая улыбка поползла по его губам.

Доротея не любила оставаться в долгу и тоже усмехнулась.

— Чего вы смеетесь? — спросил Эстрейхер.

— Смеюсь потому, что вы улыбаетесь. Но я не знаю, что вас так смешит.

— Я нахожу вашу выдумку необычайно остроумной.

— Мою выдумку?

— Ну, да: сделать из двух человек одного, соединив того, кто рыл яму, с тем, кто забрался в замок и украл серьги.

— То есть?

— Ах, вам угодно знать все подробности. Извольте. Вы очень остроумно заметаете следы кражи, которую совершил господин Кантэн.

— Господин Кантэн на глазах и при соучастии господина Эстрейхера,— быстро подхватила Доротея.

Эстрейхера передернуло. Он решил играть в чистую и заговорил без обиняков.

— Допустим... Ни вы, ни я не принадлежим к тем людям, которые имеют глаза для того, чтоб ничего не видеть. Если сегодня ночью я видел субъекта, спускавшегося по стене замка, так вы видели...

— Человека, который копался в яме и получил камнем по черепу.

— Прекрасно. Но, повторяю, это очень остроумно отождествлять этих лиц. Очень остроумно, но и очень опасно.

— Опасно! Почему же?

— Да потому, что всякая атака отбивается контратакой.

— Я еще не атаковала. Я только хотела предупредить, что приготовилась ко всяким случайностям.

— Даже к тому, чтобы приписать мне кражу серег?

— Возможно.
— О, если так — я поспешу доказать, что серьги в ваших руках.
— Пожалуйста.
Эстрейхер направился к дверям, но на пороге остановился и сказал:
— Итак, война. Я только не понимаю, в чем дело. Вы меня совершенно не знаете.
— Достаточно знаю, чтобы понять, с кем имею дело.
— Я Максим Эстрейхер, дворянин.
— Не спорю. Но этого мало. Тайком от ваших родственников вы занимаетесь раскопками, ищете то, на что не имеете никакого права. И думаете, что вам удастся присвоить находку.
— Уж вас-то это не касается.
— Нет, касается.
— Почему? Разве это затрагивает ваши интересы?
— Скоро узнаете.
Едва сдерживаясь, чтобы не выругаться, Эстрейхер холодно ответил:
— Тем хуже для вас и вашего Кантэна.
И, не говоря ни слова, вышел из комнаты.
Странное дело: во время этой словесной дуэли Доротея оставалась совершенно спокойной. Но как только за Эстрейхером захлопнулась дверь, порыв задорного ребячливого веселья сорвал ее с места. Она показала ему нос, повернулась на каблуках, подпрыгнула, потом весело схватила флакон нюхательной соли, забытый графиней на столе, и подбежала к Кантэну. Кантэн сидел в кресле, совершенно ошеломленный и уничтоженный.
— Ну-ка, милый, понюхай.
Тот потянул носом, чихнул и только охнул:
— Попались.
— Вот глупости! Почему попались?
— Он нас выдаст.
— Никогда. Он постарается навести на нас подозрение, но прямо выдать не посмеет. Ну, а если и осмелится и расскажет, что видел тебя утром, так я тоже расскажу про него очень многое.
— И зачем ты заговорила про серьги?
— Сами узнали бы. Я нарочно сказала сама, чтобы отвлечь подозрение.
— И вышло как раз наоборот.
— Ну, ладно. Тогда я заявлю, что серьги украл бородач, а не мы.
— Для этого нужны доказательства.
— Я их найду.
— Не понимаю, за что ты его вдруг возненавидела.

Доротея пожала плечами.

— Дело не в ненависти. Просто надо его прихлопнуть. Это очень опасный тип. Ты знаешь, Кантэн, что я редко ошибаюсь в людях. Эстрейхер — негодяй, способный на все. Он подкапывается под семью Шаньи, и я хочу во что бы то ни стало им помочь.

Кантэн в свою очередь пожал плечами.

— Удивляюсь тебе, Доротея. Рассчитываешь, взвешиваешь, соображаешь. Можно подумать, что ты действуешь по какому-то плану.

— Вот плана-то как раз и нет. Я бью покамест наудачу. Определенная цель у меня, действительно, есть: я вижу, что четыре человека связаны какой-то тайной. Папа перед смертью повторял слово «Роборэй». Вот я и хочу узнать, не участвовал ли он в этой тайне или не имел ли право участвовать в ней. Ясно, что они ищут сокровище и пока держатся друг за друга. Прямым путем мне не добиться ничего. Но я все-таки добьюсь. Слышишь, Кантэн, добьюсь во что бы то ни стало.

Доротея топнула ногой. В этом резком жесте и в тоне ее голоса было столько энергии и неожиданной решимости, что у Кантэна от изумления округлились глаза. А маленькое шаловливое создание упрямо и настойчиво повторяло:

— Непременно добьюсь! Честное слово! Я рассказала им только часть того, что мне удалось пронюхать. Есть такая вещь, которая заставит их пойти на уступки.

— Какая?

— Потом расскажу.

Доротея внезапно умолкла и стала смотреть в окно, за которым резвились мальчики. Вдруг в коридоре раздались торопливые шаги. Из подъезда выскочил лакей, распахнул ворота — и в ворота въехали четыре ярмарочных фургона, в том числе и «Цирк Доротеи».

Около фургонов толпилась кучка народа.

— Жандармы... Там жандармы,— простонал Кантэн.— Они обыскивают «Тир».

— Эстрейхер с ними,— заметила девушка.

— Доротея, что ты натворила!

— Все равно,— спокойно ответила она.— Эти люди знают тайну, которую и я должна узнать. История с серьгами поможет мне в этом.

— Однако...

— Перестань хныкать, Кантэн. Сегодня решается моя судьба. Приободрись. Довольно страхов. Давай, протанцуем фокстрот.

Она обхватила его за талию и насильно закружила по комнате. Увидав танцующую пару, Кастор, Поллукс и Монфокон влезли в окно и тоже запрыгали. Так, танцуя и напевая модные песенки, выбрались они из гостиной в главный вестибюль.

Вдруг Кантэну сделалось дурно. Он покачнулся и упал. Пришлось прекратить пляску. Доротея не на шутку рассердилась.

— Ну, это еще что за представление? — спросила она резко, стараясь поднять Кантэна.

— Я... Я боюсь.

— Чего боишься, дурень. Первый раз вижу такого труса. Чего ты боишься?

— С... серьги.

— Дурак. Ты сам забросил их в кусты.

— Я не...

— Что-о?!

— Я... не бросил.

— Где же они?

— Не знаю. Я их искал, как ты сказала, в корзине. Но там их не оказалось. Я перерыл весь фургон. Картонная коробочка исчезла.

Лицо Доротеи стало серьезным. Действительно, опасность была на носу.

— Почему же ты меня не предупредил? Я бы вела себя иначе.

— Я боялся. Не хотел тебя огорчать.

— Ах, Кантэн, Кантэн! Какую глупость ты устроил!

Доротея умолкла и больше не упрекала подростка. Только, подумав, спросила:

— Как ты думаешь, куда они делись?

— Верно, я ошибся впопыхах и положил их не в корзину, а в другое место. А куда — не помню. Я перерыл все корзины и ничего не нашел. Жандармы, конечно, отыщут.

Дело принимало плохой оборот. Серьги в фургоне — прямая улика. А там — тюрьма, арест.

— Не выгораживай меня, Доротея,— умолял несчастный Кантэн.— Брось меня. Я идиот. Преступник. Скажи им, что я один во всем виноват.

Вдруг на пороге вестибюля вырос жандармский бригадир с одним из лакеев замка.

— Молчи,— шепнула Доротея.— Не смей говорить ни слова.

Жандарм направился к Доротее.

— Мадемуазель Доротея?

— Да, это я. Что вам угодно?

— Пожалуйте за мной. Мы принуждены вас...

— Нет, нет,— перебила жандарма графиня, спускавшаяся по лестнице с мужем и Раулем Дювернуа.— Я протестую. Не причиняйте этой барышне никаких неприятностей. Тут недоразумение.

Рауль Дювернуа поддержал мадам де Шаньи. Но граф остановил жену.

— Друг мой, это пустая формальность. Бригадир обязан ее исполнить. Кража совершена, власти должны произвести дознание и допросить присутствующих.

— Но не эту девушку, которая раскрыла кражу и предупредила нас о том, что против нас затевается.

— Почему же не допросить ее, как всех? Может быть, Эстрейхер прав, предполагая, что серьги пропали не из шкафа. Ты могла надеть их сегодня по рассеянности, и они могли выпасть из ушей. Кто-нибудь их поднял и...

Жандарму надоело слушать спор супругов Шаньи, но он не знал, что предпринять, и Доротея сама вывела его из затруднения.

— Вы правы, граф,— сказала она.— Моя роль должна казаться подозрительной. Вы не знаете, откуда я знаю буквы секретного замка. Не делайте для меня исключения и не освобождайте от обыска и допроса.

Потом, обернувшись к графине, добавила.

— Пощадите ваши нервы, графиня, и не присутствуйте при обыске: это зрелище не из приятных. И не волнуйтесь за меня. Наше ремесло такое, что приходится быть ко всему готовой, а вам это будет тяжело. Зато я вас очень прошу — вы сами поймете почему — присутствовать на моем допросе.

— Хорошо. Даю вам слово.

— Бригадир, я к вашим услугам.

Доротея вышла вместе с жандармом и всеми своими компаньонами. Кантэн шел с таким видом, точно его вели на эшафот. Капитан заложил руки в карманы, крепко зажав в кулачке веревку от коляски с игрушками и весело насвистывал песенку с видом опытного человека, который привык ко всяким переделкам и знает, что все они кончаются пустяками.

Подойдя к своему фургону, Доротея увидала Эстрейхера, беседующего с жандармами и лакеями замка.

— Это вы направили на нас следствие? — спросила она с веселой и приветливой улыбкой.

— Конечно,— ответил Эстрейхер в том же тоне.— И в наших собственных интересах.

— Благодарю вас. В результате я не сомневаюсь.

Потом обернулась к бригадиру.

— Ключей не полагается. В «Цирке Доротеи» нет замков. Все открыто. В руках и карманах — нет ничего.

Бригадир, по-видимому, не любил обысков. Зато лакеи усердно принялись за дело, а Эстрейхер распоряжался.

— Извините меня,— сказал он Доротее, отводя ее в сторону.— Я нарочно стараюсь отвести от вас всякое подозрение.

— Я понимаю ваше рвение. Вы прежде всего заботитесь о себе.

— Как так?

— Очень просто. Вспомните нашу беседу. Виноват кто-нибудь один: или вы, или я.

Эстрейхер почувствовал в Доротее серьезного противника и испугался ее угроз, но не успел сообразить, как ему действовать. Он стоял рядом с нею, был любезен, даже галантен и вместе с тем тщательно руководил обыском, свирепея с каждой минутой. По его указанию лакеи вытаскивали корзины и ящики, вываливали из них разный убогий скарб, среди которого пестрели яркими пятнами любимые платки и шарфы Доротеи.

Обыск продолжался более часу. Серег нигде не оказалось.

Исследовали пол и потолок фургона, распороли матрацы, упряжь, сумку с овсом, ящик с провизией. Все напрасно.

Потом обыскали Кантэна и мальчиков. Горничная графини раздела Доротею, ощупывая на ней каждый шов. Пропажи и тут не нашли.

— А это? — спросил Эстрейхер, показывая на большую корзину, валявшуюся под фургоном.

В ней лежали разные обломки, тряпки и грязная кухонная посуда. Кантэн зашатался. Доротея подскочила к нему и обняла его.

— Бежим,— простонал он.

— Дурак, серег там нет.

— Я мог перепутать.

— Дурак, говорю тебе. В таких вещах не ошибаются.

— Так где же коробочка?

Доротея дернула плечами.

— Ослеп ты, что ли. Посмотри.

— Разве ты ее видишь?

— Да.

— В фургоне?

— Нет.

— Так... где же?

— На земле, под ногами Эстрейхера.

И она указала на повозочку капитана. Ребенок пускал волчок и совсем забыл про остальные игрушки. Повозочка опрокинулась и все коробочки и крошечные чемоданчики рассыпались по земле. Одним из этих чемоданчиков и была коробочка с печатью, куда Кантэн засунул серьги. Сегодня после обеда капитан стал рыться в разном хламе и решил забрать ее себе, как дорогую вещь.

Доротея сделала непоправимую ошибку, показав Кантэну коробочку. Она не знала, до чего хитер и наблюдателен Эстрейхер. Он понял, что Доротея себя не выдаст, зато упорно следил за Кантэном. Он заметил его страх и смущение и понимал, что Кантэн непременно выдаст себя.

Так и случилось.

Увидев коробочку с сургучной печатью, Кантэн облегченно вздохнул. Он решил, что никому не взбредет в голову — распечатать детскую игрушку, лежащую, как хлам, на песке. Эстрейхер, ничего не подозревая, несколько раз толкал ее ногой. Капитан обиделся, надулся и сделал ему замечание:

— А что бы ты мне сказал, если бы я стал портить твой автомобиль.

Кантэн не мог выдержать: он то и дело оборачивался и радостно смотрел на коробочку. Эстрейхер перехватил эти взгляды и вдруг понял все. Серьги здесь, во власти случая, под защитой маленького капитана, среди его игрушек. Он посмотрел на них внимательно. Коробочка с печатью показалась ему самой подозрительной. Он нагнулся, быстро раскрыл ее. Среди морских ракушек и белых голышей ярко сверкала пара сапфиров.

Эстрейхер посмотрел на Доротею в упор. Она была бледна, как полотно.

IV

Допрос

— Бежим,— повторял Кантэн побелевшими губами. А сам упал на первый попавшийся ящик, потому что от страха у него отнялись ноги.

— Блестящая идея,— издевалась Доротея.— Запряжем Кривую Ворону, влезем все пятеро в фургон — и марш-марш к бельгийской границе.

Она понимала, что все погибло, и все-таки продолжала внимательно следить за врагом. Одно его слово — и тюремная дверь надолго закроется за нею, и все ее угрозы лопнут, как мыльный пузырь, потому что никто не поверит воровке.

Не выпуская коробочки из рук, Эстрейхер смотрел с улыбкой на Доротею. Он думал, что она растеряется, начнет просить пощады. Но он слишком плохо знал ее. Ни один мускул не дрогнул в ее лице, взгляд оставался твердым и вызывающим. Казалось, она говорила без слов:

— Попробуй выдать меня. Одно слово — и ты погибнешь.

Эстрейхер пожал плечами и, обернувшись к бригадиру, сказал:

— Ну-с, бригадир, довольно. Поздравим нашу милую директрису с благополучным исходом. Фу, черт возьми, какая неприятная процедура.

— Не следовало ее затевать,— ответила графиня, подходя к фургону вместе с мужем и Дювернуа.

— Да, теперь это ясно. Но у нас с вашим мужем были сомнения, и нам хотелось их рассеять.

— Значит, серег не нашли? — спросил граф.

— Нет. Никаких признаков... Вот только странная вещица, с которой играл капитан Монфокон. Мадемуазель Доротея разрешит ее взять, не правда ли?

— Да,— твердо ответила Доротея.

Эстрейхер протянул графине коробочку, которую он успел тщательно перевязать.

— Будьте добры, графиня, сохранить у себя эту вещицу до завтра.

— Почему я, а не вы?

— Потому что так лучше. У вас она будет сохраннее. А завтра мы ее откроем.

— Хорошо, если вы так настаиваете.

— Да, пожалуйста.

— И если мадемуазель Доротея ничего не имеет против.

— Наоборот, графиня,— ответила девушка, рассчитывая выиграть время.— Я присоединяюсь к просьбе мосье Эстрейхера. В коробочке нет ничего интересного, кроме ракушек и морских камешков. Но так как мосье Эстрейхер — очень любопытный и недоверчивый человек — отчего не доставить ему это маленькое удовольствие.

Оставалось выполнить еще одну формальность, которой бригадир придавал большое значение: надо было проверить документы комедиантов. На обыск он смотрел сквозь пальцы, но в этом был строг не на шутку.

Он потребовал предъявить паспорта, разрешение на устройство представлений и квитанцию об уплате налогов. Супруги де Шаньи тоже были заинтригованы. Им очень хотелось узнать, кто эта девушка, разгадавшая их фамильную тайну, откуда она и как ее фамилия. Им казалось странным, что интеллигентная, воспитанная и очень неглупая барышня превратилась в бродячую фокусницу и кочует с места на место с какими-то неведомыми мальчуганами.

Рядом с фургоном была оранжерея. Туда и направился бригадир для проверки бумаг.

Доротея достала из чемодана конверт, вынула испещренную штемпелями и надписями бумагу, со всех сторон обклеенную гербовыми марками, и протянула ее бригадиру.

— И это все? — спросил он, прочитав бумагу.

— Разве этого мало? Сегодня утром в мэрии секретарь нашел все в порядке.

— Они всегда находят все в порядке,— проворчал бригадир.— Что это за имена: Кастор, Поллукс. Это клички, а не

имена! Так называют только в шутку. Или это: Барон де Сен Кантэн — акробат.

Доротея улыбнулась.

— Ничего нет странного. Он сын часовых дел мастера из города Сен Кантэна, а фамилия его Барон.

— Тогда... нужно взять разрешение у отца на право ношения фамилии.

— К сожалению, это невозможно. Его отец погиб во время германской оккупации.

— А мать?

— Умерла. Он — круглый сирота. Англичане усыновили мальчика, и в момент заключения мира он был поваренком в госпитале Бар Ле Дюк, где я служила сиделкой. Я его пожалела и взяла к себе.

Бригадир снова что-то буркнул, но к Кантэну больше не придирался и продолжал допрос.

— А Кастор и Поллукс?

— Про них я ничего не знаю. Знаю, что в 1918 году, во время германского наступления на Шалонь, они попали на линию боев. Французские солдаты подобрали их на дороге, приютили и дали эти, как вы выражаетесь, клички. Они пережили такое ужасное потрясение, что совершенно забыли свое прошлое. Братья они или нет, где их семьи, как их зовут — никто не знает. Я их тоже пожалела и взяла к себе.

Бригадир был окончательно сбит с толку. Он еще раз посмотрел в документ и сказал насмешливым и недоверчивым тоном.

— Остается господин Монфокон, капитан американской армии и кавалер военного ордена.

— Здесь,— важно отозвался карапуз, став во фронт, руки по швам.

Доротея подхватила капитана на руки и крепко расцеловала его.

— О нем известно столько же. Четырехлетним крошкой жил он со взводом американцев в передовых окопах под горой Монфоконом. Американцы устроили ему люльку из мехового мешка. Однажды взвод пошел в атаку. Один из солдат посадил его себе на спину. Атака была отбита, но солдата не досчитались. Вечером снова перешли в наступление и, когда захватили вершину Монфокон, на поле нашли труп солдата, а ребенок спал рядом с убитым в своем меховом мешке. Полковой командир тут же наградил мальчика орденом за храбрость и назвал Монфоконом, капитаном американской армии. Потом хотели увезти его в Америку, но Монфокон отказался: он ни за что не хотел расставаться со мной, и я взяла его к себе.

Мадам де Шаньи была растрогана рассказом Доротеи, нежно гладившей Монфокона по голове.

— Вы поступили очень хорошо,— сказала она.— Но откуда доставали вы средства прокормить ваших малышей?

— О, мы были богаты.

— Богаты?

— Да, благодаря капитану. Полковой командир оставил ему перед отъездом две тысячи франков. На них мы купили фургон и старую лошадь. Так был основан «Цирк Доротеи».

— Кто же научил вас вашему тяжелому ремеслу?

— Старый американский солдат, бывший клоун. Он нас выдрессировал и обучил всем приемам. А потом – у меня наследственность. Ходить по канату я умею с детства. Одним словом, мы пустились в путь и стали кочевать по всей Франции. Жизнь нервная, тяжелая, но зато сам себе голова и никогда не скучаешь. В общем, «Цирк Доротеи» процветает.

— А в порядке ли у вас документы относительно самого цирка? — спросил бригадир, чувствуя в душе симпатию к сердобольной директрисе.— Имеете ли вы право давать представления? Есть ли у вас профессиональная карточка?

— Есть.

— Кем выдана?

— Префектурой в Шалони – главном городе того департамента, где я родилась.

— Покажите!

Доротея смутилась, запнулась на мгновение, взглянув на графа и графиню. Она сама просила их присутствовать при допросе, но сейчас раскаивалась в этом.

— Может быть, нам лучше уйти? — деликатно спросила графиня.

— Нет, нет, напротив. Я хочу, чтобы вы знали все.

— И мы тоже? – спросил Дювернуа.

— Да, и вы,— ответила с улыбкой Доротея.— Я хочу, чтобы вы знали одно обстоятельство. О, ничего особенного, но все же...

Она вынула из конверта старую, истрепанную карточку и протянула ее бригадиру. Бригадир внимательно прочел документ и сказал тоном человека, которому зубов не заговоришь:

— Но это тоже не настоящая фамилия. Опять нечто вроде боевых кличек ваших мальчиков.

— Нет, это моя полная настоящая фамилия.

— Ладно, ладно: вы мне очков не втирайте.

— Пожалуйста. Если вы не верите, вот моя метрика с печатью общины Аргонь.

Граф де Шаньи заинтересовался:
— Как, вы жительница Аргони?
— То есть уроженка. Теперь Аргонь не существует. После войны там не осталось камня на камне.
— Да, я знаю. Там был у нас родственник.
— Быть может, Жан Д'Аргонь? — спросила Доротея.
— Да,— слегка удивился граф.— Он умер от ран в Шартрском госпитале. Лейтенант князь Жан Д'Аргонь. Разве вы его знали?
— Знала.
— Да? И встречались с ним?
— Еще бы.
— Часто?
— Как могут встречаться близкие люди.
— Вы?! Вы были с ним близки?
Доротея чуть заметно улыбнулась.
— Очень. Это мой покойный отец.
— Ваш отец. Жан Д'Аргонь! Да что вы говорите! Не может быть! Позвольте... дочь Жана, сколько помнится, звали Иолантой, а не Доротеей.
— Иоланта-Изабелла-Доротея.
Граф вырвал из рук бригадира бумагу и громко прочел:
— Иоланта-Изабелла-Доротея, княжна Д'Аргонь...
— Графиня Мареско, баронесса Д'Эстрэ-Богреваль и так далее,— договорила со смехом Доротея.
Граф схватил ее метрику и, все более конфузясь, прочел ее вслух, отчеканивая каждое слово:
— Иоланта-Изабелла-Доротея, княжна Д'Аргонь родилась в Аргони в 1900 году, 14 октября. Законная дочь Жана Мареско, князя Д'Аргонь и его законной жены, Жесси Варен.
Сомнений больше не было. Документы Доротеи были бесспорны. И манеры, и поведение Доротеи — все становилось понятным.
— Боже мой, неужто вы — та маленькая Иоланта, о которой так много рассказывал нам Жан Д'Аргонь? — повторяла взволнованная графиня.
— Папа меня очень любил,— вздохнула Доротея.— Мы не могли жить все время вместе, но от этого моя любовь была только горячее.
— Да, трудно было его не любить,— ответила мадам де Шаньи.— Мы виделись с ним всего два раза в Париже, в начале войны. Но у меня осталось о нем прекрасное воспоминание. Веселый, жизнерадостный, как вы. У вас с ним много общего, Доротея: глаза, улыбка, смех.
Доротея достала две фотографические карточки.
— Вот его портрет. Узнаете?

— Конечно. Как не узнать. А кто эта дама?

— Это покойная мама. Она умерла давно-давно. Папа очень ее любил.

— О, да, я знаю. Кажется, она была артисткой? Вы мне расскажете все, не правда ли, и вашу жизнь, и все горести... А теперь скажите, как вы попали в Роборэй?

Доротея рассказала, как увидела на столбе слово «Роборэй», как повторял это слово ее умирающий отец.

Но беседу ее с графиней прервал граф Октав.

V

Смерть князя Д'Аргоня

Октав де Шаньи был довольно заурядным человеком. Но он был честолюбив и умел пользоваться преимуществами своего титула и фамилии. Всякое событие своей жизни он старался обставить как можно торжественнее, чтобы выдвинуть себя на первый план. Посоветовавшись для приличия со своими кузенами и даже не выслушав их ответов, он с надменностью вельможи отпустил бригадира, отослал Кантэна и мальчиков в парк, тщательно запер за ними двери, попросил дам сесть и зашагал взад и вперед, напряженно думая о чем-то.

Доротея была довольна. Она победила, добилась своего и сейчас ее посвятят в тайну, которую она так мечтала узнать. Мадам де Шаньи ласково жала ей руку, Рауль смотрел на нее, как старый преданный друг. Все было прекрасно. Оставался, правда, Эстрейхер, не спускавший с Доротеи злого, враждебного взгляда. Но Доротея старалась не думать об опасности, которая могла ежесекундно обрушиться на ее голову.

— Мадемуазель,— торжественно начал граф де Шаньи.— Нам, то есть мне и моим кузенам, необходимо посвятить вас в одно дело, о котором знал ваш отец и в котором он должен был участвовать. Скажу больше: мы знаем, что он сам хотел вовлечь вас в это дело.

Граф остановился, довольный началом своей речи. В подобных случаях он всегда говорил высокопарно, тщательно округляя фразы и выбирая слова.

— Мой отец, граф Франсуа де Шаньи,— продолжал он,— мой дед, Доминик де Шаньи, и мой прадед, Гаспар де Шаньи,— все были уверены в том, что у них в доме, так сказать под рукой, скрыты огромные сокровища. И каждый из них думал, что ему суждено отыскать их. Эта надежда была тем обольстительнее, что со времени Великой французской революции дела

графов де Шаньи стали запутываться. Ни отец, ни дед, ни прадед не могли точно ответить на вопрос, на чем, собственно, покоятся их радужные надежды. Никаких документов и указаний у них не было. Все основывалось на каких-то смутных семейных преданиях, а в этих преданиях ничего не говорилось ни о месте, где хранится сокровище, ни какого оно характера. Зато все эти предания неразрывно связаны с именем замка Роборэй. Предания эти, по-видимому, не особенно древние, потому что замок раньше назывался просто Шаньи и только в царствование Людовика XVI был переименован в Шаньи-Роборэй. Связано ли это переименование с преданиями о кладе и вообще чем оно вызвано, мы не знаем. Так или иначе, к началу германской войны я решил его отремонтировать и даже думал здесь поселиться, хотя мой брак с мадам де Шаньи не позволял мне рьяно искать зарытые сокровища.

Намекнув таким образом на способ, которым он позолотил свой ржавый герб, граф улыбнулся и продолжал свое повествование:

— Не стану говорить о том, что во время войны Октав де Шаньи добровольно исполнял долг всякого честного француза. В 1915 году я был произведен в лейтенанты и отпуск проводил в Париже. Благодаря целому ряду случайностей и совпадений, я познакомился с тремя лицами, о существовании которых не имел ни малейшего представления. Это был отец Рауля, полковник Жорж Дювернуа, потом Максим Эстрейхер и, наконец, Жан Д'Аргонь. Все мы были либо в отпуску, либо выздоравливали от ран. В беседах выяснилось, что мы — дальние родственники и что в семьях каждого из нас сохранилось предание о зарытом сокровище. Отцы и деды Д'Аргоня, Эстрейхера и Дювернуа твердо надеялись на находку какого-то сказочного клада и, ожидая этой счастливой минуты, легкомысленно залезали в долги. Но никто не имел никаких доказательств или указаний.

Граф снова остановился, подготовляя эффект.

— Впрочем, было одно-единственное указание. Жан Д'Аргонь рассказал, что у его отца была старинная золотая медаль, которой он придавал какое-то особое значение. К несчастью, отец Жана погиб на охоте и не успел объяснить ему значение медали, но Жан твердо помнил, что на медали была какая-то надпись, где фигурировало слово Роборэй, то есть имя того замка, с которым все мы так или иначе связывали свои надежды. Куда делась эта медаль, Жан Д'Аргонь не знал, но собирался порыться в ящиках и чемоданах, вывезенных из его усадьбы перед немецкой оккупацией. Хранились эти вещи в Бар-Ле-Дюке, на городских складах. Все мы были людьми порядочными, и так как каждый из нас мог погибнуть на фронте, мы торжественно поклялись друг другу искать этот клад сооб-

ща и разделить его поровну. Между тем отпуск Д'Аргоня истек, и он первым уехал на фронт.

— Это было в ноябре 1915 года? — спросила Доротея.— Мы провели тогда с папой лучшую неделю в моей жизни. Больше мы с ним не видались.

— Совершенно верно, в конце 1915 года,— подтвердил граф де Шаньи.— В начале января Жан Д'Аргонь был ранен на северном фронте. Его эвакуировали в Шартр, а через несколько дней мы получили от него подробное письмо... Это письмо осталось недописанным...

При этих словах графиня сделала движение, как бы желая его остановить, но граф сухо и решительно возразил:

— Нет, нет. Мадемуазель Д'Аргонь должна прочесть это письмо.

— Вы, может быть, и правы,— возразила мадам де Шаньи.— Но все-таки...

— Что вас так волнует, графиня? — удивленно спросила Доротея.

— Я боюсь причинить вам ненужное огорчение. В конце письма сказано...

— Все, что мы обязаны сообщить мадемуазель Д'Аргонь,— решительно перебил граф.

С этими словами он вынул из бумажника письмо со штемпелем Красного Креста.

Графиня крепче сжала руку Доротеи, а взгляд Рауля Дювернуа стал еще сердечнее. Доротея напряженно слушала, с волнением ожидая последних строк, суливших ей новое горе.

Граф вынул письмо из конверта и стал читать:

«Дорогой Октав!

Прежде всего могу вас успокоить относительно своей раны. Доктора не нашли ничего серьезного и осложнений не предвидится. Скоро я буду на ногах, так что и говорить о ней не стоит. Расскажу вам лучше о поездке в Бар-Ле-Дюк.

После долгих кропотливых поисков я, наконец, нашел эту драгоценную медаль. Покажу ее вам по приезде в Париж и, чтобы вас заинтриговать, сохраню пока в тайне надпись на лицевой стороне. Зато на другой стороне медали выгравирован девиз «In robore fortuna» — «Богатство в твердости духа». Несмотря на то, что слово «robore» пишется иначе, чем название замка «Roboreu», надпись несомненно намекает на замок Роборэй, где скрыто сокровище наших семейных преданий.

Итак, дорогой друг, мы сделали большой шаг к разрешению загадки. Нам необычайно повезло. Я думаю, что в дальнейшем нам много поможет одна молодая особа, с которой я недавно провел несколько дней. Я говорю о своей маленькой дочери, Иоланте.

Вы знаете, как я страдаю при мысли, что не могу быть нежным и внимательным отцом, как бы хотелось. Я слишком любил покойную жену и после ее смерти находил единственное утешение в путешествиях. Поэтому я редко бывал на той скромной ферме, где жила моя девочка.

Иоланта росла под присмотром старых слуг и — можно сказать — сама себя воспитала. Сельский священник давал ей уроки, но еще более уроков взяла она у природы, наблюдая жизнь растений и животных. Выросла девочка веселой и вдумчивой. Каждый раз, бывая в Аргони, я удивлялся ее необычайному здравому смыслу и начитанности. Сейчас Иоланта служит в Бар-Ле-Дюке сиделкой полевого госпиталя. Поступила она по собственному желанию. Ей всего пятнадцать лет, а все уважают ее и считаются с нею, как со взрослой. Она обо всем рассуждает с серьезностью взрослого человека, решает все дела самостоятельно и судит о вещах и людях по их внутренней сути, а не по внешнему виду.

— У тебя,— говорил я ей не раз,— глаза кошки, которая видит впотьмах.

Когда кончится война, я привезу к вам мою девочку и уверен, что с ее помощью мы добьемся блестящих результатов».

Граф умолк. Доротея печально улыбалась, взволнованная и растроганная теплыми словами письма. Потом спросила:

— И это все?

— В этом письме нет больше ни слова,— ответил граф де Шаньи. На этом оно обрывается. Написано оно 15 января 1916 года, но отослано мне лишь через две недели, тридцатого. Из-за разных войсковых перегруппировок письмо попало ко мне с большим запозданием. Получил я его в середине февраля и впоследствии узнал, что вечером 15 января у Жана Д'Аргонь внезапно поднялась температура. Доктора констатировали заражение крови. От заражения он и умер, или, по крайней мере...

— Что! Что по крайней мере? — взволнованно перебила Доротея.

— По крайней мере, такова официальная версия о его смерти.

— Что вы? Что вы? — повторяла она с ужасом.— Значит, папа умер не от раны.

— Никто не знает истинной причины,— ответил де Шаньи.

— Но тогда... От чего же он погиб? Что вы думаете? Что предполагаете?

Граф молчал.

С мучительным волнением смотрела на него Доротея и, точно боясь выговорить ужасное слово, прошептала:

— Неужто... Неужто он убит?

— Многое заставляет об этом думать.
— Но чем, как?
— Отравили.

Удар был нанесен. Доротея плакала. Граф наклонился к ней и сказал, протягивая ей измятый листик, вложенный в письмо.

— Возьмите, прочтите. Между двумя приступами бреда ваш несчастный отец с трудом нацарапал эти строки. Администрация госпиталя нашла их после его смерти в конверте с моим адресом и, не читая, отослала мне. Посмотрите, как изменился почерк: он с трудом держал карандаш. Видно, что только сильнейшее напряжение воли заставляло его писать.

Доротея вытерла слезы. Ей слишком хотелось узнать правду и самой разобраться в этом хаосе. Она взяла листок и стала вполголоса читать:

«Какой ужасный сон... А может быть — совсем не сон, а правда. В кошмаре или наяву случилось это... Раненые спят на своих койках. Ночь... Никто не просыпается. Я слышу легкий шум, чьи-то шаги под окном. Идут двое и тихо разговаривают. В палате духота, окно полуоткрыто, поэтому мне слышен разговор. Вот кто-то толкнул снаружи раму. Окно высокое: для этого надо влезть на плечи другому. Что ему нужно? Он пробует просунуть руку, но отверстие слишком узко. Около окна стоит мой ночной столик, мешает распахнуть окно. Он засучил рукав. Рука пролезла. Он шарит на моем столе, ищет ящик. Понимаю: в ящике — медаль. Я хочу закричать, но горло сдавлено. И еще... Какой ужас: на столике стакан с моим лекарством. Рука что-то влила в стакан. Несколько капель из пузырька. Яд! Я не буду его принимать. Ни за что. И я пишу об этом, чтобы помнить: ни за что не принимать лекарства. Рука выдвинула ящик. И, когда она вытаскивала медаль, я видел на ней выше локтя три слова...»

Доротея низко наклонилась к строкам. Почерк стал совсем неразборчивым и с большим трудом она прочла по складам:

«Три слова... выжжено... татуировкой, как у моряков. Три слова, Боже мой... те же слова, что и на медали: «In robore fortuna»...

Карандаш черкнул еще несколько раз по бумаге, но букв нельзя было разобрать.

Доротея долго сидела, низко опустив голову и молча обливаясь слезами. Все молчали. Тяжело перенести смерть отца, но еще тяжелее узнать, что он погиб от чьей-то руки.

Наконец Октав де Шаньи прервал молчание.

— Лихорадка усилилась, и в бреду ваш отец мог машинально выпить лекарство. Это самое простое и правдоподобное предположение. Я не сомневаюсь, что ему влили яд в стакан. Правда, должен вас предупредить, что у нас нет никаких официальных данных по этому поводу. Я уведомил Эстрейхера и

Дювернуа, и мы вместе отправились в Шартр. К сожалению, врача и фельдшеров той палаты успели сменить, и нам пришлось ограничиться получением в канцелярии госпиталя официальной справки о смерти лейтенанта Жана Д'Аргонь от заражения крови. Мы долго советовались, что делать, и решили ничего не предпринимать. Единственным доказательством убийства было это письмо. Но судьи могли сказать, что письмо написано в бреду, поэтому мы и решили не разыскивать преступников и думаем, что поступили правильно.

Доротея молчала. Граф решил, что она осуждает их решение, и стал оправдываться:

— Уверяю вас, что мы ничего бы не добились. Война создавала бесчисленные препятствия. Кроме того, если бы мы занялись расследованием, мы, несомненно, должны были бы считаться с тем фактом, что кроме нас троих — потому что Жана Д'Аргонь уж не было в живых — есть еще кто-то, бьющийся, как и мы, над разрешением той же загадки и овладевший таким важным ключом, как медаль. Несомненно, у нас есть враг и враг, способный на самые ужасные преступления. Одним словом, все эти соображения плюс политические события помешали нам заняться розысками преступников. Мы дважды писали вам в Бар-Ле-Дюк, но не получили ответа. Время шло. Жорж Дювернуа был убит под Верденом. Эстрейхера ранили в ногу под Артуа. Я был послан в Салоники, откуда вернулся только после заключения мира. И, как только был демобилизован, тотчас приступил к ремонту Роборэя. Вчера мы справляли новоселье, а сегодня имеем удовольствие видеть вас у себя.

— Теперь вы понимаете,— продолжал он,— как вы нас поразили, сообщив нам, во-первых, о чьих-то недавних раскопках, а во-вторых тем, что эти раскопки производятся в тех местах, где имеется надпись или хотя бы слово «fortuna». Припомните, что это слово выгравировано на медали вашего отца и на руке его убийцы. Мы так доверились вашей проницательности, что графиня и Рауль Дювернуа предложили посвятить вас в нашу тайну. Я рад, что чутье не обмануло графиню, раз оказалось, что вы — Иоланта Д'Аргонь.

Де Шаньи снова остановился. Доротея молчала. И он продолжал:

— Само собою разумеется, мы предлагаем вам принять участие в наших поисках. Вы замените вашего отца, так же, как Рауль Дювернуа занял место покойного Жоржа Дювернуа. Наш союз четверых считается длящимся.

Граф умолк, довольный своею речью. Но упорное молчанье Доротеи коробило его. Она сидела неподвижно, устремив взгляд в одну точку, и он не мог понять, что ее смущает. Неужели она осуждает их за то, что они не отыскали дочь и

наследницу их компаньона. Или ее все еще мучит кража серег, и она боится, что ее подозревают в воровстве.

— Что с вами, дорогая Иоланта? — спросила ласково мадам де Шаньи.— Неужто вас так расстроило это письмо.

— Да,— ответила с глубоким вздохом Доротея.— Это — ужасно.

— Разве вы уверены, что его убили?

— Конечно. Иначе в его вещах нашлась бы медаль.

— А как, по-вашему, следовало заявить властям или нет?

— Не знаю... Право, не знаю,— ответила задумчиво Доротея.

— Подумайте. Еще не поздно: давность еще не прошла. Мы постараемся вам помочь.

— О, нет, благодарю вас. Я буду действовать одна. Я найду убийцу, и он будет наказан. Я обещаю это отцу и сдержу свою клятву.

Сурово и не по-женски твердо прозвучали эти слова.

— Мы вам поможем, дорогая,— повторила мадам де Шаньи.— Я надеюсь, что вы от нас не уедете.

Доротея покачала головой.

— Вы очень добры, графиня.

— Это не доброта, а мое искреннее желание. Я полюбила вас и хочу быть вашим другом.

— Благодарю от всей души, но не могу остаться.

— Почему? — с легкой досадой в голосе вмешался граф.— Мы просим вас как дочь нашего родственника и друга погостить у нас и отдохнуть в условиях, приличных для барышни и княжны. Неужели вы думаете жить этой бездомной нищенской жизнью?

— Она совсем не нищенская и не жалкая,— встрепенулась Доротея.— Мы с мальчиками к ней привыкли. Она очень полезна для здоровья.

Однако мадам де Шаньи не сдавалась:

— Нет, это недопустимо! У вас, верно, есть для этого особые причины?

— О, нет, никаких.

— Тогда вопрос решен. Вы остаетесь, если не навсегда, то хоть на несколько недель. Мы дадим вам комнату, стол.

— Простите меня, графиня... Пожалуйста... Я страшно устала, измучилась. Разрешите мне уйти и побыть немного одной...

Доротея, действительно, казалась более чем измученной. Личико ее осунулось, побледнело, и трудно было поверить, что несколько часов тому назад она так звонко смеялась, танцевала и веселилась.

Графиня наконец уступила.

— Пожалуйста. Утро вечера мудренее. Я думаю, что завтра вы согласитесь. Пришлите только мальчиков обедать. Но если вы и завтра будете настаивать на своем, я, так и быть, уступлю. Я не хочу с вами ссориться.

Доротея встала. Супруги де Шаньи проводили ее до порога оранжереи. В дверях она внезапно остановилась. Несмотря на душевную боль, мысли ее витали вокруг таинственных раскопок, и ей захотелось узнать кое-какие подробности.

— Я уверена,— сказала она, прощаясь,— что семейные предания о кладе имеют серьезную почву. Клад, несомненно, существует и собственником его станет тот, у кого будет медаль, украденная у отца. Мне очень хотелось бы знать, не слыхал ли кто-нибудь из вас легенду о медали. И потом, существует одна медаль или несколько?

Все молчали. Ответил Рауль Дювернуа:

— Я живу в Вандее, в имении деда. Недели две тому назад я вошел в его комнату и увидел, что он рассматривает какую-то золотую вещь. Заметив меня, он быстро спрятал ее в ларец, не хотел, чтоб я ее видел.

— И не сказал ни слова?

— Тогда нет. Но накануне моего отъезда позвал к себе и сказал: «Возвращайся скорее. Я собираюсь открыть тебе очень важную тайну».

— Как вы думаете, он намекал на то, что нас интересует?

— Да. Я говорил об этом графу и Эстрейхеру, и они обещали быть у меня в конце июня. К этому сроку я надеюсь все разузнать.

Доротея задумалась.

— И это все? — спросила она, наконец.

— Все. Мои слова подтверждают ваши предположения. Талисманов не один, а несколько.

— Да,— согласилась Доротея.— И папа погиб оттого, что у него был такой талисман.

— Но,— заметил Рауль,— достаточно было украсть медаль. Зачем же им понадобилось... совершить такое ужасное преступление?

— Потому что на медали указано, как отыскать этот клад. Убивая отца, убийца уничтожал одного из участников дележки. Я боюсь, что это — не первое и не последнее преступление в таком роде.

— Не последнее! Значит, и моему деду грозит опасность?

— Боюсь, что да.

Графу стало не по себе, но, скрывая тревогу, он улыбнулся и спросил:

— Выходит, что и нам, хозяевам Роборэя, грозит опасность?

— Конечно.

— Значит, надо принять меры предосторожности?

— Не мешает.

Граф побледнел.

— Что же нам делать?

— Поговорим об этом завтра,— сказала устало Доротея.— Я скажу вам, чего вам опасаться, как защитить себя.

Эстрейхер до сир пор молчал, внимательно следя за разговором, но тут вмешался в беседу.

— Давайте устроим завтра совещание. И помните, что мы должны решить еще одну задачу — относительно картонной коробочки.

— Я ничего не забываю,— ответила с вызовом Доротея.— Завтра в это время все задачи будут решены. В том числе и кража серег.

Солнце клонилось к закату. Доротея вернулась на площадь, к фургону. Остальные фургоны успели разъехаться. Мальчики прилежно стряпали, но Доротея велела им бросить все и идти в замок обедать. Оставшись одна, она поела супу, фруктов и долго сидела одна, отдыхая.

Стемнело. Мальчики не возвращались. Доротея прошла к обрыву и остановилась, облокотившись о каменные перила. После всех пережитых волнений ей приятно было молчать, быть одной и дышать свежим вечерним воздухом.

— Доротея.

Кто-то тихо подкрался к ней и шепотом произнес ее имя. Доротея вздрогнула. Не видя, она поняла, что это — Эстрейхер.

Если бы перила были пониже, а овраг не так глубок, она бросилась бы вниз по откосу. Но, замирая от страха, она взяла себя в руки и сухо спросила:

— Что вам угодно? Вы, кажется, догадываетесь, что мне хотелось остаться одной. Ваша настойчивость меня удивляет.

Эстрейхер молчал. Она повторила вопрос.

— Сказать вам несколько слов?..

— Успеется. Поговорим и завтра.

— Нет, я хочу поговорить с вами с глазу на глаз. Не бойтесь, я вас не обижу и не трону. Несмотря на вашу открытую враждебность, я питаю к вам искреннее уважение и расположение. Я обращаюсь к вам не как к неопытной девушке, а как к женщине, поразившей нас умом и наблюдательностью. Ради Бога, не бойтесь и выслушайте...

— Не желаю. Ваши слова могут быть только оскорбительными.

Эстрейхер, видимо, не привык уговаривать.

— Нет, вы выслушаете меня,— сказал он резко.— Я приказываю вам выслушать и отвечать. Я скажу вам прямо, чего хочу. Перестаньте корчить угнетенную невинность. Судьба запутала вас в дело, которое я считаю своим. Я здесь — централь-

ная фигура, остальные — статисты. В решительный момент я с ними не поцеремонюсь. Без меня они все равно ничего не добьются: Шаньи — дурак и хвастун, Дювернуа — деревенщина. Они — балласт, камень на шее, который мне мешает. С какой стати работать на них! Не лучше ли нам объединиться и работать на самих себя? Моя энергия и решимость в соединении с вашим умом и наблюдательностью сделают чудеса. А потом... Впрочем, не буду пока говорить о будущем. Имейте только в виду, что я знаю, как разрешается загадка. Вам придется потратить годы на то, что мне уже известно. Я — хозяин. В моих руках все данные задачи, кроме одного или двух иксов, но и их я скоро добуду. Помогите мне. Давайте искать вместе. Мы скоро добьемся богатства. Сказочного богатства. В наших руках будет власть золота. Согласны? Да? Ну, отвечайте!

Он подошел к Доротее вплотную и слегка коснулся ее шали. Доротея слушала терпеливо, стараясь разгадать его намерения, но это прикосновение заставило ее дрогнуть от отвращения.

— Прочь! Оставьте меня. Я вам запрещаю до меня дотрагиваться. Чтобы я вступила с вами в сделку. С вами... Вы мне противны. Слышите — противны!

Эстрейхер вышел из себя:

— Как! Вы отказываетесь? Вы смеете отказываться, несмотря на то, что я... Да, да, я раскрою все. Разглашу такие вещи, от которых вам не поздоровится, потому что, если на то пошло, серьги украл не один Кантэн. Вы тоже были там в овраге. Вы — его соучастница. У меня есть доказательства. И поличное. Коробочка с серьгами у графини. И вы еще смеете со мной разговаривать таким тоном! Ах, вы... Воровка!

Он хотел схватить ее, смять. Доротея быстро нагнулась и скользнула вдоль перил. Эстрейхер размахнулся. Как вдруг ослепительный луч света ударил ему в глаза. Это подкрался Монфокон и зажег карманный электрический фонарик.

Эстрейхер испуганно отшатнулся и прошипел:

— Ах ты, тварь! Я тебя укрощу! И тебя тоже, щенок! Если завтра ты не перестанешь ломаться, коробочка будет распечатана в присутствии жандармов. Выбирай, что лучше, бродяга.

В три часа ночи тихо открылась форточка над козлами фургона, высунулась чья-то рука и затормошила сладко спавшего Кантэна.

— Вставай, одевайся и потише.

Кантэн заспорил.

— Ей-богу, Доротея, ты затеваешь глупость.

— Молчи и делай, что тебе говорят.

Кантэн стал нехотя одеваться. Доротея была уже готова. В руках у нее была смотанная веревка, конец которой она обвязала вокруг пояса.

Они прошли в конец двора, выходящий к оврагу, привязали к перилам веревку и стали спускаться. Спустившись, обогнули замок и очутились у того места, где Кантэн залез в окно. Окно по-прежнему было открыто. Они влезли в него и вошли в коридор. Доротея зажгла карманный фонарик.

— Возьми вот эту лесенку в углу.

— Доротея, это безумие. Нельзя лезть на рожон.

— Молчать и слушаться.

— Доротея, оставь...

Вместо ответа она больно толкнула его в живот.

— Довольно. Я отвечаю за все. Где комната Эстрейхера?

— Последняя налево. Я расспросил вчера прислугу.

— А порошок, который я тебе дала, ты всыпал ему в кофе?

— Всыпал.

— Если так, Эстрейхер спит мертвым сном, и мы можем действовать спокойно.

Они дошли до дверей со стеклянным верхом, отпиравшимся, как форточка. Дверь была на замке, но форточка полуоткрыта.

— Здесь будуар?

— Здесь. Сначала прихожая, а за ней — будуар.

— Подставляй лестницу.

Кантэн влез в форточку и через несколько минут вылез обратно.

— Нашел? — шепотом спросила Доротея.

— Да, на столе. Я вынул серьги, а коробочку перевязал, как было, и поставил на место.

Двинулись дальше. Около последней двери они остановились. Здесь была такая же стеклянная форточка, как и в будуаре. Кантэн влез в нее, отпер изнутри задвижку и впустил Доротею. Они очутились в маленькой передней перед дверью в спальню Эстрейхера. Доротея посмотрела в замочную скважину.

— Спит.

Она вынула из кармана Кантэна флакон хлороформа и носовой платок, откупорила флакон и сильно смочила платок.

Эстрейхер лежал одетый поперек кровати. Порошок подействовал хорошо, и Эстрейхер спал так крепко, что Доротея рискнула зажечь электричество, потом подошла к нему и осторожно прикрыла его лицо платком, пропитанным хлороформом.

Эстрейхер вздохнул, заворочался, но хлороформ подействовал быстро, и он заснул еще крепче, чем прежде.

Тогда они связали его по рукам и ногам, крепко-накрепко прикрутили к кровати, концы веревок перекинули и привязали к ножкам стола и шкафа, затянули в узлы ковер и занавески. Одним словом, Эстрейхер был опутан, как паутиной, и без посторонней помощи не мог освободиться. А чтобы он не проснулся и не поднял крик, Доротея плотно обмотала его рот полотенцем.

На другой день утром, когда Рауль Дювернуа пил кофе вместе с супругами Шаньи, дворецкий доложил, что директриса цирка приказала на рассвете открыть ворота и уехала, прося передать графу письмо.

Граф распечатал конверт, развернул письмо.

«Многоуважаемый кузен».

Это обращение слегка покоробило графа.

— Кузен... Гм,— и он недовольно поморщился.

«Я сдержала свое слово. Предаю в ваши руки того, кто производил раскопки в вашем замке, украл прошлой ночью серьги, а пять лет тому назад отравил и ограбил моего отца, похитив у него медаль, с разгадкой тайны. Пусть расправится с ним правосудие.

Княжна Доротея Д'Аргонь».

Граф, графиня и Рауль Дювернуа с недоумением смотрели друг на друга. Никто не понимал, что это значит и кто этот страшный преступник.

— Жаль, что Эстрейхер спит,— сказал, наконец, граф.— Он помог бы нам расшифровать загадку.

Графиня бросилась в будуар, нашла сданную ей на хранение коробочку, раскрыла ее. В ней не было ничего, кроме морских ракушек и голышей. Почему Эстрейхер придавал ей такое значение?

В эту минуту снова явился дворецкий с докладом.

— В чем дело, Доминик?

— В доме неблагополучно. Ночью хозяйничали воры.

— Что-о? Как же они могли забраться. Я вам тысячу раз приказывал держать все двери на запоре.

— Двери заперты-с. А в коридоре, возле комнаты господина Эстрейхера, стоит лестница и окно в уборной открыто настежь. В него и залезли.

— Что же они... Что пропало?

— Не могу знать. Я пришел доложить. Пусть господин граф распорядится, что делать.

Де Шаньи переглянулся с женой.

— Спасибо, Доминик. Не поднимайте тревоги. Мы сейчас придем и посмотрим. Устройте так, чтобы нам никто не мешал.

Супруги Шаньи и Рауль Дювернуа направились к комнате Эстрейхера. Дверь его спальни была открыта. В комнате сильно пахло хлороформом. Граф заглянул в спальню и отскочил, как ужаленный: Эстрейхер лежал на кровати, связанный по рукам и ногам, с заткнутым ртом, и стонал, сердито выкатывая белки глаз.

Возле него лежала куртка и вязанный шарф, похожий на тот, что был на человеке, копавшем яму в овраге. А на столе, на видном месте, сверкали сапфировые серьги.

Но, увидев руку Эстрейхера, вошедшие невольно дрогнули. Она свешивалась с кровати и была крепко привязана к ножке тяжелого кресла, рукав был засучен до плеча и на белой коже, повыше локтя, ярко выступали три слова, выжженные татуировкой, как у моряков: «In robore fortuna». Клеймо убийцы Жана Д'Аргонь.

VI

В дороге

«Цирк Доротеи» ежедневно менял стоянку и нигде не оставался ночевать. Окончив представление, он тотчас же снимался с места.

Доротея сильно изменилась. Исчезла ее неподдельная веселость. Угрюмая и печальная, она сторонилась от мальчиков и все время молчала.

Тоскливо стало в фургоне. Кантэн правил им, точно погребальной колесницей. Кастор и Поллукс перестали драться и шалить, а капитан зарылся в учебники и громко зубрил арифметику, зная, что этим можно тронуть сердце учительницы. Но и зубрежка плохо помогала: Доротея не обращала на него внимания и была занята своими мыслями.

Каждое утро она жадно набрасывалась на газету, прочитав и не найдя в ней того, что искала, сердито комкала ее. Кантэн подбирал газету, расправлял измятый лист и тоже искал заголовка со знакомой фамилией. Ничего, ни слова об аресте Эстрейхера, ни слова о его преступлении.

Прохандрив неделю, Доротея на восьмой день улыбнулась. Жизнь и молодость взяли свое. Тяжелые мысли рассеялись, и она стала прежней Доротеей, веселой, ласковой и шутливой. Кастор, Поллукс и Монфокон получили ни с того ни с сего долгожданную порцию поцелуев, а Кантэн несколько ласковых шлепков.

В этот день цирк давал представление в городе Витри. Доротея была в ударе и имела громадный успех. Когда публика

разошлась, она стала шалить и возиться с детьми. Неделя грусти была забыта. Кантэн прослезился от счастья.

— Я думал, что ты нас совсем разлюбила,— повторял он, размазывая слезы.

— Чтобы я разлюбила моих поросяток! Это с какой стати?

— Потому что ты — княжна.

— А разве я не была раньше княжной?

Наигравшись с малышами, Доротея пошла с Кантэном гулять и, бродя по кривым переулкам Витри, рассказала ему о своем детстве.

Доротея росла свободно. Никто ей не мешал развиваться, никто не стеснял дисциплиной. От природы она была очень любознательна и сама утоляла свою жажду знания. У деревенского священника научилась она латыни, но зубрить катехизис и священную историю было ей не по нутру. Зато она брала уроки математики и истории у школьного учителя, а больше всего любила читать, глотая все, что попадалось. Особенно много дали ей старики-фермеры, у которых она жила.

— Я им обязана буквально всем,— рассказывала Доротея.— Без них я бы не знала ни одного растения, ни одной птицы. А самое важное в жизни — знать и чувствовать природу.

— Неужели они научили тебя танцевать на канате? — пошутил Кантэн.

— Я обожаю танцы. Это — наследственность: ведь мама не была серьезной артисткой большого театра. Она была простой танцовщицей «dancing girl» из цирка и мюзик-холла.

Несмотря на свободное воспитание и довольно легкомысленный образ жизни родителей, Доротея выработала в себе чувство собственного достоинства и строгие правила морали. Если что-нибудь считается плохо, так оно плохо при всех обстоятельствах, без исключений и уверток. Так полагала Доротея и не допускала никаких сделок с совестью.

Долго рассказывала она о себе, а Кантэн слушал, разинув рот, и никак не мог наслушаться.

— Удивительный ты человек, Доротея,— сказал он наконец.— Особенно поразила ты меня в Роборэе. Как могла ты разгадать их тайну и все эстрейхеровские подлости в придачу?

— Ничего удивительного. У меня с детства страсть к таким историям. Когда я была совсем маленькой и жила у папы в имении, я вечно играла с деревенскими ребятишками, и мы составили отряд для борьбы с ворами. Нет, ты не смейся, пожалуйста. Случится у фермера кража, пропадет утка или поросенок — мы первые принимались за поиски и часто находили пропажу. Еще и жандармов не вызовут, а мы уж расследуем дело. Скоро обо мне пошла слава у крестьян, и, когда мне было лет тринадцать, ко мне приезжали из соседних деревень за советом. «Настоящая ведьма»,— говорили про меня кресть-

яне. Но дело было совсем не в колдовстве. Ты знаешь, что я нарочно прикидываюсь ясновидящей или гадаю на картах, а на самом деле рассказываю людям то, что заметила, и ничего не прибавляю от себя. Правда, у меня чутье и зоркие глаза, а это встречается редко. Надо уметь замечать то, что обычно ускользает от внимания; поэтому все запутанные истории кажутся мне такими простыми, и я часто удивляюсь, как другие не видят вокруг себя самых обыкновенных вещей.

— Да, от тебя ничто не ускользнет,— ответил со смехом Кантэн.— Вот и выходит, что серьги украл не Кантэн, а Эстрейхер, и не Кантэна, а Эстрейхера засадят в тюрьму. Всех обвела вокруг пальца.

Доротея весело рассмеялась:

— Обвести-то обвела, но суд почему-то не хочет действовать по-моему. В газетах — ни строчки обо всей роборэйской истории.

— Что же там произошло, куда девался Эстрейхер?

— Не знаю.

— И не можешь узнать?

— Могу.

— Каким образом?

— Через Рауля Дювернуа.

Кантэн снова удивился.

— Где же ты его увидишь?

— Я написала ему на прошлой неделе, и он ответил телеграммой. Я сегодня ходила на почту — это за телеграммой.

— Что же он пишет?

— Он выехал из Роборэя и будет здесь сегодня ровно в три часа.

С этими словами Доротея посмотрела на часы.

— Половина третьего. Идем к фургону.

По приказанию Доротеи фургон стоял на пригорке, откуда было видно шоссе.

— Подождем его здесь,— сказала Доротея.

— Разве ты уверена, что он приедет?

— О, конечно. Он рад со мной повидаться,— ответила она с улыбкой.— Он такой внимательный и милый.

Кантэн недовольно нахмурился. Он ревновал Доротею ко всему миру и сердито пробормотал:

— Ну, разумеется; с кем бы ты ни разговаривала — все необыкновенно любезны и внимательны.

Молча просидели они несколько мгновений. Вдруг вдали показался автомобиль. Заметив его, Доротея встала и двинулась к фургону.

Через минуту автомобиль Рауля Дювернуа мягко подкатил к его ступенькам. Доротея бросилась навстречу.

— Не выходите! Не выходите! Скажите только: арестован?

— Кто? Эстрейхер? — спросил Рауль, обескураженный таким приемом.

— Конечно! В тюрьме?

— Нет. Бежал...

Доротея схватилась за голову.

— Бежал... Какое несчастье!

И про себя пробормотала:

— Боже мой, зачем я не осталась в Роборэе. Я бы этого не допустила.

Но жалобы мало помогали делу, а Доротея не любила тратить слов. Овладев собой, она спросила Рауля:

— Почему вы так долго задержались в гостях?

— Из-за Эстрейхера.

— Напрасно. После его побега вы должны были мчаться домой. Вы забыли о дедушке? Помните, я вас предупреждала?

— Я написал ему и советовал быть осторожным. А кроме того, я думаю, что вы сильно преувеличиваете опасность.

— Как! У дедушки медаль, за которой охотится Эстрейхер, и вы думаете, что это пустяки.

Рауль хотел выйти из автомобиля, но Доротея не дала ему открыть дверцы:

— Нет, нет, поезжайте домой. Я не знаю, нужна ли Эстрейхеру вторая медаль, но я чувствую, что борьба не кончена и он непременно нападет на вашего деда. Я так уверена в этом, что решила перекочевать в ваши края и уже наметила себе маршрут. Ваше имение под Клиссоном, до него сто пять километров. Для фургона это восемь дней пути, а в автомобиле вы доедете сегодня. Ждите меня, через неделю буду у вас.

Тон Доротеи подействовал на Рауля. Он перестал спорить и снова сел за руль.

— Может быть, вы и правы. Я должен был подумать об этом, тем более, что сегодня дедушка будет совершенно один.

— Почему?

— Вся прислуга отпросилась в деревню на свадьбу одного из лакеев.

Доротея задрожала.

— И Эстрейхер знает об этом?

— Очень может быть. Я рассказывал графине об этой свадьбе и, кажется, в его присутствии.

— Когда он скрылся?

— Третьего дня.

— Значит, уже двое суток...— Доротея, не договорив, бросилась к фургону и тотчас выскочила с ручным саком и пальто.

— Я еду с вами. Запускайте же мотор.

Кантэн подбежал к автомобилю.

— Береги фургон и детей,— приказала ему Доротея.— Немедленно запрягай! Не останавливайся нигде, даже ради представлений. Вот тебе карта. Красным карандашом отмечен маршрут, видишь: вот Клиссон и Мануар-О-Бютт. Никуда не сворачивай, будь на месте через пять дней.

Взревел мотор. Вдруг из фургона выбежал капитан, со слезами протягивая к Доретее ручонки. Доротея подхватила его и посадила сзади, на чемоданы.

— Сиди смирно. До свидания, Кантэн. Кастор и Поллукс — не драться!

На все это ушло не более минуты.

Зашуршали шины...

Рауль был очень рад ехать со своей очаровательной кузиной. Дорогой она попросила его рассказать подробно обо всем, что случилось после ее отъезда.

— Главное, что спасло Эстрейхера,— рассказывал Рауль,— это рана, которую он натер себе, когда бился головой о железный край кровати. Он потерял очень много крови и сильно ослабел. Потом открылась лихорадка, жар. Рана гноилась. Граф, как вы сами заметили, очень щепетилен ко всему, что касается фамильной чести. Узнав, что Эстрейхер болен, он очень обрадовался и сказал с облегчением: «Это даст нам время поразмыслить. Разразится скандал. Попадет в газеты. Не лучше ли для чести семьи избежать огласки?..» Я спорил, возмущался и говорил, что надо моментально телефонировать в полицию. Но в конце концов я не мог распоряжаться в чужом доме, а граф все откладывал и колебался. К тому же Эстрейхер был так слаб, что торопиться было некуда. Неудобно, знаете, отправлять больного в тюрьму.

— А что говорил Эстрейхер? — спросила Доротея.

— Ничего. Да его не допрашивали.

— И ничего не говорил обо мне, не пробовал меня чернить?

— О, нет. Он прекрасно разыгрывал больного, измученного сильным жаром. По моему настоянию Шаньи написал в Париж, прося навести справки об Эстрейхере. Через три дня пришла телеграмма: «Очень опасный субъект. Полиция его разыскивает. Подробности письмом». Получив телеграмму, Шаньи позвонил в полицию, но, когда явился бригадир, было поздно: Эстрейхер бежал через окно уборной, выходящее в сторону оврага.

— А что говорилось в письме?

— Убийственные подробности. Зовут его Антоном Эстрейхером. Он — бывший морской офицер, исключенный из списков за кражу. Потом его судили за убийство, но оправдали по недостатку улик. В начале войны он дезертировал с фронта, за несколько дней до нашего приезда в Роборэй установили, что он воспользовался документами своего родственника, умерше-

го несколько лет тому назад, и прокуратура отдала приказ об его задержании под именем Максима Эстрейхера.

— Как жаль, что его упустили. Профессиональный бандит. Взяли и не сумели удержать.

— Найдем его, не беспокойтесь.

— Найти-то найдем, да не было бы поздно.

Рауль прибавил ходу. Они ехали быстро, почти не снижая скорость в деревнях. Смеркалось, когда они доехали до Нанта. Здесь пришлось остановиться и заправиться бензином.

— Через час будем дома,— сказал Рауль.

Доротея попросила его подробно описать усадьбу и все прилегающие к ней дороги, расположение комнат в доме, лестницы, входы. Она подробно интересовалась привычками и образом жизни дедушки Дювернуа, его возрастом — ему было семьдесят пять лет — и даже его собакой Голиафом, огромным догом, очень страшным на вид, но не способным защитить хозяина.

Миновав Клиссон, Рауль решил сделать крюк и заехать в деревню за кем-нибудь из прислуги. Но Доротея категорически запротестовала.

— Чего же вы, в конце концов, боитесь? — почти рассердился Рауль.

— Всего. От Эстрейхера нечего ждать пощады. Мы не должны терять ни минуты.

Автомобиль мягко свернул на проселочную дорогу.

— Вот и Мануар,— показал Рауль.— Видите освещенные окна.

Остановились у каменной стены усадьбы. В стене были пробиты ворота. Рауль спрыгнул на землю и попробовал их отворить. Возле дома громко лаяла собака, заглушая шум мотора. По лаю Рауль понял, что это Голиаф и что он не в доме, а на дворе, возле террасы.

— Ну, что? — нетерпеливо окликнула его Доротея.— Почему вы не отпираете?

— Тут что-то неладно. Ворота заперты на задвижку и на ключ, а замок с той стороны.

— Разве их запирают иначе?

— Конечно. Ворота заперты кем-то чужим. И потом вы слышите, как заливается Голиаф.

— Ну?

— За углом есть другие ворота.

— А вдруг они тоже заперты. Придумаем что-нибудь другое.

Доротея села к рулю, подвинула машину к стене, немного вправо от ворот, нагромоздила на сидение подушки, стала на них во весь рост и скомандовала:

— Монфокон!

Мальчик понял, что нужно, и быстро вскарабкался на плечи Доротеи. Его ручонки едва доставали до края стены. Доротея подсадила его, и он мигом очутился верхом на стене. Рауль бросил ему веревку, мальчик завязал ее вокруг талии, и Доротея спустила его во двор. Он быстро шмыгнул к воротам, отодвинул задвижку, повернул ключ и впустил Рауля и Доротею.

Доротея жестом подозвала Монфокона и тихо приказала:

— Обойди вокруг дома и, если увидишь где-нибудь лестницу, свали ее на землю.

На террасе метался Голиаф, с лаем и воем царапая в двери, а из-за двери доносились стоны и шум борьбы.

Чтобы напугать бандитов, Рауль выстрелил в воздух, отпер дверь своим ключом и быстро взбежал на лестницу.

В вестибюле, слабо освещенном двумя свечами, лежал на полу дед Рауля и слабо стонал. Рауль бросился к нему, а Доротея схватила свечу и метнулась в соседнюю комнату. Комната была пуста. В открытом окне торчал конец приставленной лестницы. Доротея бросилась к окну и осторожно выглянула.

— Тетя, я тут,— отозвался из сада Монфокон.

— Ты кого-нибудь видел?

— Да. Они выскочили из окна. Я не успел свалить лестницу.

— Ты рассмотрел их?

— Да, их было двое. Один незнакомый, а другой — тот противный бородач.

Дед Рауля не был ранен. По следам борьбы было ясно, что Эстрейхер пробовал запугать старика и заставить показать медаль. На его шее были багрово-синие следы от пальцев. Еще минута — и его бы прикончили.

Скоро вернулась со свадьбы прислуга. Рауль вызвал врача. Доктор осмотрел больного и заявил, что жизнь его вне опасности, но сильно пострадали нервы. Старик, действительно, не отвечал на вопросы, даже как будто не слышал их, что-то невнятно бормотал и не узнавал окружающих. И Рауль понял, что дедушка сошел с ума.

VII

Срок приближается

Усадьба Мануар-О-Бютт когда-то считалась богатым барским домом. Теперь о былом ее величии и широкой жизни

прежних владельцев напоминали только огромные погреба и кладовые, заваленные разной ненужной рухлядью.

Мануар стал приходить в упадок с того времени, как дед Рауля взялся за хозяйство. В молодости он был страстным охотником, дамским кавалером, кутилой и убежденным бездельником. Главные черты его характера перешли к отцу Рауля.

— Когда я был демобилизован,— рассказывал Рауль Доротее,— я поселился здесь, думая наладить хозяйство. Но ни дед, ни отец меня не поддержали. Как я ни спорил, они твердили мне одно: «Рано или поздно мы разбогатеем. К чему же стесняться и отказывать себе в пустяках». И они, действительно, мало стеснялись. В конце концов мы очутились в лапах ростовщика, скупившего наши векселя у кредиторов. А сейчас я узнал, пока я гостил в Роборэе, дед запродал ему имение, и по договору ростовщик может нас выселить ровно через полтора месяца.

Рауль был человек стойкий и прямой, не очень острого, но серьезного ума, немного грубоват, как все деревенские жители, но зато не знал вылощенной фальши горожан. Доротея невольно покорила его волю и нежно и глубоко коснулась его души. Застенчивый, как все прямые и нетронутые натуры, Рауль плохо скрывал свои чувства и слушался ее беспрекословно.

По совету Доротеи он подал следователю заявление о нападении на усадьбу и в заявлении откровенно признался, что вместе с группой дальних родственников разыскивает фамильный клад и что для отыскания клада необходимо иметь золотую медаль старинной чеканки с надписью, указывающей местонахождение клада. Не называя Доротеи, он сообщил, что к нему приехала дальняя родственница, и вскользь сказал о причинах ее приезда.

Через три дня приехал Кантэн с мальчиками. Фургон поставили посреди двора, и Доротея перебралась в него из уютных спален Мануара. Мальчики были рады отдыху, и потекли веселые дни после тяжелой кочевой жизни.

Кастор и Поллукс по-прежнему дрались. Кантэн часами сидел с удочкой у реки, а невозмутимый капитан важно беседовал с Раулем и покровительственно рассказывал ему и Голиафу разные приключения.

Доротея как будто отдыхала. Но на самом деле она усердно наблюдала и занималась изысканиями. Несколько часов посвящала она мальчуганам, а остальное время следила за старым бароном, бесцельно слонявшимся по двору с Голиафом на цепочке. Взгляд старика рассеянно блуждал по сторонам, а Доротея не спускала с него глаз, ловя хоть проблески сознания.

Несколько дней провела она на чердаке, роясь в библиотечных шкафах и ящиках с книгами и письмами, в докладах

управляющих, в портфелях и папках прошлого века. Она тщательно изучила переписку семьи, церковный архив, старые планы имения.

— Ну-с, мы, кажется, прогрессируем,— сказал ей как-то Рауль.— Ваши глаза немного прояснились.

О, эти глаза, глаза Доротеи! Они влекли к себе Рауля, как магнит. Сквозь их восприятие смотрел он на весь мир и ничем не интересовался, кроме их блеска и выражения.

Доротее нравилось, льстило поклонение молодого человека. Его горячая застенчивая любовь была для нее чем-то новым, очаровательным. Она привыкла чувствовать на себе откровенно бесстыдные взгляды мужчин, полные неприкрытой чувственности, и эти взгляды оскорбляли ее, как плевки. И вот пришла радость чего-то чистого, благоуханного...

Как-то раз, катаясь в лодке, Доротея опустила весла и пустила лодку по течению.

— Срок приближается,— сказала она задумчиво.

— Какой срок? — спросил Рауль, думавший не о сроках, а о глазах Доротеи.

— Тот,— ответила она.— Масса мелочей намекает на его приближение.

— Вы думаете?

— Уверена. Вспомните слова дедушки перед вашей поездкой в Роборэй. Он вам сказал: «Теперь еще не поздно, а самая пора». Как жаль, что он болен и не может открыть вам тайны.

— Но разве может быть надежда, если пропала медаль? Мы обыскали кабинет, спальню, весь дом, перерыли каждую мелочь — и все напрасно.

— Дедушка знает разгадку. Ум его помутился, но остался инстинкт. А инстинкт никогда не погибает. Мысль о медали и кладе, по-моему, стала у вас в семье инстинктивной. Подумайте: она зрела у вас поколениями, веками, и никакое потрясение не вытравит ее у человека. Медаль запрятана и очень хорошо, но настанет срок и барон про нее вспомнит. Не словом, так жестом выдаст он свою тайну.

— Вы думаете, что Эстрейхер ее не похитил?

— Ни в каком случае. Иначе они бы не боролись. Ваш дедушка сопротивлялся до последней минуты, и только наше появление заставило Эстрейхера бежать.

— О, если бы я мог поймать этого негодяя,— вздохнул Рауль.

Лодка тихо скользила по течению. Вдруг Доротея прошептала, стараясь не двигаться:

— Тише: он здесь.

— Где? Как?

— Он где-то здесь, на берегу, и, верно, слушает нашу беседу.

— Вы его заметили?

— Нет, но догадываюсь о его присутствии. Он следит за нами.
— Откуда?
— С холмов.
— С холмов. Когда я узнала, как зовется ваше имение, я подумала, что там есть какие-то укрепления или пещеры. Роясь в бумагах, я нашла подтверждение своим предположениям. Во время Вандейского восстания между Тиффожем и Клиссоном были укрепления, брошенные каменоломни и пещеры, где скрывались повстанцы.
— Но как узнал о них Эстрейхер?
— Очень просто. Собираясь напасть на вашего дедушку, он долго его выслеживал. Барон любил гулять и мог зайти в один из тайников. Эстрейхер его и заметил. Посмотрите, какая тут холмистая местность, сколько оврагов. На каждом взгорье можно устроить наблюдательный пункт и следить за всем, что у вас происходит. Эстрейхер, конечно, здесь.
— Что же он делает?
— Ищет медаль и следит за нами. Не знаю, зачем ему вторая медаль, но он ее разыскивает и боится, как бы она не попала в мои руки.
— Раз он здесь, надо вызвать полицию.
— Рано. В подземельях много выходов, и он все равно ускользнет.
Рауль задумался.
— Что же предпринять? — спросил он наконец.
— Дать ему выйти на свет божий — и прихлопнуть.
— Когда и как?
— Чем раньше, тем лучше. Я говорила на днях с ростовщиком Вуареном. Он показал мне закладную на имение. Если в пять часов пополудни тридцать первого июля Вуарен не получит триста тысяч франков наличными или облигациями государственных займов, Мануар переходит в полную его собственность. Об этом он мечтал всю жизнь.
По лицу Рауля прошла тень.
— Знаю. И так как у меня нет надежды разбогатеть...
— Неправда. Есть надежда, та же, что у вашего дедушки. Недаром он сказал Вуарену: «Погодите, еще рано радоваться. Тридцать первого июля я заплачу вам все до последней копеечки». Рауль, по-моему, это первое настоящее указание. До сих пор мы оперировали со смутными легендами, а это бесспорный факт. И этот факт показывает, что ваш дедушка, знающий надпись на медали, связывал свои надежды разбогатеть с июлем текущего года.
Лодка причалила к берегу. Доротея выпрыгнула на песок, Рауль завозился с веслами, а она отошла в сторону и громко

крикнула ему, как бы рассчитывая, что ее слова услышит еще кто-то, кроме Рауля:

— Рауль, сегодня двадцать седьмое июня. Через месяц мы с вами будем богаты, а Эстрейхера повесят, как я ему предсказала.

В тот же день вечером, когда совсем стемнело, Доротея, крадучись, вышла из усадьбы и быстро пошла по дороге, между крестьянскими садами и огородами. Через час она остановилась у калитки скромной дачки. В глубине двора стоял дом, в окнах дома — приветно светился огонь.

Расспрашивая прислугу о разных разностях, Доротея узнала про Жюльетту Азир, одну из бывших любовниц старого барона. Старик Дювернуа до сих пор сохранил к ней нежное чувство и был у нее в гостях за несколько дней до нападения Эстрейхера. Это заинтересовало Доротею. Но интерес ее удвоился, когда горничная Жюльетты Азир рассказала Кантэну, что у ее хозяйки есть такая медаль, какую разыскивают в Мануар-О-Бютте. Доротея поручила Кантэну узнать, когда у горничной выходной день, и решила зайти к старушке и прямо спросить ее про медаль.

Но случилось иначе.

Входная дверь была открыта. Доротея вошла в низкую прилично обставленную комнату и увидела, что старушка спит в кресле с шитьем в руках. Рядом с Жюльеттой стоял столик, а на столике зажженная лампа.

— Вряд ли что-нибудь удастся,— подумала Доротея.— К чему задавать пустые вопросы, на которые она все равно не ответит...

Доротея оглянулась, посмотрела на картины, на часы, канделябры. В глубине заметила лестницу в мезонин. Она шагнула к лестнице, как вдруг тихо скрипнула входная дверь. Доротея вздрогнула. Она догадалась, что это Эстрейхер. Либо он выследил ее, либо явился к старушке по собственному почину. Надо бежать. Но куда? Подняться в мезонин уже поздно. Она оглянулась. Рядом с лестницей была стеклянная дверь — верно, от кухни. Значит, есть черный ход, через который можно уйти.

Она скользнула в дверь и сразу поняла ошибку: это не была кухня, а крохотный чуланчик, скорее, стенной шкаф, в котором можно было с трудом уместиться. Но раздумывать было поздно. Доротея залезла в шкаф и притворила дверь. А в комнату уже входило двое мужчин. Сквозь дырочку в занавеске Доротея сразу узнала Эстрейхера, несмотря на нахлобученную фуражку и поднятый воротник. Его спутник тоже замотался шарфом, чтобы трудно было его узнать. Доротея затаила дыхание.

— Спит,— сказал Эстрейхер.— Как бы не разбудить

— Не разбудим. Станем тут — и только она войдет, заткнем ей горло. Она и пикнуть не успеет. Только придет ли?.. Не затеяли ли мы все это зря.

— Дело верное. Я ее выследил. Она знает, что горничной нет дома, и придет, чтобы застать старуху одну. Теперь она уж не вывернется. Я ей припомню Роборэй.

Доротея задрожала от жуткого тона Эстрейхера.

Бандиты умолкли, прислушиваясь и готовясь наброситься на того, кто откроет дверь.

Время шло. Жюльетта Азир спала, а Доротея замерла, притаив дыхание.

Эстрейхеру надоело ждать.

— Не придет. А шла в эту сторону. Значит, по дороге раздумала.

— Пойдем.

— Подожди, поищем медаль.

— Да уж искали. Все перерыли вверх дном.

— Не с того конца начинали. Надо было начать со старухи. Тем хуже для нее. Сама спрятала — пусть сама и расплачивается.

Он стукнул по стулу кулаком, не боясь разбудить Жюльетту.

— Понимаешь, какая выходит нелепость: горничная сказала ясно — у старухи есть такая медаль, какую ищут в Мануаре. Понимаешь? С бароном не удалось, так, может быть, удастся с этой.

Эстрейхер запер входную дверь и спрятал ключ в карман. Затем подошел к старушке и схватил ее за горло, прижав к спинке кресла. Товарищ Эстрейхера загоготал.

— Ловко. Только ты того... потише, а то околеет и слова не успеет сказать.

Эстрейхер немного разжал пальцы. Старуха со стоном открыла глаза.

— Отвечай! — приказал бандит.— Где медаль барона? Куда ты ее подевала?

Старушка ничего не поняла и в ужасе вырывалась. Эстрейхер тряхнул ее так, что затрещали кости.

— Будешь отвечать или нет? Где медаль твоего любовника? Не виляй, старая ведьма! Горничная нам все рассказала! Говори, а не то...

Он схватил тяжелые щипцы от камина и замахнулся на старуху.

— Раз! Два! Три! После двадцати я расшибу тебе голову.

Шкаф, где сидела Доротея, был полуоткрыт, и Доротея видела все. Угрозы Эстрейхера ее не испугали: Эстрейхеру не выгодно убить старуху. Он сосчитал до двадцати. Старушка

молчала. Эстрейхер бросил щипцы и в ярости схватил ее за руку. От испуга и боли Жюльетта громко вскрикнула.

— Ага, ты начинаешь понимать. Где медаль? Говори!

Жюльетта молчала. Эстрейхер снова дернул ее за руку. Старуха упала на колени и путаясь, стала умолять о пощаде.

— Говори, где медаль! Я тебя заставлю! Ты у меня заговоришь.

Жюльетта что-то пробормотала.

— Что? Что такое? Говори толком, или я тебя дерну...

— Нет... Бога ради... Я скажу. Она в усадьбе, в реке...

— В реке? Что ты врешь! Медаль в реке! Ты со мной не шути.

Он швырнул ее на пол, повалил навзничь и прижал коленом. Доротея задыхалась от негодования, но выдать себя было безумием.

— Хочешь, чтоб я выкрутил тебе руки? Хочешь? — хрипел негодяй.— А! Тебе это нравится.

Доротея не видела, что он сделал, но старушка испустила дикий вопль и закричала.

— Там... Стенной шкаф. Надо... камень...

Она не договорила. Губы ее еще двигались, но искаженное ужасом лицо стало разглаживаться, выражение ужаса сменилось спокойной улыбкой — и вдруг Жюльетта тихо и радостно захихикала. Она не чувствовала ни боли, ни страха: в глазах ее загорелся тот же огонек безумия, что и в глазах старого барона.

— Не везет,— сострил товарищ Эстрейхера.— Номер второй. Этак ты скоро укомплектуешь все сумасшедшие дома республики.

Эстрейхер яростно швырнул старуху. Она отлетела в угол и упала на кресло возле шкафа, где сидела Доротея.

— Ты говоришь, не везет. Нет, кажется, везет... Старуха все-таки сказала, пока у ней не лопнули мозги. В шкафу... Но в котором. В обоих каменный пол.

Он показал на шкаф, где сидела Доротея, и на другой, по ту сторону камина.

— Я покопаюсь здесь, а ты там. Впрочем, нет, посвети мне.

Они отошли к камину, открыли шкаф и стали внимательно осматривать желобки между камнями, пробуя их поднимать.

Доротея понимала, что медлить нельзя. Когда они раскроют шкаф — будет поздно. Старуха лежала под самым шкафом и тихонько хихикала, но смех ее понемногу затихал. Спинка кресла закрывала ее от камина. Доротея осторожно высунула руку, сняла со старухи чепчик, потом стянула очки, косынку, фартук и все это надела на себя. Жюльетта Азир лежала в забытьи. Доротея тихонько вышла из шкафа и захихикала, ловко подражая старухе. Бандиты работали в шкафу, не обра-

щая на нее внимания. Доротея сгорбилась и, хихикая, вышла старческой походкой из угла.

— Что ей надо,— спросил Эстрейхер, не оборачиваясь.— Она, кажется, хочет удрать?

— Куда? Ключ у тебя в кармане.

— А в окошко?

— Высоко. И чего ей бежать? Куда?

Доротея подошла к окну. Оно, действительно, было высоко. Подоконник был ей вровень с плечом. К счастью, ставни были открыты. Радостно хихикая сумасшедшим смешком, Доротея тихонько повернула задвижку и стала соображать. Если сначала открыть окно, ворвется свежий ночной воздух и шелест листьев и бандиты сразу встрепенутся. Доротея рассчитала все движения, быстро вскочила на подоконник и, распахнув створки, прыгнула в сад.

Эстрейхер яростно вскрикнул. Но он не сразу сообразил, в чем дело. А Доротея уже мчалась по саду, обогнула дом, слетела с откоса, перепрыгнула колючую изгородь, сильно исцарапав руки, и нырнула в поле, в хлеба.

В саду Жюльетты Азир раздались выстрелы. Это стрелял Эстрейхер по какому-то мелькнувшему в кустах силуэту.

VIII

По проволочному канату

Мальчики и Рауль Дювернуа весь вечер ломали голову, куда девалась Доротея.

Возвратилась она поздно ночью, рассказала о своем приключении и прибавила:

— Помните, что наступает решительная минута, и через неделю будет разыграно последнее действие.

Время шло. Рауль привыкал к Доротее, не так конфузился и меньше скрывал свои чувства. Доротее было с ним хорошо, и она с радостью принимала его поклонение. Кантэн и малыши почуяли недоброе. Настроение было испорчено, но они молчали, и только капитан заговорил с ней прямо:

— Знаешь, Доротея, этот Рауль еще хуже бородатого. Ты только послушай серьезно.

— Что же нам делать?

— Запрячь Ворону и удрать.

— А как же с кладом?

— Ты сама — клад. Не надо нам никаких кладов, а то ты нас разлюбишь.

— Не беспокойся, милый капитан. Я вас люблю больше всего на свете и никогда не разлюблю.

Но дети не успокоились и исподлобья косились на Рауля. В воздухе пахло грозой. Пугало их и то, что в лесу, в кустарниках то и дело мелькали какие-то подозрительные фигуры. Дети нервничали, плохо спали и ежеминутно ждали новых несчастий.

Тридцатого июня Доротея попросила Рауля отпустить прислугу на храмовый праздник в Клиссон и приказать трем надежным лакеям, умеющим хорошо стрелять, потихоньку вернуться обратно и собраться ровно в четыре часа в трактире Массон, в пяти километрах от Мануар-О-Бютта.

В этот день Доротея была настроена празднично. С утра она пела английские песенки и плясала на дворе веселый джиг, потом поехала с Раулем покататься на лодке и так вертелась, что лодка чуть-чуть не перевернулась, потом немного успокоилась и, сняв браслеты, стала ими жонглировать. Вдруг один из браслетов упал в реку. Место было неглубокое. Доротея засучила рукава, собираясь пошарить на дне, и так замерла, рассматривая что-то под водою.

— Что вы там разглядываете? — спросил удивленный Рауль.

— Река обмелела от засухи и на дне виден каждый камень. Посмотрите: эти камни лежат не как-нибудь, а в каком-то странном порядке.

Рауль наклонился к воде.

— Ваша правда. И камни обтесаны. Можно подумать, что это — буквы.

— Посмотрите: Это наш заветный девиз: «In robore fortuna». Я была в мэрии и рассматривала старую карту. На этом месте был раньше парк и лужайка. Один из ваших предков велел выложить на лужайке его девиз. Ну, а потом река изменила течение и затопила лужайку.

Доротея снова наклонилась к воде и стала рассматривать надпись.

— Знаете что,— сказала она наконец,— тут есть еще какие-то слова и цифры, но я не могу их прочесть. Посмотрите.

— Вижу, но плохо.

— Это понятно. На них надо посмотреть сверху.

— Давайте поднимемся на гору.

— Ничего не получится. Мы будем смотреть сбоку, и буквы расплывутся в воде.

— Остается достать аэроплан,— пошутил Рауль.

— Нет, есть еще один способ. И я его непременно испробую.

Рауль и Доротея позавтракали в одиночку. Рауль был занят хозяйством, потом проводил шарабан с прислугой и пошел к реке. Тут он застал всю труппу Доротеи за работой. Поперек реки был протянут железный канат, привинченный на одном

берегу к стене сарая, а на другом – к кольцу, вмурованному в расселину гранитной скалы.

— Вы, кажется, собрались устроить представление?

— Конечно,– отозвалась Доротея.– Раз нельзя достать аэроплан, я решила пройти по канату.

Рауль не на шутку встревожился.

— Как вы решились... Но ведь это — безумие. Вы непременно сорветесь.

— Я плаваю, как рыба.

— Нет, нет, я этого не допущу.

Доротея весело усмехнулась:

— Это по какому праву?

Рауль смутился. Трудно ответить на подобный вопрос.

— Дело не в праве... Примите хоть меры предосторожности, достаньте балансирный шест.

— Шест? А еще что? Спасательный круг, сетку, водолазный колокол или парашют?

Доротея подставила лестницу, влезла на крышу сарая и стала с улыбкой раскланиваться, точно в цирке, перед своим выходом. Да и костюм на ней был цирковой: коротенькая пышная юбка выше колен, расшитая красными и белыми ленточками, в волосах цветы и ослепительно алая шаль, красиво обхватывающая ее фигуру.

Рауль не находил себе места. Он метался взад и вперед и заражал волнением мальчуганов. Наконец, капитан не выдержал:

— Хочешь помочь Доротее?

— Конечно.

— Лучше уходи отсюда.

Рауль покорно исчез. Доротея попробовала, хорошо ли натянут канат, сделала реверанс, как перед публикой, и плавно двинулась вперед, то поднимая, то опуская руки, точно раскрытые крылья. Дойдя до середины реки, она остановилась. Настала самая серьезная минута. Она должна была отвести глаза от неподвижной точки, помогавшей ей сохранять равновесие, и сквозь сверкающую на солнце воду прочесть выложенные на дне слова. Это было очень трудно и опасно. Она несколько раз начинала читать и каждый раз выпрямлялась, чувствуя, что теряет равновесие. Мальчики следили за ней с замирающим сердцем. Наконец она радостно улыбнулась, послала им воздушный поцелуй и двинулась дальше.

В полуверсте от каната был мост, по которому Рауль успел перебраться на противоположный берег. Он подбежал к Доротее в ту минуту, когда она спрыгнула на землю. Рауль был бледен, как полотно, и его волнение тронуло девушку.

— Ну что? – спросил он со вздохом облегчения.

— Все идет прекрасно. Над девизом написано: «12 июля 1921 года». Это — день, о котором пророчествуют предания.

С этими словами Доротея подозвала Кантэна и что-то приказала ему вполголоса. Кантэн исчез и скоро вернулся, переодевшись в трико акробата. На лодке добрались они до середины реки, Кантэн нырнул и бросил в лодку что-то тяжелое. Доротея быстро подхватила этот предмет и, выходя на берег, отдала Раулю. Это был заржавленный, выпуклый диск не больше чайного блюдечка, похожий на старинные часы. Он был спаян из двух кружков, плохо пригнанных друг к другу, и на одной стороне его было грубо выгравировано слово «fortuna».

— Жюльетта Азир сказала правду,— объяснила ему Доротея.— Получив ваше письмо с предупреждением об опасности, ваш дедушка бросил медаль с футляром в реку. Лучшего тайника и не придумать. Никто не мог о нем догадаться, но каждый мальчишка мог ее достать, когда придет время.

Радостная и довольная, стала она жонглировать диском и браслетами. Но тут вмешался Монфокон. Важно, как взрослый, напомнил он, что сегодня праздник в Клиссоне и что не мешало бы съездить туда, отпраздновать находку. Выдумка Монфокона пришлась всем по душе. Кантэн побежал переодеться, а Рауль — в гараж за автомобилем. Мальчики весело забрались в машину, но Доротея осталась одна на террасе.

— Разве вы остаетесь? — разочарованно спросил Рауль.

Он смутно чувствовал, что дело вышло не случайно: события развивались так стройно и логично, точно их кто-то подстроил. Не понимая планов Доротеи, он, однако, догадывался, что она подготовляет арест Эстрейхера, и боялся оставить ее одну, без помощи и защиты.

— Не расспрашивайте,— остановила его Доротея.— Нас, может быть, подслушивают. Не спорьте, сядьте ближе и слушайте.

И, играя медным диском, рассказала ему вполголоса часть своих планов.

— Недавно я послала прокурору заявление о том, что известный преступник Эстрейхер скрывается в окрестностях вашей усадьбы. Я просила прислать двух агентов, которые должны явиться сегодня в четыре часа в трактир Массон. Сейчас без четверти четыре. Садитесь и поезжайте в Массон.

— А дальше?

— Возьмите агентов и трех слуг, которым вы приказали быть в трактире, и как можно скорее возвращайтесь домой, но — Боже сохрани — не по шоссе, а лесом, по тропинкам. Кантэн покажет вам дорогу, он знает, в чем дело. За стеной парка спрятаны лестницы, чтобы вскарабкаться на стены. Таким образом вы захватите Эстрейхера и всю его шайку. Они едва ли

станут сопротивляться, потому что у вас будут ружья, а у них – револьверы.

– Неужто Эстрейхер рискнет выйти из каменоломен? Может быть, он уже переменил убежище.

– О, нет. Медаль у нас в руках. Он заметит, что вы уехали, и постарается воспользоваться случаем. Тем более, что до срока остается немного.

Доротея знала, что на нее готовится нападение, и, готовясь пережить такие жуткие минуты, была совершенно спокойна. У нее хватило даже силы воли показать на старого барона, беспокойно бродившего по двору вместе с верным Голиафом.

– Посмотрите: разве вы не заметили, как нервничает барон. Несмотря на свою болезнь, он смутно чувствует приближение решительного момента.

Рауль топтался на месте, не зная, на что решиться. Он боялся оставить Доротею наедине с Эстрейхером.

– Вы хорошо подготовили встречу,– сказал он наконец.– Полиция и прислуга предупреждены, но как вы могли угадать, что медаль найдется ровно за час до свидания в трактире? Мне кажется, что...

– Не спорьте, друг мой. Знайте, что я никогда не действую на авось. Поезжайте скорее и возвращайтесь к сроку. Иначе дело кончится очень плохо. И помните, что Эстрейхер явится сюда не только за медалью: у него есть другая, не менее лакомая приманка, на которую он давно точит зубы.

– Какая?

– Это я.

Довод подействовал. Рауль молча сел в автомобиль и уехал. Доротея осталась одна.

По ее расчетам ей предстояло пробыть одной не более четверти часа. Она сидела спиной ко двору, вертя в руках диск, как бы стараясь найти секрет его механизма, а на самом деле,– настороженно прислушиваясь. Она старалась не пропустить ни шороха, ни звука и вместе с тем тревожно раздумывала, правилен ли ее расчет. То ей казалось, что она действует правильно и наверняка, то снова охватывали ее сомнения. Да, Эстрейхер должен прийти,– медаль слишком лакомая приманка.

– Нет,– укоряла она себя через мгновение.– Моя хитрость шита белыми нитками, и он никогда не попадется на удочку. Находка медали, отъезд Рауля и детей – все это слишком неправдоподобно. Сижу одна, никуда не прячу драгоценность. Эстрейхер – старая лисица, его таким путем не проведешь.

И снова мысль меняла направление:

– Нет, он придет, сейчас придет. Он уже вышел из берлоги. Конечно, он почует опасность, но не теперь. Он попался на удочку и, как загипнотизированный, уже не может рассуждать. Его ослепило богатство. Приманка слишком вкусно пахнет...

А если он не поддастся на медаль, мы выдвинем другую приманку. Добыча сама идет ему в руки. И эта добыча — я.

Вдруг послышались чьи-то осторожные шаги. Доротея вздрогнула, насторожилась: кто-то шел по мосту. Она оглянулась. Приближался Эстрейхер. В то же мгновение справа и слева тихо зашуршали кустарники. Значит, Эстрейхер не один, и она окружена.

На часах Доротеи было без пяти четыре.

IX

Лицом к лицу

— Если они на меня набросятся и если Эстрейхер решил меня похитить, я погибла. Они успеют втащить меня в подземелья, пока придет помощь.

Дрожь ужаса пробежала по ее спине. Ну, конечно, он так и поступит, захватит и медаль, и ее. И клад достанется бандитам. Доротея поняла, что ошиблась: у нее все рассчитано по минутам, но совершенно не учтены случайности. Она вскочила с места, бросилась в ванную и засунула медаль в кучу грязного белья. Пусть немного поищут: все-таки на это уйдет минут пять. Возвращаясь на террасу, она столкнулась с Эстрейхером. Он был в темных очках и кепке; в густой бороде его змеилась насмешливая улыбка.

В эту жуткую минуту, стоя лицом к лицу с убийцей отца, Доротея впервые пожалела, что у нее нет револьвера. Она бы, не задумываясь, уложила его на месте.

Не дав ей двинуться, Эстрейхер схватил ее за руку и так тряхнул, что у нее хрустнули кости.

— Говори, где медаль?

Боль была настолько мучительна, что Доротея не стала спорить. Молча провела она его в ванную, молча указала на белье. Не выпуская ее руки, Эстрейхер нагнулся и стал шарить в куче. Скоро он нащупал и вытащил диск, с довольной улыбкой взвесил его на руке и сказал:

— Это называется победа. Вот она, награда, за двадцать лет борьбы. И ты в придачу. Великолепная премия, что и говорить.

Ощупав ее с ног до головы и убедившись, что у нее нет оружия, Эстрейхер взвалил ее на плечо и двинулся к выходу.

— Подозрительно,— цедил он сквозь зубы,— и мало на тебя похоже. Сдалась на милость победителя. Такой покорности я, признаться, не ожидал. Видно, ты снова что-то подстраиваешь. Надо быть начеку.

Выйдя на воздух, Эстрейхер подозвал товарищей, стороживших парадный вход. Одного из них Доротея узнала: он был у Жюльетты Азир.

— Следите за дорогой,— приказал Эстрейхер,— иначе вас захватят, как баранов. Когда я свистну, бегите к холмам.

От Эстрейхера воняло сыростью и затхлой плесенью подземелья. Доротею затошнило, и она не знала, что было ей противнее — этот запах или то, что Эстрейхер обнял ее за шею.

Он нес ее по мосту. В ста метрах был вход в пещеры. Эстрейхер вытащил свисток и подносил его к губам, как вдруг Доротея заметила торчащий из его кармана диск. Она наклонилась, выхватила диск и что было сил швырнула в речку. К несчастью, диск упал возле берега, на неглубокое место.

— Стерва! Дрянь! — рассвирепел Эстрейхер, швыряя Доротею на землю.— Лежи и не пикни, иначе расшибу башку.

Не спуская с нее глаз и грязно ругаясь, он спрыгнул с моста и зашлепал по илистому дну.

Доротея понимала, что бежать бесполезно. Она зорко вглядывалась в то место стены, где должны были показаться полицейские. Было пять минут пятого, а помощь не приходила. Но Доротея не теряла надежды. Она надеялась, что Эстрейхер сделает какой-нибудь промах, которым можно воспользоваться. Эстрейхер угадал ее мысли:

— Понимаем: думаешь выгадать время и улизнуть? Ну, нет, дудки! Не такому дураку, как Рауль, со мной тягаться. Не жди своего голубчика, крышка твоему Раулю. Я уже распорядился: дубиной по голове — и каюк.

Он пошарил рукой в иле и вытащил диск.

— Вот, моя дорогая. Счастье окончательно изменило тебе. А мне везет. Твоя карта бита. Ну, едем дальше, кузиночка.

А Рауля все не было. Когда Эстрейхер подошел к Доротее, она встрепенулась и с отвращением откинулась назад. Эстрейхер злорадно усмехнулся и молча взвалил ее на плечи. В его жестах и интонациях было мало злобы, зато все сильней проступала похотливая чувственность.

— Прощайся со своим Раулем, Доротея,— шептал Эстрейхер, задыхаясь.— Кричи ему: «Прощай Рауль».

Он прошел мост, поднялся в гору и нырнул в кустарники. Все кончено: она проиграла. Если придут полицейские, они все равно никого не найдут. В кустарнике легко скрываться, а через мгновение они опустятся под своды каменоломен.

— Какое наслаждение,— шептал ей Эстрейхер, и в его голосе дрожало издевательство и ласка,— держать тебя на руках, чувствовать, как дрожит твое тело, и знать, что сейчас случится неизбежное. Но что с тобой? Ты плачешь? Оставь эти глупости! Нечего плакать. Рано или поздно ты сомлела бы от ласк на груди Рауля. Может быть, я нравлюсь тебе меньше, чем он,

или его ласки кажутся тебе вкуснее. Не стоит огорчаться. Все это пустяки. Ну, перестань реветь, слышишь! Да перестань же,– повторил он, обозлившись.– Чего хнычешь?

Он злобно повернул ее лицом к себе и остолбенел: Доротея не плакала – хохотала.

– Чего ты! Чего смеешься?

Смех Доротеи показался ему грозой. Значит, она на что-то надеется. Значит, он – в ловушке. Он бросил ее на землю, насильно усадил под деревом. Доротея продолжала смеяться.

– А, ты смеешься! Ну, хорошо же.

И он хватил ее кулаком по голове. Острый камень его перстня разорвал ей кожу на лбу. Брызнула кровь. А Доротея продолжала смеяться.

– Перестань, не то я расшибу тебе морду,– рычал Эстрейхер, зажимая ей рот.– Чего ржешь, когда надо плакать?

– Я смеюсь из-за тарелок,– едва пролепетала Доротея.

– Каких тарелок?

– Из которых сделан футляр для медали.

– Вот этих?

– Ну да: это мои чугунные тарелки, которыми я жонглирую в цирке.

– Не морочь мне голову.

– Я не морочу. Мы с Кантэном вырезали на них слово таинственной надписи, запаяли и бросили ночью в реку.

Эстрейхер был сбит с толку.

– Ты с ума сошла! Зачем?

– Когда вы пытали старуху Азир, она болтала что-то про реку. Я и устроила приманку. Я хотела, чтобы вы вылезли из подземелья.

– Разве ты знала, что я здесь?

– Ну, да. И знала, что вы смотрели, как Кантэн нырял за этой штукой. Зная, что Рауль уехал и я осталась одна, вы должны были прийти. Так и вышло.

– Значит, медали здесь нет?

– Конечно. Диск внутри пустой.

– А Рауль? Ты ждешь Рауля?

– Да.

– Одного?

– Нет, с полицией.

Эстрейхер побледнел, сжал кулаки.

– Значит, ты меня выдала?

– С головой.

Эстрейхер не сомневался. Диск был в его руках, можно было отковырять припайку. Но зачем, раз диск пустой. Он понял комедию, разыгранную утром Доротеей, вспомнил, как, лежа в кустах и наблюдая ее путешествие по канату, он не раз удивлялся необычайному сцеплению обстоятельств. История

казалась очень странной, и, несмотря на это, он попался на удочку и сам полез в раскинутые сети. Хитрая девчонка все тоньше и тоньше раскидывает свою паутину. Эстрейхер чувствовал, что надо забрать Доротею и поскорее убираться, но любопытство мучило его.

— Хорошо. Допустим, что здесь нет медали. Но где она? Ты знаешь, где медаль?

— Конечно.

Доротея ответила наобум, лишь бы выиграть лишнюю минуту. С ужасом в душе поглядывала она на каменную ограду усадьбы.

— А... Знаешь... Раз знаешь, говори скорей. Не то...

И он выразительно поиграл револьвером.

— Как с Жюльеттой Азир? Вы будете считать до двадцати. Не стоит трудиться. Не запугаете.

— Клянусь.

— Лжете!

Нет, сражение еще не проиграно. Из рассеченного лба текла кровь, силы приходили к концу. А она цеплялась за каждую былинку, лишь бы оттянуть финал. Конечно, Эстрейхер мог ее убить. Но он растерялся, и моральный перевес был на стороне Доротеи. У Эстрейхера не хватало силы воли уйти, не захватив медали. Если он будет долго колебаться, Рауль успеет прийти на помощь.

Доротея молча лежала и смотрела на усадьбу. Дом был виден, как на ладони. Вот из дому вышел старый барон. Он был в пиджаке, а не в своей обычной блузе. Ярко сверкнул крахмальный воротничок. На голове его была фетровая шляпа, а в руках — небольшой чемодан. Все это показывало, что сознание его прояснилось и что он поступал совершенно сознательно. Мелкая, как-будто бы несущественная деталь заинтересовала Доротею. С бароном не было Голиафа. Старик сердито топнул ногой и свистнул собаку. Голиаф подбежал к хозяину, барон схватил его за ошейник; ощупав ошейник, барон пристегнул собаку на цепочку, пошел к воротам.

Сообщники Эстрейхера остановили барона. Он хотел прорваться, они толкнули старика обратно. Тогда он бросил чемодан и пошел в сад, держа собаку на цепочке.

И Доротея, и Эстрейхер поняли все. Старик собрался ехать за сокровищем. Несмотря на повреждение рассудка, он вспомнил о нем, как загипнотизированный, как автомат, заведенный сто лет тому назад. А вспомнив, надел шляпу и городской костюм, собираясь ехать в условленное место.

— Обыщите его,— крикнул Эстрейхер.

Барона обыскали, но ничего не нашли. Эстрейхер задумался. Он нерешительно шагал взад и вперед и вдруг обернулся к Доротее:

— Давай поговорим начистоту. Рауль тебя любит. Если бы ты его любила, я давно бы положил этому конец, но ты его не любишь. Я это твердо знаю. Ты с ним дружна, симпатизируешь ему, но есть другое. Ты по горло напичкана всякими предрассудками и боишься замараться в этом деле. А между тем ты многого не знаешь. Я открою тебе глаза. Слушай и отвечай правду: я украл медаль у твоего отца — ты это знаешь. Да, я не стану отпираться. Но, как ты думаешь, зачем я гонюсь за медалью барона? Как ты это себе объясняешь?

— Я думаю, что у вас отняли добычу.

— Верно. И знаешь — кто?

— Нет.

— Отец Рауля, Жорж Дювернуа.

— Лжете!

— Нет, не лгу. Ты помнишь письмо отца, которое читал Шаньи. Д'Аргонь писал, что слышал разговор двух человек, потом в окно просунулась рука, схватившая медаль. Так вот заметь: в деле участвовали двое. Один из них был я, а другой — отец Рауля. И этот мошенник обокрал меня в ту же ночь.

— Лжете! — убежденно повторила Доротея.— Не верю. Отец Рауля — не вор. О, нет.

— Не только вор, моя милая, потому, что наша экспедиция была не за одной медалью. Тот, кто украл медаль у князя Д'Аргонь и подлил ему яду в лекарство,— не лжет, но категорически утверждает, что дело выдумал его товарищ и даже раздобыл флакончик яда.

Доротея выпрямилась и крикнула ему в лицо:

— Лжете! Лжете! Вы один — преступник и убийца!

— Не веришь — вот прочти. Это письмо Жоржа Дювернуа к отцу, я нашел его недавно в бумагах барона.

«Наконец мне удалось заполучить медаль, без которой нельзя двинуть дело. Я пришлю ее при первой возможности».

— Обрати внимание на дату,— продолжал Эстрейхер,— оно написано через неделю после смерти Д'Аргоня. Теперь поверила? Так вот, не думаешь ли ты, что нам следует обойтись без этой мокрой курицы Рауля?

Слова Эстрейхера сломили Доротею. Но она взяла себя в руки и сухо спросила:

— Что вы хотите сказать?

— Твоя медаль у барона. Рауль не имеет на нее никаких прав. Я покупаю ее у тебя.

— Ваша цена?

— Если хочешь, половина добычи.

Доротея сообразила, что оттяжка ей выгодна. Надо воспользоваться случаем и выиграть несколько лишних минут. В крайнем случае, можно рискнуть и медалью.

— Объединиться с вами? Ни за что! Поделиться или войти в компанию? Нет, тысячу раз нет. Но столковаться на несколько минут — это другое дело. На это я, пожалуй, согласна.

— Назначь условия. Пользуйся случаем, что я даю тебе возможность их назначить.

— Ясно. У вас две цели: медаль и я. Что вам дороже? Выбирайте.

— Медаль.

— Освободите меня — и я вам дам медаль.

— Дай мне честное слово, что ты знаешь, где она.

— Честное слово.

— Давно ты это узнала?

— Нет, пять минут тому назад я не подозревала правды. А теперь знаю. Пустяк открыл мне глаза.

Эстрейхер верил Доротее. Она прямо смотрела ему в глаза.

— Где же?

— Нет, сначала дайте мне честное слово, что освободите меня, как только получите медаль. Конечно, мое честное слово и ваше — монета неодинаковая. Но все-таки...

— Даю честное слово. Говори скорее.

Борьба дошла до высшей точки. Каждый угадывал ходы противника. Доротея знала, что Рауль может ежеминутно явиться, а Эстрейхер видел, что она ждет помощи и думал, что шансы равны, так как его шайка сторожит дорогу и вовремя предупредит его. Доротея надеялась, что Рауль исполнит ее приказание и вернется лесом, бросив в трактире автомобиль. Стараясь затянуть беседу, она стала спокойно объяснять:

— Я никогда не сомневалась в том, что старый барон держит медаль при себе.

— Я обыскал его. Медали нет. Дальше.

— Я и не говорю, что медаль у него в кармане или зашита в костюм. Я только говорю, что он хранит ее под руками.

— То есть?

— Она в таком месте, что ему стоит только протянуть руку, чтобы взять ее.

— Ошибаешься. Мы только что видели это.

— Сейчас! Сами вы ошибаетесь, потому что вы ничего не заметили.

— Сейчас?..

— Да. В здравом уме и твердой памяти он назначил день своего отъезда. Теперь инстинкт велит ему выполнить приказание погасшего рассудка.

— Он собирался ехать без медали.

— Нет, с медалью.

— В чемодане ничего не нашли.

— С ним был не только чемодан.

— А что же, черт возьми?

— Голиаф.

Эстрейхер был поражен, а Доротея спокойно продолжала объяснение:

— С Голиафом он никогда не расстается. Он всегда у него под рукой. И он с собою звал Голиафа. Посмотрите на старика: его рука лежит на ошейнике. Слышите — на ошейнике.

На этот раз Эстрейхер не сомневался. Слова Доротеи строго вязались с фактами. Доротея бросила луч света в потемки, где все для него было неясно и полно противоречий. Эстрейхер решил хладнокровно обдумать положение. Надо действовать и как можно скорее. Надо подойти к дому, к Голиафу, а вместе с тем не дать Доротее бежать.

Эстрейхер быстро связал ее по рукам и по ногам и заткнул ей рот носовым платком.

— Если это враки — тем хуже для тебя,— сказал он, вставая.— Ты мне отплатишь за ошибку.

И, помолчав, прибавил:

— А если и не соврала, то не много выиграла. Я не из тех, кто выпускает добычу.

Потом крикнул:

— Эй, вы там! Дорога свободна?

— Свободна.

— Смотрите в оба. Сейчас мы уйдем. По свистку — бегите в подземелье. Девчонку я сам захвачу.

Доротея дрожала, но не за себя, а за свои расчеты. Она была уверена, что медаль в ошейнике, но боялась, что даром рискнула: Эстрейхер успеет ее захватить, а Рауль опоздает. И если в течение трех минут не раздадутся выстрелы, она окажется во власти Эстрейхера, его вещью, собственностью. Эта мысль леденила ее: скорее смерть, чем его похотливые ласки. Значит, дело идет о ее жизни.

Эстрейхер быстро сбежал с горы, пересек мост и бросился к террасе, где сидел старый барон. Голиаф дремал у ног хозяина, положив морду ему на колени. Эстрейхер совсем забыл о существовании больного, а барон точно очнулся и вдруг схватил его за руки. Завязалась борьба. Голиаф рычал и увертывался от бандита.

Доротея с ужасом и надеждой следила за борьбой. Старик сначала отчаянно сопротивлялся, потом устал, ослабел и впал в жуткое безучастие ко всему окружающему. И настроение хозяина передалось собаке. Голиаф лег у его ног и позволил Эстрейхеру приблизиться. Эстрейхер лихорадочно схватился за ошейник и теребил его, не зная, как его расстегнуть. В эту минуту раздался громкий голос:

— Руки вверх!

Доротея облегченно вздохнула. Спасена... План ее выполнен с опозданием на полчаса. На стене парка показался Кан-

тэн, за ним еще двое. Эстрейхер испуганно выпрямился. Два новых голоса пронзительно вскрикнули:

— Руки вверх!

Еще два ружья блеснули сквозь зелень, держа Эстрейхера на мушке. Он колебался, испуганно оглядываясь и соображая, куда бежать. Но когда раздались выстрелы и пуля прожужжала у него над ухом, он поднял руки. Его товарищи, пользуясь тем, что на них не обращают внимания, промчались по мосту и метнулись к уединенному холму, изрезанному оврагами и называвшемуся лабиринтом.

Тут распахнулись ворота и вбежал Рауль с полицейскими.

Как затравленный волк, стоял Эстрейхер с поднятыми руками. Он не пробовал сопротивляться, но неудачный маневр Рауля развязал ему руки. Агенты подошли к нему, стараясь его окружить, и заслонили его от стрелков на стене. Эстрейхер выхватил револьвер и стал стрелять. Три пули пролетели мимо, четвертая попала в Рауля. Он упал, раненный в ногу.

Но это не спасло бандита. Полицейские схватили его, обезоружили и защелкнули на его запястьях наручники. Эстрейхер искал глазами Доротею. Лицо его было искажено нечеловеческой злобой.

X

Аргонавты

Кантэн и Монфокон отыскали в кустах Доротею и страшно перепугались, увидев на лице ее кровь.

— Успокойтесь,— сказала она, выплевывая платок Эстрейхера.— Да, я немного ранена. Капитан, беги скорей к барону, приласкай Голиафа и отстегни ошейник. Под пластинкой с его именем есть маленький карманчик. В нем медаль. Принеси ее поскорее.

Мальчик убежал.

— Полиция заметила меня или нет? — спросила Доротея Кантэна.

— Нет.

— Вот это хорошо. Скажи, что я уехала в Рош Ион. Я не хочу фигурировать в следствии.

— А как же с Дювернуа?

— Предупреди его тихонько. Скажи, что я потом объясню ему все. Главное, пусть он молчит обо мне. Он ранен, а другие про меня не вспомнят. Сейчас будет облава на шайку Эстрейхера. Я не хочу, чтобы меня заметили. Прикрой меня ветками. Вот так. Вечером заберите меня в фургон, а на рассвете мы уедем. Не пугайтесь, если я пролежу несколько дней, не вста-

вая. Я страшно изнервничалась и устала, и не беспокойтесь обо мне.

— Ладно.

Доротея угадала. Полицейские заперли Эстрейхера в усадьбе и двинулись к каменоломням. Один из слуг Рауля показывал дорогу. Они прошли в трех шагах от Доротеи, не заметив ее. Вскоре до нее долетели громкие восклицания и команда. Это нашли один из входов в подземный лабиринт.

«Напрасно,— подумала Доротея.— Дичь уже улетела».

Натянутые нервы сдали. Доротея сразу ослабела и захотела спать. Но она заставляла себя бодриться, поджидая Монфокона.

— Почему вы опоздали? — спросила она Кантэна.— Что случилось?

— Полицейские ошиблись дорогой и попали в другой трактир. Пришлось дожидаться.

Вдруг захрустел сухой валежник: это возвращался Монфокон.

Доротея обернулась к Кантэну.

— Я думаю, что на медали есть надпись, название города или замка. Запомни его хорошенько и отыщи по карте. Туда мы и поедем. Ну, что, капитан, отыскал?

— Да.

— Покажи, дорогой мой.

С невольным трепетом взяла Доротея медаль, с которой было связано столько надежд и столько преступлений.

Она была вдвое больше пятифранковой монеты и немного толще ее. Старинное золото тускло блестело, чеканка была грубая и небрежная. На одной стороне был вырезан заветный девиз: «In robore fortuna»,— а на другой была надпись: «12 июля 1921 года, в полдень, у башенных часов замка Рош-Перьяк».

— Двенадцатого июля,— прошептала Доротея.— Можно заснуть, поспать, отдохнуть.

И она тотчас уснула.

Дня три Доротея лежала пластом. Мальчики успели дать представление в Нанте. Маленький Монфокон заменял больную, исполняя главные номера. Он был так весел и забавен, что публика прекрасно приняла цирк.

Кантэн доказывал Доротее, что она может отдохнуть еще дня три. От Нанта до Рош-Перьяка было сто двадцать километров. Это расстояние можно было пройти в шесть переходов. Доротея не возражала. Она была так измучена и истощена, что позволяла делать с собой все, что угодно. Лежа в фургоне, она часто вспоминала Рауля, но от прежней нежности в душе ее не осталось и следа; зато росла досада на себя за то, что эта нежность имела неосторожность проявиться. Правда, Рауль не участвовал в преступлении своего отца, но он был сыном него-

дяя, помогавшего Эстрейхеру. И этого нельзя ни забыть, ни простить. В дороге, окруженная нежными заботами мальчиков, Доротея понемногу успокаивалась. Заветный срок приближался, а с его приближением восстанавливались ее силы, возвращалась вера в жизнь и решимость довести дело до конца.

— Знаешь, Кантэн,— шутила она не раз,— мы с тобой — аргонавты, плывущие за золотым руном. Понимаешь ли ты, какие дни мы переживаем: еще три-четыре дня — и золотое руно будет нашим. Барон, через неделю вы будете одетым, как лондонский денди.

— А ты — как княжна,— отвечал Кантэн ей в тон. Но в глубине души он не очень радовался близкой перемене и боялся, что богатство испортит их отношения.

Доротея знала, что испытания не кончены и впереди предстоят ей новые битвы, но пока наслаждалась передышкой и была готова ко всяким случайностям.

На четвертый день пути они переправились через реку Вилен и двинулись по правому скалистому берегу. Местность была пустынная, бесплодная, каменистая. Солнце жгло немилосердно. Но на следующее утро они прочли на придорожном столбе: «Рош-Перьяк, 20 километров».

— Сегодня будем там,— сказала Доротея.

Переход был очень трудный. На пути они подобрали старика, лежавшего под камнем у дороги. От пыли и солнца старик был почти без сознания. А впереди плелась какая-то женщина с кривоногим ребенком. Но лошадь была так измучена, что не могла их догнать. Мальчики уложили старика в фургон рядом с Доротеей. Это был грязный изможденный старик, одетый в жалкие лохмотья и подпоясанный веревкой. Только умные бойкие глаза сверкали на его бескровном лице. Доротея дала ему пить и спросила, чем он живет. Старик не сразу ответил.

— Не стоит жаловаться. Мой отец был тоже бродягой и всю жизнь месил по дорогам грязь. Но он был человек умный и всегда повторял мне: «Гиацинт,— это меня зовут Гиацинтом — стойкий человек не бывает несчастным. И я скажу тебе секрет, которому научил меня дедушка: богатство в стойкости души. Так и запомни: в стойкости — богатство».

Доротея невольно смутилась, услыхав от бродяги перевод латинского девиза «In robore fortuna».

— А кроме этих слов,— спросила она,— ваш отец не оставил вам ничего?

— Он дал мне добрый совет ходить каждый год двенадцатого июля в Рош-Перьяк и ждать кого-то, кто рано или поздно подаст мне милостыню в сотню, а может быть, и в тысячу франков. Я каждый год бываю здесь, но до сих пор никто не подал мне больше нескольких медных монеток. Был я и в

прошлом году, бреду и теперь, а если буду жив – приду и на будущий год.

Через час фургон догнал женщину с кривоногим ребенком. Доротея подсадила их в фургон. Женщина оказалась работницей из Парижа. Шла она в Рош-Перьяк помолиться о выздоровлении ребенка.

– У нас в семье всегда ходили в Рош-Перьяк,– объяснила она Доротее.– Чуть заболеет ребенок – его везут к двенадцатому июля в часовню святого Фортуната.

Таким образом, и в семье парижской работницы, и в семье князя Д'Аргонь жила одна и та же вера в чудо, связанная с днем двенадцатого июля.

К вечеру добрались до Перьяка. Доротея стала расспрашивать о замке. Это были дикие развалины в девяти километрах от деревни, у самого моря, на пустынном каменистом полуострове.

– Переночуем здесь,– решила Доротея,– а завтра рано утром двинемся дальше.

Уехать на рассвете, однако, не удалось. Ночью Кантэн внезапно проснулся от запаха дыма и треска огня. Он вскочил и увидел, что пылает крыша сарая, под которым стоял фургон. Он поднял крик. Прибежали случайно проезжавшие крестьяне и помогли вытащить фургон. Не успели вытянуть его из-под крыши, как крыша рухнула. Доротея и мальчики были невредимы, зато пострадала Кривая Ворона. Она была вся в ожогах, так что нельзя было ее запрячь. С трудом удалось нанять другую лошадь и шагом двинуться в путь. Кривая Ворона едва семенила за фургоном, привязанная к задней дверце. Проезжая мимо церкви, Доротея увидела старика и женщину с хромым ребенком. Они сидели на паперти и просили милостыню.

В половине десятого фургон остановился возле дома с вывеской: «Постоялый двор вдовы Амуру». В ста метрах от постоялого двора виднелся полуостров Перьяк с пятиконечным мысом, похожим на руку с растопыренными пальцами. Немного левее впадала в море река Вилэн.

Все вышли из фургона и сели пить кофе в полутемном зале трактира. Позавтракав, мальчики принялись за лечение лошади, а Доротея разговорилась с хозяйкой. Спросила она и про замок Перьяк.

– И вы туда же? – удивилась хозяйка.

– Разве я не одна? – ответила Доротея вопросом.

– Туда уже приехал господин с дамой. Они приезжают уже несколько лет. Раз даже ночевали у меня. Вы знаете, они из тех, что ищут...

Доротея притворилась непонимающей.

– Что они ищут?

— Болтают наши, будто клад. Здешние не верят, а приезжие интересуются. Есть такие, что роют в лесу, приподнимают камни.

— Разве это разрешается?

— А кто им станет запрещать! Остров Перьяк – я говорю остров, потому что во время прилива вода заливает дорогу – остров Перьяк принадлежит монахам, то есть монастырю Сарзо. Они бы не прочь его продать, да кто польстится на эти камни.

— А есть туда другая дорога?

— Есть, только очень уж плохая. Она начинается вон там, у скалы, и выходит на дорогу в Ванн. Только и по ней никто не ездит. За год много-много, если наберется десяток чудаков. Ходят еще пастухи с козами, но это — не в счет.

Несмотря на просьбы Кантэна, Доротея не захотела брать его с собой и ушла к развалинам одна. Она одела самое лучшее платье и самую яркую шаль.

Наступил заветный, желанный день. У Доротеи замирало сердце. Что даст он ей, победу или поражение, яркий свет или снова потемки? И несмотря на все, тонус ее был приподнят, а настроение праздничное. Доротее мерещился сказочный дворец с огромными зеркальными окнами, полный злых и добрых гениев, рыцарей и благодетельных фей.

Она шла по скалистой тропинке и мечтала. С моря дул легкий свежий ветер, умерявший зной. Доротея шла быстро. Она уже различала контуры пятиконечного мыса, и вдруг на повороте мелькнул контур древней башни, утопающей в зелени дубов. Тропинка становилась круче. Внизу змеилась дорога в Ванн, идущая вдоль берега к полузалитому водой перешейку. На дороге стояли какой-то господин и дама. Доротея стала всматриваться и вдруг узнала дедушку Рауля и Жюльетту Азир.

Двое сумасшедших бежали из Мануар-О-Бютта и неисповедимыми путями добрались до развалин Рош-Перьяка. Блуждающими глазами смотрели они на залитый приливом перешеек и не заметили Доротеи. Десятки лет надежд и грез оставили глубокий след в душе барона, даже потеря рассудка не могла его изгладить из памяти. Без ясной мысли, без сознания, повинуясь таинственному зову предков, пришел сюда старый барон и привел такую же безумную подругу. Пришел потому, что не мог не прийти, потому что два века надежд и исканий укрепили и закалили его волю, темной силой инстинкта толкая его к заветной цели. Пришел — и остановился перед морем, не зная, что предпринять. Жалкий и растерянный, замер он на месте, прижимая к себе дрожащими руками такую же беспомощную Жюльетту.

Доротее стало жаль старика. Она подошла к нему и сказала:

— Пойдемте. Здесь неглубоко. Я пойду вперед, вы за мной. Хорошо?

Он оглянулся, но ничего не ответил. Молчала и Жюльетта Азир. Они уж ничего не понимали. Это были живые трупы, автоматы без воли, пришедшие сюда по зову крови. Без воли пришли они, без воли остановились перед морем и без воли должны вернуться обратно.

Время шло. Пора было идти. Доротея сняла туфли, чулки, приподняла платье. Было очень мелко. Когда она вышла на противоположный берег, старики еще стояли на том же месте. Доротея замахала им рукой, старик отрицательно покачал головой, а Жюльетта не шевельнулась.

Несмотря на жалость, Доротее было приятно остаться одной.

У перешейка были топкие болота, между которыми шла узкая кремнистая тропинка, ведущая к самым развалинам. Доротее казалось, что с каждым шагом она удаляется от нынешней жизни в какие-то древние дебри, полные тайн и векового молчания. Деревья становились гуще и темней. Кто-то жил здесь в древние века, кто-то строил эти гранитные стены и посадил огромные деревья редких, нездешних пород. Не роща ли это далеких друидов, приносивших здесь жертвы забытым богам?

Доротея знала, что цель близка. И вдруг ее охватило такое волнение, что ноги ее подкосились и она невольно опустилась на придорожный камень.

— Неужели я у цели? — думала она.— В моем кармане золотая медаль с названием Рош-Перьяка и сегодняшним числом. Но где доказательство тому, что сегодня раскроется тайна? Полтораста или двести лет — слишком большой срок, и за это время все карты могли перетасоваться.

Она встала и медленно пошла вперед. Вот площадка, вымощенная узорными плитами. Когда-то здесь была стена. Она почти разрушена, но высокая арка ворот уцелела. Доротея прошла под аркой и очутилась во внутреннем дворе. Прямо против нее возвышалась башня, а на ней — циферблат часов.

На часах Доротеи было половина двенадцатого. Она оглянулась. Ни души. Казалось, что сюда давно не ступала человеческая нога. Разве заходил пастух, разыскивая отбившуюся от стада козу. Это даже не были развалины, а остатки развалин, поросшие плющом и мелким кустарником. От былых веков остались только деревья, огромные величественные дубы с могучими ветками.

Доротея стояла на бывшем замковом дворе. Об этом можно было догадаться по расположению разрушенных построек. Направо был когда-то барский дом, налево — службы, а посреди — башня с часами.

Башня сохранилась лучше остальных построек. Часы не шли, но циферблат и стрелки были целы. Сохранился даже часовой колокол. Доротея подошла ближе. Римские цифры наполовину выветрились, из расселин пробивался мох, а на мраморной плите под часами была та же загадочная надпись: «In robore fortuna».

Те же слова. И на медали, и здесь, и в Роборэ, и в Мануар-О-Бюотте. Значит, согласован со всеми таинственный зов старины. И здесь сойдутся те, кому несколько веков назад послали предки приглашения.

— Звали многих, а пришла я одна,— подумала Доротея.

Ей и в голову не приходило, что могут явиться другие. Изумительное сцепление случайностей помогло ей распутать загадку. Никто не разгадал. И предание о сказочном кладе будет все больше запутываться, и понемногу от него останется смутный неясный обрывок вроде того, что говорил вчера нищий или женщина с кривоногим ребенком.

— Конечно, никто не придет,— повторила про себя Доротея.— Уже без четверти двенадцать.

Прошло еще мгновение. И вдруг со стороны перешейка послышались странные звуки, сначала слабые, заглушенные лепетом ветра в листве да широким шорохом прибоя. Потом они стали слышней. Доротея замерла, прислушиваясь. Ритмические звуки, точно стук железных шагов.

— Дровосек? Пастух? Крестьянин?

Нет, не шаги, а что-то другое, звонче, сильнее. А, это стук копыт по каменной тропинке. Лошадь поднимается по тропинке, вот она огибает обломки стены. Копыта стучат у самой арки, всадник понукает коня. Доротея замерла, сгорая от любопытства.

Под аркой показался всадник. Он был необычайно высок и долговяз, а лошадь, простая крестьянская лошадь, немного больше пони. Казалось, что ноги человека волочатся по земле и что не лошадь его везет, а он идет, таща лошадку между коленями, как дети — игрушечного коня. Клетчатый костюм, короткие брюки, трубка и чисто выбритое лицо говорили без слов: англичанин.

Заметив Доротею, он нисколько не удивился и только сказал про себя:

— Аооо!

Он было дернул поводья, собираясь ехать дальше, как вдруг заметил башенные часы и сразу остановился.

— Стоп! Стоп!

Затем выпрямил костлявые ноги в клетчатых штанах и стал на цыпочки. Лошадь спокойно вышла из-под него. Он привязал ее к дереву, посмотрел на часы и хладнокровно стал у подножия башни, точно часовой на посту.

— С ним не разговоришься,— подумала Доротея.

Она чувствовала, что англичанин смотрит на нее, но смотрит так, как все мужчины, видя хорошенькую женщину.

Трубка его потухла. Он спокойно разжег ее и курил, ничем не обнаруживая желания завязать беседу.

Так простояли они минут пять.

— Глупо,— думала Доротея.— Понятно, зачем мы здесь. И если он не желает вступать в беседу, я заговорю с ним сама. Пора знакомиться. Но только как себя назвать — княжной Д'Аргонь или Доротеей, танцовщицей на канате? С одной стороны, обстановка требует церемонного представления с титулами и званиями, с другой — пестрая шаль и короткое платье делают церемонии смешными. Нет, уж лучше назваться танцовщицей на канате.

Доротея улыбнулась своим мыслям. Англичанин заметил ее улыбку и тоже улыбнулся. Они уже собирались заговорить, как вдруг появился новый пришелец. Это был бледный юноша с рукой на перевязке в форме русского солдата. Увидав башенные часы, он буквально застыл на месте, потом, заметив улыбающуюся Доротею и англичанина, ответил им широкой улыбкой, затем снял фуражку и раскланялся, показывая чисто выбритый череп.

Вдруг послышался стреляющий треск мотоцикла и, подпрыгивая на камнях, во двор влетел еще один наследник. Увидев башню с часами, он резко остановился. Молодой, стройный, в ловко сшитом дорожном костюме, он, вероятно, принадлежал к той же англосаксонской расе, что и первый из всех пришедших.

Он вынул часы и, указывая на них, подошел к Доротее, как бы собираясь сказать:

— Я, кажется, не опоздал.

Не успел он представиться, как под аркой показалось еще двое.

Первый рысью влетел на коне и тоже остановился, заметив группу под башенными часами. Он ловко соскочил с коня, поклонился Доротее, потом мужчинам и нерешительно замер на месте.

Второй явился вслед за ним. Он тоже ехал верхом, но на осле. Остановившись под аркой, он вытаращил глаза, поправляя на носу очки, и изумленно пробормотал:

— Пришли... Так, значит, все это — не шутка.

Ему было лет под шестьдесят. На нем был черный сюртук, черная шляпа, и был он толст, коротконог, с густыми черными баками; потертый портфель торчал у него под мышкой.

— Ну, и казус! — повторял он, слезая с осла.— Собрались. Признаться, не ожидал.

Доротея все время молчала. Но ей хотелось двигаться, говорить, расспросить обо всем, объясниться. Ежеминутно появлялись все новые лица, и это поражало ее, как истинное чудо.

Услыхав возглас почтенного старика с портфелем, Доротея невольно ответила:

— Да. Действительно, собрались.

Она взглянула на часы. Ровно полдень. В то же мгновение с далекой колокольни Рош-Перьяк донеслись звуки Angelus.

— Слушайте! Слушайте! — воскликнула она с экстазом.

Все обнажили головы. Казалось, что стрелки башенных часов со скрипом сдвинутся с места и снова пойдут, связав порванные нити мгновений, и этот полдень станет полднем далекого прошлого, когда остановились старинные башенные часы.

Доротея упала на колени. Ее волнение было так велико, что она расплакалась.

XI

Завещание маркиза де Богдеваля

Доротея плакала светлыми, радостными слезами. Пятеро пришельцев растерянно толпились возле нее и не знали, что делать.

Вдруг Доротея встала, вытерла слезы и, так же внезапно переходя от слез к смеху, закружилась в буйном вихре танца. Она не смущалась тем, что никто ее не знает, ни как княжну Д'Аргонь, ни как Доротею, танцовщицу на канате. И чем больше недоумения было на лицах остолбеневших мужчин, тем звонче и веселее разливался ее серебристый смех. Покружившись минут пять, Доротея внезапно остановилась.

— Смейтесь! Смейтесь все пятеро! — воскликнула она.— Что вы застыли, как мумии! Смейтесь, пожалуйста. Я, танцовщица на канате, Доротея, княжна Д'Аргонь, прошу вас улыбнуться. Мосье нотариус,— обратилась она к толстому старичку с портфелем,— больше радости! Я уверена, что нам есть чему радоваться и смеяться.

Она подбежала к старичку и бесцеремонно схватила его за рукав.

— Ведь вы нотариус? Не правда ли? Вы должны прочесть нам завещание? Вы ничего не понимаете? Уверяю вас, что дело ясное. Я вам сейчас все объясню. Ведь вы нотариус?

— Действительно. Нотариус Деларю из Нанта.

— Из Нанта? Прекрасно. Прежде всего, вам необходимо, как бы это выразиться, проверить полномочия: проверить, у

кого есть золотая медаль, заменяющая повестку с приглашением на наше собрание. Не правда ли?

— Совершенно верно, золотая медаль...

Старичок был окончательно сбит с толку, видя, что Доротея знает все.

— С приглашением на двенадцатое июля тысяча девятьсот двадцать первого года,— продолжала она.

— Именно. Двенадцатого июля двадцать первого года.

— Ровно в полдень?

— Ровно в двенадцать часов.

Он уже взялся за часы, но Доротея его остановила.

— Зачем? Не надо. Мы все слыхали Angelus. Вы не опоздали. Мы тоже явились в срок. Все в порядке, и те, у кого есть медаль, ее предъявят.

Она схватила нотариуса за руку и поставила у башни под часами.

— Стойте тут, это ваше место.

Потом обернулась к молодым людям.

— Это нотариус, мосье Деларю. Вы понимаете? Я переведу. Я говорю по-английски, по-итальянски и ...по-явайски.

Все отказались от переводчика: они понимали по-французски.

— Вот и чудесно. Легче будет столковаться. Итак, перед нами господин Деларю, нотариус. Он должен председательствовать на нашем собрании. По французским законам, нотариус является представителем завещателя. Понимаете, умершего завещателя. Значит, нас связывает кто-то, кто умер давным-давно. Теперь вы понимаете, в чем дело? Мы все — потомки одной фамилии, мы все родственники, и мы имеем право радоваться встрече, как родственники после долгой разлуки.

Она схватила американца и итальянца, заставила их пожать друг другу руки и расцеловаться, расцеловала сама каждого в обе щеки, потом проделала то же с долговязым англичанином и с русским.

— Ну, вот! Прекрасно! Теперь мы — друзья.

Молодые люди скоро разговорились, и от неловкой натянутости первых минут не осталось следа. Они, действительно, почувствовали себя родственниками. Взаимная симпатия и доверие объединили их. Каждый хотел нравиться и чувствовал, что и на него глядят доверчиво и мило.

Доротея первая вспомнила о деле. Она поставила молодых людей в ряд, точно на смотру.

— Мосье, не нарушайте порядка. Извините, мосье нотариус, но, раз я первая заговорила, я хочу проверить полномочия. Итак, по порядку. Номер первый. Американец? Ваше имя?

— Арчибальд Вебстер из Филадельфии.

— Арчибальд Вебстер, откуда у вас медаль?

— От матери. Отец мой умер давно.
— А ваша мать откуда ее получила?
— От своего отца.
— И так далее?
— О, конечно. Семья моей матери — древнего французского рода, но мы не знаем, когда ее предки впервые эмигрировали в Америку. Мать говорила мне, что в семье было правило передавать медаль старшему из детей, с тем чтобы никто, кроме получившего, не знал о ее существовании.
— А что означает медаль, как полагает ваша мать?
— Не знаю. Мать объяснила мне, что медаль дает право на участие в разделе какого-то наследства, но рассказывала об этом шутливо и послала меня во Францию на всякий случай, больше из любопытства.
— Арчибальд Вебстер, предъявите вашу медаль.
Американец вынул из жилетного кармана такую же медаль, как у Доротеи. Надписи, величина, вес, чеканка — все было одинаковым, даже золото казалось таким же матово-тусклым. Показав медаль нотариусу, Доротея возвратила ее американцу и продолжала:
— Номер второй. Вероятно, англичанин?
— О, да. Джордж Эррингтон из Лондона.
— Что вы нам скажете, сэр?
— О, немного. Я рано осиротел. Медаль я получил от опекуна три дня тому назад. Со слов отца, мне объяснили, что дело идет о наследстве, но, по его словам, дело не очень серьезное. Но я...
— Предъявите вашу медаль. Хорошо. Дальше! Номер третий. Кажется, русский.
Молодой человек в солдатской бескозырке понимал, но не говорил по-французски. Он показал паспорт на имя русского эмигранта, Николая Куроблева, и медаль.
— Превосходно. Дальше. Номер четвертый. Вы итальянец?
— Марко Дарио из Генуи,— ответил итальянец, предъявляя медаль.— Мой отец убит в Шампани. Он никогда не говорил мне про медаль, но я нашел ее в его бумагах.
— Почему же вы приехали?
— Случайно. Я ездил в Шампань, на могилу отца, и, подъезжая к станции Ванн, узнал от пассажиров, что оттуда до Рош-Перьяк — рукой подать. Я вспомнил, что сегодня день, указанный на медали, и сошел на ближайшем полустанке. Как видите, я не ошибся.
— Вы подчинились зову предка. А для чего он нас созвал — это нам скажет нотариус. Мосье Деларю, все в порядке. У всех у нас есть медали, и мы ждем.
— Чего же, собственно?.. Я не понимаю!

— Как!.. Тогда зачем вы явились в Рош-Перьяк, да еще с таким объемистым портфелем?.. Откройте-ка его да покажите, какие у вас документы. Не стоит медлить. Наши права налицо. Мы выполнили наши обязанности, исполните и вы свои.

Деларю смутился.

— Да... Конечно... Ничего другого не остается. Я сообщу вам все, что знаю. Извините, случай единственный в своем роде. И... Я немного растерялся.

Понемногу смущение нотариуса прошло. Он принял внушительный вид, как подобает всякому нотариусу при исполнении служебных обязанностей, и важно уселся на ступеньках лестницы. Наследники окружили его. Он раскрыл портфель и с медлительностью человека, привыкшего быть в центре всеобщего внимания, начал речь.

Речь свою он на всякий случай обдумал в пути, хотя сомневался, что кто-нибудь явится на свидание, назначенное ровно двести лет тому назад.

— Мое предисловие будет весьма несложным,— начал он торжественно,— и я сразу перейду к сути дела. Четырнадцать лет тому назад я принял от своего предшественника нотариальную контору в Нанте. Сдавая дела, он ввел меня в курс наиболее важных дел и вопросов и перед самым уходом сказал: «Погодите, я чуть не забыл о самом старом деле нашей конторы. Оно не из важных, но все-таки...» Состоит оно из письма, запечатанного в конверт с такой надписью...

Деларю надел очки поудобнее и прочел:

«Настоящий конверт со вложенным в него письмом сдается на хранение нотариусу села Перьяк, господину Ипполиту Жану Барбье и его преемникам с распоряжением вскрыть его 12 июля 1921 года, ровно в полдень, под башенными часами замка Рош-Перьяк. Запечатанное в оном конверте письмо должно быть прочитано обладателям золотых медалей, отчеканенным по моему приказанию и по указанной мной форме».

— Никаких объяснений мой предшественник мне не дал. Сказал только, что, по наведенным им справкам, нотариус Ипполит Жан Барбье действительно управлял Перьякской нотариальной конторой в начале восемнадцатого века. Когда закрылась его контора и каким образом попало дело в Нант — неизвестно. Так или иначе, письмо, сданное двести лет тому назад на хранение нотариусу Барбье и его преемникам, сохранилось в неприкосновенности, и до сих пор никто не пытался узнать, что в нем содержится. В настоящее время срок наступил, и в порядке служебных обязанностей я должен вскрыть его и огласить вам его содержание,— Деларю остановился, довольный произведенным впечатлением, затем продолжал:

— Я часто думал об этом деле, стараясь разгадать, что могло таиться под тонкой оболочкой этого конверта. Как-то я

нарочно съездил в Перьяк, расспрашивал жителей, рылся в архиве, но ничего не нашел. Недавно, видя, что срок наступает, я решил посоветоваться с председателем гражданского суда в Нанте. Я думал, что, если рассматривать письмо как духовное завещание, необходимо вскрыть его в присутствии судебных властей. Но председатель со мной не согласился. Он полагает, что это — простая мистификация или шутка старого вельможи. «Когда вы вернетесь обратно,— сказал он мне на прощанье,— мы вместе посмеемся над этим делом, и вам будет жаль потерянного времени». Несмотря на это, я все-таки решил явиться на место. До Ванн я ехал на поезде, в Ванне сел в дилижанс, а из Перьяка, как видите, добирался сюда на осле. Теперь вам ясно, почему я так был поражен, увидев вас под часами.

При этом Деларю улыбнулся и развел руками. Улыбнулись и все остальные. Но Марко Дарио согнал с лица улыбку и сказал:

— А все-таки дело серьезное.

— И разговоры о кладе,— подхватил Эррингтон,— могут оказаться совсем не такими нелепыми, как нам до сих пор казалось.

Доротея дрожала от нетерпения.

— Зачем гадать. Письмо объяснит нам все. Читайте скорей, мосье нотариус,— просила она взволнованно.

Наступила торжественная минута. Теснее сомкнулся кружок, лица стали серьезными, улыбки погасли.

Деларю раскрыл портфель, достал большой конверт из плотной, пожелтевшей от времени бумаги. На нем темнело пять печатей, когда-то красных, а теперь буро-фиолетовых. В левом углу был штемпель нотариуса Барбье, его подпись и номер, под которым документ был принят на хранение.

— Печати целы,— произнес нотариус.— На них даже можно прочесть латинский девиз покойного...

— In robore fortuna,— подсказала Доротея.

— Откуда вы знаете?

— Потому что эти слова выгравированы на всех медалях и даже на этой стене, под часами,— ответила она, указывая на мраморную доску.

— Совершенно верно. Таким образом, устанавливается бесспорная связь между этим пакетом, вашими медалями и тем местом, где мы сейчас находимся.

— Скорее, скорее, мосье Деларю,— торопила Доротея.— Распечатывайте конверт, читайте.

Нотариус сломал печати и вынул большой лист пергамента, исписанный со всех сторон. Пергамент был сложен вчетверо и на сгибах сильно потерт, почти разорван на четыре части.

— Бога ради, читайте скорее,— торопила Доротея.

Нотариус надел вторую пару очков, положил портфель на колени, развернул на нем лист и начал, отчетливо выговаривая каждое слово:

«Написано сегодня, двенадцатого июля 1721 года...»

— Двести лет,— вздохнул нотариус, выводя Доротею из терпенья, и снова принялся за прерванное чтение:

«Написано сегодня, двенадцатого июля 1721 года, в последний день моей жизни, а должно быть прочитано двенадцатого июля 1921 года, в первый день моего воскресения...»

Нотариус смущенно запнулся. Все переглянулись, и Вебстер убежденно сказал:

— Это писал сумасшедший.

— Может быть, слово воскресение надо понимать иносказательно,— возразил Деларю.— Посмотрим, что дальше. Итак, я продолжаю.

«Дети мои!»

Он снова объяснил:

— Это относится к вам, как потомкам писавшего.

— О, мосье Деларю! — возмутилась Доротея.— Бога ради, не останавливайтесь на каждом слове. Нам не нужно никаких комментариев.

— Однако я считаю своим долгом...

— Не надо! Прошу вас, не надо! Потом! Самое важное — узнать, что написано в письме, не правда ли?

Молодые люди кивнули головой.

Нотариус послушался и больше не прерывал чтение, останавливаясь только там, где буквы были стерты:

«Дети мои.

На днях я выходил из Академии наук, куда меня любезно пригласил Фонтенель, знаменитый автор «Опыта о множественности миров». В дверях Фонтенель взял меня под руку и сказал:

— Не соблаговолите ли вы объяснить мне, маркиз, почему вы кажетесь таким нелюдимым и замкнутым человеком и почему у вас нет одного пальца на левой руке? Я слышал, что у вас есть лаборатория в замке Рош-Перьяк, где вы занимаетесь разными опытами, ищете эликсир долгой жизни. Говорят, что вам оторвало палец при взрыве реторты во время подобных опытов.

— Зачем искать то, чем я владею,— отвечал я спокойно.

— Правда?

— И если вы позволите, я преподнесу вам флакон. Отведайте моего эликсира — и неумолимым паркам придется вооружиться терпением не менее чем на целое столетие.

— Благодарю,— ответил Фонтенель,— но при условии, что вы составите мне компанию. Кстати, мы ровесники, и каждому из нас остается ровно сорок лет до столетнего возраста.

— Что касается меня, то подобная перспектива меня не прельщает,— возразил я спокойно.— Что за удовольствие продлить немного жизнь, где каждый день похож, как две капли воды, на предыдущий. Я мечтаю о другом: мне хотелось бы умереть и снова ожить через одно-два столетия, увидеть внуков моих, правнуков, посмотреть на жизнь будущую, ознакомиться со всеми новшествами как в государственном строе, так и в повседневной жизни.

— Браво! — воскликнул Фонтенель.— Итак, вы заняты изобретением подобного эликсира?

— Я его уже отыскал. Я вывез его из Индии, где провел в молодые годы более десяти лет. У меня были друзья среди браминов и жрецов, и они открыли мне кое-что из своих сокровенных тайн.

— А почему не все? — иронически спросил Фонтенель.

Я пропустил его насмешку мимо ушей и продолжал спокойно:

— Они отказались сообщить мне способ сношения с иным миром, который так интересует вас, и не захотели выдать секрета временного умерщвления и оживления. Однако последнюю тайну я все-таки разгадал. Йоги и брамины меня уличили и осудили на страшное наказание: они должны были вырвать у меня все десять пальцев на руках. Когда мне вырвали первый палец, мне пообещали прощение, если я возвращу похищенный флакон. Я сказал, где он спрятан, но эликсира в этом флаконе уж не было. Я перелил его в другой флакон и спрятал, заменив его обыкновенной жидкостью. Таким образом, ценой потери пальца я приобрел секрет полубессмертия.

— И думаете воспользоваться этим секретом?

— Да, только приведу свои дела в порядок, то есть в наступающем году.

— Чтобы ожить?

— В июле 1921 года.

Эта беседа очень забавляла Фонтенеля, и, прощаясь со мной, он сказал, что не забудет ее как доказательство моей необузданной фантазии... и моего сумасшествия, вероятно, думал он про себя».

Нотариус остановился перевести дыхание и посмотрел на своих слушателей. Они улыбались и, по-видимому, относились ко всей этой истории, как к очень забавной и остроумной шутке. Во всяком случае, рассказ их увлек. Одна Доротея оставалась серьезной.

Все молчали, и Деларю продолжал чтение:

«Напрасно Фонтенель смеялся надо мной. Я говорил сущую правду. Великие мудрецы Индии знают то, чего мы, европейцы, не узнаем вовеки. Но я овладел одной из их великих тайн. Пришло время воспользоваться ею. На этот раз мое решение

твердое. В прошлом году погибла моя жена, маркиза де ла Рош-Перьяк. До сих пор проливаю я горькие слезы, вспоминая усопшую. У меня четверо сыновей. Все они унаследовали от меня страсть к путешествиям и приключениям. Все они сейчас за границей: один в армии, остальные – по делам. Я одинок. К чему влачить бесполезную старость, лишенную и радостей, и ласки, и семьи, лучше уйти из этого мира, чтобы снова в него возвратиться. Мои старые слуги, Жоффруа и его жена, исполнят мою волю, как верные спутники моей жизни, поверенные многих тайн. И прощусь со своим веком.

Я обращаюсь к вам, мои потомки, которым суждено прочесть это послание. Слушайте внимательно все, что должно произойти сегодня в Рош-Перьяке. Ровно в два часа пополудни я упаду в обморок. Жоффруа бросится за доктором, а доктор установит, что сердце мое перестало биться. Я буду мертв. Меня уложат в гроб и перенесут в усыпальницу, а ночью Жоффруа вместе со своей женою вынут меня из гроба и перенесут в развалины башни Коксэн, самой древней из башен Перьяка, а гроб набьют камнями и крепко забьют.

С другой стороны, Барбье, как мой нотариус и душеприказчик, найдет в моем столе инструкцию о том, как известить моих сыновей и как распределить между ними наследство. Каждому из них он отошлет со специальным курьером золотую медаль, на которой я приказал выгравировать мой девиз и дату моего воскресения. Медали должны переходить в их семьях от отца к старшему сыну, и никто не должен знать об их существовании, кроме передавшего и получившего. Сам же Барбье возьмет на хранение конверт с этим письмом с тем, чтобы оно передавалось от нотариуса к нотариусу в порядке преемственности до наступления назначенного мною срока.

Дорогие правнуки моих правнуков, вы прочтете это письмо в полдень 12 июля 1921 года, у подножия башенных часов, в нескольких сотнях метров от башни Коксэн, где я просплю два долгих столетия. Я избрал эту башню местом своего отдыха потому, что считаю революцию неизбежной. Но если революции разрушают непочатое, то они не трогают развалин.

По дубовой аллее, насаженной моим отцом, вы подойдете к подножию башни. В ваше время она будет такой же, как и ныне. Остановитесь под аркой, где был когда-то подъемный мост. Отсчитайте слева от выемки опускной решетки третий камень вверх и отыщите такой же, симметричный ему камень, направо от ниши. Потом толкните оба камня прямо от себя. От этих одновременных толчков середина стены в нише отойдет назад и как бы упадет навзничь, образуя мостик к узкой лестнице в толще стены. Зажгите факелы и поднимитесь по лестнице. Там сто тридцать две ступени. Лестница упирается в дверь, которую я приказал заштукатурить. На верхней сту-

пеньке стоит железный лом, чтобы отбить штукатурку, наложенную тонким слоем. Под штукатуркой будет дверь. Чтобы она раскрылась, надо одновременно наступить на три средних камня верхней ступеньки, дверь откроется, и вы войдете в комнату, где стоит моя кровать. Не пугайтесь, откиньте смело занавески. Я буду спать на этой кровати.

Не удивляйтесь, если я покажусь вам моложе своего портрета кисти придворного художника Лагриера. Портрет будет висеть в изголовье. Двести лет отдыха, быть может, сгладят мои морщины и возвратят моим чертам их юношескую свежесть.

На скамейке, рядом с кроватью, будет лежать завернутый в материю флакон. Пробка его плотно залита воском. Отбейте горлышко флакона, разожмите мне зубы ножом и влейте эликсир, но не по капле, а тонкой струйкой, чтобы он попал в глубь горла. Через несколько минут жизнь начнет ко мне возвращаться. Сердце снова забьется, подымется дыханием грудь, приоткроются веки.

Старайтесь не шуметь, не говорить громко и не освещайте меня ярким светом. Может быть, мои глаза и уши до того ослабеют, что я буду плохо видеть и слышать. Вообще говоря, я не знаю, что будет. Поэтому будьте со мной осторожны и не лишайте меня вашей помощи. Может быть, я даже буду долго без сознания, потому что трудно оцепеневшему разуму быстро освоиться с действительностью.

Не спешите, не волнуйтесь и не заставляйте меня напрягать ослабевшие силы. Силы мои постепенно восстановятся, и в покое, при хорошем уходе и питании я снова окрепну и познаю радость бытия.

Не думайте, что я вам буду в тягость. Сейчас я вам открою тайну, о которой не подозревают даже мои сыновья. Я вывез из Индии четыре красных бриллианта Голконды. Это камни необычайной ценности и красоты. Я спрятал их в таком месте, где никто, кроме меня, их не отыщет.

Так как память может мне изменить, я на всякий случай записал приметы тайника на бумаге, запечатанной в отдельный конверт с надписью «Приписка». Эта приписка будет в том же конверте, что и это письмо. Ни одна душа не подозревает о ее существовании. Если Жоффруа или его жена проболтаются о тайне моей смерти, ни он, ни его дети не смогут отыскать сокровища, которые Жоффруа часто видел.

Когда я возвращусь к бытию, этот конверт должен будет передан мне. В случае же, если судьба мне изменит и вы не сможете возвратить меня к жизни, вы сами вскроете конверт, отыщете драгоценности и вступите во владение ими. Право собственности на них я признаю лишь за теми четырьмя потомками, которые предъявят золотую медаль с моим девизом

In rovore fortuna. Никто не имеет права вмешиваться в их раздел, который они должны произвести по совести и без чьей-либо помощи или совета.

Такова моя воля. Теперь погружаюсь в молчание вечности и буду ждать вашего прихода. По властному зову золотой медали сойдетесь вы со всех концов земли на развалины фамильного замка Рош-Перьяк. В ваших жилах течет одна и та же кровь. Отнеситесь же друг к другу как братья, и в сознании вашего долга приблизьтесь к месту отдыха вашего предка и вызовите его к жизни из царства вечной нирваны.

Написано моею собственной рукой в здравом уме и твердой памяти 12 июля 1721 года.

Жан-Пьер-Огюстен де ла Рош, маркиз де...

Нотариус низко наклонился к пергаменту, с трудом разбирая подпись.

— Подпись неразборчива,— сказал он,— фамилия начинается либо с Б, либо с Р. Росчерк прошел по буквам. Ничего не разберешь.

Но Доротея и на этот раз выручила старика:

— Жан-Пьер-Огюстен де ла Рош, маркиз де Богреваль.

Нотариус был поражен.

— Да, да, вы правы. Как вы могли отгадать?

— Это одна из моих фамилий.

— Одна из ваших фамилий! Кто же вы такая, мадемуазель?

XII

Эликсир бессмертия

Доротея молчала, глубоко задумавшись. Молчали и молодые люди, но, видя, что никто не отвечает, Эррингтон заговорил первым.

— Ловкая шутка.

— Шутка — не шутка,— встрепенулась Доротея.— Почему вы думаете, что это шутка?

— Слишком уж похоже на шутку. Воскресение из мертвых, эликсир бессмертия, таинственные драгоценности. Все это — сказка для детей.

— Да, для нашего века довольно неправдоподобно. И все-таки письмо дошло, и у нас есть золотые медали, о которых в нем говорится. И мы сошлись на свидание по приглашению, посланному двести лет тому назад. Наконец, оказывается, что все мы происходим от одного родоначальника. Пока все выходит по-писаному.

— Значит, мы должны проделать все, что он требует?

— Обязательно. Это — наш долг.

— Благодарю вас,— вмешался нотариус,— я вам не попутчик. У меня нет ни малейшего желания идти с визитом к покойнику или смотреть на человека двухсотшестидесяти лет.

Доротея улыбнулась:

— Напрасно. Он совсем не так стар, как вы думаете. Двести лет отдыха не идут в счет. Ему шестьдесят лет, как и вам, господин Деларю. И знаете, что я вспомнила: Фонтенель умер почти столетним стариком... Не потому ли, что маркиз де Богреваль поделился с ним эликсиром?

Марко Дарио не выносил недомолвок и поставил вопрос ребром:

— Итак, верить нам или нет?

Доротея замялась.

— Гм! Дело не так просто, как кажется. Всему я не верю, но кое-что здесь все-таки есть. Скоро все выяснится. А сейчас мне очень хочется... Но это совсем из другой оперы...

— Что такое?

— Я... ужасно проголодалась. Так проголодалась, как сам маркиз де Богреваль, двести лет не евший ни кусочка.

У всех, кроме русского, оказались сумочки с провизией. Шумно и весело расставили яства на плоской каменной плите, сели и принялись за их уничтожение.

— Семейный завтрак на лоне природы,— пошутила Доротея.

Оказалось и вино. Пили за здоровье того, кто придумал собрать их всех на развалинах замка. Потом затеяли игры. Все наперебой ухаживали за Доротеей. Вебстер и Эррингтон объявили схватку чемпионов Англии и Америки, с тем что победитель имеет право поцеловать руку «Королевы турнира», то есть Доротеи. Дарио пел. Доротея вскочила на его лошадь и проделала несколько умопомрачительных акробатических трюков.

К трем часам, устав от игр и смеха, снова уселись в кружок. На этот раз Доротея была центром внимания. Снова выпили и, наконец, решили отправиться с визитом к дедушке Богревалю.

Двинулись в стройном порядке. Впереди — охмелевший нотариус со сдвинутым на затылок цилиндром. Красный, потный, он развязал галстук и, размахивая руками, пел куплеты о «Воскрешении Лазаря». Дарио аккомпанировал ему на губах, ловко подражая мандолине. За ними важно выступала Доротея. Вебстер и Эррингтон сплели зонт из папоротников и плюща и несли его над головой Доротеи, точно балдахин над головой королевы.

Миновали арку, обогнули угол стены и перед ними раскинулась круглая площадка, осененная гигантским ветвистым дубом, похожим на дуб правосудия старобрабантской легенды. От дуба убегала вдаль тенистая дубовая аллея.

Нотариус, подражая тону профессиональных гидов, объяснял:

— Прошу уважаемых путешественников обратить благосклонное внимание: аллея, посаженная отцом маркиза де Богреваль. Несмотря на свой возраст, они свежи и могучи. Особенно прекрасен этот дуб, своего рода патриарх полуострова. Немало поколений находило приют под его гостеприимным кровом. Мужчин прошу обнажить головы перед этим чудом природы.

В конце аллеи шествие остановилось. Когда-то здесь была ограда, от которой сохранились только кучи щебня и груды камней. А дальше, на пригорке, возвышалась круглая башня.

— Башня Коксэн,— объяснял окончательно охмелевший нотариус.— Самая древняя башня во всем департаменте. Построена в раннем средневековье. В этой башне спит зачарованный принц, вечно юный маркиз де Богреваль. Мы брызнем на него живой водой и разбудим от могильного сна.

Левая сторона башни обрушилась, превратилась в бесформенную груду развалин, зато правая была почти нетронута временем. В ее стенах, действительно, могла таиться и усыпальница маркиза, и лестница, ведущая в нее.

Подножие башни так заросло кустарниками и травой, что компания с трудом пробралась к арке подъемного моста и отыскала нишу опускной решетки.

— Это доказывает, что нас никто не опередил,— заметила Доротея.— Давно здесь не ступала человеческая нога.

Прежде чем выполнить приказ маркиза, компания осмотрела башню. Прошли сквозь арку во двор, некогда застроенный жилыми постройками. От крыши не было следов, но сохранились переборки комнат с просветами окон-бойниц и закоптелые дымоходы. Обрушившаяся часть башни полого спускалась вниз.

Доротея подошла к обрыву.

— Посмотрите,— показала она,— этим путем легко пробраться в башню. Вот тропинка, ведущая к перешейку. Сюда приезжают на пикники. Вот валяется газета и новенькая коробка от сардин.

— Странно,— заметил кто-то,— публика бывает, а дорога запущена.

— А зачем ее расчищать, раз есть удобная короткая тропинка?

Никто не торопился исполнить приказ маркиза, и компания вернулась к нише подъемного моста, но не для того, чтобы будить спящего, а чтобы со спокойной совестью сказать:

— Приключение окончено. Пора и по домам.

Доротея тоже настроилась скептически и, казалось, относилась к этой затее, как к остроумной мистификации.

— Кузены! — провозгласила она.— Объявляю себя вашим предводителем. Прошу беспрекословно исполнять мои распоряжения. Не для того приехали вы из России или Америки, чтобы сидеть сложа руки. Живо за работу! Выпалывайте траву из расселин. Докажем наше послушание достопочтенному маркизу де Богреваль. На развалинах башни Коксэн мы завоюем право спокойно вернуться восвояси и больше не вспоминать о заветной медали. Теперь, синьор Дарио и мистер Эррингтон, отсчитайте третьи камни от земли по обеим сторонам ниши. Так. Готово. Почтительно преклонитесь перед памятью маркиза и толкните камни.

Камни были так высоко, что даже высокий Эррингтон едва доставал до них руками. Вебстер и Куроблев подсадили Дарио и Эррингтона.

— Приготовились? — спросила Доротея.

— Да,— ответили они в один голос.

— Теперь толкайте, нажимайте медленно и сильно. Побольше доверия к словам предка. Пусть мосье Деларю сомневается, сколько ему угодно. Он здесь — лицо постороннее; ему разрешено неверие.

Молодые люди с силой уперлись в камни.

— Так... Еще усилие. Крепче! Слова маркиза вернее заповедей. А он говорит, что середина ниши отодвинется внутрь. Еще разок. Да исполнится воля маркиза Богреваль, да сойдут камни с места!

— Мой камень покачнулся,— сказал, наконец, англичанин.

— И мой,— ответил генуэзец.

Действительно, камни медленно сдвинулись с места, и через мгновение верх стены откачнулся внутрь, образуя покатую площадку, в глубине которой показались ступени.

Хладнокровие изменило долговязому британцу. И он удивленно воскликнул:

— Оо!.. Благородный джентльмен сказал правду. Вот и лестница.

Все невольно оцепенели. Не падающая стена их изумила: в старинных постройках часто встречаются потайные ходы, подземелья и тому подобное,— поразило их то, что стена упала после выполнения всех указаний маркиза.

— Если здесь окажется сто тридцать две ступени,— я окончательно уверую,— заявил Эррингтон.

Один нотариус не мог преодолеть своего скептицизма и, пожав плечами, спросил:

— Неужели вы думаете, что маркиз...

— Ожидает нас, как всякий живой человек, пригласивший гостей? — подхватила Доротея.

Никто не поддержал их реплик, и вся компания двинулась дальше. Вместо факелов зажгли два электрических фонарика

и осветили узкую винтообразную лестницу, круто уходящую ввысь. Дарио пошел вперед.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать,— считал он громко.

Для храбрости, нотариус запел куплеты, но на тридцать пятой ступеньке умолк.

— Тяжело подниматься? — спросила его Доротея.

— Крутенько. А главное, подкашиваются ноги при мысли, что идешь в гости к покойнику.

На пятидесятой ступени стало светло. В стене оказалась дыра. Доротея высунулась, но подножия башни не могла рассмотреть из-за широкого карниза под дырою.

— Сто... Сто десять... Сто двадцать... Сто тридцать, сто тридцать одна,— считал Дарио,— сто тридцать две. Дальше идти некуда. Лестница упирается в стенку.

— Посмотрите, есть ли на верхней ступеньке три плитки?

— Есть.

— И железный лом?

— И лом...

Доротея внимательно осмотрелась. Все совпадало с указаниями маркиза.

— Ломайте штукатурку,— скомандовала она.

Штукатурка лежала тонким слоем и скоро осыпалась, обнажив невысокую дверь.

— Черт побери,— лепетал испуганный нотариус.— Все как по-писаному.

— О, мосье нотариус,— подтрунивала Доротея,— дайте открыть дверь, тогда ваш скептицизм исчезнет без следа.

— Уже исчез. Я уже уверовал: старый плут был прекрасным механиком и режиссером. В наше время его бы охотно пригласили в театр для инсценировки страшных сюжетов.

— Напрасно вы думаете, что он умер.

— Ну, это уж, извините, абсурд. Я могу допустить, что он лежит за этой дверью, но чтобы он был жив,— это уж ерунда.

Доротея наступила на средний камень, Дарио и Эррингтон — на остальные. Дверь глухо скрипнула и стала медленно раскрываться.

— Santa Maria! — прошептал Дарио.— Тут либо Божье чудо, либо дьявольское наваждение.

За дверью оказалась довольно большая комната без окон, со сводчатым потолком и совершенно гладкими стенами. Мебели в ней не было, но в левом углу виднелась занавеска, прибитая прямо к балке потолка. За нею должен был лежать покойник.

Они долго стояли молча, не шевелясь. Деларю был бледен, как стена, и едва стоял на ногах. Теперь никто не улыбался.

Не отрываясь, смотрела Доротея на занавеску. Значит, дело не кончилось чтением письма, и действие перенесено в полуразрушенную башню, в комнату, где двести лет не звучал человеческий голос... За занавеской — кровать, а на кровати либо груда полуистлевших костей, либо живой человек.

Доротея вопросительно оглянулась на своих спутников. Никто из них не шевельнулся. Она шагнула вперед и снова остановилась, робко протянула руку, медленно приподняла занавеску. Молодые люди вздрогнули, очнулись и двинулись вперед, освещая фонариками угол.

За занавеской стояла кровать, а на кровати смутно вырисовывалась человеческая фигура. Это было так неожиданно, что Доротея едва устояла на ногах. Пальцы ее невольно разжались, и занавеска выскользнула из рук. Вебстер подхватил занавески и так порывисто бросился к лежащему, точно собирался его встряхнуть, но вовремя спохватился и опустил руки, не коснувшись кровати.

Лежавшему на кровати можно было дать лет шестьдесят, если бы не страшная сухая бледность кожи, не вяжущаяся ни с каким возрастом. Нос его заострился, глаза ввалились, на голом черепе не было ни волос, ни бровей, ни ресниц. Он был так худ, что на лбу и скулах кожа едва прикрывала череп; на левой руке не хватало одного пальца, на месте которого осталась борозда, доходящая до середины ладони. Все совпадало с письмом. Черный суконный кафтан, почти съеденный молью, зеленые шелковые брюки и жилет облегали его высохшее миниатюрное тело.

— Умер...— сказал кто-то вполголоса.

Чтоб не осталось никаких сомнений, надо было наклониться и выслушать сердце. Но к лежавшему страшно было прикоснуться, что если он рассыплется в прах. Да и к чему такие опыты: разве можно сомневаться в смерти мертвеца?

Деларю взял Доротею под руку, вполголоса умоляя ее.

— Оставьте. Уйдем. Это нас не касается.

Выручил Эррингтон. Он вынул карманное зеркальце и приложил его к губам лежащего. Прошла долгая, томительная минута. И вдруг зеркальце чуть-чуть помутнело.

— Жив...

Ноги нотариуса подкосились, и он сел на край постели, испуганно бормоча.

— Грех. Сатанинское дело. Уйдем.

Все переглянулись. Этот покойник жив? Но ведь он покойник. Однако мертвецы не дышат, а он вздохнул... Так что же это, в самом деле? Мысли путались, страх леденил душу.

— Смотрите! — воскликнула вдруг Доротея.— Его грудь поднимается.

— Не может быть,— возразил кто-то.— Как объяснить подобное явление?

— Не знаю... Может быть, летаргия, гипноз...

— Гипноз на двести лет! Какой абсурд!

— Не знаю. Ничего не понимаю.

— Значит?

— Значит, надо действовать.

— Как?

— Как сказано в завещании. Оставим споры. Надо выполнить приказ.

Спутники ее переглянулись.

— Что же нам делать?

— Разбудить его при помощи эликсира, как говорится в завещании.

— Вот он,— сказал Марко Дарио, разворачивая какой-то сверток.

Он вынул высокий старинный флакон с широким основанием и длинным горлышком.

— Дайте нож,— приказала Доротея.— Спасибо, Вебстер. Всуньте его между зубами, разомкните челюсти.

У постели началась суета, как у постели больного, с тою разницей, что никто не отдавал себе отчета в собственных действиях. Приказ получен — надо его выполнить. Выйдет — хорошо, не выйдет — вина не наша.

Хрустальная пробка не открывалась. Доротея отбила горлышко о край скамейки. Челюсти были так сжаты, что между зубами нельзя было просунуть кончик ножа. Наконец челюсти слегка разомкнулись.

— Довольно,— сказала Доротея.

Она наклонилась к старику с флаконом эликсира в руке, приложила край флакона к губам и медленно опрокинула его. Сначала капнуло несколько капель зеленой жидкости, напоминавшей запахом шартрез, потом полилась ароматная, тонкая струйка.

— Все,— сказала Доротея, вылив жидкость до последней капельки.

Она попробовала улыбнуться, но притихла, видя, что все серьезно и внимательно смотрят на спящего, и серьезно сказала:

— Подождем. Жидкость действует не сразу.

А сама думала:

— Разве можно поверить, что жидкость подействует? Разве можно разбудить мертвеца? Мы бредим наяву, нам просто показалось, будто зеркало помутнело. Сердце его умолкло, он мертв, а мертвые не воскресают.

— Три минуты,— громко отсчитывал Дарио.

Прошло еще пять минут, еще десять.

Шесть человек стояли у кровати, ожидая чуда и понимая, что это бессмысленно. Оправдывала их ожидание лишь та математическая точность, с которой исполнялись все указания маркиза.

— Пятнадцать минут,— произнес Дарио.

Прошла еще секунда — и вдруг все отшатнулись от кровати: веки мертвеца дрогнули. Шесть пар глаз впились в лежащего. Веки его снова дрогнули и на этот раз совершенно явственно. И в то же мгновение слабо шевельнулись пальцы рук.

— О-ох,— простонал нотариус, хватаясь за сердце.— Жив он... Видите, жив.

XIII

Воскрешение Лазаря

Доротея смотрела на просыпающегося, стараясь не пропустить ни одного движения. Да и никто не шелохнулся, не отвел от него глаз. Странное зрелище их захватило, а суеверный итальянец набожно перекрестился.

— Жив,— бормотал нотариус.— Видите, открывает глаза, смотрит на нас.

Действительно, старик открыл глаза. Это был странный, мертвый взгляд, не озаренный проблеском сознания. Он избегал света и, казалось, вот-вот сомкнется навеки. Глаза были мертвы, но жизнь пробуждалась во всем теле. Казалось, ожившее сердце гонит по всему телу живоносную кровь, и от этих толчков шевелятся руки и ноги.

Движения эти усиливались с каждой минутой. Вдруг ноги его соскользнули на пол, напряглись мускулы, и проснувшийся сел.

Один из молодых людей поднял фонарик, осветил его лицо. Луч света упал на стену, и все заметили портрет, о котором писал маркиз. Сходство было бесспорное: тот же огромный лоб с глубокосидящими глазами, те же скулы и костлявый острый подбородок. Но маркиз ошибся в одном: портрет казался моложе проснувшегося.

Старик сделал движение, стараясь встать, но ноги его были слишком слабы. Он тяжело дышал, как будто ему не хватало воздуха. Доротея заметила доски, прибитые к стене, догадалась, что это окно, и знаком велела Дарио и Эррингтону их оторвать. Доски держались на старых ржавых гвоздях и легко поддались нажиму. Распахнулось окно, свежий ветер ворвался в комнату. Проснувшийся повернулся к окну и дышал жадно, полной грудью.

Пробуждение шло своим чередом, с долгими паузами и как бы толчками.

Шесть человек наблюдали за ним, затаив дыхание.

Вдруг Доротея топнула ногой, как бы стряхивая с себя оцепенение, нарочно отвернулась от старика и задумалась. Глаза ее потемнели от напряжения и из голубых стали синими. Они не смотрели на окружающих и как бы углубились в суть вещей, недоступную обыкновенному зрению.

Так стояла она минут пять и вдруг, решившись на что-то, сказала:

— Попробуем.

И подошла к кровати.

Доротея должна была считаться с одним бесспорным и несомненным фактом, что этот человек жив, и, следовательно, с ним надо обращаться, как с живым существом, могущим видеть, слышать, понимать. Как ни слабо его сознание, он не может не ощущать вокруг себя присутствия живых существ. Наконец, у каждого есть имя. Есть оно и у этого неведомого человека. Его присутствие в башне — не чудо, потому что чудес вообще не бывает. Значит, либо это маркиз де Богреваль, действительно проснувшийся после двухсотлетнего сна, либо подставное лицо, подосланное кем-то, чтобы одурачить наследников. Европейская наука не знает тайны временной смерти и воскрешения, но знания индийских факиров в этой области выше нашей науки. Все это вихрем промелькало в голове Доротеи.

— Попробуем,— повторила она, села рядом с проснувшимся и взяла его за руку. Рука была холодна и чуть влажна.

— Мы пришли,— сказала она медленно и внятно,— мы пришли по вашему приказанию. Мы те, кого золотая медаль...

Ах, как трудно найти подходящие слова. Они кажутся такими нелепыми, нескладными. Надо заговорить совсем, совсем иначе...

— В наших семьях переходила из поколения в поколение золотая медаль. Два века зрела в них ваша воля.

Нет, и это совсем не годится. Слишком торжественно и высокопарно.

Рука старика понемногу согревалась в руках Доротеи. Он уже слышал слова, но не понимал их значения. Может быть, спросить его о самом простом, естественном. Да, это лучше всего.

— Хотите есть? Вы, верно, проголодались. Скажите, чего вам хочется? Мы постараемся достать.

Никаких результатов. Старик смотрел в одну точку все так же тупо и бессмысленно. Челюсть его отвисла, зрачки были неподвижны. Не отводя от него внимательного взгляда, Доротея подозвала нотариуса:

— Как вы думаете, мосье Деларю, не вручить ли ему второй конверт с припиской? Может быть, его сознание прояснится, увидав бумагу, которую он написал. А кроме того, он приказал отдать ему бумагу, если он оживет...

Деларю не возражал. Взяв конверт, Доротея показала его старику.

— Вот приписка, которую вы написали по поводу ваших сокровищ. Никто не читал ее. Посмотрите.

Она протянула ему конверт. Рука старика слегка вздрогнула и потянулась к конверту. Доротея поднесла конверт еще ближе. Рука раскрылась, чтобы взять его.

— Вы понимаете, в чем дело? Распечатайте конверт. Тут сказано, где хранятся бриллианты. Это очень важно для вас: никто не узнает секрета. Сокровища...

И вдруг речь ее оборвалась. Либо ей пришла в голову неожиданная мысль, либо она заметила что-то очень важное, ускользавшее раньше от ее внимания.

— Он начинает понимать,— заметил Вебстер.— Покажите ему его почерк, он вспомнит, в чем дело. Или отдайте ему конверт.

Эррингтон поддержал Вебстера:

— Да-да, отдайте. Секрет принадлежит ему, он сам распорядится сокровищем.

Но Доротея не торопилась. Она пристально разглядывала старика, потом взяла у Дарио фонарик и стала водить им возле старика, то откидываясь назад, то приближаясь к нему, как близорукая. Затем так же внимательно рассмотрела его искалеченную руку и вдруг разразилась звонким, раскатистым хохотом. Она смеялась, как безумная, прижимая руки к груди и почти падая на землю. Прическа ее рассыпалась, волосы упали на плечи, раскраснелось личико. А молодой серебристый смех был полон такого заразительного веселья, что за нею невольно расхохотались ее спутники.

Зато нотариус страшно сконфузился. Он считал, что такое жизнерадостное и шумное веселье совсем не гармонирует с мрачной значительностью всего происходящего.

— Тише, тише,— замахал он на них руками,— так нельзя! Тут нет ничего смешного. Мы являемся свидетелями настолько исключительного события...

Его строгое лицо и тон рассерженного учителя еще больше рассмешили Доротею.

— О, да, совсем необычайный случай,— повторяла она, давясь от хохота.— Совсем необычайный. Настоящее чудо. Ой, какая ерунда! Я больше не могу, я слишком долго сдерживалась. А мне нельзя долго оставаться серьезной. Вот так фокус, вот так история!

— Не понимаю, что вы находите смешным? — еще строже повторил нотариус.— Маркиз де Богреваль...

Веселью Доротеи не было конца. При слове «маркиз» она фыркнула и подхватила:

— Маркиз! Вот именно маркиз Богреваль... Друг Фонтенеля... Лазар, восставший из гроба. Да неужто вы ничего не замечаете?

— Я видел помутившееся зеркало, восстановление дыхания.

— Так... Так... А еще?

— Что «еще»?

— Во рту. Загляните ему в рот.

— Во рту, как у всех,— зубы.

— Но какие?

— Гнилые, старческие.

— А еще?

— Больше ничего.

— А вставной зуб?

— Вставной зуб?

— Ну да. Или свой, с золотой коронкой.

— Ну и Бог с ним? Что из этого?

Доротея не сразу ответила. Она дала нотариусу подумать, но Деларю ничего не понимал и снова повторил свой вопрос.

— Что из этого?

— И вы не догадываетесь? Ладно, я вам объясню. Скажите, разве при Людовике четырнадцатом или пятнадцатом вставляли зубы? Или делали коронки? Конечно, нет. А раз так, раз этот маркиз не мог вставить зубы до смерти, значит, он пригласил сюда дантиста и заказал ему зуб. А для этого покойник должен был читать газеты и из газет узнать об этом изобретении. Значит, он прочел про вставные зубы и очень обрадовался, потому что его зубы погнили в эпоху Короля-Солнца.

И Доротея пуще прежнего расхохоталась. Дружно расхохотались и молодые люди, только сконфуженный нотариус все еще боялся обидеть проснувшегося, все так же безучастно сидевшего на своей кровати. Деларю отвел молодежь подальше от кровати и у окна завел вполголоса беседу.

— Значит, все это — мистификация?

— Конечно.

— А письмо?

— Маркиз с честью сыграл свою роль двенадцатого июля 1721 года. Проглотив флакон эликсира, он либо сразу переселился в мир иной, либо действительно уснул, но погиб во время первых зимних морозов. От него, во-первых, остался прах, смешавшийся с пылью этой комнаты, во-вторых, очень интересное письмо, в подлинности которого нельзя сомневаться, в-третьих, четыре красных бриллианта, спрятанных в надеж-

ном тайнике, и, наконец, одежда, в которую он облачился перед смертью.

— Вы думаете, что эта одежда?

— Она на этом старике.

— Но как он мог сюда проникнуть? Окно настолько узкое, что в него не пролезешь, а другого выхода нет.

— Он вошел тем же путем, как и мы.

Но нотариус не так легко сдавался.

— Это неправдоподобно. Вы сами заметили, что сюда давным-давно не ступала человеческая нога.

— Вспомните, что на лестнице есть дыра, в которую легко проникнуть.

— А замурованная дверь?

— Штукатурку отбили и наложили вторично. Разве вы не заметили, что это — гипс, который высыхает в несколько часов.

— Значит, он знал про письмо маркиза и про его секреты, то есть камни возле ниши, три плитки на ступеньках.

— Конечно. Несомненно, у маркиза нашли копию письма. Постойте... маркиз даже сам говорит, что Жоффруа и его жена знают тайну его смерти. Помните, он пишет, что про приписку не знает ни одна душа, даже Жоффруа. Значит, Жоффруа знал завещание, кроме приписки, и в его семье передавался из рода в род рассказ о письме или даже его копия.

— Пустая гипотеза.

— Зато правдоподобная. Знаете, мосье нотариус, что, кроме нас, существует много людей, до которых докатились слухи о смерти маркиза де Богреваль, но только эти слухи сильно искажены и приукрашены. Я сама встречала таких людей и даже воевала с негодяем, убившим моего отца, чтобы украсть у него медаль.

Слова Доротеи произвели сильное впечатление. Но чтобы довести мысль до конца, Доротея продолжала:

— Я знаю три таких семьи: нашу, князей Д'Аргонь, графов де Шаньи в Орне и баронов Дювернуа в Вандее. Во всех этих семьях происходят частые убийства, кражи, сумасшествия — и все на почве этих легенд и поисков клада.

— Но почему же вы здесь одна? Почему они не явились?

— Они не подозревают, что срок наступил, потому что у них нет медали. Я видела сегодня в Рош-Перьяке женщину, работницу из Парижа, и старика-нищего. Они верят, что двенадцатого июля должно совершиться какое-то чудо. А по дороге сюда я встретила двух сумасшедших, идущих к развалинам. Прилив залил дорогу и преградил им путь. Но самое интересное, что неделю тому назад арестовали убийцу моего отца, некоего Эстрейхера, нашего дальнего родственника, опасного бандита и негодяя. Теперь вы понимаете, в чем дело?

— Значит, это не маркиз де Богреваль, а некто, играющий перед нами роль маркиза.

— Разумеется.

— Но с какой целью?

— А драгоценности? Разве я вам не говорила про драгоценности?

— К чему разыгрывать комедии, раз ему известно их существование. Он мог бы и так их забрать.

— Потому, что он не знает, где они спрятаны. Чтобы узнать тайник, надо присутствовать на заседании наследников маркиза де Богреваль. Вот потому он играет эту странную роль.

— Опасную, трудную роль. Невозможную.

— Вполне возможную, потому что ее надо играть несколько часов. Что я говорю часов — меньше. Не прошло и десяти минут после пробуждения, как мы чуть-чуть не отдали пакет с припиской. Из-за этого конверта затеяна мистификация. Я даже протянула ему этот конверт, и, если бы он взял его, все было бы кончено. Маркиз исчез бы при первом удобном случае.

— Неужели вы угадали, в чем дело, протягивая ему конверт?

— Угадать не угадала, но не верила. Протягиваю ему и наблюдаю, что он будет делать. Старик как будто ничего не понимает, а к конверту тянется, и пальцы у него дрожат от нетерпения. В эту минуту я заметила золотой зуб и поняла, в чем дело.

Слова Доротеи были логичны, и логично вытекали выводы из фактов, поэтому никто не попробовал спорить.

— Да,— вздохнул Дарио,— ловко мы попались на удочку.

— Но какая у вас железная логика,— воскликнул восхищенный Эррингтон,— и какая интуиция.

— И какое чутье,— прибавил Вебстер.

Доротея молчала. Лицо ее стало мрачным и озабоченным. Можно было подумать, что она предвидит какую-то серьезную опасность, но не знает, с какой стороны она надвигается.

Но тут вмешался нотариус. Он был из тех людей, которые долго и упорно держатся одного мнения, но, переменив его, с таким же упорством отстаивают новое. Он страстно уверовал в воскрешение маркиза, и теперь это казалось ему непреложной истиной.

— Позвольте, позвольте, вы ошибаетесь. Вы упустили из виду одно очень важное обстоятельство. Этот человек — не самозванец. Для этого есть неопровержимое доказательство.

— Какое?

— Портрет маркиза. Посмотрите: бесспорное сходство.

— А разве вы можете поручиться, что этот портрет действительно портрет маркиза де Богреваль, а не этого старика?

— Старинная рама, старинное, потемневшее полотно...

— О, это ничего не значит. Тут мог висеть настоящий портрет, от которого осталась рама. Скажу больше, остался и портрет, но его подмазали, чтобы придать больше сходства.

— Допустим... Но есть еще одно доказательство, и его уже никак нельзя подделать.

— А именно?

— Отрезанный палец.

— Да, палец отрезан.

— Ага! Видите! — торжествовал нотариус.— Нет на земле человека, который согласился бы на подобный ужас, как не соблазнительно богатство. И особенно такой человек. Вы обратите на него внимание: стар, слаб, еле дышит. А чтобы изуродовать себе руку, как хотите, для этого надо иметь силу воли.

Доротея задумалась. Довод нотариуса ее не сразил, но навел на новые мысли.

— Да,— сказала она наконец,— такой человек не способен себя искалечить.

— Значит?

— Значит, есть кто-то, кто его искалечил.

— Кто его искалечил?.. Сообщник.

— Не только сообщник. Глава, предводитель. Старик слишком глуп, чтобы додуматься до такой штуки. Кто-то нанял его из-за худобы и болезненности сыграть роль старика, но самую роль сочинил тот кто-то, управляющий им, как марионеткой. И этот кто-то — опасный противник. Если предчувствие меня не обманывает — это Эстрейхер. Правда, сам он в тюрьме, но его шайка продолжает дело. Да, несомненно, это — Эстрейхер. Это его рука, и нам надо быть очень осторожными и приготовиться.

Несчастный нотариус перепугался:

— К чему приготовиться? Разве нам может что-нибудь угрожать? Я готов признать, что это — не маркиз, а самозванец. Обойдемся и без него. Я передам вам конверт с припиской — и баста. Роль моя будет окончена.

— Дело не в этом,— возразила Доротея,— а в том, как избежать опасности. Что опасность есть, и очень серьезная — я в этом не сомневаюсь, но не могу сообразить какая. Я только чувствую, что она неотвратима и что она надвигается на нас.

— Это ужасно! — простонал нотариус.— Что же делать, как защищаться?

Беседа шла у окна, далеко от кровати. Электрические фонарики были потушены. Маленькое окно скудно освещало комнату, и столпившиеся возле него мужчины заслоняли его своими фигурами, поэтому возле проснувшегося было совершенно темно. Все стояли лицом к окну и не видели, что тво-

рится у них за спиной, но вопрос нотариуса заставил их обернуться.

— Спросим у старика,— сказала Доротея.— Ясно, что проник он сюда не один. Его выпустили на сцену, а сами сидят за кулисами, ожидая финала. Может быть, они даже видят нас и подслушивают... Спросите у него, что он должен был делать в случае удачи?

— Он ничего не скажет.

— Нет, скажет. Ему выгодно быть откровенным, чтобы дешевле отделаться, потому что он — в наших руках.

Доротея нарочно сказала это громко, чтобы услышал старик, но старик не ответил ни жестом, ни словом. Только поза его стала странной и неестественной. Он низко свесил голову, как-то странно осел и так согнулся, что, казалось, вот-вот потеряет равновесие и упадет на пол.

— Вебстер, Эррингтон, посветите.

Зажгли электрические фонарики.

Напряженное, жуткое молчание.

— Ах,— вскрикнула Доротея, в ужасе отшатнувшись назад.

Рот старика конвульсивно сводило, глаза дико вылезли из орбит, туловище медленно сползало с кровати. В правом плече его, возле шеи, торчала рукоятка кинжала. Кровь хлестала из раны, все ниже и ниже склонялась голова,— и вдруг старик упал, глухо стукнувшись о камень головой.

XIV

Четвертая медаль

Это было жутко и страшно, но никто не вскрикнул, не засуетился. Ужас сковал всех. Убийство было слишком странным и загадочным: в комнату не входил никто, и загадка воскрешения спящего стала загадкой убийства самозванца.

Доротея очнулась первой.

— Эррингтон, осмотрите лестницу, Дарио — стены, Вебстер и Куроблев — кровать и занавески.

Затем нагнулась и вытащила из раны кинжал. На этот раз старик был, безусловно, мертв.

Ни Эррингтон, ни все остальные не нашли ничего подозрительного.

— Что делать? — беспомощно лепетал нотариус.— Что делать? — От ужаса ноги его подкосились и он буквально упал на скамейку. Теперь он верил только в Доротею: она предсказала несчастье, она и защитит.

А Доротея стояла как с завязанными глазами. Она чувствовала, что истина близко, почти под руками, но ее никак не уловишь, не осознаешь. Она не могла себе простить, что оставила кровать старика без надзора. Преступник ловко воспользовался ее оплошностью. Преступник. Но кто он, где?

— Что делать? — твердил беспомощный нотариус.

— Постойте, мосье Деларю. Дайте сообразить. Прежде всего спокойно обсудим дело. Совершено убийство, преступление. Надо ли заявлять властям или отложить на день-другой?

— О, нет! Такие вещи не откладывают.

— Но вы ведь не пойдете в Перьяк?

— Почему?

— Потому что бандиты, убившие на наших глазах своего товарища, перехватят вас по дороге.

— Разве?

— Безусловно.

— Боже мой! — залепетал нотариус со слезами в голосе.— Что же нам делать? Я не могу здесь остаться навеки. У меня контора. Мне надо в Нант. У меня жена, дети.

— Попробуйте пробиться. Рисковать — так рисковать. Но сначала распечатайте и прочтите нам приписку к завещанию.

Нотариус снова замялся.

— Не знаю, могу ли я... Имею ли я право при таких обстоятельствах...

— При чем тут обстоятельства? В письме маркиза сказано: в случае, если судьба мне изменит и вам не удастся меня воскресить,— распечатайте конверт и, отыскав драгоценности, вступите во владение ими. Здесь нет никаких недомолвок. Все ясно. Мы знаем, что маркиз умер, и умер бесспорно, следовательно, оставленные им четыре бриллианта принадлежат нам пятерым... пятерым...

Доротея внезапно поперхнулась. В самом деле: на четыре бриллианта пять человек наследников. Такое противоречие не может не броситься в глаза. Спохватился и нотариус:

— Стойте, стойте! Вас действительно пятеро. Как же я раньше не заметил?

— Верно, потому,— догадался Дарио,— что у вас все время перед глазами четверо мужчин и четверо иностранцев.

— Да, да, поэтому. Но все-таки... Вас пятеро, черт возьми! А у маркиза было четыре сына, и он послал каждому из них по одной медали. Следовательно, существует всего четыре медали.

— Может быть, он послал четыре медали сыновьям, а пятая была... так себе... отдельно...— нерешительно сказал Вебстер и взглянул на Доротею.

Ему казалось, что в этом неожиданном инциденте найдется ключ к разгадке всего. Доротея задумалась и не сразу ответила.

— А может быть, пятая медаль была подделана и попала кому-нибудь по наследству.

— Как же это проверить?

— Попробуем сличить медали. Поддельную легко узнать.

Вебстер первый предъявил медаль. Она не возбудила никаких сомнений. Ничем не отличались друг от друга и медали Эррингтона, Дарио и Куроблева. Нотариус внимательно рассмотрел каждую, затем потянулся за медалью Доротеи.

У пояса Доротеи была приколота маленькая кожаная сумочка. Она раскрыла ее и в ужасе застыла: медаль исчезла, сумочка была пуста. Она встряхнула ее, вывернула. Напрасно.

— Пропала. У меня пропала медаль...

— Потеряли! — с ужасом воскликнул нотариус.

— Нет, потерять я не могла. Тогда пропала бы и сумка. В ней не было ничего, кроме медали.

— Где же она? Как вы думаете?

— Не знаю. Потерять я не могла. И если она пропала — значит...

Доротея чуть не сказала «украдена», но во время спохватилась. Сказать украдена — значит бросить обвинение одному из присутствующих. Вопрос стал ребром: медаль украдена. Но все четыре медали налицо. Следовательно, одна из них принадлежит мне, и один из этих молодых людей — вор.

Это было более чем ясно. Доротея с трудом взяла себя в руки. Покамест надо молчать и придумать выход, не подавая вида, что зародилось подозрение. Лучше представиться, что медаль потеряна.

— Вы правы, мосье Деларю. Медаль потеряна, но где и как, я не могу сообразить.

Она задумалась, как бы силясь припомнить, как исчезла медаль. Все молчали. Фонарики были погашены. Доротея стояла у окна, ярко освещенная солнцем. Бледная от волнения, она закрыла лицо руками, с трудом скрывая тяжелые мысли.

Вспомнилась ей ночь на постоялом дворе в Перьяке, пожар, переполох, крики. Это был, несомненно, поджог. Вспомнила она, что на помощь цирку прибежали случайно проезжавшие крестьяне. В суматохе кто-нибудь мог забраться в фургон, а сумочка с медалью висела на гвоздике.

Захватив медаль, вор отправился к замку, где поджидала его шайка товарищей. Каждый закоулок был ими изучен и инсценировка воскрешения детально разработана. Несомненно, устроили экстренную репетицию, а потом старик, игравший маркиза де Богреваль, был захлороформирован или гипнотически усыплен. В случае успеха, ему обещали награду, а в случае провала — пригрозили убить. Грабитель же явился в

полдень к башне, предъявил краденую медаль, присутствовал вместе с остальными наследниками при чтении завещания, а потом поднялся в башню и принимал участие в воскрешении маркиза. А Доротея была так наивна, что собиралась отдать старику конверт с припиской! Чудовищная комбинация Эстрейхера чуть-чуть не увенчалась успехом. Да, Эстрейхера, потому что один Эстрейхер мог выдумать такой ловкий и наглый план. И не только придумать, но и разыграть, потому что подобные вещи удаются только под личным руководством изобретателя, а без него кончаются провалом.

— Эстрейхер здесь,— как молния, сверкнуло в ее мозгу.— Он бежал из тюрьмы. Старик хотел его надуть и сам поплатился жизнью. Вот он стоит и следит за мною. Трудно узнать его без бороды и очков, с бритым черепом и рукой на перевязке. Он в русской форме, представляется неговорящим по-французски и все время молчит. Да, это не Куроблев, а Эстрейхер. О, как он смотрит на меня в упор, стараясь понять, разгадала ли я его махинации. Теперь он ждет удобного момента, чтобы выхватить револьвер и потребовать приписку.

Доротея растерялась. Мужчина прямо прыгнул бы на врага и схватил его за горло, но она была женщиной и боялась не только за себя, но и за трех молодых людей, которых Эстрейхер мог уложить тремя выстрелами. Чувствуя, что все взоры обращены на нее, Доротея отняла руки от лица. Эстрейхер следил за каждым ее движением, стараясь угадать ее намерения. Она шагнула к выходу. Ей хотелось добраться до двери и преградить бандиту отступление, став между ним и молодыми людьми. Припертый к стене, он не сможет отбиться от трех сильных и ловких спортсменов. Она сделала еще шаг, и еще. До дверей оставалось три метра. Несмотря на темноту, она уже различала медную ручку. Чтобы отвлечь внимание Эстрейхера, она притворилась страшно расстроенной и повторяла со слезами в голосе:

— Верно, я потеряла ее вчера в дороге. Она лежала у меня на коленях, я встала — и она скатилась на землю.

И вдруг сделала огромный прыжок.

Но было поздно. Эстрейхер прыгнул на секунду раньше и стал в дверях с револьвером в руке.

Оба молчали. Но молодые люди поняли, что перед ними убийца старика. Увидев дуло револьвера, они инстинктивно попятились, но тотчас оправились и ринулись вперед. Доротея бросилась им наперерез и стала между ними и Эстрейхером. Она понимала, что он не посмеет стрелять.

Не опуская револьвера, Эстрейхер левой рукой нащупал дверь.

— Отойдите, мадемуазель! — вне себя крикнул Вебстер.

— Не шевелитесь. Одно движение — и он меня убьет.

Эстрейхер нащупал дверь, быстро выскользнул из комнаты и резко захлопнул двери.

XV

Похищение капитана

Как сорвавшиеся с цепи, бросились молодые люди к двери. Но их порыв разбился о преграду. Дверь была заперта хитроумным замком маркиза де Богреваль. Открыть ее можно было только снаружи, наступив на три средних камня последней ступеньки.

Дверь распахнулась лишь тогда, когда Вебстер и Эррингтон стали бить ее досками, оторванными от окна. После нескольких мощных ударов что-то щелкнуло в ржавом замке и створка медленно повернулась на петлях.

Молодые люди вихрем бросились вниз.

— Стойте! — кричала Доротея.— Погодите!

Но они не слушали и вихрем мчались вниз. В тот момент, когда они должны были добраться до выхода, снаружи донесся резкий свисток.

Что это значит? Доротея бросилась к окну, но оттуда ничего не видно.

Увидев дуло револьвера, Деларю забился в темный угол и только теперь выполз оттуда на свет. Он упал на колени и бормотал, цепляясь за юбку Доротеи:

— Не уходите! Не бросайте меня с покойником! Что мне делать, если разбойник вернется!

Доротея ласково подняла старика.

— Успокойтесь, мосье Деларю, идемте спасать наших бедных спутников.

— Спасать? Они нас бросили, а вы — спасать... Да разве мы можем их спасти? Куда мы годимся?

И расплакался. Доротея взяла его за руку, как ребенка, и повела к выходу.

— Что делать,— думала она,— как им помочь? Боюсь, что ничего не выйдет, и мы только свяжем их своим присутствием.

Они проходили мимо дыры, которую Доротея заметила при подъеме. Доротея выглянула, внимательно осмотрелась и заметила в трещине карниза, под дырою, какой-то сверток. Это была веревочная лестница.

— Прекрасно! — сказала она нотариусу.— Эстрейхер заготовил себе запасный выход. Тут можно незаметно спуститься, потому что подъемный мост по ту сторону башни. Спускайтесь, мосье Деларю.

— Спуститься? Ни за что на свете...

— Тут не больше девяти метров, два этажа.

— Достаточно, чтобы разбиться насмерть.

— Ах, значит, вы предпочитаете пулю и нож? Помните, что Эстрейхер добивается конверта с припиской, который у вас в руках.

Нотариус был приперт к стене. Пришлось согласиться. Но он настоял, чтобы Доротея спустилась первой и проверила крепость веревок. Так и сделали.

Доротея легко соскользнула вниз, зато бедный нотариус едва добрался до земли. Они сделали большой крюк и вышли на площадку у дуба, осторожно оглянулись, прислушались. Все было тихо и спокойно. Нотариус немного осмелел:

— Негодяи. Из первого же дома вызову жандармов, соберу крестьян и двину их с косами и вилами сюда. А вы, что вы думаете предпринять?

— Не знаю.

— Как! У вас нет никакого плана?

— Нет, я всегда действую по вдохновению. И я очень боюсь...

— Ага! И вы струсили.

— Я боюсь не за себя.

— А за кого?

— За детей.

— Как! У вас есть дети?

— Да. Они остались на постоялом дворе.

— Сколько их?

— Четверо.

— Четверо! Вы давно замужем?

— Я вовсе не замужем,— ответила Доротея, не думая о том, что ее ответ будет плохо истолкован нотариусом.— Я так за них боюсь. К счастью, Кантэн находчив и сообразит, что делать.

Нотариуса раздражало беспокойство Доротеи. Он боялся только за себя и, вспомнив, что злополучный конверт с припиской у него, протянул его Доротее.

— Возьмите эту проклятую приписку. С какой стати держать мне такую опасную вещь, раз она меня не касается.

Доротея спрятала конверт в сумочку, и скоро они добрались до башенных часов. Осел нотариуса мирно стоял между парой лошадей и мотоциклетом американца. Нотариус бросился к ослу, вскрикнув от радости, сел верхом и двинулся к перешейку. На этот раз осел не пробовал упрямиться и послушно затрусил по дороге.

— Будьте осторожны,— крикнула вдогонку Доротея.— Бандиты могут вас перехватить.

Нотариус в ужасе бросил поводья, но застоявшийся осел не пожелал остановиться и еще быстрее помчался вперед.

Доротея видела, как он благополучно выбрался из развалин внешней ограды и стал спускаться к перешейку. В душе ее росла тревога. Свисток Эстрейхера был сигналом для его шайки, и бандиты, несомненно, устроили на дороге засаду.

— Если я не пройду — проскочит нотариус,— думала Доротея,— а он предупредит Кантэна.

Из-за поворота показалось море. Тихой синевой лежало оно между скалами, замыкая узкий перешеек. Деларю уже добрался до «Чертовой тропы» и спускался по крутизне. Доротея следила за ним из-за кустов и придорожных камней. Вдруг раздался выстрел. Показался дымок. Кто-то вскрикнул звонко и испуганно, и снова стало тихо.

Доротея бросилась на помощь, но вдруг увидела осла, вихрем мчавшегося обратно. Храбрый наездник лежал на его спине, обхватив руками ослиную шею. Доротея шарахнулась с дороги. Нотариус смотрел в другую сторону и не заметил ее.

Рухнула последняя надежда предупредить Кантэна. Надо пробиваться самой. Прислушиваясь, осторожно прячась за камни и оглядываясь, двинулась Доротея вниз по «Чертовой тропе».

Вдруг впереди мелькнуло двое. Доротея метнулась с дороги и припала между камнями. Два подозрительных субъекта пробежали мимо, догоняя нотариуса. Когда шаги их стихли, Доротея встала и быстро бросилась вперед, понимая, что путь свободен.

Задыхаясь, добежала она до постоялого двора мадам Амуру и очень удивилась, что по дороге не встретила старика-барона.

— Кантэн! Кантэн! — позвала Доротея.

Никто не отозвался. Кругом не было ни души. Фургон по-прежнему стоял под навесом. Доротея осторожно заглянула внутрь. Все было как будто в порядке, но детей нигде не видно. Обогнув дом, Доротея вошла в комнату.

В зале тоже было пусто, но следы разгрома были налицо. Стулья и скамьи опрокинуты, раскрыт сундук, на столе недопитые чарки и бутылки.

— Мадам Амуру! — позвала Доротея.

Из-за прилавка послышались стоны. Там лежала связанная хозяйка с тряпкой во рту.

— Вы ранены? — бросилась к ней Доротея.

— Нет.

— Как дети?

— Ничего.

— Где они?

— Верно, на пляже.

— Все?

— Да, кроме самого маленького.

— Кроме Монфокона? Господи!.. Что с ним?

— Его украли.

Доротея побледнела.

— Кто? Когда?

— Двое мужчин. Они вошли в трактир, потребовали пива. Мальчик играл возле них, а старшие были в саду, за сараем. Вдруг один из них схватил меня за горло, а другой ударил мальчика кулаком. «Где мальчишки?» — подступили они ко мне. Я сказала, что они пошли к морю, удить рыбу, а они мне грозят: «Не ври, а то будет плохо». Потом спросили маленького, где братья. Я испугалась, думала, что он меня выдаст, но он догадался и повторил мои слова, хотя это была неправда. Они меня скрутили, забрали мальчика и пригрозили, уходя: «Лежи, старая ведьма! Но если мы не найдем на берегу мальчишек, полетишь ты на дно кормить рыбу».

Доротея едва дослушала:

— И все?

— Нет, через полчаса пришел старший, кажется, его зовут Кантэн. Он искал маленького и наткнулся на меня. Я рассказала ему все. Он хотел меня развязать, но я не согласилась, боялась, что бандиты вернутся. Тогда Кантэн открыл сундук, взял старое ружье покойного отца и убежал.

— Куда он побежал?

— Не знаю. Кажется, к морю.

— Давно?

— Может быть, час, может, меньше.

— Боже мой! Целый час...

Доротея развязала трактирщицу и попросила ее сбегать за помощью в Перьяк, но мадам Амуру испуганно замахала руками.

— Что вы, что вы! У меня больные ноги. Я не дойду. Сбегайте лучше сами. Вы помоложе меня.

Но Доротея не могла оставить детей. Надо было идти к развалинам, рассчитывая на свои слабые силы.

Итак, нападение сделано. Предчувствие ее не обмануло. Ошиблась она только во времени: это случилось раньше, чем она предполагала, и задолго до сигнального свистка. Понимала она и причину похищения ребенка: Эстрейхер охотился не только за сокровищем, но и за самой Доротеей. Ради нее он и похитил капитана, зная, как дорог ей этот милый малыш. Он знал, что ради его спасения Доротея согласится на все.

Доротея шла обратно к полуострову, и ей несколько раз попадались под ноги кучки камешков с зеленой веткой посреди. Сначала она не обращала на них внимания, потом сообразила, что Кантэн оставил ей вехи своего пути. Не доходя до перешейка, он свернул в сторону и пошел по берегу моря. Доротея в задумчивости остановилась, но потом решила идти на полуостров старой тропой.

На острове царило гробовое молчание, и в этой тишине было что-то зловещее. Доротея беспрепятственно дошла до башни с часами. Там по-прежнему мирно паслись лошади Дарио и Эррингтона и стоял мотоцикл Вебстера. Взмыленный осел пасся тут же, с седлом на боку.

Что случилось с несчастным нотариусом? Удрал ли он или попал к бандитам? Где иностранцы, где Эстрейхер со своей шайкой? На все эти вопросы не было никакого ответа. Дело становилось загадочным.

Доротея была не из робких. Ей приходилось бывать в войну на передовых позициях, она привыкла к взрывам, атакам, бомбардировкам и грохоту ураганного огня. Но тут ее нервы дрогнули. Это жуткое молчание, жуткая тишина и сознание, что сейчас на нее нападут, томили ей душу смертельной тоской. Напрасно старалась она овладеть собой, взять себя в руки. Она упорно шла вперед, миновала площадку у старого дуба, тенистую аллею и поднялась к подножию башни Коксэн.

И здесь тоже была тишина, жуткая, зловещая... Только листья лепечут да дышит за обрывом море. У подъемного моста – ни души. Вдруг Доротея припомнила, что конверт с припиской у нее в кармане. Надо его спрятать. Понимая, что за ней следят, она засунула руку в сумочку и, не вынимая ее, смяла конверт в небольшой шарик, вошла под своды башни и бросила его под стену, в уголок, возле ворот подъемного моста.

Едва успела она это сделать, как сзади раздался сильный треск и грохот падающего железа. Это решетка моста, провисевшая двести лет неподвижно на ржавых цепях, сорвалась и упала, заградив ей путь к отступлению.

XVI

Последние пятнадцать секунд

Доротея была заперта во внутреннем дворе башни Коксэн, враги ее победили.

Впрочем, все к лучшему. Ради спасения Монфокона ей надо было ринуться в открытый бой. В глубине, под сводами, показались двое мужчин. Два револьвера зорко уставились на Доротею.

— Стой! Или будем стрелять...

Доротея остановилась. В переодетых матросами бандитах она узнала участников нападения на Мануар-О-Бютт.

— Где мой мальчик? Что вы с ним сделали?

Бандиты подошли к ней вплотную. Один схватил Доротею за руки, другой стал обыскивать.

— Оставьте. Я сам ее обыщу,— раздался голос Эстрейхера, и он вышел из-за выступа стены.

Он был еще в мундире русского солдата, но гораздо больше походил на того Эстрейхера, которого видела Доротея в Роборэе и Мануар-О-Бютте. Исчезли притворная болезненность и робкая запуганность инвалида, и был он, как прежде, надменным, наглым и злым. Доротея только теперь заметила, какой у него уродливый череп с приплюснутым затылком и выпуклой челюстью.

Эстрейхер молчал, не то наслаждаясь, не то смущаясь победой. Он долго шагал взад и вперед, заложив руки за спину, и вдруг спросил:

— Есть у тебя оружие?

— Нет!

Эстрейхер махнул рукой. Бандиты исчезли, а он все шагал взад и вперед, словно маятник. Доротея всматривалась в его лицо, стараясь уловить на нем проявление человечности, хоть что-нибудь порядочное, на что можно было бы опереться. Но на лице Эстрейхера была написана только грубость, жадность и низкая чувственность. Да, рассчитывать на снисхождение нечего, надо надеяться лишь на собственный ум и находчивость. Это и очень мало и очень много. Ведь тогда, в Мануар-О-Бютте, они тоже стояли лицом к лицу, и победа осталась за ней. Значит, и сегодня не все потеряно. И Доротея храбро приняла бой.

Дерзко и твердо смотрела она в глаза Эстрейхера, встречая его упорный тяжелый взгляд. Эстрейхер усмехнулся:

— Ух, хороша девчонка! Лакомый кусок, черт возьми. Давай еще раз поцелуемся.

Доротея с отвращением отвернулась. Эстрейхера передернуло. Он подошел ближе.

— Чего ты? Разве я тебе еще противен? Неужели все из-за отца? Забудь эти глупости. Отец твой был так плох, что все равно бы умер. И потом — настоящим убийцей был не я...

— Оставьте память моего отца... в покое. Но час тому назад вы убили собственного товарища.

— Вздор, моя милая. Подобных негодяев не жалеют. Он, подлец, хотел меня выдать. Ты это прекрасно угадала. Вообще, ты — мастер отгадывать. Молодец! Самое сложное дело распутываешь шутя. Тебя не надуешь. Ты даже угадала насчет Жоффруа. Этот Жоффруа, действительно, сродни моим предкам. Ты ловкая бестия: бьешь без промаха, без колебаний. Ты точно видела мои карты. И что меня особенно удивляет, это твое хладнокровие. Ты ведь понимаешь, чего мне хочется?

— Понимаю.

— И ты не валяешься у меня в ногах. Честное слово, я думал, что ты на коленях запросишь пардону. А ты стоишь и еще смотришь на меня вызывающе.

— Совсем не вызывающе. Я просто слушаю.

— Ну, ладно, давай сводить счеты. У нас с тобой два счета, Доротея. Один касается тебя лично. Но об этом после... Другой — относительно бриллиантов. Если бы ты не перехватила конверт, они были бы уже в моих руках. Когда нотариуса поставили к стенке, он сознался, что конверт у тебя. Давай конверт, не то...

— Не то?

— Будет худо Монфокону.

Доротея дрогнула. Ей было противно и больно слышать имя ребенка из уст негодяя. Она понимала, что положение ее безнадежно. В Мануар-О-Бютте их словесная дуэль была только средством выиграть время, потому что ежеминутно могла явиться ожидаемая помощь. А теперь впереди — ничего. Надо только взять себя в руки. Победит тот, у кого крепче нервы, кто дольше сохранит присутствие духа и ловко воспользуется промахом противника. «Надо тянуть, сколько хватит сил,— думала Доротея,— тянуть не до последней четверти часа, а до последней минуты, до последней четверти минуты...»

Смело и прямо взглянула она в глаза Эстрейхеру и повелительно сказала:

— Освободите мальчика, иначе я не желаю продолжать разговора.

— Ого, как важно.

— Важно или нет, но я приказываю освободить Монфокона.

— Приказываешь? Это по какому праву?

— По такому, что через несколько минут вас заставят повиноваться.

— Это кто же заставит?

— Мои родственники — Вебстер, Эррингтон и Дарио.

— Вот как! Стыдись, моя милая. Разве можно городить подобную чушь и делать подобные ошибки в расчетах?

И он жестом позвал Доротею за собой.

Выйдя из-под свода, Эстрейхер раздвинул плющ и насмешливо поклонился:

— Полюбуйся на своих родственничков.

В полуразрушенной комнате с низким сводчатым потолком лежали связанные иностранцы под охраной бандитов.

— Теперь пойдем дальше. Полюбуйся на дедушку с сынком.

Прошли еще десять шагов, и Эстрейхер снова раздвинул плющ. В такой же сводчатой комнате, но немного потеснее лежали Деларю и Монфокон. Увидев Доротею, мальчик улыб-

нулся сквозь слезы, а у Доротеи к горлу подкатился клубок. Но она ничем не выдала душевной боли. По лицу ее можно было решить, что ей все равно и что это очень мало касается исхода их беседы.

— Что? — издевался Эстрейхер.— Хорошие у тебя защитники? А что ты скажешь о моих молодцах? Трое стерегут пленных, двое — дорогу. О, я совершенно спокоен. Так-то, Доротея. Сегодня тебе не везет. Напрасно ты их отпустила из башни. Я переловил их у входа, как кроликов. И без синяка, без царапинки. Даже с нотариусом вышло сложнее. Он от страха залез на дерево. Пришлось потратить пулю, чтоб он слез. А мальчишка — сущий ягненок. Одним словом, моя милая, твоя армия капитулировала, и ты можешь рассчитывать только на самое себя. Сила на моей стороне. У меня — люди, оружие. У тебя — ничего.

— Достаточно того, что есть. Ведь секрет бриллиантов у меня, а не у вас. И вам придется волей-неволей освободить моих друзей и ребенка.

— И за это?

— Я отдам вам приписку маркиза.

Эстрейхер недоверчиво посмотрел на нее, задумался.

— Черт с тобой! Это выгодно. Давай приписку!

— Сначала развяжите пленных.

— Не валяй дурака. Давай!

— Сначала развяжите пленных.

Эстрейхер вышел из себя.

— Не дури. Я здесь хозяин! Давай конверт.

— Не дам!

— Пожалеешь!

— Не дам!

Голос ее прозвучал тверже и решительнее. Эстрейхер в бешенстве рванул ее сумочку.

— Нотариус сказал, что ты ее спрятала в сумочку, где лежала медаль.

Но сумочка оказалась пустой. Эстрейхер пришел в бешенство.

— А!.. Вот ты как. Хорошо. Я тоже заговорю иначе. Подай мне конверт сию же минуту.

— Я порвала его.

— Врешь! Таких вещей не рвут!

— Я прочла секрет и порвала бумагу. Освободите их, и я скажу секрет.

— Врешь. Все врешь. Подай конверт. Ну, живо! Мне надоело ждать. Давай конверт.

— Не дам.

Он бросился к связанному Монфокону, схватил его, поднял и стал раскачивать, точно собираясь бросить его через пролом с обрыва.

— Конверт,— орал он,— конверт, не то разобью череп твоей собачонке!

У Доротеи замерло сердце, и в знак согласия она подняла руку.

Эстрейхер положил ребенка и подошел к Доротее.

— Давай!

— Под сводом, справа, возле входа... Там скатанная в шарик бумажка... Посмотрите в камнях у стены.

Эстрейхер мигнул одному из помощников. Тот бросился ко входу.

— Давно бы так! — довольно проговорил Эстрейхер, вытирая вспотевший лоб.— Давно бы так... Не советую меня раздражать... Ну, что? — бросился он к возвращающемуся матросу.

— Вот.

— Черт побери! Вот это — победа!

Эстрейхер бережно расправил измятый конверт. Печати целы. Секрет не известен еще никому.

— Никто, никто, кроме меня,— сдавленно прошептал Эстрейхер.

Потом распечатал конверт, вынул сложенный вдвое листок, на котором было не более трех-четырех строчек, быстро прочел их и вскрикнул от удивления:

— Вот здорово! Теперь я понимаю, почему никто ничего не нашел. Молодец маркиз. Ловко спрятал.

Он молча зашагал взад и вперед, как бы обдумывая что-то. Потом обернулся к бандитам, караулившим иностранцев.

— Хорошо ли они связаны? Проверьте крепость веревок и ступайте на шхуну. Мы скоро отойдем.

Бандиты переглянулись, замялись.

— Ну, чего вам?

Один кашлянул и сказал:

— А как же клад, драгоценности то есть?

В их тоне сквозило скрытое недоверие и враждебная настороженность. Они боялись оставить Эстрейхера с драгоценностями в момент дележа.

— Какие драгоценности? — взбесился Эстрейхер, но, сдержавшись, продолжал спокойнее:— Что я их съем, что ли? Вы получите свое, не беспокойтесь. Ваше от вас не уйдет. Марш на шхуну. Да, чуть не забыл... Позовите остальных и бросьте тело фальшивого маркиза в море. И чтобы шито-крыто. Поняли?

Он так грозно сверкнул на них глазами, что бандиты не стали спорить. Эстрейхер посмотрел на часы:

— Шесть. В семь мы отойдем. Смотрите, чтобы все было готово. Приберите каюту. У нас будет лишний пассажир.

И, обращаясь к Доротее, спросил:

— А может быть, пассажирка? Как ты думаешь, Доротея? А?

Доротея молчала. Отчаяние заползало ей в душу. Проклятая минута приближалась.

Эстрейхер все еще держал приписку маркиза и конверт. Он вынул зажигалку, высек огонь и сначала поджег конверт, с упоением перечитывая заветные строки.

— Вот чудесная идея. Это куда лучше, чем копаться в земле или долбить камни. Ну и маркиз. На редкость умная башка.

Конверт догорел и рассыпался пеплом. Он свернул приписку в трубочку, зажег ее и театрально закурил сигару. Бумага быстро догорала. Осталась только пленка пепла, готовая разлететься по ветру. Эстрейхер обернулся к пленникам и громко сказал:

— Смотрите, Вебстер, Эррингтон и Дарио! Вот что осталось от секрета. Немного пепла. Дуну — и он развеется по ветру. Пффф... Вот и все. Сознайтесь, что я вас здорово одурачил. Вас было трое, а я один. И вы не сумели спасти секрет и сами погубили свою очаровательную кузину. Да-с, вас было трое... Что я говорю трое, шестеро, потому что в башне вы все были против меня. Стоило вам схватить меня за горло — и был бы мне конец. А вместо этого, какое поражение!.. Тем хуже для вас и для нее. Я уйду, а вы останетесь. Вы, вероятно, обратили внимание, каким оригинальным способом завязаны ваши веревки. Когда вам надоест лежать спокойно и вы начнете вырываться — от каждого вашего усилия будут затягиваться петли на ваших шеях. Как видите, я любезно предоставляю вам чудесный способ самоубийства. А теперь, кузиночка,— перебил он сам себя,— прощайся со своими глупыми кузенами — и идем. Я готов на все, чтобы добиться твоего согласия.

Доротея понимала, что сопротивление бесполезно, и молча пошла за Эстрейхером. В ста шагах, между развалинами двух стен, уцелела поросшая мхами каменная скамейка.

— Садись,— сказал Эстрейхер.— Здесь нам никто не помешает.

Но Доротея не села, а, скрестив руки, молча и неустрашимо смотрела на Эстрейхера.

— Не хочешь — как угодно. Дело твое,— вздохнул он и, усевшись сам, заговорил не сразу:

— Третий раз говорим мы с тобой по душам. В первый раз, в Роборэе, ты отказала мне, притворившись оскорбленной. Но меня, моя милая, не проведешь. Я прекрасно понял твою игру: ты хотела одна завладеть всем богатством. Я стоял поперек твоей дороги, и ты постаралась меня устранить. И ты сделала

это очень ловко и хитро. Потом ты догадалась, что путеводные нити в Мануар-О-Бютте. Ты бросилась туда, вскружила голову Дювернуа и овладела медалью. Я все время следил за тобой и восхищался твоей работой. Ошиблась ты только в одном. Ты забыла про меня, своего соперника. И от этого проиграла. Теперь четыре красных бриллианта Голконды в моих руках. Я буду богат, так богат, что смогу позволить себе роскошь честной жизни. И вот перед началом честной жизни я снова встретился с тобой и, как тогда, спрашиваю: хочешь ли ты быть той пассажиркой, о которой я предупредил команду? Скажи только слово: да или нет.

Доротея презрительно усмехнулась... И эта улыбка была красноречивее ответа.

— Молчишь... Ну, ладно: значит, будем действовать иначе. Не хочешь добром — захочешь силой.

Угроза мало помогла: Доротея не дрогнула.

— Ты удивительно спокойна. Неужто ты не отдаешь себе отчета в обстановке?

— Отдаю и совершенно точный.

— Нет, не отдаешь. Жизнь и смерть твоих друзей и мальчишки в моих руках. Одно слово — и они погибнут. А между тем ты можешь их спасти.

— Не собираюсь. Их спасут другие. А вас не спасет уже ничто.

— Как так?

— Очень просто. Узнав о похищении Монфокона, я послала мальчиков в Рош-Перьяк за помощью. Скоро придут крестьяне и полиция.

— Ой, как страшно! Пока дойдут до Рош-Перьяка, да пока они соберутся, да двинутся сюда — я буду за пределами их досягаемости.

— Поверьте, что они недалеко.

— Опоздала, голубушка. Будь у меня хоть тень сомнения — я приказал бы отнести тебя в шхуну.

— Кому? Вашим людям? Не надейтесь на их помощь. Они вам очень мало доверяют.

— Зато боятся и повинуются слепо. Но бросим пустую болтовню. Слушай, Доротея. С первой встречи меня захватило. Я всегда презирал женщин и мало к ним привязывался. Но к тебе меня тянет, и ты можешь меня, что называется, скрутить. Ты редкий тип, Доротея: танцовщица, княжна, воровка, акробатка. Видел я тебя во всех видах и во всех видах... любил. Нет, не любил, но и не ненавидел. Зажгла ты во мне страшный огонь, и я должен потушить его, должен.

Он подошел к ней, положил ей руки на плечи.

— Перестань смеяться. Дай мне губы свои. Об них я затушу огонь, а потом уйду, оставлю тебя, если так захочешь. Но только потом, Доротея. Понимаешь — потом.

Он обнимал ее все крепче, все ниже наклонялся к ней лицом. Доротея откидывалась назад, отступала, но скоро оказалась припертой к стене. А он шептал, задыхаясь от страсти:

— В твоих глазах испуг. Ах, как приятно это видеть. У тебя чудесные глаза, Доротея. Как они потемнели от страха. О, это сладкая награда за борьбу. Твои губы дрогнули. От страха? Да, от страха. А мои дрожат от желания. Я люблю тебя, люблю... И всегда буду любить. И ты будешь только моей.

Доротея напрягла все силы и стала отчаянно вырываться.

— А... Так-то... Ну, нет, моя милая, упрямство тебе не поможет. Дай губы, дай, или я отомщу Монфокону. Перестань сопротивляться, иначе увидишь мозги своего капитана.

Доротея изнемогала. Отчаяние захлестывало душу. Конец. Не смерть — хуже смерти.

И в эту жуткую минуту Доротея заметила на гребне стены что-то длинное, узкое, похожее на палку. Кто-то подталкивал странный предмет, как бы желая привлечь ее внимание. Ах, да это Кантэн! Он взял ружье старушки Амуру. Ружье старое, ржавое и не стреляет, но напугать им все же можно. Достаточно и этого. Эстрейхер рано празднует победу.

И вместо отчаяния лицо Доротеи озарилось такой дерзкой и сильной уверенностью, что Эстрейхер невольно опустил руки, и вдруг Доротея расхохоталась своим звонким серебристым смехом. Эстрейхера точно окатило ушатом холодной воды.

— Опять! Чего ты смеешься?

— Да потому же, что и тогда. Для вас спасения нет.

— Черт побери! Ты, кажется, рехнулась, как Жюльетта Азир.

— Нет, я не сошла с ума. Но все повторяется, как в Мануар-О-Бютте. Там Рауль и мальчики спасли меня вместе с полицией, когда вы праздновали победу. Помните, как над стеной показалось ружье? Так и теперь: вы снова под прицелом...

Эстрейхер смотрел на нее с растерянным недоумением. И вдруг спокойно и властно она приказала:

— Оглянись, подлец! Посмотри на ружье! Тебя держат на мушке. Одно мое слово — и ты будешь расстрелян.

Это была последняя четверть минуты. Эстрейхер оглянулся и увидел дуло ружья.

— Руки вверх! — крикнула Доротея.— Или тебя уложат, как собаку.

Воспользовавшись его растерянностью, она выхватила торчащий из его кармана револьвер, прицелилась в лоб Эстрейхера и презрительно прошипела:

— Идиот! Говорила тебе, что спасения нет.

XVII

Сбывшееся гадание

Все это продолжалось не больше минуты, но за это время они поменялись ролями. Поражение превратилось в победу. Доротея понимала, что победа ненадежна и снова может стать поражением, и думала только о том, как бы не выпустить его до освобождения трех иностранцев.

Уверенно и твердо, точно командуя целым отрядом, Доротея распорядилась:

— Ружья на прицел! Стрелять при первом движении! Остальные пусть освободят пленных. Они в башне, направо от входа.

Остальные были Кастор и Поллукс. Кантэн остался на стене. Он резонно решил остаться в амбразуре стены, наставляя на бандита ржавое ружье образца 1870 года.

— Идут... Ищут... Вошли...— мысленно высчитывала Доротея.

Она видела, что поза Эстрейхера теряет напряженность. Он внимательно вглядывался в направленное на него ружье, прислушиваясь к топоту детских ножек, мало похожему на грузные шаги крестьян. Доротея понимала, что только револьвер удерживает его и что он уйдет до появления иностранцев. Эстрейхер колебался и вдруг, решившись, опустил руки.

— Не надуешь. Это твои мальчишки, а ружье — старое ржавое полено. Меня на этом не продашь.

— Буду стрелять.

— Такие, как ты, не убивают. Ты бы стреляла, защищаясь, но сейчас тебе нечего защищать. А притом, что ты выиграешь, если меня посадят в тюрьму? Бриллиантов ты все равно не найдешь. Скорее у меня вырвут язык или спекут меня на медленном огне, чем я выдам такую тайну. Бриллианты мои, и я их достану, когда мне захочется.

— Один шаг — и я выстрелю.

— Может быть, ты бы и выстрелила, если бы это было выгодно. А так — нет. Ну, до свиданья. Я ухожу.

Эстрейхер прислушался.

— Слышишь, как орут твои мальчишки? Они отыскали Вебстера с компанией. Пока их развяжут, я буду далеко. Прощай. Вернее, до свидания. Мы еще увидимся.

— О, нет!

— Увидимся. И последнее слово будет за мной. Сначала бриллианты, потом любовь.

— Не достанутся вам бриллианты. Если бы я в этом хоть мгновение сомневалась, я никогда не выпустила бы вас живым.

— Это почему же?
— Скоро узнаете.
Эстрейхер хотел еще что-то сказать, но так как голоса приближались, сорвался с места и побежал, пригибаясь к кустарникам. Доротея бросилась за ним и нацелилась, решившись стрелять, но через секунду опустила револьвер:
— Нет, не могу, не могу. Да и к чему! Все равно возмездие близко...
И она бросилась навстречу друзьям. Вебстера развязали первым, и он первым помчался к ней.
— Где он?
— Удрал.
— Как! У вас револьвер, и вы его выпустили!
Подбежали Дарио и Эррингтон и тоже пришли в ужас:
— Неужели удрал? Не может быть! В какую сторону?
Вебстер взял у Доротеи револьвер.
— Понимаю. Вы не смогли убить его, да?
— Не смогла.
— Такого каналью, убийцу! Ну, ладно: мы сами с ним расправимся.
Но Доротея загородила дорогу.
— Стойте: он не один. Там пять или шесть вооруженных бандитов.
— Ну так что! — спорил американец.— В револьвере как раз семь патронов.
— Бога ради... Не надо,— умоляла Доротея, понимая, что перевес на стороне бандитов.— Останьтесь. И теперь все равно уже поздно, и шхуна уже отошла.
— Посмотрим.
И трое молодых людей бросились в погоню. Она хотела их догнать, но Монфокон со слезами вцепился ей в юбку. Ноги мальчика еще были спутаны веревкой. Он спотыкался и в ужасе твердил:
— Доротея, не уходи! Доротея, я боюсь! Доротея!..
При виде милого капитана Доротея забыла обо всем на свете, взяла его на руки и стала утешать:
— Милый мой мальчик, маленький, не надо плакать. Все кончено. Этот гадкий Эстрейхер больше не придет. Ты поблагодарил Кантэна, Кастора и Поллукса? Что бы с нами было, если б не они!
Доротея нежно расцеловала мальчиков. В первый раз досталась такая радость Кантэну.
— Ты только подумай, что бы с нами было, Монфокон, и какой ловкий фокус придумал Кантэн! Он прямо гений. Ну, расскажите, как вы нас нашли. Я заметила, что Кантэн бросал по дороге ветки и насыпал кучки камешков, но почему вы свернули к морю, а не пошли прямо на полуостров?

Радостный и счастливый от неожиданных похвал и поцелуев, Кантэн стал объяснять:

— Видишь ли, мы нашли на берегу лодку и спустили ее в воду. Нам было очень трудно грести, но мы все-таки доплыли и высадились через час недалеко от башни. Сначала мы не знали, куда идти, но вдруг Кастор услышал разговор: мы тихонько подкрались, узнали Эстрейхера и поняли, в чем дело.

— Ах, ты мой умник! Да и все вы умники, милые дети.

И новые поцелуи посыпались на щеки Кантэна, на лбы Кастора и Поллукса и на головку Монфокона.

— А нотариус! Где мосье Деларю! — вскочила вдруг Доротея.

Бросились к башне. Нотариус лежал за кустами, за высокой травой, и мальчики его не заметили. Доротея наклонилась к старику.

— Кантэн, помоги мне распутать веревки... Господи, да он в обмороке. Мосье Деларю, очнитесь, это мы... Очнитесь же, или мы уйдем.

— Нет, нет! — сразу очнулся нотариус.— Вы не имеете права. Враги...

— Их больше нет, они удрали.

— Но они могут вернуться. О, какие это негодяи! Посмотрите! Их атаман прострелил мне шляпу. Осел сбросил меня возле самых стен, и я влез на дерево. А они стали стрелять и попали в шляпу.

— Но пуля вас не задела?

— Нет, но в груди что-то болит. Я, кажется, контужен.

Доротея усмехнулась.

— Ну, это пустяки. Завтра все пройдет. Кантэн и Монфокон, разотрите мосье Деларю и помогите ему встать.

Нелепая погоня за Эстрейхером сильно беспокоила Доротею. Она пошла разыскивать иностранцев. К счастью, они заблудились в лабиринте тропинок и скал и кружились на месте, напрасно отыскивая берег, где причалила шхуна Эстрейхера.

Зато Доротея сразу взяла правильное направление. Из сети мелких тропинок она выбрала самую протоптанную и повела по ней иностранцев. До них долетали крики и ругань, но никого не было видно. Вдруг тропинка круто свернула в сторону и уперлась в отвесную скалу, по которой убегали наверх крутые ступеньки. Ловкий и подвижный итальянец первым вскарабкался на скалу и радостно крикнул:

— Вот они, негодяи. Здесь, на берегу. Не понимаю, что они делают?

За ним вскарабкался Вебстер с револьвером.

— Да, да, вот они. Бегите вон туда. Мы подойдем к ним вплотную.

И Вебстер указал на высокий мыс, подымавшийся над песчаным пляжем.

— Ни с места! Нагнитесь,— отрывисто приказала Доротея и первая припала к земле.

В полутораста метрах от места, где они находились, стояла большая рыбачья шхуна, на борту которой толпились человек шесть мужчин и растрепанная, резко жестикулирующая женщина. Они заметили Доротею и иностранцев. Один из матросов прицелился и выстрелил. Пуля чмокнулась в скалу, осыпав Эррингтона осколками гранита.

— Ни с места, или буду стрелять! — крикнул матрос, снова прицеливаясь.

Доротея едва оттащила своих спутников.

— Куда вы мчитесь? Ну, добежите до обрыва. А дальше что? Не будете же вы прыгать с сорокаметровой высоты.

— Спустимся вниз и обойдем скалу,— предложил Дарио.

— Не смейте. Это сумасшествие.

Вебстер возмутился.

— Почему? У меня револьвер.

— А у них — ружья. И все равно поздно. Драма разыгрывается и без вас.

— Какая драма?

— Посмотрите.

Доротея одним взглядом разгадала, в чем дело. Да, они были только зрителями жуткой драмы, в которую не могли вмешаться.

В маленькой зеркальной бухточке стояла на якоре шхуна, на борту которой виднелась фигура связанного человека, окруженная пятью мужчинами. Растрепанная женщина бешено наскакивала на лежавшего, осыпала его отборными ругательствами, порою долетавшими до спутников Доротеи, и грозила ему кулаками.

— Вор! Подлец! Не хочешь сказать, отказываешься! Ну, подожди!

Она обернулась к матросам, сказала им что-то. Те рассыпались по шхуне, точно все их движения были заранее прорепетированы, и стали по местам. На шею лежавшего набросили петлю, перекинули ее через рею и за конец взялись двое самых дюжих молодцов. Веревка натянулась, как струна. Фигура лежавшего приподнялась, несколько секунд простояла прямо, точно вырезанный из картона паяц, потом плавно взмыла на воздух и закачалась на фоне густой синевы океана.

— Эстрейхер! — вскрикнул кто-то из иностранцев.

В мозгу Доротеи молнией сверкнуло то, что предсказала она ему при первой встрече у Шаньи.

— Да, это Эстрейхер.
— Чего они напали на него?
— Они требуют от него бриллиантов.
— Но он их еще не нашел!
— Вот этого они не знают. Я знала, что так случится. Когда Эстрейхер приказал им идти на шхуну, я заметила, как они переглянулись и какое зверское выражение сверкнуло у них в глазах. Я поняла, что они готовят ему ловушку.

Эстрейхера то спускали на палубу, то снова подвешивали. Женщина наскакивала на него, яростно ругаясь и потрясая кулаками.

— Будешь ты отвечать или нет? Где клад? Что ты с ним сделал?

Вебстер не выдержал.

— Это немыслимо... Какая гнусность. Надо их остановить.
— Как? Вы только что собирались пристрелить его, как собаку, а теперь собираетесь спасать.

Вебстер сам не знал, чего хочет. Ни он, ни его друзья не могли равнодушно смотреть на такое душераздирающее зрелище. Заметив, что матрос бросил ружье, Вебстер стал сползать по обрыву, цепляясь за расселины и колючие кустарники. За ним полезли Дарио и Эррингтон.

Но спасти казнимого не удалось. Бандиты не пожелали вступать в перестрелку и подняли якорь. Пока иностранцы спустились на пляж, шхуна развернула паруса и быстро пошла в море.

Вебстер понапрасну расстрелял все семь патронов. Он был взбешен и накинулся на Доротею:

— Это вы во всем виноваты! Зачем вы нас удержали? Целая стая подлецов ускользнула у нас из-под носа.
— Не понимаю, что вам нужно? Разве душа их шайки, атаман, уже не наказан? Погодите, в открытом море они его прежде всего обыщут и, не найдя бриллиантов, бросят в море вместе с трупом маркиза. Потому что никакая пытка не вырвет у него секрета.
— И вам достаточно одного Эстрейхера?
— Да.
— За что вы его ненавидите?
— Он убил моего отца.

Все вздрогнули, умолкли на мгновение. Потом Дарио нерешительно спросил:

— А как же остальные?
— Пускай их вешают другие. Так будет лучше и для нас. Если бы их арестовали, пошли бы допросы, расспросы, потом суд... Газеты подняли бы шум. Разве все это приятно? Недаром маркиз де Богреваль советовал нам уладить дело без посторонних.

— Да-а...— вздохнул Эррингтон.— Дело, действительно, улажено, но и секрет бриллиантов потерян.

Далеко в океане белели паруса шхуны, быстро идущей на север...

К вечеру Дарио и Эррингтон отвезли нотариуса на постоялый двор, поручили его попечению мадам Амуру, посоветовав ей держать язык за зубами, а сами запрягли лошадей в фургон и отправились обратно на полуостров. Кантэн вел Кривую Ворону под уздцы, важно указывая дорогу.

Молодые люди переночевали в башне Коксэн, а Доротея с детьми — в фургоне. Рано утром Вебстер умчался куда-то на мотоциклетке и вернулся только к полудню.

— Я был в аббатстве Сарзо,— объяснил он удивленной компании,— и купил у монахов развалины Рош-Перьяк и весь полуостров.

— Боже мой! — всплеснула руками Доротея.— Неужели вы думаете доживать в них свой век?

— Нет, но мы хотим спокойно продолжать поиски, а для этого приятно чувствовать себя дома.

— Послушайте, Вебстер, вы, кажется, богатый человек. Неужели вас так интересуют эти бриллианты и вам так хочется их отыскать?

— Я хочу выполнить до конца завещание маркиза. Если они существуют, надо, чтобы они достались нам, а не случайному человеку, не имеющему на них никакого права. Вы, конечно, поможете нам?

— Нет.

— Как! Почему?

— Потому что я добилась своего: преступник наказан!

— Но вы, по крайней мере, останетесь с нами на несколько дней?

— Хорошо, я согласна. И мне, и детям нужен отдых, но утром двадцать четвертого мы должны уехать. На это число я назначаю нам общий отъезд.

— Почему общий?

— Потому, что вы поедете с нами.

— Куда?

— В Вандею. Там есть старинная помещичья усадьба, куда в конце июля съедутся все потомки маркиза де Богреваля. Я хочу познакомить вас с ними. Их, собственно, двое: граф де Шаньи-Роборей и барон Дювернуа. Затем вы сможете сюда вернуться и копаться, сколько душе угодно.

— А вы? Разве не вернетесь?

— Нет.

— Тогда я продам Рош-Перьяк.

Наступили чудесные дни, полные неведомого очарования. Все утро молодые люди посвящали раскопкам, но так как

Доротея не принимала в них участия, рвение непрошеных археологов скоро остыло. Завтракали и обедали возле фургона, под колоссальным дубом в четыре человеческих обхвата, от которого начиналась аллея. Веселая болтовня, шутки, игры, ясная погода, морской воздух и общество красивой остроумной девушки так нравилось иностранцам, что дни летели незаметно и компания часто засиживалась почти до рассвета. Никто не нарушал их покоя. Да если бы туристам и взбрело в голову осматривать развалины, их напугала бы дощечка, прибитая к дубу:

«Частное владение. Вход воспрещается. Волчьи ямы и злые собаки».

Мальчики подружились с молодыми людьми. Вместе купались, играли, шалили и все семеро приходили в восторг при имени Доротеи. Доротея казалась им каким-то волшебным существом, которому все поклонялись. Доротея подробно рассказала им свою жизнь, как росла, как служила сиделкой, как скиталась по ярмаркам и базарам, как встретилась с Эстрейхером и какую борьбу пришлось ей выдержать с ним. Они не сомневались в правдивости ее рассказов, но им казалось очень странным, что княжна Д'Аргонь фигурирует в роли танцовщицы на канате. Странным и очаровательным. Иными словами, молодые люди влюбились.

Пылкий итальянец объяснился первым.

— Мои сестры будут счастливы назвать вас своею сестрой.

Это было на четвертый день их знакомства. На пятый день Эррингтон заговорил о своей матери, о домашнем уюте и о том, что мать его была бы очень счастлива иметь такую дочь, как Доротея. На шестой день настала очередь Вебстера, а на седьмой — все они смотрели друг на друга волком и на следующее утро потребовали от Доротеи прямого ответа, к кому из них влечет ее душа.

Доротея весело расхохоталась:

— Неужто к одному из вас? Представьте себе, что у меня есть еще полдюжины кузенов и добрая сотня знакомых, готовых вступить в состязание с вами.

На девятый день ей пришлось вынести настоящую атаку, и, чтобы прекратить споры, она согласилась сделать выбор.

— Когда же? — настаивали иностранцы.

— Первого августа.

— Честное слово?

— Конечно.

После этой беседы поиски бриллиантов окончательно прекратились. Эррингтон вполне согласился с Монфоконом, что Доротея — самое лучшее сокровище на свете, и лучшего наследства маркиза де Богреваль нет и быть не может.

Утром, двадцать четвертого июля, Доротея приказала сниматься. Прощаясь с Рош-Перьяком, прощались они и с надеждой найти сокровище.

— Это потому, что вы не захотели нам помочь,— уверял Дарио.— Вы одна способны найти этот клад, за которым охотятся целых два века.

Но Доротея беззаботно рассмеялась и замахала руками:

— Забудьте о бриллиантах, милый друг.

Напрасно умоляли они Доротею сесть в поезд и отправить фургон багажом. Доротея стояла на своем, и им пришлось ехать с «Цирком Доротеи» и при каждой остановке присутствовать на представлении. Ловкость Доротеи привела их в восторг, и они не сводили с нее восхищенных взглядов. Репертуар Доротеи был неисчерпаем: Доротея на Кривой Вороне, Доротея в партере, Доротея-гимнастка, Доротея на канате, Доротея-танцовщица, Доротея, беседующая с публикой.

В Нанте остановились на три дня. Доротея хотела повидаться с нотариусом. Несчастный Деларю уже оправился от путешествия в Рош-Перьяк. Он очень приветливо встретил Доротею, познакомил ее с семьей и пригласил позавтракать.

Тридцать первого июля рано снялись со стоянки. День был жаркий и душный, и путники с трудом добрались до Мануар-О-Бютта. Оставив фургон за воротами, Доротея быстро направилась к дому.

В усадьбе было тихо и пустынно. Должно быть, все ушли в поля. И только из открытых окон дома доносился громкий спор. По простонародному говору и сварливому тону, Доротея узнала ростовщика Вуарена.

— Извольте уплатить! — выкрикивал он, стуча по столу кулаком.— По закладной вашего деда вы обязаны уплатить мне триста тысяч франков наличными или билетами государственных займов по курсу. Срок сегодня, в пять часов пополудни. Сейчас без четверти пять, а денег я не вижу. Но знайте, в случае неуплаты — имение мое.

Рауль и граф Октав де Шаньи напрасно пробовали его успокоить и выпросить отсрочку.

— Никаких отсрочек! — орал Вуарен.— Деньги на стол! Уже четыре часа сорок восемь минут.

Вебстер тихонько дернул за рукав Доротею.

— Кто это Рауль? Это наш кузен?

— Да, молодой барон Дювернуа.

— А кто другой?

— Ростовщик, у которого заложено имение.

— Предложите ему мой чек.

— Он не возьмет чек.

— Почему?

— Потому, что он всю жизнь мечтает об этом имении.

— Ах, подлец! Разве можно допустить подобную гадость?

— Спасибо, милый Вебстер. Большое спасибо. Но наш приезд ровно за четверть часа до срока — не простое совпадение.

Она быстро взбежала по ступенькам террасы и вошла в комнаты. Рауль и Шаньи встретили ее изумленно-радостными восклицаниями. Рауль побледнел от счастья. На шум появилась мадам де Шаньи и горячо расцеловала Доротею.

А за столом сидел Вуарен, разложив бумаги и портфели. Рядом сидели приведенные им понятые и с нетерпением следили за движением минутной стрелки на часах.

— Пять! — воскликнул он победоносно.

— Ошибаетесь,— отозвалась Доротея.— Ваши часы спешат на целых три минуты: потрудитесь взглянуть на башенные часы.

— Это не меняет положения.

— Наоборот: трех минут вполне достаточно, чтобы уплатить вам ваш глупый долг и попросить вас оставить нас в покое.

Доротея быстро расстегнула пальто и вытащила из внутреннего кармана объемистую пачку тысячефранковых билетов.

— Получайте и проверьте. Нет, нет, пожалуйста, не здесь. Вы будете долго возиться, а нам хочется поскорее покончить. Пожалуйте в соседнюю комнату или на террасу.

И, тихонько подталкивая понятых в плечи, выпроводила ростовщика и всю компанию за порог.

— Извините, пожалуйста. Но у нас совершенно исключительные причины. Встреча родственников ровно через двести лет. Надеюсь, вы на меня не обижены. Отошлите расписку нотариусу Деларю в Нант. Ах, вот начинают бить часы: ровно пять часов, и долг уплачен. До свидания, всего наилучшего.

XVIII

Рауль, казалось, был обижен.

— Нет, это ужасно, это невозможно,— нервно повторил он.— Вы должны были меня предупредить.

— О чем?

— Об уплате моего долга.

— Не сердитесь на меня,— попросила Доротея.— Мне так захотелось выставить этого наглеца! Теперь мы все обдумаем спокойно. Или, знаете что: отложим все дела на завтра, а пока... Одним словом, я приехала к вам не одна. Позвольте-ка вас познакомить: наш общий кузен Джордж Эррингтон из Лондона. Такой же кузен Марко Дарио из Генуи и Арчибальд Вебстер из Филадельфии. Я знала, что мадам де Шаньи будет здесь с мужем, и мне захотелось собрать в этот день всех потомков маркиза. Знакомьтесь... Мы должны так много рас-

сказать друг другу. Я снова столкнулась с Эстрейхером. Помните мое предсказание? Оно исполнилось! Эстрейхер повешен. А вашего дедушку, Рауль, я встретила вместе с Жюльеттой Азир далеко-далеко отсюда. Впрочем, зачем я болтаю... Надо прежде всего хорошенько всех познакомить. Только предупреждаю вас, что без выпивки знакомство плохо клеится.

Доротея быстро распахнула буфет, достала бутылку портвейна и вазу бисквитов, отрывочно рассказывая свои приключения в Рош-Перьяке.

У графини вытянулось лицо.

— Значит, бриллианты безнадежно потеряны?

— Об этом спросите кузенов, они их искали, не жалея сил.

Но кузены были заняты своими мыслями: их мучила новая загадка. Они мялись, переглядывались, и наконец заговорил Эррингтон:

— Не сочтите это неделикатностью, Доротея, но нам непонятно... Вы позвольте сказать откровенно...

— Ну, конечно, Эррингтон.

— Эти триста тысяч франков...

— Вас удивляет, откуда они взялись?

— Вот именно.

Доротея шаловливо наклонилась к уху англичанина и прошептала:

— Это все мои сбережения, добытые в поте лица.

— Вы шутите.

— Не верите? Ну хорошо: я буду откровенна.

И, наклонившись к другому уху, прошептала с плутоватой улыбкой:

— Я их украла.

— О, кузина!.. Так не шутят.

— Неужели не верите? Откуда же им взяться? Конечно, украла.

— А я и мои друзья решили, что вы их нашли.

— Где?

— На развалинах Перьяка...

Доротея захлопала в ладоши!

— Браво! Вы угадали! Я их нашла в песке, под дубом. Наш сиятельный предок устроил банк под корнями и положил их туда на проценты. Закопал деньги в восемнадцатом веке, а я нашла билеты выпуска 1920 года.

— Перестаньте шутить, Доротея,— вмешался Дарио.— Скажите прямо, найдены бриллианты или нет?

— Почему вы об этом спрашиваете, раз вы давно решили, что дело гиблое?

— Потому, что у вас откуда-то появились огромные деньги. Вы могли их выручить от продажи одного из бриллиантов. Это во-первых, а во-вторых, мне всегда казалось странным, что,

потратив такую бездну энергии, вы вдруг сложили руки и не захотели нам помочь.

Доротея лукаво посмеивалась.

— Значит, вы полагаете, что я могла найти бриллианты, не разыскивая их?

— Вы можете все! — развел руками Вебстер.

— О, да,— поддержала графиня.— И я уверена, что вы их нашли.

Доротея молча улыбалась.

— Правда? Нашли? — повторила графиня.

— Да,— сказала, наконец, Доротея.

— Где? Когда? — воскликнул Эррингтон.— Ведь вы все время проводили с нами.

— О, вы не могли мне помешать. Еще гостя в Роборэе, я поняла, где спрятано сокровище.

— Каким образом?

— Благодаря девизу!

— Нашему девизу?!

— Да. Это так просто, что я удивлялась слепоте всех искавших клад и наивности маркиза де Богреваль. Но оказалось, что у маркиза был правильный расчет. В словах девиза — прямое указание на тайник. Девиз проставлен им повсюду: и на башенных часах, и на медалях, и на печатях конверта. И несмотря на это, сокровище было прекрасно спрятано.

— Но если вы сразу разгадали тайну, почему же вы сразу не достали сокровище?

— Потому что в девизе сказано, в чем спрятано сокровище, но не указано место. О месте я узнала по медали. А попав в Рош-Перьяк, я через три часа нашла тайник маркиза.

Марко Дарио был сбит с толку и несколько раз повторил про себя:

— In robore fortuna... In robore fortuna...

Все молчали и про себя повторяли те же три слова, точно волшебное заклинание.

— Ну-ка,— подзадоривала их Доротея.— Все вы знаете латынь. Попробуйте перевести эту фразу.

— Фортуна — значит богатство,— ответил Дарио.

— Да, но речь шла не о богатстве, а о бриллиантах. Значит, можно перевести так: «Бриллианты в...» Ну, что же вы молчите?

— In robore — в твердости духа,— смеясь, перевел Эррингтон.

— В крепости, в силе, в стойкости,— подсказывал Вебстер.

— А еще? Ну-ка, поднатужьтесь. Здесь творительный падеж. Вы его производите от слова robor, а нельзя ли его произвести от другого слова? Не помните? Ну так вот: я очень плохо помню латынь, но когда я прочла девиз, то сразу вспом-

нила, что это творительный падеж от двух слов: robor и robus, то есть дуб. Значит, девиз означает, что бриллианты спрятаны в дубе. Где растет этот дуб – написано на медалях – в замке Рош-Перьяк. Вот почему я привела вас двенадцатого июля к дубу. Видите, как это просто. Потом я внимательно осмотрела его кору и увидела на высоте полутора метров шрам от старого надреза коры. Я и решила, что это тайник маркиза. И в первую же ночь, когда вы спали в башне, мы с Кантэном взялись за работу. В темноте это было трудновато, но мы упорно пилили и резали, пока не наткнулись на что-то твердое. Тогда мы расширили отверстие, просунули руку и вытащили четыре ядрышка в орех величиной. Сверху они обросли грязью, но мы их отмыли, оттерли и бриллианты засияли, как кровавые звезды. Три бриллианта со мной. Вот они. А четвертый в залоге у нотариуса Деларю в Нанте. Он согласился дать мне под него триста тысяч, хотя долго колебался и даже вызвал ювелиров-экспертов, для оценки.

С этими словами Доротея протянула иностранцам три великолепных бриллианта. Камни были необычайной величины, яркой чистой воды и по-старинному граненные двойной гранью.

Молодые люди смутились. Двести лет тому назад умер странный мечтатель, крепко веривший в свое воскрешение. Он спрятал свои сокровища в дуб, под которым часто любил отдыхать. Двести лет лежали они в древесине, а мудрая природа каждый год выращивала над ними новые слои. И стены их тесной темницы с каждым годом становились все толще и толще. Двести лет проходили люди мимо сказочного богатства, не подозревая об его существовании, и искали его, веря смутной легенде. И вот Доротея раскрыла загадку, и добралась до крохотного тайника, и дарит им то, что их предок вывез когда-то из сказочной Индии.

– Что же вы их не берете? – спросила Доротея.– Потомки трех сыновей маркиза стали иностранцами. Это их часть. А французы, потомки четвертого сына, разделят между собой четвертый бриллиант.

– Какие потомки? – спросил де Шаньи.

– Я говорю о нас, французах, о вас, Рауле и себе. Каждый бриллиант стоит, по словам ювелиров, по два-три миллиона. А права у нас равные.

– Что касается меня, то они равны нулю,– ответил граф.

– Почему? Разве забыли договор с моим отцом и отцом Рауля?

– Он потерял свою силу за давностью,– вмешался Рауль Дювернуа.– Я не возьму ничего. В завещании прямо сказано, кто имеет право на наследство. Нельзя его истолковывать про-

извольно. Четыре бриллианта — четыре медали, и, кроме трех иностранцев-кузенов, вы одна имеете право на бриллиант.

— Имею право, но наравне с вами, Рауль. Мы вместе боролись с Эстрейхером, мы — прямые потомки маркиза, поэтому у вашего дедушки и была медаль.

— Его медаль была пустой болванкой.

— Почем вы знаете? Вы никогда ее не видели в глаза.

— Видел и держал в руках.

— Вы говорите про диск, который я вытащила из воды? Это была приманка для Эстрейхера.

— О, нет, я говорю о другом. После путешествия дедушки в Перьяк, я как-то застал его в аллее сада. Он сидел совершенно один и со слезами рассматривал что-то. Я подошел, и он показал мне, что его огорчает. Это была медаль, как ваша, но с тою разницей, что с обеих сторон по рисунку проходили крестообразные черты, как бы зачеркивающие надпись. Я думаю, что это был либо модельный экземпляр чеканки, либо просто подделка.

Доротея была поражена, но с деланным равнодушием спросила:

— Ах, вот как! Значит, вы ее видели.

Потом подошла к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу и молча простояла несколько мгновений. Теперь только поняла она все. Фальшивая медаль принадлежала Жану Д'Аргоню, потом ее украл Эстрейхер, и она попала к отцу Рауля, а после его смерти досталась старому барону. Между тем у старого барона была настоящая медаль, о которой он не говорил ни сыну, ни внуку. Эта медаль хранилась в ошейнике Голиафа, а фальшивую он приберегал на всякий случай и отдал на сохранение Жюльетте Азир, боясь неприятностей, если бы возникло дело об убийстве Д'Аргоня. Когда настоящая медаль пропала, несчастный старик попробовал пустить в ход фальшивую.

Все это молнией мелькало в мозгу Доротеи. Считая медаль своею, она спокойно взяла ее из ошейника собаки и этим лишила Рауля права на наследство. А теперь, предлагая милостыню сыну человека, участвовавшего в убийстве ее отца, она не делала великодушного жеста, а только возвращала ему часть украденного.

Доротея не знала, как исправить свой грех. Действовать надо очень осторожно, чтобы в чуткой душе Рауля не мелькнула тень подозрения, порочащего память его отца. С трудом овладела она собой, вытерла заплаканные глаза и, отойдя от окна, улыбнулась и непринужденно, будто ничего и не случилось, сказала:

— Отложим все дела на завтра. Сегодня надо отпраздновать нашу встречу. Рауль, почему вы не зовете нас к столу? Пора обедать! А где мои мальчуганы?

Никто не подозревал, что творится в душе Доротеи. Она выбежала на террасу и позвала мальчиков, радостно бросившихся на ее зов. Графиня расцеловала Монфокона, а Кантэн церемонно приложился к ее пальчикам. И все заметили, что носы Кастора и Поллукса распухли от недавней драки.

За обедом подали шампанское. Весь вечер Доротея была необычайно оживленной и интересной. Вебстер торжественно напомнил ей, что завтра первое августа и что она обещала дать им решительный ответ.

— Я не отказываюсь,— улыбнулась Доротея.

— А Рауль? Он тоже выставил свою кандидатуру? — допрашивал неугомонный янки.

— Конечно. Но так как выберу я одного, то позвольте мне по этому случаю расцеловать вас всех сегодня.

И она нежно расцеловала всех четырех претендентов, а за ними — графа, графиню и мальчуганов.

Разошлись далеко за полночь.

Рано утром сошлись в столовой трое иностранцев, супруги Шаньи и хозяин дома. Подали завтрак. Все уселись за стол. Вдруг вошел работник и подал Раулю письмо.

Рауль быстро прочитал его и грустно промолвил:

— От Доротеи... Она ушла, уехала... Как тогда в Роборэе.

Потом взял письмо и громко прочел:

«Дорогой Рауль.

Мне хочется рассказать вам то, что я узнала лишь вчера, столкнувшись с несколькими неожиданными для меня фактами. Умоляю вас, поверьте им беспрекословно.

Двенадцатого июля, под башенными часами замка Рош-Перьяк, я нечаянно заняла ваше место. Золотая медаль, которую я считала отцовской, принадлежала вам. Это — не предположение, а несомненный факт. Я уверена в этом так же твердо, как в том, что я живу. Доказывать этот факт я не стану, по очень важным причинам, но я хочу, чтобы вы поверили мне и успокоили вашу чуткую совесть.

Клянусь вам своим счастьем — это правда. Настоящих наследников маркиза де Богреваль четверо: вы, Дарио, Вебстер и Эррингтон. И вы имеете право на наследство. Поэтому четвертый бриллиант принадлежит вам. Попросите Вебстера съездить в Нант, выдать нотариусу Деларю чек на триста тысяч франков и взять у него ваш бриллиант. Я, со своей стороны, предупреждаю нотариуса об этом.

Признаюсь, что вчера, узнав всю правду, я немного опечалилась. Не очень, правда,— всего на несколько слезинок. А

сегодня я взяла себя в руки, печаль исчезла, как роса. И я довольна. Я не умею быть богатой. С деньгами связано столько гадкого, столько условностей и хлопот. Богатство — тюрьма, а я не хочу быть за решеткой.

Вы все просили меня выбрать себе мужа. Ведь это шутка, не правда ли?

Позвольте мне в таком же полушутливом тоне ответить, что сердце мое давно принадлежит моим мальчуганам, и в особенности самому маленькому из них. Не сердитесь на меня. Я знаю только нежность матери; только для них бьется мое сердце нежностью, тревогой и любовью. Что будет, если я их оставлю? Что станет с крошкой Монфоконом? Без меня они не проживут. И не отвыкнуть им от здоровой кочевой жизни, к которой я их приучила. Да и сама я по душе цыганка. Нет у нас жилища, кроме фургона, и не сердитесь на меня за то, что я не в силах изменить свое существование.

Если хотите, мы скоро увидимся. Может быть, наши милые родственники согласятся принять нас у себя в Роборэе? Давайте, назначим день встречи. Хотите, на Рождество или под новый год?

До свидания, дорогой друг. Шлю вам горячий, дружеский привет и несколько слезинок последних. In robore fortuna. Богатство в твердости души.

Обнимаю всех. Доротея».

Все долго молчали. Наконец, граф сказал со вздохом:

— Странная девушка. Подумать только, что у нее в кармане было четыре бриллианта, то есть десять-двенадцать миллионов, и она могла их забрать, ничего не сказав...

Но никто не ответил. Доротея была для них призраком светлого счастья, и теперь это счастье исчезло.

Рауль посмотрел на часы, взял подзорную трубу и жестом пригласил за собой гостей. Они взошли на самый высокий холм имения.

Далеко на горизонте извивалась пыльная дорога. По ней медленно двигался пестрый фургон. Кантэн вел Кривую Ворону под уздцы, рядом шагали мальчики, а сзади одиноко шла танцовщица на канате, княжна Доротея Д’Аргонь.

Фредерик Буте

ДВОЙНИК КЛОДА МЕРКЕРА

Роман

I

Зеленые чернила

Клод Меркер сидел один и работал. Пробежав глазами очередной доклад и сделав краткие пометки синим карандашом, он встал с кресла и прошел несколько шагов по громадному кабинету; затем подошел к одному из окон и с минуту полубессознательно смотрел на набережную и реку, едва видневшуюся сквозь бледный туман ноябрьского утра. Потом он опять вернулся к письменному столу с кучей писем, адресованных лично ему, и принялся их читать.

Постучали в дверь. Вошел курьер.

— Господин министр, вас хочет видеть доктор Вотье.

Меркер поднял голову

— Просите сюда,— приказал он со свойственным ему резким, авторитетным тоном.

Курьер немедленно исполнил приказание. Меркер пошел навстречу посетителю с такой дружеской поспешностью, с какой он не встречал никого другого.

Доктор Вотье был его школьным товарищем и одного возраста с ним. Но доктору, высокому, худому, с бледным лицом, изборожденным на лбу и на щеках глубокими морщинами, с поредевшими на висках и поседевшими волосами, на вид было лет сорок пять; а Меркеру нельзя было дать больше тридцати восьми. Он был широкоплеч, белокурые волосы зачесывал назад, светлые усы подстригал коротко; энергичный орлиный профиль, правильные черты лица, темные глаза, зажигавшиеся блеском из-под светлых густых бровей, привлекали внимание. Они пожали друг другу руку с фамильярным и настоящим радушием как давние искренние друзья.

— Как поживаешь? Я не мешаю тебе? — спросил Вотье.

— Ты отлично знаешь, что никогда не можешь помешать мне! Садись. Отчего ты с понедельника не приходил?

— У меня много дел. Ты же знаешь, что я один из делегатов на конгресс в Америке, а он начинается через два месяца. Мне надо закончить работу, отредактировать доклады. Разве забыл? Ты же сам устроил, чтобы меня выбрали на этот конгресс, хотя другие профессора Медицинской академии и старше меня..

— Нет надобности быть восьмидесятилетним, чтобы считаться одним из светил французской науки,— сказал Меркер.— Ты отлично знаешь, что я говорю тебе то, что думаю и что есть на самом деле Итак, когда же ты уезжаешь и сколько времени пробудешь там?

— Я уезжаю через семь недель и буду в отсутствии месяца четыре или пять. После конгресса я хочу поехать на некоторое время к Каррелю

— Долго мы тебя не увидим! — резко сказал Меркер.

— Я могу вернуться сразу после конгресса... Или же совсем не ездить, если ты думаешь, что я тебе буду нужен,— спокойно сказал Вотье.

— То есть ты мне пожертвовал бы поездкой, которая составит эпоху в твоей жизни и которой ты страшно интересуешься?

— Жертва не очень большая. То, что я не скажу там, скажу в другом месте. Научная истина неизбежно выйдет на свет. А кроме того, знаешь, Меркер, я, не колеблясь, могу принести тебе еще более серьезную жертву, чем эта. Не забывай, что если я стал тем, что я есть, то только благодаря тебе. Ведь когда я в девятнадцать лет, студентом первого курса, остался после смерти отца без единого су для продолжения учения... Если бы у меня не было такого друга, как ты... Да, если бы у меня не было этого изумительного, несравненного, невероятного счастья — иметь тебя своим другом... Когда я подумаю, что ты сделал тогда... Для молодого человека это совершенно исключительный поступок: ты делился со мной своими деньгами и каждый месяц давал мне столько, что я мог жить и спокойно работать.

Лицо Вотье задергалось от плохо сдерживаемого волнения. Улыбка смягчила властное лицо Меркера, и в его глазах промелькнуло нежное выражение.

— Не стоит без конца вспоминать то, что мы оба прекрасно знаем,— сказал он.— Тогда у меня денег было больше, чем мне требовалось... И... я, очевидно, умел тогда уже судить о людях, если оценил тебя. Ты всегда был моим лучшим или, вернее говоря, моим единственным другом. Я привык, ты сам знаешь, высказывать громко при тебе все, что приходит мне на ум. Так я сделал и сейчас: конечно, четыре-пять месяцев не видеть тебя, не делиться с тобой мыслями, которые я высказываю только тебе, мне будет не очень приятно.

— И мне тоже,— заметил Вотье.— Поэтому я...

— Ах, нет! Пожалуйста, без глупостей,— Меркер снисходительно засмеялся.— Ты поедешь! Не правда ли? Я этого требую. Я хотел поддразнить тебя, говоря, что ты меня бросаешь, и, конечно, ты мне сразу ответил, что при таких условиях ты остаешься... Дорогой мой, с тобой нельзя пошутить!

И он ласково положил руку на плечо друга.

— Ну, хорошо,— сказал Вотье спокойнее.— Я поеду. Только как бы ты не заболел в это время,— продолжал он после короткого молчания.

— Зачем мне болеть? Этого со мной никогда не бывает. У меня прекрасное здоровье, ты это отлично знаешь, ведь ты же сам ухаживаешь за мной, точно за умирающим.

— А у тебя все-таки плохой вид. Ты слишком много работаешь. Почему ты не поручаешь всю эту работу секретарям?

Вотье указал на кучу писем, перед которыми сидел Меркер. Тот пожал плечами.

— Потому, что все решительно надо делать самому. А как только поручишь работу кому-нибудь, так уж наверняка что-нибудь да напутают... О! С самыми лучшими намерениями, от усердия, от старательности или от желания хорошо сделать... Все, что я по лености передаю другим, всегда бывает плохо понято, плохо исполнено. Может быть, это самоуверенность, мания, все, что хочешь, но я доверяю только самому себе. Мне нужно две жизни, чтобы все переделать. Я почти не сплю, никогда не разрешаю себе ни одного часа свободы и с большим трудом справляюсь с ежедневной работой. Это вечное мучение, и оно терзает меня. У меня репутация, и, по-моему, справедливая, неукротимо энергичного человека. Я честолюбив и получил полное удовлетворение своему честолюбию; в сорок лет я — министр; года через два, при первом же случае, я это знаю, я буду президентом совета. То, что я тебе говорю, не хвастовство, а истинная правда. Все это правда, но бывают моменты, когда я чувствую себя раздавленным такой жизнью и малодушно мечтаю хотя бы о кратком отдыхе. Пойми меня, друг мой, я не живу; я — машина для работы... и для представительства. И это меня угнетает больше всего, прямо не могу сказать тебе как, потому что, в конце концов, представительство не нужно. Понимаешь? Совершенно не нужно! Это — декорация, это — парад, неизбежный, но никчемный... Да, я знаю, я сам создал себе такое существование, но, повторяю: это не значит, собственно говоря, жить. Мне незнакомы такие слова, как: бродить, мечтать, веселиться, жить... Да-да, жить! Я прежде всего должен поддерживать свою репутацию. Для всего мира я — черствый, суровый, серьезный человек... Это моя репутация, и я во что бы то ни стало должен продолжать быть таким. Я — на виду, я — на вершине, ты знаешь, мне, подобно Наполеону, нельзя позволять себе резких движений... Вот я и скучаю. Неправдоподобно, а? Скучающий Меркер! Что поделаешь, я не каменный, я не бронзовая статуя, несмотря на все, мне иногда очень хотелось бы жить...

Наступило молчание.

— Женись,— сказал вдруг Вотье.

— Разве у меня есть время? Да, я вижу иногда женщин, которые могли бы мне понравиться. Таких мало, но...

— Жильберта Герлиз, например. Она умная, богатая, хорошенькая женщина; ей не больше тридцати. Она овдовела лет пять назад и достаточно знает жизнь...

— Может быть... Но она меня не любит. А мне некогда ни заставить полюбить себя, ни самому полюбить. Да, конечно, она мне нравится. Должен сказать, что она — единственная женщина, которая, мне казалось, не может надоесть хотя бы

месяца три после свадьбы... Такие люди, как я, не созданы для брака... Кто хочет работать, тот нуждается в полной независимости. Я должен смириться с этим. Моя жизнь – это честолюбие, карьера, труд. Только... только мне иногда кажется, что именно такая женщина, как она, могла бы помочь мне.

Несколько минут он был задумчив, затем, по своей привычке пожав плечами, как будто говоря: «А, все равно»,– закурил папиросу и стал опять распечатывать конверты.

– Прости меня,– сказал он через некоторое время.– Это почти механическая работа, не мешающая мне говорить.

– Встречается что-нибудь интересное?

– Почти никогда. Анонимные письма, разные глупости, необоснованные ходатайства, бред сумасшедшего. И, девять раз из десяти, сведения, интересные с первого взгляда, но которые оказываются ложными.

– Слушай,– сказал вдруг Вотье,– действительно, у тебя очень плохой вид. Если бы я не выслушал тебя дня три-четыре тому назад, я бы сделал это сейчас. Но тогда я успокоился и знаю, что это только переутомление... Поэтому я советую тебе, и советую очень серьезно, спать побольше. Можешь принимать немного стрихнину.

Меркер пожал плечами:

– Если хочешь, я слыхал, что это средство подбадривает.. Но я великолепно себя чувствую.

Он умолк. У него в руках был обыкновенный желтый конверт, на котором зелеными чернилами, крупным круглым почерком были написаны его адрес, фамилия, а наверху слова, трижды подчеркнутые: «В собственные руки». Он вскрыл конверт, вытащил письмо и просмотрел его.

– Опять,– пробормотал он с легкой улыбкой.– Настойчивый!

– Что это такое?

– Это, возможно, что-нибудь значительное, но вероятнее – это пустяки. На, прочти!

Вотье взял письмо. Оно было написано на бумаге в клетку и так же, как и конверт, зелеными чернилами. Он прочел:

«Господин министр!

Это письмо – третье. Если оно не будет иметь никакого успеха, как и два предыдущих, я буду продолжать писать вам каждую неделю, пока не добьюсь того, чего хочу увидеться с вами.

Сегодня я опять буду ходить взад и вперед вдоль ограды садика у церкви Сен-Жермен ле Пре, на углу площади и улицы Аббэ Я буду вас ждать от десяти до одиннадцати Это место достаточно людное, чтобы мысль (как бы невероятна она ни была) о какой-нибудь западне не остановила бы вас, и оно достаточно глухое для того, чтобы нашей

встрече помешали слишком многочисленные прохожие. Напоминаю вам, что на мне будет черная шляпа с опущенными полями и серое стального цвета пальто с поднятым воротником. Я всеми силами настаиваю, чтобы вы пришли. Не хочу написать в письме то, что я должен вам сказать и что мне кажется очень важным и для вас, и для меня: я уверен, что вы в этом сразу же убедитесь. И, поймите, что для меня было бы невозможно действовать иначе, чем я действую сейчас, для того, чтобы встретиться с вами. Я отлично знаю, что эти романтическо-детские на вид предосторожности кажутся вам смешными и что назначать неизвестному человеку свидание — нагло, подозрительно и нелепо. И все-таки необходимо, чтобы вы пришли. Повторяю, с первых же минут свидания вы поймете все. Я не могу действовать другим образом; иначе наше свидание будет бесполезным. Уверяю вас: вы должны прийти. Я не обманываю вас и не обманываюсь сам: это очень важно! Вот увидите.

Продолжаю писать вам зелеными чернилами: еще одна моя странность, ребяческая и ненужная. Но этот цвет чернил привлечет ваше внимание, и я надеюсь, что если вы хоть сколько-нибудь заинтересуетесь, то всегда отличите мое письмо и прочтете. Если это не так, то, узнав мое письмо, вы будете сразу бросать его в корзину, не распечатывая. Но насколько всем известен ваш характер, я думаю, что вы прочтете... И уверен, что вы рано или поздно придете. Возможно, что это будет скоро. Зачем терять время? Я даже надеюсь, что это будет сегодня вечером»

Подписи под письмом не было.

Вотье, не говоря ни слова, вернул письмо Меркеру.

— Я пойду сегодня вечером,— вдруг решил тот.

— Вот еще! Что за фантазия,— сказал изумленный Вотье.

— Да, пойду! Уже в прошлый четверг, когда я получил предыдущее, второе, письмо, мне захотелось пойти.

— Но ты рискуешь...

— Чем? У меня, конечно, есть враги, как у всех, и в особенности, как у всякого преуспевающего политического деятеля Но я не знаю, кто бы из моих врагов мог серьезно ненавидеть меня. Это все только соперничество, зависть, обиды . От них могут быть небольшие политические подвохи — и только. Нет, друг мой, я в это не верю. Это не мой стиль. Я не создан для мелодрамы! Допустим самое невозможное, что кто-нибудь ненавидит меня так, что готов покуситься на мою жизнь.. Тогда, вместо того, чтобы назначать такое странное свидание, на которое я или не приду совсем, или приду с полным недоверием, такой мой «враг» просто-напросто может меня ждать

на улице, когда я выхожу, чтобы пешком идти домой, как я это часто делаю. И зачем... Нет!.. Это невероятно! Кто меня так ненавидит? Почему? Это не имеет ни малейшего основания... Клянусь тебе. Это письмо... В нем что-то другое...

— Может быть, это какой-нибудь шутник дурного тона. Ему хочется доставить себе удовольствие мистифицировать видного политического деятеля, он хочет подшутить над Клодом Меркером. Если это так, то он попробует злоупотребить твоей легковерностью и будет рассказывать тебе небылицы или же спрячется и с восторгом будет следить, как ты гуляешь вдоль ограды... А на будущей неделе вся эта история появится в каком-нибудь юмористическом журнале и с комментариями...

Меркер нахмурил брови.

— Шутник? Вот придумал! С Клодом Меркером не шутят. Меня хорошо знают. Я отыщу мистификатора, и он тем или иным способом, но дорого мне за это заплатит. В конце концов, чтобы застраховаться от спрятавшегося мистификатора, я просто проеду сначала через площадь; если я никого не увижу, я не пойду, и меня никто не увидит. Можно еще предположить, что это сумасшедший. Но не похоже, чтобы эти письма писал безумный... А кроме того, знаешь, я так этим заинтересован. Сам не знаю почему, но все это кажется мне очень серьезным. У меня такое впечатление, что тут есть что-то интересное... Небольшая прогулка в десять часов вечера в Сен-Жермен ле Пре будет для меня разнообразием среди моих рабочих вечеров и выездов. В этом есть что-то красивое, что-то романтическое, какая-то жизнь. Верь мне, я совсем не наивный мальчик, но оттого, что я не живу, что я работаю без передышки, во мне осталось много детского... Знаешь, эта история немного позабавит меня. А я так этим не избалован!

Вотье поднялся.

— Пора уходить! Я вижу, что ты решился идти сегодня вечером; хочешь, я пойду с тобой?

— Нет! Нет! Тут написано, чтобы я приходил один. Я и пойду. Потеряю час времени. Затем появлюсь на приеме в министерстве иностранных дел. Экипаж будет меня ждать, и в двенадцать я вернусь сюда работать. Приходи завтра утром, я расскажу тебе все, что произойдет... Если вообще произойдет что-нибудь такое, о чем будет что рассказать... До свидания, старина.

— До завтра! Я приду в десять, и ты мне расскажешь разгадку письма, написанного зелеными чернилами,— сказал, улыбаясь, Вотье.

Они обменялись рукопожатиями. Вотье ушел, а Меркер сложил письмо, опустил его в карман и позвал секретарей

заниматься текущими делами. Но мысль о странном свидании всецело владела им в продолжение всего рабочего дня.

II

Свидание

Туман, который слегка рассеялся днем, стал к вечеру еще гуще. Синеватой, мягкой тьмой он неподвижно заполонил улицы, заглушил все звуки, притушил свет фонарей, который сквозь пелену тумана казался рассеянным и каким-то нереальным спектром.

Пробило четверть двенадцатого, когда Клод Меркер остановил экипаж на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Бенуа; это был старый фиакр, который он нанял недалеко от министерства. Но его намерение проехать сначала в экипаже, чтобы убедиться, ждет ли его кто-нибудь, оказалось неосуществимым; уже за пять метров ничего не было видно. Он вышел и расплатился с извозчиком; быстрыми шагами дошел до площади, пересек ее и прошел мимо церкви.

Он услышал шаги идущего к нему навстречу человека раньше, чем различил сквозь густую завесу, делавшую ночь еще более темной, его силуэт. На нем было длинное темно-серое пальто, с поднятым воротником, скрывавшим низ лица; опущенные поля шляпы бросали тень на лоб и глаза, скрытые еще круглыми очками с желтыми стеклами.

По необъяснимой причине любопытство, которое привело Клода Меркера на это странное свидание, вдруг исчезло и сменилось, как это часто у него бывало, внезапным приступом раздражения. «Все это ужасно глупо,– с досадой сказал он себе.– Вотье был прав: какой я идиот, что пришел сюда». И он резко спросил человека, который в эту минуту остановился почти на шаг от него и которого он тщетно старался разглядеть:

– Это вы писали мне? Что это значит? Что вы хотите?

– Я был уверен, что вы, в конце концов, придете,– медленно и совершенно спокойно проговорил он глухим голосом.– И если вы пришли, то не впадайте в раздражение. Все выглядит, конечно, очень мелодраматично и смешно, но я не мог поступить иначе.

«И где я, черт побери, слышал этот голос?» – подумал Меркер.

Незнакомец бросил вокруг себя быстрый взгляд. Эта часть площади была совершенно пустая, и туман закрывал их обоих своими облачными стенами.

— Пойдемте к тому фонарю,— сказал человек,— и вы все поймете.

Меркер, удивленный этим хладнокровием и снова заинтригованный, прошел за ним несколько шагов. У фонаря человек остановился. Он быстро сдвинул за затылок шляпу, отогнул воротник и снял очки.

— Посмотрите на меня,— сказал он, выставляя вперед лицо.

Меркер взглянул на него и сразу не отдал себе ясного отчета в том, что увидел. Но это продолжалось лишь одно мгновение. Он понял и вздрогнул от изумления.

— Но... как вы похожи на меня! — сказал он.— Вы поразительно похожи на меня!

И на самом деле они были так похожи друг на друга, точно один был портретом другого. У них были не только одинаковые черты, цвет и даже выражение лица, но и одинаково широкие плечи; оба они были одинаково полными, только незнакомец был чуть-чуть повыше ростом.

— Это невероятно! — пробормотал Меркер.— Как будто я стою перед зеркалом. Но все-таки... А-а! — осенило его.— У вас черные усы и темные ресницы! — воскликнул он, заметив эту деталь, из-за которой он, вероятно бессознательно, не понял сразу их полного сходства.

Незнакомец улыбнулся.

— Да, но я такой же блондин, как и вы... Я подумал, что будет осторожнее, если употребить немного краски. Она накладывается и снимается в одну минуту... Теперь вы видите, что я не лгал, когда писал, что вы сразу все поймете...

— Я ничего не понимаю,— прервал его Меркер.— Вы на меня потрясающе похожи, это правда, но...

— Дайте мне возможность вам объяснить,— прервал его в свою очередь незнакомец.— Вы должны пожертвовать на это час времени. Теперь, когда вы меня видели, вы не откажете... и, уверяю вас, вы не пожалеете об этом...

— Хорошо,— сказал Меркер.— Я не знаю, что вы мне скажете... И не знаю, кто вы...

— Я вам это скажу. Кроме того, мое имя не имеет большого значения, и не подумайте хоть на минуту, что я собираюсь поведать вам какую-нибудь трогательную тайну моей или вашей семьи. Все дело только в том вещественном и неоспоримом факте, что мы исключительно похожи друг на друга. Но здесь, на площади, нельзя говорить спокойно. Надеюсь, согласитесь зайти ко мне. Я живу рядом, во вполне приличном отеле.

— Хорошо, идем к вам,— не колеблясь, сказал Меркер; простая и открытая манера незнакомца произвела на него хорошее впечатление.

Приключение становилось любопытным, и ему нравилась эта странная таинственность. Он все более и более увлекался и шел за незнакомцем, размышляя, к чему тот клонит.

Через пять минут они вошли в приличный и на вид тихий отель. Незнакомец взял ключ, назвал себя. Меркер не расслышал его имя. Мужчина в пальто отпер дверь своей комнаты в первом этаже. Он ввел гостя в комнату, зажег свет, предложил Меркеру кресло и затопил камин, в котором были уже приготовлены дрова.

Меркер, сидя в красном кресле, машинально осматривал аккуратно убранную и очень банальную комнату.

— Эта комната в стороне, и никто не услышит наш разговор,— сказал незнакомец, подходя к зеркалу с мокрым полотенцем. Он провел им по бровям и ресницам. Когда незнакомец повернулся к Меркеру, тот не мог опять не вздрогнуть: этот человек теперь, без шляпы и с белокурыми, как у него, волосами и усами, еще больше, чем в сумраке улицы, походил на его собственное зеркальное отражение.

— Подойдем к зеркалу,— с нетерпеливой интонацией сказал Меркер.

— Если хотите.

С минуту они стояли рядом перед большим немного мутным зеркалом.

— Поразительно...— тихо пробормотал Меркер.

— Я кажусь немного выше вас, но это потому, что у меня повыше каблуки на сапогах,— спокойно объяснил незнакомец,— тоже из предосторожности; мне хотелось, на всякий случай, не пропустить ни одной детали.

— Итак,— сказал Меркер,— жду объяснений. В чем дело?

— Вот! — незнакомец сел против него, вынул из кармана бумажник, а из бумажника — сложенный напечатанный листок и протянул его Меркеру.— Будьте добры, потрудитесь прочесть сначала это.

Меркер взял листок и развернул его. Это оказалась статья, вырезанная, по-видимому, довольно давно из какого-то журнала: название журнала не указано. Он прочел:

«Смесь

ФАБРИКА ДВОЙНИКОВ

Такая фабрика существует в Америке и снабжает весь мир. Ею управляет некто господин Тюркей. Сей уважаемый джентльмен основал ее несколько лет тому назад и сумел повести это важное дело с энергией и умом, необ-

ходимыми для полного развития такого отличного предприятия.

Произведения этого «дома» превосходного качества и вне конкуренции. Нельзя в этом роде сделать ничего лучшего. Господин Тюркей довел его до пределов совершенства. Превосходные исполнители, сотрудничество которых он оплачивает, как говорится, на вес золота, способны на труднейшие превращения и могут брать на себя задачи людей, занимающих самые видные положения, играть самые сложные и самые щекотливые роли без риска выдать себя. Они умеют быть двойниками любых видных лиц, как самых индивидуальных, так и самых тусклых, и ни самые близкие друзья, ни самые ярые враги никогда не отличат их от тех, кого они изображают.

Господин Тюркей джентльмен во цвете лет, очень спокойный и воспитанный.

— Не могу вам точно сказать,— ответил он на мой вопрос,— но знаю, что давно зародилась у меня эта мысль. Помните роман французского писателя Жюля Верна? Я забыл его название... Дело происходит в Америке, во время войны против рабства. Там действуют два брата, абсолютно похожих друг на друга; они совершают всякие преступления и устраивают друг другу «алиби», по всей видимости совершенно бесспорные. Это, может быть, дало толчок моей мысли. Остальное созрело, когда я стал прислушиваться к жалобам людей, стоящих высоко и чувствующих себя несчастными оттого, что у них совершенно нет ни минуты покоя. Я подумал обо всем, что можно из этого извлечь, и принялся за работу. Это был долгий и тяжелый труд, уверяю вас. Надо было иметь солидный основной капитал, чтобы завести дело на широкую ногу, чтобы устроить негласную рекламу и безукоризненно исполнить первые заказы. В особенности сложно было достать верных, преданных, честных и умных сотрудников.

Должен сказать, что клиенты появились очень быстро и почти сами собой. Эти люди так измучены разными светскими обязанностями, выездами, звaными обедами и всякими скучными сборищами, от которых они не смеют отказаться просто из уважения, что в большинстве случаев они с восторгом принимали предложения моих представителей. Некоторые лица отнеслись к моему начинанию вначале с недоверием, но когда поняли, насколько мои служащие достойны полного доверия, когда воочию увидели, как в гостиной к ним подходил какой-нибудь их старинный друг, садился рядом, говорил о семейных делах, а они и заподозрить не могли, что это был двойник, поставленный мною,— тогда и они были завоеваны. Поскольку все

мои служащие неболтливы, усердны и очень деликатны, а все мои клиенты — люди избранного общества и хранят в собственных интересах полное молчание о наших отношениях, то мое предприятие достигло успеха и процветает.

— Можно вас спросить, как вы действуете?

— Очень просто: новый клиент обращается ко мне и просит дать ему двойника. Конечно, это весьма богатый человек, и так как теперь мое положение в обществе очень солидно, то это человек, делающий карьеру. Понимаете? Он только что каким-нибудь образом выдвинулся. Поэтому ему надо выезжать, бывать на светских собраниях, на званых обедах. По общепризнанному мнению, это — единственный способ поддерживать свою славу и раздувать свое значение. Правда ли это или нет, но в это верят, и так все поступают... Но от этого страдает работа, а также и здоровье: вечная усталость и слишком обильная еда на званых обедах. Вот тут-то и надо подумать о двойнике. Новая знаменитость обращается ко мне, и я свожу его с одним из моих артистов, приблизительно одного роста с ним и похожего на него. Если у меня нет того, что надо, под рукой, я начинаю поиски и нахожу... И через два, самое большее три месяца мой агент, все время следивший за клиентом, мало-помалу воспринимает его внешность, он усваивает его манеры, жесты, особенности. У него, конечно, такие же костюмы, и он очень удовлетворительно представляет его на официальных торжествах, на свадьбах, похоронах, даже на парадных обедах, а тем временем оригинал спокойно работает в халате и в туфлях у себя перед камином.

Мы можем заменить кого угодно, верьте мне. Только, чтобы достичь хороших результатов, нужно много профессиональных усилий и денег. Но я всегда достигал вершин в своем деле, и ни одна неудача не омрачила моей репутации. У некоторых из моих старых клиентов есть собственные двойники, которые работают только на них, и так удачно, что я и сам не могу отличить первенца от его копии. Я достиг поразительных результатов, уверяю вас.

Теперь вы представляете себе всю грандиозность нашего предприятия. Вы видите, что мы можем удовлетворить все требования. Уверяю вас: наши агенты — исключительные люди. Подумайте только, мы имеем честь обслуживать коронованных особ, глав государств... Да, конечно!.. Глав государств... Но оставим!.. Это касается уже дипломатических тайн. Знайте только, дорогой мой, что мы — поставщики своей продукции на весь мир, что никто никогда не знает наверное, с кем он говорит...»

Статья продолжалась и далее в таком же юмористическо-фантастическом тоне, но Меркер не стал читать дальше и бросил на стол пожелтевший листок, который сейчас же опять сложился по старым сгибам.

— И вы меня затем побеспокоили, чтобы я прочитал это? — спросил резким тоном Меркер.

— Да, я вас побеспокоил для этого,— отвечал хозяин тем же тоном.

И теперь, когда он говорил своим естественным голосом, этот голос оказался настолько похожим на голос Меркера, что тот мог принять его за эхо, повторявшее его фразу. И этот властный голос, который был, действительно, его голосом и которому, как он привык, все окружающие его повиновались без колебания, выходя из уст этого странного двойника, заставлял его самого подчиняться своему авторитету. Он, как бы против воли, не мог допустить мысли о тщательно подготовленной мистификации, не мог рассердиться и сразу уйти. Он молча, долго и пристально смотрел на незнакомца. Затем сказал:

— Но все-таки, не это же вы мне предлагаете?

Тот утвердительно кивнул головой.

— Я не предполагаю злой шутки с вашей стороны,— спокойно продолжал Меркер,— и вы мне кажетесь разумным человеком. Кроме того, как бы я ни боролся, наше поразительное сходство мешает мне считать вас совсем чужим мне. Это не логично, но это так и есть на самом деле... Скажите мне откровенно, к чему, собственно, вы стремитесь? Ведь не можете же вы, на самом деле, надеяться провести в жизнь более или менее смешную юмористическую небылицу, которую вы заставили меня прочесть. Ведь это только фантастическая выдумка... Очень остроумная, если хотите...

— В самой легкомысленной фантазии кроется иногда зерно полезной мысли,— сказал хладнокровно незнакомец.— Я понимаю ваше изумление... Но... Ну, да! Да, я к этому стремлюсь, только к этому, уверяю вас... Подумайте!.. Конечно, раньше всего возникает один вопрос, даже раньше обсуждения того, осуществимо ли то, что я вам предлагаю, или нет... Это вопрос: будет ли для вас это полезно, понимаете... полезно. Облегчит ли это вашу работу, вашу карьеру, всю вашу жизнь. Я думаю, что да, и по тому, что я мог узнать о вас из газетных статей, из сплетен, из анекдотов, которые создают среди широкой публики, вроде меня, понятие о выдающихся людях, я думаю, что не ошибаюсь и что вы, больше чем я, того же мнения... Подумайте об этом. Ответьте, если хотите, потом. А сейчас позвольте мне сказать вам, с кем вы имеете дело. Говорю вам прежде всего, что сам я не представляю какого-нибудь потрясающего интереса, но я приличный человек, и если мы с вами

столкуемся, то лучше, чтобы вы знали, кто я. Мне тридцать девять лет; на год меньше, чем вам, не так ли? Меня зовут Рауль Бержан. Это вполне приемлемая фамилия, как вы думаете? Мой отец был дорожным агентом в Дофирэ, но наша семья бретонского происхождения, из окрестностей Бреста.

— У меня тоже предки бретонцы,— сказал Меркер. Он закурил папиросу и внимательно слушал.

— Да, знаю, и может быть, наше сходство объясняется очень дальним родством, которого мы с вами, конечно, не знаем. Впрочем, это не имеет никакого значения. Есть достаточно много случаев сходства между людьми, совершенно чужими друг другу, чтобы не надо было искать объяснений. В какой-то старой легенде говорится, что у каждого человека на земле есть свой двойник. Я ваш двойник, вот и все! Но... буду продолжать мою биографию. Я хорошо учился в Гренобле, затем окончил юридический факультет. И так как у меня не было средств — отец оставил мне в наследство только около 10 000 франков, все свои сбережения,— я поступил юрисконсультом в одну из местных больших акционерных компаний. Вот и все! Добавлю еще, что я не женат. Вы ясно можете себе представить мою жизнь: провинциальную, тусклую, спокойную жизнь. Но так как меня не тянуло ни играть в карты в кафе, ни к департаментским интригам, то я стал для развлечения читать все: журналы, романы, историю — все. Когда в журнале или газете мне попадалось что-нибудь забавное, я делал вырезки. Таким образом у меня сохранилась статья, которую я дал вам прочитать, она была напечатана лет пятнадцать назад в каком-то юмористическом журнале. Она меня поразила. У меня определенный вкус к романтике и к выдумке — если она правдоподобна. Меня тогда увлекал вопрос о сходстве, и я немного изучал его, по крайней мере, настолько, насколько это было возможно с теми немногими данными, которые я находил там в библиотеках... Недавно я этим опять занялся... Это было в прошлом году, летом, месяцев пятнадцать тому назад. Раз утром, открывая газету, я с изумлением увидел на первой странице свой портрет. То есть у меня было бессознательное впечатление, продолжавшееся всего одну секунду, что это мой собственный портрет. На самом деле это был ваш портрет; ваша фамилия стояла внизу. За три дня до этого вы были назначены министром, и вся пресса занималась вами. Но все-таки такое абсолютное физическое сходство, которое я увидел между вами и мной, произвело на меня сильное впечатление. Должен вам сказать, что окружающие этого не заметили. У меня в то время была острая бородка, коротко остриженные волосы, и я носил, из-за переутомления зрения, желтое пенсне. Но сам-то я хорошо знал себя, и я сравнил вашу фотографию, помещенную в газете, со своей старой карточкой, сделанной

четыре-пять лет тому назад, когда я был бритым. Между нами было полное сходство, и я в этом еще более убедился, когда достал лучшую вашу фотографию. Должен вам сказать, что вы уже давно меня заинтересовали вашей исключительно блестящей карьерой и всем тем, что рассказывали о вашей энергии, о вашей работоспособности, о ваших замечательных качествах как государственного деятеля. Откровенно признаюсь вам: я был сначала наивно и глупо горд тем, что был похож на такого выдающегося человека; а потом мной овладела жестокая тоска; мне стало стыдно, что я только скромный служащий, не имеющий впереди ничего, кроме скучного продолжения такого же серенького и банального существования. Я говорил себе, что при других условиях я тоже, может быть, стал бы выдающимся человеком. Затем, из-за какого-то странного раздвоения, мне начало казаться, что я отчасти разделяю ваши триумфы, за которыми я страстно следил по газетам... Как я вам уже говорил — у меня богатое воображение, и я мог свободно предаваться ему, окончив мою скромную ежедневную работу... Вот тут я и вспомнил об этом фантастическом рассказе, который уже раньше так поразил меня, что я вырезал его и спрятал... И наконец, я сказал себе: а почему бы нет? Да, почему бы мне, в некоторых случаях, не заменять Клода Меркера, чтобы он мог в это время спокойно работать, отдыхать... или веселиться...

Он умолк. Меркер, держа в пальцах папиросу, с любопытством смотрел на него.

— Продолжайте,— сказал он наконец.

— Первое, что мне захотелось сделать — это увидеть вас собственными глазами. Я поехал в Лион, куда вы официально прибыли на открытие памятника... не помню уж, какому великому человеку. Я вас видел; я слышал вашу речь. Я убедился в полном нашем внешнем сходстве и в том, что у нас одинаковый голос. Но тогда я был немного худее вас; несколько месяцев усиленного питания, и я сравнялся с вами. В то же время я совершенствовался в английском языке, так как узнал, что вы блестяще владеете им. Слава богу, я сам очень хорошо знал его; моя мать воспитывалась в Лондоне и с детства научила меня говорить по-английски. Я также тщательно стал изучать политическую жизнь за последние годы и старался приобрести познания по японскому искусству, потому что вы, кажется, знаете его в совершенстве?

— Это неправда,— сказал Меркер.— Мне создали такую репутацию, но это преувеличено. Мне оно нравится, но у меня нет времени заняться им, и я ничего толком не знаю.

— Тем лучше, потому что это очень трудно,— сказал Бержан.— Короче говоря, я старался изо всех сил и, заметьте, без всякой уверенности в том, что когда-нибудь решусь поехать

повидать вас и предложить вам такое невероятное сотрудничество. Иногда я говорил себе, что я просто сумасшедший, и не думал об этом целыми днями... по крайней мере, старался больше не думать. Но это постоянно возвращалось и владело мной. Я становился честолюбив... за вас. Моя жизнь казалась мне все более и более серой, пресной и скучной. Мне представлялось, что, не предлагая вам своей помощи, я предаю наше общее с вами дело... Все, что я говорю вам, очень запутанно и странно... но и мои мысли были такими же... Что делать? Наше с вами положение такое необычайное... И наконец, месяц тому назад, я вдруг решился. Я взял отпуск по болезни и уехал. Приехав в Париж, я остановился здесь. Я знал этот квартал, так как жил здесь во время своих кратких наездов в Париж. В последний раз это было четыре года назад. Теперь я приехал ночью и, решив свидеться с вами как можно скорей, сбрил бороду, чтобы вы с первого же взгляда были поражены нашим сходством; затем выкрасил брови и усы, чтобы это сходство не бросалось в глаза всем, и для этого же увеличил свой рост высокими каблуками. После всего этого, я написал вам мое первое письмо и только тогда сразу понял, что мне очень трудно будет встретиться с вами. Я не мог ни пойти к вам, ни попросить вас принять меня, ни объяснить в письме, в чем дело. Если бы кто-нибудь, кроме нас, узнал бы нашу тайну — тогда еще это была только моя тайна,— ничего нельзя было осуществить; то, что я просил у вас, было очень необычайным. Я это знал и мучился. Мои первые ожидания у решетки церкви мне показались бесконечными. И все-таки какое-то странное чувство давало мне надежду. Хотите знать какое? Я говорил себе: «На его месте я бы непременно пришел». И в конце концов я оказался прав, так как вы пришли.

С минуту они оба молчали.

— Итак,— медленно сказал Меркер,— вы мне предлагаете действительно это? И вы могли хоть секунду подумать, что я соглашусь потерять всеобщее уважение, стать смешным, разбить карьеру из-за проведения в жизнь какой-то нелепой фантазии, которая, если бы я имел безумие поддаться ей, была бы изобличена в первую же минуту!.. Это фарс, дорогой мой, мелодрама... Все, что хотите... но только что-то неосуществимое... к несчастью...— прибавил он точно против воли.

— Вы говорите, к несчастью? — спросил Бержан.

— Я говорю, к несчастью... Да! Конечно, я говорю — к несчастью. Если бы ваше предложение было приемлемым — конечно, я принял бы его. Это само собой очевидно. И это была бы самая большая услуга, которую кто-либо мог оказать мне. Несмотря на все мои усилия, несмотря на то, что я очень быстро работаю и никогда не отдыхаю больше, чем это строго необходимо, мне никогда не удается сделать самому все то, что

хотелось бы сделать. Поглощенный без передышки бешеной работой, я не живу. У меня нет ни минуты для личной жизни. Единственно, что стоит запомнить из того, что вы заставили меня прочесть, это — рабство знаменитого человека, никогда не принадлежащего себе. Конечно, было бы прекрасно, неоцененно — иметь двойника, который бы перевоплотился в вас, когда вам нужно только где-нибудь присутствовать и представительствовать. Я часто мечтал освободиться от этой официальной чепухи, которая просто приводит меня в отчаяние, поглощая бесполезно большую часть моего времени.

Бержан улыбнулся.

— Вот я и предлагаю вам способ...

— Вы мне предлагаете какую-то безумную шутку, которую вы придумали от безделья и одиночества. Вы сами себя уверили в осуществимости этой химеры. У вас есть оправдание в нашем необычайном сходстве... Я чувствую, что вы честный и искренний человек, иначе я мог бы подумать, что кто-нибудь из моих соперников или врагов, желающих занять мое место, устроил эту фантастическую историю, в надежде, что я попадусь на эту удочку и погибну...

— Это было бы слишком хитроумно,— спокойно заметил Бержан.— Я думаю: вы хорошо оцениваете положение...

— Не настаивайте! — прервал его Меркер, вставая.

— Нет, буду настаивать. Если вы слушали до сих пор меня, послушайте еще. Я слишком хотел иметь с вами это свидание, чтобы оно могло так окончиться... Вы принуждены будете согласиться, потому что то, что я вам предлагаю, вполне осуществимо... Мне кажется, вы себе все это не так представляете, как это есть на самом деле. Конечно, если бы я был агентом вашего врага и предал бы вас, выдав нашу тайну, в то время когда я вас бы заменял... это навредило бы вам. Но на самом деле, ведь это не так! Вы оказываете мне честь не считать меня таким... и в этом вы совершенно правы. Вы знаете, что я не провокатор... А кроме того, легко проверить все то, что я рассказывал... Единственно, что вам мешает принять мое сотрудничество, которое для вас было бы неоценимым, это боязнь, что нас могут открыть. Так это невозможно. Подумайте хорошенько: во-первых, явная несообразность такого предположения — никто не рискнет заподозрить истину, до того она будет смела; а во-вторых, я, хотя бы для начала, буду заменять вас только в официальных торжествах. И вы сами будете появляться на другой день или даже через несколько часов... Если бы даже возникло подозрение, хотя оно, клянусь вам, невероятно, вы его сейчас же рассеете.

— Но как вы хотите, чтобы вас, несмотря на наше исключительное сходство, сразу же не разоблачили бы, не установи-

ли бы вашу личность?.. Повторяю — это, может быть, очень удачный литературный прием, но...

— Простите! Как я уже сказал — я изучал этот вопрос. Конечно, это неоднократно использованный литературный прием, но это не только литературный прием. В истории можно найти много совершенно поразительных примеров такого необычайного сходства. У Плиния (кн. II, гл. 23) и Валерия Максима (кн. II, гл. 15) сказано, что Сура, бывший проконсулом Сицилии, встретился раз с бедным рыбаком, изумительно похожим на него. У них были одинаковые черты лица, одинаковое сложение, те же движения, такой же голос, смех, и наконец, они оба заикались. По свидетельству того же Плиния (кн. VII, гл. 13), у Страбона, отца великого Помпея, был повар — вылитый его портрет, которого он мог выдавать за себя. Можно привести множество подобных примеров. Наиболее типичный — это случай, происшедший в XVI веке с Мартином Гэром. Вы знаете?

— Не очень хорошо,— сказал Меркер.

— Вот в двух словах в чем дело: Мартин Гэр женился очень молодым на Бертранде де Рольс и жил с ней в деревне, на юге Франции. Когда ему минуло двадцать два года, он совершил какую-то мелкую кражу и бежал, не сказав даже жене куда. Восемь лет не было никаких вестей от него. Затем появился человек, называвший себя Мартином Гэром и до того похожий на него, что все признали его без всяких колебаний, начиная с его четырех сестер и его жены — Бертранды де Рольс, которая опять стала жить с ним, как с мужем. Прошло несколько лет; у Мартина Гэра произошла с одним из его дядей ссора на денежной почве. Дядя стал утверждать, что этот вернувшийся человек не настоящий его племянник, и хотел заставить Бертранду признать, что человек, с которым она жила, не ее муж. Но она ответила, что ей-то лучше знать, чем кому-либо другому, и что «это был либо ее муж, либо черт в его коже». И все-таки, это был не он! В один прекрасный день, в деревне появился человек с деревянной ногой и заявил, что он настоящий Мартин Гэр, что он возвращается из армии и потерял ногу при осаде Сен-Лорана. Он потребовал восстановления в правах. Обоим Мартинам Гэрам сделали очную ставку. Они были поразительно похожи между собой и обзывали друг друга самозванцами. Тогда привели четырех сестер Гэра и Бертранду де Рольс. Они, как и в первый раз, без малейшего колебания признали в вернувшемся человеке Мартина Гэра, сознались в своей ошибке и заявили, что второй-то и был настоящим Мартином Гэром, их братом и мужем. Тогда ложный Мартин Гэр, тот, который вернулся первым, признался, что он солгал и что на самом деле он был Арнольдом де Тилем. Его повесили.

Вам же, Клод Меркер, не придется возвращаться и требовать восстановления в правах, ведь если я буду действовать, то только с вашего согласия... Хотите еще другие примеры?.. Целый ряд исторических загадок и знаменитых судебных процессов основаны на сходстве. Не стоит перечислять все случаи. Был же Лжедимитрий. Было дело об ожерельи из-за сходства Марии-Антуанетты с девицей Николь Легэ. В Англии было необычайное дело Тайшборна, где одному хитрому мяснику удалось выдать себя за потонувшего в море наследника старинной семьи. До самой последней минуты, даже когда судьи признали его виновным, мать утонувшего продолжала утверждать, что самозванец был ее сыном. В Англии же вскрылась недавно страшная тайна Друса Портланда, основанная на сходстве между высокопоставленным лицом и торговцем мебелью. Это была настоящая сенсация, со всеми аксессуарами захватывающего романа: двойная жизнь – то купец, то герцог, подземелья, фальшивые бороды, парики, мнимые похороны, гроб, наполненный свинцом, тайный брак, и все это поддерживалось чьими-то взносами.

Видите: я хорошо изучил этот вопрос. Все эти примеры доказывают, что мое предложение вполне осуществимо. Я сам вначале колебался: не безумие ли то, что я задумал?

– Но,– прервал его Меркер,– я понимаю совершенно ясно – если допустить, что ваш план осуществим – всю выгоду его для меня; но вам-то что в этом?

– Видно, что вы совсем не знаете, что значит скучать в маленьком провинциальном городке,– сказал с легкой горечью Бержан.– С тех пор как я начал думать об этом, моя жизнь стала совершенно невыносимой. Меня пожирало это нелепое честолюбие «за вас», о котором я вам только что говорил. Сам по себе я ничто; но принимая участие в вашей жизни, в вашей славе, я таким образом становлюсь чем-то... дублером знаменитого человека!.. правда, только дублером, но в течение нескольких часов мое самолюбие будет удовлетворено, чего я сам по себе никогда не смогу добиться, так как у меня нет ни имени, ни состояния, ни способностей, ни энергии... Я средний человек, я это знаю... но этот средний человек внешне похож на вас. Моя единственная удача, мое единственное достоинство – это то, что я похож на вас и что я вообразил себе, что могу что-нибудь извлечь из этого... Заметьте, я считаю себя достаточно умным, чтобы не наделать оплошностей, которые могли бы все выдать.

– Вы ничего не говорите о деньгах,– сказал Меркер, прямо глядя ему в глаза.

– Не стоит! Я знаю, что вы сделаете все, что надо. Вы будете оплачивать мое существование здесь, ведь оно будет и вашим. А кроме того – но уверяю вас, это совсем второстепен-

ный вопрос, так как я в этом отношении совершенно спокоен,– вы богаты, и я буду пользоваться вашим богатством. И если все пойдет так, как нам хочется, а иначе и быть не может, вы мне обеспечите спокойную старость...

– Итак,– продолжал он, и голос его задрожал от легкого волнения,– вы согласны! Клянусь вам, нам это удастся... Я в этом уверен, повторяю вам! И думаю, что это и позволяет мне с такой уверенностью говорить с вами... Мне кажется, что я говорю сам с собой... Я не стесняюсь, не конфужусь... вы меня за это простите... Итак, решено: вы согласны!

– Я... я не знаю...– сказал Меркер.– Откровенно говоря, меня это очень соблазняет... Уже одна необычайная смелость вашего проекта могла бы соблазнить меня. Я люблю риск, если есть за что рисковать... Я очень точен, ясен и уравновешен. Но это вовсе не значит, что я отказываюсь от романтизма в жизни или в замыслах. Вы, конечно, обдумали и отделали все детали осуществления вашего предложения. Можете вы их изложить мне?

– Конечно: прежде всего, мы должны с вами в течение некоторого времени – двух, а может быть, и трех недель – «репетировать», чтобы я мог вполне усвоить ваши манеры и ваши обычные жесты. Для этого вы будете жертвовать часом или двумя, когда у вас будет свободное время. Вы должны рассказать мне с точностью, как вы держите себя в публике, ваше отношение к людям, находящимся рядом с вами на официальных торжествах, и те фразы, которые вы обычно говорите... Думаю, что я мог бы начать с какого-нибудь банкета, конечно, не представляющего особого значения. На таких официальных трапезах всегда бывает целый ряд людей, которые вас совсем или почти совсем не знают.

– Да. По-моему, нет более отвратительного способа терять время. Это входит в круг тех деяний – для меня совершенно не нужных,– которые налагаются на человека, стоящего у власти, тем, что я называю представительственным заблуждением. В таких случаях вы являетесь центром, к которому сходятся пятьдесят, шестьдесят или сто мелких честолюбий, откровенно принимающих личину преданности. В каждом возражении, в каждой красноречивой формуле о бескорыстии трепещет та же подразумеваемая фразочка, которая в конце концов и обнаруживается, иногда грубо, а иногда ловко замаскированная, в зависимости от темперамента собеседника: – «Я этого хочу!».

– Ну, и скептик же вы! – сказал слегка смущенный Бержан.

– Да, я скептик по отношению к идеям, когда они этого стоят... Но вы видите, что я с вами просто думаю вслух... Это нелепо, но, повторяю, я не могу заставить себя не относиться

к вам с интимной бесцеремонностью. Наше исключительное сходство мешает мне видеть в вас совершенно чужого человека. Насколько вам оно дает уверенность, настолько меня оно делает доверчивым. Я не могу удержаться, чтобы не говорить с вами, как с самим собой... Хотя мне не свойственна такая доверчивость... До сих пор я высказывал ее только одному человеку... единственному моему другу, к которому я отношусь без всякого скептицизма... Вы говорили, что начнете с банкета? Хорошо!

— Я тоже, видите, хочу привыкнуть... Я не очень застенчив... но все-таки гораздо меньше буду стесняться, если будет сто человек, чем перед одним или двумя, в каком-нибудь частном деле. Я выучу то, что надо будет говорить... Вы много говорите?

— Нет,— сказал Меркер.— Я молчалив.— Он засмеялся и добавил: — Не забывайте, что я очень мало ем и пью только воду.

— У меня обыкновенный аппетит,— заметил Бержан,— и я пью вино... не много, но с удовольствием... Но я обойдусь без него, будьте спокойны... Вижу, мне придется начать курить. Мне врач когда-то запретил курение из-за сердца, но я снова легко привыкну... Итак, буду продолжать: не думаю, чтобы мы могли и дальше жить в этом отеле; здесь недостаточно комфортабельно для вас, и потом это могло бы представить ряд практических неудобств. Я сниму квартиру, лучше всего на первом этаже, и скажу, что у меня есть брат, который много путешествует и иногда навещает меня. Братом будет другой из нас. В первое время я буду вам не очень полезен, но когда я совсем привыкну, то буду в состоянии заменять вас каждый раз, когда вам не нужно будет «морально» присутствовать где-нибудь. Я скоро разучу мою роль, вы можете положиться на мое прилежание, а если представится неожиданное затруднение — я сумею его обойти... Техника замены одного другим не сложна. Вы ведь не живете в министерстве?

— Нет, я живу один и очень скромно, вот уже пятнадцать лет, в одной и той же квартире, на улице Лилль... У меня всего один лакей.

— Прекрасно! Когда я вам буду нужен, вы выйдете от себя и на некотором расстоянии возьмете экипаж, чтобы добраться до нашей общей квартиры. Я вас жду. Я одет так же, как вы — Клод Меркер,— такое же черное пальто, такой же котелок и строгий галстук. Я ухожу и занимаю ваше место. Вы остаетесь дома, вы свободны, вы становитесь мной, и если это надолго, и вы тоже хотите выйти, вы подкрашиваете усы и брови, изменяете прическу, делаете прямой пробор вместо зачесанных назад волос, надеваете ботинки с высокими каблуками, желтое пенсне, клетчатое пальто, фетровую шляпу, галстук Лавальер. Это будет мой обычный костюм. И пока я Меркер, вы Бержан.

Я надеюсь, что скоро буду иметь возможность давать вам несколько дней свободы подряд — для спокойной работы. Но как только мы начнем нашу работу — нужно будет сейчас же отослать вашего лакея. Он хорошо знает ваши привычки. Его могут поразить какие-нибудь детали, когда мне придется заменять вас на вашей квартире. Новый лакей, который будет по очереди видеть нас, примет наши привычки, не подозревая, что они принадлежат двум разным людям. Может быть, он будет считать вас капризным, вот и все... Итак, вы согласны! — закончил он с воодушевлением.

Меркер задрожал, как будто очнулся от сна.

— Нет! Нет! Нет еще!.. Я хочу подумать... Я не отказываюсь... И зачем мне, в конце концов, отказываться? Зачем не воспользоваться случаем, который дает мне возможности несравненные, каких еще не было ни у одного человека. Послушайте, Бержан, я ничего не решаю. Я хочу посоветоваться с одним другом, о котором я вам только что говорил.

— Но подумайте, если кто бы то ни было узнает...

— Только не он! Я верю ему, как самому себе. Я не решусь обмануть его, и кроме того, у нас ничего не выйдет, если мы не посвятим его. Он слишком хорошо меня знает... А затем, я так хочу!.. Ведь рискую я, а не вы.

Он снова стал властным, почти грубым Меркером, которому никогда никто не смел возражать.

— Хорошо,— пробормотал Бержан.— Я понимаю... вы, может быть, хотите таким образом принять меры предосторожности против меня. Я ничего не могу возразить, и так как я изложил вам все совершенно откровенно, у меня нет колебаний, раз вы так уверены в вашем друге...

— Половина первого,— вдруг сказал Меркер.— Я ухожу. Вы получите мой ответ через три дня.

Он ушел. Бержан задумался. Он чувствовал, что не заснет. Вдруг он заметил на столе забытый Меркером портсигар. Он взял папиросу и закурил ее, чтобы, на всякий случай, приучиться.

В воскресенье утром пришло письмо; он вскрыл его с сильно бьющимся сердцем. В письме было только одно слово: «Согласен».

Бержан весь задрожал, его лицо прояснилось; ему показалось, что он начинает новую жизнь. Он сделал движение плечами, точно сбросил с себя какую-то тяжесть — тяжесть долгих лет серенькой жизни бедного чиновника, пригвожденного к обыденной работе, без всяких надежд, без волнений, без ожиданий. Он подошел к мутному зеркалу шкафа посмотреть на себя... посмотреть на лицо Клода Меркера в своем лице.

Затем вернулся к столу, взял лист бумаги и написал письмо к себе, в провинцию, своему начальнику.

«Господин директор!

Честь имею покорнейше просить вас принять мою отставку. Состояние моего здоровья заставляет меня»...

И от охватившего его возбуждения его рука действительно дрожала, как у лихорадочного больного.

III

Репетиция

После второго свидания с Клодом Меркером, Рауль Бержан нанял маленькую квартиру из трех комнат, кухни и узкого коридора; она находилась в спокойном доме на острове Сен-Луи, на набережной против левого берега Сены, на углу одного тихого переулка. Вход в квартиру был из-под ворот, не доходя до помещения привратницы, и таким образом можно было, хотя бы отчасти, избежать ее профессионального любопытства. Окна двух первых комнат выходили на набережную; окна третьей комнаты, которая была на углу, и окна кухни выходили в переулок; так как они находились невысоко от земли и были без решеток, а только со ставнями, то ими, при случае, можно было воспользоваться как дверью, минуя привратницу.

Бержан, у которого, по его собственному признанию, была сильная склонность к романтизму, очень понравились особенности этой квартиры, и он быстро учел все выгоды, какие они могут представить. Действительно, это были лучшие условия, при которых можно было удобнее всего сохранить тайну его смелого заговора с Клодом Меркером. Они заключали в себе высшую предосторожность и гарантию безопасности, которая сразу восхитила его. И хотя Меркер нашел сначала, что остров Сен-Луи расположен слишком далеко от центра его общественной деятельности, но скоро сам пришел к тому же заключению. Бержан нанял на свое имя квартиру в три комнаты и на деньги, полученные от Меркера, просто и комфортабельно обставил ее. Через две недели после их первой встречи у ограды церкви Сен-Жермен ле Пре он уже поселился в ней.

И вот тут-то, в средней комнате этой квартиры, самой большой комнате, из которой Бержан сделал что-то вроде рабочего кабинета-гостиной, собрались в один из декабрьских вечеров Меркер, Бержан и доктор Вотье.

Когда, за несколько времени до этого, Меркер познакомил Вотье со странным предложением человека, так похожего на него, доктор искренне удивился и долго обдумывал... Затем поднял глаза на Меркера и сказал:

— А почему бы нет?.. Да! Почему бы нет?.. Надо очень осторожно отклонять от себя все странное и необычайное,

только потому, что это что-то странное и необычайное... Предложение, сделанное тебе, пожалуй, единственный способ, чтобы такой выдающийся человек, как ты, стал чем-то более значительным, чем просто выдающийся человек... Да, получить такую, почти волшебную возможность раздваиваться; иметь если не вдвое больше времени, чем у всех людей, то, во всяком случае, на треть больше. Все ненужное в твоей жизни уйдет от тебя, если ты сдашь ее другому. Он поможет тебе нести бремя, взяв на себя ту часть, которую тебе не необходимо нести самому. Таким образом, ты можешь еще продержаться... Я говорю продержаться. Ты сгораешь! Если ты не будешь отдыхать, то каковы бы ни были твои силы, энергия, способность к борьбе, ты не будешь в состоянии продолжать твою изнурительную работу. Есть очень банальная, но абсолютная истина: силы человека не безграничны. Тебе нужно время для отдыха, иначе, может быть, и даже наверное, явится вдруг неизбежный, изнуряющий перерыв из-за болезни или переутомления. Требуя от самого себя слишком многого, ты рискуешь когда-нибудь не получить ничего. Случайно, остроумная выдумка этого человека дает тебе возможность отдохнуть: это исключительный, чудесный, невероятный случай! Воспользуйся им или, по крайней мере, постарайся воспользоваться. Это, конечно, совершенно необычайный случай... необычайный, но в нем нет ничего низменного, ничего дурного, ничего такого, что может повредить другому человеку. Это протест – который, правда, останется неизвестным – это твой протест против напрасной потери времени, связанной с твоим положением. А кроме того, по-моему, такие люди, как ты,– единственные судьи своих поступков. Чтобы вести к благу свое дело, ты можешь свободно пользоваться всеми способами, какие тебе нужны.

– Итак... ты думаешь, я должен согласиться?

– Да! А кроме того, если я и скажу тебе «нет» – ты все равно согласишься. Ты уже это решил. Я не сомневаюсь, что мое мнение для тебя ценно, но рядом с твоим оно ничто. Дорогой мой, я говорю тебе, как всегда, все, что думаю... И прибавляю, что если бы ты не был таким – ты не был бы Клодом Меркером... Но все же... все же совершенно ясно, что такое мнение, как твое, так и мое, имеет значение лишь при одном условии, если это оригинальное замещение логически возможно. Я хочу сказать: необходимо, чтобы сходство между тобой и Раулем Бержаном было совершенным, абсолютным... А этот вопрос один только я могу решить, потому что вы меня одного посвятили в ваш план. Похож ли на тебя этот человек так, как вы оба это думаете? Только кто-нибудь третий, видя вас вместе, может решить этот вопрос. Опыт с зеркалом, который ты проделал, дает большие надежды, но его недостаточно. Манеры, позы, жесты могут, несмотря на близкое сходство, не

быть похожими. Сумеет ли Бержан точно подражать тебе? Я буду руководить им, исправлять ошибки и указывать на детали, которые ты, конечно, и сам не знаешь. В течение этих нескольких недель, которые остаются до его «дебюта» и моего отъезда, я его, если можно так выразиться, подготовлю. А если нам не удастся добиться полного совершенства, придется отказаться... Но, судя по тому, что ты мне о нем говорил, он добьется... А кроме того, ваш план до того не обычен, что не может возникнуть никаких подозрений; для этого нужно, чтобы твой двойник сделал какую-нибудь грубейшую ошибку или захотел бы предать тебя.

— Ни того, ни другого нечего бояться,— живо сказал Меркер.— Это умный и серьезный человек. Он сделает все возможное, чтобы удовлетворить свое честолюбие, то есть быть мной... И если подумать хорошенько — ему есть из-за чего стараться. Представь себе только ту жизнь, которую он вел в провинции, и ту, которую ему придется вести здесь. Что касается измены... Нет! Это решительно невозможно, ведь это до того противоречит его явному интересу. И затем, если он меня выдаст... ну... так я во всем признаюсь... Я расскажу всем, что меня заставило пойти на такой обман. Уверен, что мой авторитет еще больше вырастет от того, что я посмел совершить это.

— Возможно... Но не наверное... Может случиться, что получится такой скандал, от которого ты погибнешь, хотя есть способы заранее гарантировать себя... Впрочем, оставим это. Действительно, предательство совершенно невероятно, если только он рассказал тебе правду о своем прошлом.

— Я все разузнаю... Мне будет легко это проверить окольным путем. Нет! Нет, он искренен, я это чувствую, я могу ему довериться, как самому себе.

Вотье ничего не ответил. Он решил изучать Бержана не только со стороны его сходства с Меркером, но и с моральной стороны. И после этого разговора Меркер написал Бержану: «Согласен».

Двойные зеленые бархатные занавеси на окнах были тщательно задвинуты, в камине ярко пылал огонь, а три больших лампы без абажуров освещали комнату. Доктор Вотье сидел в кожаном кресле, наблюдая за Меркером и Бержаном; они стояли перед ним, оба одинаково одетые, и разговаривали.

— Добились! — пробормотал Вотье.— Или, по крайней мере, скоро добьетесь.

— Господин Бержан,— продолжал он громко,— вы делаете поразительные успехи. Это наша пятая репетиция, и вы уже почти совершенно одно лицо с Меркером... Да, почти что... Только не забывайте такого характерного для Меркера жеста, когда он вдруг слегка пожимает плечами и откидывает голову

назад, хмуря брови... а руки держит в карманах пиджака... Да, да, вот так! Не забывайте делать этот жест время от времени, когда будете слушать собеседника. А затем привыкните быть более резким в движениях, Меркер всегда резок. Он мало жестикулирует, обратите на это внимание, у вас есть склонность к жестам, гораздо больше, чем у него; у Меркера жест порывистый и четкий. Старайтесь также, когда говорите, отчетливее вбивать слова. У вас голос более мягкий, более музыкальный, чем у него.

— Хорошо,— сказал покорно Бержан.

Меркер взял папиросу и закурил. Бержан сделал то же.

— Прекрасно,— одобрил его Вотье.— Ваши движения совершенно тождественны... Теперь садитесь оба передо мной и будем втроем разговаривать... Господин Бержан, заметьте это движение Меркера: он кладет левую ногу на правую и наклоняется корпусом вправо... Не совсем так, он делает это резче. На этот раз хорошо. Не забывайте, что он всегда сморкается левой рукой. Это, конечно, все детали, но ничем не надо пренебрегать... Быть может, среди людей, с которыми вам придется встречаться, будет тонкий наблюдатель... Впрочем, уверяю вас, успех обеспечен. Я умею наблюдать: почти невозможно отличить вас одного от другого. Конечно, для меня есть разница, быть может, она была бы и для всякого, наблюдающего за вами, когда вы вместе. Но, видя вас порознь, ни один не предубежденный человек не усомнится, что видит одно и то же лицо... Я даже не уверен, что и предубежденный человек может заметить разницу... Господин Бержан, господин Бержан, послушайте, не принимайте такого мечтательного вида. У Клода Меркера никогда не бывает мечтательного вида. Он часто бывает молчалив, в особенности там, где вы его должны будете заменять... В таких случаях у него бывает озабоченный вид, но никогда нет блуждающих глаз и приятной полуулыбки, дающей такое мягкое выражение вашему лицу. Вы обратите на это внимание, не правда ли? Простите за эти постоянные уроки, но...

— Я вам бесконечно благодарен,— почтительно сказал Бержан.— Единственное мое желание — это быть достойным той чести, которую оказывает мне господин Меркер, соглашаясь на мое скромное сотрудничество.

— Поговорим немного о банкете,— прервал его Меркер.— Я вам дал, Бержан, список приглашенных и описал тех, кому вам придется сказать несколько слов.

— Я все знаю наизусть,— сказал Бержан,— а сейчас я учу речь, которую должен буду произнести... На следующей нашей репетиции я скажу ее, а вы будете так добры поправить мне интонации.

— За обедом вы кашляните несколько раз,— прервал его доктор Вотье.— Этим можно будет объяснить глухой голос, который у вас, пожалуй, будет от волнения на первом вашем выступлении.

— Если с вами заговорят о вопросах, выходящих из указанных мной рамок, вы скажете только: «Мы об этом еще поговорим».

Вотье засмеялся.

— Слышите, господин Бержан, эту четкую интонацию, обрывающую и сажающую на место всяких просителей и нахалов: «Мы об этом еще поговорим!»

— В качестве просителя,— сказал Меркер,— вас, Бержан, будет, наверное, осаждать некто Буфремон. Знаешь, Вотье, наш товарищ по лицею. Он будет там, потому что он лезет всюду. Это толстый, бритый малый, с розовыми щеками, черными усами и блестящей лысиной; элегантный, в орденах и важный. У него мания напоминать мне о тысячах мелочей из воспоминаний детства, к которым я совершенно равнодушен или о которых я совсем забыл... Правда,— добавил он,— у меня в голове столько вопросов, требующих немедленного разрешения, что из моей памяти улетучились все мелкие детали прошлого. Я бы не мог даже вспомнить, как звали наших преподавателей.

— Ты очистил место, чтобы поместилось то, что тебе сейчас нужно. Прекрасная штука забывать... Меньше замечаешь, что стареешь... Но я, старина, я не забываю некоторых вещей из прошлого...— добавил он. И, увидя, что Меркер хочет остановить его жестом, добавил:

— Не бойся, я не собираюсь опять говорить тебе о моей благодарности, но знай, что я сообщил об этом господину Бержану. Да, как-то вечером, пока мы ждали тебя... Я это сделал, чтобы он знал, что может доверять мне, как тебе самому...

Но Вотье сделал это также и для того, чтобы Бержан знал, что за ним наблюдает и его изучает безгранично преданный Клоду Меркеру человек.

— Этот дурак, я говорю о Буфремоне,— продолжал Меркер,— обычно засыпает меня необычайными похвалами и выражением дружеских чувств. Он забыл всех наших товарищей, которые достигли успеха. Вы будете холодны с ним. Он непрерывно будет говорить вам «ты»; говорите с ним мало. Он будет намекать на одно обещание. Вы скажете, что надо подождать. Кстати, я никогда не давал ему обещания, но он надеется заставить меня этому поверить. Речь идет об ордене, которого он жаждет, но которого он не получит... по крайней мере, через меня; это было бы несправедливо: у него нет никаких серьезных прав. И он перебил бы его у тех, кто имеет все права,

кому эта награда важна для карьеры и кто мечтает о ней буквально до болезни. Итак, будьте с ним холодны и обрывайте его, когда он будет льстить, как он это делает обычно и так чрезмерно, что я был бы положительно смешон, если бы стал слушать его.

— Я ему скажу, что кадило создано не для убийства,— сказал Бержан.

— Неплохо сказано, для маленького провинциального чиновника,— заметил Вотье.— Послушайте, у нас до ухода еще есть время. Давайте, поговорим о чем угодно, о погоде, о политическом положении, о последней пьесе, которую из нас никто не видел.

— В феврале будет парадный спектакль в Большой Опере по случаю приезда японского императора... Вы меня будете там замещать, Бержан,— сказал Меркер.

— Я к вашим услугам... Но скажите мне, господин Меркер, вы хотите, чтобы после этого банкета я ночевал у вас и пришел сюда на другое утро, чтобы вы могли пойти в министерство?.. Хорошо!.. Но я должен буду предварительно побывать у вас на квартире.

— Конечно! Вы придете как-нибудь вечером, в ваших очках и с накрашенными усами. Вы поднимитесь, не разговаривая с привратницей; лакея не будет дома... Я рассчитаю его, чтобы заменить новым, накануне вашего дебюта, как мы с вами уже условились.

— Господин Бержан, Меркер никогда не гладит усов так, как вы это сейчас делаете,— прервал его Вотье.— Но, пожалуйста, не будем говорить больше о делах. Просто поболтаем. Послушай, Меркер, как ты думаешь, должна ли женщина — я говорю, конечно, о честной женщине — быть кокеткой и до какой степени?.. Выскажи свое мнение, а мы с господином Бержаном будем отвечать тебе.

Меркер засмеялся, и они все трое стали беседовать, сначала немного неловко, как бывает всегда при вынужденном разговоре, а затем совершенно свободно. Вотье, принимая изредка участие в разговоре, наблюдал за обоими собеседниками. Меркер, по своей привычке, был резким, порывистым не только в тоне, но и в том, что он высказывал. Бержан, у которого были другие взгляды, мало-помалу оживился, и его почтительная сдержанность, которую он выказывал вначале, совсем исчезла. Он горячо возражал Меркеру.

— На этом мы и остановимся, если хотите,— сказал Вотье.— Пора уходить, господин Бержан, я должен вам сделать серьезное замечание: наблюдайте за собой. Вы остроумны, и вы это высказываете, вы легко можете поддаться желанию блистать в обществе. Вы решительны и остроумны, у вас встречаются забавные остроты. Тщательно избегайте этого.

Наступило короткое молчание. Бержан слегка улыбался и казался смущенным. Меркер изумился и недоброжелательно посмотрел на Вотье.

— Дорогой мой,— сказал он наконец, стараясь говорить равнодушным тоном,— неужели у меня так мало остроумия?

Вотье посмотрел ему прямо в лицо.

— Я не говорю, что у тебя нет остроумия, но у тебя нет такого рода остроумия, или же ты не показываешь его. Нет, старик, напрасно ты принимаешь оскорбленный вид, я все равно не доставлю тебе удовольствия тем, чтобы по-идиотски льстить тебе. Ты говоришь то, что хочешь сказать, всегда ясно, а когда нужно, то и красноречиво; у тебя есть сила, горечь, ирония, но ты совсем не то, что называется блестящий собеседник. Ты это так же хорошо знаешь, как и я, и ты сам тысячу раз говорил, что, по-твоему, блестящий собеседник — худший из болтунов. Это мнение очень неприятно для господина Бержана, у которого есть все свойства блестящего собеседника, и если бы он дал себе волю, то создал бы тебе репутацию остроумного человека, совсем не совпадающую с общим мнением о тебе. Вот и все! Пожалуйста, вы оба не обижайтесь на меня. Господин Бержан должен смягчить свои неровности и свою внешность, а сейчас отправимся домой, потому что уже поздно... Экипаж ждет меня, я завезу тебя, Меркер.

Они простились с Бержаном, надели пальто и вышли. Падал легкий снег. Они задрожали от резкого холода, быстро сели в ожидавший их экипаж и поехали вдоль темной набережной.

— Ну что? — спросил Меркер.

— Будь спокоен, дело пойдет!

— И ты не веришь больше в возможность какой-нибудь оплошности, которая все выдаст; не веришь в предательство?

— Оплошность? Он на это неспособен, он слишком хитер для этого. Он неспособен и на предательство. Я в этом уверен. Тогда, вечером, когда мы были с ним вдвоем, он мне передал бумагу. Это было письменное признание в том, что он обокрал меня. «Таким образом», сказал он, у «вас не будет никакого сомнения в моей искренности. Этим ложным признанием я отдаюсь в ваши руки. Я знаю, что господин Меркер доверяет мне, но вы, как друг, более подозрительны, чем он сам, заинтересованный в этом. Теперь у вас есть орудие против меня, и, благодаря ему, вы должны вполне доверять мне.

— А что сделал ты? — спросил Меркер после паузы.

— Я сжег эту бумагу Но теперь я доверяю ему. Он искренен.

— Все, что он говорил мне про себя, целиком подтвердилось полученными мной сведениями,— сказал Меркер.— Нет, бояться нечего, как и надо было предполагать. Итак?..

— Это удастся,— сказал Вотье.— Будь спокоен!

— Наконец-то я могу немного пожить,— пробормотал Меркер, откидываясь в глубь экипажа.

И действительно, для него, как и для Бержана, начиналась новая жизнь, и ни один из них, ни Меркер с его громадным умом, ни Бержан с необыкновенной гибкостью своего изобретательного ума — не мог усмотреть той опасности, какая ждала их.

IV

Жильберта

И за все время, пока продолжалось необычайное соглашение, предложенное в ту туманную ночь Раулем Бержаном Клоду Меркеру, ни у кого не явилось ни малейшего сомнения. Никто из соприкасавшихся с министром Клодом Меркером не заметил, что не всегда один и тот же человек занимал этот высокий пост. Было только отмечено, что работоспособность этого государственного деятеля была еще более поразительной, чем когда-либо. Как доказательство этого, появилось несколько лестных отзывов в газетах, да одна или две карикатуры, изображавших Клода Меркера в виде Атланта, поддерживающего политический мир. Но никто из членов правительства, никто из его светских или деловых знакомых, никто из ближайших сотрудников по министерству не заметил, что «самый видный политический деятель», как говорили его поклонники, имел двойника.

Бержан твердо выдерживал свою роль с несравненным хладнокровием, присутствием духа и тактом. Этот маленький ничтожный провинциальный чиновник, почти внезапно вознесенный на вершину общественной лестницы, сумел с полным совершенством приспособиться к своему положению. Никакая неожиданность не могла застать его врасплох, и он был талантливым Меркером, не хуже самого Меркера. Положение это было настолько необычайным, оно было настолько вне всяких возможных подозрений, что именно благодаря этому никто не мог ничего заподозрить.

Сначала Бержан, как у них и раньше было условлено, заменял Меркера только на короткое время и только там, где требовалось официальное представительство министра. Но очень скоро успех дал им смелость, и Бержан все чаще и чаще бывал Клодом Меркером. Он перенял все его манеры с полнейшим совершенством; он старался усвоить и его почерк, ему быстро это удалось, и по приказанию Клода Меркера он подписывал за него бумаги. Через несколько недель, войдя в курс всех

текущих дел, он почти всецело взял на себя тяготы официальной жизни, которые до этих пор Клод Меркер должен был нести один. Единственный родственник Меркера – его дядя, служивший судьей в Алжире, приехал в Париж, видел два раза Меркера, а три раза Бержана, так и уехал, ничего не подозревая.

Жизнь Клода Меркера в то время, когда он бывал Раулем Бержаном, мало известна. В своих письмах к доктору Вотье, который был тогда в Алжире, он из осторожности описывал ее в очень неопределенных и замаскированных выражениях. Он всегда был скуп на переписку, и в письмах к своему ближайшему другу Вотье упомянул только о некоторых впечатлениях, да описал один или два каких-то случая. Да и то, чтобы понять это, надо было быть в курсе событий. Конечно, часы одиночества и свободы, которых он добился таким способом, были для Меркера, до сей поры – раба своей общественной жизни, очень дороги. Когда он, с накрашенными усами, причесанный и одетый так, как тот, чью личину он принимал, работал, размышлял или просто отдыхал в маленькой квартирке на острове Сен-Луи – он испытывал тихое удовлетворение и ценил его с каждым днем все больше и больше. Днем он вообще избегал выходить из квартиры и почти не покидал своего тихого острова. Он нравился ему своей стариной, спокойствием и пустынностью. Он любил его серые камни, деревья, торжественные, уснувшие особняки, улицы без прохожих, набережные, по которым он гулял в сумерках; его охватывало это спокойствие, он облокачивался на перила и смотрел, как внизу бесшумно текла река, испещренная отблесками. Он немного посмеивался над самим собою, что открыл такие радости и что он ценит их; мысли его становились все глубже; отдых обновлял их; он никогда не чувствовал себя так самим собой, как когда играл жалкую роль неизвестного, незаметного человека, лишенного всякого честолюбия. По вечерам, довольно часто, он покидал остров и шел обедать в один из скромных ресторанов Латинского квартала. Иногда, после обеда, он заходил в какое-нибудь кафе на бульваре Сен-Мишель, где было светло, весело и шумно. И думал, что в это время Бержан присутствует где-нибудь на официальном приеме вместо него.

Однажды вечером он услышал, как за соседним столиком трое молодых людей говорили по поводу его речи по общей политике, которую он произнес за день до этого в парламенте. Эта речь вызвала большой шум. «Меркер – замечательный человек. Какая сила воли! Он знает, куда идет. Это единственный государственный деятель у нас...». «Может быть,– сказал другой.– Я не уверен. Он слишком быстро сделал карьеру. Я не доверяю молодым удачникам. Все восхищаются его работоспособностью. Да, но он слишком много работает; он не живет. У

него нет достаточно опыта. Чтобы управлять людьми, надо знать жизнь». И, сказав это, он принял красивую позу. Это был очаровательный блондин. Ему не было еще двадцати лет. Вошла молодая женщина и села напротив него. Она была хорошенькая...

Меркер подумал, что это было верно: он никогда не жил, ему всегда было некогда; с двадцати лет он был всецело поглощен работой, честолюбием, карьерой. Как он признался Вотье, у него даже не было времени любить. У него не было ни жестоких, ни нежных воспоминаний прошлого; перебирая всю свою суровую жизнь, он не мог припомнить ни одного женского лица. Ему пришло на ум, что он, вероятно, прожил уже более половины жизни; он подумал, что через десять лет ему будет пятьдесят, и тогда уже будет поздно... и несколько минут спрашивал себя, не ошибся ли он? Не был ли смысл жизни совсем не в том, в чем он искал его?.. В его представлении возник образ прекрасного чистого лица с длинными серыми блестящими глазами, с ярким ртом и белым лбом, окруженным густыми черными волосами. Это было лицо Жильберты Герлиз... Меркер удивился... Может быть, он любил эту женщину, если ее лицо так сразу встало перед ним? Он с ней уже не встречался некоторое время, потому что теперь Бержан заменял его на официальных вечерах, где она часто бывала; у нее как у дочери сенатора, бывшего министра, и вдовы дипломата, умершего пять лет тому назад, все знакомства были в политическом мире. Он слегка пожал плечами. Неужели он становился сентиментальным? Роль первого любовника не очень шла к нему, и он ни за что бы не решился играть ее с женщиной, утверждавшей, что никогда не выйдет замуж, и проявлявшей к нему интерес, не более чем ко всякому человеку на виду, как бы стар или уродлив он ни был. Он никогда бы не осмелился заговорить с ней об этом. Он это твердо знал: ему всегда мешала его дикая застенчивость и мрачная гордость, не допускавшая даже мысли о неудаче... Небольшим усилием воли он прогнал от себя этот образ и поборол волнение. Затем вышел из кафе и звездной мартовской ночью, полной предвесенней тишины, он пустынными улицами дошел до острова Сен-Луи.

Доктор Вотье уехал из Парижа в конце декабря, вполне успокоенный насчет сотрудничества Меркера и Бержана. Он знал, что Меркеру нечего бояться. И действительно, в течение января, февраля и марта все шло без перебоев, к великому удовольствию Меркера, у которого была свобода, и Бержана, испытывавшего радости удовлетворенного самолюбия, радости, конечно, немного искусственные, но тем не менее очень острые. По сравнению с его теперешней жизнью, его прежняя

провинциальная жизнь казалась ему мрачным кошмаром. Он с восторгом погружался в новый мир, от которого Меркер бежал с неменьшим восторгом.

3 апреля был большой благотворительный базар, устроенный в пользу пострадавших от наводнения на юге Франции.

Он происходил в морском министерстве, в красных гостиных, отделанных золотом и со знаменитыми гобеленами, которые министр, адмирал Лестангль, предоставил в распоряжение организационного комитета.

Жильберта Герлиз входила в состав комитета, и у нее был один из самых главных киосков. Как и остальные дамы на базаре, она собрала вещи для продажи у своих знакомых, разослала приглашения всем, кого знала, и рассчитывала, что к ней приедет много людей, принадлежащих к высшему политическому миру. И прежде всего, она особенно рассчитывала на Клода Меркера, который на последнем вечере в Испанском посольстве определенно обещал ей приехать.

Исполнит ли он свое обещание? Хоть вспомнит ли? Он поглощен таким количеством всевозможных забот, что все его время занято до последней минуты. И все же, в глубине души, Жильберта была уверена, что он не пришлет пожертвование, а приедет сам, и приедет из-за нее... Вот уже несколько недель, как он был по отношению к ней совсем не такой, как раньше. Теперь, всякий раз, как он встречался с ней, он казался очень счастливым, был так любезен, так предупредителен по отношению к ней, выказывал ей и симпатию, и восхищение, конечно, в очень сдержанной форме, но все же она не могла этого не видеть... Он уже был не прежним Клодом Меркером, резким и скрытым, озабоченным и равнодушным, который так долго приводил в смущение Жильберту, хотя и сильно интересовал ее...

Она ждала его с самого начала базара и слегка волновалась. Она знала, что красива, и ухаживала за своей красотой. Но до этого дня она это делала для себя, а сейчас для Клода Меркера. На ней было темно-синее атласное платье, все в мягких складках, с блестящей вышивкой; большая, тоже синяя тюлевая шляпа прижимала ко лбу ее черные волосы; сегодня она была особенно хороша, она видела это в зеркалах и узнавала по взглядам окружающих. Она чуть-чуть подрумянилась. В тридцать лет у нее сохранился цвет лица юной девушки, сохранились и чистые линии стройной фигуры. Она сама удивлялась тому, что так волнуется в ожидании этого человека. Было ли тому причиной его положение, которое становилось с каждым днем все более и более значительным? Или же его популярность? Или власть?.. Она спросила себя об этом. Конечно, нет! Другой в таком же положении, с такой же властью не внушал бы ей подобного волнения

Тут совсем не было никаких честолюбивых надежд, она не выносила честолюбия... значит – из-за него самого. Тогда почему же только теперь, ведь она так давно его знала?

По гостиным пробежал шепот. Густая толпа зашевелилась... «Меркер!.. Вот Клод Меркер!»... Он появился, как воплощение физической и умственной силы, крепко сложенный, в простом и строгом костюме, с властным лицом, орлиным профилем и пронизывающими темными блестящими глазами. Его окружали люди, жаждущие поздороваться с ним, показаться ему, показаться рядом с ним. Резкий, но, как всегда, любезный и в этот день даже улыбающийся, что с ним случалось редко, он продвигался вперед, пожимая множество рук. Он подошел поздороваться с председательницей комитета, госпожой Делагерс, женой председателя совета: сама она не продавала на базаре. При виде его у нее сжалось сердце; она знала, что Меркер, при первом удобном случае, заменит ее стареющего мужа; но ничем не выказала обиду уходящих со сцены на тех, кто приходит на смену. Она была с ним очаровательна, с жаром благодарила его и сама отвела к киоску вице-председательницы, красавицы Вона, ярко-рыжей женщины, у которой волосы, зубы, цвет лица так и сверкали в глубине зала. Он заплатил сто франков за какую-то скверную гравюрку, которую он мог засунуть в карман, не обременяя себя пакетом.

И только тогда он мог пойти в другой зал к киоску Жильберты Герлиз.

Она спокойно ждала его, быстро поборов легкое волнение, охватившее ее, когда она увидела, как он входил в зал. Он склонился над протянутой ему рукой.

– Благодарю вас,– сказала она,– я почти не надеялась...

– О,– пробормотал он,– я бы все бросил для...– он не посмел сказать: «для вас» – ...для того, чтобы прийти сюда.

Их слушали. Две барышни, одна в желтом, другая в розовом, которые продавали в киоске Жильберты, так были взволнованы присутствием великого человека, что забыли про прибыльную продажу, которую они вели до сих пор с изящным и неудержимым усердием, опустошая карманы своих гостей.

Меркер подошел к длинному прилавку, заваленному в причудливом беспорядке рыночными вещами и произведениями искусства, со множеством подушечек для булавок, неизбежных на всяком благотворительном базаре.

– Если разрешите, я что-нибудь выберу,– сказал Меркер после краткого молчания.

Жильберта услышала в его голосе легкое волнение, которое, конечно, только она одна заметила, что смутно и польстило ей, и взволновало ее. И она стала весело расхваливать товар, как продавщица, желающая продать его.

— У нас прекрасные вещи, металлические, фарфоровые, есть бумажники, портсигары...

— Вот именно портсигар; это-то мне и нужно!

Он протянул руку к портсигару из тисненой кожи, которого в это время касалась рука Жильберты. Она была без перчаток; их пальцы слегка прикоснулись. Меркер сдержался, чтобы не вздрогнуть, и его взгляд встретился с большими серыми глазами, смотревшими на него и не сразу оторвавшимися от него.

— Нет, нет, не берите этот, он без монограммы; у нас, наверное, есть с вашими инициалами,— быстро заговорила Жильберта, и ее голос был, быть может, не такой спокойный, как всегда.

— Да... Именно... Вот этот,— сказал он.

Она посмотрела на вещь в его руках и рассмеялась.

— Кажется, ваша фамилия начинается не на букву «Б», господин Клод Меркер. Сознайтесь, что ваша рассеянность ясно доказывает, как далеки ваши мысли от нашей несчастной продажи.

Она смеялась, чтобы скрыть смущение. Она была и тронута, и горда тем, что производила на этого сильного человека такое впечатление, что он совсем растерялся.

Он вздрогнул и сейчас же взял себя в руки. На портсигаре была буква «Б». Какая оплошность! Надо было сойти с ума, чтобы сделать такую ошибку! Неужели эта женщина до такой степени волновала его, что он забыл?!..

Конечно, все это произошло так быстро, что никто ничего не заметил: публика отхлынула к буфету, где начинался концерт.

— Конечно! — воскликнул он.— Где у меня голова? Вот как раз и «М».

Он взял другой портсигар, опять взглянул на Жильберту и после некоторого колебания тихо сказал:

— Уверяю вас — это произошло не потому, что я был мыслями далек отсюда.

На этот раз она слегка покраснела, но ничего не ответила. И взяла сложенный банковый билет, протянутый им.

— Что вы думаете делать на Пасху? — спросил он, помолчав немного, развязным тоном человека, продолжающего светский разговор.— Вы не уезжаете из Парижа?

— Да! Меня приглашают в разные места. Но я еще никому не дала согласия... Все колеблюсь. Я рассчитываю скоро уехать, но еще не знаю куда. Одна подруга зовет меня в Турень, другая хочет увлечь в Биариц, и наконец, моя кузина Демази настаивает, чтобы я провела несколько дней у нее, в Фонтенбло... но я еще не знаю...

— А,— пробормотал он,— вы еще не решили... Очень жалко... Я на второй день Пасхи должен ехать в Оксер на открытие

памятника. По возвращении я воспользуюсь тем, что, из-за роспуска палат, у меня будет свободное время, и я поеду на несколько дней в деревню... Я становлюсь смешным, оттого что никогда не пользуюсь каникулами... Я похож на прилежного ученика. И так как я, наверное, выберу Фонтенбло, то, может быть, мне и повезет: мое пребывание там совпадет с вашим.

Он замолк. Полная, слишком намазанная дама, в волнах шелка-шанжан, шумно бросилась к ним.

— Как я опоздала! Поцелуй меня, Жильберточка! Господин министр, наша знаменитость, как я счастлива вас видеть. Ах, ваша последняя речь! Что за чудо! Я была в местах для публики и едва сдержалась, чтобы не аплодировать! Бедный Фраппель! Вы его совсем огорошили! Жильберта, дорогая моя, я в отчаянии, мне страшно стыдно! Я вам обещала быть здесь с утра. Меня так глупо задержали, пришла белошвейка. Но мы наверстаем потерянное время!.. Скажите: это решено — вы едете с нами в Турень? Мы рассчитываем на вас. Я вас увожу в моем автомобиле в будущий вторник.

Жильберта Герлиз сделала вид, что она в страшном огорчении.

— Дорогая моя, я в отчаянии. Это невозможно. Вы знаете, моя кузина раньше приглашала меня в Фонтенбло... она так настаивала, что я ей окончательно обещала... вот только вчера... Существуют, увы, родственные отношения... Я только что говорила об этом господину Клоду Меркеру. Я должна ехать послезавтра.

Она еще раз взглянула на него и прочла в его глазах радость и благодарность. Она чуть заметно, но весело и ласково улыбнулась. Он простился и вышел. Как и при появлении его, в теснившейся вокруг него толпе шептали: «Клод Меркер!.. Это Клод Меркер!»...

Он в первый раз, с тех пор как придумал это замещение и с таким мастерством проводил его в жизнь, увидел обратную сторону его. Его сразу охватило жгучее, мучительное чувство: тут были и ревность, и унижение, и возмущение... Он побледнел.

Экипаж ждал его перед министерством. Рауль Бержан отослал его и большими шагами пошел на остров Сен-Луи, где подлинный Клод Меркер, тот, кого он только замещал, ждал его.

Бержан шел долго, чтобы успокоиться от новых чувств, волновавших его... Он так был погружен в свои мысли, так боролся с противоречивыми чувствами, охватившими его, что шел вдоль реки, совершенно не отдавая отчета, где находится. И вдруг увидел, что дошел до Аустерлицкого моста; он перешел его и левым берегом, по набережной Сен-Бернар, добрался

до острова Сен-Луи, через мост де-ля-Турнель. Наступали сумерки.

Три дня играл он роль Меркера, и теперь тот, читая, ждал его. Увидя вновь этого человека, который был реальной величиной, тогда как он был его тенью — Бержан, без сомнения, еще более остро почувствовал всю горечь только что появившейся в нем зависти. Но, во всяком случае, он сумел скрыть ее. Он снова всецело поддался авторитету Меркера. Он своим обычным фамильярно-почтительным тоном доверенного чиновника, делающего доклад, рассказал Меркеру, что он делал за эти три дня, когда был на его месте, и какие новости были ему сообщены.

Меркер внимательно слушал его, прерывая время от времени то каким-нибудь вопросом, то замечанием.

— Я совсем забыл, дорогой мой Бержан. Я должен вам сделать небольшое замечание. В сегодняшних утренних газетах опять говорят о моем остроумии... Оказывается, я был очень остроумен на приеме третьего дня в городской думе... Что вы им там наговорили? Пожалуйста, не забывайте советов моего друга Вотье... Не надо об этом,— продолжал он, останавливая рукою Бержана, чтобы тот не отвечал.— Только не забудьте, что у меня совсем нет репутации светского человека... А что это за благотворительный базар, о котором вы не рассказали мне?

— Я только что хотел рассказать,— ответил Бержан.— Я только что оттуда. Вас очень благодарила госпожа Делагерс. Она сказала, что ее муж — председатель совета — сегодня уже не так страдает от астмы; госпожа Вона просит вашей протекции для своего юного племянника... Он хочет идти по дипломатической дороге... Она напоминала вам об ордене, обещанном ее зятю... Она была очень интересна. Вы купили у нее, за сто франков, вот эту гравюру.

— Но ведь она ужасна,— сказал Меркер.

— А у госпожи Герлиз вы купили вот этот портсигар...

Изменился ли голос Бержана, когда он говорил о госпоже Герлиз, или Меркер, услышав ее имя, очень взволновался — только между ними пробежало что-то, какое-то мгновенное ощущение, непреодолимое, неуловимое, но оно с быстротой молнии осветило их взаимную враждебность.

— Госпожа Лаландель приехала очень поздно,— продолжал Бержан,— она поздравила вас, что вы зажали рот — собственное ее выражение — Фраппелю. Она была в публике... Вот, кажется, и все... Ах, забыл! По данному мне указанию, вы заявили разным лицам, что после открытия памятника в Оксере, вы уедете на несколько дней в окрестности Фонтенбло. Когда же ехать?

— Очень скоро. Это выходит как-то чрезмерно странно: не давать себе ни минуты отдыха. Над моей неистовой работой уже смеются. Но благодаря вам, этот отдых, впрочем, довольно относительный, так как и за городом ко мне будут приставать не меньше, чем в Париже, мне даст здесь неделю полной свободы. Хотя это, пожалуй, и не совсем осторожно. Может случиться какая-нибудь неожиданность, или, если — это невероятно, но все-таки... если вы вдруг там заболеете...

— У меня прекрасное здоровье,— живо прервал его Бержан,— и всегда хватит сил уехать по железной дороге или в автомобиле, вернуться сюда и стать Бержаном. Точно так же я поступлю, если случится что-нибудь неожиданное, как это и бывало два или три раза. Мне будет это нисколько не труднее сделать в Фонтенбло, чем в Париже.

— Ну, конечно. Все же, признаюсь вам, что провести несколько дней на лоне природы, меня очень соблазняет, сам не знаю почему. И если бы у меня не было столько работы... Но это невозможно!

Меркер встал. Он вышел в соседнюю комнату, в несколько минут переоделся и стер краску с усов.

Бержан в это время принял тот облик, с которым только что расстался Меркер.

— До субботы,— сказал ему Меркер.— Завтра у меня заседание, послезавтра запрос в парламенте. Эти два дня я сам должен быть там...

Меркер быстро вышел. Он перешел через мост и на углу Сен-Жерменского бульвара подозвал извозчика и сказал свой адрес. На него напало раздумье. Какое-то глухое раздражение, причины которого он не мог уяснить себе, волновало его. Вдруг он понял, что это раздражение вызывается Бержаном. В нем зародилась злоба на этого человека, который так часто и с таким успехом изображал его самого. Значит, так просто быть Меркером, если какой-то провинциальный ничтожный чиновник мог так легко заменять его. Конечно, здесь необходимым условием было их необыкновенное физическое сходство, но ведь не в физическом же облике заключалась сильная индивидуальность Клода Меркера?

Он закурил папиросу и, обиженный, оскорбленный и униженный тем, что так легко было заменить его, стал размышлять о тщете славы.

V

Любовь

В этот вечер Рауль Бержан одевался с особенным вниманием в нарядной спальне своего номера, который он занимал в одном из роскошных отелей. Он, с наивностью юнца, желающего нравиться и думающего, что хорошо завязанный галстук и тщательная прическа могут повлиять на любимую женщину, долго стоял перед зеркалом: если бы Клод Меркер узнал про это – он нашел бы его смешным. Так, по крайней мере, подумал Бержан, надевая смокинг. Правда, что наряду с этим он подумал, и не без раздражения, что мнение Клода Меркера не имеет для него никакого значения.

Вот уже неделю, что он в Фонтенбло – в роли Клода Меркера. Он видит Жильберту Герлиз каждый день и часто по два раза в день, потому что кроме их встреч у кузины Жильберты, госпожи Демази, с восторгом принимавшей этого великого человека, он часто встречал Жильберту и случайно; эти случаи были так приятны и так часто повторялись, что, вероятно, тут помогал кто-то из них обоих, а может быть, помогали и оба.

Теперь он любил Жильберту очень глубоко, той любовью, которая дает и наслаждение, и страдание; он даже и не пытался бороться с нею – так непобедима казалась ему эта привязанность. Он не смел сделать до сих пор прямого признания Жильберте, не смел молить ее об ответе, но до отъезда оставалось только два дня, и он знал, что не уедет из Фонтенбло, не поговорив с ней.

Он вышел из дому в половине седьмого, чтобы идти к госпоже Демази, дававшей в этот день обед в его честь. Она с торжествующей настойчивостью преподносила его всем своим знакомым. Она приглашала нарочно из Парижа друзей, чтобы показать им, насколько близка она со знаменитым государственным деятелем. Бержан подчинялся этому с такой охотой, которую Клод Меркер в продолжение всей своей карьеры не выказывал никому; но Бержан и не на то был бы готов ради сближения с Жильбертой. Все находили, что Клод Меркер сделался проще, не такой далекий и холодный, как прежде, стал любить светские удовольствия. Бержан нисколько не заботился о том, что в этом случае он подводил человека, роль которого играл.

Впрочем, у него лично не было той высокомерной суровости, с какою Меркер до их договора защищал свое время. Он любил общество, придавал значение большому свету, был очень счастлив, когда мог появляться в нем, как всемогущий

человек, окруженный восхищением и приветствиями, он — бедный провинциальный чиновник, знавший только обеды в трактирчиках да тоскливые вечера дома, когда ему становились противны ничтожные прелести местных кабачков и он укрывался в своем одиноком жилище, отупевший от скуки и от несбыточных желаний.

У госпожи Демази было в этот вечер человек двенадцать, среди которых старый товарищ Меркера по колледжу, Буфремон. Он сам, без всякой церемонии, выпросил у Жильберты честь быть приглашенным на обед. Он надеялся воспользоваться этим интимным собранием, где его знаменитый друг будет, конечно, доступнее, чем в другом месте, чтобы добиться красной розетки, которую он жаждал все более и более страстно, безрассудно, почти болезненно.

После обеда, как только все перешли в салон, он ловкими и смелыми приемами завлек министра в один из уголков... После нескольких банальных фраз и восхищения, он сделал сначала несколько туманных намеков, затем заговорил о своем желании уже яснее. Бержан, всегда склонный к шутке, притворился, что не понимает его. Буфремон стал настойчивее и, придя в отчаяние при виде, что у него уплывает этот знак отличия, без которого жизнь для него не имела никакой прелести, решил действовать прямо. У него на лбу выступил пот; он так дрожал от волнения, что не мог говорить, не мог связно сказать несколько фраз и мешал товарищеское «ты» с торжественными формулами официальной вежливости; он говорил об увенчании его карьеры, о жене, об услугах, которые он мог бы оказать, если бы увидел поощрение, о правах дружбы, идущей с тех счастливых дней, когда они сидели бок о бок на школьной скамье... Да! Эта детская дружба одна только настоящая и вечная!.. И он с гордостью напомнил, как Меркер хватил его кулаком в глаз, когда они были в шестом классе. Он долго говорил по поводу красной розетки, затем снова вспомнил жену, детей, которые так бы гордились...

Раздраженный Бержан вдруг вспомнил обычную фразу Меркера и сухим, как у того, голосом сказал:

— Мы поговорим об этом.

И повернул ему спину.

Несчастный Буфремон, отлично знавший смысл этих слов, был совсем убит; он ведь уже думал, что добился своего...

А Бержан, в ту же минуту как несчастный отошел от него, увидел возле себя Жильберту. Она удивленно смотрела на него.

— О! Какой жестокий тон! — сказала она.— Я едва узнала ваш голос. Это голос министра? Ведь так?

Он немного покраснел и, смущенный — как всегда в присутствии этой женщины, нашел сказать ей только:

— Я не знал, что вы слышите меня...

И после минутного молчания прибавил, стараясь улыбнуться:

— Здесь нет министра. Перед вами просто человек, который...

Он не окончил фразы.

— Да,— сказала Жильберта,— спросите-ка несчастного Буфремона, он так умолял вас... спросите его: есть ли здесь всемогущий министр?..

Бержан пожал плечами.

— Он настаивает на получении того, что по справедливости нельзя дать ему.

— Боже мой! — сказала она.— Я, кажется, знаю, чего он просит, и, право, это было бы благодеянием! Он, конечно, заболеет, если не получит... Я очень дружна с его женой и горячо люблю ее... И знаете: когда несправедливость никого не обижает, а, напротив, может доставить только радость... то она, по-моему, извинительна.

— Ну, так это будет исполнено! — сказал он, совершенно забывая, что распоряжается властью, не принадлежащей ему.— Будет исполнено, потому что вы желаете этого... Я очень счастлив.

Он так откровенно радовался возможности повиноваться и служить ей, доказать ей, какую власть она имела над ним, что Жильберта покраснела и не знала, что ответить ему.

Он же, без всякого перехода, сказал ей тихо:

— Я уезжаю послезавтра... Вы знаете... Вы тоже возвращаетесь в Париж... Мне надо поговорить с вами раньше... Надо видеть вас одну... Можно завтра? Пожалуйста! Я должен поговорить с вами...

Она опустила глаза и ответила очень тихо:

— Хорошо... Приходите сюда в три часа. Я знаю, что кузины не будет дома.

И, отходя, она взглянула на него. Он взглянул также, и оба затрепетали. И оба уже знали, что завтрашнее свидание не скажет им ничего нового. И все-таки они с бьющимся сердцем думали о нем все время, пока оно не состоялось.

Когда на другой день Бержан позвонил у решетки виллы госпожи Демази и старик-слуга, отворивший ему дверь, скрылся, он увидел на крыльце дома Жильберту. Она легко и грациозно сошла с лестницы и двинулась к нему навстречу.

— Останемся в саду, хотите? — сказала она не очень уверенным голосом.

Он сам страшно волновался; горло у него сжималось, руки дрожали. Они прошли прямо в аллею.

Это был громадный запущенный сад. Перед домом, среди цветочных кустов, был пруд, на котором плавали лебеди. Меж-

ду зелеными кустами белели статуи. Дальше шли большие деревья, темнели заросшие травой аллеи между пышными кустами жасминов. Утром шел дождь; на ветвях еще дрожали капли, но апрельский день, весь насыщенный влагой и знойным солнцем, был теплый, как летом.

Жильберта и Рауль шли рядом, молча, прямо в пустынную тень аллей. Какая-то сила, подчинявшая себе волю, овладела Бержаном. Он ясно видел все безумие своих поступков, видел, в какую пропасть страдания, разочарования и унижения бросается он по собственной воле; но он знал также, что никакая власть в мире не может помешать ему сказать ей, что он любит ее... Но он еще колебался... Его удерживала только одна боязнь: дать ей страдания... когда-нибудь позже... когда узнает... потому что возможно ли, чтобы она не узнала? Но она была здесь, рядом с ним, она уже была его, потому что она уже любила его, он не сомневался в этом. Весь мир, вся жизнь сосредоточивались для него в настоящем мгновении, во властном чувстве страсти, в гордом упоении ожиданием ее признания в любви.

Жильберта видела, как он волновался. Приписывая это единственной причине, какую она только и могла допустить, она была трогательно взволнована. Эта скромность у такого человека являлась самым ярким доказательством его любви к ней.

Он заговорил вполголоса, отрывисто, не смея взглянуть на нее.

— Вы знаете, зачем я попросил вас прийти на это свидание?.. Ведь знаете? Да?

И, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Я очень смущен... А не привык смущаться. Простите меня... Вот я не нахожу слов, которые хотел сказать вам. При вас я совершенно не узнаю себя... Я теряюсь... Вы меня подавляете... Я совсем не умею владеть собой. Вы должны находить меня очень комичным, вот теперь, когда я иду рядом с вами и молчу. А ведь, клянусь вам, когда я один и, думая о вас, осмеливаюсь говорить с вами — я нахожу очень красноречивые слова... А сейчас я точно застенчивый ребенок. Скажите: можно ли мне говорить? Вы знаете, что я хочу вам сказать. Если вам неприятно — запретите мне говорить... ради вас, ради меня...

Они остановились около густой купы кустов. Она подняла глаза. И он увидел тот же взгляд, который поймал накануне. Он забыл и Меркера, и Бержана. Был только мужчина, лицом к лицу с женщиной.

— Я люблю вас, Жильберта,— сказал он глухим от волнения голосом.— Я люблю вас всеми силами, люблю вас так, что без вас жизнь не может иметь никакого смысла. Я вас люблю.

Она прямо стояла перед ним, вся залитая влажным, мягким светом. Никогда еще не видал он ее такой красивой. Она не отвела от него своих светлых глаз, но легкий румянец покрыл ее щеки, и грудь стала подыматься все быстрее и быстрее.

— Я тоже люблю вас,— просто сказала она.

— Значит, вы согласны разделить со мною жизнь,— пробормотал он, весь дрожа от радости.

— Да! Я прежде не знала вас. Теперь — знаю и люблю вас.

— Я полюбил вас с первого дня, как увидел...

Она весело улыбнулась.

— И так долго ждали, чтобы сказать мне?

— Долго?!. Но...

— Прошло, по крайней мере, пять-шесть лет с тех пор, как мы с вами встретились в первый раз. Я не говорю, что мы были знакомы...

— Пять-шесть лет!..

Он был поражен и содрогнулся. Вспомнил, задрожал от ужаса и проговорил:

— Ах, да! Да! Пять или шесть лет. Но, в сущности, мы не знали друг друга. Я это и хотел сказать.

— Да, правда,— задумчиво сказала она.— Я никогда не подозревала, что в вас может быть...

Она остановилась.

— Что во мне может быть?..— спросил Бержан, весь бледный от безумной надежды.

— Вот «вы»... Такой, каким вы явились мне... и какого другие не знают. Новый Клод Меркер, более человечный, более живой, способный любить и заставить полюбить себя... Я думала, вот до этого откровения... что во всем мире вас могут интересовать только ваше дело и ваши занятия...

— Бросьте мое дело и мои занятия,— сказал он почти злобно.— Ведь вы любите меня не за них? Правда? Забудьте, что я Клод Меркер... Разве вы любите меня не за меня самого?

Она опять улыбнулась.

— Но ваше дело — это вы! Я же не могу забыть, кто вы! Ведь я женщина, вы знаете... И я горжусь, что меня полюбил человек, которым все восхищаются и которым я уже сама давно восхищаюсь. Это признание доказывает мою откровенность и мое тщеславие... Правда?

— А если бы я был совершенно не известным, ничем не замечательным человеком, без всякой власти, без громкого имени, вы бы не полюбили меня? — спросил он.

— Но тогда это были бы не вы.... Ваш ум, ваша энергия, ваш талант неотъемлемы от вас, точно так же, как черты вашего лица... Какой странный вопрос...

Она с удивлением посмотрела на него. Он испугался, что зашел слишком далеко. И опять его захватило сладкое упоение

моментом. Он снова и долго стал говорить Жильберте, что он любит ее, что никогда никого не любил, кроме нее.

Она слушала с восхищением эти слова любви и вся трепетала. Он страстно смотрел на нее; смотрел на ее гибкую талию, на стройную грудь под шелковым корсажем, на чувственную линию полуоткрытых губ, на белые зубы. Он подумал, что достиг высшей славы, потому что ведь он заставил ее трепетать от любви. Он горячо обнял ее и склонился к ней, к ее полуоткрытому рту...

И только когда,— после этого поцелуя и после того, как был установлен день свадьбы – в июне – Бержан оставил Жильберту,— он понял со всей ясностью весь ужас положения. До сих пор радость любить и быть любимым опьяняла его. Сейчас перед ним встала действительность, исключительно жестокая действительность, которую сам он так безумно создал. Он стал думать о будущем. На лбу его выступил пот от внутренней муки. Он содрогнулся от стыда, от ужаса, от злобы. Он любил Жильберту, и она любила его. Кого же она любила? Кого будет любить, когда узнает?..

И он понял, какую невыразимую ненависть он питает к Клоду Меркеру.

VI

Тайна острова Сен-Луи

Это было 19 мая; со времени поездки в Фонтенбло прошло несколько недель.

В этот день, рано утром, в том же просторном и строгом министерском кабинете, где Клод Меркер шесть месяцев тому назад в присутствии доктора Вотье вскрыл письмо, написанное зелеными чернилами и имевшее такие последствия,— пока курьер, не торопясь, осматривал, все ли в порядке, вошел Клод Меркер, внезапно и быстро, как всегда.

Курьер стал извиняться, что замешкался, почтительно отмечая, что господин министр сегодня прибыл раньше обыкновенного; Клод жестом заставил его замолчать и взглянул на часы.

— Газеты подали? — сказал он.— Хорошо! Оставьте меня. И не беспокойте ни в каком случае. Только когда придет Ривель – скажите, что я жду его.

— Слушаю-с, господин министр... Господин секретарь, конечно, явится вовремя. Он очень точен, и...

Курьер, старый, опытный, верный служащий, переживший много министров, был неизлечимо болтлив. Увидев повелительный жест Меркера, он исчез.

Клод, оставшись один, сел за письменный стол. Из кучи свежих газет он выбрал одну, всегда наиболее осведомленную, и развернул ее немного лихорадочно.

Он слегка содрогнулся. Заглавие одного из столбцов поразило его. Он прочел:

«ТАИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ

Трагическое происшествие очень взволновало жителей острова Сен-Луи. Прошлой ночью, немного позже двенадцати часов, к двоим полицейским, стоящим на бульваре Сюлли, подошел какой-то человек, казавшийся пьяным и очень взволнованным, и сказал им, что, вероятно, совершилось какое-то преступление в квартире первого этажа на набережной близ моста де-ля Турнель. Он шел очень спокойно,— объяснил он немного путанно,— когда услышал недалеко от себя выстрелы, раздавшиеся в этой квартире. Он поспешил на них и скоро увидел, что кто-то бежал к мосту Сен-Луи; он хотел остановить его по дороге, но тот сильно толкнул его. Тогда он побежал за помощью в обратную сторону.

Сначала полицейские, видя перед собой явно нетрезвого человека, не поверили его донесениям, но он так настаивал, что они пошли за ним на пустынную набережную к тому дому, который он указал им.

Они пришли вовремя. Из квартиры первого этажа через щели штор валил дым, и было видно, что внутри бушует пламя. Они быстро отворили ставни, едва-едва прикрытые, вскочили на довольно низкое окно и без особого труда потушили начавшийся пожар, вспыхнувший в комнате. На обгорелом ковре, в луже крови, среди осколков керосиновой лампы с разбитым резервуаром — лежало неподвижное тело мужчины. Он был мертв. Его одежда, пропитанная керосином, тлела на нем; волосы и усы обгорели, и на лице были большие ожоги. У правого глаза зияла ужасная рана. Рядом на полу лежал револьвер крупного калибра, из которого были выпущены две пули.

Конечно, поднялась тревога. Привратница, вскочившая с постели, узнала в жертве,— несмотря на раны, изуродовавшие лицо,— жильца этой квартиры, Рауля Бержана, жившего здесь с прошлой осени.

С первых же шагов осмотра было ясно, что пожар возник от падения жертвы, свалившейся от смертельного удара убийцы или от собственной руки. На столике стояла зажженная керосиновая лампа,— она разбилась, керосин разлился и вспыхнул.

Что же произошло? Преступление или самоубийство? Следствие должно выяснить это. Теперь идут поиски того незнакомца, который близ дома, где произошла эта драма, толкнул прохожего, поднявшего тревогу».

По указанию, помещенному под этим сообщением, Клод Меркер стал читать последнюю страницу.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ОСТРОВЕ СЕН-ЛУИ

Весь день велось энергичное расследование, но пока оно не привело ни к каким результатам. Если это преступление, то, во всяком случае, не с целью грабежа, так как в квартире жертвы ничего не тронуто. Но полиция, кажется, и не думает, что это преступление; разные причины заставляют ее откинуть эту гипотезу, и она, по-видимому, не считает вероятным существование загадочного лица, якобы толкнувшего единственного свидетеля в этом деле. Этот свидетель – почтенный мебельщик из предместья Сент-Антуан; имя его – Проспер Болтен; он категорически подтверждает свои показания, которые он повторил нам очень энергично. Но... он не уверен, где именно находился он, когда его кто-то толкнул, он решительно не мог бы узнать того, кто его толкнул; и даже не знает, был ли то мужчина или женщина. И, наконец, он признается сам, что он в этот вечер обедал у своего зятя, виноторговца, и что хорошая выпивка привела его в такое веселое настроение, что он, возвращаясь домой и проходя по площади Парви, пел так громко, что полицейские сделали ему замечание.

Следует отметить, что в доме, где произошла эта драма, никто ничего не слышал. Правда, дом старинный, с массивными стенами и с очень толстыми внутренними переборками. Кроме того, в квартире, расположенной над этим помещением, живет дама, совершенно глухая. И по странному стечению обстоятельств, молодая служанка, спавшая в этом же помещении, в этот вечер так страдала от зубной боли, что заложила уши ватой с камфарным маслом и обвязала голову так, что стала совсем глухой, как ее хозяйка.

Мы имели возможность поговорить с привратницей, мадам Флейн, которая хотя и была очень расстроена трагическим происшествием прошлой ночи, но все-таки любезно дала нам сведения о своем несчастном жильце. Он нанял эту квартиру в ноябре прошлого года. Он – по его словам – приехал из провинции, чтобы лечиться и работать в Париже. Он назвался рантье и, как передала мадам

Флейн, имел вид человека, только что получившего наследство и желающего пожить спокойно. Он был очень молчалив, но очень вежлив; жизнь вел самую правильную. Привратница мало видела его, так как он мог уходить и приходить, минуя ее помещение. Он сам хозяйничал у себя, а обедал в каком-нибудь из ближайших ресторанов, не отдавая особого предпочтения ни одному из них. У привратницы никогда никто не спрашивал о нем, и, по ее мнению, он никогда не принимал у себя, если не считать, что иногда, вечером, к нему заходил какой-то родственник: брат или кузен — мадам Флейн не могла определить.

Заметим, что этот родственник, как думают, коммерческий агент, и он может узнать о трагической смерти Рауля Бержана только из газет. Судебные власти просят его дать о себе знать как можно скорее, так как они надеются получить от него сведения, могущие пролить свет на это таинственное дело».

Клод Меркер прочел газету и выронил ее из рук. Он был очень бледный, и на лицо легла горькая складка. Глаза пристально смотрели перед собой и ничего не видели. Он машинально взял папиросу и зажег восковую спичку. Вдруг вскочил и замахал рукой: папиросу он не закурил, а спичка догорела и обожгла ему пальцы.

Он открыл еще одну газету, а потом еще и еще... Все говорили о преступлении на острове Сен-Луи, говорили длинно и под разными заголовками: «Таинственное дело», «Тайна острова Сен-Луи», «Преступление или самоубийство?», «Трагическая загадка», «Ночная драма»... В передаче фактов было некоторое различие, иногда встречались противоречия в подробностях, но в самой информации ничего не появлялось такого, чего бы не было в первом сообщении.

В некоторых газетах, враждебных правительству, были намеки на то, что полиция притворяется, что не верит в существование незнакомца, о котором говорил Проспер Болтен, и делает это для того, чтобы установить факт самоубийства и не искать преступника, которого никогда не найдет. При этом приводилось громадное количество примеров неразысканных преступников.

Меркер отбросил газеты. Кто-то постучал в дверь. Это был Ривель, его секретарь, высокий, изящный, худой брюнет, с умным, холодным и властным лицом. Он в немногих, но определенных словах извинился перед министром в том, что опоздал. Он должен был раньше заехать в совет. Он вдруг остановился, увидев кучу раскрытых газет.

— Я вижу, господин министр, что вы сами потрудились прочесть отчеты друзей и врагов о вашем последнем выступлении по поводу нашего «экономического будущего».

Меркер, молчавший до тех пор, поднял глаза на своего собеседника.

— Наше экономическое будущее? — проговорил он медленно и точно удивленно.— Отчеты?

Ривель вежливо удивился.

— Я вижу, что ваши мысли уже ушли куда-то дальше, господин министр.

Но Меркер сейчас же спохватился.

— Очевидно,— сказал он самоуверенно и резко, как всегда.— Когда какой-нибудь вопрос уже исчерпан, когда он разобран так, как только это возможно — надо сейчас же забыть его и перейти к другому. Иначе даром теряется время. Ну, что же сказал вам председатель совета?

Целых пять дней дело острова Сен-Луи волновало публику. Этому способствовало полное затишье в жизни, и пресса раздувала его и в утренних, и в вечерних выпусках. Ждали громкого процесса. Поднялась горячая полемика между теми, кто утверждал, что здесь кроется преступление, с теми, кто говорил о самоубийстве. По старой набережной острова Сен-Луи толпами ходили любопытные и смотрели на дом, где разыгралась драма. Многие расспрашивали привратницу и мебельщика, и они с гордой радостью увидали свои честные лица на страницах газетных листов. Но вдруг и о них замолчали. Дело острова Сен-Луи перестало быть интересным. Доктор Ларми, вскрывавший труп найденного мертвым человека, признал самоубийство. Очевидно, рука несчастного должна была выстрелить два раза. Прежде всего было доказано, что револьвер принадлежал ему, это засвидетельствовал Созан, торговец оружием, продавший ему его. Драма вообще стала банальной, и общественный интерес к ней был заслонен волнением, вызванным кражей исторических драгоценностей, совершенной негром-шофером у артистки Французской Комедии Клодии Трэв. Только полицейские, ведшие следствие до того времени, когда дело было прекращено, вспоминали о таинственном родственнике, навещавшем иногда при жизни Рауля Бержана и теперь упрямо не желавшего явиться; они еще некоторое время продолжали разыскивать его, а потом — забыли.

24 мая, в тот самый день, когда Клод Меркер прочел в газетах, что следствие по делу острова Сен-Луи окончательно

признало самоубийство — он получил из Америки письмо от доктора Вотье.

«Наконец, я возвращаюсь,— писал он.— Тороплюсь увидеть тебя, дорогой мой друг. Когда ты получишь это письмо, я буду уже в дороге и приеду в Париж в конце этого месяца».

VII

Кто?

Когда Вотье по дороге из Америки узнал о таинственной драме острова Сен-Луи, он при всем спокойствии характера и привычке дисциплинировать свои впечатления испытал очень сильное и очень сложное волнение. В этом волнении было больше всего беспокойства, и оно было тем сильнее, что он узнал об этом деле только из краткого сообщения о трагической смерти Бержана.

Взволнованный, насколько такой человек, как он, мог быть взволнован, Вотье пережил часы настоящего кошмара в последние дни своего переезда на родину. Все личные заботы стерлись одной заботой: Меркер, его друг, к которому он был привязан тем сильнее, что его холодное сердце было подчинено рассудку, Меркер, к которому он питал совершенно исключительное чувство, не выходил у него из головы. Может быть, он был нужен Меркеру, ведь он, Вотье, только один знал об его отношениях с Бержаном. И он страдал при мысли, что не мог сейчас же дать доказательства своей преданности тому, кому он был так много обязан. Он не переставал думать об этом трагическом событии, о котором уже знал то, что знали все; он применил к нему все научные подходы, представлял себе всевозможные причины и поводы и изучал одно за другим все последствия.

Когда он узнал, что следствие ничего не открыло по поводу двойного существования покойного и остановилось на самоубийстве,— беспокойство Вотье относительно общественного скандала, касающегося Меркера, исчезло, но только отчасти. И он, в вагоне из Гавра до Парижа, еще раз перебрал недопустимые гипотезы, уже сто раз разобранные им.

У себя дома, в Париже, он нашел записку Меркера.

«Дорогой мой друг! Я тоже буду, как ты знаешь, очень счастлив увидеть тебя. Приезжай в министерство сейчас же по приезде; ты меня или застанешь там или узнаешь, когда я буду».

Вотье показалось, что записка написана нервнее и небрежнее, чем обыкновенно писал Меркер. Он сейчас же отправился

в министерство, но Меркер был в заседании в какой-то парламентской комиссии, и Вотье пришлось приехать вторично к вечеру.

Его сейчас же провели в рабочий кабинет министра. Тот встал навстречу и очень горячо стал пожимать ему руки.

— Ну, что же, дружище, доволен путешествием? Я все время знал о нем и из твоих писем, и из газет. Французская наука во многом обязана тебе своей славой, дорогой мой Вотье. Поздравляю тебя и официально, и лично.

— А я иногда почти жалел, что уехал...— сказал Вотье.— Боялся, что вдруг понадоблюсь здесь,— добавил он многозначительно.

Меркер подошел к нему и заговорил тихо:

— Ты уже узнал?.. Мне нужно по этому поводу поговорить с тобой... Ты сам понимаешь. Сейчас я не могу. Уже поздно; у меня сегодня официальный обед. Завтра все утро я занят; после двенадцати я в палате; послезавтра, наверное, то же самое; политическое положение, как ты видел из газет, очень тревожно... Не знаю, останется ли Делагерс. Тогда моя очередь... Но не об этом, конечно, мне хочется поговорить с тобой, Вотье. Приходи ко мне, на улицу Лилль, в воскресенье утром, пораньше... Там мы можем поговорить.

— Хорошо... Но скажи только сейчас — мне нечего бояться за тебя? Милый мой! Я еще никогда не испытывал такой муки, как при мысли, что, может быть, я был тебе нужен и не мог доказать тебе моей преданности...

— Материально — я не нуждался в тебе, Вотье. Бояться совершенно нечего... Но морально — ты, мой единственный друг, очень нужен мне... Так в воскресенье?

— Да, в воскресенье! И мы поговорим о твоем здоровье... У тебя нехороший вид...

— Я очень много работал, но чувствую себя прекрасно.

Вотье ушел от него очень обеспокоенный. Ему показалось, что Меркер похудел и побледнел, что он нервный, хотя и сдерживался,— конечно, это могло быть объяснено слишком большой работой, но Вотье увидел здесь следствие какого-то мучения, может быть, и незаметного для наблюдателя, знавшего министра менее, чем Вотье,— но несомненного.

Если смерть Бержана была тяжела для Меркера только тем, что на него опять легли все те обязанности, от которых его избавлял его двойник, то неужели можно было этим объяснить, что и через две недели этот сильный человек был еще так взволнован и так измучен.

После свидания с Меркером Вотье еще больше стал сомневаться. И срок, назначенный ему для удовлетворения жажды узнать истину, казался ему громадным.

Он не мог откладывать до воскресенья своего беспокойства: оно пронизывало все его поступки. И в субботу он поддался непреодолимому влечению и пошел к доктору Ларми, который вскрывал Бержана и дал заключение о самоубийстве.

Ларми, бывший товарищ Вотье по школе, был польщен посещением знаменитого коллеги. Вотье заговорил с ним об его служебных обязанностях и был очень доволен, когда тот сам стал рассказывать о деле острова Сен-Луи. Вотье, не выдавая того интереса, какой возбуждало в нем это дело, узнал от доктора все мельчайшие подробности дела... Наконец он ушел от него, но мнение его о Ларми показалось ему очень справедливым: Ларми был один из бездарнейших врачей, и его заключения были неправильны девять раз из десяти... И Вотье опять стал разбирать с самых удивительных, самых невозможных точек зрения эту таинственную драму...

Было ровно девять часов, когда в воскресенье доктор Вотье позвонил у двери Меркера.

— Доложите — доктор Вотье,— сказал он отворившему дверь лакею.— Да что с вами? — прибавил он, удивленный растерянным видом этого человека.

— Извините, господин доктор... Но я удивился, откуда вы узнали, что господин министр болен...

— Болен?.. Министр болен? Что с ним?

— О! Наверное, ничего страшного. Но сейчас, когда он вставал, с ним было что-то вроде обморока.

Отворилась дверь. Появился Меркер.

— Жюльен! Если вы будете так болтать, вы уйдете от меня,— сказал он лакею. И затем обратился к Вотье:— Со мной ровно ничего, друг мой, маленькое головокружение... от переутомления... Это со мной случалось раз двадцать.

— Все равно, я должен прежде всего выслушать тебя.

— Нет... Не нужно! Послушай, Вотье, нам надо поговорить! Зачем терять время...

— Ведь это две минуты. Ты не можешь отказать мне. Я прошу тебя для самого себя. После этого я могу спокойнее слушать тебя...

Меркер не мог удержаться от выражения некоторого раздражения. Он поколебался, посмотрел на Вотье и, видя его решимость, сказал:

— Ну, хорошо, если тебе непременно хочется!

Они вышли в маленькую гостиную, меблированную очень просто. Меркер снял пиджак. Вотье заметил у него на правой руке, чуть-чуть повыше запястья, неправильную царапину в несколько сантиметров длины и совершенно свежую.

— Что это у тебя? — спросил он.

— О!.. Пустяки. Случайно!.. Я тебе расскажу...

И когда Вотье кончил выслушивание, он спросил:

— Ну что же? Ведь ничего нет? Ты успокоился? Теперь мы можем поговорить... Только подожди, мне надо распорядиться.

Он позвонил; появился лакей.

— Вы мне больше не нужны,— сказал Меркер,— ступайте сейчас же в Отейль, снесите то письмо, которое я дал вам.

— Слушаю.

Лакей исчез. Меркер подошел к окну, и когда увидел, что лакей вышел из дому, сел напротив Вотье, который молчал и ждал, сидя в кресле.

— Теперь,— сказал он,— никто, кроме тебя, не услышит меня... Я стал так осторожен, что и сам удивляюсь. Но подумай: какие последствия может вызвать какое-нибудь подслушанное слово... Прежде я не знал, какое это страшное иго — скрывать что-нибудь...

Он помолчал немного и вдруг сказал:

— Правда о смерти Бержана не в официальном следствии. Бержан сам убил себя, но не добровольно... И я замешан в этом.

— Вот, чего я и боялся,— сказал Вотье.— Этот человек на набережной, который толкнул кого-то непосредственно после выстрелов... это...

— Да. Это я толкнул его... Но набережная освещена так тускло, наша встреча продолжалась всего секунд десять, а главное, к счастью, этот человек был так пьян, что едва сообразил все происшедшее... Он был неспособен описать меня; полиция не поверила его словам, и не было ни малейшего указания, чтобы открыть наш уговор с покойным.

— Почему он умер? — спросил немного глухим голосом Вотье.

Меркер посмотрел ему прямо в лицо и отрывисто произнес:

— Потому что он любил ту же самую женщину, что и я...

Вотье содрогнулся. И промолчал.

Меркер продолжал:

— Я тебе все говорю. Ты знаешь, ты — это я, и для меня с первой минуты стало мучением, что я не мог все рассказать тебе. Да: ту же самую женщину — Жильберту Герлиз. Я люблю ее. И, кажется, всегда любил. Разве я тебе не говорил о ней? Я любил ее раньше, чем сам понял это. Она единственная женщина, заставившая меня понять смысл слова «любовь». До нее любовь не играла никакой роли в моей жизни. Я ее люблю так, что готов ради нее пожертвовать и тщеславием, и карьерой, всем, что до сих пор составляло цель моей жизни... Когда первая любовь является в мой возраст — она захватывает всецело...

Он говорил это с наружным спокойствием, очень тихо, но голос его дрожал. Он замолчал на несколько минут, чтобы овладеть своим волнением, а затем продолжал:

— Отчего не понял я раньше, что такое она для меня? Отчего так долго не признавался даже самому себе, что я люблю ее? Не знаю и сам. Наверное, оттого, что у меня не было времени проверять свои чувства, что меня захватило тщеславие и удаляло от меня все, что могло помешать мне идти по намеченному мною пути, и я боялся дать себе волю в любви и полюбить слишком сильно. И кроме того, моя гордость не допускала отказа... Я, Клод Меркер,— отвергнутый влюбленный. Никогда!

И все это, как по волшебству, исчезло, когда я заметил, что Жильберта любит меня... Это было на одном полуофициальном обеде, где я должен был присутствовать сам, так как он был после одного заседания, а я на следующее утро обязан был принять участие в совете. Жильберта была одной из моих соседок за столом. Я не встречал ее уже несколько недель, так как на тех приемах, где бывала она — за меня бывал Бержан. Мне показалось, что она изменилась, но нисколько не подурнела: никогда еще я не видел ее такой соблазнительной, но она очень изменилась... по отношению ко мне. Я мало мог говорить с ней, так как был обязан принимать участие в общем разговоре, но ее манера и особенно выражение глаз... Это нельзя определить... Это какие-то токи, которые лучше всяких слов говорят, что вы для этой женщины не первый встречный... Когда, уезжая, я прощался с ней, ее рука с секунду осталась в моей руке, и глаза ее встретились с моими глазами...

Он опять остановился, а затем продолжал еще тише:

— Я не знал тогда, что Бержан... Слушай, Вотье, ведь она не его любит! А меня, Клода Меркера! Она любит меня. Она должна выйти замуж через несколько недель за меня! После того обеда, я все время думал о ней. Сначала хотел бороться, взять себя в руки... Но я знал, что это ни к чему не приведет... Я очень долго не видел ее — любовь только усилилась... В это время Бержан встретил ее на одном благотворительном базаре, где я обещал быть, но куда не отправился, так как решил бороться с любовью. Затем, на Пасху, когда я счет возможным предоставить себе некоторый отдых — Бержан уехал на десять дней в Фонтенбло... Она тоже была в Фонтенбло... Я только позже узнал об этом... Я узнал только в прошлом месяце, в тот вечер, когда умер Бержан...

Я пришел к нему на остров Сен-Луи в девять часов.

Он должен был прийти ночевать сюда, в мою квартиру, и заменять меня два дня. Мне нужно было кончить очень важную работу... но меня заботило другое: накануне, когда я выходил из министерства, я встретил Жильберту. Она была с

приятельницей, и мы обменялись только несколькими банальными фразами... Но в ее глазах, пристально смотревших на меня, была на этот раз любовь... И думаю, что она прочла в моих глазах, как сильно и я ее люблю.

Еще никогда в жизни я не был так счастлив, как после этого короткого, совершенно случайного свидания... Она поняла мою любовь... Она любила меня... И с какой тончайшей деликатностью она сумела без слов сказать мне это... И ни на одну секунду мне не приходило в голову... Когда на другой вечер я пришел к Бержану, с которым мне необходимо было расстаться, так как я решил жениться на Жильберте,— он показался мне очень странным. Уже с некоторых пор он как-то изменился по отношению ко мне, и это мне не нравилось. В тот вечер он был очень возбужден и плохо сдерживал это. И вдруг заявил:

«Мне нужно с вами поговорить. Я собираюсь уже несколько дней. Мне не хочется больше откладывать».

Мы были в средней комнате. Ставни были закрыты, но окна отворены, потому что было очень тепло. Бержан затворил окна, подошел опять ко мне и начал говорить. Он сказал, что любит Жильберту и что она его любит. Сказал, что она сама призналась ему в этом, когда он уезжал из Фонтенбло; и прибавил, что она согласилась выйти за него замуж... Ей пришлось остаться там еще месяц, так как у нее заболела сестра, но теперь она вернулась в Париж, и он ее скоро увидит... Он сказал мне, что безумно отдался этому непоборимому чувству, что он в отчаянии, так как его мучила роль, какую он играл при мне. Он говорил долго; я почти не слышал его... Только первые его слова имели для меня значение... Она любила его, и я вдруг расхохотался:

«Она любит не вас, а Клода Меркера»,— сказал я.

Уже с некоторых пор между нами была скрытая ненависть. Тут она вырвалась наружу. Он осмелился крикнуть мне, что я лгу, что она любит именно его. Он кричал, что я лгу, говоря, что люблю Жильберту. Я старался быть спокойным, чтобы доказать ему правду, чтобы привести его в себя, но он точно бредил, говоря о своей любви, о своих страданиях, о том, что он называл своей горькой судьбой... Он хотел обо все рассказать Жильберте, чтобы она сама выбрала между нами двоими... Я не стал его слушать; взял из ящика стола мои бумаги, положил в карман и направился к двери. Бержан преградил мне дорогу.

«Я не выпущу вас! Как только вы выйдете отсюда,— вы ускользнете от меня! У меня не будет никакого доказательства... Кто поверит мне, когда я буду рассказывать, что заменял Клода Меркера, что я был Клодом Меркером. Вы арестуете меня за шантаж или посадите в сумасшедший дом. Нет! Нет!

Надо, чтобы все узнали! Клод Меркер, которого любит Жильберта,– я! Пусть все узнают. Надо, чтобы нашли вас здесь... Нужен скандал!»...

Он так кричал, что я удивился, как не проснулся весь дом. Я слышал, как на набережной пел какой-то прохожий... И он, конечно, мог услышать... Я кинулся к двери, чтобы убежать...

Тут Бержан бросился, загородив мне дорогу, схватил меня за руку. В другой руке у него был револьвер. Я вырвался... В ту же минуту он выстрелил. Не знаю – в меня ли? Только он не попал в меня. Я схватил его за руку, и мы стали бороться. Вдруг – второй выстрел, и Бержан упал назад на стол, на лампу... она разбилась... При свете вспыхнувшего керосина я увидел размозженный череп... Я отворил окно. Стекло разбилось вдребезги и ранило мне руку. Я толкнул ставни, выскочил и побежал... Вот тут-то кто-то попытался схватить меня. Я отшвырнул его в сторону и через десять минут на бульваре дю-Пале взял извозчика, который отвез меня на площадь Французского Театра. Там я бросил его, прошел пешком несколько шагов и взял другого извозчика, который привез меня сюда. Ни одной улики, чтобы доказать, что я именно тот родственник, который навещал иногда Бержана на острове Сен- Луи. Там было мое платье, но никто не мог заподозрить, что оно не принадлежало Бержану... О том, как была открыта эта драма и о ходе следствия, я знаю только то, что было напечатано в газетах...

Наступило долгое молчание. Пока Меркер говорил,– Вотье слушал его внимательно и не сказал ни одного слова. Он немного побледнел и очень серьезно смотрел на Меркера.

– А госпожа Герлиз? – спросил он наконец.

– Я видел ее после драмы много раз...

– А как ее чувство? – спросил Вотье.

В жесте Меркера было видно, как он удивлен и возмущен.

– Все то же! Она любит меня! Такая женщина, как она, не меняется. Если она любит, то уж любит навсегда. Ее сдержанность, которую она с трудом может победить, делает эту любовь еще драгоценнее. Уже мы все решили. Мы долго говорили с ней в наши последние встречи, когда мы были вдвоем, среди толпы, окружавшей нас. Может быть, все заметили это. Не все ли равно? Скоро всем станет известно о нашем браке. Жильберта просила меня подождать еще несколько дней. Она хочет сама назначить день свадьбы.

Вдруг Вотье встал. Он был очень бледен. И, смотря прямо в глаза собеседнику, сказал:

– Вы не Клод Меркер!

Тот вскочил от изумления.

– Что ты говоришь? – едва выговорил он после короткого, но трагического молчания.

— Вы не Клод Меркер. Вы убили его, чтобы занять его место. Вы — Рауль Бержан.

— Вотье! Ты с ума сошел!

— Вы Рауль Бержан. Вы убили Меркера. Я с первой же минуты, как узнал про эту драму, смутно подозревал это... Сначала не хотел верить, прогонял от себя эту ужасную мысль. Но не мог отделаться от подозрения. Оно все росло. Никакие доводы, которыми я хотел уничтожить его, не действовали. Они падали один за другим, и помимо воли, во мне росла страшная уверенность: Бержан убил Меркера, чтобы завладеть его положением! Это было единственное логическое объяснение драмы, объяснение, которое никто, кроме меня, не мог себе представить... Это был фатальный вывод, неизбежный конец, без сомнения, подготовленный вами с самого начала, с той минуты, когда вы придумали этот договор, который ваша жертва имела безумие принять и на который я, по преступному ослеплению, советовал ему согласиться...

— Ну, Вотье, очнись! Очнись. Узнай меня... Ведь это же бессмысленно!.. Несчастный Бержан умер именно так, как я тебе сейчас рассказал...

— Да! Если бы умер Бержан — он умер бы именно так. Если бы мне это рассказал Меркер — это была бы правда... Но зачем было Меркеру убивать его, когда он мог, если бы только пожелал, выбросить его из своей жизни, ничем не рискуя, кроме попыток уличить его, но это показалось бы так невероятно, что все они были бы приняты, как бред сумасшедшего. Бержан же должен был убить Меркера, чтобы окончательно перевоплотиться в него.

— Но ведь это безумие! Как хочешь ты, чтобы человек, особенно такой умный, как Бержан, мог надеяться всецело перевоплотиться в другого человека? И в такого, как я,— в Клода Меркера! Мое отожествление с Бержаном могло удаваться, пока я назначал час за часом, так сказать, все, что он должен делать... И только в деле представительства... Вотье! Я прошу тебя еще раз: вернись к действительности... Ведь это же невозможно, наконец, чтобы ты не узнал меня, твоего друга... Невозможно, чтобы ты серьезно верил в эти приключения из фельетонного романа: Бержан уже две недели играет роль убитого Меркера, и никто этого не замечает!..

— Да! Я верю этому, потому что это так! Заметить подлог?! Да как же заметить? Не по физическим же признакам — доказательство, что Бержан мог заменять Меркера... По моральным? По решениям, по действиям, по речам, которые у узурпатора были не на такой высоте, как у жертвы?!. Полноте! Умный человек — вы были правы, когда сейчас сказали, что вы, Рауль Бержан, очень умны,— умный человек умеет примениться к положению и играть роль, не делая промахов, особенно,

если он научен этому... Кроме того, уже есть готовая репутация. Меркер уже признан выдающимся человеком, и уничтожить эту репутацию так же трудно, как и создать ее. Каждый, кто будет Меркером — для общества будет выдающимся человеком... Его поступки будут не гениальны? Ну что же? Некоторые враги и конкуренты, может быть, скажут, что он опускается... А зато друзья найдут, что он стал спокойнее, ровнее и от этого еще сильнее. Вы, я повторяю, вы умны, замечательно умны, Рауль Бержан, не так гениальны, как Меркер, но умнее многих официальных лиц, окружающих вас. Я еще больше оценил ваши дарования сейчас, когда слушал вас... Искренность тона, настоящее волнение... Изумительно! Вся эта история, которую вы мне только что рассказали для объяснения драмы острова Сен-Луи, сочинена превосходно. Все правильно, все логично, особенно эта якобы любовь Меркера к госпоже Герлиз... которую, в сущности, вы один, может быть, любили... во всяком случае, вы ее соблазнили, чтобы жениться на ней, так как она богата, но раньше сделали ее своей любовницей, так как она очень красива...

Вотье остановился. Его схватили за руку; чей-то голос злобно шептал:

— Молчи! Молчи! Жильберта не была любовницей Бержана! Он даже не поцеловал кончиков ее пальцев! Он сам сказал мне!

Вотье мягко высвободил руку и усмехнулся ироническим смешком.

— Прекрасно! Вы замечательны, Бержан! Вы до конца играете вашу роль. Я так и ждал: возмущение Меркера, по вашему рассказу раздираемого ревностью к убитому сопернику, который был им самим...

— Ты ошибаешься, Вотье. Я совсем не ревную. У меня нет никаких поводов к ревности. Но оставим это... Выслушай еще раз. Нужно же нам рассеять это недоразумение. Нужно, чтобы ты перестал верить в то, что твоя мелодраматическая история правда: это безумие, и ты сам выдумал ее, узнав вдали от Парижа, далеко от меня, о смерти этого несчастного Бержана. Для человека, привыкшего к точности научных наблюдений — у тебя сильное воображение. Впрочем, без воображения нельзя быть большим ученым. Но все-таки я до сей поры не считал тебя способным к таким романтическим выдумкам. Но я не хочу, чтобы мой старый Вотье еще дольше так заблуждался... из дружбы ко мне... Потому что все эти безумные подозрения происходят от твоей глубокой привязанности ко мне... И это должно быть рассеяно. Правда? Ну, скажи, какое доказательство мог бы я дать тебе?

Он расхохотался.

— Право, это невообразимо! Искать доказательства, чтобы мой лучший друг признал, что я — я! — прибавил он.

— Доказательства? Какие доказательства? Воспоминания детства? Меркер сам признавался, что работа так поглощала его, что он совсем не удерживал в памяти не очень значительные события. Вы это знаете, Рауль Бержан, он говорил это при вас... Следовательно, если вы чего-нибудь не запомнили — это не будет служить против вас, точно так же, как какая-нибудь подробность, приведенная вами, не будет говорить за вас, потому что Меркер, наверное, много рассказывал вам именно для того, чтобы вы не выдали себя, когда заменяли его... Но есть нечто другое, Бержан... Есть что-то в манерах... И вот, ни третьего дня, когда я приехал, ни сегодня я не узнаю в них моего друга.

— Ты не видел меня почти полгода. Ты являешься с предвзятой мыслью открыть трагическую тайну... Кроме того, удивительно ли, что человек, переживший такие муки и волнения, какие пережил я только что, станет нервным и озабоченным?

— Я вас выслушал после этого обморока, о котором рассказал мне лакей.

— Это был не обморок... Просто легкое головокружение.

— У Меркера никогда не было этого. У него было безупречное здоровье, хотя он и переутомлялся... А у Бержана часто пошаливало сердце, он говорил об этом и Меркеру, и мне самому. И когда я слушал вас сейчас — вы не хотели, я настоял — я нашел у вас в сердце некоторые неправильности, перебои...

— Но разве переутомление, которое я испытываю больше, чем когда-либо, и беспокойство, и все мучения, испытанные мною, не могли вызвать...

— В конце концов, может быть... Но вот эта рана на правой руке... У Меркера именно на этом месте был едва заметный рубец.

— Да... от ожога кислотой во время химических опытов, еще в колледже.

— Именно... Вы очень хорошо осведомлены. Нетрудно было расспросить об этом Меркера. Так вот, эта свежая ранка на руке... Она очень кстати мешает убедиться, что у вас нет шрама Меркера... Да, да... знаю! Разбитое стекло в тот вечер... Это очень затрудняет объяснения. Все эти странные совпадения создают уверенность...

У обвиняемого вырвался резкий жест. Он уже несколько минут еле-еле сдерживался:

— Ну-с, довольно! — заявил он.— Как?! Я только что пережил самое страшное время... Я был замешан в драму, которая могла перевернуть всю мою жизнь, сломать мою карьеру, разбить любовь, которая теперь для меня дороже всего на свете, и вот приезжаешь ты, единственное существо на свете, в кото-

ром я мог бы найти преданного советчика, верного друга — и ты становишься моим обвинителем! Такой человек, как ты, не может с таким упрямством поддерживать это заблуждение... Ты не можешь верить тому, что говоришь... Понимаешь, Вотье! Ты не можешь верить этим доказательствам, ничего не доказывающим в этой нелепой истории. Может быть, ты стал тоже моим политическим врагом? Ты хочешь помешать мне пройти в президиум совета... Какая выгода тебе бесчестить меня?

— Вы видите сами, что вы не Меркер,— холодно сказал Вотье.— Тот ни в каком случае не заподозрил бы меня в подобных вещах. Вы — Бержан, и вы убили его.

— Хорошо! Ступай и донеси на меня.

Наступило тяжелое молчание. Вотье неподвижно стоял, заложив руку за спину, наморщив брови и устремив невидящие глаза прямо перед собою. Его собеседник ходил прерывистыми шагами взад и вперед по комнате. Наконец он остановился перед Вотье.

— Почему ты не донес на меня раньше? Зачем целых два часа споришь со мной, если ты уверен, что я Бержан и что я убил Меркера?.. Сейчас я был в отчаянии от твоего упрямства, от какого-то злого рока, который вбил тебе в голову эту нелепую мысль, от разочарования, что я вместо друга — встретил в тебе врага!.. Но тебе прекрасно известно, что я знаю твою искренность... Ну, посмотри на меня: ведь не Бержан же говорит с тобой... Вотье! Узнай меня... Ты же отлично знаешь, что я Меркер!

Они стояли друг против друга и смотрели глаза в глаза.

— Нет,— вскричал Вотье с отчаянием, исказившим его худое серьезное лицо.— Нет! Ничего не знаю! Я сомневаюсь! Да! Сомневаюсь! Иначе мой долг был бы слишком простой. Да, минутами я думаю... Я думаю, что передо мной Клод Меркер, это его голос, его лицо... Но и у Бержана такой же голос, такое же лицо... В первом случае, я предаю дружбу человека, к которому чувствую и благодарность, и привязанность, и восхищение! Я оскорбляю его самыми нелепыми подозрениями, именно когда ему так нужна моя дружба!.. Во втором случае, я... моим молчанием прикрываю его убийцу, становлюсь сообщником этого убийцы, я, который только один мог бы изобличить его!.. А вместо того я, только потому, что мне не хватает уверенности и проницательности, оставляю его открыто и свободно пользоваться плодами своего преступления...

— Кому объясняешь ты все это? Меркеру или Бержану?

— Для того из двух, кто слушает меня,— глухо проговорил Вотье.

— Тебя слушаю я, Клод Меркер!.. Вотье! Я понимаю твое мучение, но все это и для меня самого страшная мука... Поверь

мне... Послушай, Вотье: найди доказательство, обдумай, поищи какое-нибудь средство, чтобы увериться!.. Надо же выйти из этого тупика... Надо, чтобы ты признал меня! Только скорее! Мне необходима твоя дружба... Я сам буду искать возможность убедить тебя... Зайди ко мне в министерство как-нибудь утром.

— Зайду,— сказал Вотье.

— И я найду в тебе моего старого друга? Так?

Он протянул ему руку. Вотье не принял ее, остановился, посмотрел на него прямо в лицо и сказал:

— Не могу.

Вотье ушел. Пробил час. Подходя к Сен-Жерменскому бульвару, он повернул голову и взглянул на окна той квартиры, где осталась загадка: разгадать ее он не мог, и это его мучило: Клод Меркер?

VIII

Свидетельство

— Господин министр,— доложил курьер,— доктор Вотье.

Клод Меркер работал один за письменным столом в своем кабинете; он встал и сделал несколько шагов навстречу пришедшему. Вотье не видел его с тех пор, как был у него на квартире в воскресенье. Прошло больше недели. И он нашел, что Меркер еще больше похудел и побледнел; лицо казалось озабочено, в движениях было что-то лихорадочное; темные глаза болезненно блестели. Меркер тоже очень внимательно вгляделся в Вотье.

— Не говори мне ничего! — резко проговорил он, прежде чем гость открыл рот.— По всему твоему виду, по взгляду — я вижу, что ты не освободился еще от твоего безумия. Нет! Не отвечай!.. Прошу тебя!.. Я не могу сейчас ни слушать тебя, ни владеть собой, ни спорить. Я разозлюсь, а мне не хочется сердиться на тебя... Я совсем по другому поводу велел телефонировать тебе и просил тебя прийти. Скажи мне только: ты придумал какое-нибудь доказательство с моей стороны, которое убедило бы тебя?..

— Нет,— ответил Вотье холодно.— Но в опровержение моего суждения о слепоте общества — я услыхал, как в политических кругах говорят о Клоде Меркере, что он с некоторого времени точно устал, что у него нет прежней ясности в суждениях, того смелого и в то же время практического ума, который как бы чудом умел разрешать самые важные вопросы. Все находят, что он очень опустился... И один только я знаю почему...

— Молчи! Прошу тебя, замолчи! Да, я опустился... Я уже не нахожу в себе ни обычного моего спокойствия, ни энергии. Но это потому, что все мои способности поглощены одной мыслью, гораздо более мучительной, чем все политические мысли. Я за эту неделю видел два раза Жильберту. Моя любовь к ней с каждым днем сильнее, ее же...

Он на минуту остановился.

— Я просил Жильберту назначить день нашей свадьбы. Она до сих пор не сделала этого, но обещала решить до нашего следующего свидания... И это свидание состоится сегодня утром; Жильберта телефонировала мне, спросила, может ли она прийти ко мне сюда, чего прежде она не делала никогда... Нет! Останься,— вскрикнул он, увидя, что Вотье направился к двери.— Мне хочется, чтобы ты остался... Я хочу, чтобы ты присутствовал при нашем свидании... Для этого я и вызвал тебя. Я хочу, чтобы ты невидимо присутствовал здесь... Хочу, чтобы ты мог слышать... Вот здесь, в глубине амбразуры окна... Тебя не будет видно за драпировкой...

Вотье с изумлением взглянул на него.

— Может быть, ты из нашего разговора убедишься, что я настоящий Клод Меркер.

Вотье колебался. Но кто-то постучал в дверь. И он решил остаться и спрятаться за широкой драпировкой у окна.

— Господин министр,— сказал курьер,— пришла та дама, о которой вы приказали доложить вам тотчас же.

Он посмотрел кругом, удивляясь, что нет первого посетителя, но подумал, что, вероятно, тот ушел другим ходом.

— Просите.

Вошла Жильберта. Меркер бросился к ней. Никогда еще она не казалась ему такой обольстительной. Он уловил ее взгляд и, поняв его значение, побледнел от страшного волнения.

— Жильберта! Это вы... Жильберта.

Она отняла от него руку. Она была очень взволнована, но не отрывала от него своего решительного, искреннего взгляда.

— Я пришла, потому что мне хочется поговорить с вами,— начала она быстро. Голос ее слегка дрожал, но она очень скоро овладела им.

— Да! Мне нужно поговорить с вами. Ждать дальше было бы нехорошо, недостойно ни вас, ни меня... Слушайте: то, на что вы надеялись, на что надеялась также одну минуту и я, не может осуществиться... Наш брак не может состояться...

Он побледнел, сделал шаг назад, и рука его потянулась к спинке стула, чтобы ухватиться за нее. На одну секунду ему пришла мысль: неужели Вотье из-за своих подозрений?.. Но он сейчас же прогнал эту мысль.

— Почему? Почему? — пробормотал он.

— Потому что... Господи!.. Но должна же я сказать вам правду... Потому что я обманулась, думая, что люблю вас... Это восхищение, симпатия, но не любовь... А я неспособна выйти замуж, не любя...

— Но вы же говорили мне... Вы признавались...

Она покраснела, но не опустила глаз.

— Да. Я сказала, что люблю вас... И тогда — это была правда. А теперь перестало быть правдой: Я еще не могу понять, что произошло во мне... и в вас... Да... В вас... Сколько лет мы знакомы, и никогда между нами не было...

— Я всегда вас любил! — горячо воскликнул он.

— Нет! Не говорите этого!.. Неправда! Вы полюбили меня только этой зимой; вы перестали быть Клодом Меркером: резким, рассеянным, равнодушным, далеким — каким были прежде. Перестали быть человеком, для которого прежде всего его дела, я не говорю честолюбие: вы слишком выше других, чтобы быть честолюбивым. Вы променяли серьезные разговоры на болтовню со мной. Этого с вами еще никогда не случалось. И тогда я открыла в вас милейшего человека, веселого, непосредственного, фантазера... Вы, вы до тех пор скрывали. Я нашла в вас нежность и поэтичность, какой и не подозревала прежде. Вы перестали быть знаменитым политическим деятелем и стали просто мужчиной возле женщины... И я полюбила вас... Да, я полюбила так, как сама не подозревала, что могу любить. Помните, на том благотворительном базаре... Вы сделали неловкость — потому что вы были заняты только мною одной... я поняла это — вы выбирали портсигар и ошиблись в буквах... И я сама была глубоко взволнована и смущена... И в Фонтенбло я была только для вас — вы это знаете... Это навсегда останется между нами дорогим воспоминанием... И для вас тоже... Я уверена... Правда?

— Было не только Фонтенбло! — вскричал он с ревнивой злобой. Она не поняла его и обиделась, так как сама была очень взволнована.

— С тех пор, как мы вернулись в Париж... каждый раз, как мы встречались... как говорили...

— Нет. Вы сами знаете, потому что вы уже не тот. Вы мало-помалу стали прежним Клодом Меркером. Я не узнаю в вас того человека, какого я знала в продолжение нескольких недель... И, конечно, это оттого, что любовь, которую, как вам кажется, вы чувствуете ко мне, потухает... Не спорьте... Если бы вы оставались таким же, каким были для меня слишком короткое время... Я тоже была бы прежнею... Я была замужем, как вы знаете, и не очень счастлива. И никогда не думала еще раз выйти замуж, пока... пока я не уверилась, что люблю вас... Помните? Мы шли с вами по аллее... Все кругом было залито солнцем, все было еще мокро после апрельского ливня... Вы

говорили со мной с такой деликатной нежностью, так сдержанно... Вы умели так хорошо сказать именно то, что должно было тронуть меня... И я была готова растрогаться... И когда вы заговорили о том, чтобы соединиться нам навсегда — я искренне соглашалась... с громаднейшей радостью... Когда вы уехали — я очень страдала. И потом, когда увидела вас в Париже, сначала я не заметила, что вы переменились... А затем... затем... Появился другой Меркер... Прежний!.. Очарование, бывшее между нами, рассеялось, точно сон, после того, как проснешься... Вы это знаете — ведь да? Признайтесь, что вы ждали того, чтобы я заговорила с вами именно так, как говорю сейчас.

— Нет, нет! Я люблю вас, все больше и больше. Жильберта! Я, Меркер, люблю вас, и вы любите именно меня!

— Если вы и любите меня, то совсем не так, как в те короткие недели прошлой весны. И я не ребенок... Я не могу обманываться в моих чувствах. Я вас любила... А теперь не люблю. Когда я с вами — мне все кажется, что возле меня кто-то чужой, незнакомый... Почему? Все это так странно, так неясно... И надо отказаться... Я никогда не выйду замуж за человека, которого не люблю... Которого разлюбила...

Она склонила голову и задумалась.

— А вместе с тем я очень страдаю, что больше не люблю вас...— прошептала она.— Мне представляется, что какое-то создание, бывшее очень дорогим для меня, исчезло... Я ищу его в вас... И не нахожу... Вот за него я вышла бы замуж... Я любила именно того... А вы уже не тот... И наша любовь умерла... И у вас, и во мне... Ваша — раньше моей, конечно. Прощайте!

Она хотела уйти. Он бросился удержать ее.

— Жильберта! Не бросайте меня так! Вы ошибаетесь! Я тот же! Меня поглощает работа, это правда, но для вас я откажусь... если надо... Я люблю вас.

Она почти жестко посмотрела на него и повторила:

— Мы не любим друг друга!

Он видел, как она быстро пошла к двери, такая гибкая, грациозная, и как дверь захлопнулась за ней, разлучив их навсегда. Меркер стоял неподвижно, уничтоженный, мертвенно бледный, и не мог оторвать глаз от этой двери. На его плечо легла чья-то рука. Он увидел Вотье.

— Ну что же? — закричал он злобно.— Ну что же? Теперь ты не сомневаешься? Узнаешь меня? Она не любит меня? Значит — я Меркер... Я уже несколько дней чувствовал, что она отходит от меня... что ее доверие и нежность все слабеют... Я предчувствовал истину, но не хотел верить ей: она любила Бержана! Это он сумел заставить полюбить себя! Да, у него была эта способность, самая высшая способность — уметь за-

ставить полюбить себя! Это его любила она во мне некоторое время, пока не заметила инстинктивно, сама не понимая, что я – не он!.. Она-то не обманулась!.. Не приняла, как ты, Меркера за Бержана! Такой друг, как ты – обманулся. Такой тонкий ум не поверил правде, которую я кричал тебе! Но разлюбившая женщина – видит яснее... Она не сомневалась... Ты слышал?.. Вернулся прежний Меркер, и сон рассеялся. «Вы меня больше не любите, и я вас не люблю!»... Она меня больше не любит! Но она никогда и не любила меня!.. Я ее больше не люблю! Но я просто не могу, несмотря на всю мою любовь, дать ей то чувство, которое она ищет во мне – любовь умершего Бержана!..

Он бросился в кресло и закрыл лицо руками. Вотье медленно подошел к нему и опять положил руку ему на плечо.

– Прости меня, Меркер... К твоим страданиям я еще добавил мое недоверие... Возьми себя в руки. Будь сильным. Победи свое волнение. Не надо, чтобы кто-нибудь видел... Ты принадлежишь твоему делу...

Клод поднял голову; лицо его постарело, осунулось и было залито слезами.

– Меня это больше не интересует,– ответил он.

В громадном, строгом кабинете, где еще витал легкий аромат духов Жильберты Герлиз,– сидели два человека и молчали.

СОДЕРЖАНИЕ

К.Фаррер

Человек, который убил 5

М.Леблан

Восемь ударов стенных часов 131
I. На вершине башни 133
II. Графин воды! 150
III. Тереза и Жермена 166
IV. Фильм-разоблачитель 182
V. Случай Жана-Луи 198
VI. Гильотинщица 214
VII. Следы шагов на снегу 229
VIII. «В честь бога Меркурия» 246

М.Леблан

Канатная плясунья 263
I. Замок Роборэй 265
II. Цирк Доротеи 273
III. Ясновидящая 284
IV. Допрос 293
V. Смерь князя Д'Аргоня 298
VI. В дороге 310
VII. Срок приближается 316
VIII. По проволочному канату 323
IX. Лицом к лицу 328
X. Аргонавты 335
XI. Завещание маркиза де Богдеваля 343
XII. Эликсир бессмертия 352
XIII. Воскрешение Лазаря 359
XIV. Четвертая медаль 366
XV. Похищение капитана 370
XVI. Последние пятнадцать секунд 374
XVII. Сбывшееся гадание 382
XVIII. 390

Ф.Буте

Двойник Клода Меркера . . . 397
I. Зеленые чернила . . . 399
II. Свидание . . . 405
III. Репетиция . . . 420
IV. Жильберта . . . 427
V. Любовь . . . 436
VI. Тайна острова Сен-Луи . . . 441
VII. Кто? . . . 446
VIII. Свидетельство . . . 457

ЗАБЫТЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Том 3

Редакторы *С.Г.Егорова, С.П.Фалеева*
Художественный редактор *А.Г.Сауков*
Технический редактор *Е.Ю.Полякова*
Корректор *Л.В.Петрова*

ИБ №2375

Сдано в набор 10.06.1992. Подписано в печать 26.08.1992.
Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 29,78. Уч.-изд. л. 29,78.
Тираж 200 000 (1 з-д 1—100 000) экз. Изд. № 5281. Зак. № 1652. С-035

А/О «Книга и бизнес»
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 22.

СП «Лексика»
103055, Москва, ул.Тихвинская, 1/13, строение 2.

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства печати и массовой информации РСФСР
170040, Тверь, пр-т 50-летия Октября, 46.








ЗАБЫТЫЙ ДЕТЕКТИВ